

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ ТРЕТИЙ

СКУТАРЕВСКИЙ

РОМАН

ПОЛОВЧАНСКИЕ САДЫ

ВОЛК

ОБЫКНОВЕННЫЙ

ЧЕЛОВЕК

ПЬЕСЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1953

СКУТАРЕВСКИЙ

РОМАН

ГЛАВА 1

Воспоминание начиналось так. — Тусклый фаянс тарелки и горка обсосанных костей на ее шербатам борту. Минутой позже он различал вокруг стола своих покойных братьев и сестер. Дети пристально глядели на ржавую селедочную голову, — лакомство и остаток еды. Потом издалека возникала длинная, вся в кислотных пятнах рука отца, вооруженная почти трезубцем. Орудие лениво вонзалось в рыбий позвонок и уносило его с собою, в гулкую дыру отцовского рта. Здесь и начиналось сознательное детство Скутаревского.

Всякий раз, вступая в эти нежилые сумерки, он волновался и робел. Затхлость ударяла в лицо, и оно становилось суровым; пугая и грохоча, продолжал действовать проржавевший механизм воспоминанья. — Веснушчатый мальчик целует на ночь портрет Эдисона и прячет под подушку, которая пахнет мездрой и необъяснимо поскрипывает; юноша, феноменально рыжий, ночует в товарном вагоне, идущем в столицу; студент бьет по щеке реакционного профессора, и сухой звук пощечины свирепо раздирает тишину; молодой адъютант, краснея за люстриновый пиджак, который сидит на нем, как на усопшем, везет дорогого учителя в Италию, где тот умрет; знаменитый профессор делает шестичасовой доклад на международном энергетическом конгрессе... — Так, с усмешкой разглядывая себя, все искал он чего-то главного, за что стоило бы и погибнуть, но главного не было. Все тревожней звенели в памяти благоговейные клятвы юности о свободе, человечности и культуре... И теперь, виновато

вспоминая их, он испытывал тягучее старческое недоумение, какое бывает, наверное, при умирании.

Ему казалось тогда: вот, электрохимический процесс замедляется в этой прославленной человеческой реторте. Из тела пропадала та злая моторная неукротимость, за которую в самом начале карьеры приятели прозвали его кометой. То была старость ее, отускнение ее, коррозия ее плавучего и непрочного металла. Свершив параболу, комета возвращалась к двери, через которую однажды ворвалась в мир. Эта воображаемая дверь в небытие представлялась близкой, круглой и темной, как рот отца. И вот уже его самого, несомого на трезубце, провожали неживые глаза покойных братьев... — Кстати, их всех было шестеро вначале, оборванных и одичалых от нужды. Четверо, вырастая на улице и без призора, погибли разное, а шестой, уцелевший от колес, прорубей и детских эпидемий, отражался теперь в мутном зеркале провинциальной гостиницы.

Зеркало висело под большим наклоном к полу, и оттого человек в нем сидел как бы без головы, в полутьме, свесив с кровати жилистые ноги. Может быть, он созерцал тоненький пыльный лучик из-за оконной занавески, неторопливо переползавший комнату, пробуждая вещи. И вот, едва пятнышко света коснулось пальца на ноге, Скutarevский пришел в движение. Кровать скрипнула и подалась назад. Он вскочил, он метнулся, он почти разодрал надвое оконную шторку и зажмурился от солнечной щеколки. Желтенький, проникнутый осенним тленьем, лежал сентябрь по ту сторону окна. В ржавой пустоте огромного пустыря корявое, все в пламенах облетающих листьев, стояло дерево. На его простертом пальце покачивалась ворона, взъерошенная, как дворняга.

...его ноздри вздулись; ярила их нечистая влажность гостиницы. Он двигался, переходя в наступление, и вещи вокруг него шумно летели на пол, точно срываясь с центрофуги; кажется, это называлось гимнастикой. В передышках он внезапно оборачивался к зеркалу, чтоб застать себя взглядом врасплох. Тогда он топорщил линиялый хохолок бородки, щупал лиловатый, еще твердый бицепс, раскачивался, смеялся и пел. Он пел про могущество осеннего, неопровергнутого утра; он пел про смешную поспешность, с которой отступила ночь и ее призраки; пел

он, разумеется, беззвучно, — с его голосом разумнее было посвятить себя научной работе целиком.

Его ладонь уперлась во все четыре звонковых кнопки, и тотчас же гостиницу наполнил глухой электрический звон. Так длилось, пока в дверную щель не просунулась лысая голова; на ней подозрительно ерзали рачьи глаза.

— Входи полностью! — с разбегу и ликуя, крикнул Скutareвский. — Кто?.. Фамилия?

— Подушкин, коридорный.

— Член профсоюза?

— Ноне все мы члены, — пятился тот.

Он робел говорить с голыми, не ведая чина их, власти или состояния.

— Активист, поди?

— Да нет...

— Что ж так? — пело вздыбленное скutareвское вещество. — В такие дни... нехорошо, Подушкин!

— Да все некогда. — Он подмигнул. — Да и не по пище-с!

Вся его плотная фигура, однако, вызывала какое-то раздражающее воспоминание; туловище его, как у большинства бывших городских, начиналось где-то возле колен; щеки в богатейших подусниках — и никаким профсоюзным билетом не прикрыть было этой полицейской приметы.

— Так вот... снегу сюда... Целый сугроб снега. Пошел! — и брезгливо махнул рукой.

Для наступления, которое он задумал, требовалось втереть в себя снежную колкую бодрость, но снегу не было: плод приходился не по сезону... Плечом и ладонью снова и снова вдавливал он звонковые пуговки, посылая по проводам оглушительные прерывистые сигналы. Снегу не было. Весь постоянный дом гудел, как раковина, и вся живая слизь из его многочисленных витков сползалась за дверью Скutareвского. Это становилось происшествием, так возникают катастрофы! Снегу не требовали даже капризные иностранцы, которых время от времени доставляли на постройку соседней электростанции. И хотя постоялец занимал самый роскошный номер — с исправной форточкой, со стеганым атласным одеялом, с летающими озирисами на потолке — венцом творения местного живописца, гостиница противилась, пока постоялец сам и в голом виде не высунулся в коридор.

Снег принесли в деревянной плошке и через полчаса; то ли он задохся в подвале, то ли умер в невозддержных руках Подушкина, но, сизый и мятый, он уже припахивал навозом. Тогда Скутаревский открыл форточку и стоял так, в потоке ледяного осеннего пара; но в десять его ждали на экспертизу новой электростанции. Старик одевался неторопливо и тщательно в это утро, как на торжество. Выходя на улицу, он был строг и сосредоточен, и проводить его в этот очень далекий путь вышел на подъезд один только Подушкин.

— Усы сбрей, сбрей усы... — покосился на него Скутаревский, проходя мимо. — Заметно очень!

— Не цапайтесь, гражданин, — угрожающе откликнулся тот, расковыривая булку и по частям отправляя ее в рот. — Эвон, в хлебе-то опять окурочки попадаться стали...

...Он вышел из дому во вторник утром, а вернулся в среду к ночи — неузнаваемый, в черном воротничке, взволнованный и больше чем усталый. С полдороги вдобавок, по необъяснимой прихоти, он отпустил машину и последние километры до городка вышагивал пешком по разъезженной пустынной дороге; крутой, как из бадьи, сибирский ливень всю ночь хлестал эту безответную тишину. И как будто не профессор шел, а бродяга торопился на ночлег, — Черимов, возвращавшийся вместе с ним, не возражал, предоставляя старику выделять его обычные штучки. И опять он шел и молча пел; влажный встречный ветерок лизал ему лицо и руки. Он шел привычной своей, не по годам стремительной походкой и все присматривался: вдруг захотелось остаться наедине и залпом продумать накопленное за десятилетия. Но и думанье не удавалось, и взгляд его бездельно тащился по полям, залиuzzанным до прелой рыжей щетинки. Скоро парному от ходьбы веществу его стало жарко и тесно в узком английском пальто. Остановясь на бугре, он стоял так, посреди безмерного вечереющего пространства, лицом к городку, без шляпы и в распахнутом пальто.

Это был крохотный, с избытком церквей, северный городок. Новый подымался рядом, весь в проводах и молниях электросварки, и старый томился, как нищий в рваном сером балахоне. Понуру сутулились когда-то знаменитые купеческие хоромы, а ранняя зима рвала и трепала

на уже безглавом, отовсюду видном, соборе голые кустики какой-то поросли. Угольная копоть и слепающая цементная пыль неслись на эти деревянные отрепья; самый ветер над головой напоен был металлическим скрежетом: казалось, в буре и грохоте новое племя шло заселять эту наново перепаханную землю... Чумазные облака над этим печальным виденьем поминутно менялись, по-разному отражаясь в памяти; Скутаревский увидел рыбу на взметенной облачной волне, потом какое-то взрывающееся облачко хлопчатника, а третьим... Третьим плыло нечто пухлое, до хлодка в спине напоминавшее ненавистный профиль Петра Евграфовича.

Всю дорогу сопровождало его то приподнятое настроение, когда и самое незначительное явление становится знаменьем. И оттого, едва вспомнил о Петрыгине, разом померкло удовольствие прогулки и воротилась ночь. Он почувствовал, что промок и переутомился: он испугался возможности опоздать на поезд, хотя вовсе не торопился домой; он отчетливо и с завистью представил себе, как Черимов, ученик его и заместитель по институту, давно сидит в буфете и с остервенением молодости пожирает жесткие станционные шницеля. Скутаревский чихнул, поскользнулся и с чертыханьем нырнул с бугра своего в низинку, где, тощий и далекий, дразнился огонек из просвирнина, наверно, оконца.

Ветер усилился, ночная бесотня завывала в телеграфных проводах, и какой-то, прилипчивый, над самым ухом называл как будто по имени... То урчали и захлебывались скутаревские башмаки, одолевая осеннюю дорогу.

ГЛАВА 2

Пока не остыл от ходьбы, не чувствовал и озноба. И вдруг, едва ввалился в купе, разом закрутило, путанные обрывки мыслей потекли в голову, а по телу проступила знойная сухая ломота: начиналось. Уже в полубреду он расслышал черимовское: «...эх, обожаемый, на четвереньках, что ли, добирались?» Но даже и поморщиться дружеской фамильярности нехватало сил. Он свалился на койку, и на долю Черимова выпало счастье раздевать обожаемого учителя, который ребячливо сопротивлялся; он

же добывал чай у проводника. Скутаревский брезгливо пил теплое безвкусное пойло и закусывал консервами из какой-то пресной розовой водоросли.

— Спать, спать... — отечески говорил Черимов и, стоя, доедал морскую траву, которая к удивлению его оказалась с костями. Видевший смерть у самых своих ресниц, он не особенно верил во всякие простуды. — Пока — спать, а приедем — и в баньку. Дядька пропарит... Чорт, никак не удастся заставить его профессию переменить. Банщик, это поганое ремесло! — Он вынул часы. — А ну, проверим расписание!

Он удовлетворенно кивнул своему отражению в ночном оконном стекле. Едва стрелки совпали на одиннадцать, вагон качнуло, потом луч с платформы прочертил полосатый плед, под которым ежился Скутаревский, и тогда лишь накатило вязкое дорожное оцепенение. То был сибирский экспресс, он бежал почти без остановок, и все веселее становился дробный речитатив колес. Временами он переходил в пляс, в вихревое неистовство, и тогда Скутаревский усерднее прижимал колени к подбородку, точно прячась от ветра. А ветер был длинный и красный. Он оставлял позади себя длительную рябь, и в ней мучительно колыхались какие-то пучеглазые, недодуманные идеи, обноски мечтаний, звуки, вещи, люди и, наконец, то, самое сокровенное, что люди прячут и шифруют от самих себя. Потом все расплывалось, точно недостаточно было молекулярное сцепление между образами, а ветер с маху налетал на гремучее жестяное дерево.

До боли знакомыми голосами звенели эти жестяные листья. «Умирать — это правильно...», «бессмертье, бунт индивида!», «...ерунда, образуем новые вихри», «сквозь наши груди пробиваются сочные дерзкие ростки будущего...», «слышишь, шумит листва?», «чепуха, истлеем, гнусно пропадем: мы умираем прочно!», «они впервые имеют за что умирать!», «храните жизни!..» Этот последний дребезг принадлежал ему; он вскочил и красными глазами уставился в мир. Там спокойно и ровно горела лампочка под латунным абажуром. С откидного столика свешивался ворох бумаг; Черимов листал их и делал на полях отметки. Он казался лохматее обычного и озабоченней, но в расплеснутом сознании Скутаревского отра-

зился только острый блик чайной ложки в недопитом стакане.

Подвижное лицо Скутаревского выражало теперь полное расслабление. Температура поднималась, и знойным бредом пенилось расплавляемое вещество. Учитель и ученик вглядывались друг в друга с противоположных берегов рассудка, дивились и не узнавали. Тогда Черимов привставал ему навстречу и почему-то косился на чемодан, где перед отъездом обнаружил пузырек с иодом. В этом случае иод означал лишь крайнее его бессилие помочь учителю, и опять они расставались на долгие бесплодные часы.

Снова наклоняясь над чертежами, отпивая глотками остывший черный чай, он боролся с дремотой и перебирал в памяти подробности последних суток. Усталость давила ему на плечи; две ночи он провел в каком-то диком, бузавейном кресле, спиной к турбогенератору, слабо гудевшему под нагрузкой в сорок тысяч киловатт. И оттого, что впечатленья последней недели спутались в нем в неразборчивый клубок, перед ним также проходили вереницы людей, и почему-то выпуклей, честнее, заметнее других был облик Фомы Кунаева. Они познакомились давно, в научно-техническом секторе ВСНХ, куда Фома заезжал по вопросу об изысканиях фрезерной разработки торфа. В те сроки звезда Фомы лишь всходила над советским горизонтом, никто не предугадывал, что через два года этот молчаливый турбинный мастер станет начальником большого строительства. Но причудлива судьба советского человека, и вот Черимов повез к нему, на крупнейшую районную станцию самого Скутаревского ревизовать его дела и достижения.

Все обошлось гладко; играла военная музыка и маком цвел могучий Фома; застенчиво толпились у агрегатов бородатые ударники и герои строительства; наголовато, с видом арбитра, улыбался приезжий американец, жуя свою резинку и в упор разглядывая степенную, немногословную породу тамошних людей. Была выставлена на осмотр длинная цепь чудес; в ее первом звене тугая, в двадцать четыре атмосферы, водяная струя разбивала слежавшиеся слои торфа, а в ее конце таинственно и трепетно помигивала контрольная лампочка на удивленье окрестных мужиков. Их понабилося много и везде — у пирамидальных

бункеров, внесенных над печами, у аккумуляторных ям — везде напряженно блестели голубоватые их глаза, точно напуганные приходящей новизной. И, в самом деле, было достойно удивления, что то самое торфяное болото, где от века бесполезно цвел гравилат да топла тощая мужицкая скотинка, теперь движется, шумит и светит... светит, чорт возьми, на потребу социалистического человека! В станции — ни в размерах ее, ни в общей схеме — не было ничего чрезвычайного, достаточного для потрясения иностранца, но революция строила их десятки одновременно, и в этом штурмовом напоре заключалось их высокое поэматическое значение.

Торжество грозило затянуться. Экспертиза разбилась на группы, и американец, с пристрастием облазив все, бродил теперь по цехам вместе со Скутаревским, который, один из всех, мог изъясняться на его языке; беседа велась по-английски, так что шедшие рядом Кунаев с Черимовым могли следить за разговором лишь по выражениям их лиц. Сперва гость все пошучивал, преимущественно на алкогольные темы и, кажется из желания польстить Скутаревскому, показал ему в темном переходе — они направлялись в турбинный зал — плоскую фляжку с советским коньяком, которую по привычке таскал в заднем кармане. Скутаревский дал понять, что не слишком осведомлен в этой области, и тогда тот не очень логично перескочил на проблемы мирового кризиса, уже потрясавшего заокеанскую республику.

— Простите, — недобро покосился Скутаревский, — видимо, у меня нехватает чувства юмора на вашу остроту. Не улавливаю, в какую именно связь вы ставите вашу очередную экономическую катастрофу и винную торговлю вообще?

— О, русские всегда плохо понимают шутку, — комически взмолился тот. — Вино доставляет забвение несчастий, а небогатому человеку в Америке сейчас недоступно это лекарство. Я хотел сказать, что сухой закон доведет нас до революции.

Скутаревский жестко посмеялся, не разжимая губ.

— Ну, для этого, в свое время, у вас найдутся более существенные основания. — Он имел в виду все возмраставшее количество безработных того года. — Голодному и каждодневно убиваемому вообще нечего великодушни-

чать! — едко прибавил он, и, хотя слова эти не были выношены где-то в сердце, его радовала честь произнести эту заслуженную колкость.

Злость делала совсем раскосыми его и без того нерусские глаза. Гость был журналистом, объезжавшим очаги молодой советской индустрии «для пополнения капиталистического образования» — как иронически объявил он сам с доверительной улыбкой. По слухам, до того как сделаться корреспондентом промышленной американской печати, гость был крупным инженером, хотя и не оставившим следа ни в технике, ни в науке. Скутаревского раздражало, что этот сведущий специалист, на лице которого не отпечатлелось особого пристрастия к алкоголю, избегает говорить с ним на тему, ради которой, в сущности, оба они пришли сюда. Не нравились ему, равным образом, ни снисходительная ирония, ни самоуверенная скромность этого заокеанского соглядатая, и даже возмущала потертая фуфаячная жилетка под поношенным пиджаком, рядом с которым костюм Скутаревского выглядел почти щегольским. Но он примечал и сам уйму всевозможных упущений и промахов как в проектировке, так, одинаково, и в оформлении станции; и то последнее, решающее обстоятельство, что работу эту проектировал его сын, Арсений Сергеевич Скутаревский, заставляло его в этом разговоре конфузиться, раздваиваться и молчать.

Немудрено, что гость стал догадываться об истинных чувствах провожатого своего:

— ...не удивляйтесь, что я не критикую качеств этой станции, — вкрадчиво сказал он, касаясь руки Скутаревского. — Я только гость, которого терпят; я ем то, что мне дают. Кроме того я достаточно уважаю вас, мистер Скутаревский. Я знаю ваши книги. Мне приходилось освещать ваши работы в нашей печати. Я имел удовольствие, правда — случайное, присутствовать... — они поднимались в котельную. — Позвольте, я отдышусь, — сказал гость, останавливаясь на минуту, — ...присутствовать на вашей лекции в Вудстонском университете. Вы не помните меня, я сидел в левом ближнем углу. Это было в двадцать третьем году, но с тех пор...

— Это было в двадцать четвертом, — резко поправил Скутаревский, прочеркивая воздух рукой. — Но, если можно, давайте ближе к делу. Я не люблю воспоминаний.

— Хорошо, — сказал тот и ногтем поцарапал новехонькие поручни винтовой лестницы, где они стояли. — Плохая краска, это непрочная краска, мистер Скутаревский. У вас плохо понимают экономию. Я не смею говорить о мелочах, которые вы видите и сами и которые вряд ли существенны для молодого общества, каким является ваше. Оно еще не успело выработать американского, делового отношения к миру. Оно еще склонно обожествлять энергию и машины, ее производящие. Ему хочется строить дворцы над каждым агрегатом... Я имею в виду габариты этого здания. Оно не задумывается даже над разумным использованием поверхностей нагрева... даже!

— Прошу прощения... — прервал Скутаревский. — Эту станцию строили молодые наши инженеры по указаниям приезжих американских звезд, получавших за это хорошие, честные советские деньги... мои деньги в том числе! Хотите вы сказать, что звезды светили вполнакала и указания их были не вполне добросовестны?

Американец помолчал, губы его стали жестки:

— Словом, я не советую брать эту нарядную ошибку за стандарт. Конечно, это наука юности, за нее все мы дорого платим. Мне пятьдесят, юность моя, пожалуй, кончилась, а я только теперь начинаю уметь. Юность всегда расточительна, но и при этом условии вы идете гигантскими шагами. Пока у вас только Кентукки, но лет через пятьдесят у вас будет уже свой Бостон... Что вы хотели сказать?

— Да, — в бешенстве откликнулся Скутаревский; в конце концов речь шла о его цеховом инженерском достоинстве. — Насколько я понял, вы тоже были инженером?

— О, и я любил это дело... но, под давлением некоторых обстоятельств, был вынужден изменить свою профессию.

— Можно уточнить? за что вас выгнали из любимого дела? Вы были плохим инженером... или вы обокрали вашего хозяина?

— Это безработица, мистер Скутаревский.

— И что же — заниматься распространением лжи в Америке выгоднее?

Тот сделал вид, что не расслышал вопроса.

— И все-таки Россия сейчас самая любопытная часть вселенной. — Он вежливо протянул своему спутнику мягкую пачку сигарет. — Курите!.. кстати, почему у вас так много говорят по любому поводу?

Скутаревский дрожащими пальцами перематывал рулоны самопишущих приборов, которые подоспевший техник сунул ему в руки. Они волочились по полу, ленты ябедной, разграфленной бумаги, а он не видел ничего, кроме нечеткой, волнистой линии, фосфоресцирующей на темноте. Гость вынул часы и вдруг заторопился; он снисходительно объяснил, что имеет только полгода на беглый осмотр всех чудес этой неслыханной страны. Черимов во-время отошел в сторону. Кунаев сказал *гуд-бай*, все, что он знал по-английски, неуклюже, зато от души. Скутаревский молча поклонился гостю и повернулся спиной. Вещество его чадило и клокотало; ему было стыдно за сына, и сжимались кулаки на Петрыгина, через которого проходил проект и которого уже давно он разглядывал с враждебным вниманием. Он испытывал жажду, зуд в руках, потребность в ругани и стал спускаться вниз.

— Ну, что он сказал? — догнал его Кунаев.

Ради чего он лгал сейчас этому горячему, непоседливому человеку:

— Он не сказал ничего. Он из тех, которые терпят нас, пока мы самые западные из азиатов, и возмущаются, когда мы заявляем себя самыми восточными из европейцев...

В суматохе Кунаев так и не понял ничего. Да тут еще в окно со двора, заваленного щебнем, стружкой и разбитой цементной тарой, ворвалось медное, воинственное воркотанье оркестра. Торжество еще продолжалось, когда распространился слух, что суждения экспертизы крайне благоприятны. Тем более угрюмое молчание Скутаревского и поспешный отъезд американца — селили смущенье в неискушенных участниках торжества. Им хотелось, чтобы вместе с ними радовались все — и этот любознательный гость, если только не сгнила в нем целиком его буржуазная середка, и этот генштабист индустриализации, как обозвал Скутаревского впопыхах энтузиастический председатель исполкома; вечером к тому же замышлялась дружеская вечеринка с пельменями и приезжими знаменитостями. И вот тут-то, при осмотре котлов, шести

стирлингов по семисот двадцать метров нагрева, Скутаревский и спросил у Кунаева во утоление какой-то непостижимой потребности: «...вы радуетесь обилию воды или количеству котлов, товарищ?» И сразу это мимолетное словесное облачко раздулось в целую тучу курчавой черимовской головой. Просматривая графики котлов, шурша синеватой калькой чертежей, которые захватил в дорогу, все доискивался он правды, о которой не смел догадываться, и, кажется, впервые клял свою дерзкую, безопытную молодость; пожалуй, стоило академическую работу бросить, чтоб только разгадать этот чортов ребус. Графики отличались отменным благополучием, и даже содержание CO_2 было точно такое, какое предписывалось в учебниках. В чертежах также все обстояло исправно, каждой гайке, каждому метру провода имелось свое точное занумерованное место; притом тщательность исполнения была такова, что, в глазах Черимова, никакой картине не сравниться было с ним по красоте. Минутами, теряя надежду на собственную прозорливость, он уже протягивал руку разбудить учителя и, жертвуя всем, спросить в упор о значении обмолвки, и всякий раз не решался.

Тот спал на той сокровенной глубине, куда лишь длинными, кружными путями просачивается биенье действительности. Все теперь стало ему ненужным — ни мир, ни плоско нарисованные на нем понятия, ни мнение людское, ни честь его инженерской корпорации.

Мысль, которая за последние месяцы туго и неуверенно вызревала в нем, теперь воплощалась в окончательные, почти фантастические виденья. — Туманная, голубоватая долина представляла ему среди хребтов недвижных и снежных. Она была обширна и пуста, ее реки текли напрасно, ее богатств не раскопал никто, — ей нехватало лишь людского творчества.

Он видел ее как бы с высокой горы, откуда проще и понятней путаная география мира. Лавины людей приходили сюда из дымных и мрачных предгорий; они пугливо жались у скалистого прохода, ослепляемые едким, как бы ртутным светом долины. Старые дома их развалились, а новые еще не построены; ночи их были темней, а одиночества страшнее, чем в те первобытные дни, когда еще не писались, а только пелись первые земные книги. Они и тут

пытались петь, — неуклюжие их голоса повторяли сиплый лай ветров, под которыми были зачаты. Не сразу, не дружно они уходили в свою голубую неизвестность, а он оставался один на своей горькой высоте...

На протяжении двух суток, пока длилось возвращенье, образ этот повторялся многократно, все острее и могущественней, убедительнее смерти и все менее уловимый в непрочные, неемкие слова. Периоды такого изнуряющего ясновидения чередовались с кратковременными вспышками полной ясности, но до последней облегчающей испарины было еще далеко. В перерывах Скутаревский открывал глаза и лишь по освещенности окна угадывал — утро, сумерки или вечер застает его больного, в дороге. Гора его шла за ним неотступно, как судьба, возвращение в семью пугало его, о сыне он старался пока не думать, друзья... их он заводил ровно столько, чтобы не совсем разочароваться в людях. Оставалась работа да еще вот Черимов, который, присев рядом, с неумелой нежностью держит его влажную, обессиленную руку. Учитель сидит молча, с голыми волосатыми ногами, и опять в зеркале против себя видит свое отражение — бескрасочное, точно в болотной воде. Волосы смокли на нем и слиплись, как на гончей. Ему кажется, что его преследуют зеркала: не зеркало — так осколок стекла, лужа на дороге, всякий глянец, мимо которого проходит. Мир полон его отражений, и каждое твердит, что комета идет на убыль...

Он внимательно рассматривает побелевшие свои ногти.

— Да, это сотерн. Вы пили сотерн, молодой человек? Должно быть подшипники мои сносились. Да, поступь ума моего стала тяжка; он уже не парит, он ползает, его брюхо в пыли. Он уже боится той самой логики, которую раньше делал сам. Посадите на моей могилке желтые цветы. Яростно люблю кадмий.

Реплика означает выздоровление; Черимов терпеливо прислушивается к его воркотне. Выздоровливающие болтливы, как дети.

— Вы еще порядком побузите на этом свете, Сергей Андреич. Я никогда не чувствую разницы наших возрастов. Что..? мне..? вчера стало тридцать. Мне и сейчас хочется похлопать вас по плечу...

— Похлопайте, ничего. Со временем вы напишите хороший некролог обо мне. Отметьте, что вся разработка

вопроса о направленных антеннах принадлежит мне. Не отрекайтесь, у вас есть литературные способности... Да, кстати, что вы думаете об Арсении?

Ему хочется говорить; его томит жгучая потребность объяснить, как много ему хочется сделать и как это ему трагически не удастся. Сумерки делаются гуще. Просто-волосые призраки ночи вприпрыжку скачут за окном: пар. Он тает и внезапно рождается вновь. Гремят стрелки, проскакивают огни, паровозные искры чертят на мраке тысячи осциллограмм.

— Я не видал его десять лет, Сергей Андреич. Я не знаю. Он был славный парень, но всегда с какой-то поправкой на интеллигентский истеризм... — И вдруг: — Сергей Андреич, вы обмолвились третьего дня Кунаеву про котлы, помните? Что означал ваш намек?

Напрасно он расчленяет слова зевотой, чтоб обмануть бдительность учителя. Тот знает, о чем думает этот скромный и требовательный ученик. Он молчит, и каждая протекающая минута притупляет остроту вопроса, поставленного врасплох.

— Мне скучно стало от речей, молодой человек. Я и в прежние годы их не терпел... Я даже как-то плешивею от молебнов. Будьте добры теперь, задерните шторку. Мерси...

Ночь входит в купе. Ноги тяжелеют, тело теряет ориентацию на вещи и внезапно утрачивает вес. Снова у входа в утопическую долину теснится человечество. Но все окутывается дымкой и мельчает, точно Скутаревский смотрит в обратную сторону бинокля. Потом пространство между сознанием и явью единым махом заполняет сон, огромный и мохнатый, как гора.

ГЛАВА 3

Открыв дверь своим ключом, он тихо вошел в квартиру и стоял так, как чужой, которого не приглашают войти. Он стоял долго, прислушиваясь к затухающему фырканью машины, на которой Черимов доставлял его на дом. Все обстояло попрежнему. Прямо перед ним, в просторной прихожей с лакированными, почти броневыми обоями, возвышался шкаф, дубовый, простой, работы честного и бездарного мастера. Поистине это была вещь; она обладала

собственным запахом, она вселяла в посетителей подобающую месту серьезность, по веснам оттуда изобильно выпархивала моль, но какой священный семейный инвентарь хранится там, Скутаревский так и не узнал никогда.

Там, на шкафу, стояли в тесноте серые от пыли гипсы — грек с вытекшим глазом, поэт со знаменитыми бакенбардами, лысая французская старуха, как зло изобразил ее Гудон, — музыкант со стихийным лбом, распахнутым как мишень, чудесный флорентиец, воспевший ад, окрестности любви, рядом с тем мантуанцем, которого избрал себе в путеводители, — и еще казалось, будто одному из них, умершему в самый год его рождения, творцу богов, пророков и сивилл, все шепчет на ухо прощательный бородач из Пизы, что вот он обшарил космос и, отыскав закон, нигде не нашел бога. Позади, в тени и забвенье, теснились еще и другие, и тот же серый пепел судьбы одевал их непокрытые головы. Обращенные лицом к двери, они, казалось, приставлены были охранять драгоценный скарб Скутаревского, и лишь один стоял затылком, драматург в елизаветинском жабо, с зелеными кудрями; когда подрастал Сеник, любимец матери, ребенку давали играть с ним, и тот раскрасил этот бледный, величественный мел своею детской, неумелой акварелью. Весь этот Пантеон недружелюбно взирал теперь на Скутаревского, который со сжатыми, в сущности, кулаками вторглся в собственный свой угол.

Сергей Андреич снял пальто и тихо повесил его на место.

Кто-то сидел у жены. Он прислушался, досадливо обернув ухо к коридору, откуда раскидывалась путаная анфилада профессорских комнат. Сиповато и в приподнятом стиле гость расхваливал высокое качество неизвестного товара. Речь шла о необыкновенной легкости формы, о насыщенной динамике и четкости фигур, о благородстве композиции, о сохранности — как будто не было впоследствии ни варваров, ни гуннов, ни христиан. И оттого, что расточительный поток этих мудреных слов поминутно прерывался раскатистым кашлем, а на полу, рядом с калошами, валялась мягая, гнусная шляпа, а на вешалке торчало знакомое пальто с проплатанным карманом, Сергей Андреич догадался, что это пресловутый Осип Штруфф пришлок на продажу какой-то неописуемый шедевр.

— ...это разновидность чернофигурной амфоры, — так и свистели словесные брызги из Штруфа. — Вы видите эти пурпуровые искры на одеждах Артемиды и Коплита? Ясно, это круг мастера прекрасного Дианокла! Эта безумная вещь стояла в подвале, спрятанная от большевиков. Я пришел, я влюбился, я ходил к ней на свиданье каждую ночь, я забывал спать, я потерял на ней здоровье... Я продаю, потому что ее могут разбить мои собаки.

— Но по раскраске, — слабо сопротивлялась мадам, — это напоминает одну пепельницу... я видела у Петрыгиных.

— ...и у ней была такая же, характерная для Коринфа, рубчатая розетка? И эти покатые плечи, эта ножка, чтоб прикоснуться к грешной земле?.. — Он опять раскашлялся, точно раздираемый пополам, а Скутаревский тем временем подивился — какую мошенническую фантазию следовало иметь, чтоб у дурацкого сосуда из-под оливкового масла отыскать плечи и ноги. — Я пришел в первый раз — вещь эта лежала во мраке подвала. В углу проходила канализационная труба, и в ней всегда журчало что-то и храпело: дом был огромен. Я зажег спичку... — холодом веяло от штруфовых слов. — Из амфоры выбежала крыса, которая жила в ней. Она была старая, с облезлой спиной... Вы знаете, что некоторые породы крыс живут по двести семьдесят лет?.. Я помню ее чуть красноватые вопросительные глаза. Спичка потухла, и в страхе я сбежал, но только затем, чтобы вернуться через неделю.

Стиснув зубы, Сергей Андреич прошел к себе, но скрипнуло под ним в разошедшемся паркете, и тотчас же жена догнала его у кабинета. Словно Сергей Андреич и не уезжал никуда, она заговорила быстрым привычным шопотом, каким разговаривают накрепко сжившиеся супруги; Сергей Андреич не имел времени вставить и слово, если бы захотел. — Она объяснила: Осип Бениславич просит за вазу такие пустяки, что Петрыгины, с которыми она давно соревновалась, в случае отказа немедленно ее перекупят. Притом ваза явно старая, из подвала, чудом уцелевшая от большевиков, редкой тематики, и, что самое главное, подлинность ее удостоверялась сертификатом брата Скутаревского, Федора Андреевича, музеоведа и художника

по ремеслу. Жена торопилась выпалить свои доводы, потому что в столовой, где одиноко выкашливался Штруф, имелись незапертые ящики, а плачевная репутация Осипа Бениславича требовала особого присмотра и осторожности.

— Может быть, ты взглянешь сам? — Она предложила это лишь из дипломатии; муж никогда не вмешивался в художества жены. — И кроме того, если это перевести по нынешним ценам на масло, то окажется совсем даром...

Брови Скутаревского дрогнули.

— Приготовь мне белье, Анна. Я иду в баню.

Она вскинула на него близорукие, в пенсне, глаза и испугалась его надтреснутого голоса: так звучит беда. Вокруг рушились инженерские благополучия, ломались карьеры, гибли репутации, распадалась семья, — она боялась всего. Она закусила губы, чтоб не выдать тревоги. Рядом с ней стоял, зябко потирая руки, совсем другой человек, ничем не похожий на Сеника, и даже волосы на нем, глубокого янтарного отлива, стояли как-то дико. А всего страшнее было то, что никого ближе у нее не было в мире, с кем она могла бы посоветоваться о вазе. Тогда ей захотелось, чтоб он закричал, затопа на нее — вещь небывалая в их семейной практике, но тот не раскрывался и молчал. Она даже не порешилась прикоснуться щекой к его лбу, как делала всегда, чтоб узнать — есть ли жар; кстати, за последние четыре года Сергей Андреич как-то и не болел ни разу.

— Что с тобой?.. ты болен?.. ты потерял чемодан? — И вдруг ей стало не по себе на этой нелюдимой половине мужа.

Квартира негласно делилась на две неравные части; во второй, значительно большей, жили обособленно жена и сын, — даже и гости у них бывали разные, и это существенное различие начиналось именно со Штруфа. Бакалавр неопределенных наук — по его собственному признанию, а на деле акционер предприятия, в котором когда-то работал и Петрыгин, он аккуратно, не реже двух раз в неделю, забегал сюда со сверточками с заднего хода. Его товар зачастую определял политическую ситуацию страны. Сперва он таскал крупу и масло, потом накрепко проперцованные анекдоты, запретные новости, остренький

слушок и, наконец, какую-то поблеклую бронзу из разбитых дворянских особнячков. Коллекция шедевров пополнялась; Анна Евграфовна утверждает, что кое-чем она не уступит и Люксембургскому музею, а фамилия Скутаревского, вырезанная на медной дощечке, надежно охраняла квартиру от всяких непрошенных вторжений.

Все здесь было заставлено, завешано вещами, а иное золоченой гроздью или хрустальной арабеской даже свисало с потолка. Кунаев, придя сюда впервые, испытал великое томление духа; его удушал затхлый аромат этих сомнительных сокровищ. Века и расы сварливо, подобно торговкам, состязались здесь, и было поучительно видеть, насколько по-разному гонялись прославленные художники за красотой, чтобы усадить ее в неуклюжую клетку своего искусства. Было чему дивиться Кунаеву: во что только ни трансформировалась неукротимая гениальность этого примечательного человека. Глубочайших окрасок нефриты, овальные и прямоугольные холсты, старое резное дерево, стекло, из которого привередливый мастер изгнал его материальную тяжесть, — цветистый и распутный фарфор, средневековая бронза, японские лаки, серебро — до крайности похожее на аугсбургское: мадам интересовалась всем. Отсутствие смысла замещалось формой; недостаток формы оправдывался ценностью материала; малая ценность прикрывалась стариной, и тогда самая ветхость обманывала порочной и расслабленной прелестью, готовою распасться на куски. Все это проигрывало на дневном свете, но вечером оно сверкало и слепило стихийным напором чужого и бесполезного вдохновенья.

— Осторожней... весь этот утиль имеет тенденцию падать на голову, — шутиливо оправдывался хозяин и спешил увести гостя к себе. — Идемте отсюда, идемте. Мой ящик там...

То был действительно ящик, и состоял он из одной полутемной, окнами во двор, комнаты, которая не переклеивалась никогда. На сосновых незастеленных полках покоились труды инженерных ферейнов, технические словари, научная периодика и дремали классики электрофизики. Для работы имелся тут длинный, как койка, стол да еще жесткая, как стол, койка, чтобы спать; кроме того здесь же десятый год сохла араукария в кадке и еще притулился старомодный термоэлектрический прибор, стоявший

без заметного употребления. Когда очередная работа не нуждалась в лабораторном опыте, Сергей Андреич энергично ходил по комнате, рассеянным взором блуждая по пятнистым стенам. Единственная и то как-то боком висела тут фотография Милликена, присутствующего на конгрессе энергетиков, да еще фагот — давнее и ставшее знаменитым увлечение Скутаревского; среди знакомых почему-то это называлось *драндулетом*.

Часто в сумерки запахивались вплотную стеганные на вате портьеры, наглухо замыкались двери, — и в полупустой этой коробке, где на протяжении четверти века зарождались движущие идеи прикладной электротехники, начиналась странная звуковая возня, почти драка и порою даже как бы сражение с фантомами.

Должно быть, это и была мелодия его судьбы; несложная, как в курантах, она велась вся в среднем регистре, настойчиво и гнусаво повышалась к концу...

Мадам терпеливо сносила это бедствие; сам Эйнштейн в пятнадцатом году играл вторую скрипку в оркестре, — первую вел один грек из Госплана, которого ей однажды показали в театре.

В такие часы Арсений Сергееч основательно шутил, что отец перекладывает на музыку свой очередной доклад в ВСНХ.

...и вот лицо Сергея Андреича отобразило гнев: драндулета не было на обычном месте. Там, на могучем бронзовом крюке висел портрет длинноносого начальственного человека в берете и с выпяченной губой; из-за плеча выглядывала скверная его длинномордая собака. И хотя человек был одет в гофрированный атласный камзол, с пуфами и красной оторочкой, а на руке имел перстень, было ясно, что это сам Штруф и есть, лишь в ненатуральном своем виде.

— Я просил не трогать моих стен, — сдержанно сказал Сергей Андреич и сделал решительный шаг к обезображенной стене. Вдруг он заинтересованно, даже с подобием свиста, втянул в себя воздух: — Позволь, но ведь это сам твой Осип и есть, да. Анна, ведь это же глумленье!..

Жена торопилась оправдаться:

— Это портрет Франциска Первого... очень редкий. В Ключни висит только копия этого... Я хотела сделать подарок.

Уже не ждала она никакого снисхождения. Дело обстояло проще: в ее комнатах просто нехватило стен на французского короля. Еще вчера вместе со Штруфом она поражалась мастерству и чуткости безымянного портретиста. Да, это был тот блистательный неудачник, но позади уже оставались грустная Павия и альказарское пленение; душевная болезнь уже притушила его глаза, смяла симметрию лица, и даже новеллы его веселой сестры, лежавшие на острых коленях, не могли рассеять его смертной меланхолии.

— Да, да, это конечно сам Штруф. И нос совсем как у Штруфа...

И точно учуяв, что честность его подвергалась сомнениям в глазах постоянной клиентки, тот явился немедленно сам и уже расшаркивался в дверях. Нос его одевали роговые очки и за их топазовой дымчатостью пряталось то главное, для чего он жил, а жил он, говоря по секрету, надеждой на возвращение утраченных акций. Центр его тяжести обрелся где-то в коленях, вздутых пузырями и всегда подломленных вперед. И еще — всегда, где бы он ни стоял — у окна или даже на улице, в майский ли полдень или в ноябрьские потемки, лицо его было освещено неровно, смутно: такое освещение будет, если человека запихать под бильярд, что, по его словам, и проделала с ним судьба.

Явно, человек этот гибнул, и сперва не сознавал, а потом даже понравилось, и то, что вначале было ударом судьбы, теперь стало его профессией.

— Не правда ли, похож? — разом уловил он нить разговора, но подойти ближе ему, видимо, не позволяло благоразумие. — Федор Андреич допытывался, не потомок ли. Я отрекся, потому что бумаги утеряны, а карточки хлебной за такое родство лишат. Но я всецело согласен с вами, Сергей Андреич! Что общего имеет ваше имя с битым французским королем? Это даже компрометирует в такой обостренный момент, когда, знаете, интеллигенцию... Э, да что мне вам говорить! Вы слышали, Вараввин и Брюхе арестованы!.. Этому портрету место где-нибудь над лестницей, на хорах, исторические сюжеты следует содержать в темноте: обольстительно и благородно. Но повесьте лампочку в шестнадцать свечей, и очарование исчезает, а остаются рыла какие-то и кровь, кровь!.. Нет,

а лучше я вам приведу собаку. Редчайшей породы, хотя и маленькая... но ведь собаки растут быстро, как бамбук! Кстати, простите, что я без воротничка... — заключил он, прикрывая горло с жилистым кадыком.

Он говорил так длинно потому, что опасался — как только перестанет, тут его и выгонят.

Сергей Андреич кивнул на стену:

— Где мой инструмент?

— Он упал, — ответила жена с состарившимся лицом.

— Так, — очень твердо произнес Скутаревский и вдруг прорвался: — а короля выкинуть!.. такое... такое надо резать в ямах и заливать хлорной известью. А вам уголь грузить. Грузить некому, а вы лодырь... стыдно!.. — Он задохнулся и провел себя ладонью по лбу: — дай мне белье, Анна, я схожу все-таки в баню.

Все разъяснялось, таким образом, ко всеобщему благополучию.

Когда Сергей Андреич вышел, мадам переждала минуту и вот обернулась к Штруфу с язвительным лицом:

— Я разделяю вполне гнев мужа. У меня самой идиосинкразия на такие лица. Кстати, Сергей Андреич против покупки вашей вазы. Он вообще не терпит греков...

— Это невероятно!.. — отшатнулся Штруф.

— Да, но он может себе позволить это, милый Осип Бениславич! — играя пенсне, молвила мадам.

— Имя Сергея Андреича котируется очень высоко. Я бы даже сказал: Скутаревский — это готика! — и он покашлял, почтительно склоняясь. — Я слышал также, что он вступает в партию?

Мадам загадочно улыбнулась:

— Нет, это сплетня. Есть люди, которым выгодно бросить тень на него. Вы наследили, надо вытирать ноги. Итак, до свиданья, Осип Бениславич.

Штруф опустил голову и грустно глядел на левый свой башмак. Он был бескаблучный, со шнуровкой от самого носка, такие употребляют для коньков. Осип Бениславич думал о том, что недалек день, когда все откроется и старинные клиенты, тыча всякими словами, погонят его вшаей. Вдруг он поджал отвалившуюся челюсть и вскинул голову:

— Прекрасно... Итак, собачку я вам затащу на-днях!

ГЛАВА 4

Дело начинается со старой баньки, что стояла в низинке у реки, в стороне от уличных протоков, — ветхое одноэтажное зданье, притаившееся среди безглазых фабричных корпусов. Они зычно ревели по утрам, они дышали в небо грузною летучей чернотой, они владычили на всю округу, — банька же ничем не заявляла о своих древних неоспоримых правах. Простой и синий, синей синего моря, опоясывал ее кушачок веселой вывески, и четыре ухватистых буквы плыли по ней, как из простонародной сказки парусатые корабли. В людные торговые дни, когда останавливалась гремучая жизнь корпусов, во весь спуск, до дощатого банного заборчика выстраивались бабы с яблоками и пыряющими в нос квасами, носатые молодцы с жесткими мочалками и карамслистыми мылами, выполняли подпольные старцы с вениками, и тогда пахучий, в меру перебродивший товар их песенно шумел на речном, низовом ветерке. Сквозь замазанные известью оконца сочился смешной звук — помесь голоса, растворенного в гулком банном духу, и еще воды... великолепной воды, которая льется! Приходил сюда, главным образом, рабочий люд да еще угрюмая солдатская братва из соседней казармы, ибо на окраине стояло место. Так что когда вспылало октябрьское пожарище, заведение пустовало, и Матвей Никеич Черимов, пожизненный банщик и сторож чужой раскладенной одежды, всю субботу высидел бездельно, изредка вздрагивая и просыпаясь от громов дальней пальбы.

Парился тогда в горячем отделенье один только отставной, на деревянной ноге, полковник, столь великий любитель, что, когда действовал он, никто другой не смел взобраться к нему на полочку из-за жары. Парился он обычно сам, в мокром картузе, парился до того крайнего градуса, пока не грозило полковнику обратиться сразу в невесомое, газообразное состояние. Отпарившись же, полковник пристегивал ногу, выползал в раздевальню и отлеживался часами, накрытый простынею. Из-под нее ужасно, подобно указательному персту, торчала в пространстве его незатейная, на кожаном ходу, култышка. Был он молчалив, безвреден, кроме войны не умел ничего, век дожидаясь на пенсии и, будучи одиноким, на баню тратил все свои досуги... А тут, случилось, смешанный отряд рабочих

и солдат отыскивал пристава, местного душителя и грозу; бежал тот от расправы и близ самой бани растаял как бы в ничто. Они вошли, шестеро, со штыками наперевес, прямо с перестрелки, за один тот день пропахшие вьедливым военным запахом. Они увидели на лавке цветной, начальственный околыш, и хотя не было на нем ненавистой кокарды, засмеялись, всякий по-своему, но все об одном и том же. Они посмотрели на Матвея Никеича и подмигнули ему на мокрую дверь, из-под которой доносилось плесканье. Они втиснулись туда все шестеро разом, одинакие, как братья, молча и деловито; задний заметно шатался от усталости. Вышли они оттуда через минуту, слегка смущенные и потные от банной духоты. Они ушли, не оглянувшись на Черимова, который продолжал сидеть на лавке со строгим неподвижным лицом.

Розовую мыльную пену, расплеснутую по скользким ступеням, скатили водой, и потом очень скоро все забылось. Матвей Никеич был банщик и, чтоб не волноваться, удивления до себя не допускал. Самое снятие царя несколько его не поразило; оно походило на снятие одного устаревшего монумента, которое ему удалось наблюдать и которое ему в высшей степени понравилось: генерала ташили, а тот покачивался и упирался, но вдруг упали вот, раскололись на части бронзовые его шаровары. Видел он также, как вскрывали угодника в соседнем с его деревней монастырьке, и один приезжий из города для пущей наглядности скоблил мощи перочинным ножиком, но и это на него не подействовало. Одна только полковничья кончина произвела на него решительное действие. Он стал прислушиваться к разговорам людей, попрежнему переполнявших баню в субботние дни. Голые, они бывали в особенности откровенны и не стеснялись выражать своими словами то, что волновало их в те поры. Раз Матвей Никеич спросил о знакомом слесаре, ранее не пропускавшем ни одной субботы. Ему ответили, что убит на деникинском, и тут же прибавили, что пора бы и ему, Матвею, повоевать маленько за рабочую власть.

— Куды мне, я банщик. Барабаны, что ли, таскать! — и отвернулся, покраснев.

До того случая был он этакая бородатая амеба, дикарь; из деревни выписали его мальчишкой; не видя ничего, кроме голых спин, он и сам с течением времени становился

банным инвентарем. Если банька пустовала, он сидя спал, и кошмарные сны Анепсия-царя были детскими выдумками в сравнении с его видениями. Даже в молодости снились ему не бабы, не сражения, не обновы, а нечто лукавое и множественное: например, рыбы в пиджаках, либо сто тысяч архиереев одновременно, либо поле, а по нему ползают рогатые улитки, либо просто щека, но громадная и выбритая до такого лютого непотребства, что Матвейка отражался в ней весь, в натуральную величину. Тяжелей свинца была его подушка от застрявших в ней несущих... да и мало ли какие чудища бродят в дремучих лесах сновидений! С возрастом стали ему сниться бороды всевозможных покровов, как в парикмахерской, на парижском листе, различных мастей и вывертов, орда, целое нашествие бород, этакое шерстистое ликование. Тут он и сам от безделья стал отращать себе бороду и довольно успешно, и некому его было остановить.

Родни у него не было, брат умер еще до возникновения этой шалой прихоти, а племянник, прожив у дяди полгода, сбежал на тот же самый крошечный стеклянный заводик, где работал и его отец; не терпел племянник ремесла, к которому начал приспосабливать его дядька. Матвей тогда не огорчился: «молодежи не жалеи; щипанная-то она кустистей растет!» Позже племянник дрался на фронте, еще совсем малолеток; племянник невероятными усилиями поднимался по ступеням большой науки, а дядька все спал, выжидая своего часа. И поистине, нужно было выстрелить в него из мортиры, чтоб пробудить. Изредка, заезжая в столицу, Колька Черимов забегал навестить дядьку на его дырявом чердаке. Он присаживался на узкой койке и долго, пристально, прищуриваясь сквозь кулак, разглядывал своего несговорчивого родича. Тот сидел перед ним, большеротый, с огромными ноздрями, к людям прохладный, насмешливый, наблюдатель жизни, кошель неистребимой звериной силы.

— Никак бороду мою смотришь? — выговаривал он наконец.

— Хороша, ты из нее ровно из багетовой рамы смотришь!

— Хорошая вещь, — соглашался дядя и поглаживал ее бережно. — Надысь в кино звали сыматься. Трешницу давали и пищу.

— Просто шелк... — И покачивался, стиснув зубы, племянник. — С такую и горла не простудишь: ровно в валенке. Не кури только, а то спалишь ненароком!

— Ничего, я ее храню.

В сущности, он нарочно рядился перед племянником в дикарскую свою наготу. Уже с год он обучился грамоте, и, хоть с опозданием, но узнал, за что — неумерщвленный во многих знаменитых кампаниях — погиб безвинный полковник. Нарочно, чтоб пуще раззудить племянника, он рассказывал в подробностях, как в свободные дни он играет на дворе с ребятами в орлянку стертыми николаевскими пятаками; Колька дрожащей рукой поглаживал растерзанный краешек одеяла, на котором сидел. Порою хотелось ему тряхнуть его за плечи и кричать, кричать ему в ухо, как на митинге — о, какую, дескать, лопатую мешать ленивые твои мозги! Но чердак был гулок и просторен, крик человека терялся тут, под глухою тесовою обшивкой. Тогда он молча снимал со стены и в который раз принимался разглядывать выцветшую от времени фотокарточку, где изображен был какой-то военный в полной форме и при усах. И еще там висело — но не девушка в венчике, не ангелок с пасхальным яйцом, а сам писатель Короленко, которого полюбил Матвей Никеич из-за его чудо-бороды.

— Выпиваешь? — улыбался Черимов и кивал на полку, где, подобно матери с младенцем, стояли винная бутылка и крохотный стакашек.

— На ночь трус. От воды хрящики мои ноют.

— Это оттого, что спины чужие трешь, нагибаешься.

— Ты не кричи, а то прачкину девочку разбудишь. Тут у нас за перегородкой прачка живет.

— Почему берешь со спины? — вдумчиво осведомлялся племянник.

— Рупь. Приходи, с тебя половину по родству... — И вот грозился разбухлым пальцем. — Чего, чего мурзишь? Я дую, да вон башка-то, как смоль. А ты и учен, а эвон вокруг ушей-то ровно паутинкой оплело. — Так пренебрежительным спокойствием мстил он этому мальчишке за попытки сманить его на фабричку, откуда самого его уже увела судьба. — Ну, ты посиди, я тебя не гоню... — И начинал шумно укладываться на ночь, а однажды, досады ради, даже и молитовку вслух почитал.

— Все озорничаешь, все путляешь... ось, гадюка! — оборонялся племянник, нехотя берясь за шапку. — Погоди, дохлестнет и до тебя.

А жизнь менялась; расплавленная, она текла, застывая в причудливые, неожиданные формы. Банька хирела, потому что соседние заводы, расширяясь за счет чужих владений, выдавливали ее из низинки могучими кирпичными плечьями. Матвей Никеич видел больше, чем мог понять, но явственно чуял за этим затишьем расхлестнувшуюся пучину. Ему одного хотелось, чтоб уж скорей. Бывало, ночной и близкий, колотился в крышу дождь, чердак наполнялся вздохами и шорохами, и тогда, лежа на твердом своем одре, он раздумывал, как все это случится — в землетрясении, в потоке или же под видом пожара. Возраст его как бы остановился, он не старел, даже не лечился ни разу, а просто старался не заболеть; всякий зазевавшийся микроб погибал в нем немедленно, как в печке. Но раз, выбежав в стужу за веником, он подхватил детскую какую-то простуду и неделю провалялся у себя на чердаке. Прачкина девочка раз в день приносила ему воды. Отощавший и страшный, он лежал один и вдруг ему пришло в разум, что эдак легко и умереть. Кстати, мучила еще боязнь, что молодой банщик Кеша, новое его начальство, не поверит в его болезнь. Поднявшись до срока, он оделся и, как прежде, отправился на работу. Достигнув спуска, где улочка ломалась, он остановился; он не узнал места.

Пыль, летучая известковая дымка парила над низинкой. В ней уже не маячило привычное синее пятно с буквами, огромными, как в букваре. Баню разбирали, а заодно срывали церквуху, с которой она соперничала по субботним дням, кто в себя народу больше приманит. Соперницы погибали вместе, пыль их мешалась и зыбко поднималась на ветер. Артель каменщиков хозяйственно копошилась на заголенных стенах, и один с остервенением и с намаху вклинивал железный лом в окаменелую от времени кладку. Матвей Никеич простоял здесь долго, мешая проходу людей и прицеливаясь вниз потерянными, впервые раскрывшимися глазами. Желанная гроза пришла; она опаляла его веки; пророчества племянника сбывались. Он вспомнил каменную плесень на стене баньки; она то рыжими письменами, то дерущимися гарпиями

распространялась по кирпичу. Еще он вспомнил чахлую сиреньку, что торчала в окне раздевальни, и вдруг прислонился к стене: у него задрожали колени. Когда он спустился, там выворачивали котел — круглую, обожжавшую посудину, у которой он кормился долгие годы. И он помог людям выкатить ее на катки, потому что всегда надо помогать живым побеждать мертвое.

За выслугу лет его перевели в баню высшего разряда, ближе к центру, с огромными окнами, мозаичными полами и всякими водяными ухищрениями. Но то была уже не прежняя языческая мыльня, капище тела и веника, а просто санитарное учреждение комхоза. Народ сюда ходил почище, но Матвеем Никеичу понравился лишь один — стремительный, с рыжеватиной человек. Повествуя племяннику о новом знакомце, Матвей Никеич сказал: «Публика чистая и все с пузырями. В иного руку всодишь — еле вытащишь; скоро жиреют, скоро и колеют. А этот тощеват и, судя по масти, горящий человек. И на чем он догорит, про то нехватат моей мысли...» Тот, видимо, тоже любил поговорить с людьми на римский манер, в голом виде, когда ни различие одежд, ни житейская чиновность не мешают простой человецкой искренности. Первая их беседа, недолгая, состоялась о табаке и мухах, а вторая о покойниках; Матвей Никеич полагал, что разумнее производить похороны ночью, чтоб не осквернять дня. Третья заключалась в рассуждении и истолковании разных мечтаний. И тут выяснилось, что втайне от начальства мечтал Матвей купить себе подходящую гору, со всем лесом, каменными зубьями и зверьми, и чтоб сесть на ее макушке и смотреть, и чтоб дикие грозы округ, и чтоб толстые молнии, ломаясь и щепясь, беспрестанно жгли и клонили эту землю. Уединение на горе свойственно было, таким образом, им обоим; должно быть, на этой же горе, придя с противоположной стороны, и встретился Матвей со Скутаревским.

...было близ полдня, когда Сергей Андреич вошел в баню; в раздевальне висело всего с дюжину пальто, и одна, между прочим, кожаная тужурочка. Банщики бездействовали; один сидел и шупал себе нос, хотя тот был вполне обыкновенный; другой читал газету. Делал он это с великой тщательностью, и, когда Сергей Андреич ушел, тот смотрел все в ту же страницу. В зале стояла

утренняя, незадышанная свежесть, — самые усердные парильщики появлялись позднее, к закрытию. Намереваясь выпарить из себя всю простуду зараз, Сергей Андреич сразу же спросил себе Матвея Никеича, и паренек, оторвавшись от газеты, сообщил, что Матвей тут больше не работает, а почему так получилось — объяснить не сумел. Тогда Сергей Андреич отправился прямо в жаркое отделение. Здесь было пусто, обильно пахло раскаленным камнем, в высоких окнах дымчато и розово светился сентябрьский денек... Он пошел за угол, за шайкой, и вдруг разглядел в сумерках распаренное глянцевитое тело, довольное и усталое; верхнее освещение делало его короче и толще. Рядом, на пестрой мозаичной скамье, вопреки правилам комхоза, стояла бутылка с квасом, и в ней продолговато и массивно отражался упитанный бок толстяка. Все это выражало почти эпическое спокойствие совести, и нужно было иметь неуживчивость Скутаревского, чтоб разглядеть сокрытую азиатскую улыбку позади такого торжественного, безоблачного благодушия.

— А, — сказал толстяк вместо приветствия, и подбородок его, широкий и плотный, заметно раздвоился от улыбки. — Вот, приказано потеть. Сахар, сахар, родной мой, донимает. Восемь процентов, смекаешь? Скоро буду сладкий, как свекловища...

— Ага, значит и ацетоны есть? — сдержанно откликнулся Скутаревский.

— Что ты, оборони бог! — И, налив стакан, смаху выплеснул его куда-то в уса́тый промежуток между носом и подбородком. — Ну, что в Сибири?.. почем жизнь?

ГЛАВА 5

Это и был Петрыгин, брат его жены и когда-то лучший друг, но первый хмель дружбы давно прошел, и осталась одна горькая похмельная фамильярность. Впрочем, расхождение их началось вскоре после того, как поскидали с себя студенческие тужурки; тут и обнаружилась первая трещина. Скутаревского потянуло на новый факультет, и сперва он очень бедствовал в скудной должности ассистента при каком-то институтишке; да и впоследствии, сделавшись преподавателем, не особенно жирел. Петрыгин

же сразу ввинтился в житейскую машину, точно для полной исправности только и не хватало ей этого новехонького с крутой нарезкой шурупа. Обставляясь на первых порах, он и лицо себе выдумал благородное, но в меру, чтоб не отпугивать приятелей, и репутацию весельчака и выпивохи, хотя никто нигде не заставлял его с бутылкой. А легче всего далась ему удалая его беспечность, на которую, как на звонкую монету, он покупал доверие людей. Фортуна благоприятствовала трактирщику сыну; первый же его хозяин, предприимчивый и просвещенный фабрикант, правильно учитывал перспективы распространявшегося электростроения. Молодой инженер поехал в Англию навеститься на — тогда еще передовой — английской промышленности, чтобы с барышом применить на практике у благодетеля и будущего тестя. Петр Евграфович не рассказывал никогда, как получал он этот чек из рук покровителя искусств, дарований и отечественных мануфактур: один стоял, другой сидел, но тот, который стоял, еще вдобавок и посмеивался. Так, со смешком, он и укатил, молодой, проворный, с русым кудрявым пушком вокруг розовых щек. Вернулся он бритым, с желтинкой под глазами; вывез, кроме знаний, еще великий страх перед Европой, который впоследствии его и повалил. Тут как-то неприметно и породнился он с хозяином на почве общего дела и любви: молодая буржуазия умела покупать нищих, не снижая их взлета, не ущемляя их шепетильного достоинства.

В то время Скутаревский успешно заканчивал свою диссертацию; факультеты пригодились ему наконец. Тема ее, которая монументально возникла у него из следствий Максвеллова закона, сталкивала в нем электрика и математика. Через изучение электро-магнитных колебаний, добираясь до сущности всяких колебательных явлений, он уперся в главу, которую, как ему тогда казалось, невозможно было обойти. Дело шло о причинах свечения и электрической самозащите глубоководной фауны. Именно эту главу, над которой на протяжении лет неоднократно издевался Петрыгин, Сергей Андреич заканчивал у него на даче. Вычурная эта и дорогая коробка стояла высоко над рекой. Вечерами принято было наливать чаем до одури и безуступчиво спорить обо всем, что, естественно, по-разному отражалось в сознании теоретика и практика.

Тогдашние их распри протекали бурно и весело; всякая отвлеченная формула, которую Скutarevский обозначал просто интегралом, представлялась завтрашнему шурину его либо качеством металлического бруса, либо атмосферным расширением в котлах, либо кинематикой движущихся шестерен. Сразившись в одной области, они хватались за другое оружие, и молодость, слепой и дерзкий поводырь, таскала их с одного обрыва на другой. Случалось, речь заходила о социальной борьбе, и тогда, потешаясь над эсдековским уклоном будущего зятя, Петр Евграфович указывал с видом превосходства, что только практическая наука и техника способны менять лицо жизни, что все дело в совершенстве машин, а не в классовой борьбе, что изобретение ткацкого станка, например, дало человечеству больше, чем любая социалистическая программа; он уже и тогда высоко ценил свое инженерское звание. Гость кусал губы и сопел. Трещинка на дружбе была еще тоненькая, как на той аляповатой сахарнице, что бессменно торчала на столе. Порою, желая блага приятелю и действуя на дрянное чувство, Петр Евграфович распахивался перед ним во всем своем житейском блеске; Сергей Андреич видел, кроме дачи, — выезд, весьма сараистую квартиру, саженного Гюбер-Робера в позолоченной раме, самовар с затейливыми ручками из благородной кости, всяких обстановочных посетителей в котелках, но злая щелочь нищеты ни в малой степени не разъедала его фанатического упрямства. Молодой ученый вступал в жизнь без лавров, без триумфальных арок, даже без лишней пары штанов: буржуазия еще не видела, за что ей следует платить этому угрюмому босяку.

Тем же летом к Петрыгину приехала сестра, курсистка Аня. Она была чернявая, вроде жужелицы; некоторое неблагополучие с ушами она искусно драпировала блестящими, точно лакированными волосами. Стояла затаившаяся весна; легкий зной перемежался с дождичками; ежевечерне влажная дымка стлалась над полями внизу. Все цело — кусты, лужи, дворник Ефим, небеса, жирная остролистая, как бы нафабренная трава вокруг крокетной площадки, деревья цвели, птицы... казалось, еще ночь — и зацветут вовсе неодушевленные предметы. А едва по небу глубокие, с грустинкой, ночные взмывы

облаков, начинался звонкий, как бы с арфы, ветерок, — Скутаревский балдел от такого изобилия красот... В такую-то ночь Аня пришла к нему в беседку.

Она считала себя передовой девушкой, мораль она сводила к чисто физиологической гигиене. Она сказала, что молодость длится до поры, пока не чувствуешь бремени материи, из которой сделан; Скутаревский удивился, про это он нигде не читал, ему понравилось. Она запутанно выразилась, что мещанство — неперемненное качество каждого индивида на одной из гераклитовых ступеней; Скутаревский смолчал, потому что кроме электронов он не интересовался ничем, и все греки представлялись ему одинаковыми гипсовыми лицами. Она спросила, нравится ли она ему; он признался сконфуженно, что в общем она довольно благоприятно действует ему на сетчатую оболочку... В полночь началась гроза; беседка не протекала только в одном месте, над кушеткой, где спал молодой человек. Аня задержалась. Она ушла на рассвете, босая... прыгая через лужи. Сергей Андреич стоял на пороге, смотрел, как мелькают ее твердые желтые пятки, и смятенно теребил какие-то цветы, высокие и мерзкие, точно сделанные из ломтиков семги. В кустах очень шумели дрозды... И ему очень хотелось догнать Аню и извиниться; он еще не верил, что это уже навсегда. За утренним чаем все перемигивались; челядь подносила ему пврвому. Тетка, которой Сергей Андреич и раньше желал тихого конца, посреди бела дня завела аристон. Петрыгинская собака до непотребства семейственно лизала ему руки; он отдергивал их, она рычала. Сергей Андреич со страхом ждал, что сейчас ему вынесут пахучий, в копну размером, фиолетовый букет. Но он мирился и с этим, он уважал любовь. Через две недели диссертация внезапно потребовала лабораторной проверки. Он уезжал не один. В коляске у Скутаревских, между колен сидела та самая собака, подарок зятю. Сам хозяин стоял у калитки в чесучовом пиджаке, махал рукой и посмеивался. Веселое его настроенье разделяли и присутствовавшие при последнем поношенье — садовник, кучер, помянутая тетка, мальчишка с мокрыми вывороченными губами и еще какой-то разносчик с ягодами, похожий на Григория Богослова.

Когда коляска тронулась —

— Эй, эй! — закричал Петрыгин. — А отчего все-таки рыбы-то светятся? — и дошел до того, что даже погрозил пальцем.

Молодая жена сразу прибрала к рукам нищее достояние мужа; курсы она, разумеется, бросила. Ей удалось очень скоро приспособить молодого ученого к делу, и верно, положение семьи заметно улучшилось. Целый день он что-то изобретал, писал популярные учебники, а жена применяла к жизни; большинство его изобретений разбиралось нарасхват мелкими отечественными фабрикантами. Так, капитулируя понемножку, обменивая на рубли свой яростный талант и научную прозорливость, он жил в чаду подозрительных хлопот и совершенно чуждых ему волнений. Марксистский свой кружок он оставил по недостатку времени; так орех, пуская росток в лесной подзол, разламывает стеснительную скорлупу. Петрыгин со стороны направлял практическую деятельность сестры. Он уже оплывал, все глубже уходя в тестеву коммерцию; оптимизм его рос по мере увеличения числа акций в предприятии тестя. А Скутаревский кончался, из него выплывливался другой, и оба ненавидели друг друга. Через два года, очнувшись от душевного беспамятства, он застал себя в приличной квартире, украшенной помянутыми бюстами; это было и недорого и благородно. В минуту его протрезвления посреди комнаты стояла ванночка, и в ней, разбрызгивая мутную воду, барахтался большеухий младенец — «оправдательный документ любви», как посмел пошутить при этом Петрыгин, и ошеломленный Скутаревский даже не обиделся. Целый час он ходил и все разглядывал бюсты, щупая у них зачем-то холодные, меловые носы, а потом глядел на пальцы. Из соседней комнаты доносилось довольное урчанье мальчика и плеск воды. Это было очень торжественное слово, оно произносилось впервые: сын. Украдкой и по рассеянности набекрень он надел шляпу и вышел. Он шел по улице, и мальчишки над ним смеялись. Он зашел в трактир и впервые в жизни, под оркестрион и в одиночку, напился как извозчик. Он придавал случившемуся огромное значение. Раньше ему казалось, что всякий человек самым своим существованием оправдывает существование отца; теперь он узнал, что сам отец должен оправдать свое

существование перед сыном. Он круто повернул свой быт, сказала наследственная в его характере жесткость; он вернулся к своим диэлектрикам, на которых специализировался. Предельно опростясь, он несколько лет провел над работой, и все его впечатления не выходили из тесного круга лаборатории. Однажды его выселяли за неплатеж квартирной платы; в другой раз его чуть не убило при испытании высоковольтного трансформатора. Семья кормилась на копейки, а Сеник уже подрастал; мальчику хотелось игрушек, мальчик заболел и не было дров, — тайно от мужа жена топила печурку толстыми ежегодниками разных ученых обществ, которые старательно на книжных развалах подбирал муж. Жилье их походило на бивуак; посреди единственной комнаты стояла деревянная тахта; из нее росли зеленые скрученные пружины и жесткий жалящий волос. Сбоку, на сковороде горела и срадила колбаса,верху на веревке сушилось бельецо Сеника, а в окно заглядывала всякая вывеска зубного врача, умершего год назад. Требовался величайший такт жены, чтобы отклонить снисходительную помощь брата. Анна Евграфовна даже не имела времени обратиться к мужу за позволением. Часто, возвращаясь с работы, бессонный и ошалелый, он бывал в особенности нелюдим; в работе он был вполне одержимый человек, — ввинчиваясь в жизнь, он уставал до обморочных состояний и, может быть, имел право на свою грубость.

И тут крупная фирма купила право реализации большой работы Скутаревского по теории пробоя изоляторов. Начало века совпало с порою могущественного разворота электротехники. Человек с бешеной быстротой копил свои знания; он нападал на стихии в открытую, разбивая их поодиночке, и природа не нищала, выдавая свои тайны. Ему уже понравилось летать, но он еще хотел разговаривать через пространства, разглядеть невидимое и взвесить невесомое. Кривая количества механической силы на одного человека двинулась вверх почти по вертикали. Промышленность бурно электрифицировалась; речь заходила уже о высоких напряжениях, о больших расстояниях, о выработке тока в мощных единицах. Открывались новые области, рушились привычные понятия о выгодности, силе и существовании энергии... самая экономика меняла свое лицо. А на горизонте, еще неуклюжие, начинали тлеть

первые катодные лампы. Именно область Скутаревского тайла в себе буквально блистательные возможности; его успехи могли бы обогатить щедрого покровителя; он шел и сам расставлял вехи, по которым робко и с запозданием двигалась отечественная наука. Комета стремглав поднималась к зениту, и уже из Сименсштадта разглядели ее жестокий взлохмаченный профиль. Две, на протяжении полутора лет, работы о перенапряжениях и защите от токов короткого замыкания доставили ему имя. И тогда-то пришлось кстати гибкая антреприза жены. Муж как бы выстругивал одну из самых грозных колонн, на которых покоился космос, а жена продавала на сторону драгоценные и бесчисленные стружки. Первое время, наголодавшись и еще не веря в удачу, она дешевила; позже она обринулась, и тогда началось это.

— Знаешь, о нем говорят все, — доверительно признавалась она брату. — Знаешь, он совсем бесноватый. Что это... талант?

— Кусай, кусай свое счастье... — сконфуженно поучал брат и сравнивал успех с выменем коровы, которое, если не выдоить, совсем перестанет давать молоко.

Деньги ворвались в квартиру Скутаревских в виде мебели, картин, нарядной одежды; деньги были из бронзы, кости, мрамора и хрусталя; деньги становились бедствием, которое следовало преодолевать. Их приносили скромные, вежливые люди; они кланялись, они проносили приятные вещи, они интересовались здоровьем мальчугана, они готовы были здороваться за руку с прислугой. О Скутаревском стали писать в большой технической печати. К нему приезжали с визитами именитые иностранные коллеги. Он консультировал почти в десятке предприятий. Он устанавливал стандарты в международной электротехнической комиссии. Его сманивали в Америку, прельщая судьбой знаменитого соотечественника. Ходили слухи о его кандидатуре на Нобелевскую премию. Он заседал в военно-промышленных комитетах. Его имя ставилось в ряду Яблочкова, Габертейля, Маркони и Лангмюра. Его знали министры, боялись студенты и уважали дворники. Громкое имя его учителя, русского профессора-тяжеловоза, тускло и коробилось, как имя Деви рядом с Фарадеем... Лихая эта метелица успеха длилась до самой революции: она слепила и мешала работе,

которая была его целью, подвигом, схимой и единственным путем к самоутверждению.

Самому ему не удавалось насладиться вдосталь ни славой, ни тем звонким сырьем, из которого она делается. Правда, никто не видал его больше в обтертом пиджаке; правда, он сменил галерку, к которой привык со студенческих лет, на четвертый ряд партера; он купил себе фэгот; он стал чаще ходить на концерты громкой и трагической музыки, которую любил. К остальному он не имел ни вкуса, ни причуд; стремглавый человек, который, по утверждению врагов, логарифмы Гаусса способен был читать, как увлекательный роман. Он не считался с недругами, которых вдоволь наплодила зависть, как не считался с соседями, упражняясь на своем ужасном драндулете. Однажды, наигравшись этак досыта, он очнулся и снова огляделся вокруг себя. Квартира его была огромна и походила на музей. На столе лежал ворох писем с советскими и иностранными штемпелями; они пришли кружным путем: советскую страну уже заперли блокадой. Он понял, что он знаменит, но это не пощекотало его тщеславия, как когда-то получение кафедры.

Он выбрал одно, с фронта, от сына; оно доползло по оказии: *оттуда* не получали писем. Густились душные летние сумерки. Электричество не горело, и Петрыгин язвил в эту пору, что единственное освещение в улицах было от автомобилей Чека... Как был — в сюртуке, потому что собирался вечером заехать на именины ко вдове старого учителя, обидчивой и сварливой старухе, он вышел в более светлую гостиную прочесть письмо. Еще мальчишескими словами Арсений писал о разном — о товарище по приключениям, Николае Черимове, о каком-то смертельном перелеске, где он перележал бой, о неизвестном Скутаревскому Гарасе, а меньше всего о себе, потому что сказать о себе было ему нечего. Между строк он как будто даже благодарил отца за то, что тот настоял на его отъезде в те места, где решалась судьба революции, и следовательно, мира. Вместе с тем ему доставляло как будто удовольствие баловаться гремучими большевистскими идеями; его детский еще ум обольщали молниеносные карьеры командармов, и ему понравилась бы любая война: ее пот, ее кровавая вонь дурманила его незрелое воображенье... Прочтя, Сергей Андреич неосторожно

прислонился к тонконогой этажерке, и, так случилось, какая-то бесценная статуэтка зазвенела осколками у него в ногах; в сумерках невозможно было догадаться, чем это было раньше. Вещь стояла на самом видном месте, и, смешное обстоятельство, несмотря на это, жена не вспомнила о ней никогда. Он воровски рассовал по карманам острые куски и, разогнувшись, почувствовал, что голоден. Ступая на цыпочках, он открыл дверцу буфета; там в закоптелом алюминиевом котелке кисла на доньшке пшенная каша. Он понял, что, несмотря на знаменитость, ему нечего есть. И почему-то именно это сообщило ему веселое и ясное настроение.

По дороге в гости он заехал в институт; тощая, колдовского вида сторожиха принесла ему чай и пирожок из неизвестного вещества. Скутаревский съел его с изумлением. И уже он собирался ехать к обидчивой имениннице, когда ему позвонили из Кремля. Говорил секретарь человека, с именем которого были связаны светлейшие надежды одной и животный страх другой, гораздо меньшей половины человечества. Вождь просил профессора заехать к нему по делу; он обещал не задерживать разговором. За ним прислали машину, и через несколько минут ужасной какой-то неловкости — по коридорам, запутанным, как мозговые извилины, его ввели в большую нежилую комнату; еще следов разбитого режима не успели соскоблить со стен. Скутаревский увидел человека, каким его знал весь мир, очень простого и еще тем удивительного, что самые сложные технические замыслы или громоздкие философские обобщения звучали совершенно понятно для каждого в его речи. Он не удивился сюртуку Скутаревского, но улыбнулся, и Сергей Андреич все ждал, что посреди беседы он снимет с себя пиджак и повесит на спинку стула; в равных обстоятельствах так поступил бы он сам. Духота еще не спадала; обгорелое московское небо шелушилось сохлыми скоробленными облачками. Скутаревский понял улыбку собеседника и неожиданно для себя закурил папиросу из стоявших на столе. Свидание происходило в присутствии другого, невысокого и коренастого человека, которого впоследствии Скутаревский видел много раз на всяких правительственных фотографиях. Ленин интересовался работами ученого; он проявил достаточную осведомленность в мировой постановке

вопроса; повидимому, он знал все наперед и искал лишь подтверждений.

— Вы работаете над передачей мощных напряжений?

— Я ищу, — сказал Скutareвский.

— Слушайте... дайте нам эту силу. Это позволит нам вдвое ускорить процесс! — он имел в виду электрификацию, план которой только еще возникал.

Он привел на память письмо Энгельса к Бернштейну от 81-го года по поводу опытов Марселя Депре, впервые передавшего по проводу десять киловатт на пятьдесят километров. Энгельсу казалось тогда огромным это ничтожное количество энергии; он провидел, что это в корне изменит отношение города и деревни, и он не преувеличивал значения этого открытия. Скutareвский кашлянул; первая в жизни папираса терзала ему горло. Вдобавок Энгельса он знал только понаслышке, Бернштейна знал другого, того зубного врача, вывеска которого заглядывала когда-то в сырую его пещеру. Ленин ждал ответа; его быстрый взгляд, как бы ионизирующий пространство перед собою, остановился на сухих, мускулистых пальцах Скutareвского, щупавших карман с осколками разбитой статуэтки. Скutareвский задвигался и покраснел; его ответ выражал лишь меру его смущения:

— Пока я не имею что давать. Я только ищу, и я не шарлатан...

— Ваш отец, мне передавали, был портной? — непонятно спросил тот, третий.

— Нет, скорняк, — шумно вздохнул Скutareвский. Наступила пауза; человек в военной форме принес пачку перепечатанных на машинке бумаг, но, прежде чем взяться за них, Ленин распорядился, чтобы временно никого сюда не пускали. И, пока он бегло просматривал их, черкая или делая отметки на полях толстым синим карандашом, Скutareвский огляделся. Большая, во всю стену, висела десятиверстка бывшей империи; по ней бежали цветные ломаные полосы фронтов и какие-то еще, не понятные чужому, разметки. Карта была старая, на хорошем миткале, годная жить столетия, но вот она вступила в работу, она делилась теперь не на департаменты и губернии, а лишь на фронты, разные по форме и близкие по содержанию, — ее прокололи в тысячах тех самых мест, где и в действительности прикоснулись к телу России небрежные,

подкованные сапоги интервентов или свирепые плуги революции.

...перпендикулярно к длинному, для небольших заседаний, столу находился другой поменьше, и понравился придирчивому Скутаревскому чрезвычайный на нем порядок. Только теперь он заметил: в углу стола стоял стакан чая — в нем еще не растаял сахар, и лежал белый, уже забытой формы хлебец с сыром. Редкостное для того времени угощение подчеркивало значительность беседы и служило одновременно как бы границей, за которой стояло — *не свой*. И хотя он понимал, что именно так и обстоит оно на деле, профессора обидела эта подчеркнутая любезность; она толкала его на сухую и краткую вежливость; в конце концов его даже тешило, что случайно он оказался в шюртуке для такой знаменательной беседы.

— Вам предлагали пост в правительстве июньской буржуазии?

— Да. Я отказался.

— Это делает честь вашей политической проницательности! — тонко сказал тот, третий, а Скутаревскому показалось — и хитро.

— Нет... А просто кадетов не терплю! — И если бы проанализировал себя теперь, то среди причин отыскал бы непобедимое отвращение к тем, кого обогащал многие годы. — Миру, полагаю, сегодня клистирами не поможешь.

Это была кульминационная точка разговора.

— Значит, вы разделяете и средства, которыми мы боремся?

— Да, но... — они слились в один звук, в новое понятие, эти две противоречивые частицы. — У меня имеются кое-какие сомнения...

— Вот видите, — весь подаваясь вперед, засмеялся вождь, и чуть скрипнуло под ним камышевое сиденье стула. — Если бы вы были свой, наш, у вас не было бы никаких сомнений!

И вдруг, минуя все переходы, он спросил Скутаревского, в чем испытывает тот нужду для скорейшего и успешного завершения работы. Он задал вопрос и, точно предвидя декларацию гостя, откинулся поудобнее на спинку стула, засунув большой палец за плечевой вырез жилетки. Лампочка телефона несколько раз вспыхивала

на столе, и только в первый раз Ленин посмотрел на нее чуть вопросительно и не взялся за трубку. Профессор начал спокойно, он начал с сообщения той великой технической идеи, которая оправдала бы и еще большую резкость. Он расходился по мере того, как вспоминал обиды, нанесенные науке; кожаное кресло, где он сидел, раскаляло его, как печь; сюртук душил этого требовательного ремесленника. Его речь смахивала на декларацию, которая местами переходила в браваду... — Лаборатория при техническом училище, где приютился он с учениками, стала ему тесна. Дорогие опытные трансформаторы стоят прямо на открытом воздухе, не защищенные даже навесом. Городская станция не отпускает потребного количества тока и зачастую выключает без предупреждения. Нет ни литературы, ни самых насущных измерительных приборов. «Мы принуждены мастерить свои аппараты на деревянных гвоздях...» Сотрудники голодают, и еще недавно один из лучших его учеников был арестован за мешочничество. Наука дичает, становится на четвереньки и, конечно, со временем потребуются новые Франклины и Вольта, чтоб сдвинуть с места застрявшую колыхагу... Ленин слушал, улыбался и постукивал карандашом так, словно пробовал крепость его отточенного синего жала. А Скутаревский распалялся, чуть не опрокинул чая, бубнил, гремел, забывая год, сквозь который проходила страна.

Двое по ту сторону стола не прервали его ни полусловом; оба знали приблизительный спектр тогдашних настроений интеллигенции; воззрения даже лучшей ее части можно было бы выразить формулой: благословляю тебя, громила, ибо громишь дом, не милый мне... И тогда-то все обернулось по-иному. Ленин предложил построить новый, со своей собственной подстанцией институт, специально для работ Скутаревского и его немногочисленных учеников. Сергею Андреичу предоставлялись выбор места, оборудованья, составление эскизного проекта и даже самая смета. Неожиданная щедрость потрясла ученого; взволнованный, он встал и снова сел. Потом он поднялся уходить, и, странно, уходить ему отсюда не хотелось.

— ...кажется, я вам тут сукно прожег на столе, — заметил он, неодобрительно глядя на сгоревший окурок.

— Ничего, — засмеялся тот и прибавил, когда Скутаревский был уже на пороге: — У нас сейчас плохо с одеждой, но я постараюсь достать вам костюм полегче.

В суматохе чувств Скутаревский так и не понял шутки.

Неписанный их договор исполнялся до шепетильности точно; через три дня молодой военный человек доставил Скутаревскому костюм, но он был клетчатый и не по росту короток; его отдали носить Сенику, который сразу принял в нем какой-то стрекулистский оттенок. Потом, после двухмесячной беготни, бессонных ночей и бесконечных заседаний, сразу наступила толчея подстегнутой стройки. Скутаревский жил на стройке и, по преувеличенным рассказам, так и спал в сапогах. Безотличный от прорабов, он следил сам даже за кладкой. У него выросла тропическая, густого кирпичного отлива борода. И одно только ему давалось в меньшем совершенстве — искусство ажурного русского загиба... Когда иссякали материалы или бастовали оголодавшие строители, он звонил по телефону, номер которого благоговейно запомнил на всю жизнь. Работа была засекречена, а вместе с нею и сам Скутаревский; за границей думали, что он умер. И правда, эпоха взметнула иные имена — организаторов, полководцев, трибунов. Слава Сергея Андреича звучала надтреснуто, и главная выгода этого заключалась в возможности работать в полном уединении. Химера воплощалась в широкую квадратную башню, почти копию амперовской лаборатории в Женевилье, но с теми улучшениями, которые подсказал сименсштадтский опыт. Все оборудование шло из-за границы. Сквозь окопы войны и рогатки блокады сюда привозили осциллографы — тогда еще совсем новинки, зеркальные гальванометры, редчайшие компараторные аппараты и те высоковольтные, до миллиона вольт, трансформаторы, которых в ту пору не имели еще и немцы. В плюгавые окрестные флигельки, очищенные от всякого кладбищенского сброда — староверческое кладбище находилось неподалеку — вселили сотрудников будущего института, и в голове Скутаревского уже роились планы о создании целого научного городка на этом могильном месте.

В этот год он жил грубо, всемерно уплотняя свой день. К нему перестали ходить, даже Штруф не просачивался

далее кухни; Сергей Андреич виделся только с сотрудниками, но ни Ханшин, ни Геродов не могли бы похвастаться близостью с ним. Несколько ближе, да и то лишь впоследствии, он сошелся с Черимовым. У молодого и старого не замечалось ни в чем особых расхождений, но примечательно, что и при свиданиях с Петрыгиным, очень редких правда, дело обходилось без больших столкновений. Вряд ли то была взаимная деликатность, или боязнь Скутаревского, о котором кто-то пустил злостные слухи, или, наконец, уважение к старой дружбе. Она исчерпалась сама собою, потому что, как это всегда бывает, приятели узнали друг друга до ненависти четко.

Случилась, однако, полудетская на даче, за ужином схватка, не стоившая упоминанья, если бы не был ею нанесен последний незаживляемый шрам их прежней близости. Вечер был тихий, как бы на паутинке нарисованный. В открытую дверь доносилось яростное щелканье бильярдных шаров. Дело началось со скуки, хоть и вишишко торчало на столе, а от анекдотцев желчная отрыжка оставалась на губах: дело началось с разногласий в суждениях по поводу второго закона термодинамики. По существу каждому было наплевать — кончится или не кончится через мириады лет бессмысленное звездное круженье, и нужно было застарелое раздражение одного и другого, чтобы бывшие приятели наделили простую математическую фикцию, интеграл особого вида, такой живую образной плотью. Сергей Андреич отстаивал формулу Милликена о космосе, извечно обновляющемуся изнутри себя; за Милликоном стояли монументально и Гераклит, и Джордано Бруно. Точку зрения Петрыгина, который держался пессимистической доктрины Клаузиуса, он считал вредной и даже нигилистической. Он не желал верить в теплую смерть этой великолепной машины не только потому, что там, на пороге конца маячили безумные призраки покоя и, следовательно, начала и, следовательно, кого-то Третьего, стоявшего вне суммы элементов мира; он не собирался опровергать ортодоксального богословия, он только верил в сокрытую от него изворотливость протона, во всяческую молодость, в тот лучистый могучий вихрь, который представляет из себя вселенная. Петрыгин глядел тускло и

грустно; пессимизм его увеличивался и рос по мере увеличения сахара в моче — и все-таки посмеивался.

— Ох, уж эти мне диалектики! — примирительно вскричал он, перегибаясь через стол и подливая красного винца Скутаревскому. — Они воюют против перпетуум-мобиле здесь, на земле, чтоб охотно и полностью приписать его вселенной. Сергей Андреич, брось, стыдись... ты же русский человек, куда тебе в марксисты!

Жены их не принимали участия в споре; одна думала в эту минуту, что Петрыгин состарился вдвое быстрее своего приятеля, другая о том, сумеет ли она достать хорошие обои для предстоящей переклейки квартиры. Но обе поняли, что имена и идеи — только первые попавшиеся ножи, которые пришлось по руке этим двоим, по-разному, но уже смертельно раненым людям.

Петр Евграфович имел право посмеиваться; он сидел тогда на видном месте, откуда разбегались нити управления по целому сектору электрификации. Высокое, хоть и не заметное положение доставляло ему тем в большей степени душевный покой. В свое время он уходил по забастовке из профессорской карьеры, но его вдруг вызвали, спрашивали принять новую должность, и он успел согласиться в ту самую секунду, когда уговаривающие уже собрались махнуть на него рукой. Из своего кожаного, почти госплановского кресла он с любопытством взирал на зловещую высоту, где пока еще уверенно балансировал его зять. И теперь, встретясь в бане, он с великим биологическим интересом наблюдал этого голого человека, жилистого и подвижного, будто весь начинен был пружинками.

Тот продолжал стоять, точно зазорно ему было сидеть рядом с шурином своим.

— Вот ездили принимать арсеньеву станцию. Кстати, кто пропускал проект?

— Как и все ему подобные, проект проходил через мои руки, через Энерготорф. А что... — и раздумчиво глядел в угол, где эшафотно, в постоянных сумерках, возвышался полук.

— Я опротестую эту станцию, — резко бросил Скутаревский. — Я ее ч чортовой матери опротестую...

Петрыгин лениво шевельнулся; он вовсе не отказывался от беседы, потому что не отпотел еще положенного

срока, но требовал соблюдения хотя бы тех внешних приличий, к каким обязывало их общественное положение. Угроза Скутаревского рассмешила его; станция уже пошла в эксплуатацию, пускай — в силу затраченного капитала, а Сергей Андреич слишком отошел от строительной практики дня, которую сурово корректировала вздыбленная советская экономика. В тот период вся технология материала и людей подвергалась пересмотру, и при этом, например, неожиданно обнаружилось, что человек всегда может больше, чем ему приказывают. И он улыбнулся с той великодушной ласковостью, с которой сильнейший из двух прощает другу его непредумышленную дерзость.

— Ты повышаешь голос... и даже вид у тебя стал какой-то полотерский. Это значит, родной мой, тебе надо в отпуск. Нельзя до такой степени пренебрегать своим здоровьем. И потом, знаешь ли, глухого песней, а большевиков работай не удивишь!

Он замолчал, прислушиваясь к гулкой банной тишине. Где-то за полком капля за каплей заунывно и звучно падала охлажденная вода. И опять Петр Евграфович посмеивался, потому что нет ничего глупее ссоры двух пьяных или голых людей.

ГЛАВА 6

Он знал твердо, что Скутаревский когда-нибудь упадет, и самая высота определит силу падения. Повидимому, из лучших родственных побуждений он решился заблаговременно спасти племянника от последствий неминуемой катастрофы; падая, Скутаревский мог увлечь всех стоящих поблизости. Крепкая и вряд ли только родственная связь между дядей и племянником стала очевидна Сергею Андреичу на примере сибирской электростанции; Петрыгин с его многолетним опытом не мог не видеть чудовищных промахов арсеньевой работы. Когда на обратном пути Скутаревского постигли некоторые грустные догадки, он решил поближе сойтись с сыном, чтобы разглядеть и оценить его по справедливости. В семье Арсений Сергеевич жил особняком; отец не любил навязываться на доверие, Арсений также не страдал откровенностью, мать же попросту не смела расспрашивать

любимца. Отец и сын, живя в одной квартире, встречались не чаще раза в неделю. Их краткие беседы всегда отличались шутиливой любезностью; Сергей Андреич никогда не вдумывался в смысл подчеркнутой осторожности молодого Скutareвского. И когда недобрые слухи доходили до отца, ему, по его загруженности работой, выгоднее было считать их просто сплетнями.

Сергей Андреич жил трудно. Втайне он стыдился своей славы. Ему хотелось сделать много, и выходило мало. Его работы были ничтожны в сравнении с задуманным, потому что — так ему казалось — всякий исписанный лист — только испорченный лист. В жизнь он ворвался как грабитель, жадный и неуступчивый, хватаясь за все, и только много позже растерялся от представившегося ему изобилия. Тогда он решил, что растерянностью этой и сигнализирует о себе приближающаяся старость. Вместе с тем он знал, что недоступное его косноязычным формулам осуществимо уже потому, что об этом мечталось именно ему, Скutareвскому. Так, эгоистически выделяя себя из непрерывного человеческого потока и живя как бы воспоминаниями будущего, он завидовал своему не очень отдаленному потомку, который без усилий достигнет всего, над чем бесплодно корпел он сам. В такие-то часы и гнусавил на все четыре этажа его фагот; тогда-то, после долгого промежутка он и вспоминал о сыне.

Не часто, возвращаясь с работы, он заходил в детскую комнату и шикал при этом на огромные свои башмаки; безмерно важное существо покоилось в крохотной белой кровати. Подолгу, до головокружения, стоя в темноте, он слушал ровное дыхание спящего ребенка. Это был сын — громадное слово, налагающее больше ответственности, чем друг, сильнее, чем единомышленник, — он и понесет в будущее, как эстафету, дерзейшие замыслы отца. Со временем новизна впечатления сгладилась, волнение улеглось, и, думая о нем, он уже не испытывал страха перед лотерейной неизвестностью судьбы. Мальчик часто болел, его капризами держался распорядок дома, и когда Сергей Андреич увидел его однажды при дневном свете, ребенок сидел на полу, утомленно поглаживая рдеющие свои уши. Они были петрыгинские, велики и мягки; это стало первым знанием ребенка о самом себе,

и еще в детстве, когда этот неуместный росчерк природы приписывали его повышенной музыкальности, он всякий раз ревниво и настойчиво искал уши у приласкавшего его гостя. Музыкантом он не стал, Петрыгины не обладали слухом, а уши остались. Всем обликом своим он напоминал дядю, но когда тот начал уже стареть. От отца к нему перешла лишь молниеносная его вспыльчивость, но без отцовского обаяния, достигнутого годами нужды и работы. На службе он считался передовым инженером; его быстрой карьере способствовало зычное имя его отца. Разумеется, не такого отпрыска ждал себе Скутаревский, и, когда высшая ставка была бита, прежняя надежда выродилась у него в равнодушное любопытство. Ему приходило в голову и раньше, что человек имеет право не походить на ту стандартную модель, которую придумал для него тупой и честный доброжелатель.

Выходя в тот день из института, он смутно помнил, как утром, давая распоряжения по хозяйству, жена обмолвилась о предстоящей вечеринке у сына. Сергею Андреичу показалась занятой мысль притти незваным и поразвлечься у молодежи. После поломки драндулета никаких иных развлечений ему не оставалось; театры и концерты начинались рано. Пирушку сына он представлял себе приблизительно такой же, какие бывали в давние годы студенчества: соберутся, выпьют кислятинки, пошумят про народ и Волгу и разойдутся в умилении о себе и о дивном будущем родины своей. Самая возможность окунуться с головой в собственную юность развеселила его... По дороге домой он купил какой-то рыбы в панцырной коже и несколько бутылок знакомого с юности винца. При этом даже кольнула досада, что не захватил с собой Черимова, который давно уже собирался навестить товарища. Поднимаясь к себе в этаж, он из хитрости несколько изменил походку и посдвинул шляпу набекрень, чтоб чересчур трезвым видом не спугивать приподнятого настроения пирушки.

Дверь ему открыла сама Анна Евграфовна; она испугалась его вида и того надтреснутого баса, которым он спросил, тут ли принимают гостей. Она намекнула, что у Арсения собралась исключительно молодежь, но муж только подмигнул ей, как бы говоря, что он сам не водится со стариками... Кто-то читал нараспев стихи. Вешая

свое пальто поверх вороха разной одежды, Сергей Андреич прислушался — он недолюбливал поэтического племени, в старое время ему доводилось изредка полистать их книжки, и всегда его изумляло, как у них хватает совести воспевать эту громадную российскую пустыню, посреди которой кощунственно лежит разбитое мужицкое колесо, безмерность солончаков, куликов на топях, незадачливую импотентную любовь, ядовитый пепел несовершенных желаний и, наконец, это нищенское уныние северной весны; из книг, далеких от его науки, Сергей Андреич перечитывал только Раблэ. С некоторым огорчением он признал по голосу того бледного князца, гимназического арсеньева товарища, который в каждое свое появление надоедал ему, бывало, стихами. На свое счастье Сергей Андреич застал лишь заключительное четверостишие, пропетое с такой чрезвычайной интонацией, что становилось даже как-то неловко за человека:

...женщины наши гаснут,
ботинки наши изношены,
поэты наши расстреляны,
знамена истлели...

Держа вино на вытянутых руках и плохо соображая о происходящем за дверью, он вспомнил одну прогулку с тем самым Брюхе, судьба которого таила в себе такие печальные сюрпризы. Случилось это полгода назад, на майской демонстрации; вдвоем они гуляли по городу, наблюдая бесконечные людские колонны и шопотом обмениваясь впечатлениями. Когда мимо проходил отряд физкультурниц, обтянутых пестрыми спортивными фуфайками, Брюхе зашекотал усами ухо Скутаревского: «Новое племя, обратите внимание, и даже оболочки другие. Грудастые-то все какие, тетки, а совсем еще девочки. Икры-то, икры-то какие! Тут уж, батенька, без лирики, без лютни, а все просто, как в инкубаторе...» Было холодно по-майски, еще снег лежал в полях; плотные, голые икры девушек розово светились под солнцем, и этот грудобатый румянец вызывал желчное осуждение старика. Скутаревский, который еще в бытность за границей задумывался о сущности коротких юбок, тут же объяснил, что всякий молодой класс, шагающий к победе, обязан выставить именно таких — огромных и грудастых. Он обязан

рожать много и бурно, его дети должны быть прожорливы и румяны, его матери — могучи и плодородны. Европейскую моду на плоскогрудых он расшифровал просто: им уже незачем... Брюхе взглянул на него, как на чорта. И уже если угасали женщины и замолкали поэты — значит были они из того Геркуланума, которого очертанья почти утонули под пеплом времени. Минуту он колебался, стоило ли ему вступить в это сомнительное торжество, но дверь распахнулась, и его высокая костистая фигура стала видна всем. Он вошел...

...он вошел, улыбаясь с особой приятностью, что ему всегда в особенности плохо удавалось; он даже пришаркивал, чтобы вышло посмешнее. Его присутствие могло нагнать тоску на молодежь, но по счастью оказалось, что вся она достаточно зрелого возраста. В просторной комнате, прокуренной до последней пакости, качались какие-то лица, качались на тощих шеях и гудели. Чтец еще стоял в эмоциональном потрясении, пронзительно глядя на широкое блюдо, где остатки колбас и севрюг мешались с окурками. И оттого, что одна распитая бутылка бесстыдно лежала прямо на тахте, рядом с девушкой, в прическе которой замечался прискорбный беспорядок, Сергей Андреич заключил, что явился в самом разгаре вечеринки. Его встретили вопросительным молчанием, а девица громко засмеялась. Сергей Андреич узнал ее, она часто ходила к Арсению; все ее лицо было воспалено, точно обожженное солнцем, и как будто затем лишь было ее лицо, чтобы носить эти непрестанно алкающие губы. Мужчины смущенно привстали, женщины переглядывались. Сидеть остался только один, — откинувшись затылком на спинку кресла, он насмешливыми глазами взирает на смятение гостей. Ясно, он презирал эту пеструю ораву; его совсем заурядное лицо было неподвижно, и только в губах, сломанных тайной издевкой, читалась темная, недобрая путаница. Сергей Андреич дружелюбно поклонился этому рано лысеющему человеку, — так вот оно, это острое, ранящее слово: сын.

— Это мой пай, — развязно произнес Сергей Андреич, складывая покупки на свободный угол стола. Никто не откликнулся ему. — Не помешаю?

— Просим, просим... — сказали несколько голосов и потом, после паузы, некая личность в роскошных брюках

и с головою круглее глобуса пропела искусным петушиным голосом: «Просим!»

— Я прошу вас, садитесь же! — настороженно попросил Сергей Андреич и виновато ждал, пока все уселись на прежние места.

Из приличия назвав себя, он уселся было в дальнем углу комнаты, и тотчас же помянутая личность стала лить желтое вино в стоявший перед ним стакан.

— Я тамада. В переводе означает распорядитель пира! — И личность поощрительно склонилась.

— ...приятно! Профессор Скутаревский, — шутиливо отвечал Сергей Андреич.

— Придется выпить, — прогремела личность, на ладони подавая стакан. — Догнать и перегнать...

— Я ведь не пью совсем, — уклонился Сергей Андреич, отставляя колени в сторону, потому что стакан покачивался и вино выплескивалось через край. — Разве уж по-студенчески?

— По-студенчески, — механически повторила личность и, когда Сергей Андреич выпил, очень мелодично, в такт последнему глотку прищелкнула языком. — Теперь вторую.

Сергей Андреич попытался решительно отвести наглую, с пузатыми ногтями руку, в которой покачивалась посуда, но личность не отступала. У нее было круглое плоское лицо, на таких особенно успешно выращиваются бакенбарды; и еще казалось, что, если надеть на него штаны, никто не поймет сначала — в чем шутка. Минутой позже Сергей Андреич вспомнил: этого самого болвана он провалил года полтора назад на выпускных испытаниях. Студент не знал... да, он не знал формулы об электрическом смещении; попутно, рассчитывая на профессорское снисхождение, он посмел упомянуть о близком знакомстве с Арсением. Насколько ему помнилось, он свалил его с чувством исполненного долга и даже спросил на прощанье, не болен ли студент малярией; болезнь эту Скутаревский почитал почему-то лодырной. Но вот роли переменились, и —

— Прошу, — повторила личность с равнодушным лицом.

— Но мне нельзя... мне запрещено! чудак вы! — из последних сил оборонялся Скутаревский.

— Тогда с медицинской целью! — бесстрастно сказал глобус, а колено Сергея Андреича стало слегка подмокать.

Сердито пожевав губами, он выпил вторую и исподлобья огляделся. Гости обступили их кружком, глаза на такое редкостное и даже истории достойное событие. Веселье разгоралось, барышни хихикали. Сергей Андреич чувствовал себя жуком на булавке, которого все тычут пальцами. С непривычки вино ударило ему в голову, и тогда он поймал на себе пристальный любопытный взгляд сына. Обрадовавшись поводу, он кивнул Арсению как бы для установления связи, но тот не изменил выражения глаз и лишь отвел их на какую-то незначительную точку.

— Третью, профессор! — деловито провозгласил тамада, на просвет разглядывая бутылку.

— Вы портите мне брюки, — сдержанно сказал Сергей Андреич, уже помышляя о бегстве.

— А ну, под Омар-Хайяма!

И тотчас же, в сопровождение выискавшихся охотников, стал читать заунывно и нараспев что-то не очень раздельное, но действительно искрившееся восточной, ковровой пестрядью. Там упоминались цветы, улыбки, девушки, и все эти словесные розы раскидывались с такой щедростью лишь затем, чтоб заглушить резкий сивушный запах. Сергей Андреич хмурился; становилось понятно, по какому признаку подбирал себе Арсений друзей. Все они были с какими-нибудь органическими пороками, с неблагополучием рта, носа или ушей, а лица иных и вовсе напоминали безжизненные стеариновые муляжи. Хайям все длился, а глобусный шар покачивался, флуоресцируя, поворачиваясь фазами: так, неожиданно Сергей Андреич увидел Южную Америку, висящую в виде уха. И вот он понял, что непременно промнет кулаком этот назойливый глянцеви́тый картон, если тот произнесет еще хотя бы слово.

Но вместо этого он засмеялся:

— А ну, читайте... быстро... закон об электрическом смещении, — строго приказал Сергей Андреич, уставляя длинный палец в растерявшегося тамаду. — Ну!.. полное смещение сквозь любую замкнутую поверхность, — подсказывал он, и злые цоздри его играли, — в направлении изнутри наружу... ну, чему равно? Я знаю, для вас электричество — это если сургуч потерять о штаны...

Личность поблекла и растерялась; Сергей Андреич переходил в наступление, и никто не спешил на помощь к избиваемому. Барышни снова смеялись, но кружок редел, потому что следующий удар Скутаревского мог прийтись по любому из них. Кто-то догадался запустить граммофон, и тотчас же несколько пар, склеившись, каталептически заходили по комнате. Длинный стол с остатками закусок оказался сдвинутым к стене; комната наполнилась шарканьем ног и шипеньем разъезженного эбонита, а перед Сергеем Андреичем сидел уже он сам, Арсений Скутаревский. То ли от вина, то ли от сознания, что сейчас произойдет очень значительный разговор, он был бледен и неестествен, но насмешлив. Возможно, несмотря на всю неприязнь к отцу, он трусил этого прямого и грубоватого человека.

— Что ж, выпьем, — сказал, разойдясь, Скутаревский старший и придвинул бутылку. — Пьешь?

— *Nisi falernicum*, — и вызывающе взмахнул бровями. — Пришел посмотреть? Да, живу смешно. Чего ты все на Нинку смотришь... нравится?

— Где ты ее достал?

— Так, зацепил мимоходом. Эй, Нинка, ты отцу нравишься! — покричал он, обернувшись, и та прищурилась с готовностью. Они по-мужски, скрытно посмеялись, отец и сын, но и это не прибавило близости. — Хочешь курить? — и протянул коробку.

— Вот ты даже не знаешь, что я не курю. Дверью в дверь живем, а как чужие.

— ...чужие? Это похоже.

И умолк; так умолкают, вспомнив о покойнике. Тут оправившийся тамада наклонился к Арсению спросить о добавочном винном запасе.

— Пошел вон... и потом уйми того купидона в углу! — внятно прошелестел Арсений.

— Откуда ты их набрал, Сеник? — и все шурился отец. — Ведь это все фашисты, у них финки в карманах!

Тот оглянулся на танцующих, и опять Сергей Андреич удивился тому ужасному равнодушию, которое светилось в глазах Арсения. Танец был прост, понятен и доступен даже при ожирении сердца; когда-то очень модный в Европе, теперь он сходил со сцены, но весть об этом еще не докатилась до арсеньева захолустья.

— Да, ты, пожалуй, прав. Все это — подполье. Беру тех, какие есть, — и глотнул отцовского вина. — Где ты купил такую мерзость?

— ...по-моему, ничего... кисленькое.

— ...такое пьют на открытии бань! — он налил себе другого. — Мне сказали, ты недоволен станцией?

— Я заявил себя при особом мнении. В конце концов это порочит всю нашу корпорацию. Я уже не говорю о резервах, которые бессмысленны...

— Да ты не оправдывайся, отец. Дело-то уже сделано! Ты слишком быстро усвоил официальную терминологию на эти вещи. Ты обвиняешь, не зная условий, в которых это происходило. Впрочем, у нас в случае катастрофы всегда привыкли искать виновников, а не спрашивать, почему это произошло. Я читал твое мнение, ты заражен той же подозрительностью, но, ведь ты же никогда не строил котлов...

— Мне пришлось краснеть за тебя, но пока я не обвиняю, — чужим голосом и с ударением вставил Скутаревский.

— Нет, ты обвиняешь!.. молча, по-интеллигентски. И ты забыл, где ты живешь. У нас да без резервов! Это в России, где без болотных сапог в гости не пройдешь, завязнешь. Дядя рассказывал, он еще доцентом купцу одному чертежи делал. Так он ему, подлецу, вчетверо закатил, вчетверо... а тот ему в благодарность Тьеполо прислал. Помнишь, которую в музей отобрали? Тяжел, но вынослив тот сапог, в котором она шагает, матушка, по своим историческим болотам. Я же на этой штуке неврастению заработал. Торфяную станцию приказали проектировать на парафинистом мазуте. Я сделал четыре проекта и до последнего момента не знал, будет ли станция разрешена. С оборудованием четыре месяца крутили — заказывать здесь или импортное. Турбину как невесту выбирали... и это называется плановость? Энтузиастическая истерика, отец. Конечно, наше дело выполнять директивы... Да к чему это я? Прости, я выпил лишнее и все соскакиваю с мысли. Но почему ты так молчишь?

— Я слушаю тебя, очень интересно. Ты продолжай...

Скупое, точно пасту из тюбика, Арсений выдавил из себя кусок улыбки:

— Ты знаешь, что Брюхе арестован?

— Я ждал этого, — почему-то вырвалось у старшего Скутаревского.

— ...вот, вот. А Брюхе выдающийся металлург, в любую минуту его возьмут хоть к Круппу. Впрочем, все это не интересно. У меня что-то в голове сломалось... кажется, в вино примешивают шеллак!.. Погоди, я вспомнил... Я рад этому разговору, дальше все яснее будет. Вот: не уважаю тебя, не хочу лгать, молчать не хочу. Я перестал тебя уважать, когда ты... не отозвался никак на расстрел Игнатия Федоровича. Трусость, ладно, это еще понятно... нет, я знаю твоё рассуждение о том, что государство вправе рационально распределять запасы, так сказать, людской материи. И если опыт не удался, следует сполоснуть колбу и выплеснуть в раковину... а может быть и просто разбить? Это ведь твои слова: нечего горевать об утрате каждой отдельной особи... я еще мальчиком слышал. Ты ведь и раньше прощал этой земле все: войны, дома терпимости, крестовые походы, мечтателей в стиле Чингисов и Торквемад... И это не от безвольного великодушия, не от расслабленности интеллигентской, а потому, что для тебя это лишь электрохимические процессы... Эй, не хамить! — прикрикнул он какой-то паре, которая в увлечении этакой двойной молекулой наскочила на него. — Даже не политэкономия, свирепую мораль которой мы все ощущаем на себе, а просто движение атомов по Лапласовым координатам, игра сложного химического реактива, совокупность миллиарда физических законов, электронный ветер... вот что такое для тебя мир! Помнишь, мы ехали в машине, и ты засмеялся, сказав: мы едем — это только название процесса, к которому мы сами не имеем никакого отношения! И тогда все ясно: закон Ге-Люссака — это добро или зло? Это нужно или не нужно? Ха, мораль даже не из биологии, а из физики: ты выращиваешь ее внутри твоих газотронов. Но внутренне ты чувствуешь, как это нечестно по отношению к жизни, и оттого ты слушаешь меня! Что ж, чтоб жить теперь, каждый обязан выдумать себе подходящую философику.

— Ты зубр, Сеняк, ты просто зубр. Но ты ругаешься интересно... продолжай!

— Вот и я для тебя только колба... но ведь и все они то же самое, а? А человечество в целом — соответствует ли оно твоей догме? — И снова стрельнул в отца злым

смешком. — Скажи же мне, оплот советской власти, где тот человек, для которого все это делается?

— Что ж, Арсений, не цитатами мне с тобой разговаривать. Но давай вернемся к земле! Почему же, если ты сам наблюдал всю эту выюгу дурачества... вот с парафинистым-то мазутом... почему ты не закричал? Ведь тебе же деньги платят...

— ...донести? Ты меня не учил этому. — И вдруг, точно обозлившись на свою оговорку, в открытую набросился на отца: — А ты сам? Вы ездите, критикуете, вожди, а сами обследуете причины свечения рыб? — Он нарочно хотел обидеть его петрыгинской фразой. — А где... где твоя высоковольтная магистраль Донбасс — Москва, о которой шумели в газетах? Где твои многоуважаемые труды по передаче без проводов? Уж если так, вожди, — пожалуйста к нам, на улицу, в наши суматошные истеганные будни, в разрытые карьеры, в дырявые бараки наши.

Сергей Андреич молчал, — возражать было бы бессмысленно да и нечем, да и пора было кончать этот затянувшийся разрыв. Никто из них не нуждался в продолжении беседы. Рассеянным взором Сергей Андреич смотрел на сына, на его узкие плечи, на возросшую бледность лба с испариной утомления и думал — неужели это и есть концовка того искательного рода, который он лишь собирался начать? Должно быть какой-то захудалый предок высунулся из Арсения полюбопытствовать на новую жизнь; отец не прикасался к алкоголю, но прадед, кажется, не умел подавить в себе губительной склонности. Опыт с сыном не удался... А ему так хотелось повеселиться, пошуметь, попеть высоким дискантом, как в юности. Он встал и уже пытался казаться веселым.

— Ну, вы кобелируйте тут, я пойду... — Он заметил неприязненную гримаску сына. — Ты извини, я груб на слово... Твой отец профессор, а мой — скорняк. Я тихонько, не прощаясь!

— А то посиди. Они сейчас перестанут танцевать. Я прикажу перестать...

— Я рано встаю, Сеник. Вот дождру только бутерброд и пойду. Я не обедал нынче... — Он жевал вяло, лососина имела привкус стоялой олифы.

Сын отошел к окну; отец искоса наблюдал, как сомнамбулически пробирался он между танцующих, наступая

на ноги и бранясь. Сергей Андреич оглянулся на шорох; в кресле, рядышком совсем, сидел тот князец, который потчевал стихами друзей в начале вечеринки. В лице его, тусклом и пыльном, как герб фамилии, которую он носил, светилось тоненькое, лисье любопытство; часть разговора с Арсением он успел захватить и выслушал с удовольствием. Проходя мимо, Сергей Андреич задержал на нем свой тяжелый, незрячий глаз:

— Давно пишете?

Тот польщенно поклонился:

— Давно-с. Вам понравилось?

— Где вы теперь?

— Я?.. Переводчик в гостинице для иностранцев. — И опять, с надеждой: — Понравилось вам?

— Ага. — Скутаревский жевал лососину. — Что же не пьете? Такие стихи пишете, а не пьете. Вам запоем пить надо. У вас, наверно, и папа пил... — Тот безмолвствовал, как простреленный. — Онанизмом занимаетесь? — У поэта отвалилась челюсть, и весь он дрожал. — Непременно занимайтесь! — И пошел.

Близ рассвета его разбудили песни; она проникла даже сквозь одеяло, в которое с головой закутался Скутаревский. Тут у него проскочили две мысли: первая — что нет особого греха в том, что сибирская станция несколько лишена облика вполне современной установки; вторая — намекнуть Черимову на душевное нездоровье его бывшего товарища, а при случае крупно поговорить и с шурином.

ГЛАВА 7

Когда при встрече, много лет спустя, они перечисляли обстоятельства их первого знакомства, оба не могли вспомнить — кто именно стоял на их левом фланге: красные или белые; одинаково могли быть и зеленые, а вероятнее всего черная атаманская дивизия... Два разбитых исковерканных отряда слились в один. Будущие друзья встретились за плоской тощих солдатских щей. Молчание нечеловеческой усталости было их первой беседой. У Черимова не было ложки, у Арсения нашлась лишняя от пропавшего без вести товарища. Оба были мальчишки, их могли бы сблизить озорство юности или общее благоговейное

восхищение Гарасей... Но дружба началась позже; их связали страх и чары одной безумной ночи...

Так обнюхиваются и звери на узкой лесной тропе; было, значит, что-то в лице Арсения, подсказавшее Черимову — не свой!

— Ты из Москвы? Я тоже. Твой отец кто?

— Мой? Учитель. — Голос Арсения дрогнул от непривычки лгать: было бы долго объяснять тому грубоватому самородному парню тонкое профессорское ремесло.

— О, значит, ты чистой масти. У меня дядька есть, тоже не грязной работы. Он людей моет, грязь с них обскребает... — и захохотал, точно яблоки на гулкий пол чулана просыпались из мешка. — Покурить ма..?

Отряд кочевал подобно сотням таких же, безымянных, партизанских... ими тогда вскубилось чуть ли не все население Сибири. Видно, не особо нуждался в комиссаре отряд; комиссарил у них, избранный за великую его грамотность, Сенька Скутаревский, а командовал сухонький, земляного цвета старичок, мирный пчеловод, у которого атаман заporол старуху в поучение сельчанам, прятавшим красных от расправы. В то утро старик искал в лесу отроившихся пчел и не слышал выстрелов атаманского набега. Придя домой, он обривнял просто руками хозяйки холмик, который небрежно накидали атаманцы, раздарили медоносное свое богатство соседям, поклонился селу, — хатам, гумнам и скворешням его, надел кожух, рожок с порохом, взял шомпольное ружьецо и пошел с ним на охоту на атамана. Был он самый смирный человек на земле, жил простецким законом, обожал пчел и всякое, даже о самом малом, слово его теплилось восковою свечой. И уже если вышел он добывать чужой крови, стало быть сама земля оскорблена была в своем естестве, и начиналась народная война... Отрядишко подобрался по начальнику — всякая неграмотная голица, ветру родня; ребята звали его ласкательно Гарасей.

Тайга окружала их, как западня, как мать, как вечность. Из поверженных, полусгнивших стволов, в разворотах, в распадинах, обок могучей папорти, выбивались новые великаны поколенья; могила одних служила колыбелью прочим. И когда громадное вечернее солнце пламенило хвойные верхушки, тайга влекла в себя неотступно, как простая, мужественная песня... Фронт прости-

рался необъятно, много раз перестриженный болотами, и по-над ними, подобно царскому орлу, у которого срубили одну лишь голову, кружил помянутый атаман со своей отборной, косоглазой дружиной. Порой, оголодав, сникал он к земле, и тогда впереди неслись — вспугнутое зверье да острей сабель бабьи вопли, а позади стлалось легкое бездымное зарево, — мужицкие деревни кудревато горят, чистоплотно, залиvisto... Все не удавалась гарасина охота; отряду, через посредство Черимова, иные давались оперативные задания, да и шибко летали сытые атаманские кони. Но, чуть отдых, Гарася выходил на опушку и прилежно обнюхивал воздух на четыре стороны света: то ли уж обезумел, то ли по запаху надеялся отыскать законную свою добычу — «...а пахнет он сладким заграничным табачком и чуток вроде как резинковой пригарью!» — проникновенно поучал Гарася, и ребята слушали тревожно, как шорох, как одинокий выстрел, как всплеск рыбы на вечерней реке. Был воистину роскошен одноголовый гарасин атаман; крыльями, как у орленка, топорщились эполеты, и малиновый ментик за плечами цвета алой, пролитой им неповинной крови. — Много лет спустя, со скуки листая журналичко семнадцатого года, Черимов наткнулся на его портрет и долго не мог перевернуть страницу; порубленный атаман еще жил; его раздвоенный подбородок вздрагивал от близости горячего черимовского мяса; его агатовые под чернобурой бровью глаза еще улыбались и двигались на выцветавшей бумаге.

...однажды повезло; отряд наткнулся на легкую атаманскую полубатарю. Видимо, одурев от удачи, ринулся Гарася с отрядом в тыл батареи; он был мужик, ходил по прямой своего сердца, и ни Черимов, ни кто третий не успел удержать его от неминуемого. Батарея обернулась принять негаданных гостей на картечь. Кто-то крикнул, и тотчас же в ослепительном грохоте дрогнула сама планета. В этот двенадцатиградусный угол пулевого разлета попало все храброе гарасино воинство; искрошенное, оно осталось висеть на проволоке, как бы поклоняясь величию непобедимого. Следующие залпы были излишны, но ворон боится живых глаз и охотно клюет мертвые... Ночью Черимов со Скутаревским выкрали Гарасю из-под убитых. Когда взошла овальная малиновая луна, они увидели: Гарасе не повезло на поединке. Шрапнельная пуля засела

в животе, лицо опалилось и даже пороховой его рожок оторвало с ремня ударом. Он был еще в сознании и вспоминал покойницу жену:

— ...дородна была... так они ее заголя драли... — И все косился, с изумлением и ненавистью, на простреленный свой живот; он прожил еще немало часов, но то были последние его разумные слова.

Оставлять живого на звериные, по клочкам, похороны не позволила партизанская совесть. Товарищи переплели скрещенные руки и, усадив старика, бережно понесли. Старик бредил, но бредили и они; он стал тяжелее; огромные его сапоги, подкованные железом и носками вовнутрь, болтались и били их в колени. Чуть не плача, они разули его, но равновесие изменилось, и он вовсе стал падать; они, не сговариваясь, поддерживали его сомкнутыми плечами. Так началась эта странная дружба; крепкое сплетение их рук, плотное, как в клятве, длилось всю ночь, которая выпала длинной столетия. Комаром, гнусом и еще чем-то тонкостным, со щекотными усиками, облепляло их опухшие лица; нельзя было обмахнуться, не потревожив старика, и следовало идти все дальше, — еще чудился застрявший в ушах малиновый звон шпор и дробный топот копыт по дороге. Никто не знал троп, и оба не умели прочесть на деревьях старые, заплывшие засечки, отметины корейцев, добывателей жен-шеня... Они шли, качаясь от одури, жажды и огня, пожиравшего изнутри, а следом волочилась луна. Они были совсем мальчишки, и когда на ночлеге Черимов стал разводить костер, чтоб отогнать гнуса, молодой Скутаревский воспротивился: в полубреду мерещилось — в световой их островок вхлынет тьма, перепутанная с казаками, и смоем их вместе с горящим сучьем. Они спорили долго, пока не повалил их сон. Утром они не нашли возле себя Гараси, — старик ночью уполз за куст и там умер; так же, ища себе укромного места, делает всякий вольный зверь. Старик лежал на животе и, далеко откинув руки, как бы стучался в непарадную дверь земли. Новые друзья закопали его в яме, вырытой руками. Не было даже ножа перерезать толстые трубы, по которым текли смолистые соки уссурийской тайги: они просто засунули его под корни и забросали песком.

...фронты распались, дороги назад стали свободны, на восток уже проникали советские люди и книги, и лишь у

Забайкаля, где все теснее смыкал предсмертные круги атаман, их провели сокрытыми, обходными тропами. Домой они вернулись сумрачным мартовским утром, без багажа, в рваных шинелях, в серой солдатской коросте. Арсения сразу увела к себе мать; из дальней комнаты слышались всхлипывания и усердные, точно целый батальон родственников собрался там, чмоканья.

Черимов стоял в прихожей один; он долго и безуспешно шаркал ногами о коврик, пытаясь вытереть дырявые, проволокой подвязанные подошвы. Он робел гипсов на шкафу, белых, как покойники, он пугался обилия вещей, назначения которых не знал; уже он подумывал о бегстве, когда в дверях, взволнованно кашляя, показался сам Скутаревский.

— А, догадываюсь. — Он махнул пальцем. — Сенник писал мне. Он там, с матерью. Ну, входите, ушкуйник, поговорим. — В мыслях своих он не особенно верил в приключения этих мальчишек. — Ну рассказывайте, кого убивали?.. вы ведь и есть Гарася?

— Не, Гарася загнулся. А я Колька, он, наверно, и про меня писал, — вздохнул Черимов, продолжая стоять, а в глазах стояло грустное: — эх, покормил бы сперва.

Об этом не раз приходилось просить в простых крестьянских хатах, куда заводила волчья партизанская судьба: там эти слова выговаривались просто, глаза в глаза и сердцем в сердце, а здесь вдруг одеревенел язык, точно стыдно было признаться в голоде перед чистым, нестрелянным человеком.

— Да, итак... — делал вслух свои наблюдения Скутаревский; седой пряди на виске, душевной царапины той ночи, он не разглядел сперва. Гость находился в том юношеском возрасте, когда еще смешная, неопрятная лезет из щек борода. — Родных у вас... тетки, например, или там золовки, конечно, нету. — Он считал, что ловко умеет разговаривать с простонародьем. — Вид у вас азиатский вполне, ха, у Гензериха, наверно, бывали такие адъютанты... имеете намерение устраиваться в Москве?

— Ось, гадюка... сапоги сочатся, — укоризненно, в одно слово, произнес Черимов, глядя на следы, уходившие под дверь.

Вопрос хозяина он расслышал, но не опровергал его заключения; он решил, что дядька умер: именно

такие людские бревна единым махом сгорали в сыпняке.

— У нас, в институте, — продолжал Сергей Андреич, — найдется для вас место. Я помогу вам устроиться. Нам нужен честный расторопный рассыльный. Не запиваете?

— Вот, не подойдет, — грустно сказал Черимов, переступая с ноги на ногу.

Сергей Андреич пожал плечами и, хотя внешность собеседника не внушала подозрений, он бегло поинтересовался, нет ли у него малярии. Его поразило черимовское заявление о намерении учиться; это не вязалось с репутацией головореза, которая сложилась у него по преувеличенным отзывам сына, — Арсений романтически приукрашивал действительность.

— Да... но учиться следовало раньше, а вы там с Сеником фортеля творили. Впрочем, у него имеется у крайней мере средняя школа, у Сеника. А у вас и того нет... — Он не отговаривал, а только сомневался. — Трудновато будет...

— Ничего, — тихо сказал тот и страдательно покопился на дверь, из которой доносился торопливый дребезг посуды.

Скутаревский рассмеялся: вот так же и Деви собирався нанять в переплетчики пришедшего к нему Фарадея. Было ему смешно, потому что и сам таким же оборвышем пришел в жизнь, вихрастым, в ломоносовских опорках, с одною пока несбыточной мечтой — стать машинистом при настоящем шипучем паровозе. Он развеселился, и, по правде, это у него выходило честно и заразительно.

— Это хорошо, знаете, валяйте. Я вам скажу по секрету: в мире не трудно, судьбы нет, но себя... себя надо брать за холку и этак к земле, к земле! — и он энергично рванул воображаемое. — Жить вы будете у меня... Чего же вы стоите?.. Раздевайтесь, снимайте свою попону, здесь не украдут! И пойдем завтракать, я тут проголодался с вами... Ну-с!

— Не могу, — глотая слюну, молвил Черимов. — По-есть охота, а... не могу!

— Торопитесь?

— Не, на мне штанов нет, — выпалил он и даже зажмурился; даже лицо у него стало какое-то отвлеченное. — Они были, бог душу вынь, во... мы их третьего дня

на сало сменяли. Полустанок Егорово, слышали? Фельдшеру... а полустанок Егорово.

— Потрясающе! — от души тешился Скутаревский. — Но ведь без штанов нельзя. Без штанов даже на войне неприлично. Чорт, даже памятники в штанах. Так, значит фельдшеру Егорову?.. Слушайте, штаны я вам дам. Но позвольте, значит их и у Сеньки нету? Эй, Арсений... — кричал он, лицом к двери, — ... убивец!

В кабинет, с руками, полными ножей и вилок, вбежала горничная в наколке; даже и на голодном режиме того года мадам соблюдала этикет.

— Они в ванне, — строго сообщила она.

Сергей Андреич посмотрел на грустное, давно немывшееся лицо, все еще торчавшее перед ним, и комически развел руками:

— Вот видите, они уже в ванне! — И в первый раз, без особой выгоды для сына, сравнил их со стороны.

В этом доме, однако, Черимов прожил только неделю; от дальнейшего гостеприимства он благоразумно уклонился. Анна Евграфовна чересчур откровенно запирала от него ящики, и кроме того привкус чужого, хотя бы и сладкого хлеба никогда не приходился ему по нраву. Вторую неделю он прогостил у знакомого заделщика со стекольной фабрички, где когда-то и сам тянул драты. В эти раздумчивые дни, шатаясь по улицам, он составлял план своего дальнейшего наступления. Мир был огромен, рыхловат и богат; он был подходящим материалом для неспокойных его рук. К дядьке вовсе не тянуло; голод привел его на ту же фабричку, и целых полгода, по старой памяти, он выдувал какие-то головоломные флаконы для всяких пахучих специй. Восхождение его началось с рабфака, вступительная наука показалась простой, она запоминалась легко, как номера партбилета и нагана. Потом стало труднее, учебе придавалась фронтовая значимость; самый мешок не успевал вместить ссыпаемого в него зерна. — Черимова спасал только спорт. Ему дали стипендию и послали учиться выше. В течение шести последующих лет он не имел никакой личной жизни; вежами в его однообразных буднях служили лишь прочитанные книги. Он читал все подряд, и даже, если ветер нес по улице ключок печатной бумаги, его тянуло заглянуть в него. Ему удалось заслужить уважение профессоров, один оставил его

у себя для продолжения научной работы. И когда однажды инженер Арсений Скutarevский получил из неизвестности брошюрку с безвестным именем Черимова, он и не подумал, что автор ее и есть Колька; он свалил это на неряшливость почты и даже не заглянул вовнутрь.

Черимов не оглядывался назад, и только, внезапно получив бумагу о назначении в институт, где когда-то ему предлагали место курьера, он оценил огромность пройденного пути. На минуту мальчишеской радостью захватило его дух; ему захотелось скорее показать себя в новом обструганном виде человеку, одобрение которого стало бы ему высшей похвалой. Партия еще не имела достаточного количества ученых, ей не из чего было выбирать, и посылка на ответственную должность не могла считаться признанием его высокой пригодности... На столе лежала толстая пластина зеркального стекла; все еще держа в руках путевку, он опустил глаза и там, среди недвижных отражений, увидел прежде всего жесткую, волевою складку у себя на переносье, почти шрам, который нанесла ему жизнь. Дальше, под стеклом, лежала бумажка, с аккуратным расписанием дня; в три предстояло заседание; он опаздывал. Радость окончилась, он поднялся совсем иным человеком, и стало грустно, что никто в мире, кроме Арсения, не посмеет назвать его по-старому Колькой.

Черимовское назначение в заместители задержалось на целых полгода; вначале предполагалось командировать его просто для научной работы, когда же выяснилась необходимость приблизить деятельность научных учреждений к экономической практике дня, смысл посылки круто изменился. Петр Евграфович, ухитрявшийся своевременно узнавать обо всем, предупреждал Сергея Андреича через сестру о назначении комиссара и даже сопровождал это крайне нелестными характеристиками; Анна Евграфовна с перепугу что-то забыла, что-то придумала сама, и до Сергея Андреича дошла такая ахиня, что и смеяться не стоило.

Новое начальство пришло к институту пешком, в свежее январское утро, задолго до полудня; оно позвонило у ворот и спросило заместителя директора, но тот еще не приезжал. Черимов прождал час, погулял по коридорчикам, перечитал прошлогоднюю, но за чисто вымытым стеклом стенгазету, потом отправился бродить по институту,

и хотя все здесь было засекречено, никто его не остановил. Только у входа в высоковольтный зал стыкнулась с ним хлибкая, облезлого вида особь: «Вам к Скutareвскому?» — «Да, к нему», — машинально ответил тот и прошел мимо. Где-то в углу позади черных трансформаторных цилиндров мерно и оглушительно пощелкивала энергия; эхо обманывало, и казалось, что прямо над самой головой лопаются баллоны с озоном. Гулкое это помещение не имело ни одного окна; слепительный лампикон покачивался посреди прохладного пространства, точно отдуваемый ветром от движущегося Скutareвского, — и всюду — в темной глубине масляного бассейна, в отполированной меди рядников, глазурированном кафеле стен одновременно раскачивалось отражение звезды. Поднявшись по винтовой лестнице, Черимов увидел Скutareвского. В одном жилете, наклонясь над перилами, он грозил пальцем монтеру внизу; та же звезда раскачивалась у его ног в маслянистом глянце пола.

— ...того, имейте в виду, что алкоголь проводник, понятно, Касимов? В следующий раз вон... — Он обернулся и увидел Черимова. — Э, кто? — он потер лоб. — А, припоминаю... это вам я штиблеты дал.

— Вы мне штаны дали, Сергей Андреич, — поправил Черимов здороваясь.

— ...штаны? Да, в полоску. Хорошие штаны. Штиблеты, это тому, прыщавому. Не знаете, где он теперь?.. Хм, не знаете. Ну, принесли назад?

— Нет, износил, — засмеялся Черимов. — Вот приехал представляться. Официально прихожу к вам заместителем, а по существу учеником...

— Я слышал, да. Значит, подучились? — Он вскинул пристальные глаза. Он был в работе, и еще шел от него жгучий ветер из глаз, из самых его растопыренных пальцев. — Но ведь у меня есть заместитель по хозяйству, Селянов, слышали?.. Моложавый такой, в золотых очках...

— О нем было уже постановление, Сергей Андреич. Видите ли, он оказался бывшим прокурором судебной палаты. В свое время он обвинял группу товарищей, в которой был и...

— Прокурор? — и Скutareвский силло, простуженно захохотал; машина внизу перестала хлестать слух своими

разрядами, и теперь это был единственный во всем зале звук.

Скутаревский стоял боком к Черимову, но вдруг повернулся и брюзгливым, чуть прищуренным глазом смерил своего будущего помощника. Всякие, даже такие чудесные превращения человека он считал естественными: к людям он относился до жестокости строго. Несомненно, имелись у этого молодца в жалком мятом галстучке особые качества, оправдывавшие его назначение.

— Он был странный человек, Селянов. И хотя я люблю чудиков, но, черт, нельзя же в кабинете у себя пасьянсы раскладывать... все-таки тут не судебная палата. Так вы говорите, прокурор? — и опять захохотал. — Вот, охрип совсем, плохо топят, — рвал он как ни попадя слова и вдруг уперся холодным, сухим вопросом: — формулу Пика помните?

— Нет... я работал последнее время по аппаратостроению.

— Так вот, Пик наврал, — заметив смущение Черимова, неохотно бурчал Скутаревский. — Коронирование идет лишь до полумиллиона вольт, а дальше все его рассужденья летят к черту. Чудно это вышло: будучи упомянут в стенной газете, ассистент наш от огорчения уронил разрядник и испортил форму... Впрочем, вот, Иван Петрович, объясните сами товарищу. Знакомьтесь, это Геродов!

Здесь, на этой длинной галлерейке, Скутаревский был не один; за пультом стоял пожилой человек, в синем комбинезоне, скромный и приятный взгляду. Тот нехотя оторвался от вычислений, которые чертил карандашом на листке, сбоку мраморной доски; он был в очках, которые чудовищно увеличивали его глаза.

— ...получилась метина, триста целковых убытку, карикатура в газетке, — знаете, как это у нас? — пояснил он. — Но результат стоит больших тысяч... потому что, если изменить форму токоведущих частей...

— Да, понимаю.

Черимов рассеянно кивал, разглядывая ораву чудовищ, хозяином которых становился.

Скутаревский снова свесился вниз:

— Ханшин, не уходите... сейчас начинаем. — Он мешковато помялся, припоминая институтские непорядки. —

А с курьершами ладить можете? У нас есть достаточно, но они учатся управлять государством... чорт, я не против: когда они выучатся, я уже умру. — И с любопытством покосился на собеседника, как тот примет эту пробную шпильку, но тот промолчал, лишь опустив глаза. — Но пока мне нужны просто курьерши. Очень тяжелая жизнь, знаете, тяжелая. И потом отучите эту балду... вон, внизу, пить. Убьет током, а меня засудят за недосмотр... Иван Петрович, прошу...

Возрастая в силе, подобно сирене, поднялось гуденье снизу. Люди отступили по углам и, кажется, стали меньше ростом. Похоже было, будто мириады электрических существ заторопились выйти на скользкую полированную медь. Так продолжалось четверть минуты, пока электрические брызги не прорвали тишину.

— Триста восемьдесят тысяч, — сказал глуховатый голос у пульта.

— Шпарьте дальше.

Еще с минуту длилось ожидание, напоенное низким трансформаторным гудком. Вдруг поток скачущих молний, свивающихся в слепящий столб, родился между полюсами. Обнаженная, сконцентрированная до физической плотности, мчалась к своему равновесию энергия, и треск ее походил, как если бы тысячи остервенелых людей рвали на клочья летящую, распластанную в урагане, ткань. Злое, обжигающее глаз божество это остро пахло озоном. Лампион на мгновенье затмился. Иван Петрович разомкнул цепь и отошел от пульта. «Опять пятьсот восемьдесят», — жестяным голосом сообщил он в опустошенной тишине.

Скутаревский стал надевать пиджак:

— Так вот, оставайтесь, молодой человек. Помогите ему посрамлять иностранца.

Разумеется, это было также пробной штучкой старика и, возможно, экзаменом; по крайней мере так понял Иван Петрович внезапное исчезновение директора. Во всяком случае, повествуя об истории открытия, он углублялся в такие дебри, точно заодно с Пиком собирался устыдить и Черимова в невежестве. Несколько позже, узнав поближе тогдашнего собеседника, Черимов понял, что это была просто страховка себя перед незнакомым коммунистом... Он действительно остался, — этим закончилась научная карьера прокурора и началась его собственная биография;

все предшествующее он считал лишь подготовкой к ней... Впрочем, вначале его появление в институте ничем почти не отразилось на внутренних распорядках; слишком много из того, что не касалось непосредственно научной работы, было запущено. И, как позже формулировал в своей речи Черимов, общественная жизнь слабо индуктировалась могучими токами, которые струились за стенами лаборатории. Только через неделю, на первом производственном совещании, Черимов выступил со словом, которое еще ни разу не звучало в этой нарядной, заставленной шкафами зале. Вступительную речь держал Ханшин, не старый еще ученый, малоизвестность которого объяснялась пока не столько отсутствием таланта, сколько соседством яркой славы Скутаревского. Черимов имел достаточно времени и материала для изучения среды, которую ему поручено было перепахивать.

Вначале Черимов улыбался украдкой наивному пониманию событий и значительным, даже страстным интонациям Ханшина. Оратор прихрамывал на каждом политическом слове, слишком непривычном для области, в которой он работал. Единственно чтобы скрыть ненарочную свою и вовсе не злостную улыбку, Черимов время от времени кивал утвердительно головой и записывал что-то в блокноте. Так он записал: заехать к дядьке Матвею... договориться с райсоветом о жилплощади... купить носки и нитки, — Черимов был холост. Как и Скутаревский, Черимов сидел в президиуме собрания, чуть позади оратора, и фигура Ханшина была видна ему целиком. Нищета сквозила в нем даже со спины; поношенный пиджак был поклоунски узок и короток ему; сухие, с круглыми ногтями, руки костисто торчали из рукавов, его гладко выбритые щеки подпирались старомодным крахмальным воротником, белой и жалкой ветошкой, изглоданной во многих жавельных стирках.

Речь Ханшина действительно далека была от тех образов, на которых учился Черимов. Говорить он не умел, жесты не соответствовали смысловым кускам, — мысль его не шла синхронно с жестом; он кричал незначашее и шопотом пытался передавать громовость. Он начал с того, что вот века человечество жило, безумно позорно растрачивая свои силы, не умея по справедливости удовлетворить потребности всех. Новую эру истории надо же когда-

нибудь начинать, — честь и труд великого запева рабочий класс предлагает науке делить отныне совместно. Он упомянул, что мир еще не оправился от потрясений недавней войны; и хотя моральные раны заживают на человечестве быстрее, чем на собаке, — именно так определил он циничное забвение и не всегда мудрое ликование уцелевших, раны на экономике еще гноятся, смертельно заражая обреченные социальные организмы. Горькое и целительное лекарство, которое применила в отношении себя Россия, все еще отвергается политической медициной Европы. Разность систем и политическая ситуация требуют от советского хозяйства величайшего напряжения, и оттого план реконструкции, рассчитанный в целом на энтузиазм коллектива, упирается в доблесть каждого по отдельности.

— ...вчерашний день не хочет закатываться добровольно, — декларационно ударил он словом. — Мы поможем ему в этом, сделав науку неистощимым арсеналом для пролетариата... — Тугим, еще не смятым платком он вытер запотевший лоб и сконфуженно залистал бумаги перед собою.

Аудитория молчала, она ждала Черимова. И по тому, как оживленно, при его появлении, задвигались блики очков, зашуршала невидимая бумага, заволновались люди, минуту назад чопорные и неподвижные бонзы, стало понятно все.

В его речи хотели услышать отголосок сокрушительных директив; его приход рассматривался как начало разгрома, дисквалификации института, падения Скутаревского, и кто-то уже острил, что самое здание отдадут под столовую губотдела коммунальщиков.

Это была сложная смесь подозрительной настороженности, порою даже вражды и вместе с тем терпеливого внимания, с которым в иное время они приглядывались и к повадкам своих электронов. Доклад Черимова выслушан был в безупречной тишине.

— Класс никогда не кончает самоубийством, хотя умиранию своему способствует сам, — тезисно начал Черимов и, глядя в затылок Скутаревскому, почему-то подумал, что она сильно слиняла за эти десять лет, пламенная его рыжеватина. — Его гибель естественно вызывает судороги в смежных организациях, и в этом заключены причины сомнений, страха и зачастую прямой враждебности их жиз-

нетворным силам революции. Истинно передовой ученый не может быть реакционером по самой конституции своей... — И дерзко перечислив имена, он беглым взглядом окинул всех тех классиков естествознания, которые — одетые в тяжелые дубовые рамы — выглядывали из книжных протенков.

Он запнулся; в этой аудитории митинговый прием не мог сойти за нужную политическую убедительность, но не умел пока обойтись без бойкой, захватанной фразы; он машинально потер висок, и этот жест простого человеческого раздумья переломил настроенье аудитории, хотя бы временно, в его пользу. Программа речи была велика; необходимо было показать, как синтезировались в марксизме достижения естественных наук, подчеркнуть роль ученых в Советской стране и проиллюстрировать примерами, как всякий приходит к социализму через данные своей науки. Выгоднее было начать с параллелей между отношением правящего класса к науке в старое и новое время, и, хотя это выходило из пределов взятого им отрезка времени, он не удержался помянуть имена Галилея, Бэкона и Джордано.

Он не пренебрегал и мелочами, потому что и они убивают наповал. В его свидетельской щеренге стояли и Попов, которому морское ведомство расщедрилось на триста рублей для опытов, — и Зинин, имевший несчастье в царской Казани впервые отыскать анилин, — и Бессемер, умерший в нищете, — и Фарадей, которому узколобый лорд отказывает в пенсии, — и Менделеев, который по совместительству работал дегустатором вин у московского купца Елисеева. Следствия обозначали причину, он стал говорить об импотенции капиталистической системы, которая не в состоянии ни насытить до мудрости своих художников, ни реализовать рекорды своих наук. Это говорил простой рабочий, и тем суровее была его прокурорская речь, что прямолинейному разуму его недоступны были смягчающие обстоятельства...

Никогда еще не доводилось ему говорить так разбросанно, и никогда он не получал таких аплодисментов; человек в исстиранном воротничке все чаще оборачивался назад. Аудитория знала примечательную черимовскую биографию и теперь дружественно приветствовала человека, в такой мере потрудившегося над собой. Его вступ-

ление в институт Скutareвского могло считаться триумфальным, и собрание подходило к концу, когда произошел эпизод, который один мог рассеять весь черимовский успех. Среди поданных записок оказалась одна, без подписи, и Черимов, торопившийся закончить, с разбегу прочел ее вслух. Анонимный автор просил напомнить ему, где именно у Бебеля сказано, что для построения социализма прежде всего нужно найти страну, которой не жалко. Было так, точно выстрелили вдруг в Черимова из аллегорического букета, который подносили внезапные почитатели его большевистских талантов. С осунувшимся от неожиданности лицом, голосом очень спокойным, даже улыбочатым, Черимов предложил анониму назвать себя. Зал зашумел, задвигался, мнения резко разделились, и хотя это и было то самое, чего втайне добивался Черимов, праздничность заседания была бесповоротно сорвана.

— Я предлагаю автору записки назваться хотя бы письменно, — повторил Черимов, и взгляд его остановился на симпатичном Иване Петровиче, с которым познакомился на хорах у Скutareвского.

Тот сокрушенно протирает очки и качал головой, осуждая возмутительную неприличность поступка в столь благородном сообществе. А Скutareвский тем временем звонил со злым и сконфуженным лицом:

— Я требую немедленно... назваться этому гражданину. — Видимо, было ему не до грамматики. — Оскорбительный вызов этого... — он пожевал воздух и попробовал вырвать записку из рук Черимова, но тот не отдавал, — ...этого, с позволения сказать, пипифакса позорит всех нас...

Снова в зале поднялся шум, смешанный с раздражением и смехом: какой-то не в меру смешливый человек громко пошутил, что ворота института уже заперты и самый институт оцеплен войсками; некоторые поднялись уходить.

— Я сожалею, — все еще улыбался Черимов, — о трусости моего безграмотного корреспондента. У меня имеется лишний экземпляр биографии Бебеля. Я мог бы послать ему эту книжку даром. Бебель сам был социалист, и насколько я помню, фраза эта... — ни реплика, ни шорох не прервали паузы, которая у него вышла сама собой, — приведена у покойного ныне врага нашего Бисмарка. От-

мечу, кстати, что на Уссури я охотился на одного, также покойного ныне, атамана, который ругался много цветистей и, по моему убеждению, современной... — Он сел и кивнул Ивану Петровичу, который открыто хлопал ему, кажется больше всех.

После перерыва Скutareвский отыскал Черимова в коридоре и демонстративно, точно заключал договор дружбы, похлопал его по плечу.

— Вы здорово выросли... хотя *так* говорят, конечно, только с детьми, которые провинились. Знаете, мне не жалко тех штиблет. Что?.. нет, не жалко. Вы, кстати, дайте-ка мне ту поганую записочку... я его сейчас расшифрую, я его в конторе по почерку отыщу.

— Пустяки, Сергей Андреич, — засмеялся Черимов, но записочку все-таки решил сохранить. — Просто злоба обывателей никогда не соответствует их грамотности...

— Ну, вам виднее. — Он накрутил на палец бородку. — В отношении Уатта вы, конечно, пригладили, а насчет Менделеева я проверю, да, насчет Менделеева.

Когда через месяц высшее начальство спросило у Сергея Андреича о его новом заместителе, он удовлетворенно пробубнил, что неизвестно, почетнее ли быть учеником Скutareвского или учителем Черимова. Таким образом все закончилось к обоюдному удовольствию сторон.

ГЛАВА 8

За весь этот срок фронтовые друзья не повидались ни разу и, хотя их области почти соприкасались, даже не слышали друг о друге. Укрепившись в институте, Черимов зашел однажды к Кунаеву, который неделю проводил на съезде в Москве, и потом они вместе поехали к Скutareвским; Кунаев давно искал более близкого знакомства с Сергеем Андреичем, которого издали уважал и ценил. Жили они все в том же переулочке, и тот же гипсовый Олимп таращился на посетителей при входе. *Старика*, как его называли заглазно, не оказалось дома. Арсений брился перед зеркалом, у матери сидел Федор Андреич Скutareвский... В первое мгновенье, пока не разглядели друг друга в подробностях, оба искренне обрадовались встрече; они даже обнялись бы, не будь Арсений в мыле, — во всяком

случае рукопожатия им нехватило, чтоб выразить всю радость о воскресающей дружбе. Потом, когда восклицания иссякли, они уселись вместе на тахте, как бы готовясь к целой неделе обстоятельной беседы.

— А это Кунаев, всеобщее наше начальство. — Он не преувеличивал; удивительно поднималась кунаевская звезда. — Смотри, Сенька, какая орясина! знакомьтесь, непременно станете друзьями...

Тот мешковато пожимался, озабоченно шурился на завешанные картинами стены и все косился на дверь, в которую должен был притти Скутаревский-отец.

— Ну, вырос ты, как-то поширел... а башка все та же, цыганская. Служишь где-нибудь по артистической части? — допытывался Арсений. — Ты ведь петь пробовал... А как со слухом?

— Нет, я по научной... Да неужели же Сергей Андреич ничего не рассказывал обо мне?

— Мы разошлись немножко, — потупился Арсений. — Так это ты и есть?.. тот самый Черимов?

В памяти он держал его совсем другим, — задиристым и не без азиатчинки парнем, к которому в мыслях всегда относился чуточку свысока; не без самодовольства и даже ставя себе в заслугу, он припоминал тот отдаленный, у костерка, вечерок, — о, эти незадышанные, еще горьковатые вода и воздух юности!.. — когда он сбивчиво и с жаром вдалбливал в Черимова простенькие сведения об амебе. Лекция не выходила из пределов популярного учебника, но Черимову и это было откровением, а Арсению, если покопаться поглубже, приятно было сознавать, что кто-то на свете знает еще меньше, чем он сам. Теперь его постигло странное ощущение, будто перешагнули через него, будто в знакомых с детства стихах любимую строчку подменили плоской и несозвучной. У него нашлось честности сообразить, что новая его эмоция вовсе не похожа на прежние юношеские соревнования... У него на стене висел в рамке давний рисунок дяди на знаменитый пушкинский сюжет о двух музыкантах, молодом и старом; Арсений всегда поражался ничтожеству одного и беспечности другого. И вот наяву из душевных сумерек в сумрак вечера прошмыгнула сутулая тень Сальери; тогда пятнистый румянец проступил по его щекам.

— ...Женат?

— Нет.

— Но уже, конечно, в партии? — напряженно спросил Арсений.

— А ты, конечно, нет? — в тон ему улыбочато откликнулся Черимов, и тогда, стремясь избавить приятеля от ответа, прибавил дружески: — Ты брейся, брейся, а то сидишь в мыле, как судак в подливке. Спешишь?.. заседание?

— Нет, я в театр, — быстро солгал Арсений, и теперь ложь ему удалась гораздо легче, чем десять лет назад. — Дают *Игоря*...

— Может, и нам поехать? — раздумывал Черимов, вопросительно глядя на Кунаева. — Никогда не слышал этой оперы. Говорят — здорово, а?

Перестав бриться, Арсений с горящими ушами смотрел через зеркало на Кунаева. Тот колебался:

— Не выйдет у меня со временем, пожалуй... Вечером Семен обещал забежать.

И опять Арсений мазал себя пушистой пеной и, хотя успокоился в отношении театра, все еще не мог примириться с новым Черимовым, который в плане житейском становился теперь рядом с ним. Из вежливости он спросил его, как все это произошло; тот отделался шуткой, — не любил говорить о себе. Между тем Арсений видел, что, даже поднявшись на эту высокую гору, он пока еще одышкой не страдал. Заметна была, наоборот, подчеркнутая тщательность в повадках, в речи, costume и в отлично выбритых щеках; украдкой, по старой привычке, он пригляделся к черимовским ушам: они были нормальны, мочка великолепно закруглялась вверх, они были чисто вымыты. «Боятся, что заподозрят... догадаются о банной родне», — снисходительно решил Арсений, хотя и знал, что это клевета. То была лишь опрятность механизма, сознающего свою ответственность. «Вот оно, племя младое, незнакомое...» — еще определил он и тут же почувствовал, что отношения их никогда не станут прежними.

— А ты молодец, Николай. Ты... ловко. Нет, отец не рассказывал, нет. — Он сам брил себе шею, слегка касаясь бритвой. Тонкие эластичные подтяжки, с рисунчатой выделкой, упруго натянулись, и Кунаева всерьез щекотнула смешная догадка, не сделаны ли они из дамского материала. — Слушай, Николай, а ведь через два месяца ровно

десять лет... И вот встретились, как это говорится, во втором воплощении. Странная штука жизнь... и есть в ней все-таки тайны, Николай, которых мы так никогда и не узнаем.

Черимов насмешливо покосился в его сторону, и вот уже ни один из них не испытывал сожаления, что со времени давней разлуки они не обменялись и письмом.

— Да, это похоже на тайгу. Все перегнило и стало расти другое. Занятно, конечно...

Арсений перебил его:

— А помнишь, мы собирались навестить Гарасю... — он с особой мягкостью произнес это слово. — Знаешь, я даже хотел разыскивать тебя. Вдруг как-то накатило: ехать, ехать, ехать... Поедем, а?

— Я не помню, о чем ты?

— Когда мы зарывали старика, мы дали обещание посетить его через десять лет. Через два месяца — срок. — И он распространился о Гарасе, возвышая его чуть ли не до былинного старчища, который с рогатиной, один на один, вышел на интервентов; он утверждал, что не пришел еще Гомер этого грозного человеческого бунта, потому что зачатки поэм только раскиданы по ветру и многое пока не проросло; скучную гарасину гибель он возвышал до подвига, и если, в конечном итоге, выходило у него не плохо, то оттого лишь, что о смерти и самое дурацкое мудро. Он героизировал все подряд, потому что тем самым и себе, существованию своему создавал оправдание, теплое и уютное, как селение горнее. — Едем?

— Пустяки, Сенька. Старик не обидится, он полежит еще. Мы были тогда щенками, он поймет. А полководец он плохой: за один удар все войско свое потерял... Работать надо, Арсений, а мы все спим.

— Ну, впрочем, мы не спим... — с ироническим холодком поправил Арсений.

— Я сказал — спим, — резко бросил Черимов. — Мы делаем мало, даже если мы делаем много. Мы еще не понимаем смысла переворота, который произошел. Мы допускаем чудовищные резервы... помнишь, Фома, сибирскую торфянку?... — И, почему-то смягчась, прибавил: — Я злой нынче...

— Да, ты сердитый сегодня. Ты и меня в оппортунисты вклеил, — тихо упрекнул Кунаев.

— Я на Ширинкина нынче обозлился... да ты его знаешь, Фома! Он из наших, мы кончали вместе. Давеча заехал к нему и... чорт его знает, какая расстроилась у него секречия. Понимаешь, Арсений, его одолели вещи, хватательный инстинкт развился, а ведь как дрался-то в Октябре... то есть он депеши по городу под выстрелами таскал еще мальчишкой. И оказался дьявольской пустоты человек. Так он для заполнения дырки вещи в нее впихивает: сервант купил ореховый, абажуры — как юбки кокетки... банкетки, годные только для разврата. И понимаешь, хватило хамства: пианиной хвастался... — он нарочно исказил слово, чтобы оскорбительней вышло. — Стенвей, говорит, ранних номеров, а всего полтыщи. «Играешь?» — спрашиваю. «Нет, говорит, а для параду». И подмигивает, скотина, взятку дает... «Может, говорю, ты за этой лакированной штукой и на баррикаду лез?» Молчит, молчит... «Ну, говорю, шагай в жизни и портфель свой крепко прижмай к боку, чтоб не вырвали».

— Да, ты злой нынче, — со рдеющими ушами согласился Арсений. — А может, у него мечта была, а ты пришел, надругался да еще, поди, окуроч на клавише оставил.

— Окуроч я ему в китайскую вазу засадил, — сурово поправил Черимов.

— Я хотел сказать, всякий имеет право на свою радость, — неуклюже сформулировал Арсений.

— ...что-о? — и хохотал, но уже не яблоки, не антоновка незрелая, а хрустящая галька пересыпалась в мешке. — Не имеет... он обязан классу... в нем моя, плебейская кровь. Если мы... если мы проиграем...

— ...хотя это вряд ли, — внушительно вставил Фома.

— ...проиграем — иеромонахи Европой станут править, смекаешь?

Арсений все брился, но дрожала его рука. Уже саднило кожу, а он все брился, потому что следовало в эту минуту спиной стоять к другу и не показывать лица. И он чувствовал, что брань, назначенная для другого, самого его хлещет по щекам. Он заговорил, волнуясь и срываясь с голоса:

— А если усталость?.. Мы босыми ногами шагаем по истории, а ты думаешь — не больно. И разве стыдно говорить об этом? Была молодость, романтика, теперь — государство, закон. И потом, ведь социализм-то — ведь это для человека. Я даже допускаю его право сидеть и рисовать

дсмики, если ему надоело воевать, бороться, не спать ночей, если ему надоело нравиться тебе и ежеминутно заслуживать твое одобрение. А может он хочет, я к примеру, на Малайском архипелаге срубить собственноручно баобаба.

Черимов опустил глаза; было ему стыдно перед Кунаевым за эту словесную размазню. А тот сидел в полном изумлении и все слушал, все слушал.

— Баобаба — это оригинально, но голландцы визы не дадут, — пошутил с кривой усмешкой Черимов. — Ведь ты это про себя! Ну, милый, какая там романтика! В отряде ты был всего три месяца, в двух-трех перестрелках...

— Нет, я и раньше... — отмахнулся Арсений, словно отбивался от руки, которая его раздевала.

— ...я и не спорю. Ты рано начал воспоминаниями жить, товарищ. Вчерашняя романтика всегда хуже сегодняшней. Романтику мы делаем сами. Слушай, Арсений, брось ты этот музей, в котором живешь. Уезжай куда-нибудь на стройку, где каждая строка стоит фронтовой страницы... Ты слышал что-нибудь об ударниках? Иди в массы, растопи свой лед, не буксуй зря... Вот, Кунаев начинает большое дело на Урале. Он тебя возьмет... возьмешь его, Кунаев?

Кунаев привстал с серьезным и решительным видом; он был огромен; крупные рябины искажали самый овал его лица; выходило, будто в детстве жевал его какой-то дикий восточный мор и, поломав зубы, бросил. Арсений близоруко шурился и все не мог понять, почему не приятна ему уверенная, литая кунаевская сила.

— Давай чернила и бумагу, — сказал Кунаев дружелюбно и зычно. — Счас я напишу тебе назначенье... хотя постой. Едем послезавтра вместе. Я тебя окуну в эту домну по самую макушку. Я твоего отца крепко что, на большой палец, во.

Арсений молча вытирал бритву, острое ее заманчиво щекотало палец, а Черимову стало скучно. Он опять отошел к шкафу и зорко рассматривал арсеньевы книги; одолевало его непонятное желание отыскать то, чего там не было. И все еще грязной казалась бритва Арсению... Он слабо пошевелил губами: переродиться. Но надо слишком крепко умереть, чтоб родиться заново. Вода лишь полгода бывает камнем, а потом снова течет. В эту минуту он почти читал черимовские мысли. Первая была: «Как мало общего

у него с отцом; вторая была очень длинная, ленивая и кончалась сочным зевком. Смута и растерянность охватили Арсения. А ведь он искренно берег в себе воспоминание о фронтовой поре, как о феерической смеси опасностей, случайностей и лишений. Не имея ни силы, ни желания вторично пережить все это, он, однако, не согласился бы вымести из памяти этот драгоценный сор. Он поистине любил отчаянных и погибших друзей: мертвых любить приятно и необременительно... Теперь же стало так, точно они ворвались к нему, эти не очень милые фронтовые призраки, и растоптали уютный уголок, где он взлелеял свое лирическое тщеславие. Вдруг прозрев, он понял, что всегда, заодно с Черимовым, презирал чуть-чуть и Гарасю; он вспомнил, как в потаенной мысли своей, умирая от усталости, он дивился в ту ночь угрюмой гарасиной живучести; он вспомнил свои ноги, сбитые в кровь корявыми мужицкими сапогами, разбухшие лошадиные трупы посреди романтических пейзажей; он догадался, что ничего не изменилось в мире, если бы и его самого расклевала горбоносая падальная птица... Раздетый догола, не смея даже кричать о грабеже, Арсений насильственно улыбался и молчал. Молчание это было одинаково томительно для всех троих.

Вдруг он сказал:

— Чудно... а теперь, может быть, ту пихту уже срубили на экспорт.

— Это гарасину? — неискусно подхватил Черимов. — Но позволь, ведь мы его закопали под лиственницей.

— Да нет же, ты забываешь. Это дерево я как сейчас вижу. Чуть наклоненное бурей, корье растрескалось, вершина двойная... и рядом другая, потоньше. И еще почему-то шпора там валялась, а чья — неизвестно. И, надо признаться, мы оба испугались ее...

— Вот шпоры не помню, — очень настойчиво и вежливо ответил друг и, потягиваясь, встал, чтобы не сидеться больше. — Ну, ты извини, мы ведь мимоходом забежали. Еду в командировку. Что делать, партии нехватает своих инженеров. Да надо еще к дядьке забежать, поругаться. Ничего, что мы задержали тебя в театре?

— Театр?.. — смутился Арсений, — нет, я еще поспею ко второму акту.

В эту минуту вошла мать в сопровождении Федора Андреича. Она не сразу узнала Черимова, который суховато

поклонился ей на пороге. Только после, по конфузливой торопливости, с которой сын побежал провожать гостей, она вспомнила того бесштанного арсеньева спутника, от которого панически прятала серебряные ложки. С теми же красными ушами, что и сын, она стояла спиной к двери и слушала ужасное молчание бывших друзей. Его не могли заглушить, конечно, поскрипыванья нового кунаевского полушубка.

Впрочем, Арсений сказал:

— Снег не идет?

— Нет, опять потеплело. Когда Фома надевает шубу — наступает оттепель, — и все не мог попасть в рукав, в котором оторвалась подкладка.

— Этот галстук на тебе заграничный? — из последних сил старался удержать что-то Арсений.

Кунаев попрощался и вышел на лестницу, Черимов не расслышал арсеньева вопроса, и тут что-то вскипело в нем самом:

— ...а ведь я ехал напиться с тобой, Сенька. Ведь мы с тобой сизопузых ворон вместе жрали...

Скользя рукой по убегающему блику перил, Арсений побежал было за ним:

— Ты приходи, Николай, непременно приходи... «До свиданья!» — кричало навзрыд арсеньево сердце. «Нет, навсегда...» — отзывалось неслышное эхо снизу. Тогда оскорбленно улыбаясь, растирая в пальцах потухший окурок, Арсений вернулся к себе. В продолжение всего этого нежеланного посещения его одна тревожила боязнь, — а вдруг Черимов да еще этот монументальный большевистский праведник останутся на весь вечер? Часам к десяти молодой Скутаревский ждал гостей. Никогда ему еще не приходилось стыдиться своих знакомых, ни по суду не опроченных, ни по службе, но едва только сопоставлял их с Черимовым — разом выяснялось их большее, чем даже расовое отличие. Внезапно Арсений схватил с подзеркальника газету и пальцем отыскивал отдел театральных объявлений; еще немного, и брызнула бы кровь из закусенной губы. В опере давали *Кармен*... Арсению представилось, что Черимов все же уговорил Кунаева поехать на *Игоря*; он увидел, как наяву — при миганье уличного фонаря Черимов показывает Кунаеву то же самое место в газете, и они смеются, смеются неуклюжей лжи

сломавшегося друга. Арсений только учился лгать, и первые уроки давались ему с трудом.

— Ну, здравствуй, — басисто сказал Федор Андреич, не замечая расстроенного племянникова лица. — Кто это был у тебя, такой дерзкий, неприятный, многообещающий самурай?

Арсений с удивлением к слову поднял глаза.

Федор Андреич курил, созерцая длинный, кудреватый смерч над собою. То был высокий жилистый человек, с белесым, равнодушным лицом и лысой шишковатой головой. Изредка судорога какой-то страсти, никогда не получившей удовлетворения, подергивала его рот. В его руках было что-то от челюстей, которые жуют; пальцы его беспрестанно двигались, как бы ища какую-то утраченную форму. Ничто кроме пятнышка берлинской лазури на тыльной стороне ладони не подсказывало о его ремесле. Дядя приходил по пятницам. Ремесло его кормило плохо. У брата он подкармливался.

ГЛАВА 9

Расставшись с Кунаевым, который ни за что не хотел обмануть своего Семена, Черимов долго еще простоял у ворот. К Арсению он зашел с намерением просидеть до ночи, но веселье не удалось, и теперь вечер оказывался свободным. Редко за последнее время случалось, чтобы он не имел места, куда пойти. Он почти забыл про Ширинкина, хотя это разочарование должно было пересилить остальные огорчения; все предшествующие годы они, в сущности, шли в одной запряжке. Почему-то истерика Арсения взволновала его гораздо больше, хотя именно здесь ничто не противоречило его большевистской логике: что ж, самый хлеб и воздух их детства были различны; но разрыв с другом заставил и его самого переоценивать значительность партизанских лет, которым приписывал так много. Нет, не они сформировали его окончательно; корни причин лежали глубже... Так, отталкиваясь от незначительных происшествий, он добирался до истоков.

Некоторое время он колебался — не поехать ли в театр; он достал часы. Рассеянные тени снежинок порхали по циферблату; подобные насекомым, они роились вкрут

мутного фонарного светила. Вечер был уже на исходе девятого... да и не хотелось хоть издали, хоть взглядом еще раз повстречаться с Арсением. Еще стоял он в нерешительности, когда переулочный сумрак пробили два ярких света; у дома остановилась машина. Черимов едва успел отойти от светового потока за угол, — мимо него быстро, почти падая вперед, пробежал на лестницу сам Скутаревский. Снег пошел гуще; в свете фар он валом валил. Черимов поднял воротник и торопливо вышел из переулка; даже вступая на трамвайную подножку, он не был уверен, что намерение его осуществится до конца.

Он спросил кондуктора, доедет ли он этим номером до Бутырок: расстояние было значительное, а он, за исключением района, где провел детство, плохо знал Москву. И, едва взял билет, вдруг испытал странную щемящую, много лет неизвестную ему робость. Эта шершавая розовая бумажка давала ему право на самое удивительное путешествие; он глядел на нее и затаенно улыбался, как бывает лишь во сне. Кондуктор, пожилая женщина, с кожаной сумкой и опухлыми от холода пальцами, внимательно смотрела на него и так же, отраженно, улыбалась.

Он заметил ее улыбку и сурово отвернулся к окну... Москву замечало снежком, и было уже так, точно загулявший исполинский штукатур прошелся со своей бадейкой по улицам. Размытые вьюгой и ночным освещением, мелькали площади, автомобили, дома, но Черимов видел только собственное отражение в запотелом окне вагона. Жизнь неслась вспять, здания, церкви, светящиеся вывески кино бежали сквозь него, не задерживаясь, не оставляя следа, как круги по воде. Он не узнавал ни одной из этих путаных каменных извилин, но вдруг проскочил какой-то деревянный дом; его черная крыша, надвинутая как картуз мастерового на темный бревенчатый лоб, молниеносно отразилась в памяти тысячью образов, пестрых и радужных осколков. Одновременно кондуктор прокричал знакомое слово, и все стало понятно. Окраина подступала вплотную, а с нею и самое детство. Точно боясь пропустить остановку, он побежал вон из вагона.

Все-таки обманула зрительная память; он сошел слишком рано и долго тащился по снежной, залитой светом мостовой, едва угадывая названия пустынных улиц;

строительство окраин началось с удвоенного освещения. Он шел, и снежинки щекотали его лицо. Вереница новых домов на углу, где он должен был сворачивать, сбила его с толку, они не должны были стоять здесь, — ему показалось даже, что он заблудился. Впервые они мешали ему, эти новехонькие, с газонными площадками, под гранит отцементированные корпуса, в создании которых участвовала и его собственная воля. Они заслонили от него грустное, темное детство, в которое он приходил с той же целью, с какой листают пожелтевшие и чем-то бесконечно милые страницы дневника. Его разочарование очень походило на то, которое тотчас по его уходе испытал и Арсений Скутаревский; он тоже предпочел бы видеть прежнего Черимова, в красной штопаной рубаше, веселого и быстрого, как лесной костер... действительность оказалась снисходительной к людской слабости; едва свернул с уличной магистрали, разом споткнулся о какой-то скользкий бугор, — глушью так и пахло в лицо. Редкие тусклые фонари ломано отражались в слегка запорошенных грязях проулка. Дальше, между покосившихся заборов его почти безошибочно повело проснувшееся чутье. Стало меньше домов и больше деревьев, черными плодами торчали на ветвях спящие птицы... Он увидел слабо освещенные ворота, у выходной будки стоял сторож; он покосился на опрятное пальто Черимова и неохотно указал, где именно берут пропуска. Путешествие в детство закончилось, и так трудно было вступать в него не помолодев!

Разом, тысячами мелкостных впечатлений окружила его знакомая обстановка. Из просырелой, низкой постройки выбивался клин воспаленного оранжевого света; мириадами осколков он дробился в груды стеклянного шлака посреди фабричного дворика. На деревянной изношенной лестнице светилась открытая дверца в самую гуту, и, еще не вступив в нее, Черимов ощутил на лице привычный холодок сквозняка: двери из-за жары не прикрывались и зимою. И еще, невольным толчком памяти, он вспомнил, как, бывало, через эту именно дверь неслась на улицу песня про то, как знаменитая русская Катя еще серпом, еще вручную жала рожь высокую и что с нею произошло потом. Песня мешалась с расплавленным стеклом, и, застывая, оно становилось звонким, слегка зеленоватым на просвет; крестьянский облик всегда лежал на этой крохотной фабричке.

Теперь Черимов заставлял напряженную, злую тишину, и из нее скалился яростный рев форсунок... Так, через десять лет всяких странствий, он вступал в исходную обстановку, и когда хрустнул под ногой стеклянный осколок, он испытал легкий озноб волнения.

— К Топыреву здесь пройду?.. — спросил он у человека, который спускался с лестницы. Топырев был приятель отца и черимовский крестный.

— К которому... молодому?

— Нет, к старому. — Молодого Топырева он не знал вовсе.

Человек посмотрел на него ехидным, щурким взглядом и помчался дальше.

...почти ничего не переменялось на этом наивном осколке разбитой планеты. Новые, до конца механизированные заводы возникали на еще нетронутых местах, и бессмысленно было бы расширять или чинить это давно устаревшее сооружение. Со времени черимовского ухода здесь повесили лишь тяговые трубы вентиляции да еще пробили люк для спуска продукции прямо в протирачную. Та же самая печь, низкий глиняный каравай, заполняла почти целиком тесное пространство; у этой жаркой громады ребенком, бывало, спал Черимов, когда работал его покойный отец; мужицкие сапоги и тяжеловесная песня, смешанная с бранью, баюкали его некрепкий сон, служили лаской матери, которой совсем не помнил. Это и была гута, слово — близкое как родина. Горячий свет расплавленного вещества выбивался из круглых амбразур, и самые отражения на лицах гутарей слепили и обжигали отвыкшие черимовские глаза. Он огляделся, и вдруг, точно утончилось огромное пространство годов и книг, которые он миновал: он увидел Федьку, приятеля ребяческих лет, о существовании которого не вспомнил ни разу. Тот внезапно воспрянул во весь свой рост, и в памяти тесно стало от этого гигантского горбоносого парня. Федька был потомственным стекольщиком; его дед и отец продули свои легкие в вычурные стеклянные пузыри, и даже фамилия его соответствовала производству: Бутылкин. Мускулистый и, видимо, опытный задельщик, он ловко метался между чугуновой формовкой и круглым оконцем печи; под сквозной майкой размеренно двигались рычаги и шестерни этого осатанелого механизма.

Давно — и в тот торжественный день рабочим щедро выдали на водку — хозяин посетил заводик с молодой женой; директор учтиво называл ее *мадам*. Владелец был известный парфюмерщик, фабрикант, товары его производства в изобилии шли на Ближний Восток, но мадам благо-разумно не употребляла специй своего супруга. Впрочем, ей понравилась, кажется, огненная суетня, которою она кормилась; она заметила даже, к умилению директора, что это напоминает сошествие святого духа на апостолов. Она была права: зрелище ночной гуты действительно походило на тот малопонятный сюжет, который часто изображался на дешевых церковных картинках. — Набрав стекла на длинную железную трубку, рабочий долго крутил и раскачивал ее в воздухе, чтобы придать форму гибкому комку этого расплющенного солнца; только пианист смог бы оценить искусную игру его пальцев. Потом он всяко катал ее на доске, потом вдвух воздух, потом медленную эту, еще светящуюся каплю обжимали формовкой — и здесь феды-кино лицо раздувалось вдвое от натуги дутья, а самый нос пропадал в мякоти вздувшихся щек... и вдруг на конце трубки оказывался замысловатый флакон, какие обожают азиаты. Так усилиями пальцев, легких и щек происходило рождение наивной хрупкой вещи.

— По-моему, это Бутылкин там мечется? — шопотом спросил Черимов у работницы.

— Сатана-то?.. Он у нас ударник... — и отвернулась, потому что и сама была ударницей.

Стороной, сгибаясь под пляшущими языками уплот-ненного огня, Черимов добрался, наконец, до старинного своего приятеля.

— Федька! — тихо позвал он, и сердце его упало к ногам горбоносого.

Тот покосился; его грубоватый профиль силуэтно за-стыл на оплавленном оконце гуты. Он смотрел долго; осты-вающее стекло белело, свисало к полу, и струйчатый, ши-пучий шел от пола смрад.

— Чего вам?.. Вы мне мешаете работать... — глухо-вато проговорил он, но не отводил взгляда. Сбивали его с толку добротное пальто и заграничная кепка.

— Колька я... — шепнул Черимов, обнажая голову, и терпеливо ждал, пока тот его признает. Его тянуло вырвать трубку из федыкиных рук и выдуть хоть бы колбу,

вспомнить покинутое ремесло, губами прикоснуться к юности, но ему стыдно было и несвоевременной своей, уже интеллигентской прихоти и людей, которые с любопытством окружили его. Он крикнул просительно: — Помнишь, как ты меня из воды раз вытащил?..

— Ну-у?.. — протянул тот недоверчиво, и озорная вспышка озарила их губы одновременно. — Во, дух с тебя еон! — И вдруг перевел глаза на трубку; трескалось на ней остывшее стекло. — Ну, катись, катись на квартиру... все там же. Вот, после смены поговорим.

...он пришел туда через полчаса, когда Черимов уже познакомился с его женой, такой же зубастой и расторопной молодухой, как и муж. Догадливая, она ухитрилась даже и в этот поздний час заставить стол всякой самодельной наспех снедью; чернявая, с перекошенным донцем, бутылка дешевого кагора орнаментально покачивалась посреди стола. Комната приятеля была опрятна; ни одна вещь, назначение которой не было проверено, не засоряла ее. Но окно выходило прямо на кирпичный брандмауэр с помойкой внизу, и Черимов понял, что и в летнюю пору хозяева живут без дневного света и свежего воздуха.

Хозяйка догадалась, видимо, о ходе черимовских мыслей: она сказала, что доживают здесь последний месяц, а потом переезжают в нарядный, новый дом, где будут чистые, еще пахнущие штукатуркой стены и окна, еще забрызганные известью. И глаза ее при этом улыбались, может быть оттого, что сквозь эти новые окна она уже видела и новый мир. Только и было их разговора... Федька вернулся усталый, с губами, черными от железа, и тотчас же ушел за ширму мыться.

— Потянуло на прежние места? — кричал сквозь плеск воды хозяин. — Какие тому косвенные причины?

— Соскучился, вот... Что у тебя за чертеж тут наколот?

Бутылкин вышел к гостю в чистой рубашке, с лицом, еще красным от грубого полотенца. И так как сразу начинать разговор о самом главном, не прощупав гостя, было ему затруднительно, он с удовольствием объяснил свое изобретение. Работницы при мойке продукции бьют стекло и режут руки; автомат, уставленный флаконами, должен переворачиваться над целой сотней фонтанчиков.

— Понимаешь? Тебе смешно, поди. Теперь в больших чинах ходишь, Николай Семеныч.

— Ты меня еще превосходительством зови, а то оби-жусь.

Тот рассмеялся, держа Черимова за плечи. Они вглядывались друг в друга, взаимно проверяя, много ли унесли бегущие воды этих лет. Не тот стал и Федор: желтее стала кожа, усилилась профессиональная чернота зубов, огрубели мозоли от старых ожогов на руках; она не молодила, безостановочная гонка реконструкции, но удивляла при этом ясность глаз, пронзительных и очень спокойных.

Их дружеское препирательство продолжалось и за столом:

— Сбежал ты от нас, дух с тебя вон. И всегда так... Придет сюда — просто шувалик верейский, а выбьется наверх — пряником назад не заманишь. Шел бы к нам в директора, а? Что, какие тому причины? Там, на новостройках легко, а ты вот на нашей диковинке промфинплан сыграй: вспотеешь.

— Да я видел вашу диаграмму в конторе. Плохая кривая, ты не обижайся. Так дышит больной... И потом качество: смотри, нам из-за границы всякие приборы приходят — стекло поди чище.

Бутылкин угрюмился, задетый за живое:

— Так ведь они сурик в варку дают, а у нас и поташу не достанешь. Да и то на экспорт тянемся, эх... — Он опустил глаза и с минуту молча боролся со словом, которое хотелось взорваться в нем. Вдруг он поднял улыбающиеся как ни в чем не бывало глаза: — Ну а ты... вроде профессора, что ли?

— Вроде, Федька, вроде... — и жевал по очереди все, что стояло на столе, от селедки до фисташек.

— Небось учеников своих шпыняешь, — смеялся Бутылкин, разливая кагор по узеньким, не по винишку, рюмкам. Не долив, он отставил бутылку и взглянул одну на просвет: — Вона, брак в продажу пустили... пузырьки-то, ровно рыбка плеснулась. А помнишь немца? Прошибеешься, бывало, счас он: «дай ляпки». Да по ладошкам-то вальком... обстоятельный мастер был.

— Меня он все больше по заднице.

— Тоже невредно. Ты не ревел никогда, а ему становилось обидно. Ну, давай за свидание наше... и чтоб не в

последний раз... Чорт, уж дай хоть пощупать-то тебя... — все резвился Бутылкин, сияя от удовольствия. — Костюмчик-то — чистый коверкот, а вот об известку где-то вымазал. Не умеешь ты с хорошим-то обращаться, серая ты душа!

И уже тянулась со щеткой, чтобы вычистить, федыкина жена.

— Вот, — вспомнил вдруг Черимов и про себя подумал, что всегда найдется куда пойти человеку, — вот, гляди, Федор.

Он достал из кармана приготовленную было для Арсения тоненькую брошюрку в зеленой обертке; это был перевод на французский язык его первого ученого труда об асинхронных аппаратах, на обложке крупным курсивом парадно чернело имя Черимова. Бутылкин вытер руки и, осторожно раскрыв посредине, заглянул вовнутрь. Книжка полна была таинственных формул, корней, латинских и греческих букв, сложных математических функций — замысловатый их орнамент совсем недоступен был Бутылкину. Он вообще боялся всяких чисел, которые, кстати, после революции магически стали обрастать нулями; с контрольными цифрами пятилетки, которой отдавал самое главное свое — молодость, он еще справлялся по необходимости, и хотя смысл годового производства комбайнов был не менее сложен, чем эти интегралы, там ему во многом подсказывал природный инстинкт пролетария.

Бутылкин поднял внимательные и строгие глаза:

— Это твое, Николай?

— Мое, мое... вот тут и имя поставлено, видишь? — и тыкал пальцем в страницу. — Ассистан Тшеримоф, это я... я, Колька. Ассистан де ланститю. — Никогда ни раньше, ни впоследствии не вел он себя таким мальчишкой: но здесь он не боялся уронить свое достоинство. — Это в Париже напечатано... видишь?

— Это хорошо, — важно и значительно сказал Бутылкин. — А ну, прочти вот тут! — и пальцем, наобум показав строку, целую минуту пристально вслушивался в музыку неведомой науки и чужого языка. — Это очень хорошо, что в Париже, — тихо повторил он. — Ты дай мне это, Колька... полезно этой книжкой кое-кому в нос ткнуть. Дай.

— Это первый экземпляр, Федор, авторский... но ты возьми, возьми, — обрадовался Черимов, и, по мере того,

как лирическим посвящением заполняла его рука страницу, лицо его все более меркло.

Точно такую же книжку, но еще не переведенную, он в свое время посылал и Арсению, — с тем же чувством, безвредного, дерзостного юношеского хвастовства. Но, сидя в гостях у Арсения, как ни разглядывал он его книжные полки, так и не нашел маленькой своей, в розовом сарафанчике, брошюрки. «Не туда посылал, не там, значит, и признания искал!» — подумал он мельком и жалел, что не имеет возможности с корнем выдрать оттуда намелко и нежно исписанную страничку. Его сутило чувство поздней горечи и стыда за себя... Он дописал и дул, чтоб скорее просохли чернила.

— Чего ж помрачнел, может, почету мало? — веселился Бутылкин. — Так ассистан, говоришь? Эй, жена, чурка фабричная, кланяйся, потчуй ассистана. Вот, развеселил меня, Колька...

Черимов сидел с опущенными глазами.

— Я, брат, с похорон нынче... вроде как с похорон, — поправился он. — Вот я сижу у тебя, пью кагор, похваляюсь... меня даже развезло от чувств, а ведь сегодня я похоронил друга, даже двух. Так вот и объезжаю родные могилки.

— С чего же так? Какие тому косвенные причины? Теперь умирать глупо и уж во всяком случае преждевременно. Кто такие?

— Первый — Ширинкин. Ты его должен знать, он...

— Ширинкин — сука, — определил Бутылкин, и лицо его стало твердо, как бицепс перед ударом. — Я к ним вечером раз зашел, в одну печальную нашу годовщину зашел, а там у них танцевали. Ноги я видел под портьеркой. и хорошо, дух с меня вон, что нагана со мной не было. Ничего, падалицы не жалей, надо кушать и червячкам. Давай, кто второй?.. Вали их в братскую.

— Второй — мы на фронте были вместе. Сын теперешнего моего начальства... и учителя моего. Он был такой подходящий парень. Знаешь, Федька, если изменяет вождь — это страшно, и если друг — не менее тяжело тогда. — Он воспользовался тем, что жена Бутылкина пропала куда-то. — Давай уж на искренность: даже плакать хотелось от злости.

— Что ж, поплачь, балда, помочись, — грубо отрезал тот. — Кто мы... машины?.. энтузиастические будильники? А сколько еще слиняет впереди. Да еще, давай бог, чтоб в открытую. А иной совсем рядом стоит, а присмотришься — тот самый и есть, который первым плюнет в революцию... если случится это.

Черимов безмолствовал и чутко слушал, как похрустывает мятный пряник на зубах Бутылкина. Рука его машинально теребила какую-то бумажку, найденную в жилетном кармане; она так износилась, что даже не шелестела.

Бутылкин заговорил опять; он предлагал оплакать их всех сразу в один какой-нибудь пасмурный выходной денек; он не собирался, подобно Европе, ставить монументы этим неизвестным солдатам, у которых нехватило ни доблести, ни честности перед классом. «Ерунда, слабые пускайдохнут. А ты грустишь... и какие тому причины?.. косвенные вижу, а прямые где?» — и замолчал, щекоча друга тоненьким, тихим смешком.

— Вот ты и ученый, тебя напечатали за границей, а хочется мне тебя по шее, Колька, пригнуть маненько и этак. Кто же строит на деревянных балках, которые к тому же уже стояли целую вечность? Не очень я круто заворачиваю? ты скажи. Я, конечно, не знаю этих людей, мне трудно. Мы вот берем свой хлеб просто рукой, а они берут вилкой и сперва кладут на тарелку... — Он внимательно посмотрел на гостя. — Ты пей кагор-то, ассистан.

— Нет, ты, конечно, прав, Федор, — и стал говорить, как трудно вырезать у целой прослойки застарелые опухоли некоторых отживших эмоций; они связаны со всем инвентарем культуры, а он хрупок, — не рожать же заново своих Эдисонов и Ньютонов. И еще, чуточку сомневаясь — понятно ли это Федору, говорил, как страшно в культуре непобедимое давление мертвых.

— Ничего, ты говори... об этом мне все понятно.

— ...и я выкладываю все это... вот, об осторожности, не потому, чтобы навязать тебе, а для того, чтобы ты опровергнул, если найдешь неверным.

Самым подробным образом он рассказывал о Скутаревском, о его делах и сомнениях, об институте и людях в нем, о путях и целях, к которым движется наука, и, странно, рассказ его носил несколько вопросительный

оттенек, точно перед Черимовым сидел человек, способный поставить правильный диагноз. Их разговор затянулся, и вдруг Черимов вспомнил, что хозяину рано вставать, — целые тонны кипящего стекла ждали его поутру. Они вышли на улицу. Все было бело от снега, и потом такая морозная прозрачность наступила в природе, что всякое сказанное слово приобретало здесь ту первоначальную глубину, которой в обычных обстоятельствах не имело оно никогда.

— ...а где жена-то? — Черимов вспомнил, что не попрощался с федыкиной хозяйкой.

— У нее курсы вечерние. Хочет конкуренцию тебе делать, — засмеялся Бутылкин. — Смотри, снег-то... на таком плясать хорошо, а?

— Я бесконечно рад, Федька, что увидел тебя... твою рожу с этим пятном от раскаленной брызги на щеке, с этим желваком на обожженных пальцах. А у меня, смотри, руки совсем белые стали.

— Со временем у всех белые будут, отмоем. Тут тебя старик Топырев вспоминал.

— Что ж ты его не позвал нынче? — оживился Черимов.

— Да нет, он помер... Вот, старики уходят, и мы станем в первую шеренгу... жутко и весело, жутко и весело. Надо глядеть, Николай... но ты валяй, действуй: мы тебе верим. — И вдруг в сторону: — Чорт, звезды замечательные какие... Жутко и весело!

Черимов возвращался пешком; трамваи уже отправлялись в парки. Ему было жарко и немножко мучил избыток сил. Пола его распахнутого пальто чертила длинную линию по снегу, наметенному вдоль заборчика. Он шел и думал совсем о другом: «Хоккей требует времени, придется бросить хоккей, но можно еще заняться лыжами...» Там, в конце улицы, стоял милиционер, и, еще не приблизившись к нему, Черимов уже знал, что у него красивые, крутые плечи и очень симпатичные глаза, — «...если вас не затруднит, пройду ли я этой улицей к институту Скutareвского, товарищ?» — мысленно спрашивал он, и тот отвечал неслышно: «Конечно, товарищ... но вы выпили три рюмки кагору у приятеля на радостях встречи, не упадите, сегодня скользко». Проехал грузовик, пыхтя и буксуя на снегу. «О, колеса, бегущие вперед!» — подумал Черимов.

Он шел, организатор жизни, и то по-мальчишески скользил на обнаженном льду тротуара, то останавливался и по-долгу глядел на собственные следы. Яркий электрический свет делал их выпуклыми и сверкающими; поистине они были великолепны и значительны, следы человека, который идет.

ГЛАВА 10

Радость Скутаревского по поводу появления в институте Черимова носила несколько показной оттенок. Нетрудно было при более тесном соприкосновении разглядеть в новом заместителе скрытое упорство при проведении поставленных целей, которые внешне прикрывали полным подчинением научным — и как будто не только научным установкам директора. Кое-что из слухов уже дошло до него, и втайне Сергей Андрееч опасался, что могут прислать еще более строптивого. Поэтому он и не торопился вводить его в курс своей личной работы, которую почитал последним своим, перед закатом, свершением. Она держала его подобно железному каркасу, не давая стариться или уставать или сгибаться перед препятствиями; он продолжал вести ее в сотрудничестве почти только одного Ивана Петровича. Новому заместителю была известна, разумеется, тема работы, которая в связи с темпами развития народного хозяйства приобретала несоизмеримую будущность. Она была почти невероятна; ее осуществление произвело бы величайшую перестройку в системе транспортирования энергии да и в роли самых энергетических баз, но она поглощала лучшие научные силы и, почти целиком, бюджет института. Первым черимовским заданием было застраховать ее другой, параллельной работой. Уже через несколько месяцев пребывания в новой должности он поставил в высших инстанциях вопрос о постройке опытной линии высокого напряжения; он знал, ему не откажут. Наверняка осведомлен был об этом и Скутаревский и рассматривал такое начало черимовской деятельности как намеренное распыление сил.

Кроме сравнительно мелких вопросов — об изоляторах, о трансформаторных маслах, о проблемах кабеля, управления при помощи реле, институт был загружен основной работой по передаче сверхмощных напряжений; огромный

портрет Ленина, вдохновителя великих дел, висел над самым столом Скutareвского. Дело касалось использования удаленных топливных бассейнов и тех десятков миллионов киловатт, которые бесполезно, гремучей пеной бегущих вод исходили зря на дикостных реках Сибири; конечно, только прямое осуществление темы Скutareвского могло оправдать название института, сверкавшее белой эмалью на широких, строгого стиля воротах. Уже начавшаяся проектировка высокомошных советских гидростанций, весьма превышающих мировые образцы, с новой силой поднимала в энергетике вопрос о способах электропередачи. Неудачи в области борьбы с потерями, неминуемое явление перенапряжения, ряд специфических затруднений с передачей постоянным током, на чем настаивала тогда передовая наука, толкнули Сергея Андреича искать выхода другими путями. Черимовские опасения были основательны; по прямой аналогии дело обстояло так же, как если бы человечество, минуя все промежуточные ступени в развитии машиностроения, сразу шагнуло бы к современному аэромотору от неуклюжей уаттовской машины. Определяя грубо и по слухам, не проверенным вполне, тема Скutareвского заключалась в практическом разрешении передачи энергии без проводов.

Безымянный сибирский краевед придал этому делу надлежащее ускорение; именно он прислал в некое советское учреждение большое, о двенадцати страницах, письмо, — к посланию прилагался отрывок школьной карты, по которому синей венозной жилкой протекал Енисей. Крохотный кружок — Елтуска, не то бывший казацкий острог, не то безвестная стоянка утлых рыбацких посудин, имел тоненькую приписку красными чернилами: *здесь и строить*. Судя по образной объяснительной записке и густоте горизонталей, сделанных от руки, тут смыкались два высоких массива, и в промоину между них, свиваясь в водовороты и жгуты, бежало текучее енисеево тело. Место и прельстило госплановского корреспондента. В те времена хозяйственные центры еще не имели точных характеристик советских рек, а краевед вдобавок обещал выслать дополнительные свои сорокалетние наблюдения за режимом реки, точную кривую колебаний ее уровня, и это не могло не повлиять на выбор места в случае благоприятного решения. Даже по присланному клочку можно было заключить, какое значе-

ние для края будет иметь постройка мощной гидростанции на указанном месте. Оного краеведа искали, слали письмо, и по последней справке выяснилось, что есть то бывший механик, местный ссыльный старожил, пятидесяти восьми лет, женат, налог уплачен, в предосудительном родстве не замечен, торговлей не занимался, в профсоюзе состоит...

Получив нагоняйное разъяснение, ездили тамошние портфельные люди совместно с краеведом на Елтуску, варили уху, любовались суровыми енисейскими красотами, а помолодевший краевед пел прямо как птаха лесная. Сиверко было, ветер вскидывал распластанных чаек, и еще круче вздувались за поворотом тучные многожилые мышцы реки; кстати, разъяснил старик на радостях, что, вопреки утверждениям ученых лингвистов, самое слово Енисей принадлежит к языку одного давно исчезнувшего племени, помянутого лишь в летописях Рашид-Эддина, и означает — *дорога к мужеству*.

— Записывайте, прошу вас... — крикливо приказывал этот фантастический бородач, и седина его, отменная назад обрывным ветром, была того же енисейского отлива. — Записывайте: напор от девяноста до двадцати пяти, расход до тысячи кубометров в секунду и даже у истока не понижается меньше трети. Имейте в виду, огромное внутреннее море отлично регулирует поступление воды, прошу вас.

Грунт вулканический, мощная полоса трапов. Высота правого берега, прошу вас, тридцать метров, ширина пролета — полтора километра, записывайте. Сел вокруг нет, затопляй хоть на двести километров, воздух приятный, вид подходящий, прошу вас... — И странно его горловой, несколько неприятный голос, каким обычно купцы в самозабвенье расхваливают свой товар, раздаваясь на тысячи километров вокруг, погоняющим эхом отдавался в ушах Скутаревского.

Кроме политического — смысл стройки заключался в дешевой, по полкопейке за киловатт-час, энергии для соседнего завода высокосортной электрической стали; щедрые черные руды, алуниты, каменная соль, леса — вдоволь всего натекано было поблизости. Самое слово *соседство* следовало, однако, понимать в сибирских масштабах. До малой Рютинки, где предполагался завод, лежало северной тайги километров шестьсот, да еще кочкарника столько

же, да еще неопределенного пространства восемь дней пути. При этом высчитали, что даже, включая стоимость столь дальней передачи, законная норма энергии обойдется дешевле, чем одна доставка тонны самого ближнего угля франко-завод. Тут начинались всякие технические дебри; принимая в первом приближении, округленно, по тысяче вольт за километр, линия, при всех ухищрениях, должна была иметь напряжение не менее восьмисот тысяч вольт. Вопрос о кабеле на такое расстояние отпадал сам собою, да вдобавок и не были еще построены соответственные механизмы. А ввиду того, что таких проблем насчитывалось уже с полдюжины, работа Скутаревского принимала характер крупнейшего общественного явления, и ни одному златоискателю так не захватывало дух от огромности представавшего богатства.

— Мы недостаточно смелы, — сердито бурчал Скутаревский, когда разрешение на опытную линию было получено; он догадывался, что Черимов вступил в блок с верхним этажом, где работал Ханшин со своими учениками. — Я понимаю, зачем вам это понадобилось. Это трусость; милейший *Александр* Петрович. Я сам уже смеюсь над тем, как это было легко, вы постигаете? Это носится в воздухе, разработку этого вопроса в Европе задерживает кризисная конъюнктура.

— Вы работаете на вечность, — строптиво упирался Ханшин.

— Чушь, я работаю на Енисейку! — Именно так обозначалась в интимных разговорах будущая станция на Енисее.

Ханшин умолкал; на его стороне была достаточная часть сотрудников института, и моральная поддержка их давала ему право на такое несговорчивое молчание. Он также промолчал, когда в учреждении был введен почти деспотический распорядок, — сторож у ворот не смел назвать своей фамилии; и если не случалось протестов или даже прямого бегства, то лишь оттого, что самая работа в этом институте содержала в себе высокую научную честь. Выходных дней Сергей Андреич себе не позволял и, сказать правду, с удовольствием лишил бы их и своих сотрудников; все чаще по гулким коридорам слышался рассыпчатый грохот его брани, он нервничал и подстегивал всех; видимо, к концу подходила его работа. Но смысл тепереш-

него ханшинского молчания был совсем иным, — он видел, как это из громадной научной проблемы становится личной драмой Скутаревского.

— ...посмеются потомки. Поймите, пошло и оскорбительно, — твердил он, — тянуть медную проволоку на полторы тысячи километров, когда силу можно передать в одно дыхание, в одно дыхание!

Черимов тоже молчал; о потомках он слышал не впервые. Сложный затянувшийся процесс происходил с его учителем, и он не знал, что на секретном душевном языке Скутаревского имелся специальный термин для него — *гора*. Тем более стоило вдуматься в жизнь этого удивительного чудака. Большая часть его дня тратилась в лаборатории, остаток делился поровну между лекциями и сном. Вместе с тем он успевал побывать на заседаниях, чтоб прокричать свое мнение о недостаточности темпов и на электрозаводе, где по его чертежам изготовлялись газотронные выпрямители для предстоящего опыта. Зачастую он возвращался домой за полночь; остывший ужин, накрытый салфеткой, ждал его на столе; он съедал эту домашнюю преснятину стоя... Черимов слышал также, что иногда, не чаще раза в месяц, к Скутаревскому заходил Геродов, ближайший его помощник, правая рука в той работе, которую Скутаревский собирался вернуть государству свой долг. Он приходил с черным, необыкновенной формы, футляром, и тогда в особенности плотно замыкались стеганые занавеси, а Анна Евграфовна торопилась уйти из дому. Сергей Андреич снимал со стены фагот и на стульях, подомашнему, раскладывал нотные тетради. Из футляра вылезала выгнутая, подобная чудовищной улитке валторна Геродова. Старики устраивались молча; потом одновременно надувались щеки, и грозная игра эта начиналась. Усердно, в четыре руки и в два рта они играли обычно старинную бытовую музыку, преимущественно немцев семнадцатого века, простенькие, как ситчик, тирольские танцы или бурные охотничьи песни; так в Чехии когда-то упражнялись бродячие музыканты, суматошно, шумно и от всего сердца. Это была вторая по счету дружба Скутаревского, и то, что вначале представлялось почти неестественным, теперь стало приятным для обоих: туманен музыкальный язык. Игра велась с передышкой по четверти часа.

— Я буду ругаться с заводской администрацией, Иван Петрович, — говорил Скутаревский, продувая фагот. — Не следовало брать шефства над институтом, чтобы угощать такой скверной продукцией... кстати: кривизна зеркала, по-моему, чрезмерна...

— Я довел ее до тридцати, — откликнулся Иван Петрович, переворачивая нотный лист. — С заводом ругайтесь, конечно: у нас без ругани не уважают. Мне кажется, Сергей Андреич, не плохо было бы еще раз повторить опыт Пусье.

Еще целых полчаса шло их музыкальное заседание или скорее соревнование инструментов. Валторна вздыхала, и не зря: она уходила из жизни, как романтическое ощущение действительности; фагот хихикал и пищал, — он еще оставался как ехидный и злой гротеск, полезное оружие в эпоху социальных завоеваний.

— Мне надоели эти простоватые опусы, — провозгласил однажды Иван Петрович. — Мы бубним дрянно, как балалаечники на балагане. Мы не пошли дальше Гайдна, как в политике, черт возьми, наша публика не пошла дальше Керенского. Пора нам, Сергей Андреич, сыграть нечто всерьез, крупную, более достойное нашего житейского опыта и страданий. — Здесь он сделал внушительную паузу. — Воистину, вы играете на драндулете, а я на прямой кишке. В следующий раз я попробую достать и принести скерцо Прокофьева для четырех фаготов; недостающих я приглашу из одного оркестра. Попробуем... — Ясно, только между истинными друзьями могла возникнуть дерзость такой рискованной пробы. — Между прочим, приехал один замечательный пианист... Петр Евграфович собирается затащить его к себе. — Потом личико Ивана Петровича приобретало вдруг некое лисье, выпытывающее выражение: — Кстати, Арсений Сергеевич дома сейчас?

— Арсений пошел к одной даме; кажется, она дает ему уроки французского языка... — И намекаяще подмигивал. — Ну, меня что-то в сон клонит...

Так, балуясь, они обсуждали вопросы музыки, техники, политики и половой морали, все сразу. Безоблачный день этой занятой дружбы совсем не предвещал довольно сумрачного вечера. Иван Петрович уносил свою валторну, а Сергей Андреич, если было поздно в театр, посвящал остающийся час перед сном — прогулке; машиной он

правил сам, это было его последним увлечением. Так уж установилось, ехал он наобум, не справляясь заранее с маршрутом или программой, и оттого походило, будто нашупь ищет какой-то своей удачи.

В том же слякотном ноябре выдался один в особенности пасмурный вечерок. Скutareвский злился; в расчетах напряжения оказалась путаница, и усилитель не пропускал определенной полосы частот. Наступили сумерки. К драндулету не тянуло. Шофер довез Скutareвского до театра; в оперу был у него абонемент. Место свое он отыскал, когда занавес уже поднялся; шел второй акт. Опера была ему знакома со студенческих лет, и одной арии, сделанной из легкомысленных державинских стихов, он даже привык подпевать. Он сидел и рассеянно думал о совсем другом; из ложи был ему виден курносоватый виолончелист в оркестре, и Сергей Андреич нечаянно сообразил, что курносоватый играет, в сущности, на логарифмах... должно быть, он имел в виду те сложные математические соотношения, на которых строится фортепианная клавиатура. Мысль понравилась ему; ему захотелось представить себе, какая получилась бы музыка, если бы изменить основание логарифма. Вряд ли можно было отнести к эстетике этот прямой рефлекс его профессии; но очень часто он даже Вагнера, любимого композитора своего, воспринимал именно так, математически, как трагическую, полновесную формулу бытия. Совсем легонько, вполголоса, он стал напевать диковинную, впервые им придуманную музыкальную фразу.

— Это вы мне? — возмущенно спросила дама рядом, очень длинная женщина.

— Нет, я себе, — сдержанно буркнул Скutareвский.

Аплодисменты посреди акта прервали его теоретические занятия; он стал глядеть на сцену. Происходила как раз музыкальная история с графиней, — удивительное по физиологическому цинизму место, а по выразительности и мастерству равное лишь второму акту «Золотого петушка», когда Додон поет *чижика*. Фаготный лейтмотив старухи перекрывал все оркестровое звучание. В иное время это вызвало бы у Скutareвского громкую усмешку, но теперь ему не нравилось все — от этих зашитых в парчу щеголей до фальшивой и неопрятной позолоты театра. Конечно, спектакль был прежде всего трудовым процессом,

и Сергею Андреичу сегодня никак не удавалось забыть, что все это члены профсоюза, получают по разряду, имеют жилплощадь в жактах, кормятся из примусов, страдают от жен, катаров и повышенной кислотности в желудке... только этим можно было объяснить, что вдруг, в придиричивом мнении Скутаревского, на целых четыре такта отстала медь. Удовольствие, таким образом, выходило слишком популярным; Сергею Андреичу стало не по себе, он заворочался, и —

— Скажите, кто поет Германа? — спросила длинная, очень длинная дама.

— Здешний председатель месткома, — благожелательно ответил Скутаревский.

— Благодарю вас... — и с ненавистью посмотрела на беспокойные руки соседа.

Злость не проходила; веки отяжелели; сумасшедшие ветры в этот вечер сталкивались на его душевной горе. Неожиданно он поднялся и, наступив на ногу длинной, очень длинной даме, пошел вон. Он почти презирал дирижера за самовольную нюансировку, которой никогда не писал композитор; вдобавок тот огрублял текст, преувеличивал темпы и местами допускал понижение баса на целую октаву. К чорту был театр; поездка за город, хорошей скоростью, была ему теперь полезнее. Пожилой человек в раздевальне с уважением подал ему пальто. В коридорах гудели вентиляторы, и крик из зрительного зала походил на предродовый. Сергей Андреич застегнул пальто. Шел надоедливый осенний дождик, но может быть и не шел. Мостовые блестели, неисчислимые огни отражались в обширных, смоченных плоскостях площади. Ночной город слабо гудел, — то была реторта, в которой никогда не затухало пламя, то есть жизнь, то есть необъяснимое электронное клокотанье. Но это было настоящее, и картонные, на столлярном клею, малахиты во дворце престарелой графини представлялись убогими перед глубинами неподдельных каменных кулис, перед громадами растворенных во мраке зданий, перед небом, сделанным прочно и всерьез из добротных и клубящихся облаков... Сергею Андреичу почудилось, что в такую-то ночь и может произойти с ним железная и обжигающая необыкновенность.

Он отпустил шофера, женатого, положительного человека, и сам вступил во владение рулем. По одному

виду, с которым Скутаревский коснулся рычагов управления, Алексей Митрофанович понял, что если не случится беда покрупнее, то в эту ночь профессора непременно оштрафуют. На всякий случай он попытался влезть на сиденье рядом.

— Езжайте домой. Трамвай за мой счет. Вас накормят. Машину доставлю сам.

— Заносит шибко, Сергей Андреич: мокро. — Боязнь за машину была уместна: уж он-то знал хорошо, что штучки Скутаревского не доведут до добра. — Может, закрыть машину?.. не газуйте только!

— Мерси, — скрипнул тот и разом запустил мотор.

Его рвануло, и потом началось это. Провожаемый руганью прохожих, он быстро миновал центральные улицы. Ближе к окраине, где уличное движение почти замирало к ночи, он дал на пробу большую скорость. Мотор работал исправно. Город снижался и тускнел, брусчатка сменилась булыжным горбылем, домики мелькали и мельчали с каждой минутой пути, стало больше деревьев, и запахло картофельной ботвой, автомобиль качнуло на колее, и потом началось ровное шоссе-ное гуденье. Он прибавил свету в фары и газу в поршни, мокрый ветер с удвоенной силой хлестнул ему в затылок. Поля жидкостно заструились мимо, вещество их стало совсем другое, стекло запотело и, хотя дождик перестал, крупные капли измороси продолжали стекать со шляпы за воротник. Скользящий летящий мрак охватил его, и так успокоительно было смешать с ним свои собственные сухие ненасытные сумерки. Он улыбнулся, то есть рот его стал тверже, тоньше и длинней.

— ...сделайте столько же, как мы! — непостижимо кому крикнул Скутаревский, и ветер тотчас искрошил его жалобный и вовсе не дерзкий вызов.

Мысли шли отрывочно, возникая по мере того, как выпрямлялось и не требовало повышенного внимания шоссе: раскатанный влажный глянec гудрона любое мгновение готов был вздыбиться стеной и рухнуть на Скутаревского. Мысли шли приблизительно так: — Полет, вот естественное состояние человека, все остальное — лишь кощунственное отступление от нормы. Умирать надо в полете, вбегая в первоначальное вещество и растворяясь в нем без остатка. Иван Петрович, все-таки, остаток вчерашнего еще в большей степени, чем он сам; странно, почему он

напутал в расчетах ртутников и так откровенно соврал тогда, в принципиальном споре, относительно даты умовской смерти. Конечно, весь его энциклопедизм — дутый.

И, чорт, почему он так подло трусит смерти? Со временем, разумеется, его заменит... Черимов? — И вот оно назвалось, наконец, это слово, заслонявшее от него мир. Только ученик! Но как молодо и страшно звучит это рядом с беззубым и тяжеловесным названием старости — *учитель*. Он увидел себя со стороны — смешным, как на лянлом дагерротипе, в длинных, гармоникой, брюках, в футлярного покроя сюртуке, в скрипучих резиновых штиблетах; и рядом — Черимова — хваткого, молодого, почти звереныша; в его сердце, как в кожаной кобуре, наглухо запрятан партбилет; он знает, зачем дано ему присутствовать в мире; он имеет идею, и если даже самый счастливый шаг не направлен к ней хотя бы по кривой, он не делает его вовсе; он имеет право говорить, прячась в броню всегдашней улыбки — о, стареющую славу Скutareвского еще не постигла глухота! — «Старик ворчит, старик учит, старик спешит... ему осталось мало». Мало, потому что и тысяча лет — нищенская доля для освоения этого мира. Он-то хорошо знал, Сергей Андреич Скutareвский, что лишь тогда и потянуло его спускаться с горы, когда почувствовал свежесть и жадность новой, идущей ему на смену, расы. Так вон он, этот новый Фарадей, благожелательный, сдержанный и скромный подмастерье. Что ж, каждый призван когда-нибудь сыграть смешную роль Сальери, Деви или Саула. — Из мрака вынырнул громадный воз сена; возница не проснулся от гудков; Скutareвский едва успел выпрямить рванувшуюся на сторону машину.

Здесь шоссейный настил был еще свеж; громко забрызгали в крылья камешки из-под колес. Блуждающий свет фар пролиновался потоками мелкой, бегущей под колеса щебенки. На переезде через линию сияли мутные, как бы ватные, луны фонарей; продолговатая тень машины метнулась мимо, и точно стремясь настигнуть ее или ветром разодрать себе лицо, Скutareвский пустил на предельную скорость. Ветер запел в ушах вровень нижнему до на драндулете. Хлястик воротника больше забился в щеку, свет заколыхался впереди, бензин взрывался и стучал, — еще толчок, и машина разотрется о воздух. Ученик был

прав, учитель торопился, но не потому, что *догоняло* сзади, а потому, что *ждало* впереди. Он почти не сбавил скорости на повороте, — нравилось ему изредка подразнить судьбу, — и когда в прыгающий пучок света попал безликий точно из бумаги вырезанный силуэт, он не успел... Стремглавое, свистящее пространство прорезала чья-то выкинутая рука, и визг мокрого щебня достиг его ушей. Шла ночь, — можно было, притушив задние огни, мчаться дальше и впотайную вернуться в город другой дорогой. Остановясь вдалеке, не выключив машины, он бежал назад, суматошно разметая ветер руками. Несчастье было очевидно; в минуту встречи ему почудился крик; повидимому, он задел крылом. Он бежал и все старался вспомнить адрес ночной больницы, мимо которой однажды проезжал.

Женщина сидела на краю шоссе и растерянно глядела на бегущего человека. Когда он приблизился, она уже выбралась из шоссе канавы. Она была жива, все обстояло благополучно, следовало возвращаться домой. Чиркнув спичкой, он оглядел свою жертву: «шатаются туг по шоссе». Это была девушка, но вначале она показалась ему старше. Девушка — это было для него понятие чисто возрастное; уж он-то знал, что девушек вообще не бывает. Мешковатая, сконфуженная робость сквозила в движениях, которыми она отряхивала с себя слякотную грязь. Лицо ее было очень простенькое; губы еще не сформировались в нем; брови виновато вскинулись на лоб, ей хотелось плакать... Потом спичка стала жечь пальцы. Скутаревский спросил угрюмо:

— Я вас ушиб?

Голос его звучал грубо, почти враждебно; он уже раскаивался, что задержался зря.

— Нет, я упала. Я сама упала. Я испугалась... это ничего. — Она могла бы прибавить, что у нее от слабости закружилась голова, когда понеслись из-за переулка стремительные солнца фар.

— Куда вы шли?

Неопределенно она кивнула вперед, на дорогу:

— Туда, в город.

Скутаревский возмущенно пожевал губами; действовала первоначальная инерция испуга. В конце концов ему никогда еще не доводилось подшибать девушек.

— Нельзя же так... ходить. Ладно, я вас подвезу. Есть у вас какой-нибудь чемоданчик?.. Давайте, я не украду. — Он удивился: — Нету? Ладно, идите за мной так. — Он с раздражением обернулся: — Да не отставайте же!

Она подчинялась сразу; она шла несколько позади. Снова пакостный мелкий дождик замигал в глаза. Скутаревский усадил ее рядом, за стеклом здесь меньше дуло. Потом хрустнула какая-то педаль, они помчались. Тотчас за перелеском шоссе выпрямлялось на многие километры; Скутаревский сидел недвижно, положив на руль огромные, в черных рукавицах руки. Он ехал и думал: «Конечно, ее обидел любовник, прораб с местного строительства; у него пестрые усы, мокрые сапоги и длинные руки. Потом ему стало стыдно такой догадки, — девушка была моложе. «Наверно выгнал отец, у него в провинции домик, курятник с целым выводком цыплят. Папаши и детки, старая история. Завтра она нажалуется прокурору, папашку вышибут со службы, и прораб будет ходить к дочке, уже не опасаясь наследить в комнате». Это ему тоже не понравилось, а третьего варианта он пока не видел. Он повернул на сиденье, но молчал. Разглядывать ее или расспрашивать — в каком профсоюзе состоит, кто, почему, по которому разряду получает — было все равно, что деньги требовать за провоз.

На линии, пока ждали прохода поезда, он впервые, искоса, взглянул на нее. Автомобиль вплотную упирался в полосато раскрашенное бревно. В ярком свете фар видно было, как на нижней его стороне тяжело ходят, срываются и падают вниз крупные капли измороси. В отраженном свете лицо девушки почти флуоресцировало. Она была стриженная, губы строго поджаты; на мелких кудряшках, выбившихся из-под мужской кепки, искрилась ночная влага. Девушка дрожала, одетая в непромокаемое пальто — особый сорт быстро намокающей ткани; дрожь ее он чувствовал плечом. А поезд шел нескончаемо, товарный, и вез он, должно быть, какую-то неспешную зимнюю кладь.

Скутаревский коснулся ее мокрого рукава и отдернул руку, — кажется, это превосходило меру допустимой вежливости:

— Вы озябли?

Она вздрогнула и наугад стала шарить ручку дверцы. Он громоздко удивился:

— Куда вы?.. Я спросил только — вы озябли?

— Я... устала.

Потом шлагбаум поднялся, и капли струйкой побежали вниз. Машина рванулась дальше, к мутной короне зарева, поднимавшейся из-за округленных куп. Больше они не перемолвились ни словом до самой заставы. Город надвинулся не сразу, но зато неотвратно, как судьба, и сперва мимо тащились грузовики, целый обоз, громово сотрясая ледяную, пустынную тишину. Скутаревский выждал, пока позади затихли рев и дребезг этих ночных, чернорабочих моторов.

— Ну... вам какая улица?

Опять она заторопилась, точно ее гнали, и неумело, на всем ходу, стала открывать дверцу:

— Мне тут... Я тут спрыгну. Тут недалеко...

Скутаревский сердито затормозил машину; ему хотелось прикрикнуть на спутницу, беспомощность которой стойко сопротивлялась его злости.

— Номер дома-то вы по крайней мере помните?

Она смешалась окончательно:

— ...не то сорок семь, не то семьдесят девять. Я помню: семерка. — И вдруг прибавила совсем по-ребячески: — Все равно, вы только не сердитесь... я тут и слезу.

Скутаревский подумал так: «Я дурак с вислыми ушами, я собираюсь бросить на улице сшибленного... и, да, да, изуродованного человека!»

— Надо же знать адрес, по которому идешь в жизни. Но слушайте... — Он прислушался к самому себе: третий раз на протяжении этого месяца заставало его такое сердцебиение. — Слушайте, как вас там?.. У меня в квартире есть кушетка, на ней никто не спит, без клопов. Я не жулик, я старомодный, высокочтимый дед. Взгляните на меня, каков я... Я даже, говорят, похож на кормилицу, чорт возьми... Да вы слушаете меня? — Она глядела куда-то в сторону. — На улице спать нельзя, вы умрете, и потом — милиция. А завтра — пожалуйста, ищите в жизни свою семерку.

Кажется, ей было уже безразлично, куда и зачем ее повезут:

— Да...

Рывок автомобиля усадил ее на место. Задерганный мотор рычал; Скutareвский вел его на полном газу и вдобавок усердно притормаживал, — покрышки то и дело визжали на голом камне. В несколько крутых и бешеных виражей — тут улицы спирально поднимались вверх — он достиг дома. На гудок выбежал шофер — посмотреть, что за беда приключилась с хозяином. Скutareвский пропустил девушку вперед; еле заметно она прихрамывала. Молча они поднимались по лестнице. Давая ей ночлег, он вовсе не был обязан занимать ее разговором. Видимо, она прежде него почувствовала ужасающую двусмысленность их молчания:

— ...это на котором этаже?

— Скоро. На четвертом. Ползите.

Они вошли тихо, крадучись, как воры. Была ночь, на всю квартиру хозяйственно тикали часы; изредка в красно-деревом футляре поднималась озверелая возня: не подслушиваемые никем, минуты грызлись, — которой первой отметить самое чрезвычайное, на протяжении десятков лет, происшествие в доме Скutareвского. У сына горел свет. На шорох он вышел сам, без воротничка, с зеленым козырьком над глазами.

— А, это ты! — И мельком, но зорко скользнув по спутнице отца, ушел к себе; глаза его по-библейски были опущены вниз.

В столовую Сергей Андреич почти втолкнул ее и жестом показал на диван, на котором предстояло ей спать.

Он даже потыкал кулаком в обивку, мягко ли; было мягко. Потом он отправился к жене, где помещался обширный бельевой комод, обрюзглый символ семьи, христианского государства, вчерашнего дня. Выдвинув ящики, он небрежно, по-мужски, потрошил их, комкая крахмальные тряпки и раскидывая по креслам; впервые он заявлял права на этот пузатый предмет, которого всегда чуждался. Жена проснулась; она увидела Сергея Андреича за необычайным для него делом; она спросила лениво:

— ...что тебе?

— Простыни. Всегда ты их запихиваешь на самое дно!

Спросонья она не поняла его раздвигательного тона. Сергей Андреич испытывал великое смущение; слова не отлипали от его губ, а язык стал неповоротливым и полосатым, как давешний шлагбаум.

ГЛАВА 11

В институт он уехал в обычное время, — жена еще спала; он вообще приходил на работу первым. И сразу, едва вошел под гулкий купол, где ждали его макеты будущих чудес, он забыл все, что произошло накануне. Вспомнил он только к полудню, вспомнил случайно, когда увидел красные иззябшие какие-то руки курьерши, подававшей ему чай. Теперь забвенье давалось ему не так легко; он выжидал целый час, пока утихнет, но не утихло: он позвонил домой. Голос жены, более испуганный, чем оскорбленный, сообщил, что девушка ушла рано утром, совсем неслышно, и не возвращалась. Она заговорила об этом сама, прежде чем Сергей Андреич успел выдать себя вопросом. К телефону поминутно кто-то присоединялся; Сергей Андреич слышал в трубку басистое шипение, и потом еще порхающие женские радиоголоски надоедно щебетали на проводе. Скутаревскому так и не удалось расспросить про обстоятельства ее исчезновения.

— ...но в квартире все цело. И даже масло в буфете осталось нетронутым! — торопилась порадовать жена.

— А ты... ты не гнала ее? — тихо спросил муж.

— Я даже не видела ее. Мне только Сеник сообщил... — очень раздельно, как будто задумываясь, сказала жена, и тут их разъединили.

Тоска сомкнула ему губы: а что бы мог сообщить своей родительнице этот, так называемый сын? У него могли возникать лишь догадки, и ясно, одна возмутительней другой. Так представлялось на первый взгляд: он привел женщину ночью и даже не посмел познакомить ее с сыном; он очень старательно закрывал ее от Арсения собственной спиной... было о чем подмигнуть: старик заиграл, старику захотелось с толком прожевать остатнюю порцию жизни; и уж конечно, гайки в нем поослабли, вещество разума подоржавело, если не постеснялся ночью тащить с улицы в собственную семью эту тощенькую добычку. Арсений, при его взглядах, наверно, даже и не осуждал: «Все мы станем старичками, все мы плотоядные». И вот Сергей Андреич вспомнил, как, стоя с девушкой на площадке лестницы, он постыдно долго искал ключ, затерявшийся между листками записной книжки; как

трепетал он от мысли о его потере, потому что первую на ночные звонки просыпалась жена; как испугался он появления сына и каким недобрым взором проследил его уход. Так, постепенно разогревшись докрасна, он наконец ожесточился на самого себя: чего именно он опасался? Преждевременных упреков, бесконечных, тусклых объяснений или, наконец, той скандальной словесной плесени, которая неминуемо вспучится вокруг его имени? Но разве он обокрал ребенка или спрелюбодействовал как ливрейный хам под каретой у барина?.. Должен же был произойти когда-нибудь этот запоздалый бунт, и, по правде, уже вводя незнакомку в дом, он уверял себя, что приготовился ко всем последствиям.

А они уже потянулись: Сергей Андреич у всех замечал улыбки, ибо принято улыбаться чужому удовольствию. В его догадке не было ничего невероятного, — шофер, как человек обстоятельный, всегда был непрочь в подходящей компании обсудить своего хозяина. Сплетничал же он Сергею Андреичу про Ханшина и юркую, под вуалькой, дамочку, которая в заключение пошлого анекдотца оказалась собственной ханшинской женой. Именно теперь где-нибудь в раздевальне могли строиться коллективные домыслы относительно его приключения на загородном шоссе. Что ж, пускай: необыкновенность может случиться даже с извозчиком. И вдруг, отодвинув в сторону расчеты аппаратов, которые сегодня не удавались никак, он отправился в обход по лабораториям института: такие обходы случались сравнительно редко и почти всегда предвещали грозу. Он шел тихо — мимо длинных измерительных столов, мимо черных, сталактитного вида цилиндров, в которых таинственно преобразовывалась энергия, мимо шипящих проводов и оранжево светящихся ламп. Его встречал низкий гул машин и почтительный шопот людей, безыменных участников его славы; судя по ведомости на зарплату, которую подписывал вчера, количество их за один месяц увеличилось еще на сотню. Все отличалось отменным порядком, и пружине, натуго закрученной разговором с женой, не на чем было расхлестнуться.

Он вошел в длинный, коридорообразный зал и задержался у входа. На подоконнике сидел молодой человек в свитере и энергично жевал пустую булку; он был розов, в прекрасном настроении и располагал, повидимому,

превосходным кишечником. Сергей Андреич приблизился, и тогда тот вскочил навстречу.

— Что у вас тут делают?

— Завтракают...

Скутаревский кашлянул и строго взглянул на часы-браслет: было восемь минут сверх полдня.

— А в свободное время?

Тот смутился:

— Работа специального назначения, Сергей Андреич.

На самодельном постаменте стояло сооружение, конструкция которого зародилась однажды в голове у этого слишком молодого человека. Солнце, минутное, расслабленное, ноябрьское, вступало в широкое око лаборатории, и темная, чуть в лиловость, тень аппарата причудливо рисовалась на известковой стене.

— Да, помню. Объясните... — приказал Сергей Андреич. — И прожуйте сперва: вы расходуете хлеб на мой пиджак.

Тот скомкал булку в кулаке:

— Начало вы знаете... только вот здесь я несколько перестроил. Вольфрам тут сгорает без остатка, а температура его плавления...

— Да, три тысячи. Дальше.

— ...а так как пары вольфрама не проводят тока...

— Ага, понимаю. Вы способный малый, берегите кишечник... — усмехнулся Скутаревский и, довольный, двинулся дальше.

Не останавливаясь, он прошел насквозь несколько лабораторий. В лаборатории длинных линий производился расчет Кузнецка; в малом высоковольтном происходил дождь, — шло изучение масляных контактов; в конструкторской строился новый, целиком советской конструкции, прибор.

— Ну... — сказал Сергей Андреич, подходя.

— Вот делаем автоматический осциллограф, — начал заведующий.

— Это для электрозавода?

— Да. Мы все-таки отвергли французскую схему. Они ставят один бачок, вот здесь, потом раструб, потом второй... секцию на секцию... но вот насосы бьются, стекло. Похлопочите, Сергей Андреич. Стеклодувы не успевают, ждем по неделе...

Скутаревский взглянул в лицо заведующего; тот волновался, и какой-то нервик дьявольски пульсировал у него под глазом.

— Пустяки, — сказал Скутаревский. — Я видел у Эдисона ответственный прибор, сделанный из гвоздика и веревочки. Понятно?

Тот дрогнул и закусил губу:

— Гвоздик и веревочка?.. во всяком случае этого вполне достаточно, чтоб повеситься! — и нервик снова забился, точно его пощипывали.

— Потрудитесь не острить в моем присутствии. Я человек тупой, знаете, без юмора... — и шел дальше.

Он спустился в монтажный цех. Те же безвестные люди в синей прозодежде, верные спутники величавой кометы, кропотливо собирали механизмы, идею которых Сергей Андреич десятилетие выращивал в мозгу; пожалуй, это и были его руки, черные, рабочие руки. Он остановился возле одного, и тот заговорил, конфузясь пристального директорского внимания.

— Месяца через полтора закончим монтировку. Часть была уже готова, но Иван Петрович изменил весь колебательный контур.

С поджатыми губами Сергей Андреич наблюдал его старанье — :

— ...да вы сделайте тут просто муфту, без всяких присадок, так. Кстати, вы знаете, что именно вы делаете?

Тот вскинул прищуренные глаза:

— Во всяком случае этим можно убивать.

Скутаревский сказал сухо:

— Да, поскольку всякий наш успех разит врага... даже хорошо пришитая подошва. Я очень прошу помнить это при назначении сроков, товарищ.

Так, после полуторачасовой прогулки по институту он возвращался в свой кабинет в том же спутанном и сумрачном настроении. Он застал над своим столом Ивана Петровича и ждал на пороге, пока тот его заметит; он пожалел, что вошел слишком рано.

— Вы не помните, куда положен чертеж антенны? Все дело, конечно, в неправильной кривизне зеркала... — смущенно заговорил Геродов; издали очки Ивана Петровича чрезвычайно увеличивали; каждый глаз представлялся размером в четверть лица.

— Откуда вы, такой румяный? Да вы постареете ли когда-нибудь? — Так Скутаревский нарочно прятал в шутку внезапное подозрение, но вдруг пошел напрямки: — Вы хорошо знаете шурина моего?

— Как вам сказать... мы с ним записаны в один и тот же жилищно-строительный кооператив. И мы оба с ним в ревизионной комиссии...

— Будьте добры, — четко сказал Скутаревский, — узнайте у него как-нибудь легонько, между делом, откуда он знает о ходе моих работ. И кстати, предупредите всяких наших болтунов, которые по старческой нерадивости и немощи моей завелись у нас в институте. Мерси.

Тут позвонили по телефону из правления; говорил сам Кунаев. Он вызывал Скутаревского на срочное заседание. На повестке стояло обсуждение крупнейшего электромашиностроительного комбината. Это было не только крупнейшим событием в его личной жизни, но и происшествием для всей системы советской электрификации; он волновался и торопил. Сергей Андреич так и не закончил своей ссоры с Иваном Петровичем; он вызывающе запер бумаги у него на глазах и уехал немедленно. Как и предполагалось, обсуждение выдалось бурным, в особенности когда дело коснулось обсуждения мощности агрегатов. Тогда устанавливалась американская мода укрупнять котлы из идеального расчета — по турбине на котле, и в памяти Скутаревского маячила трехвальная чикагская турбина на двести восемь тысяч киловатт. Нашлись, однако, противники гигантизма, и Сергею Андреевичу стало где проявить свой темперамент... Повестка вышла длинная, отвращение к прокуренной этой комнате овладело им. Прения вступили в область, чуждую ему: шла общая экспертиза проекта, о заводах будущего комбината, о проблемах транспорта и грузовых потоков, — он от безделья принялся чинить желтый огрызок карандаша.

Широкое окно без занавесей, прорубленное смелым архитектурным приемом, стояло как раз перед ним. Там, за голыми сучьями тополей, падая с зенитной высоты, наступала ночь, и только где-то вдаль, на окраинах горизонта еще желтела смутная полоска неба, желтая — как желт по осени тугой гусиный жирок. То был любимый его цвет, кадмий; он напомнил ему о природе, о гусиных перелетах, об охотах, на которые езживал в молодости, о су-

гробистых перелесках с можжевельной на опушке, о том жадном, головокружительном волнении, с каким смотрит горожанин на незатоптанные одуванчиковые полянки. Несколько позже, взлохмаченные тоской, образы эти уплотнились в явственные и знаменательные ощущения. Он увидел мокрую скамью общественного сада; в стылых зябких лужах смутно дрожали громадные латунные звезды. Скамейка была пуста, и у той, которая сидит на ней, ознобный ветер ершится в рукавах. В свое время его вовсе не беспокоила в такой мере судьба Черимова, который точно так же уходил от него когда-то в весну и бездомную, нищую юность. Тогда он думал, что это пустяки; всякая зрелость начинается с одной какой-то одинокой полночи, — так в ледяную воду погружают светящуюся сталь. Но была, значит, разница, и в ней заключалась та необыкновенность, которую он знал со всей страстью стареющего человека... Он все чинил карандаш, пока не порезался.

Капелька крови на пальце вернула его внимание к яви. Говорил Петрыгин; Сергей Андреич не заметил, как и когда он появился здесь. Только что в речи его сверкнул отточенный каламбур, и собравшиеся оживились, платя дань ловкому его остроумию. Скutareвскому показалось, что как раз сегодня у шурина в особенности фальшивое лицо, — он изучил достаточно тот пестротный словесный панцырь, в который Петр Евграфович прятал наиболее уязвимые куски своих выступлений. Не дождавшись перерыва, Скutareвский вышел в коридор, к телефону.

— ...не возвращалась? — спросил он, красный как мальчишка.

— Нет... — Жена видимо недоумевала, радоваться ей, огорчаться ли мужней откровенности. Впрочем, она прибавила едко: — Если хочешь, я оденусь и покараулю ее у ворот.

— Какая чушь! — и тут же бросил трубку.

Подошел Петрыгин.

— Кто это у тебя сбежал?.. И что у тебя с пальцем? — спросил он весело и не дождался ответа. — Почему ты не заглянешь никогда? Мы дадим тебе конфет, чаю с сухарями...

— Нет, я заеду, пожалуй. Возможно, у меня будет к тебе дело, — отвечая своим мыслям, сказал Скutareвский.

— Вот, вот, заходи. Кстати, я письмо тебе одно прочту

от Жистарева. — Это и была фамилия его предприимчивого тестя. — Чудно, мы с тобой при встречах петушимся, а ведь в сущности на одно ядро прикованы...

...отсидев заседание до конца, Сергей Андреич сразу поехал домой и, едва вошел, сразу заглянул в гостиную, — диван был пуст. На пробу он подергал ящик буфета, где хранилось столовое серебро, — ящик был заперт. Анна Евграфовна не любила менять привычки, в особенности, если это касалось гостеприимства. В ту же минуту, как нарочно, появилась она сама.

— Слушай, Сергей, я не знаю, куда она ушла. И ты понимаешь, мне неловко было ее догонять... — сказала она почти озабоченно, но он и не пытался опровергать ее подозрений. — Принесли из починки твой... — Она чуть не сказала *драндулет*. — Я повесила его на место. Ты рано вернулся...

— Да, разболелась голова. Три часа в прокуренной комнате. Кстати, теперешний табак, повидимому, ради экономии мешают с крапивой...

— Ты давно не принимал своего лекарства, Сережа. Ты помнишь о других, но нельзя же до такой степени забывать и о себе. Ты стал очень добрень, Сергей... — В ее интонации это прозвучало как — *стареть*.

Он выдал себя гримаской неудовольствия, — было ясно, о какой болезни она вспомнила. В руках жены уже торчал цветной аптекарский пузырек с грязной полоской рецепта. Лекарство это он принимал полгода назад, когда в особенности дало себя почувствовать многолетнее переутомление. Ну да, она намекала на его возраст, и желтая бездарная склянка выражала весь остаток слабнувшей власти жены и семьи. Да, это был рычаг власти, угнетающее орудие, инструмент для подчинения, — он решил всемерно сопротивляться.

— Ты уезжал бы чаще за город... проветриться. Вот ты работаешь, работаешь, а потом тебя арестуют. Ты же болен, ты очень болен...

— Да, — сказал он и, вынув руку из кармана, показал палец, обмотанный платком; кое-где коричневатым темнели на нем пятна. — Я сильно порезался, принеси мне иод и бинт.

Она пошла с неохотой, а он стоял и смотрел на ее пятки в домашних, без задников, туфлях; они были жел-

тые, цвета гусиных плюсен, и такая же тоска загрызлась где-то в ребрах, как в тот бесчестный вечер, когда она пришла просить ребенка и потом накрепко приклеилась к его руке. С тех пор кожа ее огрубела, у нее стали расти усы, милая родинка, из-за которой он проглядел остальное, превратилась во взрослую, с волосиками, бородавку. «Устрица...» — бессмысленно сказал Скутаревский и, во исполнение какой-то необъяснимой потребности, пощупал твердый угол шкафа, у которого стоял. Все оставалось по-прежнему; гипсовые гении равнодушно смотрели поверх его затылка. Им было скучно, ничто не грозило им и, даже в случае победоносного завершения этой смешной трагедии, им пришлось бы только потесниться, чтоб уступить место гипсовому Скутаревскому. Гомер и вовсе завалился носом в угол, и, чорт его знает, что он вынюхивал там. Из шкафа сквозь закрытые дверцы сочился скверный запах... и вдруг Сергей Андреич почувствовал, что если он не уйдет немедленно, то ножом или просто камнем с мостовой он примется разбивать это дубовое сооружение, чтоб узнать, наконец, какая семейная святыня воняет так. — Сергей Андреич посмотрел на порезанный палец и смирно двинулся к себе.

Через несколько минут слышались первые скрипы и глухое, засурдиненное ворчанье. Жена вскинула на нос пенсне и прислушалась. Муж упражнялся на драндулете. Она улыбнулась и, налив рюмку воды, недрожащей рукой капала туда лекарство, — как много слез, плакучих рек и бесплодных разговоров заменяли собой десять капель этой пустяковой жидкости! На пятой по счету капле она мысленно решила переговорить с Сергеем Андреичем об одной старой персидской миниатюре, которую недавно предложил Штруф. На восьмой она вздрогнула и остановилась, сбившись со счета. Звук драндулета был необычайный, и, хотя никого во всем свете не напугал бы он, она прислушивалась к нему с расширенными глазами; такое знал, может быть, только Чайковский, когда в жутких местах своих партитур он нажимает на фаготы. Нечто чешуйчатое, чего втайне боялась все эти тридцать воровских лет, потому что крала, крала ежедневно из Скутаревского, теперь скрежетало и царапалось в ее дверь. Потом оно выдулось через черный, точеный рот фагота; вот оно родилось, оно приняло, наконец, форму маленького чело-

вечка, который существовал, разумеется, только в ее исхлестанном воображении... Генеалогия человечка была путаная; это была смесь из детских розовых сказок и поздних, старческих страхов, беспощадных, как убийцы. Оно имело видимость самого Скутаревского, но в преуменьшенных до карикатуры размерах; оно носило его пиджак, его рыжеватую бородку; его забрызганный веснушками лоб. Теперь оно вышло из комнаты Сергея Андреича, угловато порхая, цепляясь за вещи, которые тревожно звенели, оно подвигалось, оно шествовало со стиснутыми кулаками в направлении ее комнаты, на разгром и разорение ее бесценных фарфоров и хрусталей. И точно в подтверждение, внезапный дребезг посуды за дверью оглушил ее. Она распахнула дверь: горничная с белым лицом взидала на разлетевшиеся по полу черепки.

— У меня гвоздь в каблуке... я об ковер... — бормотала она.

И хотя мадам готова была избить ее жестоко, по-мужски, все же с облегчением притворила дверь. Звук струился тише; он выражал сожаление и, может быть, какую-то искаленную надежду; наверно вот так же — робко, наощупь — пробовал свое изобретение, фаготного предка, и сам феррарский каноник... Но девушка не воротилась ни к ночи, ни на следующее утро; возможно, она отыскала утерянную семерку. День случился суетливый, клочковатый по впечатлениям, и вся суетня его не вела, собственно, ни к чему. Потянуло в баню, но Матвея Никейча опять не оказалось на законном месте: слухи об избрании его в высокую должность подтверждались. Удовольствие беседы по поводу мировых загадок не состоялось; он сидел в одиночестве на высоком полке и рассеянно думал, что только у огня, равная воде, имеется такая же очистительная способность. В мокрых ступеньках безнадежно мерцала отраженная ноябрьская белизна... крыши за окном стояли запорошенные снегом. Очередная лекция прошла вяло, это был скучноватый раздел о гиперболических функциях. К себе в учреждение он попал лишь к сумеркам, и, когда несколько месяцев спустя он попытался восстановить подробности этого исключительного дня, в память ему приходили лишь незначущие мелочи. Стучали во дворе плотники, производившие перестройку флигелька для Черимова; потом всплыло сияющее

и потерянное одновременно лицо Ханшина, у которого родился сын несколько неожиданной для родителей масти, — радость отца была единственным способом скрыть замешательство перед фокусом природы; потом неожиданно предупредили о посещении замнаркома. Сергей Андреич положил трубку с удовлетворением: визит начальства приходился во-время.

Тот приехал через час, когда Скутаревскому уже надоело ждать; он вошел быстро, окруженный секретарями, улыбающийся и по-военному четкий. Церемониал их знакомства был пересыпан краткими, ни к чему не обязывающими любезностями. Замнарком был молодой, в новой должности ходил всего лишь месяца два, и ему было легко вести беседу с человеком, который говорил с Лениным. Позже, когда все уселись, дело пошло быстрее. Гость делал вид, что заинтересован работой института вообще, но как-то случилось, разговор пошел лишь по линии собственной работы Скутаревского. Было очень тихо, секретари сидели выпрямленно и неподвижно; из нижнего этажа доносилось сухое пощелкивание энергии: в изоляторной лаборатории били очередную сотню изоляторов. Недружелюбно косясь на секретарей, которые что-то записывали, Сергей Андреич вполголоса рассказывал о принципах, на которых строил разрешение задачи.

— Вам, конечно, известны работы Александерсена и Тесла? — перебило начальство, и с удивительной приятностью сошло с его уст знаменитое имя радиста.

— Да, их опыты глубоко поучительны. Хотя я считаю, что Мейснер и Арко ближе к успеху.

И опять тянулась длинная, неразборчивая для постороннего лекция о свойствах высоких частот; формулы переплетались сложными шестернями; длиннейшие периоды, насыщенные ужасными математическими иероглифами, чередовались с определениями, звучащими как заклинания. Сергей Андреич усердствовал, точно замнарком обязан был, несмотря на свой возраст, знать все это; Сергей Андреич вел его по самым сучковатым дебрям, как бы указывая — «вот видишь, я ничего не скрываю, но, раз уже приехал проверять, на что тратятся деньги, так держись!» Молодое начальство успело прославиться скупостью, и было полезно между делом нажать в самое его болезненное место. Черимов, который присутствовал при

свидании, не смело догадывался, что директор намеренно прячет под научным шифром какую-то основную сущность своего открытия. Ему показалось также, что высокий посетитель то дремлет, то теряет терпение; глаза его отяжелели, выправка утратилась, и он курил папиросу за папиросой, чтоб выдержать до конца взятый им стиль почтительного внимания.

— Что такое фединг, простите, Андрей Сергеич? — пошевелился он наконец.

— Это... замирание волны в атмосфере, — жестко усмехнулся Скутаревский.

— В общем я... понял. И вы скоро надеетесь произвести пробу, Андрей Сергеич?

— Я полагаю, через месяц вчерне закончится монтаж.

— Отлично... Что вам потребуется для этого? Я имею директивы, Андрей Сергеич, всемерно итти вам навстречу. Скутаревский развел руками:

— Совсем немного. Поле в тридцать — сорок квадратных километров и ну... хорошая, без лишних глаз, ночь. А вообще требуется немало. Нас загрузили уймой работ, а смету оставляют прежней. Об этом я буду ставить вопрос особо. Может быть, товарищам угодно будет пройти по институту?

— Если вы позволите, Андрей Сергеич...

— У меня довольно трудное имя... так что зовите меня лучше по фамилии, — сказал Скутаревский, вставая и косясь на смущенного секретаря.

...домой он отправился только к вечеру. Машина стала на ремонт, — он шел пешком. И вот здесь, при слиянии двух переулков, Скутаревский увидел ту, мысль о которой не покидала его за эти дни. Она ждала у самого подъезда дома, где жил Скутаревский; ждала она, видимо, не первый час, с отчаяньем заглядывая во все проезжающие автомобили. У нее был вид провинциалки, заблудившейся в большом городе. Скутаревский подошел к ней сзади, когда она, держась за металлические поручни, почти с отворачиванием глядела на пестрые, дородные сокровища в витрине овощной лавки. Она узнала его по отражению в стекле перед собою и растерянно обернулась.

— Ну, нашли вы свою семерку? — спросил он, строго уставляя на нее палец.

Она молчала, опустив руки, застигнутая врасплах.

— Давно вы тут?

Она молчала. Он понял что-то и подергал свою бородку.

— Я задержался... все заседания.

— Я проходила мимо... — торопливо начала она.

— Да, да, конечно! — Он удивленно втянул воздух. — Чем это пахнет от вас... миндалем? Вы ели миндаль? — и вдруг: догадался о самом главном: — А вы вообще ели что-нибудь сегодня?

Она виновато засмеялась, ежась от снежного ветра, который за поворотом так и играл мелкими вихорьками:

— Я разговариваю сегодня не с первым, но вы первый спросили, хочу ли я есть.

В этот поздний час дня возвращалось со службы чиновное племя. Скутаревского и девушку толкало людским потоком, разъединяло, они поминутно меняли места. И уже один, со странным лицом в виде дубового листа, даже остановился, живо заинтересованный неестественными выражениями их лиц.

— Пойдемте все-таки, — сказал Скутаревский и заранее отыскал в кармане ключ.

И снова они поднимались молча, как в заговоре. Беспочинный стыд связывал их крепче всяких признаний. Жена, точно ждала за портьеркой, вышла навстречу.

— Вот отыскал беглянку, — развязно сообщил Сергей Андреич.

Анна Ефграфовна ответила, не разжимая губ:

— Ну, и отлично. Я вам накрою сейчас; мы уже отобедали... — Она ушла и больше не показывалась.

Величайшая суматоха охватила Сергея Андреича; размашисто, куда-то торопясь, он опустошал буфет и все подряд, без разбора выставлял на стол; никто не узнал бы его в этой новой роли. Надо же было накормить голодного изыбшего человека.

— Тут есть телятина холодная... девушкам телятина полезна. Еще рыба... несколько затейливого цвета. Хм, рыба хороша при насморке. Потом коньяк... — Он одумался и спрятал бутылку на прежнее место. — Вы ешьте, слушайте. Я совсем разучился говорить с голодными. На голодного нельзя кричать...

Она подняла глаза:

- Зачем кричать?
- Но это же бездарно — не есть целый день.
- У меня нет денег.
- Да но... хлеб можно красть.
- Я не умею... — и благодарно улыбнулась.

Она ела робко, отщипывая кусками, а он украдкой разглядывал свою добычу, — все еще не прошел неуклюжий адамий стыд. Она была совсем девчонка; женщина не начиналась в ней вовсе. Но уже в ее девичьих коленках, неуверенных и слегка удлинённых, сказывалась та, другая, которая непременно придет.

Сергей Андреич стал вглядываться попристальней, понаглей: в конце концов луна принадлежит всякому, кто смотрит на нее. Ему понравилось, как она прятала от него свои красные, с обгрызанными ноготками руки; ему было приятно видеть, как вместе с едой в девушку возвращалась жизнь: неверный анилиновый румянец заблуждал по ее худым щекам. Скутаревский решил приступить к допросу.

— Вот, живите, шпарьте. Тут много комнат и непропорционально мало людей. Воды вам сырой или кипяченой? Пейте сырую, ничего. Кстати, почему вы сбежали из дому в город, где у вас ни души?

Не дожевав куска, она быстро поднялась с места. Сквозь порванный чулок розово сверкнула царапина, след их первой встречи.

— Не спрашивайте, я уйду.

Скутаревский прищурился; тело его испытало ощущение, подобно электрическому толчку. Было отчего смутиться: уже она ставила ему условия, и он не смел не выполнить их. Он быстро придумал себе в оправдание, что ему и нет особой нужды знать ее прошлое.

— Хорошо, я не буду, — буркнул он, беря рукой кусок телятины. — Давайте знакомиться. Итак, вас зовут Женя. Моя же фамилия длинная... так что иные путают, а дураки острят!

— Вы... вы Скутаревский! — И она привстала с выражением испуга и восхищения: она успела прочесть его имя на медной табличке.

Ее глаза блеснули, и, в сущности, она сидела уже больная; когда поздно ночью после двух заседаний подряд он вернулся домой, девушка бредила. Без подушки, откинув

голову назад, она лежала на отведенном ей месте скутаревского гостеприимства, совсем одна, и двери к ней плотно были прикрыты, почти забаррикадированы: мадам желала подчеркнуть невмешательство в личную жизнь мужа. Глаза девушки терялись в сизой дымке, рука свисала до полу, губы спеклись и стали тверже корки на хлебе. Тут же, на полу, вываляясь из руки, лежало надкушенное яблоко, доесть которое девушке так и не удалось. Сергей Андреич гневным, громоподобным шагом прошел к себе и рванул телефонную трубку. В квартире было тихо, точно все вымерло, но он знал точно, что попрятавшиеся родственники из всех щелей слушают его разговор. Он кричал в телефон нарочито громко, насилию сдерживая бешенство, — ему оставался шаг, чтоб начать разрушать эти вещи, одна ненависть к которым доставляла ему сердцебиение. Оставлять больную женщину без помощи казалось ему низменным, и если причиной этому была семья, значит против семьи и был направлен его бунт... В том же доме жил детский врач, с которым Сергей Андреич всегда раскланивался при встречах; его не оказалось дома. Тогда он вспомнил о другом, с которым однажды, в гостях у Петрыгина, вел он нескончаемый спор об архитектуре. Тот приехал через полчаса, огромный, обрызглый; и такое изобилие кожи было у него на лице, что одна губа заходила за другую. Раздевшись, он с монументальным достоинством прошел в гостиную, где лежала гостья Скутаревского.

— Здесь и живете?.. и фининспекторов не опасаетесь? Я бы все-таки часть уничтожил бы, а часть рассовал по знакомым! — посоветовал он сиповато и потер руки просто так, из приятности встречи. Потом он начал сморкаться, а Сергею Андреичу и слово вставить было некуда. — Ну-с, рассмотрим девушку! — стал расстегивать блузку Жени. — Дочь? — спросил он еще, щупая пульс.

— Не совсем, — мрачно ответил хозяин, стараясь глядеть в сторону, но кое-что все-таки попадало в поле его зрения.

— Так, так, отлично. Корь, значит... Вы видите эти возвышенные круглые пятна, вот здесь, над соском? Да-с, детская болезнь, корь... Вероятно, и конъюнктивитик небольшой имеется. — Он сунул всю пятерню в глаз Жени, и, точно облитое кровью, сверкнуло глазное яблоко под его

толстыми перстами. — Так и есть, отлично-с. — Привычно, раздобывшись бумажкой, он писал рецепт, изредка поглядывая на пациентку; кажется, еще и еще хотелось ему терзать ее. — Ну, вот... способ употребления прочтете на рецепте. А пока раздеть — и в кровать. И потом, разумеется, почистить желудок... Это прежде всего! Я заеду на-днях. Не благодарите. Женщины у вас найдутся?

— Я постараюсь найти, — с мятым лицом вставил Скутаревский.

— Н-да, ну вот... — Ему хотелось, кажется, посидеть, продолжить беседу, которая, будучи достойным почтенного человека времяпрепровождением, вместе с тем не особенно заставляла думать.

Но Скутаревский продолжал стоять, любезности особой не проявлял, два пальца правой руки держал в жилетном кармане, и тому пришлось идти в прихожую.

— Знаете, вы все-таки были неправы тогда насчет Америки. Вы забыли, что эти скайскрайберы давно вышли из моды. Новая их архитектура — это усеченная ассирийская пирамида, но помноженная на двухтысячелетнее могущество техники. Знаете, этак с лабораториями на террасах, со спортивными площадками, детскими яслями, оранжереями. А у нас клоп-с. И по больным ходить страшно. Я, конечно, в Америке никогда не бывал, но я видал на картинке в *Огоньке*... знаете, с оранжереями. И я думаю, что...

Скутаревский ежился, потому что холодом несло с лестницы через предупредительно распахнутую дверь.

— Вполне допускаю, вполне.

И как только щелкнул за ним замок, вышел сын. Заметно было: его тяготил предстоящий разговор. Он начал с деликатного заявления, что его отнюдь не интересует, кого именно Сергей Андреич водворил на неизвестных условиях в свою семью, но, конечно, имело бы смысл отправить ее с корью в больницу.

— Я благодарю тебя за мысль... но откуда ты узнал, что у нее именно корь? — пронзительно спросил Скутаревский, глядя в лоб Арсения.

Тот вспыхнул, неопределенно разводя руками; не сознаваться же было, что вместе с матерью стоял он тут же, за дверью, носовым платком заглушал дыхание. И тепло ее старого тела мешалось вместе с его теплом... И, значит,

действовал еще этот заговор страха и ревности, раз он пошел до конца высказать опасения матери своей:

— Я не утверждаю, что она воровка, но шпионкой она может быть вполне.

— У тебя есть точные сведения?.. А ты уверен, что ты сам не шпион при мне? — взорвался отец.

Арсений отвернулся и улыбнулся, потупив глаза.

— Ты странный человек, отец, — сказал он напоследок.

— Да, характер мой всегда отличался некоторым своеобразием. — И опять ушел к телефону.

Он догадался вдруг, что все в доме его ненавидят; это было новостью для него, ему стало грустно и тошно... Сергей Андреич, впрочем, не особенно долго испытывал смущенье; потом он вспомнил, что всегда в жизни ему не хватало личного секретаря. Случалось, что неделями корреспонденция его оставалась нераспечатанной и потом, зачастую, выметалась вместе с сором. Правда, это случилось, кажется, всего два раза за тридцать последних лет, но, при его нагрузках, это несколько не уменьшало его потребности в секретаре. В связи с культурной реконструкцией всюду чувствовался острый недостаток в развитых и способных работниках; ясно, Сергей Андреич не мог не радоваться своей находке, и тем более не смел гнать в больницу бездомного человека, в полезности которого не сомневался.

ГЛАВА 12

Перемена жизни Матвея Никеича наступила задолго до того, как произошли в его бытии некоторые фактические смещения. Она началась с упорных раздумий по поводу мирового течения дел, трамвайного движения и, пожалуй, хлеба, в котором действительно чаще обычного стали попадаться окурки. Позади внушительной первопричиной всему маячила тень одноногого полковника. Случился день, когда вода показалась ему шероховатой, а он понимал толк в воде. То была для него вовсе не разнузданная стихия, укрощаемая водопроводчиками, а некое добродушное существо, доставлявшее ему пропитание и имевшее лицо того, кто в нее смотрит. За долгие годы он изучил ее повадки, запах, вкус, — он знал даже, добрая

она сегодня или злая, — знал тем хитрым профессиональным чутьем, которое никакому трезвому не поддается учету. В помянутое утро вода царапала ему тело, точно поглаживал его кто-то колючей власяницей, а предстояло парить толстого и высоких чинов человека; тот разнеженно лежал на скамье, и кожа его поблескивала, глянцевитая, как на его портфеле. И хотя процедуру эту приходилось совершать, может быть, в тысячный раз, Матвей Никеич медлил у крапа, столбнячно разглядывая самого себя. Никаких заметных изъянов на нем не было, а причины лежали глубже; сомнение в важности древнего своего ремесла совпало с острым раздражением кожи. Позже, дня через три, после банки асфальтоподобной мази, все обошлось, но рубец на памяти остался.

Как раз подошли перевыборы в советы. В раздевальном зале напористые атаковали банщиков лозунги с длинных красных полотнищ; бегали уполномоченные, составлявшие списки, а Матвей Никеич сонным глазом, издали, из бороды, как из леса, наблюдал утомительную людскую суетню. В особенности раздражал его молодой расторопный Кеша, который, став заведующим, домогался еще утвердить свое величие в мире членством в столичном совете депутатов. Матвей безмолвствовал, не принимая участия в хлопотне; и когда подбежал к нему за мнением уполномоченный, Матвей нарочито зевнул ему в самое лицо.

— Ну, а ты как насчет того, чтоб Кешу в совет продвинуть? — спросил тот, задоря, подхлестывая взглядом.

— Нам что, мы всему благодарны, — размашисто буркнул Матвей и еще раз зевнул: точно геенна выглянула из бороды. — И чорту поклонимся, лишь бы яйца нес.

— Ну, а если двуглавый птенец из яйца-то вылупится?

Матвей помолчал:

— Две-то головы, обожаемый товарищ, мене пожрут, чем тысяча дурацких. — И пошел по своему делу.

...но в самый день перевыборов он отправился вместе с прочими посмотреть, как именно станет происходить возвышение Кеши; зрелище это прельщало его больше, нежели обещанный после собрания концерт. Он уселся в уголке, близ отопительной батареи, и не спускал глаз с Кеши, который действительно проявлял такую актив-

ность, что страшно было на человека смотреть. Заседание шло обычным чередом, и вдруг Матвей ясно расслышал свое имя, произнесенное с эстрады тем самым уполномоченным, который столько раз безразлично пробежал мимо него. И тотчас же внимание всего зала повернулось в его сторону. Все еще недоумевая, Матвей Никеич привстал и, произнеся — «чего-с», оглянулся назад, но позади была стена; любопытство зала относилось именно к нему. Он попытался вслушаться, но там, на помосте, шла пестрая трескотня уже других фамилий, список кандидатов в районный совет от коммунальщиков. И только по окончании голосования он понял, что свершилось непоправимое и во всяком случае высочайшая из доступных его разуму катастроф.

В перерыве он побежал к уполномоченному, который тут же и поздравил его с доверием товарищей. Матвей Никеич выслушал его, помешанно блуждая глазами:

— Отмени, товарищ, отмени... в своем ты уме? Какой я правитель? Лежу в жизни бездвижно, как говядина...

Человек глядел в упор и улыбался; со времен гражданской войны много людей пропустил он сквозь себя и вплотную изведаль, какие качества прячутся в таких мрачных, густобровых кряжах.

— Работал ты всю жизнь? — но Матвей молчал. — Много ты накопил домов, фабрик, поместий... много? И потом, довольно ругаться, старик: помоги и сам дурацким-то головушкам. — И дерзко, не попрощавшись, отвернулся; напоминание это сразило Матвея окончательно.

Одно время хотелось ему выскочить на эстраду и прокричать наотрез о своем отказе. Но было неловко проявлять почти кешино мальчишество при такой знаменитой бороде; кстати, начинался концерт, и трое с багровыми лицами уже втаскивали на помост черную краюху рояля... Все первое отделение высидел он не шелохнувшись — и не оттого, что в новом звании двигаться представлялось неудобным, а потому, что страшно было еще раз привлечь к себе всеобщее внимание. Втихомолку обдернул он рубаху, пригладил бороду и еще раз попробовал вникнуть в происходившее вокруг него. Барственный вида человек во фраке пел что-то угрожающим голосом и глядел на Матвея, который все поглаживал бороду, как пригревшегося кота. Матвей побагровел, волнение не унималось, и

музыка заглушалась теми громовыми звуками, которые извергались внутри его. Небывалая буря подымалась на душевной его горе; в последний раз обегал он мысленно свои владения и дивился их ужасающей тесноте. Гора стала совсем махонькая, чирышек на истинной земле; ветер взметал над ней мусор, пыль, нес в глаза, и глаза слезились... Из бури высовывалось насмешливое лицо племянника — «погоди, дохлестнет и до тебя. Еще в газете напечатают...» И тотчас же новый страх внедрялся в его воображение. Ему представала передняя газетная страница, и там, посреди, красовался собственный его, Матвея Черимова, портрет. Получалось не плохо, но зато огромное место, где можно было бы посадить телеграмму с фронта индустриализации, занимала нечесаная его борода. Весь мир смотрел, и все народы — черные, белые, желтые, одни попозже, другие пораньше, — смеялись, и каждый тянулся пощупать уцелевшее чудовище... и вот, грохот смеха разбудил Матвея.

— О чем это они? — спросил он Кешу, который из секретных побуждений уже подсел к нему.

Кеша сидел грустный, — так его куда и не избрали.

— Да вон, Москвин про пушку рассказывает, — печально объяснил он, облизывая пересохшие губы.

— Ты не серчай, Кеша, — сказал Матвей, подумав. — Тебя на будущий год прямо в Совнарком назначат.

Мало ему было, видно, кешина унижения.

Из зала он вышел последним, когда уборщицы со щетками пригоршней высыпали на работу. И хотя совсем не тянуло домой, он очень скоро оказался у дома; крепче привязи держала его многолетняя привычка. Он поднялся к себе и пошарил под деревянной ступенькой; ключа там не было, равно не отыскалось и в карманах. По щелчке света судя, дверь стояла незапертой, и вдруг ему отчетливо нарисовалось, что племянник сидит тут же, за дверью, и, с восхищением потирая руки, ждет дядькина возвращения. Не оставалось сомнений, что, конечно, и вся остальная советская власть в полном составе уже знает о матвеевом избрании... Тихонько, держась за стенку, Матвей спустился вниз и снова двинулся вдоль улиц. На хитрость он отвечал хитростью; племянник напрасно караулил свое торжество. Буря внутри как будто утихла, и снова со своими мыслями он оставался наедине. Самое

обстоятельство избрания, на которое еще неделю назад глядел как на лукавую игру высокого начальства, теперь раскрывалось в совершенно неожиданном сечении. Сейчас это означало полное, безоговорочное признание тех, над кем он втайне потешался. Громовое слово, произнесенное эпохой, приблизилось, и уже от самого Матвея люди ждали теперь важного умного слова, которое еще не народилось в нем. Он растерялся, это походило на пытку доверием. Наконец он вспомнил, что десятки раз костерил советскую власть за то, что не догадается устроить в раздевальне достаточное проветриванье; сотни людей, проходивших сквозь баню, оставляли тяжкие смертные запахи, из-за них-то Матвей и пренебрегал в такой степени людьми. Слово было найдено, первое, конфузливое, но собственное: вентилятор... и сразу стало, будто прибавилось силы в руке. Но все-таки оставалось чувство, будто ограбили его втихомолку: не на кого становилось жаловаться и не с кем стало хитрить.

Он ходил по городу до ночи, потому что и племянник отличался значительным упорством: наверно, посасывая в одиночестве тощую, хлюпающую — ибо высыпался крапивный табак — папироску, он придумал целый короб отточенных, ликующих слов: горше брани было б ему племянниково одобрение. Наконец стало ему понятно, что Колька ушел. И верно: когда он вернулся, Кольки уже не было; ключ торчал в скважине с внутренней стороны. Он огляделся еще с порога, — нигде не валялось ни окурочка: унес с собою. Все еще висела открытка армейского героя в полном военном облачении. В темноте он взял ее со стены, не глядя: ядовитый цветной глянец прилипал к его вспотевшим пальцам... Он даже не разорвал, а растер героя в труху и спустил в норку, к мышкам. Потом он запер дверь и достал из-за плинтуса крохотный секретный мешочек, замотанный ниткой. Крепко сжав сокровище в кулаке, он прислушался. Было тихо на чердаке; на железную крышу налегло толстое ватное одеяло снега. Зубы Матвея Nikeича нашарили ниточку и перекусили; на ладонь вывалились три непонятных металлических кружка; никто в целом свете не ведал, какая тайна покоилась теперь в матвеевой ладони. Снова почудилось шевеленье за дверью, даже не самый звук, а лишь как бы тень его в матвеевом воображенье.

— Это ты, Кеша? — почти ласково спросил Матвей, подкравшись.

Там молчали, Кеша был хитрее. Беззвучно отомкнув запор, Матвей наотмашь, всем плечом распахнул дверь; обитая железом, она насмерть уложила бы всякого, кто пытался поймать Матвея врасплох. Но дверь стукнулась о косяк стены и вышибла кусок штукатурки; за дверью не стояло никого... Он зажег свет и разжал ладонь: из нее блеснул желтый глазок и потух. Там лежали три заповедных золотых монетки, скопленных еще давно, но последнюю он купил у знакомого айсора, чистильщика обуви, еще два года назад, когда побежали слухи о скором падении советской власти. Кажется, этот желтый, ленивый металл был гигроскопичен: он впитал в себя все матвеевы страхи о нищей старости; он питался душевною его теплою, а сам оставался холоден и неподвижен, но какое-то магическое доставлял он успокоение: то был скорее талисман, чем клад. Но он становился уликою против Матвея Никеича, от него исходил злой, смутительный ветерок. Первой мыслью было выкинуть их сквозь форточку в рыхлый снег ночного переулка. Он одумался: внизу мог каркнуть Кеша; две он припрятал бы, а о третьей стал бы кричать, и тогда к позору внутреннему присоединился бы внешний, вовсе ненужный. Тогда он решил спрятать *это* еще глубже — в камень, в ствол дерева, которое растет, спрятать и забыть, но и это оказалось недоступным, потому что спрятать следовало от самого себя... Разложив монетки на столе, он пытливо разглядывал их; они носили портреты царей, отца и сына; лик отца был одутловат от водки и сытной жизни; плоский профиль сына почти стерся вчистую от жадных людских прикосновений. Цари глядели равнодушно, мимо Матвея, во мрак сырого угла, откуда появились, как фантомы. Оба были с бородами, и это в обидной степени роднило их с Матвеем.

Здесь и крылась причина тех метаний, которые захватили его на целую неделю. Было ему так, будто на огромном пространстве, где одиночный человек растворяется без остатка, громоздко дефилирует все трудящееся человечество. Впереди шагают вожди, маршалы международных красных армий, ученые... И между ними издали видна седеющая голова Скутаревского; ораторы шагают, председатели районных советов, управдомы, заведующие

банями... И все старается вылезти наперед, поближе к вождам, проворный Кеша. Несут знамена, гремят миллионно-трубные оркестры, и медь их сверкает как уголье в пожаре расхлестнутого кумача. А на одном из флангов поспешает и он сам, Матвей Черимов, в своей просторной бороде. И будто всякий, опережая его, норовит потрогать этот пушистый призрак матвеева самодовольства, которым он в столь роскошной степени отличается от всех... Ночь он проворочался без сна, а утром отправился на работу; неделю он был угрюм и как бы болен; участливое внимание сослуживцев фабриковалось, разумеется, из зависти. Позже он решил, что о нем благополучно забыли: игра оказывалась игрою. И как раз в этот момент великого душевного облегчения к самому закрытию бани ему доставили делегатский билет. Он никогда так не уставал: все рушилось бесповоротно, пленение было окончательное, — теперь он стал тоже советская власть.

Город одевался в сумерки и предпраздничное затишье: какой-то чрезвычайный съезд собирался с утра заседать в столице. Матвей крадучись — не подсматривает ли племянник — спустился в парикмахерскую: две приступки сводили вниз, к застекленной двери. Ободранная комната полна была ожидающих в очереди; бородатых среди них не было никого. Матвей присел последним, сокрушенно наблюдая, как тает на валенках снег. Усатый человек с механической быстротой колдовал над головами клиентов. Посверкивание ножниц утомляло глаза до дремоты, но Черимов бодрствовал и сидел, сокрушенно затаив дыхание, точно самое отстрижение головы предстояло ему. Парижского листа с бородами уже не значилось на стене; теперь там висели красавицы с продолговатыми лицами и глазами зябкими, как у пойнтеров, — четырнадцать штук; одна глядела в Матвея с таким выражением, что даже багроветь начал было Матвей. В ту же минуту широким палаческим жестом мастер пригласил его в кресло.

— Бороду... — сказал Матвей и затекшими пальцами сделал поясняющий жест. — Голи меня начисто.

— Напрочь? — повторил парикмахер и, прежде чем успел ему ответить Матвей, отхватил ножницами половину. — Усы также напрочь, или подумаете? Или, может, просто на шведский манер? — Он бурчал, почти лаял, точно невероятное делал одолжение.

— Подумаю... усы не трожь, — глухо отозвался Матвей и закрыл глаза, чтоб уж не видеть.

Он слышал мелкий холодок, заливавший его щеки, и пронзительное лязганье железа, ерзающего по лицу. Матвей Никеич старался думать о постороннем, например, о снеге или о щах, но не удавались мысли, точно вместе с волосом отстригал и мысли парикмахер... Не иначе, как парикмахерова семья проживала тут же, при заведении; пышная, царицеподобная старуха в платье занавесочного ситца выносила оттуда кипяток. Все это время там, за фанерной стенкой гудел примус, а теперь вдруг навскрик заорал проснувшийся ребенок, и оттого, что Матвей был специалистом по снам, он быстро сообразил — наверно ребенку приснилось что-нибудь страшное, например, огромная материна грудь, и в ней нет молока. Объяснение показалось правдоподобным; он даже вообразил себе его, голенького, без всяких волосиков, каким скоро станет и сам, и вдруг открыл глаза.

Прежнего Матвея там уже не было; прежнее, прошлое космами валялось тут же, под сапогом. А парикмахер говорил с молодежью, густобровым, на манер каторжника, человеком и в третий раз спрашивал, охорашивая его рукой, как бы продукт собственного изобретения:

— ...ным одеколоном sprysнуть?

Матвей не слышал; лицо его стало чистое, как полянка, и что хочешь строй на ней — санаторий для ответственных работников, либо киоск с прохладительными напитками. На растерянных его губах барахталась, как умела, та самая азиатская улыбка, которую надежно, как в глубоком кошелье, прятал он доныне в бородище. Матвей пошел вон, и даже со Скутаревским, который один не посмеялся бы над его переменой, не хотел он встретиться в эту минуту. Он вышел, и тотчас же, заматавая вихри на мостовой, промчался грузовик; Матвей насилу отскочил, — выходило, что теперь давить его можно безнаказанно. А город уже сиял иллюминацией, красное зарево подымалось над центром, и почему-то казалось, что столица празднует именно отстрижение матвеевой бороды.

Ночью он, по старой памяти, видел сон. Будто борода не осталась на полу, под чужим башмаком, но он завернул ее в лист писчей бумаги и принес домой. И будто бы

она, мертвая, пышно лежала на столе, а прачкина девочка тоненько спрашивала, тербя Матвея за локоть:

— Дедушка, она дохлая?

Преувеличенные эхом сна, слова ее прозвучали чудовищно. Да, все отправлялось в переплав: жизнь, старый банный котел, золотые портреты царей, — и вот уже самого его ополаскивало жаром из приближающейся домны.

ГЛАВА 13

Черимов узнал своевременно о дядькином возвышении и нарочно не появлялся на его чердаке, давая время оформиться событию; да он и не стремился праздновать победу, в которой заранее был слишком уверен. Кстати, пока Скutareвский ездил на конференцию в Ленинград, дел у него накопилось и без того множество, а когда переехал во вновь отделанный флигелек, по соседству с институтом, на грузки его сами собою утроились; тащился всякий люд просто на огонек. В особенности зачастил к нему Иван Петрович, который не мог не заметить повышенного интереса, проявляемого к нему Черимовым. Сидя как бы в великом интеллигентском смятении, которому Черимов не смел не прийти на помощь, он, вовсе не болтун, без умолку распространялся о коллегах, о Скutareвском, с которым разошелся накрепко, о его работе, а Черимов принимал всякие сведения с видом учтвого внимания и признательности; многого он вовсе не понимал в новой для него среде. Иван Петрович бывал задумчив, часто и пламенно рассуждал о необходимости идеологической перестройки инженерства, а порою проявлял склонность потрясать вопросами:

— Николай Семенович, скажите правду, вы верите в мировую революцию?.. и не устаете? — и прилипал темным обволакивающим взглядом.

Искусительному своему вопросу он придавал капитальный, почти шекспировский оттенок, который, по его расчетам, не мог не льстить этому невежественному выскочке и выдвигенцу из рабочей гущи; впрочем, Иван Петрович мнений своих не выдавал даже жене.

— Верить?.. Зачем же, я не верю, я делаю ее каждый день мой, каждый час... — улыбался Черимов, пока

Иван Петрович с сострадательным участием покачивал головой.

Немудрено, что в институте начали поговаривать о новом блоке и даже о дружбе между молодым партийцем и старым специалистом. Выдача мелких секретцев помогла Ивану Петровичу маскироваться самому; Черимов видел его маневры и недоумевал — что ему было маскировать, мещанину, влюбленному в жену и прочее имущество, бездарному профессору, которого по прихоти приблизил к себе Скутаревский. Иногда, впрочем, Черимов бывал признателен Геродову; тот вполне своевременно сообщил о катастрофе, которая свалилась на благополучный дом Скутаревского. По мнению Геродова, разлом семьи становился обычным явлением; из каких-то своих соображений он даже одобрял поступок Сергея Андреича, развязно утверждая, что заодно с властью человека над человеком был скомпрометирован и брак, отчего ветхое это здание, имевшее возраст самой собственности, и шаталось, ежедневно взрываемое у фундамента. Черимов рассуждал так: душевная суматоха, исполненная истерик и крикливых мелочей, могла скверно отразиться на работе Скутаревского. Приближалось испытание аппарата, на постройку которого брошены были все научные и бюджетные средства института. Оставлять Скутаревского одного среди таких вздорных обстоятельств представлялось вредным; и хотя Черимов всячески избегал встреч с Арсением, все же отправился в их невеселый переулоч. Он застал там полный разгром: молодой Скутаревский отсутствовал третьи сутки, мадам уехала к брату, к кухарке пришел временно исполняющий обязанности мужа, а по пустым комнатам, подобно коршуну на падали, лапчато вышагивал Штруф; кажется, особой целью его прогулки было проникнуть в гостиную, где лежала Женья.

Увидев Черимова, он засуетился, расшаркался и даже как будто изменился в колере —:

— Штруф, обеднелый любитель искусства. Единственно, что утешает меня, это — что Большая Балахна, по слухам, построена на деньги, вырученные от продажи моих коллекций. Рад, всегда рад... Очень приятно... с кем имею честь? — Врал он, конечно, — о фамилии этого человека он догадался сразу.

— Вы что тут делаете? — неучтиво спросил Черимов; кое-что он слышал о Штруфе и от Скутаревского, но гораздо больше от одного приятеля, следователя по уголовным делам.

— Промерз и, вот, забежал к друзьям погреться. А вы, конечно, Черимов. Рад, крайне рад. Счастлив класс, который имеет таких... — Он перебил самого себя. — Лично я также очень стремлюсь слиться с пролетариатом, но, странно, он не хочет... разрешите как-нибудь навестить и побеседовать?

Тут сиделка женина вышла из комнаты —

— Прогони ты его, гражданин... осилил совсем. Постоял бы уж на лестнице и ждал, а то все тычется... Украдет, а мне, старой, отвечать.

— Позвольте, гражданка... — заартачился Осип Бениславич, и даже челюсть у него затряслась в негодовании. — Я попрошу...

— Ну-ну, ступай, ступай... — не совсем мягко заулыбался Черимов, и тот бежал, бормоча под нос себе, что нет, не свойственно великодушные современным победителям.

Кое-что Черимову удалось разведать; резче, чем когда-либо, проходила граница между враждующими государствами. Анна Евграфовна развернула широчайшее наступление, отказывалась принимать корреспонденцию на имя мужа и в довершение утесняла даже сиделку, большую и робкую старуху. Ежедневные распри походили на вылазки или патрульные столкновения, и это еще в большей степени усиливало смешную аналогию войны. За три с половиной недели мадам наделала глупостей больше, чем за все остальное время замужества. Примирение стало невозможно, даже если бы Женя, наивный предлог распада, исчезла совсем; взрывчатые слова наделали уйму колоссальных воронок на этом поле, никогда, впрочем, не предназначавшемся для буколических прогулок. Бестактные телеграммы Сергея Андреича с запросами о здоровье Жени окончательно взбесили жену; она помчалась к брату за советом. Сломался трамвай, — она пересела на автобус; лопнула камера на колесе, — она вскочила на извозчика. Она ворвалась, как ветер, на люстре зазвенели подвески и легкие занавески с окон рванулись за нею; она ждала участия и валерьянки, но брат выслушал ее почти с зевотой.

— ...но ведь выгнать меня для этой девчонки он не может? — торопилась излиться Анна Евграфовна, тиская руку брата. — Я советовалась с Галактионовым. Ты знаешь Галактионова, который в *Мумвиге*? Он говорит, что половина жилплощади все-таки моя...

— Ясно, твоя... — вяло подтвердил Петр Евграфович, катая по столу продолговатый сверток, который не выпускал из рук.

— И вещи... я собирала их по крохам, менялась, обманывала. Отдать их ей он не посмеет. — Она стиснула покрепче неживую руку брата. — Петр, ты невозможен... у тебя картина вверх ногами висит. Ведь это же Тропинин...

— А?.. да, — вздохнул Петрыгин, но поправить ему было, повидимому, лень. Самая картина была ему вовсе нелюбопытна, он давно пережил ее, его больше интересовала ее массивная, золоченая рама. — Вещи?.. Да, с ними всегда неприятности. Ну, и как, хорошенькая?

Анна Евграфовна потрясенно скинула с носа пенсне. Вряд ли, понятно, Петр Евграфович поверил бы оценке этой резвой дамы, которую знал в совершенстве, да еще в суждении о таком рискованном предмете. Ясно, Женя была отвратительна, но Анна Евграфовна понимала и сама, что у Евы, например, спина была, конечно, в волосах, а ведь все же соблазнила Адама... Она посмотрела на брата с раздражением, ударяя его по руке ободком пенсне.

— Она вся какая-то мальчишка. Она развела заразу на всю квартиру. Ей что-то там вспрыскивают. Она не уходит. Она нагло лежит на моих простынях... Я не понимаю: раньше какого-то банщика приводил, а теперь... Нет, знаешь ли, я заявлю в уголовный розыск.

— Ты говоришь — в уголовный? Н-не советую... Кстати, где вы собираетесь жить на даче? В Халюзинке все-таки сыро и комары.

Было ему не до семейных осложнений сестры. Он очень постарел за последний год, — большинство его тогдашних радостей происходило от исправности желудочного тракта, но и он портился вконец; сахар увеличивался, Петр Евграфович становился как сахарный завод своего собственного имени, диета граничила с издевательством. На опыте познавший тяжесть возраста, он не особенно

верил во внезапную страсть Скутаревского: потухшие вулканы извергают лишь копоть и грязь. Вместе с тем с самого дня помолвки он взирал на Скутаревского, как на обыгранного простака, и угадывал, конечно, что когда-нибудь все это взлетит на воздух... Одновременно ему каждую минуту грозил обыск; ни от кого не были секретом его дружественные отношения с Брюхе, а следователи подозрительны. Пока сестра живописала неурядицы, он мучительно придумывал, куда бы спрятать этот небольшой, неопределенного содержания, бумажный сверток. По содержанию вряд ли он заслуживал затрачиваемого времени, но при некоторых попутных обстоятельствах именно он мог стать жестокой и неоспоримой уликой. Наиболее разумным местом представлялась именно золоченая мякоть рамы, но с рамой-то как раз и провалился Игнатий Федорович: как ввалились, так сразу и принялись пилить раму. Где же, однако, это было спрятано у Брюхе?.. Минутами это возвышалось до кошмара, хотя никогда раньше не был подвержен обывательской панике. Воображение рисовало, как на глазах рама взрывается и сверток с этим бумажным золотом, грохоча, вываливается наружу. Он устал, он отдал бы даром, если бы не воображаемые, пренебрежительные, издалека, взгляды тестя... Словом, молнии Анны Евграфовны не жгли его. Кроме тяжеловесной ползучей плесени, разговор этот последствий не имел. Тогда она испугалась, самонадеянность покинула ее, — домой она возвращалась пешком. Всю следующую неделю она энергично шила передники, — в конце концов хотя и не умный, но и это был выход.

Женя поправлялась медленно. Температура спадала, и сиделка получила разрешение на ночь уходить домой. Выздоровление ее больше всего походило на пробуждение от сна. Однажды она приподнялась на подушке и огляделась. Комната, поразившая ее вначале высокомерной, почти ледяной роскошью, теперь была совсем пуста; более того, в ней выступила спрятанная дотоле гнусность. На ободренных стенках, с которых таинственно уплыли картины, обнажились бесформенные, подобные трупным, пятна, какие оставляет всякая прочная, долговременная семья; в них отвратительно зияли раскрошенные гвоздевые раны. Мебели не было вовсе, кроме ее дивана; вместо люстры кособокая шестнадцатисвечная лампа спускалась

на грязном шнуре. Рисунчатые солнечные ковры, накиданные наспех, не прикрывали, а лишь усиливали степень безобразия. Женя пожала плечами... Должно быть за время ее болезни растворилось в самом воздухе венецианское стекло, распались в прах зеленые бронзы и даже глазурированная, с отбитым краем, персидская ваза, синева которой единственно развлекала глаз, не стояла на прежнем месте. Женя еще не знала, какая скорбная семейная пучина подкарауливала ее выздоровление. Военизируясь по мере обстоятельств, Анна Евграфовна вещь за вещью выбирала из комнаты все; мадам работала и по почам, испытывая при этом то же болезненное наслаждение, какое сопутствовало их приобретению. К чести ее, она не прибегала покуда к помощи сына и сопротивлялась лишь в меру своих женских сил.

Сиделка ушла обедать, из-за стены, сонно растворяясь в зимней тишине, просачивался деловитый речитатив швейной машинки... Держась и хватаясь за стену, Женя спустилась с дивана; хрипая музыка диванных пружин приветствовала ее пробуждение к жизни. Женя подошла к окну; все было бело; истрескавшийся после оттепели снег сверкал под солнцем, как разбитое зеркало. Осторожно привстав на табуретку, она открыла форточку; снежным легким знобом ударило ей в плечо, от зимнего солнца исходил голубой ветерок, у нее закружилась голова. Сзади вошла сиделка, — Женя не обернулась на шорох. Сиделка громко вздохнула и не оттаскивала ее от форточки; сиделка вела себя необычно, — ласковая эта старуха, истоптанная покойным мужем, обладала верблужьей неповоротливостью. Женя оглянулась и, соскочив, крепко оперлась рукою в подоконник: она упала бы.

Вместо сиделки в раскрытой двери стояла пожилая женщина, чернявая и в пенсне со шнурочком. Женя видела ее только раз, но и того было достаточно, чтоб понять: это был самый большой ее враг. Не мигая и этак не без змейцы женщина смотрела куда-то на локон Жени, который шевелило усилившимся сквозняком.

— ...вы что? — испуганно спросила Женя.

— Я жена Сергея Андреича, — сказала та очень просто. — И я пришла спросить, что сегодня готовить на обед. Я ходила на рынок и не могла достать мяса на голубцы, которые любит Сергей Андреич.

Это было ее действительным намерением; период неистовства сменился полным упадком сил и преувеличенной уступчивостью. Инстинкт подсказал ей, что смирение станет самым грозным оружием против соперницы, которая, кстати, и сама не подозревала о новой своей роли.

— За что вы меня обижаете? — заливаясь бледной краской, улыбнулась Женя.

— Не гоните меня... я уже старая... мне будет трудно в жизни, — продолжала Анна Евграфовна, теребя кухонный свой передник. — Я умею голубцы и компот...

— Перестаньте! — растерянно крикнула Женя. — Я же уйду... я не виновата, я заболела. Я скажу Сергею Андреичу, что мне пора. Я вечером сегодня уйду...

Здесь-то и наступил перелом этой неискусной комедии.

— ...не смею отговаривать вас, милая, — с новым оттенком подхватила жена, делая шаг вперед. И все смотрела, смотрела испытующе и жадно в девическую женину грудь, прорисовавшуюся по сорочке. — И я обязана сказать правду. Он немыслимый человек, он груб, яростен, жесток. Я не слыхала от него ласкового слова, даже когда *ходила* — Сеником...

— Зачем, зачем вы мне это говорите? — почти плакала Женя, делаясь сутулой и такой же старой, как жена. Ее гипнотизировали два едких и быстрых блеска, ей было бесконечно стыдно, полуодетой, под этим недобрым, изучающим взглядом. — Я сказала вам, что уйду...

— ...у него только электроны... и вас нет, и меня, и Сеника, а только электрические бури блуждают по земле, да, да! Он сжирает людей и выплевывает кости. Он бросит вас, как меня. Он ненавидит людей и, только погубив их, пробует любить. Когда он любит — точно каблуками железными по телу ходит... Я состарилась на другой же день после венца... пожалейте свою молодость. Вы выйдете замуж за комсомольца, стройного и молодого. Зачем вам нужны чужие объедки? Он почти плешивый, — я жена, я вижу все. Его сила показная, он весь в смятении. Эта работа его — последняя, ей он приносит в жертву все. Из-за нее он забывает спать, есть, ходить в баню, этот азиатский человек...

И вдруг Женя выпрямилась, — внезапно захотелось подтвердить, что она моложе и сильнее:

— Я все-таки отказываюсь понимать вашу дерзость, —

уже спокойнее произнесла она. — Какая же вы кухарка — в пенсне? Вам надо иметь очки, я выдам вам денег на их покупку. И потом я запрещаю приходить сюда без зова. Картофель на сегодня готовить! Ступайте...

Последние слова она прокричала в пустое пространство перед собою: Анну Евграфовну точно сквозняком вынесло. Ответный удар Жени объяснялся вовсе не тем, что Анна Евграфовна пыталась разъяснить смысл нового ее положения, а лишь желанием вступить за оклеветанное имя человека, которого робко издали уважала. Еще до встречи с ним ее уважение было больше той благодарности, которую испытывала впоследствии. Познакомилась она с этим именем по скудным газетным заметкам да еще по учебнику физики, который однажды удалось ей купить у букиниста; книга была распродана и становилась редкостью. Спортивной, танцующей походкой Женя несла ее по улице в один неповторимый полдень апреля, и все глядели с улыбкой в ее сияющее лицо... А то была вовсе не клевета, а лишь преувеличенная страхом правда, и в этом была сила Анны Евграфовны. Женя еще не понимала той мерзкой ситуации, в которую попала; что нужно было ей в этом угрюмом каземате, куда занесло ее обидой и волной? И вот, с быстротой зайчиков на стене от расплесканной лужицы, заиграли обрывки мыслей: учиться... путевка... зеленоватые глаза Жиженкова, которые выпихнули ее в глухую ночь и на безлюдное подмосковное шоссе. И рядом с ненавистным его именем всплыло новое, прозвучавшее как событие: *Скутаревский*. Когда в провинциальном воображении ее возникали неточные образы будущего — на круглых, сверкающих площадях, где снуют бесшумные электровозы, под стальными конструкциями эстакад среди сытой глянцевиной зелени и памятников, которые, того гляди, откашляются и начнут свой громовый вечер воспоминаний, в свете иллюминационных транспарантов, славословящих суровые, безулыбчатые имена — постановление последнего, конца второй пятилетки съезда советов — бежит веселая, нарядная толпа. Там, посреди людского потока шел и Скутаревский, хозяин электронных армий, весь как бы в полете, дальних плаваний капитан, и волосы седовато извергались вверх, как дым над Везувием, который она видала на картинках. — Возраста мечтания не имеют.

С рассказа о том растрепанном учебнике и началась их беседа, когда вечером Сергей Андреич зашел к ней; он выслушал, улыбаясь ее искренности, от которой давно отвык. Эту самую распространенную из своих книг он не любил: она была написана в пропащий год, когда Петрыгины опоили его тошным хмелем женитьбы. Он спросил лишь:

— Вы не могли написать мне? Я послал бы... Давно это было?

— Давно. Я начала готовиться заочно... давно. О, теперь я тяжелей стала на целую тонну. Я не тренировалась целый год.

— Это оттого, что вы болели, оттого. — Она не возражала. — Вы, значит... как это теперь говорится, физкультурница?

— Я бегала на сто метров. У меня только секунда до рекорда.

— Для этого надо иметь хорошее сердце, — сказал Скутаревский и посмотрел на ноги. — А книга плохая, написана для денег. Ну, как вы тут, без меня?..

В эту минуту он ничем не походил на портрет, за несколько часов перед тем нарисованный его женою. Женя решила рассказать про посещение Анны Евграфовны, — это было непреодолимое, женское. Сергей Андреич выслушал недвижно, лишь глаза его да скулы стали как-то деревенеть к концу. Было мгновение, когда он сделал нетерпеливый жест, точно собирался крикнуть — «хочешь, я разгону этот сброд?..» Он не крикнул не потому, что не способен был на это, а лишь оттого, что решение не созрело в нем полностью. Итак, все шло своим чередом, и только неоднократные выступления жены надоумили его на разрыв, которого он не собирался совершать. По возвращении из Ленинграда, например, он не ответил бы — беленькая или черненькая эта самая Женя. Он создавал ее наново в своем воображении, он одевал ее сам, по своему вкусу, и девушка становилась умнее, старше и скучнее. — Сергей Андреич шумно прошелся по комнате.

— Да, это, конечно, грязь. Я прошу извинить нас, прошу. Я приму крутые меры...

— Виновата, конечно, я. Эта болезнь... но я уже могу ходить. Я уйду завтра. Вот... ноги еще плохо держат и бедра ноют... — прибавила она с виноватой улыбкой.

Он рассердился:

— Но куда вы пойдете, чорт вас возьми? И что вы умеете в жизни, кроме бегать сто метров?.. Где вы станете жить?

Более взволнованная, чем смущенная его криком, Женя зашевелилась, и пружины под нею ворчали ревниво и глухо:

— Есть общежития... я не знаю пока. Я шла сюда учиться, но организация не дала путевки. Ну, и еще там, другое. Я буду учиться и работать, так делают сотни тысяч, я не слабее их.

Голая ее пятка выбилась из-под одеяла; она была розовая: «желтая — это потом». И вдруг, прежде чем она успела пожелтеть в его воображении, Сергей Андреич спросил грубовато:

— Вы можете секретарем? Но... у меня действительно имеются секреты, о моей работе много болтают. Вы будете как чугунный замок. Имейте в виду, я человек трудный... имейте... Ну?

Кажется, ее испугало предложение Скутаревского:

— Вы ищете *личного* секретаря?

Он круто отрезал, чтоб разубедить ее в худшей из догадок:

— Личных дел у меня почти нет.

И тотчас же сиделка, войдя с тарелкой бульона, сообщила, что хозяина требует в прихожей гражданин Труп. Настроенье Сергея Андреича сразу омрачилось, едва понял, кого она именвала так. Прислонясь плечиком к знаменитому шкафу с олимпийцами, ждал его собственной персоной Осип Штруф и, в добавление к неожиданности, не один. Рядом, сверкая огненными глазами и необыкновенной масти, сидел на привязи циклопических размеров пес. Он был умный и породистый: при появлении Скутаревского он вопросительно взглянул на комиссионера, кусать ли ему рыжего, или это только потом.

— Довольно дурацкая повадка — ходить в гости с длинными зверьями и по ночам, — рассудительно отметил Сергей Андреич.

Штруф учтиво откланялся:

— Не бойтесь, я его придерживаю, — и тотчас шепнул псу некое магическое слово, после которого тот сразу при-

обрел как бы картонную наружность. — Я к вам одновременно по трем сверхсрочным делам.

— Ничего не покупаю, — сказал Скутаревский.

— Ничего не продаю, — отозвался Штруф и прибавил многозначительно: — хотя есть вещь, за которую вы схватились бы и которая не весит ни грамма, но я не отдам ее даже за этот мир.

— Тогда входите, чорт возьми. Полкана на гвоздь! — И, впустив гостя, плотно прикрыл дверь.

Не дожидаясь приглашения, Штруф уселся на койке и с видом усталого достоинства придвинул стул к Скутаревскому — так, чтобы сидеть лицом к лицу. Теперь он имел вид почти торжественный; веки его часто и чувствительно моргали; воротник густо был припудрен перхотью.

— Меня обидеть трудно, Сергей Андреич, уже потому, что я бесконечно предан вам. И хотя это преувеличение основано, главным образом, на полном бессилии моем, вы можете быть вполне уверены, что я не плюну вам в чернильницу, когда вы отвернетесь. Как ваше здоровье, такое и политическое? — И, не дожидаясь ответа, гнал дальше: — Я пришел извиниться. Ту маленькую собачку, которую я обещал вам в минуту слабости, я проел. То есть продал, разумеется, но горьки мне были эти деньги, как самое собачье мясо. Взамен я мог бы предложить этого совершенно прирученного дога... или притащить альбом с моими собаками, чтобы вы могли выбрать.

— Нет, — кратко высказался Скутаревский.

— ...равным образом я мог бы взамен предложить вам *поммер*, великолепно сохранившийся. Это древнейший предок того фагота, которым вы, без сомнения, прославите себя в той же степени, что и наукой. — Речь его звучала почти изысканно, но язык, к сожалению, заплетался. Во всяком случае было бы варварством прервать руганью или пинком такое ученое вступление. — Я смею догадываться, что это и есть первое творенье того великолепного мессера Афранио дельи Альбонези, каноника, который впервые догадался перегнуть трубку неуклюжей бомхарты пополам и сложить ее наподобие связки фэготто. Отсюда и название! *Lei carisce?*

— Говоря скромно, чтоб не обидеть, вы пьяны нынче, — вставил Скутаревский, несколько потешаясь.

Гость тонко улыбнулся: гаеры, паяцы, шуты гороховые всегда бывали аристократами даже среди истинных королей!

— Исключительно из заботы о здоровье. Пью давно, и уж не один гипнотизер на мне сломался. Но... водка промывает капилляры и, по слухам, растворяет крахмал.

Нужно было все же иметь чрезвычайные основания, чтоб для начала обнаруживать такую наглость.

Сергею Андреичу стало жарко от гнева и тесно в воротничке; он снял его и положил рядом.

— Я знал, что вы шут... но ничего, щекочите меня. Мне интересно ваше мозговое устройство.

Штруф встал, поклонился и продолжал, прокашлявшись:

— Собаку, значит, вы не хотите. А жаль: отменной марки. Медали ее родителей занимали пространство в два с половиной квадратных... и я бы советовал потому, что в плане ваших электронных теорий человек не имеет преимуществ перед собакой. Я позволю маленькое отступление. Бесконечность, полагаю я, рассчитывая на ваше снисхождение, прерывиста: волны, линзы, интервалы бытия... островки! Научному человеку это должно быть понятно. В ней висит некое извечное вселенское руно, а перпендикулярно к нему проходит плоскость, разделяя будущее от прошедшего: словом, проекции этих линий на плоскости и суть мы, люди и собаки, но вот, я, Штруф, вопрошаю: кто сказал, что эта плоскость одна?.. — Он потер лоб, кашлянул и сконфузился. — Простите, я запутался, забыл один тут поворот... Поворот к бессмертию! Я хотел сказать, что ты только рябь на воде, следы от чьих-то дуновений. Все это, впрочем, к тому, что собаку эту я оставляю бесплатно, но с условием — я буду навещать ее в праздничные дни.

— Я уже сказал — нет, — засмеялся Скутаревский.

Без тени смущения Штруф почесал верхнюю губу:

— Второе дело — серьезнее. Я собираюсь говорить о вашем брате. — Он сделал паузу, соответствующую важности момента. — С некоторого времени я живу у Федора Андреича. Он приютил меня с простотою истинно гениального человека, когда меня раскулачивали в шестой и уже в последний раз. Надо отметить, что он очень уважает вас: он считает, что вы безмерного величия человек, а он

только тень ваша. Я стал в свою очередь его тенью, таким образом мы с вами родственники. Долгое время мы упражнялись с ним в трудах и размышлениях об искусстве. Я изучил его в подробностях. Это почти кит, но кит наполовину дохлый. Если его не поддержать, он сломается. Он задумал смешную вещь...

— Чему вы улыбаетесь? — теряя терпение, осведомился Скутаревский.

— Я отвечу словами Мотаннабия: пусть тебя не вводит в заблуждение улыбающийся рот.

— Мотаннабий — это вы выдумали сейчас!

Лицо Штруфа посуровело —:

— Я читал эту книгу в девятнадцатом году, в трехдневном ожидании поезда, на станции Арзамас, — торжественно объявил Штруф. — Помню, на полу лежали впопалку люди, три сотни человек, из них наверно штук сорок в сыпняке и уже мертвых. Я помню также ночь, блеклое окно станционного фонаря и страницу арабской книги, почему-то закапанную стеарином. И я понял этого тысячетлетнего араба...

— Мне не интересно про араба, щекочите меня на другой манер.

— Хорошо, я умолкаю, хотя я такой же царь вселенной, как и вы... Итак, после одной шумной беседы, ваш брат смаху кинул в меня ножом. Волнение помогло ему промахнуться. Мне стало жалко его: мир так тесен, что даже и Штруфа, мертвого, в нем спрятать некуда. Я извернулся и сказал: я не смею умирать так рано... и я прощаю тебя, знаменитый артист. И я намерен уйти от него совсем. Скоро я буду окончательно свободен, чтоб не присутствовать при его художнических мытарствах. Я могу быть полезен всякому в диапазоне от няни — до мозольного оператора. Если хотите, я буду жить у вас.

— Мерси, не вышло, — твердо и не без юмора ответил Скутаревский. — Кстати, смахните... у вас клоп на воротнике.

— Да? — удивился тот и, зажав в пальцах, прибавил: — Нет, это просто черный хлеб. Итак, теперь следует пункт третий... — Он нерешительно погладил колено, желвачки под его глазами дрогнули. — Вы переживаете сейчас трудный процесс распада семьи. Я вижу это, милый профессор, и страдаю вместе с вами. Я обязан притти на помощь.

Скутаревский брезгливо шевельнулся:

— Послушайте, вы, царь вселенной... вы эти свои штучки бросьте!

— Одну минутку терпенья! — Штруф слегка отодвинулся, и в голосе его зазвенела какая-то жестянка, уцелевшая от общей ржавчины. — Итак, я имею предложить вам для удобства некоторых перемен... купить квартиру. В центре города, у застройщика. Голландское отопление, электричество, водопровод, утепленная уборная, окна в сад. Весной — совершенный парадиз. Вполне подходящее помещение для переживаний. Я бы даже мог начертить план, если бы вы...

— Ступайте вы вон, дармоед вы... — с непостижимой вялостью произнес Скутаревский, вставая.

Вслед за ним поднялся и Штруф; не было в нем и тени смущения за эту уже последнюю в их отношениях неудачу.

— ...если вы пожелаете, — совершенно спокойно досказал он. — Шестнадцать сажен полезной площади, ванна требует небольшого ремонта, — колонка распаяна... И думайте крепко, потому что телефона у меня нет, а конкurentов шестеро. Я не обижен на вас, потому что уважать меня значит не уважать себя. Не смею задерживать долее... — И вышел, не разжимая пальцев, унося свое с собою.

Из прихожей донеслось урчанье отвязываемого пса, потом ерзанье калош, потом громкий шорох, точно два огромных тела одновременно протискивались в тесную дверь. Скутаревский выскочил в прихожую, когда в проходе исчезал безволосый, какой-то спиральный хвост пса.

— Слушайте, вы!.. — крикнул Сергей Андреич.

Тот обернулся неспешно и в галстук Скутаревского глядел даже величественно; он был раздающий блага жизни и, пожалуй, презирал принимающих.

— На будущее время... меня зовут Осип Бениславич, — внушительно, на всю лестницу, сообщил Штруф; на площадках лестницы к нему возвращалось достоинство, на улице же он бывал просто неприступен. — И потом прошу быстрее, я спешу: у меня дома сука родит...

— Меня интересует, Осип Бениславич... — тихо, стыдясь лестничного эха, сказал Скутаревский, — сколько стоит ваша квартира?

Штруф помолчал:

— Давеча она стояла двадцать семь. Теперь она стоит ровно тридцать тысяч, Сергей Андреич. Я должен поправить свое здоровье, расшатанное вашими выходками.

— Но это безумно... никто не имеет таких денег! — вспыхнул Скутаревский.

— Да... но и барзак подорожал. Теперь, надеюсь, вы поняли: вопрос о вашем здоровье — вопрос о вашей кредитоспособности. Я не могу бросаться такими суммами... — И, поклонившись еще раз, с беззаботным видом сытого человека стал спускаться с лестницы.

Он спускался медленно, давая Скутаревскому время думать, и пес его помахивал хвостом так, как поигрывает тросточкой перед почтенным человеком всякий гуляющий и пули достойный прохвост.

ГЛАВА 14

Первое возмущение схлынуло, и осталась досада: общий тон и мотивировки Штруфа заслуживали, конечно, мордобоя, но Штруф ушел и унес с собою последнюю возможность покончить с этим не в меру затянувшимся семейным анекдотом: уехать подальше от шкафа с пропылившимися парнасцами стало насущной потребностью Скутаревского. Но квартир в городе не было и средства, отпускаемые на строительство новых домов, не покрывали острой жилищной нужды. Поэтому предложение Штруфа представлялось особенно заманчивым и могло не повториться. Правда, отыскать этого шелкопера было легко, — со своими фантастическими товарами он мотался по десятку знакомых, — стоило только свистнуть. И Сергей Андреич свистнул бы, и даже с признанием застарелой вины перед Штруфом, имей он только в достаточном количестве деньги. Но, вот, денег-то и не было! Зарплаты его хватало лишь на утоление насущных потребностей, сбережений не было вовсе, и даже если бы раскидать с молотка смехотворные сокровища Анны Евграфовны, требуемой суммы все равно не набралось бы. Впервые Сергей Андреич с такой остротой чувствовал отсутствие денег на текущем — как, кажется, делают это порядочные люди — счету. И, несмотря на свою житейскую неумелость, он довольно быстро сообразил, что в таких случаях деньги

занимают у приятеля; следовало только выбрать самого денежного и членораздельно объяснить ему случившуюся нужду. Дальше все шло по правилам логики, нормальной для всякого наивного, провинциального человека.

Тот выписывает чек и, игриво трепля смущенного друга по плечу, сует ему в жилетный карман бесценную хрусткую бумажку. Потом Сергей Андреич грузит на извозчика книги и чемодан с бельем, ставит между ног араукарию и, троекратно расплевавшись со своим вчерашним днем, постуденчески перебирается на новое жилище. Женя приходит часом позже, с цветами, совсем не похожими на те, которые были в страшное утро его фактической женитьбы; она прячет их в прихожей: приличному секретарю, качества которого должны совпадать с качествами арифмометра, лирических эмоций не полагается. К концу дня все тот же Штруф, помолодевший от чужого счастья, привозит дешевую, бамбуковую, например, мебель. Он еще сердится, но лишь для вида. Стулья скрипят, гнутся, их пахучий лак прилипает к пальцам, но все это в гомерической степени способствует ребячливой радости новых жильцов. Вечером Сергей Андреич читает Жене свое очередное сочинение о трансформаторных маслах; его изобретательность соперничает с остроумием. Длиннейшие формулы легко укладываются в прелестные ямбы и анапесты. Женя слушает с упоением, поджав под себя ноги и кутаясь в мягкий пензенский платок, — в раскрытую дверь вместе с затихающим гулом города плывет влажная вечерняя прохлада... Женя спорит, она сторонница несколько иного направления, но Скutareвский говорит строго: — ну, ну, пора спать, товарищ секретарь... утром потрудитесь отправить в типографию гранки... Она уходит нехотя; ей жалко, что в прочитанном куске рукописи только шестьдесят страниц, и еще ей хотелось бы, чтобы Скutareвский поиграл хоть немного на фаготе. Он догадывается и берется за инструмент; вот он держит фагот, как ружье, на изготовку; вот он играет *священную* человеческую *весну*. Все, весь мир, видит в фаготе лишь гротескное, да и Скutareвский склонен понимать свой инструмент лишь как комический оркестровый голос; Женя впервые раскрывает в нем сходство с лирической, простодушной свирелью Пана. Кажется, это и распахивает ее душу. Играй, играй, лесной старик, шевели склеротические

пальцы, пой про благословенную жизнь, которая, пускай, становится тысячекратно шире и разливистей!.. И вот, Скutarevский живет, но ему хочется еще больше ущемить себя железной дисциплиной, слиться с толпами, которые со сжатыми губами идут на штурм, свершать для них, бороться и... любить? Ресницы Жени дрожат, но время приказывает расходиться; тонкая фанерная дверь надежнее проволочных рогаток разделяет их до утра. — Весь этот комплекс канареечных ощущений проскочил в нем за то краткое мгновенье, пока он раскрывал перед собою книжку с записанными номерами телефонов. Он начал с А и сразу надул нижнюю губу.

На эту букву были помечены, главным образом, сухие казенные люди, как определил он с первого взгляда, а казенному истукану не откроешься; он перевернул страницу без сожаления. С буквы Б начинался разноречивый: Брюхе был уже недосыгаем, у Брасова была умильная морда ксендза и давленные клюквенные губы паяца, Бобович уехал в Туркестан на новостройку. На букву В вовсе не было людей, а лишь названия учреждений, каждое из которых произносилось так же трудно, словно напильником проводили по зубам... Логика его терпела ущерб, он залистал странички быстрее, выписывая на бумажном клочке возможных кандидатов в благодетели. Иные были отвратительны ему: у Граперонова М. Н. всегда нестерпимо пахло изо рта чернильным карандашом; Граперонова К. Н., этого цинического бонзу в шелковой шапочке, потому что зябла лысина, он вообще беспричинно презирал. Вездесущие Давильцин и Зуммер были по существу невежды и авантюристы, несмотря на значительные посты, куда их выбрали для заполнения новой мебели ленинградского треста; откровенная контрреволюционность Кортенки корбила Скutarevского; Мумарев, нелюдим, жадюга и заика, все равно не даст. Талицын — такой тощий и плоский, точно спать ложился в книгу и прикрывался кожаным переплетом — непременно кашляет в кулачок и — «кхе-кхе, — скажет, — я подумаю...» Сергей Андреич испытывал дробненький холодок в лопатках: друзей у него в наличности не оказывалось, и это было страшно. Дальше он перелистывал страницы уже с вялым любопытством, по старой привычке доводить научное исследование до конца... Его улов был небогат, на полях остались

выписанными лишь две фамилии: Девочкин и Петрыгин. Иван Иеронимович Девочкин — это было смешно, весело и величественно; известный хирург, гремевший в свое время в обеих столицах, демократ, любимец студентов, надежда своего поколения и умница, всегда искренно, подружески и, как старший, несколько покровительственно относился к Скутаревскому. В общем Сергею Андреичу все-таки везло, — он схватился за телефон.

К телефону долго не подходили; потом откликнулась жена Ивана Иеронимовича.

— Это я, Скутаревский... — засмеялся Сергей Андреич, заранее радуясь удаче. — Вы, наверно, думаете, что я умер. Ерунда, все-таки я пригласил бы вас на панихиду.

— Нет, я не думала этого, — без выражения ответила жена Девочкина. — Да, здравствуйте...

— Иван Иеронимович дома?.. или загулял? Мне его по делу на минутку...

— Нет, его нету... — Она помолчала и затем сказала с упреком: — Иван Иеронимович помер.

— ...как? — гаркнул Скутаревский, почти падая на аппарат, и какая-то пелена отделила его на мгновение от живого мира. Его обожгло это известие, но как-то сразу он примирился с ним и дальше, может быть, скучал: — Когда?..

— Месяц назад, об этом было в газетах... — И, почувствовав, что незнание Скутаревского правдиво, стала рассказывать о последних минутах мужа — обстоятельно, нудно и с бесконечными повторениями, как умеют только вдовы.

Описание последних минут Девочкина заняло более получаса. Сергей Андреич слушал ее дряблый старческий голос со стыдом и досадой; шутка, которою он в начале разговора приветствовал вдову, звучала явным балаганом. Вдове же приятно было рассказать другу покойного все мельчайшие детали болезни; потом она начала плакать в телефон, и Скутаревский принужден был произносить соответственные утешения такого банального стиля, что, едва положил трубку — осталось такое ощущение, точно воду на гору таскал. И хотя монументальную тень Ивана Иеронимовича не так-то легко было выселить из памяти, он решил на дальнейшие поиски. Оставался только Петрыгин... Правда, он приходился родным братом женщине,

которую Скутаревский покидал, но Петр Евграфович не мог не понимать, что в разрыве этом заключается и освобождение сестры из мучительной и скверной истории; кроме того, уж он-то навверняка владел свободными средствами!

Ехать на поклон к Петрыгину, конечно, было противно. Даже и в годы молодости, когда подступали официальные случаи, Сергей Андреич старательно избегал таких посещений. Консервативный, мелочный уклад шуриновой жизни отвращал его в высочайшей степени. За последние годы тот и сам не настаивал, чтобы грустное это родство трансформировалось в прежнюю дружбу, — а Скутаревский и вовсе обрадован был бы любой okazji навсегда вычеркнуть его из памяти. Конечно, тот выразил бы притворное, немножко чопорное удивление, но, в сущности, возликовал бы от возможности быть полезным заносчивому зятю: конечно, он предложил бы немедленно послать за ним машину, если только Скутаревский нуждается в разговоре наедине, а собственный его *бьюик* окажется, например, в ремонте. Как бы то ни было, Петр Евграфович знал, что такое гостеприимство не останется без щедрой оплаты. В общих условиях того года самый факт посещения Скутаревского представлял собою вещь, из которой предприимчивый деляга мог выцедить всяческий барыш.

Встреча их могла быть крайне любопытна. Знаменательный банный разговор так и не получил завершения, каждый верил, что за ним осталось в этом деле последнее слово. Правда, сибирская райстанция, по сведениям Черимова, работала бесперебойно, и потом по почте однажды Сергей Андреич получил резолюцию на заливной чаем, нарочито неряшливой, папиросной бумаге: «...принимая во внимание повышенную влажность торфа, при которой котлы не дают полной своей мощности, а также удаленность от центра и слабую квалификацию местных технических сил, признать, что увеличение резервов в данном случае оправдывает себя». Без сомнения, бумажка была послана по требованию Петрыгина — может, даже сам и в конверт заклеивал — со специальной целью утереть нос Скутаревскому. Но Сергей Андреич, охладев к сыну, и не собирался скандалить по поводу подозрительного казуса; новые подоспевали заботы, и далекая сибирская торфянка давно закуталась в крепкие сибирские туманы. Надо

сказать, что забвение далось ему без особых усилий со-вести. Сын — это еще болело, но уже как прошлое. Дорога к Петрыгину была свободна, и Сергей Андреич хотел думать, что поездка туда не составит для него жестокого и унижительного компромисса. И тут-то снова разыгралось потревоженное его воображение.

Старинный с бездарной декадентской облицовкой дом, где безвыездно существовал Петр Евграфович, каждым камнем своим наводил уныние. Это начиналось с богатой и затхлой лестницы, которая не мылась, видимо, со времен Октября, — со шербатых ступенек с выкраденными плитками, с мутных стен, где зияли линиялые потеки плевков. Кажется, обитатели этой обширной братской могилы, разочаровавшись в справедливости, и не добивались более в этом мире красоты. И верно, жили здесь разные люди со стреляющими двойными фамилиями, старомодного покроя и безвозвратно умерших профессий. Мнемонически Сергей Андреич запомнил: дверью в дверь с Петрыгиным помещался один когда-то чудовищно знаменитый адвокат, но слава изошла из него, как воздух из резинового чортика, — скорбную скоробленную кожу его часто встречала Анна Евграфовна на лестнице, когда кожа спускалась проветриться и погулять. Жизнь спрессовала обитателей, как изюм туркестанский в тяжеловесные тюки; давно они утратили собственную форму и цвет; они путешествовали в будущее с тем же равнодушием, с каким несется в космическое пространство весь неживой инвентарь планеты... Стоялая вонь прошлого шибала здесь в нос гостя, как из детского пугача. Распахивалась бронированная полдюжиной замков дверь, и ошеломленный посетитель видел себя во весь рост, как бы изъеденного рваными чумными пятнами: осыпалась с зеркала древняя екатерининская амальгама. Квартира Петрыгина являлась логическим продолжением лестницы. Потом начиналось шествие по низким, как бы сужающимся коридорам, густо заселенным вещами. Иное валялось на полу, неторопливо ползя к помойке; иное, запакованное в рогожи, пылилось на самодельных полатах; иное с обезьяньей ловкостью держалось на стенах. Все это были вместительные резервуары давно погибших эмоций: люстра, вазы, аристон — большая музыкальная шкатулка, невероятная пищаль, из которой сам изобретатель не посмел выстрелить ни разу, и, среди

прочего, общежитие мелких хрущевых жучков, ловко сделанное в виде чучела морской птицы. Этими вещами, как на бирках крепостных мужиков, отмечались грозные происшествия тех лет. До войны вещи выглядели осмысленно, но вот сломалась ножка у павловского столика, и починить его было некому. В тот год, одновременно с знакомым краснодеревщиком, призвали и Платошу ратником второго ополчения. Неожиданно упала люстра и придавила любимого кота. Потом пошли черные газеты и белый снег последней *российской* зимы. Запасали сахар и крупу в огромные севрские вазы, которыегодились впервые в жизни. Продавали почти даром французскую эротическую библиотеку Евгения Евграфовича, растерзанного солдатами на фронте; спекулянт, который обменивал ее на муку, униженно долго рассматривал похабные картинки, хохотал, трогал пальцами, чтоб удостовериться, а владельцы библиотеки, стоя, терпеливо ждали его решения... Замерзла уборная, лед пробивали старинной пищалю, и тут бабушка Екатерина Егоровна умерла от сыпняка. Стреляли с соседней крыши по юнкерам и прострелили ящик аристана; Платошу пристрелили еще раньше. Домком отобрал пианино для детских яслей. Петр Евграфович отморозил ногу в очереди за мороженой картошкой. Продали диван, продали сервант, продали люстру, обменяли на мыло бронзового Пигмалиона... Потом переменялось: купили диван, купили буфетик, починили аристон, купили пианино, купили... это был нэп. Потом опять продали уже накрепко. Чаше приходили старьевщики, барахольщики, антикварные проныры, соглядатаи, Штруфы и просто глядуны. Ужасный дом этот лихорадило; он уже не примечал событий, но только бредовую, блошиную скачку вещей, закрутившихся в буревом смерче...

Сергей Андреич испытывал скуку, когда видел икону в углу петрыгинского кабинета, повешенную на виду. Петр Евграфович давно разуверился во всем, и бог ему был даже не путеводной ниточкой, а лишь компенсацией за утраченное, средством протеста, незамысловатым заборчиком, за которым отсиживался до поры. Изображен был святой с копьем; он был мордат и в просторной золоченой рубаше. — Только скуку... но он чувствовал прилив ярости, когда видел аристон, под который праздновали его женитьбенную сделку. Вещи стояли мрачнее могильных

памятников, но, он знал, в секретном ящичке одной из этих деревянных развалин хранились бесценные гридцать тысяч, необходимые для его вступления в новую жизнь. Запустелое место требовало к себе уважения, и следовало заранее побороть свою непримиримость. Может быть, даже ему придется раскланяться с адвокатской кожицей или спросить о здоровье содержимого в неряшливом капоте, которое проскользнет посреди разговора по коридору. «Редкий гость, редкий гость...» — заговорит хозяин, весь играя, как призма, когда тонкий и сочный попадет в нее луч. А сам будет думать: «Неспроста, неспроста... Скутаревский зря не пойдет к Петрыгину». Потом он заведет политический разговор, в котором пошлость искусно сочетается со сплетней, а Скутаревскому останется — поддакивать? Ну да!.. это он приходил к Петрыгину просить денег, а не наоборот.

Словом, Сергей Андреич трижды брался за трубку и всякий раз, точно тяжесть ее превышала его силы, не мог оторвать от рычага. Прямая необходимость, ибо бушевала на кухне жена, снова гнала его к аппарату, и он шел, презирая в себе минутную слабость. Еще неизвестно, однако, сдался ли бы он на петрыгинскую милость, когда прозвучал телефонный звонок. Трубка едва не выпала из рук: ему везло, звонил сам Петрыгин, и в голосе его, слегка порхающем, не отражалось и доли прежней неприязни. Очень спокойно, вполне с тактом, он приглашал зятя поехать за город, в деревню, в глушь и снег, на лисью охоту.

— Тебе полезно, родной: ты заплесневел, как груздь без засола. Небось и мысли скверные лезут. В наше время чаще следует думать...

— ...о спасении души? — засмеялся Скутаревский, потому что ему тоже стало жарко и весело.

— Нет, но об умственной гигиене.

— Да, ты прав, — бормотал Сергей Андреич, размышляя, что наверно с таким же ребяческим ликованьем обставляют друг друга жулики при дележке добычи. Разыгрывая видимость сопротивления, он прибавил на всякий случай: — Да, но у меня завтра...

— Возражения не принимаются. Ехать сегодня, — персбил Петрыгин. — Все... валенки, ружье, лыжи... все будет на месте. Возьми зубную щетку и полотенце. Я еду за тобой через час.

И сразу, в разбивку, точно опасался, что Скutareвский сбежит, принялся расписывать про исключительные условия охоты, про замечательного егеря, которого держал на жалованье, про его теплую избу, про красоты зимнего леса, про удовольствие от стакана гретого вина и про вековую мудрость мирных деревенских щей. Похоже было, будто элегию собрался он писать на склоне лет, а Скutareвский согласился уже с первого слова. Нейтральная уединенная обстановка вполне согласовалась со щекотливой темой разговора. Кроме прямых выгод, представилась еще побочная — на сутки оставить Женю наедине со своими мыслями. Сергей Андреич подозревал, что она избегает даже глядеть на него: и правда, он несколько громоздкими приемами нанимал себе секретаря.

Все происходило именно так, как пообещал Петрыгин. В назначенное время он ждал его в машине Энерготорфа, посмеивался, потирал руки и шумел.

— Влезай, влезай... Ну, что у тебя нового? Так и не узнал, отчего светятся рыбы?

Сергей Андреич с размаху вдавился в кожаное сиденье, — машина скользнула из переулка.

— Ну, ты, вероятно, уже все слышал, — и покосился на шофера. Но Петр Евграфович не стеснялся:

— По городу ходит много слухов, но сплетня только разжигает аппетит. Чорт, прямо шекспировские страсти. Сестра рассказывала, ты даже зубами скрипишь по ночам и бьешь сервизы?.. кстати, и молоденькая? Где ты его раздобылся?

Он спросил об этом вполголоса, сделав неумолимый жест и с тем доверительным мужским акцентом, который допустим только между старыми приятелями. И, выстрелив в него новым хохотком, уставился наивным оком — попало ли. Лицо Сергея Андреича жестко чернело на фоне мелькающей улицы: Скutareвский молчал, и Петр Евграфович понял, что стиль беседы следовало подобрать иной. Игра велась крупную, и требовалась повышенная деликатность к тому, кого собирался обыгрывать. Тут захватила их вокзальная суматоха. Облака сквозного пара подымались к лампионам, одышливо пыхтели паровозы у перрона, и где-то на путях, убежавших в безлюдную тьму, скупым дорожным криком перекликались отходящие поезда. Наступала зимняя ночь; она заглядывала сюда

полукруглым куском неба, из которого, медлительные, танцуя и порхая, неслись снежинки. И хотя вот тут же, в двадцати шагах, за кирпичным углом багажного домика шумел город, все обычные мысли растворились в волнении неожиданного путешествия... Еще раз Петр Евграфович попытался установить душевный контакт со спутником своим.

— ...слышал? Прогресс. Банщики единодушно идут в управление государством. Я про этого, про родственника комиссара твоего. Понимаешь, выбрали в райсовет... Я встретил его на-днях в жилищной секции. Обрился, физиономия — совершенный ростбиф и с этаким моркофным гарниром. Странно, как в начальство — так прыщи. «Когда попаримся?» — говорю...

— ...а он? — быстро, с возмущением спросил Скутаревский.

— Он сказал: «Не задерживайте, гражданин». Но я не уходил... Он замигал, чудака, и отвернулся.

— Радуюсь за Матвея Никенча, — сухова то сказал Скутаревский.

Петрыгин дружелюбно коснулся его руки:

— Ты всему теперь радуешься, положение твое такое: тебя купили. Нет, не на деньги... но тебе верят безоговорочно, а это самая страшная монета.

— Чудно ты говоришь: совсем как твой тесть, с той же хрипотцой даже. — Он посторонился от моторной тележки, груженной ящиками. — Давай не будем об этом... Ну, как твой сахар?

Петрыгин оборвался; установившийся метод впервые не оправдывал себя. Обычно дело начиналось также со смешной историйки, со скептических намеков, с рассказов о передовизме старого хозяина, а кончалось серьезным и вполне деловым обсуждением возможностей экспедиционного корпуса на Кубани или, в случае дальнейшей удачи, разговорцем о восстановлении частного капитала в России. Уж он-то крепко знал по самому себе: в русском человеке всегда и всякие найдутся дрожжи. Но, очевидно, была ошибочна первоначальная установка... Охотникам удалось занять место у окна, и тотчас же Петрыгин закрылся газетой, а Сергей Андреич глядел на бегущую вереницу подорожных елей за окном и размышлял в том смысле, что наступление на петрыгинские деньги следует

начать не ранее утра. Пока над бескрайным полем стояло еще застывшее зарево Москвы, пока мелькали в памяти названия знакомых станций, донимали городские заботы. Потом стало бледнеть все, оставшееся позади, — сказывалась многомесячная усталость, а выйдя в снежное безмолвие полустанка, он вздохнул глубоко и протяжно, точно просыпаясь от трудного затянувшегося сна. Морозный, ни даже шорохом не засоренный воздух неприятно покалывал лицо; тишина щемила сердце и сообщала телу сознание ужасающей его неповоротливости. Да и вообще — очарование деревенской жизни, больших расстояний, птичьего щебета на заре, сурового житейского уклада и монументальной скудости впечатлений — было всегда ему чуждо.

— Вот она, великая купель, — тяжелою, в пустоту перед собою вздохнул Петрыгин, едва ступив с платформы на хрусткий, незатоптанный снег.

Просторные мужицкие дровни ждали тотчас за переездом. Охотники улеглись на сено. Егоров сын, он же и обкладчик, парень в огромном промороженном кафтане, подсупонил лошадь и на ходу заскочил в передок. Путешествие началось с глубокого оврага, куда вдруг, как в сон, понеслись сани; потом наступил длительный подъем на гору и безбрежная за нею иссиня-серая ночь. Лежа на боку, кряхтя на ухабах, Петрыгин расспрашивал возницу о деревенских новостях, снисходительно — о ребенке, который родился у егеря на прошлой неделе, нажимисто — о колхозах и настроениях мужиков и, наконец, с зевком — о самой лисе.

— ...обложена. Два круга сделала... маялись с ней до вечера. Теперь не уйдет, — сказал паренек, останавливая конька и скидывая рукавицы.

По колено проваливаясь в снег, он сделал несколько шагов в поле и, наклонясь, пощупал снег. Там раскидистый, три — пучком и один в остатке, еле приметный проходил лисий следок. Накрест захлестнув его кнутом, он молча вернулся к саням.

— ...есть? — таинственно спросил Петрыгин.

— Третья. Днем спугнули: скоком шла... — бросил паренек.

Лес наступил сразу и с ним дремота. Крепче вина убаюкивали восемнадцать скрипучих километров по ровной лесной дороге. Егоров подстегнул, и комья снега

из-под копыт полетели на седоков. Черные ветви елей со свистом хватались за дугу. В сонном сознании Сергея Андреича они уподоблялись то указательному персту, то густым усам покойного Девочкина, то — неожиданно — браунингу, — и среди гипертрофированных этих образов не уместилось ни одного, имевшего непосредственное отношение к ремеслу или чувству. И даже самое слово *Женя* растворилось без остатка в синем этом безбрежии, которое оттого стало хрупким и напряженным, как стальная струна.

ГЛАВА 15

Лиса шла краем леса.

Всю ночь она путляла у деревни, выслеживая еду. Но морозом хватило еще с полудня накануне; серый ветер ударил с севера, сдувая снег и вороньи стаи с голых, звонких вершин. Охота не удавалась, — куры задолго до сумерек забрались на ночлег... Там неглубокий овражек подступал к самым задворкам, и в нем, вокруг незамерзающих родниковых промоин, частый и непроходный теснился ивнячок. Лиса ждала терпеливо; она куснула мерзлое корье, чтоб горечью умерить истечение слюны, и опять ждала. Голод томил ее; глаза ее стали умнее. Она решила сделать лежку здесь до рассвета, когда головатый белый петух, нарядный ерник и хлопотун, выйдет в обход своих владений. Она почти любила его, это была давняя неутоленная любовь; она начиналась от самой его шеи, одетой гибким и жирным пером, и через томительные, красного цвета ощущения кончалась горячими, сочными костями, одно воспоминание о которых вызывало одурительный зуд в лисьих деснах. И вот она уже промяла брюхом снег, но тут въехали с разгону пошевни в овраг, и впервые за много пустых лет с убийственной удалей бился под дугой бубенец. Лиса вспрыгнула, переметнулась через ручей и легким скоком пошла в поле. Наст уплотнился после недавней оттепели, и круглая ее, полусобачья лапа почти не взбивала снега. Среди поля лиса остановилась, вскинув короткие, темнокадмиевые уши, и слушала затихающий звук, уже на две трети разбавленный тишиной и расстоянием. Потом, когда истаял, источился он о шершавое пространство, она поднялась в лесную чашу, домой.

Здесь было глуше и надежней. Запоздалая синица с писком перелетела на ветку, роняя снег на лису, — почти грустно она проследила ее полет. Голод томил ее. Стояла зима, и ни майского жука, ни тетеревиного яйца в ней. Сумерки густели, небо предвещало холодную ночь; ранние звезды покрупнели, стали точно вымытые, и вот в каждом лисьем глазу отразилось по звезде. Походкой ленивой, даже мешковатой, она пошла к норе. В сущности, обширный, многоизвилистый дом этот, вырытый в песчанистом бугре, принадлежал барсуку, но тот спал и не выражал недовольства против теплой и пушистой затычки: пронырливый зимний ветер добирался до него. Нора была совсем близко, — в просвет между деревьями виднелся там громадный, синий провал обрыва. Лиса подошла не сразу; по дороге она обнюхала надломленное бурей дерево, но запахи были привычны — клейкий, четкий — промерзлой смолы, и еще сытный, маслянистый, крепко профильтрованный снегом — прошлогоднего копытня. Ничто не содержало угрозы и не таило опасности, но лаз в самую нору был заткнут снегом и хворостом. Лиса коротко взвизгнула и быстро отошла. Синие звезды падали сверху, порхали между ветвей, и в такт им начинало покачиваться тонкое ее тело. Это был голод, и он пересиливал страх. И хотя совсем не время было мышковать, лиса рванулась в другой край леса — там, на хлебном поле, у опушки, она учуяла однажды под снежной кочкой мышинный выводок. Она не ошиблась, она думала запахами; к острому аромату пахучей травы, которую надо жевать при поносной болезни, потом — кататься, примешивался тот, ершистый, востренький, каким пахнет по зиме всякий звериный подшерсток.

Весь этот путь она прошла в прыжок; оставалось лишь спуститься по отлогому скату... и вдруг остановилась, вся подавшись на хвост. Тело ее напряглось, готовое отдаться стремительному прыжку. Длинная веревка пересекала ей путь, вся увешанная красными угольчатыми тряпками. Стало уже темно, и она скорее учуяла, чем распознала цвет, потому что именно красное есть цвет хитрости, цвет ее вкусового смысла и завершения. Промороженные, скоробленные на морозе да еще смоченные предварительно карболкой, флажки изгибались, тряпичными остриями устремляясь в глубь леса. Мирный низовой вихорек без-

звучно покачивал их... Лиса смотрела; каждой шерстиной своей чуяла она это безличное, смертельное лукавство. Не трусость, а вековой опыт ее дедов, ладных, огнистых, рослых кобелей, ускользнувших от помещичьих борзых, от лесных пожаров, ухромавших хотя бы на трех лапах из зубастой железной челюсти, разверстой на снегу, — проснулся в ней. Нетравленная, нестреляная, она смотрела даже весело; она еще не ведала лихих повадок Романа Ильича. Итти наперерез веревке или проскочить под нею было физически еще труднее, чем бежать против выюжного ветра.

Летучим, неспешным скоком, потому что самая ночь сулила безопасность, она сделала две обманных петли и там, где еще накануне изгрызла постную жилистую птицу, снова вышла на флажки. Они стали совсем черными, и это также было только цветом ее ощущения. Тогда она метнулась напрямки, в овраг, но и там, по всему спуску в низину, шелестели черные кумачные лоскутки, настриженные аккуратной рукой егеревой жены. И опять лиса не посмела перескочить через опыт своих предков и родичей; также не могла она понять, что круг этот — ее последнее смертельное кольцо; она не умела объединить в целое уйму одинаковых по качеству, но разрозненных во времени впечатлений; она догадывалась лишь, что счетом хитрость не одна, что хитростей много. Надеясь утром найти какой-нибудь незатянутый прогон, она вернулась в лес и сделала лежку прямо в снегу, под угревой рогатого палого корневища.

То был крупный зверь, двухгодовалая сука, чистая огнянка по масти. Щемило ей соски, набухающие на брюхе, а чуть солнце — она шаталась, как пьяная, посреди сверкающих снегов, и тогда звезды падали в ее глазах даже днем. Ее длинная, по-волчьему расключенная шерсть отливала в краснину, как верховая шелуха сосен в зкате. Все о ней по ее собственным следам вычитал егерь Роман Ильич; ее петли и сметки были почти волчьи, но петель было вдвое против волчьих. И когда на лыжах гонялся за ней до изнеможения, до тех же звезд в глазах, до сосулк на седеющих висках, знал, что гоняется не зря. Дважды она уходила из круга; Петр Евграфович заставлял ее на третьем, и не то чтоб ему везло, просто он был самый щедрый из клиентов Романа Ильича. Но хотя Петрыгин во всем старался блюсти старобарскую видимость, не

уважал Петрыгина Роман Ильич. «Мышкует, рыльца не щадит...» — говаривал он и еще ниже склонялся за каждую лишнюю пятерку — прятал глаза... Умирало старинное егерское, равно как и банное, ремесло; мельчали лисы и пропадали, — всякую осень он с трепетом выходил на порошу — прострочило ли ее следком. За последние годы, впад в ничтожество и бедство, Роман Ильич возненавидел свой тяжелый и неровный хлеб. Семья состояла из семи, приезд охотников совпал с появлением восьмого; это он оглашал ревом избу, когда Скутаревский, непривычно застегивая на себе патронташ, выходил ранним утром убивать рыжую. Впрочем, Сергей Андреич слышал только голос самого Романа Ильича, который шел сзади и бубнил с желчным и горьким хвастовством про бывалые охоты с какими-то мифическими французами.

После кислого запаха избы — то ли от роженицы, то ли от горшка вчерашних кислых шей, выплеснутых собакам, — морозный воздух одурял до головокружения. Та же лошадь, что и ночью, понесла их по раскатанной дороге к лесу. Двое старших сыновей, вряд ли в будущем егерьки, в брюках, запущенных поверх валенок, бежали за ними на лыжах. И опять Петрыгин лежал на боку, трясясь лиловым мясом щек, лицом в лицо Скутаревскому.

— ...итак, у тебя большие перемены в жизни, — сказал он, потому что глупо было глядеть в глаза приятелю и молчать.

— Да, я решился на разрыв. Выхода другого я не вижу. Я уеду сам, оставив ей все. Арсений зарабатывает достаточно...

— А ты не пробовал пойти на примиренье? — Он и сам понимал, что вопрос глуп, но дорога была длинна и слова не купленные.

Можно было не опасаться быть подслушанным. Егерь целиком был поглощен разглядываньем снега по сторонам; он работал там, где другим предоставлялось удовольствие. За поворотом стало зашибать ветром; Роман Ильич поднял узкий егерский воротник, и теперь только встречный от ветра и леса шум наполнял его уши.

— Я понимаю, конечно, — продолжал Петрыгин, — жена — это да! — Это уклад, семья, сосредоточенность в работе, собственная крепость... но нельзя же двадцать лет жевать одну и ту же кашу: кроме каши, например, тонкий

организм требует еще компоту, фиалок, нарзану, стихов, чорт возьми! Но стоит ли сокрушать теплые обжитые стены, чтоб сделать часовую прогулку вне их? Это только греки триумфаторам проламывали стены, да и то — опившись вражеской крови... Слушай, родной: ты купи ей, девчонке твоей, брошку с бирюзой, недорогую... я видел в магазине уральских самоцветов... купи, насладись и отпусти. Еще и благодарить будет. Я тебе расскажу такие камуфлеты своей юности, что ты... А с сестрой я тебя помирю моментально. — Он был уверен, что Анна Евграфовна простит мужа вприпрыжку и даже с благоговением. — Вот вернемся, я ей позвоню, и все будет в порядке, а?

Насчет брошки — это, разумеется, была лишь пробная дерзость, но по тому, как зашевелился вдруг Сергей Андреич, по злому его взгляду он понял, что девчонка стоит внимания, а решение зятя бесповоротно: ловец человеков, он изучил его в подробностях. Когда Скутаревский ворвался в жизнь, он один был как целый легион гуннов; в каждом жесте его трепались воинственные лоскутья, чадили походные костры, ржали стреноженные кони. Потом культура разрубила на части эту орду и сразила наново куски, но сила, толкавшая орду, еще не разрядилась. Потребность, которую свирепо подавлял работой и которую не истощило время, проснувшись в нем и немедленного требовала насыщенья. Видно, розовая лирическая жижица вконец залепила все извилины этого замечательного мозга.

— Примирение невозможно, потому что не было и ссоры, — сдержанно пояснил Скутаревский: соскочить с дровней было ему некуда, белое поле стлалось вокруг. — Это копилось давно, отрыжка, но я был занят тридцать лет подряд. И, пожалуй, ей со мной тоже бывало трудно. Моя работа казалась ей безрассудством, она устроила мне сцену, когда я отказался от преподавания в гимназии упитанным онанистам. Ей более к лицу был писчебумажный магазин в Париже. В ней поселился какой-то скверный микроб стяжательства, который за последнее время еще усилил свою вирулентность. Она повесила у меня в комнате паршивого короля и, кажется, штруфова родственника. Я сообщаю тебе лишь факты, и я имею право на мое бешенство... — Именно стихийная разбросанность обвинений показывала их крайнюю непримиримость.

Наступила тишина, прерывистая и хрусткая; так искрятся щетки на роторе. Проехали деревушку, затонувшую в снегах. Дорога спустилась на пойму, и уже стал виден густой черный массив, где, мечась среди флажков, ждала своего заряда лиса.

— Словом, тебе надоела интеллигентная жизнь и захотелось остренького, — задумчиво молвил Петрыгин, смахивая снег с воротника. — Ты говорил об этом с Арсением?

— Он вышел из того возраста, когда это могло повредить ему. Мы тут как-то познакомились с ним, и надо сойтись, не понравились друг другу.

— А ты посеки, посеки молодого человека! — тихонько посмеялся Петрыгин, и так как тот ничем не ответил на новую дерзость, продолжал много серьезней: — Ты большевик стал, миляга... но ты ж пойми, социализм тебя застанет в богадельне. А по существу ты же ницшеанец, сибарит, анархист даже... чорт, на какую чечевичную похлебку ты меняешь свое первородство!

— Но как ты можешь работать с такими убеждениями у *них*? — строго спросил Сергей Андреич.

Тот посмеялся длинно и загадочно —:

— С точки зрения морали я не нахожу ничего предосудительного в том, чтобы под влиянием нагана отдать не только знания, а и кошелек.

Сергей Андреич собрался было выругаться сообразно случаю, но тут Роман Ильич остановил лошадь и бесшумно вскочил на лыжи. Лес принял их молча, точно и он был в сговоре на рыжую, — только стукнула о полоз лыжа, пока егерь набирал сена для лошади, но звук был расплывчатый, сонный, как след, запорошенный снегом. Гуськом, мимо деревьев в белых рваных чехлах, охотники вошли в чашу. Целую вечность, полную щекотных мальчишеских ощущений, шаркали по глубокому снегу лыжи, и вздрагивали, роняя хлопья, можжевель, задеваемые ружьями. Потом, скинув куртку, Роман Ильич отправился с сыновьями в последний раз проверить круг, а Петрыгин поставил Сергея Андреича на номер, бросив предварительно жребий.

— Вот, убьешь — отдашь горжетку сделать для девчонки. Этакий жаркий пушок будет у нее на горлышке...—

не сдержался он напоследок и взглядом спокойным, даже таким, каким ласкают всякую добычу, окинул Скутаревского.

...и сразу замкнулись все выходы из этой белой тишины. Скутаревский зарядил и прислонился к толстой, взводистой сосне, у которой стоял в засаде. До гона оставались минуты. Поверх ветвей, нарезанных егерем, видна была пушистая, кочкастая просека; стайка тонконогих березок, наклоняясь по солнцу, перебегала ее. Ожидание поглощало все остальные мысли; как бы в дымке дальнего плана он представлял себе ясно — бежит лиса, но вспыхивает страшный красный звук, и проворный, гибкий зверь, вертясь, визжа и умирая, кусает свой измочаленный дробью хвост... Сергей Андреич не заметил, как начался гон; в низком собачьем лае он не узнал сперва насмешливого голоса Романа Ильича. Лай раздавался теперь из всех углов леса, он переходил в лихое, нарастающее уханье. Воздух стал голый, стеклянный. Лес проснулся, и там, где стоял Петрыгин, настороженно щелкнул затвор. Повинуясь звуку, Скутаревский вскинул ружье и тотчас же узнал свою цель. В черноте стволов, неряшливо и как бы сажей нарисованных на белой холстине, мелькнула нарядная кадмиевая шкурка и пропала. Он ждал петрыгинского выстрела, но зверь, видимо, переменял направление. И вдруг Скутаревский вторично, уже в ближнем краю просеки, увидел лису. Покачивая опущенным рыльцем и как бы вынюхивая снег, она решительно шла прямо на Скутаревского; красный хвост ее подрагивал на ходу. В ту же минуту, повинуясь инстинкту и почти не целясь, заостренным пальцем он дернул спуск. На долю мгновения все выключилось из памяти; потом в поле его зрения снова пало гибкое рыжее пятно. Той же деловитой походкой лиса уходила в ложбинку, за пни и бурелом, — потом пропала, как бы не дождавшись второго выстрела. Из-за деревьев показался бегущий Петрыгин, и мякоть его содрогалась на бегу, как вода в пузыре:

— Эх, спуделял, мазло присноблаженное! — закричал он с сожалением. — А я уж загадал было на лису. — Он зажмурился, прижимая руку к нагрудному карману на шубе. — Погоди, сердце у меня хамит... Как же ты?.. ног-то она тебе не отдавила?

Кстати поразмело сугробистое небо, и лыжная колея заискрилась в солнце ломаным атласным глянцем. Скутаревский улыбался, опираясь на ружье; наглядевшись в детстве на мытарства отца, одно наблюдение сохранил он навеки: живая лиса стояла все-таки больше дохлой горжетки. И еще: ни мыслинки не было в голове, а только одно, огромное леса, ощущение — «пускай, пускай все рыжее безболно гуляет в мире». Он улыбался собственной хитрости, в которую, правда, поверил только после выстрела. И как зверь накануне в ночь не умел обобщить наблюдений, так и ему самому неприметно было сходство лисей судьбы с его собственной. Все теперь стало ему ни-почем — и вздохи Петрыгина, и укоризненное молчание запыхавшихся егеревых сыновей. Роман Ильич искал следов дробы на снегу и, не найдя, побежал по следу, выводившему из зафлаченного пространства.

— Ни кровиночки, — сообщил он, вернувшись. — Видно, впервой на зверя-то! — Но он не сердился, потому что *хвостовые* все равно оставались за ним, да и лиса сохранилась в резерве для настоящего стрелка. — Ну, мчимся на второй круг.

Суждена была в тот день неудача; со второго круга лиса прорвалась до выстрела, и пока наспех затягивали третий, подступил вечер. Неуклюже и громадно день заваливался за горизонт, как простреленный и кроткий зверь, и багровеющее солнце напоминало кровоточащую рану на нем. Стрелять стало темно, лошадь глядела назад. Возвращались в молчании, и только близ самого дома повеселил их младший егеренок. В посинелой руке он тискал варежку, которую поминутно прикладывал к уху. Там держал он какую-то подбитую зимнюю пичугу, — она ершилась в варежке, и нравилось егеренку непокорное, щекотливое ее шевеленье; так и гулял он с ней, как с песней. Вскочив к отцу в пустой передок, он искал глазами добычу и долго после того с озабоченным вниманием взирал на чудаков с ружьями.

...только после ужина. Все происходило согласно обещаниям Петрыгина. Дымились щи и тлеи рубиновые огоньки в стаканах красного вина. Скутаревский прищуренно глядел в угол на играющих котят.

— Итак, — начал свой последний абзац Петрыгин, — ты решил уехать. Но куда?

— Об этом я и хотел говорить с тобой. Мне нужно мало, конура...

— ...но с ванной, — брюзгливо подсказал Петрыгин.

— Да, по возможности с ванной.

Топилась печка в комнате, мокрые валенки исходили паром.

— Хорошо горит, — зевнул Петрыгин, подумал и еще раз зевнул. — Любовь... диктатура материи... не знаю. Я видел однажды любовь в окне подвала. С женщины тек пот. Мужчина был волосат, и у него была тощая спина мученика. Эта двойная молекула...

— Прости, мне не нравится твоя ерническая практика.

Тот очнулся и трезво взглянул на Скутаревского:

— Да, я не к месту. То был уже конец, а мы пока еще о начале. Все это от мудрости: вот он безалкогольный напиток, которым все мы утешаемся в старости... Итак, конура... но конура стоит денег. А денег наличных нету. А денег надо много. Так?

— Штруф предложил мне купить квартиру. Она стоит тридцать тысяч, и эти деньги я хотел просить у тебя.

— Да, конечно, жаль упускать случай... — вяло сказал Петр Евграфович и встал.

Сделав несколько шагов по комнате, он остановился и взглянул на Скутаревского. Тот глотками отпивал вино, смотрел остаток на просвет, и тогда по губам его плескались уютные домашние огоньки. И опять Петр Евграфович принялся за свои виражи, чему-то улыбаясь и прищуриваясь. Комната была тесна, вся заставленная чреватými крестьянскими укладками. Остановясь у стены, он долго взирал на вылинявшую фотографию: егерь пластовал убитого медведя. Из-за рамки, точно жерла наведенных орудий, чернели круглые крестьянские клопы... Потом, пощелкав языком, он снова принимался ходить, и в стоячем шкафчике, уставленном всякой домашней утварью, откликались ему тихие перезвоны разбуженного стекла. И вдруг, когда Сергей Андреич предполагал уже, что тот, парализуя просьбу, предложит ему только треть суммы и уж во всяком случае не больше половины, Петрыгин туманно объявил, что ему, Скутаревскому, вообще небывало везет в жизни.

— Деньги... это большие деньги! — и жестокая нотка скользнула в петрыгинском голосе. — Но Анна сестра мне,

а с тобою мы пережили длинную дружбу, от сладкой пены до ее тошного и горького осадка. Деньги я тебе достану... но деньги эти не мои.

Скутаревский перебил с горячностью:

— Я дам расписку, доверенность на получение зарплаты. Наконец я согласен на любые проценты.

Петрыгин посмеялся:

— Э, дело не в том... но они принадлежат человеку, которого нет в Москве. Его нет в Москве, он уехал, но он вернется. Он вернется не ранее полутора лет. Срок для тебя достаточный, правда? Но если он вернется раньше, ты, конечно, не подведешь меня. К тому же... — Он сделал паузу как бы затем, чтоб разглядеть линялые, усатые фигуры на фотографии, позади распяленного медведя: — Работа твоя, наверно, будет премирована, судя по тому интересу, который она вызывает в правительственных кругах.

— Ну, Иван Петрович преувеличивает этот интерес! — настороженно и с ударением на имени отпарировал Скутаревский.

И опять Петр Евграфович не выразил и тени смущения; безошибочное чутье подсказывало ему, что теперь, после сделанной затравки, с зятем можно не церемониться. Станция в Сибири оказывалась пробным камнем, и Петр Евграфович имел основания бесстрашно запускать в Скутаревского всю свою ухватистую руку. План его, упрощенный до банальности, в целом напоминал давешнюю облаву с флажками, но теперь судьба обернулась по-иному. Переменив направление, лиса шла прямо на Петрыгина, не торопясь и не догадываясь ни о чем; словом, Петр Евграфович имел время прицелиться достаточно точно.

И уже на другой день, расставаясь на московском вокзале, он крепко сжал зятю руку и поздравил:

— Ну, с новосельем, значит. Между нами говоря, завидую тебе. Но я стар, питаюсь овощами, спать укладываюсь в десять, и весь я такой, точно жидким мылом меня налили. Плоть свою ненавижу, в которой душа и тонны мертвого сахара разболтаны... вместе!.. Если хочешь, я достану тебе сразу тридцать пять тысяч: пять — для Анны, ей будет трудно первое время.

При этом он сообщил, что денег этих у него нет пока

при себе, их следовало еще доставать; на секретном языке это означало, что они спрятаны в надежное место. Во всяком случае их можно было получить на неделе, уведомляя за день по телефону.

ГЛАВА 16

Теперь оставалось только отыскать Штруфа, всучить ему деньги и договориться о покупке. О том, что обиженный в самых гуманных качествах комиссионер мог заупрямиться или вдруг полезть на дыбы, у Сергея Андреича и мысли не возникало. Он платил чистоганом настоящие трудные деньги, из которых значительная доля шла, без сомнения, на пропитание самого Штруфа. По слухам, оказавшийся полезным жулик этот попрежнему обитал у брата Федора, и, хотя поездка сопряжена была с некоторыми неприятностями, Сергей Андреич пошел и на них, — не поручать же было щекотливого этого дела институтскому, например, секретарю.

Братья виделись так редко, что иные считали их попросту однофамильцами, и ни один этого вначале не опровергал. Оба вылетели рано из вонючего отцовского гнезда, слишком разнились их оружие и философические установки, с которыми они вышли на большую дорогу жизни. И, как все люди, сделавшие сами себя, оба мало нуждались в родственниках... Федор Андреич начинал крепко, не хуже брата Сергея, — не зря называли их тогда братьями-разбойниками. Его академическая работа *Аввакум в братском остроге под Байкалом* была откровением для своего времени, даже, пожалуй, манифестом. Это была грубая, почти натуралистическая повесть о некоем абстрактном, поруганном человеке, переданная с небывалой для начинающего живописца силой. — Сстиснув зеленые цынготные губы, огромный распол сидел на гнилой соломе, вкомпанованный в угол тесной земляной ямы; в этих удручающих зеленых тонах была выдержана вся картина. Зажав скуфью в кулаке, он одним, горящим глазом следил за крохотным серым зверьком, обнюхивавшим его дырявый сапог. Зверек был голоден, распол — огромен. Кажется, эпиграфом служило то самое место его жития — «мышей много, я скуфьею их бил, только и было оружия...» Сверху заглядывало красноружее пашковское воинство.

В общем неясно было, на что намекал художник этим яростным бунтовщиком, который с автократом Никоном и с зубатыми придворцами его хотел биться и которому довелось воевать с мышами. Но, должно быть, на этой работе скрестились общественные настроенья тех лет. Реакция давила, русская интеллигенция, беспрограммно приветствовавшая первую революцию, искала всякой формулы своим смутным метаньям. Федор Скутаревский получил заграничную командировку, медаль в атласном футляре и выгодный заказ на портрет одного почтенного старца, который собирался умирать с минуты на минуту.

Перед отъездом в Италию братья-разбойники встретились; молодой физик приехал проводить молодого художника. Сергей Андреич сознался откровенно, что ему не нравится распол даже в большей степени, чем модный, с широкими отворотами летний костюм брата. Оба петушились, ни один не желал из родственности пойти на уступку.

— Это не картина, а сплошная аберрация пространства и твоего таланта, — пояснил Сергей. — Всякое вдохновенье... только пойми меня правильно!.. следует десятикратно фильтровать разумом. Эта безумная кобыла в такой свраг сослепу закинет, что и костей не соберешь.

Сергей исходил из правил своей науки. Федор смеялся, — костюм приятно обтягивал ему талию. Успех научил Федора Андреича смеяться чуть свысока.

— Ну, милый, наука открывает только то, что душа уже знает. — Не без щегольства он выдернул в руку золотые часы: поезд отходил через минуту. — Милый, человечество дошло до предела познания. Странно, что оно еще не летит во всех смыслах. Что ж, прыгни в этот голубой омут вселенной, и ангел знания пусть поддержит тебя!.. — Он был молод, дерзок, многословен, шумен и еще по-артистически, священно, глуп.

Расстались надолго, от Федора не приходило вестей. Единственное письмо его содержало путаные и пошловатые разглагольствования об итальянском Ренессансе; он писал о чудесном густо наозоненном воздухе его и даже, видимо после чересчур сытного банкета, что-то о восстании мертвых; он подчеркивал кстати, что когда мысленно покидаешь Ренессанс, то как бы уезжаешь из столицы; за восторженной словесной шелухой слышалось, однако, его смущенье. И правда, по возвращении он первым делом

отправился взглянуть на себя в академическую галерею. Было так, точно после солнечного утра он вернулся в затхлый и темный чулан; *Аввакум* показался ему неуклюжим ублюдком варварской северной фантазии. Это обширное и слишком быстро ставшее знаменитым полотно старело быстро; черной кисеей подернулись угасшие краски, но все это только потому, что и самая тема успела выцвести. Реакция породила в искусстве бесплодный и вычурный эстетизм; новое поколение истерически громило Скутаревского за литературщину; газеты по-разному, но в общем сочувственно описывали страдания молодого прыщеватого человека с Балчуга родом, якобы задержанного у картины с ножом; но была в том и доля правды, — прямая пластическая цель была подменена безвкусным рассказом о никому не нужных отребьях протопопы. Федор Андреич объявил друзьям, что он решил драться за подлинное искусство; вторая его работа — *Женщина за туалетом* — была принята с недоумением, хотя дело объяснялось просто: объектом послужила одна знатная аппенинская синьора, обожавшая начинающих живописцев. Но некоторые по старой привычке искали скрытых намеков и в этой стареющей, торжественной и печальной особе. Последующие работы, мрачная *Смерть Петра*, идиллический *Сенокос* и окончательно безличные *Рекрута* показали всем глубокий и преждевременный кризис художника. Никто уже не утверждал, что автор хитрит и прячется, но все при встрече с художником участливо опускали глаза. На выставку пришли друзья — вся эта недобрая шпана, обрадованная явным провалом сильнейшего соперника, шумно и неопрятно целовала Скутаревского в щеку, поздравляя с успехом... и всем было немножко стыдно, а больше всего ему самому, виновнику торжества; в конце концов ему хотелось убежать, захватив свои изделия подмышку. — Долгое время никто не покупал картин Федора Андреича.

Вынужденное трехлетнее молчанье помогло молодому мастеру собрать силы, — и, так могуч был первый его успех, о нем еще не забыли. Новая его небольшая картина — *Забастовка*, сделанная как бы с закушенными губами, едва не была забракована жюри. Адвокаты боялись скандала, который, разумеется, нарушил бы пору либерального того перемирия. — В тени низких фабричных корпусов теснились рабочие, а посреди двора, в кольце

их, стоял некрупный человек в чесучевом пиджаке. Солнце припекало его округлую, взмокшую спину. Он ждал. Взгляд его, чуть скошенный назад, на открытые ворота, выражал озабоченное нетерпение. Туда же с хмурым тяжеловесным любопытством смотрели и рабочие. Кучер за воротами торопливо отводил в сторону вздыбившихся фабрикантских коней; в коляске сидела нарядная девушка. Она была испугана; она уже видела то, чего не видел никто из стоящих на дворе. И хотя все там было спокойно — только востроносенькое облачко плыло над чахлой землицей — уже чудился зрителю дробный, на всем разгоне, топот казацких копыт. Мастерская палитра и ироническая светотень делили эти две группы выпуклее и злее, чем любая листовка, которые обильно раскидывались в ту пору по царской провинции... Картина наделала шуму; на нее взирали, как на дурное пророчество о грядущем, и спешили пройти. Сюжет ее почитался почти неприличным посреди безоблачной, казалось бы, политической погоды. Интеллигенция страшилась того, в подготовке чего участвовала в течение полуторых веков. Один журналист записал разговор, подслушанный у картины: «пора, пора, батенька, деньги в заграничные банки переводить!» И хотя по мотивам ущемленного самолюбия Федор Андреич назначил баснословную цену, картина была продана в первый же день.

На чеке та же, что и на предыдущих, таких же розовых и емких, стояла подпись. Он попытался разобрать имя своего неизвестного мецената. «Жирей и старься!» — прочел он по первому разу, и ему стало не по себе, точно на ухо шепнули правдоподобную пакость. Совпадением транскрипций объяснился этот сокровенный намек: фамилия мецената и петрыгинского тестя была Жистарев. Умный, жилистый этот старик, внезапный любитель живописи, покупал и все последующие работы Скутаревского. Он чувствовал его силу и не торговался никогда; впрочем, делал он это через своего доверенного, скопца, с личиком, похожим на горсть спрессованной шепталы. Жистарев предпочитал действовать внедрением роскоши, тем самым способом, каким доисторические китайцы умирляли воинственных северных соседей... Незадолго до объявления войны, после пьяной пирушки, утром однажды Федор Андреич ворвался в квартиру мецената, — кажется, он собирался

потребовать отчета. Не снимая шляпы, высокий, лысеющий, с челюстью чуть на бок, потому что держал в зубах нечто потрескивавшее и дымучее, похожее на бризантный шнур, он шатко вошел в просторную комнату и ждал хозяина, опершись на рояль; на пороге стонал пожилой жи-старевский камердинер, поглаживая вывихнутую руку... Потом Федор Андреич увидел человека с лицом мыслящего лакея и с бескровным лбом, сутуловатого и корректного, — такого никогда нельзя застать в халате; может быть, он даже и спал в этом несмятом, как бы чугунном сюртуке, в который в скором времени должна была бы облечь его история. Он вошел тихо; водянистые глаза смотрели более чем равнодушно.

— Пришел знакомиться и объясниться, — прокричал из табачного облака Федор Андреич, распространяя вокруг себя алкогольную суматоху своей мансарды. — Скутаревский!

Тот скрытно улыбнулся куском лица, видимо предназначенным только для этой цели. Он все понимал наперед и скуку предстоящего разговора мог побороть лишь повышенной снисходительностью.

— Слушаю вас. — Он поклонился, морщась от скверного дыма.

— Вы буржуа, я артист... — громово приступил Федор Андреич; расплывчатая тень сигары, которую он жевал, неряшливо двигалась по его щеке.

Тот перебил его:

— Погодите, снимите шляпу, вам легче станет думать. — Он сказал это просто и совсем не обидно. — При этом подобная сигара, сконструированная из окурков и торфа, может скомпрометировать художника даже большей славы, чем вы. По своему дарованию вы имеете право на лучшее... Курите! — и открыл ящичек особенных, каждая в золоченой бумажке, папирос. — Я слушаю вас...

Он бережно взял за краешек сигару Скутаревского и, не меняясь в лице, выкинул в сад. Было утро несравненной голубизны, зеленая прохлада плескалась за окном, а желтое лицо Федора Андреича блестело, точно парафинное.

— ...а я артист! — уже с гораздо меньшим апломбом начал Федор Андреич. — Вы покупаете все мои произведения. Я требую... я требую... — Несколько протрезвясь, он

забыл, в чем именно состояло его требование. Жистарев поклонился —:

— Я согласен, что цены были непомерно низки. Вы хотите переоценки?

— Нет, я требую объяснить, что это значит... — тише и даже как будто теряя в росте, бросил Скутаревский.

Снова кусок лица, пришитый к скуле, под глазом, задвигался в улыбке —:

— Мне нравятся вообще раскрашенные картинки, — с якобы бестактной искренностью сказал меценат. — Сделанные кисточкой мне нравятся больше, чем сделанные карандашом. — Еще не старик, он старчески качнул головой. — О, мне бы ваш темперамент! Вы, наверно, безумно нравитесь женщинам... но если бы у меня была вторая дочь, я не отдал бы вам ее! Вы всегда останетесь нищим.

Федора Андреича даже в жар бросило:

— Я не понимаю... — бормотнул он.

— Вы находитесь на опасном пути, молодой человек! — Право называть так Федора Андреича давала ему разница не только возрастов, но и состояний. — Надо служить кому-нибудь одному: искусству или... или заниматься социальными реформами. Ваша *Забастовка* организовывается, вы понимаете это? Это улыбающееся, на переднем плане, обращенное к публике лицо рабочего — это вызов! Словом, я умоляю вас, молодой человек, вернитесь, к подлинной красоте!

— Это толстая чековая книжка или количество лакеев в доме дают вам право советовать художнику? — снова, бледнея во лбу, взыграл Скутаревский.

— Тогда я уничтожу вас, — сухо вато сказал Жистарев, и ящик с папиросами закрылся. Он переждал минуту крайнего художникова ошеломления. — В балансе у меня имеются на сегодня восемнадцать ваших полотен. Они не блещут, но в них заключена вся ваша юность. А вы не так уж молоды, молодой вы мой человек!

Федор Андреич сидел тихо, с паршивым ощущением, точно ему не больно, но достаточно властно дали по загривку.

— Это варварство! — сообразил он наконец, впервые проникаясь страхом перед священным правом собственности.

— Это общественная гигиена, — скучно и тоном взрослого поправил тот, а ящичек с папиросами медленно стал раскрываться. — Вас ведет безудержная резвость в ногах. Попрдержите их в юности, они больше пройдут в старости. Курите, курите... я люблю дым хорошего табака!

Уже другой, рослый и надежного сложения лакей принес им кофе. Лакированный китайский подносик дрожал в неимоверных дланях, созданных для иной, более грубой и решительной работы, а не для такого детского занятия. Выпив хорошего кофе, Федор Андреич стал очень смиренный, и вовсе не оттого, что испугался. Драка с лакеем повела бы единственно к порче светлого летнего костюма, который он впервые надел для предстоящего визита. Хозяин также прояснил, разошелся, показывая коллекцию своих Тинторетто, очаровал, проводил до дверей, и, хотя это было уже слишком, сунул на прощание в карман художника весь ящичек с папиросами. При этом он предложил поехать с ним вместе за границу. «Вам, как творцу, должно быть понятнее это поспешное, но все же недурное творение господа бога. Я говорю про мир! Художники — как дети, они ближе к богу. Коммерция мне мешала до сих пор заняться изучением этой не вполне добросовестной махинации с человеком, как он есть. Поездка ничего вам не будет стоить, но вы обязаны будете разъяснять мне смысл некоторых встречающихся явлений...» Комплимент и самое предложение были туманны и шероховаты, но меценат от века владел правом на чудачество, и Федор Андреич согласился на эту сделку, хотя по существу она значительно превосходила те пределы, до которых он мог опуститься.

Позже, уже в дороге, к ним присоединился Штруф, тогда еще мот и хлыщ, предпринявший обширное путешествие для изучения расовых отличий у женщин всех стран; денег хватало у него также и на собирательство предметов искусства. И уж видно суждена была такая пакость: Федор Андреич не умел отказаться во-время и от его деликатной и расточительной щедрости. Роковое пророчество на чеке сбывалось в несколько измененном виде: он лысел и старел. Он даже как-то *обурбонел*, по его выражению. На самую работу времени почти не оставалось; безрасудно было трудиться над тем, что возможно было купить

в гораздо лучших образцах. Творческая струйка порвалась, как у гоголевского портретиста. На протяжении нескольких лет он сделал портрет одного сенатора и еще два громоздких пустяка: *Шествие сатиров*, этакую нетрезвую переключку с Рубенсом, да еще *Творение Евы* — вопрос, который его в высшей степени занимал. Именно такими, грамотными и бесполезными вещами определялся дореволюционный путь в академики, но тут застигла его война. Свирепая и безидейная эта бойня отрезвила художника. Он задумал холст, который был бы как крик, как выстрел в тылу. Тогда-то Жистарев, своевременно заметивший идейное отдаление художника, и заказал ему свой портрет: размер, замысел и цена его были необычайны.

...Повидимому, еще не распалась в нем его художническая желчь, которую всякий из нас в своей пропорции примешивает в краски и без чего не бывает художника. Не случись война, этот портрет, застрявший в петрыгинском кабинете, поставил бы имя Скутаревского в первом ряду общественников-живописцев. Он писал его долго: старела модель, и портрет тенью следовал за нею. Но революция опередила художника; к тому времени умирающий класс уже поднял забрало, и всему миру ясно стало одряхлевшее его лицо... — Произошло это под Полтавой, в имении Жистарева. Одетые в кумач клены заглядывали в окна; багровые блики играли в глянце дорогих обоев, в зеркальных библиотечных стеклах, в столовом хрустале, в водянистых зрачках Жистарева. Шла осень. Старик ежился, кутал ноги в плед, больше от предчувствия, чем от недугов: пружина жизни его была долгая. Иногда в окна моросил дождь и вкрадчиво, умоляюще царапались ветви; трещал дуб в камине да еще надтреснуто, точно ломаемые пальцы, похрустывал голос старика. Сеансы проходили в неровных, вспышках, беседах; к этому периоду и относились его судорожные афоризмы; вроде — «хорошие люди это те, которые не знают, что люди дрянь» или «окончательным героем окажется тот, кто на обломках культуры станет отпускать человечеству обеда по четвертаку и с горилкой». Его фабрики были уже отобраны, его лакеи разбежались, его зять предусмотрительно забыл о тесте, а вокруг последней его резиденции, именина, уже похаживали, хозяйственно присматривались, деловитые окрестные мужички.

Он говорил еще, — застопоренная мысль его текла толчками:

— Я переполнен впечатлениями и опытом, как виноградным соком гроздь. Ее форма закончена, ее семя созрело. Я не знаю, кто выпьет ее и, охмелев навеки, сотворит вещи, которым нет наименования. Я знаю лишь, какие причудливые формы принимают пространство и материя в бреду. Нет, я слишком стар, чтоб говорить утешительные комплименты даже моей собственной орде...

Работая молча, Федор Андреич не показывал своей работы до самого конца, но однажды этот день наступил, и старик подошел к холсту. Последнее солнце бабьей осени ударило в окна, и черная тень старика легла к приножью портрета. Вряд ли это была биография класса, но скорее памфлет, порою сдержанный и почти правдивый, сказанный с запальчивостью все еще не созревшего художника. Человек Жистарев стоял во весь рост, с чековой книжкой в протянутой руке: этот человек покупал. В его бесстрастном, чуть ассиметричном лице разболтаны были все страсти мира, но они уже нейтрализовали друг друга, — процесс в этой колбе закончился. По замыслу автора, то был бы лучший канцлер своему классу, но лекарь этот пришел слишком поздно, когда класс уже издыхал. Весь фон портрета, чуть зеленоватый, как в аквариле, был записан сценами, представлявшими попытку коллективного социального анализа. В сущности, это была многопланная записная книжка художника, комплекс его замыслов и социальных представлений, не всегда проверенных точными знаниями, но блестящих по форме: смесь недоумений, осуждения, вопросительных упреков. Родословная эта начиналась сверху; с грузных, теплых, почти фламандских кусков, заливных луговин, тучных коров на них, беспечных и пьяноватых бургеров с круглыми, засаженными бородами; в них оставалась пища, ее выклевывали жирные, с курдюками, птицы. Казалось, это сам мужицкий Брейгель гнал оравы своих персонажей по изломанной диагонали холста. В этой эпической, избыточной процессии, ликуя, вопя и поедая друг друга, двигались караваны, лошади, купцы, гуси, обжоры, облака, деревья, похожие на беззаботных толстяков, куры, смешные и как бы пьяноватые жуки, толстобрюхие ребята и какие-то

рогатые, наверно съедобные улитки. Ничто не сокрывалось от взгляда: дома распахивались, чтоб показать свое уютное пахучее чрево, мягкий полусумрак и угарное тепло патриархальных очагов; воды разверзались, обнажая тяжелое гибкое серебро рыб; в призрачных, заливанных благополучием полях на глазах у всех прорастало жирное истекающее маслом зерно... Дальше, еще не забывшие озорных песен предыдущего века, торжественно и монументально шли отцы и зачинатели ремесел, цеховые ордена — кузнецы, чеканщики, пивовары, гранильщики, типографщики, со своими станками на квадратных плечах, медники, бочары с лекалами и правилами, цырюльники и наемные солдаты, увешанные несложным еще инструментарием для военного убийства. Задние еще тащили на себе неуклюжие горны, точила, мехи, бочки, клещи, тигли, первобытные бомбардоны, а передние уже останавливались у машин, которые все грузнели, множились, уплотнялись в темные массивы, становясь лейтмотивом и даже философским тезисом. Чем дальше, тем тяжелее обычного становилось атмосферное давление. Лица бледнели, все более однообразясь и походя друг на друга: сплетение частей делалось теснее, но краски гасли, и происходило это вовсе не от бессилия художнической палитры. Изнеможенные, мгlistые люди несли распятые, румяных мадонн и жилистых страстотерпцев; иное из этой гвардии святых, истерзанное, измочаленное, в непотребстве тащилось еще в рубищах, иное в непристойной божественной наготе с нимбом, а иное, уже бритое, приделось в сюртуки, а кое-кто ехал даже в рессорных колясках. И чем заметнее серели лохмотья рабов, испачканные копотью, разъеденные кислотами, тем ярче расцветали — темная киноварь кардинальских одежд, разбавленный ультрамарин полицейских мундиров и фиолетовые крапп-лаки чиновничьих воротников, — повторялся живописный прием *Забастовки*. То был, пожалуй, расцвет; все отличалось полнотою и крайним благолепием; только у Схуабрука можно было б отыскать такую действенную во всех частях, цветистую множественность человеческой мощаки. Тех, которые валились, просто перешагивали; кричавших заглушали литавры оркестров; он действительно гремел и оглушал медный кадмий Скутаревского... Поток увеличивался, обиходный инвентарь совершенствовался,

пушки удлинялись, армейские штыки обогатились знаменательными желобками... Городская площадь, расшитая бисером, вызвала бы меньшее удивление зрителя, чем эти бесчисленные толпы, разделанные со тщательностью старинного миниатюриста. Ликование становилось судорогой, вожди в крахмале и цилиндрах уже не осмысливали дальнейших маршрутов человечества, и нехватало бы всей меди в земле, чем заглушить крик и отчаянье путеводимых ими. И здесь-то, на переднем плане, стоял человек, последний в ряду... и что покупал он? На его отечных, дрябловатых щеках еле приметный играл баgreц; это клены за окном окрашивали картину; это и было то, чего не досказал из ложного целомудрия художник.

Жистарев смотрел долго, покусывая губы, и резвая склеротическая струйка на его виске билась и двигалась, как голубой разорванный червячок.

— Да, это уже не вполголоса, — отдельно сказал он потом. — Я зря возил вас за границу, Федор Андреич. Художника из вас не получилось. Вам следовало продолжать ремесло вашего отца. Всякий честный хлеб сытен. Это даже не пасквиль, это безграмотность... вы не знаете истории. К тому же и я не Филипп, и вы не Веласкез! Я сожалею, что оплатил эту плохую литературщину!.. — И он с тоской осмотрел стены, уже не принадлежавшие ему, — он бежал из них неделю спустя.

Его бешенство звучало великолепно; позже, увеличенное в гомерической прогрессии, оно вылилось в свирепом напоре интервенции. Ярость врага должна была воскресить Скутаревского, но он испугался ее. Никак не давался ему второй слог уже задуманного и наполовину произнесенного слова. Он не разгадал еще умной в отношении себя игры Жистарева. Много позже, после первого тура истории, Федора Андреича вызвали на таможенную для получения посылки. Штемпель Медоны закапан был сургучом, и сперва ничего нельзя было понять. Таможенный агент распорол упаковку и заглянул вовнутрь. Его лицо стало озабоченным, — на такой товар нигде не разъяснялась пошлина. Объемистый ящик доверху был полон мелкими обрезками картин; искромсанное лицо девушки из *Забастовки* склеилось с отчищенным сапогом одного из *Рекрутов*. Так отсылают свою продукцию профессиональные головорезы.

Агент ждал объяснений. Федор Андреич попытался дать их: «Я художник», сказал он.

— Несите так... — ответил тот, разводя руками. — Это и не текстиль, и не краски, и не картины. Забирайте ваше счастье и... Следующий!

Притащив посылку к себе в мансарду, Федор Андреич стал распутывать свои воспоминанья. Теперь это был художник всего о двух полотнах: *Аввакума*, о котором не хотел и думать, и *Канцлера*, пропавшего в неизвестности: у Петрыгина в гостях он не бывал никогда. Кроме того, Осип Бениславич, по секретному заказу Петрыгина, замазал сиенной весь фон и вымарал чековую книжку; человек на холсте стал иным. Казалось, он утомленно, вторично на протяжении всего христианского периода истории то ли просил о хлебе жизни, то ли вопрошал об истине; рука его была до жалостности пуста... Федор Андреич от гнева подумывал даже пойти в добровольцы, но тогда не было никакой подходящей войны. Ночью он достал папки своих последних работ и наедине, пока храпливо бурчал во сне его ужасный нахлебник, разглядывал их. Тот же уверенный, почти офортный штрих вводил, однако, в заблуждение. Правда, он и теперь мог служить образцом для молодых живописцев, подменявших живопись ходовой темой, но рука мастера стала тяжеловесна, в ней не оставалось прежней дерзости, которая как внешний ветер яснит небо творения. Он листал эти незаконченные картоны и кидал на пол, к ногам; то были эскизы и композиции, детали задуманных полотен, листья дерева, не прошумевшего никогда; красноармейцы с винтовками, а также и без оной, почтительные и равнодушные наброски наркомов и героев труда — а он знал, как это можно сделать! — кроки зверей для зоологического атласа, иллюстрации к халтурному роману, обложечная шелуха для популярных брошюр, открытки... Все это были только талоны на суровый хлеб художника, недолговечные лохмотья таланта, попавшего в приводной ремень.

Он разбудил Штруфа и, тряся его за плечи, сипло шептал ему, полузадушенному:

— Где мой талант, а? куда ты его дел?

А тот не понимал спросонья, в отускневших зрачках отражался ужас перед расправой:

— Я не брал, я не брал... ты поищи!

Месяцем позже Штруф простил Федору Андреичу его выходку; он знал и сам, как трудно даются первые годы гибели. Кроме того, ему негде было бы жить, Федор Андреич замкнулся в себе; он ничего не понимал, никто не приходил ему на помощь; вещая черимовская фраза, сказанная однажды при нем — «так платят за сращение с классом, который умер» — ничего ему не объяснила. Он соглашался только внешне, потому что нечем ему было возразить. Так среди бела дня заставляла его ночь.

Тогда он вспомнил о брате; со времени той мимолетней размолвки они не видались ни разу. В памяти Федора Андреича свежее был образ рыжеволосого Сережки, с которым вместе, бывало, босыми ногами разминали мех в мастерской отца. Это было давно, может быть — на заре мира. Величественные нагромождения его уже тогда звали к себе юного мастера, но в те времена банки ваксы, горсти мела и флакона ядовитых красных чернил хватало ему, чтоб рассказать о чудесном своем пленении. Он рисовал горы, которых никогда не видел, реки или неохватные пространства, еще незаселенные человеком; потом он стал размещать на них то смешное племя, которое его окружало — заказчиков, мастеровых, провинциальных пьяниц — они блаженно леживали в канавах и за позирование им не приходилось платить, — старух, чиновников, слепцов, и, наконец, отца, нелюдимого отца, битого нуждою так, как не бьют на ярмарках конокрадов... Теперь имя Скутаревского нес один Сергей Андреич, а Федор жил в его обширной могучей тени. Повидимому, Сергей отыскал тот самый ключ к жизни, который Федор так бесшабашно утерял. Итак, Федору Андреичу понадобилось вмешательство разума; однажды он пришел к брату — высокий, торжественный, в стареньком черном галстуке, — так идут на капитуляцию, а Сергей Андреич собирался в концерт, и у него был свободный билет. Брата он принял радушно, но с той родственной небрежностью, как будто они расстались только вчера.

— А, птаха вольная!.. ну, как, все благополучно? — спросил он, как бы заранее предписывая ответ, и тут же предложил на музыку поехать вместе.

Благополучие было явное: тот являлся на собственных ногах, в том же несокрушимом телесном здравии; штопанный костюм его выглядел вполне пристойно, лысина по-

французски была прикрыта беретиком. Совместная поездка в концерт избавляла от нудных расспросов о прошлом.

— У меня есть разговор к тебе, значительный, и единственный, — виновато объявил Федор в первом же антракте. — Закончился какой-то цикл моего развития. Сделай милость, удели часок, больше мне не с кем.

— В каком же это смысле? — покосился старший.

— Может быть, это будет исповедь.

Сергей Андреич охотно согласился на просьбу Федора; всерьез он никогда не относился к сомнительной профессии брата, а тем более к ее катастрофам; и если уж соглашался безоговорочно, то лишь из смутной надежды, что дело кончится прощением о пособии.

— Да, да, мы непременно это устроим как-нибудь. Тут у меня на-днях конференция, потом я уеду в Харьков на съезд. Вот после съезда мы устроим. У тебя надолго?

С разговором этим Федор Андреич напрашивался неоднократно, так что старший начал что-то подозревать. Повидимому, предстояла развернутая исповедь художника по традициям доброго старого времени, то есть по душам, с призывом человечества во свидетели, с признаниями во всяких тухлых секретах, со всеславянским надрывом, с сосанием пуговицы на жилетке собеседника, — тошная словесная мазня, от которой у обоих надолго остается душевная изжога. Сергею Андреичу, очевидно, по грубости души, недоступны были такого рода удовольствия. Он осведомился, наморщивая лоб озабоченно:

— ...а может, тебе просто денег надо? Милльон я, разумеется, не смогу... но я тут премийку одну, возможно, клюну. Бери пока, а? Все равно, по секрету тебе: жена Тицианов купит, по рублю за штуку. Тут жулик один есть... — Он передернулся от веселой внутренней издевки: — Кстати, а малярии у тебя нет?

Тот отклонил подачку с негодующим благородством истинного артиста. Правда, бывшее роскошество его истаяло; брюки его стали вдвое тяжелее от заплат; со Штруфом, который пришел однажды ночевать да так и застрял на этом диванчике, он проживал уже остатки... но тогда-то хитроумный сожитель и надоумил его на занятия, которые стояли в промежуточной ступени между чистым искусством и неприкрытым, уголовного стиля арапством. — Произведения старых мастеров всегда являлись дефицит-

ным товаром, но всякому счетоводу, если только теплилась в нем потребность красоты, лестно было повесить у себя над кроватью Корреджио. Затея Осипа Бениславича в том и состояла, чтоб восполнить этот вопиющий пробел. Действовал он как будто даже из высоких побуждений — «классиков живописи в широкие массы!», но Федору Андреичу приходилось крепко зажмуриться, чтоб не видеть истинных основ нового предприятия. Дело вскоре наладилось, деньги потекли, среди дураков оказалось множество очень почтенных, и Анна Евграфовна охотно стала первой клиенткой... Может быть, впервые на земле ограбленные бывали счастливы. И уж, понятно, Сергей Андреич не догадывался ни о чем, если решался секретничать с братом о Тицианах жены, а тем более ехать в это логово самолично. Но иного выхода не предвиделось: телефона у брата не было, а переписываться со Штруфом почтой Сергей Андреич благоразумно избегал. И когда поднимался на братний чердак, тут же порешил, что вторичную прогулку сюда он повторит не ранее года.

Нужно было входить через двор и дважды перелезть через пирамиды саней: транспортная база райсовета помещалась здесь. Уже при входе, где в убийственную для носа помесь скрещивались примусная вонь и кошачьи воспоминания, чувствовалась концентрированная нищета. Это был не особый какой-нибудь дом, а просто дом с жильцами малого или вовсе никакого значения. Словом, дом этот был уже обречен, уже имелся проект нового нарядного здания на этом самом месте и твердый список будущих обитателей в нем. Сергей Андреич шел в прошлое... Значительную часть дома занимал лестничный пролет; было огромное пустое пространство, а по стенам его, взвиваясь к этажам, лепилась железная ступеньчатая галлерея. Электричество не горело. Ввинчиваясь вверх, к брату в гости, Сергей Андреич остановился передохнуть. Было тихо. Держась за шаткие перильца, он глянул вниз, в теплый жилой мрак. Видимо, прачечная помещалась в полуподвале; она также вливала свою долю запахов в этот без того переполненный каменный сосуд. Все вместе создавало впечатление, словно неизвестный солдат, рябой и огромный, как война, сушит внизу свои изопревшие ноги. Сергей Андреич как-то забыл о брате; он торопился повидать Штруфа и бежать. Какой-то человек,

перемахивая через ступеньки, смаху налетел на Сергея Андреича и, покуда, бранясь, отыскивал спички, Сергей Андреич спросил его о штрүфовом жилище; оказалось, что это сам Федор Андреич и есть.

— Тут у тебя ногу ломаешь!

— Пробки перегорели. Каждую неделю так. Ну, тут еще один этаж остался...

— Председателя домкома надо тянуть: заелся, значит. Они, голубчики...

— Так это я и есть председатель! — радостно сообщил Федор Андреич и за руку, как добычу, тянул наверх брата; оба дышали тяжело.

Сергей Андреич махнул рукой на потерянный вечер.

— Итак, мы расстались с тобой... Когда это было?.. на чем мы остановились?

— Пойдем, пойдем... у меня свечи есть, — торопил младший.

И верно, свечей отыскалась у него целая пачка. И едва три из них загорелись, сразу стало видно, что панические настроения старшего Скутаревского были преждевременны. Вместо ожидаемого вертепа налицо была обычная художническая мансарда, — в широчайшем и низеньком окне мерцало смутное поле московских огней. Много холстов, один к одному, стояло у стеклянной этой стены; один холст стоял еще на мольберте, — драный кусок простыни не прикрывал его целиком, и левый невообразимо зеленый краешек отточенно блестел из-под ее края. На рояле, по черному лаку деки, рядом с палитрой и пузырьком сикатива, поблескивала тонкая селедочная чешуя; самой селедки уже не было.

— Вот давно все собирался просить тебя, — по ассоциации вспомнил Сергей Андреич, глядя на разбрызганную чешую; перламутровым воспоминанием дальней юности отливала она в колеблющемся пламени свечи. — Напиши, если сможешь... напиши мне стол, наш длинный стол, накрытый с одного конца, помнишь? И вокруг мы, все шестеро — Егор, Антоша, Поля, Никифор, покойники, потом ты и я. И на углу отец... но только ты помнишь его руку?

— Я напишу, я напишу, — заторопился навстречу его желанию Федор.

— ...руку, всю в коричневых обжогах, жесткую руку его. И на столе селедка. Ее съели, осталась голова. Она

почти лилова, потому что сумерки; и у нее круглый рот, будто в пении. Ты не забыл, как, бывало, она похрустывала на зубах? Жалко, запаха краской не передашь. Я оплачу тебе холст и краски.

— Конечно, конечно... я передам и запах. Но ты садись, садись! — и придвинул порожнюю табуретку. — Тут сквозняки, ты не снимай шапки-то, не снимай. Спасибо, что пришел меня послушать. Хотя теперь я уже спокойнее: кажется, я изобрел выход...

Он еще долго стоял перед шкафом, шаря по полкам, заваленным бумагой; потом с озабоченным видом он выставил на стол бутылку красного вина и хлеб; ничего больше не было в доме. Сергей Андреич из деликатности отвел глаза. «Эк, словно в Эммаусе! Ну, вот, начинается!» — подумал он с непостижимым нытьем в челюстях.

— Собственно, я пришел узнать насчет... — начал было он. — Видишь ли, у меня...

— Я все, все расскажу, я не утаю ни крупинки, — перебил Федор. — Итак, ты щедро даришь мне свой вечер. Ведь мы с тобой не говорили столько лет, но ты пришел, доверился, а совсем, совсем меня не знаешь. Ты спросишь, что я такое нынче? Но ведь чтоб понять — что есть человек, надо спросить — чем он был. А именно прошлого-то я и стыжусь. Ты молчишь, не задаешь вопросов — спасибо. Оно у меня бесплодно, как пустыня, и каждый вчерашний день в ней лежит, как падаль... до сегодня, до этого чердака преследует меня этот заразный смрад. Я кричу туда, назад, но даже эха нет: мертвое не откликается!.. Дай, я налью тебе вина, и выпьем за детство, милую сообщую нашу страну, из которой исходят все дороги. И еще, отдельно, за будущее, куда они ведут...

Он отхлебнул жидкой, терпкой черноты из стакана, и тотчас же с обезьяньей уверткой передразнила его тройная на стене тень; она как бы замахивалась на неподвижную тень брата. Стало очень печально и совсем удаленно от жизни. Тем суровее покачивались и коптили высокие огни этих трех свечей. Украдкой Сергей Андреич разглядывал брата; желтое, почти натровое пламя огня делало его лицо безжизненней и во всяком случае старше: как-то не верилось, что он способен был произнести сейчас большие слова. Слишком явен был его тупик... и, вдруг, обо-

странным беспокойством рук он напомнил ему мать, но когда та уже не поднималась с постели. Впрочем, только последний ее месяц и помнил с особой четкостью Сергей Андреич; лицо ее он уже забыл. Ее знобило; отец накидал ей в ноги пушистых соболей, лисиц и белок, — она умирала в чужом роскошестве, и какое смертное отчаяние блестело в ее глазах, когда обращались на шестерых оборванных и нищих детенышей! Они не резвились, они догадывались; они щурко и затаенно глядели то на тоскующие, ищущие бескостные руки матери, то на быстрые руки отца, колдующие руки мастера. Сутуловатый, молчаливый отец метил мелом и машинально сшивал свои шкурки: он ждал. И тогда мать начинала говорить — вот так же горячо, бестолково и сбивчиво, потому что за время болезни мысли ее слежались даже до иероглифической плотности. Но было в Федоре и еще нечто, что, по ребячеству, проглядел в матери Сергей.

— ...не знаю, с чего начать. Я ведь не философ, и я не растрогать попусту тебя хочу... ты поправь, если я заврюсь. Знаешь, художники думают лохмато! Все на других хочется свалить вину, в прятки с собой играю... и ненависть к прошлому у меня сочеталась с растерянностью перед будущим. Чорт, а ведь в том и гениальность, чтобы осознание насущных нужд эпохи связать с предвидением будущего. Значит, наши октавы не совпадают, постой!.. В чем же дело? Я осудил, я же знаю, как несчастно, как нечестно жили люди. Брат, всю жизнь мне хотелось написать одну книгу — о прошлом. Ее надо напечатать на алюминии: бумага станет прогорать от слов. Она начиналась бы с истории одного чудака, который призывал человечество к братству и с этими словами, крича их, пошел на площадь, но его поймали, избили в полицейском участке и выдавили глаз... именно глаз, правый! И он умолк, как Абельяр. Но и опять я отстал, как со своим *Канцлером*. Они обогнали меня! Так повествуется в библии: но правда извергалась и поглотила ложь. По предъявленному счету уплачено сполна. Но сам-то я до сих пор остался неоплаченным и в стороне от общего потока. Но чушь, конечно, я не Абельяр. Ты понимаешь, понимаешь меня?

— Н-не совсем, — точно втягиваемый в водоворот, признался Сергей Андреич. — Ты проще, проще. Ты вообрази, что я монтер, пришел звонки проводить!

— Ну, монтеру я не стал бы этого говорить, и потом это же совсем просто, — усомнился тот в его искренности.

— Нет, нет, — ухватился другой. — Ты не хитри, ты нараспашку иди, не застегивайся. Ты дайся ветерку! — А втайне подумал, что это относится и к нему самому.

— Ладно, тогда я иначе. Слушай, братан милый. Мир этот громаден, и я полагал, что без благоговения или наглости в нем ничего не поймешь. В том и суматоха моя, что я потерял одно и не приобрел другого. А про волю к преодолению и преобразованию его я забыл. Не знаю: может быть, я слишком поддался на успех, а всякий истинный художник жаден. Я брался за все, я писал сенаторов, архиереев, великосветских шлюх... и всякую иную пыль и моль с гнилого николаевского горностаея. Я писал картины, на которые следует глядеть только после сытного обеда с ликерами. Я боялся заставить думать других, потому что это обязывало думать и меня самого. Ну, понятно теперь? Мне платили, меня хвалили, меня приглашали на приемы... чорт, даже пробовали оженить на одном печальном останке великокняжеской любви. Нужно было сочинить абстракцию, чтобы жить, — вот я и старался. Я искал краску и форму, чтобы наготу свою одеть. Э, да и мало ли теперь еще, голых, ходит по земле! Словом, мне нечем оправдаться, брат...

— ...и еще надо узнать, чем он стал, — на давешнюю его мысль отозвался Сергей Андреич. — Ты покажь мне его, нынешнего. Вот, например, что у тебя тут?

Он сдернул простыню с мольберта и, взяв подсвечник, долго, чуть исподлобья, глядел в условное четырехугольное пространство перед собой. «Во, точно из самолетной кабинки смотришь!» — была первая мысль Скутаревского. За лугами, в тонкую прочерненую полоску леса садилось солнце. Оно уже скрылось, но все еще длилось воспаление неба; сумерки были — точно осыпался огненный цветок: и на всем — на листве ближнего дерева и на одинокой кровле за ним, на облачках и даже в самом воздухе еще тлели пламенные его лепестки. Федор молчал, он ничего не мог прибавить к этому, уже сказанному.

— Что это? — спросил брат, ткнув свечкой в направлении холста.

— Это?.. закат. — И смутился.

— Нет, я не о том. Краска какая?

— Это кадмий.

— Хм, не узнаю кадмия, — грубовато отрезал Сергей Андреич. — С чем ты его мешал?

— Может быть со старостью моей? — тихо спросил Федор.

— Нет, но почему ты боишься ощущения в целостном его виде и замазываешь сажей, чтоб не узнали? Ты сказал однажды, и мне тогда это показалось напыщенным, что кровь в революции смыла со слов и понятий их истрескавшуюся пошлую лакировку. Ты сказал тогда, что к образам вернулась их первичная суровая чистота. Вот и покажи!

Стеарин стекал ему на пальцы, он не замечал, Федор ответил не сразу.

— Прости... я, конечно, преклоняюсь, у тебя великое право зрителя. Но ведь это было бы грубо.

— Ага! — подхватил Сергей. — А где ты видел такое количество пустующей земли? Это не картина, а обвинительное заключение. Пошли к прокурору, указав район, и председатель этих мест вылетит к чорту из партии!.. Молчишь, значит это ложь!

— Ты хочешь, чтобы я изобразил комбайн на этом поле? — настороженно спросил Федор и костяшками пальцев постукивал в стол. — Но тогда я обману тебя же, мой зритель. Моя картина состарится прежде, чем высохнут ее краски. Тогда ты будешь глядеть на свой вчерашний день и вопить об отставании искусства. Я даю тебе золотую монету, эталон, человеческое ощущение, а ты хочешь иметь купон от облигации внутреннего займа!.. прости, я не умею иначе.

— Значит, ты полагаешь, что там, за перевалом, не родится новое искусство? — Сергей Андреич и сам понимал, что употребляет во зло безропотное уважение брата. В конце концов то, что составляло миллион терзаний для одного, было только предметом отдыха для другого, который требовал вдобавок, чтоб отдых этот убаюкивал как удобное кресло.

— Так продолжать, значит? — спросил Федор, накидывая простыню на мольберт.

— Да, да, изложи в популярной форме, изложи, — дернулся Сергей, сковыривая с ногтей застылые блески стеарина.

Неуловимый сквознячок бродил по чердачку; самое наличие такого широкого окна производило термические перемещения воздуха. И хотя все было мирно — о, как сражались и безумствовали тени на стене!

— ...меня познакомили с Гонельбергом. Ты наверно слышал про его банкирскую контору. Это был скромный с виду, сутулый даже, но вполне железный человек. Представь себе майского жука, но только в пиджаке искристого умбрового цвета. Видимо, и железа его коснулась любовная ржавчина. Женщина, прямо сказать, стояла своей цены, я видел ее: ошеломляла ее хрупкость... С такими, много позже, могуче и небрежно играли в Питере загулявшие матросы с восставших кораблей. Что-то французское было в ней, я даже помню одну ее фразу — «...но птицы убитые поют никогда». Гонельберг с ума сходил, ржавчинка-то, она бегущая. Он выстроил ей роскошный особняк в уединенном месте, — сумасбродная по замыслу вещь, которую даже и взорвать нельзя, потому что это была уйма очень скверно организованного, но тщательного человеческого труда. Словом, подрядчик сколотил себе каменную громадину из материалов, которые успел скрасть; Гонельберг видел и смеялся, его как бы щекотала людская подлость. Расписать и оформить ванную комнату пригласили меня. Что ж, я пришел и заломил, потому что банкиры — сукины дети... Слушай брат, именно теперь, после всего этого ужасно хочется жить. Хочется и... как-то совестно. Признайся, тебе тоже совестно меня?

— Нет, почему же... живи, не возражаю, — второпях отпихнулся тот и усмехнулся, — ведь вот, и самокритика как будто, а ловко выходит у тебя, точно хвастаешься!

— Гонельберг сказал — «вы цены себе не знаете!» — и удвоил сумму. Я осатанел, мне захотелось перекрыть его хамскую щедрость. Я заперся и два месяца не впускал никого. Я обложил комнату розовым мрамором. Я сделал весенний сад, — эскизы у меня валялись для одной задуманной работы. Ветви, тяжелые от лепесткового серебра, набухшие цветами ветви обнимали это место шатром; бежали ручьи, и радужные птицы, которых не было и у Ноя, которых забыл сотворить Ягве, пели в высоте... ты понял мой умысел? Но, когда этот Адам увидел, он испугался, и даже пиджак на нем повело. «Что вы наделали! — шепнул он. — Уберите, уберите это... мадам любит только

осень!» Я обозлился и выругал его, я крикнул ему: «Это стоит денег, господин Гонельберг!» Он ответил мне, что не собирается торговаться. Итак, они железными когтями содрали со стен мою весну, а мрамор выковыривали ломami. Помнишь, Медичис однажды приказал гению извять группу из снега, но там...

— Погоди ты, не отвлекайся, Федор, — жестко прервал Сергей и вино, которое собирался пить, поставил обратно на стол, точно дохлую муху увидел в нем. — И ты, вдохновясь, переделал на осень?

— Нет, слово даю, нет! — закричал Федор, искательно хватая руку брата. — Я ушел, клятвенное слово даю, — и дрожал весь. — Тогда я и сделал *Забастовку*. А потом жизнь пошла наперегонки с самой собой; в единицу времени событий протекало больше, чем может уловить медлительный глаз художника. Усложнялось самое вещество искусства. Мы же не зеркала, к которым можно подойти и подкрутить усы сообразно вкусу и разумению, а тоже фабрики, брат. Самые насыщенные происшествия только сырые для нас, даже не полуфабрикат. Но я очень хотел понять, и я искал... я искал наощупь. Я меньше тебя, и у меня нет общей дисциплины. Ты имеешь метод, ты ведешь большую науку, — я делал это кустарно. Одно время я служил в музее; я охранял камни, которые ненавидел; ежедневно я смотрел эти знаменитые холсты в бесценных рамах, которые презирал, не понимая. Я все искал: в какой пропорции эпоха примешивалась в их краски. Я изучал разлитую по холсту желчь Кея, падение складок в таких будничных шелках Терборха, могучую пасмурь Рейсдаля, кровавые, ростбифом писанные натюрморты Снайдерса, шекспировские мяса Иордана, я искал в полотнах...

— Не знаком, не знаком... — строго бормотал Сергей Андреич и все хотелось крикнуть ему: не играй, не играй, не прячься... разве перестала течь в твоих жилах мужицкая кровь?

— ...я смотрел часами на Питерса, который звучит из рамы, как колокол, — наконец закончил перечисление Федор, вытирая испарину с желтых залысин лба. — Потом, оглушенный, я бросился к книгам... ведь и раньше, случилось, валились древние боги, когда наотмашь ударяло их гневной человеческой волной. Я дошел до того, что находил сходство с веком Феофила, разрушающего библиотеку

Серапиона, с эпохой Абу-Бекра и Омара, на десятки тысяч верст опустошающих окрестности Мекки, Алариха, чорт нас всех возьми, которому ночная измена открыла Саларийские ворота... Но верь, брат, я их не открывал! Позволь, я путаюсь, но ведь не законов же ищем мы, а лишь своеобразие в их процессах и чередованиях. Тогда я бросился туда же, но другим путем. Я шарил по сухим, точно на меди вырезанным трактам Пачиоли, Леона Альберти Давинчи и других, этих Эвклидов старой живописи. Там было много о функции центрального луча в зрительной пирамиде, о движении сочленений, о светотени драпировок, даже рецепты, как делать драгоценные кисти из усов котят, но там ничего не было о движениях восставших к социализму масс, о взаимоотношениях формы и содержания, о роли искусства в общественной жизни, о пятилетке... Книги умерли... вот они, эти жирные трупы! — и гневно тыкал кулаком в толстую книгу, одетую в потрескавшуюся шагрень. — Конечно, я не там искал; истина всегда впереди, всегда за пределом взгляда... и надо безостановочно идти, чтоб надеяться догнать ее, постоянно убегающую. Я растерялся совсем, — а, может, выход в том, чтоб стать участником жизни и половину поступающего сырья перерабатывать самому в суровом переднике чернорабочего? Но с чего начать, в стенгазете рисовать Чемберлена? — Он сделал передышку и скрипуче прошелся по комнате. — Я осудил, но этого мало; сейчас могут жить только люди, способные служить как провод, без износу! суровые времена, брат милый. В эту острую мою минуту пойми меня правильно, брат. Бывает и другое, бывает, когда художник перерастает свое могущество и вчерашних красок ему нехватает. Все мне понятно теперь, от шелеста газетного листа — через сотни лирических обвалов — до грома народных демонстраций. И тогда, глядя в одряхлевшие холсты, которые ежегодно почтительно кроют лаками, чтоб не осыпались, я чувствую себя мальчишкой, фанфароником и неудачником. Бывает и так: виноград жуешь, а точно веник жуешь — ощущение. Может быть, в стали при последней закалке выгорел весь углерод, и воспоминанья — вот пузырчатый, негодный шлак их. Тогда и вкус познания, и зоркость взгляда — все ни к чему. Должно быть, я стал глупее: тенденция, схема, цель, содержание... я запутался; слушай, быть может, я сгнию, но то, что вырастет на мне,

будет велико. Порою мне казалось, что я умру от этой растерянности...

— Пустяки, ты погибнешь от разрыва сердца, — все больше веселел Сергей Андрейч, по мере того как тот бился и кидался в него обломками самого себя.

— Почему ты думаешь так? — угрюмо возрился тот.

— У тебя сложение такое, — засмеялся Сергей.

Федор Андрейч посмотрел на просвет бутылку, — она была пуста.

— Вот, ты издеваешься, и ты прав. Брат, я пришел в последнюю ничтожность: надо было жить. Конечно, я апеллировал бы к народу, если бы они знали меня. Я зарабатывал хлеб мой как умел, но я не умел льстить, как Рафаэль, и лгать, как Веласкец: я бездарнее. Я писал брандмайоров, спасающих горящий газолин, — на меньшем не мирился заказчик; мне приносили подозрительный локон волос и просили сделать образ супруга, попавшего под трамвай; я работал с фотографии, со слов, с заочного письма и, наконец, просто так, по наитию. Я утешался тем, что это будет висеть в нахальной раме, засиженное мухами, а история не любопытна к побежденным! Меня кормил мещанин своим кислым, с клочьями нечесаных волос, хлебом. Тогда я взбунтовался против него! Тебе было весело и раньше, теперь ты станешь хохотать. Я пустил в ход накопленные знания и, знаешь ли, так вниз по плоскости скатывается шар, следуя законам ускорения. Подводя итоги, мы сообща с этим жуликом стали выделять классиков. Мы скупали старые паркетированные доски и трудились. Я научился делать любого *старика* быстро и в любой манере; из десятка картин одного мастера я компановал одну, новую, и, чорт, сам Остроухов бледнел при виде моих работ. Они превосходили подлинники и в сыром виде, а подписи, копоть времени, старинку, трещинки, все эти кракелюрки искусно производил мой компаньон. Иногда мы записывали эти произведения варварской мазней, а потом ножом и скипидаром открывали на глазах у бледнеющего мещанина, и он за доступную цену видел чудо, смел прикоснуться к нему, тащить домой и вешать над комодом с клопами. О, война — так война! Сюда приходили жадные люди, крадучись и как бы в одышке от волнения; им хотелось за грош купить солнце, и, дьяволы, они уносили его, завернутое в газетный лист. Мы только рекомен-

довали им в течение пяти лет не показывать никому по сложным политическим причинам: о, штруфовой фантазии хватило бы на десяток современных писателей! Мещанин платил, он голову пожертвует за тайну, потому что душе его еще более, чем желудку, нужна прочная, питательная жвачка... Одно время мы также изготавливали греков; кустарь сдавал нам свои горшки по трешнице, а мы слегка гравировали их под дряхлость, я расписывал богами и героями, а Штруф ставил их в сложные химические компрессы и держал в зависимости от пористости и возраста. Вот, ты хмуришься, а ты сможешь объяснить мне, почему это *нехорошо*? Разве слепому не будет и в ненастную ночь светить луна, если ему об этом сообщит любимая девушка? Мы делали людское счастье, чорт возьми, и брали ровно столько, чтобы иметь нищенский хлеб — делать его и завтра. Один мой Буше висит в частной галлерее за границей; владелец прислал мне ящик красок в прошлом году и копию музейного сертификата о подлинности моей подделки; в другой раз я продал в миниатюре *Творение Адама* из Сикстинской капеллы, и дурак вывихнул ногу на лестнице, торопясь из страха, что я раскаюсь и побегу отнимать... — Он смущенно поглядел на брата, потрясенного столь откровенной философией и все еще несмешающегося. — Сергей, прости меня... того Рембрандта, что у Анны Еврафовны в комнате, я делал вот на этом мольберте.

— Неплохо, неплохо... — неопределенно удивился Скутаревский и при всей своей отдаленности от искусства понимал, что так оно и должно быть, когда любимое ремесло скомпрометировано в самой своей основе. — Ну, а Франциск... этот носатый хлюст с собакой?

— Тоже я делал. Мне Осип и позировал. Я не люблю твоей жены, Сергей.

— ...и долго? — невпопад спросил Сергей Андреич.

— Этот долго, этот две с половиной недели. Матерьялы долго подбирал.

Вечер явно затягивался, а незадавшаяся, свернувшаяся на водевиль исповедь все еще не подходила к концу. Следовало еще ждать пространный абзац про Жистарева, но Федор уже устал; он дышал тяжело, — так выходит воздух из проколотого мяча. Все-таки удобнее было бы списаться со Штруфом по почте, и теперь Сергей Андреич мысленно костерил себя за неуместную подозрительность.

Стало ясно, что Штруфа не дожидаться, что покаяние грешника незаметно вырождается в бахвальство загнанного человека, что пора уходить. Да тут еще толчками стал зажигаться свет: где-то ввинчивал пробку монтер. Эффект исповеди разом пропал, свечи горели тускло, и черные волокна копоты струились с набухших фитилей. Сергей Андреич откровенно зевнул. За дверью раздался громоздкий шорох, точно слон шел на цыпочках. Покраснев, Федор Андреич привстал навстречу. Саженный мужчина в бобре спросил секретным голосом про какой-то *портретик*. «Готово, готово...» — засуетился хозяин, бросаясь в угол. Сергей Андреич отошел к окну. Позади шелестела газета и сопел посетитель; нужна была повышенная любовь к искусству, чтоб, при такой комплекции, вползать на штруфов чердак. Скутаревский ждал минуты, когда тот уйдет, — чтобы уйти самому. Уши его рдели; нечаянно он становился как бы сообщником достаточно скверного дела.

Рама, вделанная в обширный проем окна, обмокала; пухлая плесенца ползла с нее на самую стену; известка становилась дряблой и синеватой на цвет. Трескалась, гнила эта древняя человеческая пещера, и пока еще страшно было выйти из нее художнику под голое суровое небо... Сергей Андреич легонько оперся рукою в выступ стены, и кусок известки, точно положенный со стороны, остался у него в ладони; в изломе, если поднести к глазам, вполне различимо было его грубое, крупчатое строение. Может быть когда-то это дышало, двигалось и росло в гибких, еще студенистых телах горбатых рыб, зубатых птиц и трусливых волосатых человекоподобных. Природа непостоянна в капризах, она все шарит чего-то совершеннее и скаречно экономит на веществе. Может быть со временем и собственный Скутаревского позвоночник, державший так надменно его сухую спину, войдет составной частью, смешанный с глиной в монументальный, еще не родившийся, еще неизвестного назначения предмет. Но и это не выпадало из стройной логической цепи. Старый человек уходит из жизни, его молекулы образуют новое социальное и биологическое вещество, и самая его форма становится чуточку пародийной в сравнении с будущей, более совершенной. Пускай!.. и в эту минуту не было в нем сопротивления закону: вся его порода ляжет плотным

геологическим слоем на берегах будущих величественных рек, детство которых он удостоился видеть. «А рисунок?» — шелестело позади него из бобрового воротника. «Вы торгуетесь, точно покупаете подержанные брюки, гражданин!» — издевательски холодно шептал Федор Андреич... Потом, когда дверь захлопнулась за любителем искусства, Сергей Андреич обернулся.

— Они знают твою фамилию, эти... покупатели? — спросил он враждебно.

— Нет, только Штруфа! — догадался тот, вспыхнув.

— Кстати, Штруф скоро вернется?

— ...Штруф? Но его нету. Я выгнал его. Он питался мною. А зачем тебе Штруф?

ГЛАВА 17

Запутанная эта тропка приводила, таким образом, к довольно сомнительной авантюре, и Скutareвскому в голову не приходило, что все это можно было устроить гораздо проще. Несомненно, наркома́т помог бы в поисках жилья ученому, работой которого крайне дорожило общественное мнение страны, но Скutareвский туда стеснялся обращаться с личной просьбой. Это была даже не ложная чопорная деликатность, не опасение поставить себя в бытовую зависимость от начальства, а прежде всего стариковский стыд за тот образ жизни, которым просуществовал столько лет. И уже во всяком случае разговор этот подтвердил бы в полной мере те сногшибательные слухи, которые ползли по городу. Началось с пианиссимо: будто Сергей Андреич в связи с семейной и идеологической перестройкой бросает академическую работу и идет — по одной версии — директором строительства будущего электромаши́нного комбината, по другой же, якобы уполномоченным по хлебозаготовкам на Северный Кавказ. Этим хотели сказать, что от Скutareвского можно было ждать чего угодно в этот период. К этим явно дурацким выдумкам присоединились другие, круто посыпанные более пахучим перцем.

Никто не знал, откуда они, ибо Петр Евграфович никому не передавал своей беседы со Скutareвским, и уже, разумеется, не его была вина в том, что пара старых его

приятелей оказались пошлыми болтунами. Фривольный шопоток, пущенный во благовремении, приобрел вскорости сверхъестественную резвость. Поговаривали, что Сергей Андреич подобрал себе дочку одного ликвидированного нэпача просто на бульваре, куда выкинула ее классовая судьба, и сразу же закупил ей платьев, контрабандных чулок, уральских брошек и еще чего-то, почти преступного при строгих советских нравах. И, наконец, такую шапочку приобрел слушок, будто любовная добычка Скутаревского не достигла еще совершеннолетия... Погуляв по городу, сплетня постучалась в институт под видом плоского разговорца, которым крайне приятно было перепихнуться где-нибудь в буфете или в уборной. Научному авторитету директора высокочастотного института стала сопутствовать слава отъявленного сердцееда и даже любителя молодятинки. Кажется, это ходячие мертвяки, потому что вонять с успехом можно и стоя, старались просто свалить Скутаревского домашними средствами, ибо — вставши на труп — все на полголовы выше станешь.

Потом наступила благословенная тишина, и в ней, точно вдруг в барабаны ударили, объявилось, будто кто-то и где-то не подал Скутаревскому руки. Сергею Андреичу разом припомнили все его ужасные революционные суждения, которые, будучи до детскости смешными в глазах истинного большевика, способны были, однако, распугать многих из его среды. Социальная прослойка извергала, словом, Скутаревского как инородное тело; он оставался совсем одинок, щепка на высокой прибойной волне, а травля не уменьшалась. Черимов видел все эти мелочи и молчал, выжидая какой-то особенной минуты. Но дело заключилось все же редкостным для научной среды скандалом. Как-то в начале февраля, в один очень роскошный полдень, Черимов присутствовал при беседе нескольких молодых сотрудников института; ели бутерброды в буфете, разговаривая о разном, и тут Иван Петрович рассказал между прочим о своих наблюдениях над Скутаревским. Лукаво поигрывая омонимами — жена и Женья, причем открыто именовал последнюю любовницей, он преподнес один драматический узелок: того, что при возрасте Скутаревского хватало для жены, нехватит, разумеется, для Жени. Это могло оказаться и правдой

хотя бы потому, что слово *Женя* звучало во стократ нежнее.

Все даже перестали жевать от неловкости; один Черимов, сидевший на подоконнике, продолжал улыбаться. Потом он протянул руку... и сперва все поняли его движение так, будто он хочет вынуть бутерброд изо рта Ивана Петровича; именно улыбка черимовская ввела всех в заблуждение. Только по сочности звука поняли, что произошло нечто более существенное. Получилось понятное замешательство, причем Иван Петрович казался более перепуганным, чем оскорбленным выходкой Черимова. Всем были известны их частые встречи, начало несомненной дружбы, чего Иван Петрович, к слову, никогда не опровергал; должно быть, дружба эта была очень своеобразна, раз она столь эффектно начиналась с мордобоя. Мгновенно сопоставив свои беседы с этим колючим коммунистом, Геродов вспомнил, что при встречах всегда особенно много говорил он сам, а Черимов только слушал да улыбочато поигрывал в молчанку. Пожалуй, не было ничего удивительного в том, что ученик вступился за учителя, но зато не было спасительной уверенности в том, что *только* это было причиной скандала. Молчание угнетало, надо было сказать что-нибудь.

— Я старше вас, Николай Семенович, — произнес Геродов, берясь за очки и оглядывая их: стекла чудом остались целы. — Вам стыдно за эту неуместную... и вовсе непозволительную шутку.

— У меня такое предчувствие, — тихо ответил Черимов, улыбаясь одними глазами, — что в ближайшем времени я еще раз дам вам по морде.

Тут прозвучал звонок, и представление кончилось.

Происшествие означало или скандальный уход обиженного, или немедленную отставку обиженного, но Иван Петрович медлил. Представлялось ему неразумным в такое ответственное время из ложного самолюбия покидать институт; Иван Петрович никогда не слыл мелочным человеком. Притом, если бы Черимов употребил полную меру негодования, а следовательно и удара, то, при его физической силе, от Ивана Петровича остались бы... как это называется? да, *ошметки*. Следовательно, сила гнева была неполная. Черимов просто рассердился, что может случиться со всяким. В душе он расценивал, конечно, иначе

смысл буфетного события; Черимов был до точки организованный человек, и немисливо было, чтобы он порешился на избиеение научного сотрудника, так сказать, без согласования с инстанциями. По врожденной догадливости этот молодой человек мог пронюхать что-нибудь глубже, и тогда общение Черимова повторить удовольствие принимало совсем иные очертания. В суматохе он упускал из виду прямолинейную, вспльчивую черимовскую молодость. Внешне-то, пожалуй, внюхиваться было не во что. Правда, за неделю перед тем произошел один невинный, не лишенный лишь забавности эпизод в институте, и нужна была маниакальная подозрительность, чтобы вывести из него какие-либо заключения.

Вечером однажды, вернувшись в институт на ночную работу, Сергей Андреич не нашел на своем столе одной тетрадки. Он искал везде, спрашивал у заместителей, лазал за шкафы, волоча за собой электрический шнур, громил уборщиц, но утеряннго так и не нашел. Тетрадка была клеенчатая, вроде тех, с какими мучаются школьники, из плохо проклеенной, линованной бумаги, сплошь исчерченная формулами и небрежными набросками от руки; в этой цифровой неразберихе заключалась суть многолетней работы Скутаревского. Уже собирались сделать заявление в соответственное место, но через сутки тетрадка оказалась на прежнем месте, в запертном ящике, который Сергей Андреич старательно обыскал накануне. В это утро Иван Петрович проявлял повышенную суетливость, даже услужливость и, неожиданно, на целых сорок рублей взял билетов осоавиахимовской лотереи.

— Вы верите в нечистую силу? — спросил у Черимова Сергей Андреич; кроме Ивана Петровича в кабинете присутствовал и Ханшин.

Привыкнув к витиеватым вступлениям учителя, тот молчал. И тотчас же Иван Петрович разъяснил превесело, что речь идет о чертях, колдунах, суккубах, оборотнях и прочей рогатой чепухе.

— Нет, я имею в виду нечистые силы, вполне доступные для советского суда, — в раздражение поправил Скутаревский и тут же рассказал про историю пропажи и появления тетрадки. — Я не знаю, может быть следует поставить солдата с заряженным ружьем, но охраните меня, товарищи, от непрошенного любопытства.

Несколько мгновений длилось довольно пакостное замешательство; потом Ханшин сообщил, становясь добротного красного оттенка:

— Я должен извиниться, Сергей Андреич. Делая доклад третьего дня, я нечаянно захватил ее вместе с бумагами, но наутро принес к вам на стол. Вас не было, я положил ее сбоку, рядом с двумя колбами... отчетливо помню их. Потом я ушел.

— Очень смешная история, товарищ Ханшин, — схибно заметил Скутаревский и смотрел, ища сочувствия, в сторону Геродова. — Детектив какой-то... пропавшая грамота. Где же она могла быть сутки после этого?

— Фотографирование ее требует времени, а в ней много страниц, — резко сказал Иван Петрович, решаясь на разрыв с Ханшиным, который продолжал стоять с опущенными глазами.

В тетрадке, даже если бы попалась специалисту, все равно было бы ничего не понять; на том дело и кончилось, но вечером, totчас после пощечины, прямо со службы, Иван Петрович зверем бросился к Петрыгину. Свиданья их происходили нередко, — оба они, как уже выяснилось, входили в ревизионную комиссию того кооперативного дома, который совместно с другими заканчивали стройкой в текущем году. У Петрыгина сидели еще две каких-то сконфуженных личности, назвавшиеся нечленораздельно: Иван Петрович впервые встречал Арсения Скутаревского. Хозяин поил их чаем с медом; тут же на столике стояло блюдо антоновских яблок, — одни они — щекастые, бородавчатые, восхищали взгляд в этой скорбной комнате. Свет многосвечной настольной лампы падал на них, и желтые светящиеся блики играли на усталых лицах гостей. Иван Петрович с нервным беспокойством смотрел, как фундаментально обсасывал ложку один из них, облепляя ее губами, причем губ становилось сразу как бы впятеро; этот второй был шаровиден, и даже брюки на нем были какие-то круглые. В силу некоторых секретных обстоятельств Иван Петрович предпочел бы, чтобы замысленный разговор произошел без свидетелей. Заговорили сначала о нехватке кирпича, кровельного железа, цемента — обыкновенный обывательский конверсасьон, как определил Петрыгин, с жалобами на советскую власть, которая все

строительные материалы отдала целиком индустриальному строительству.

Прямо над ними висел в тяжелой раме острый, суховатый, стрижен под бобрика, человек с повелительными водянистыми глазами и в сюртуке. Весь свет сосредоточился на яблоках, и оттого глаза человека смотрели как бы из темной, беспредметной пустоты; изредка и вперемежку все взглядывали на него, и у всех осталось ощущение, что именно портрет этот, сделанный с предельной выразительностью, председательствует на случайном петрыгинском совещании.

— Кто это? — озабоченно спросил Иван Петрович, пристраиваясь, однако, к медку.

Петр Евграфович поднял глаза —:

— Да, ведь вы не встречались... Это тесть мой, Сергей Саввич, член городской думы и... — Он умолк, давая время гостям припомнить все остальные чины этого незаурядного человека.

— Он и теперь в Москве? — басовито осведомился шаровидный.

— Нет, он в Медоне. — Петр Евграфович не пояснил, что это такое: они отлично знали это парижское предместье и без него. — Великий человек, а вот закатился тускло, как башмак за койку.

— Великий человек это тот, шестерни которого совпадают с шестернями века, — учтиво подхватил Иван Петрович, мысленно отказываясь от задуманной беседы. — И уж если...

— Ловко сделано, — еще обмолвился шаровидный, прищелкнув пальцами. — Такой не задумается целый класс растворить в кислоте и спустить в реку.

Петрыгин улыбался, поглаживая колено —:

— Работы Федора Скутаревского, вот и подпись... — с удовольствием, как в улику, он ткнул пальцем в место на уголке, где четкое, без инициалов, стояло знаменитое имя. И странно, всем стало легче при упоминании этого имени. Петр Евграфович помолчал и вдруг сказал твердо и солидно: — Послушайте, родной Иван Петрович, нам необходимо привлечь и Ханшина.

— Я не понимаю вас, — вздрогнул Геродов и, как ужаленный, взглянул на Арсения, но тот неопределенно опустил глаза.

Игра в недомолвку не удавалась.

— Ничего, — успокоил его Петрыгин. — Жена уехала в Кисловодск. Никто не слышит.

— Но ведь Ханшин не пойдет без Скutareвского, — сквозь сжатые губы процедил Иван Петрович.

— Ну, Скutareвского я, по-родственному, беру на себя, — засмеялся Петрыгин.

И вот тогда-то произошло это.

— ...а я не желаю, не желаю! — неожиданно, фистулой визгнул Геродов и сам испугался своего визга; нервы его не выдерживали. — Я не хочу больше... эта дурацкая история с тетрадкой походит на провокацию. Я...

Его истерическое вступленье прервали часы; сперва в них захрипело, будто спрятанный в ящике кто-то расправлял молодцеватые металлические усы; потом торжественный и самодовольный начался бой. Глухое звуковое колыханье до последней щели наполняло комнату. Казалось, вот-вот и с подлой циферблатной рожи тучными блестками закаплет жир. Одна волна не утихала, пока не начиналась другая, которая также не торопилась, а всего ударов последовало одиннадцать. Оборванный на полуслове, Иван Петрович с ненавистью глядел то на продолговатый этот собашник времени, то на хозяина, иронически созерцавшего гостеву ярость.

— Гнусные часы, — вымолвил он потом.

— Философические часы, — веско поправил Петрыгин.

— Но я слушаю вас.

— Словом... я уйду и порываю все. — И прежние высокие ноты заметались в голосе Ивана Петровича. — Они уже бьют меня по щекам, и стоит, стоит. Я стал седой пакостник, я стал чехол с вас, просиженный старый чехол, из которого пыль выбивают кулаками. Лицо... вы видите, какое у меня стало лицо?.. у меня уже неделю ночует Штруф, и я не смею его выгнать. У меня черные руки стали, руки черные стали у меня... Я боюсь, я слушаю все шаги на лестнице, я сплю не раздеваясь. И у меня жена! — кричал он, глядя в померклые глаза Арсения.

Кстати, жену он помянул лишь от слепой ревности к тому непременно усажу, который, в случае провала, заменит его в супружеской кровати. Он кричал, и двое остальных также начинали волноваться, у них дрожали пальцы

и выплескивался из стаканов чай. Кучка намелко изжеванных окурков в пепельнице и вокруг нее свидетельствовала о крупном разговоре, который состоялся перед появлением Ивана Петровича. Клубок вредных сомнений, завершившийся сегодня истерикой Геродова, грозил перекинуться и на остальное петрыгинское войско, — и вот хозяин гневно закусил свой круглый ус. Лицо его стало жестко, один глаз уменьшился против другого, а пальцы сами собою складывались в кукиш.

— А Гастона Галифе хотите?.. — тихо спросил он, и эхо отдаленного пушечного выстрела раскатилось в его словах.

Только магией, только колдовством можно было бы в такой срок добиться подобных превращений. Иван Петрович укрощенно склонил голову. Арсений закрыл глаза, а толстый похудел неузнаваемо: слово вонзилось ему в самые внутренности. И опять, в тишине, Петрыгин жевал свой ус. Половину двенадцатого звонили насмешливо часы. Человек в золоченой раме выглядел суше и пронзительней; возможно, он выжидал, следует ли и ему произнести веское свое слово. Петрыгин по очереди оглядел свою паству; изредка балуя их необходимыми подачками от высокого лица, которого не называл ни разу, он время от времени избивал их страхом. Взрывчатая смесь трусости и злости, на которой он вел свою машину, могла когда-нибудь погубить его самого, и он никогда не перегревал ненадежного человеческого котла; но никогда раньше и не случилось такого смятенья.

— Интеллигенты, боборыкинское слово... — твердо сказал Петрыгин. — Вам следует вылить по стакану брома за шиворот. Но мне жаль вашего костюма, Иван Петрович. Кстати, это тот заграничный, который я привез вам? Прекрасно сидит. С такою внешностью вам бы только девушек обольщать, а вы хныкаете.

— Мы не хныкаем, но в конце концов эти лять драг заказывали не мы! — выпалил шаровидный и весь разрядился, и губы его повисли, как уши.

— Вы обыватели по преимуществу. Ну, что же, *polenti basulus*! Мне нужна сернокислотная промышленность, а вы партизанили на районной торфянке. Я даю задание по коксобензолу, а вы мне о производстве суспензориев. Где чертежи аргуновских разведок? —

и он загремел, не боясь, что услышит сосед: вся конспирация его и состояла в том, что он действовал в открытую.

Трудно было предположить подобный темперамент в этом оплывающем сахарном человеке; не было здесь ни патристической елейности, ни истерических призывов к активному героизму; презрение фонтанировало из него обжигающим словесным фейерверком. Вероятно, в приливе прозорливости, видел он, как из пыльного этого кабинета фразы его выпрыгивают в учебники истории для будущих классических гимназий; скучную политическую отвлеченность он умел вскинуть до степени латинского разящего образа. То была ясновидческая феерия или припадок старческого слабоумия, демагогическое шаманство или откровение в грозе и буре... И вот, как в сказке, еле поспевая за судьбой и словом, плывут иностранные вымпела к ленинградским воротам революции, топчут грузные сапоги интервенции, шумят казацкие плавни на Дону и колышется мужицкая Сибирь. Турбины вчерашней пятилетки десятками выходят из строя, лопаются маховики, сбиваются с такта моторы. Эта грозная забастовка машин переходит в стихийное помешательство промышленности. Интоксикация государственного организма повышается работой отраслевых центров, кровообращение между городом и деревней нарушается, и вот уже сорок тысяч человек стоят в очереди за куском сохлой кукурузной булки. Все проявляют необычайную самостоятельность, все произносят слова, семян которых вчера еще вовсе не подозревали в себе, в каждом шевелится по Маг-Магону. Имена, обстоятельства истории растертые в геологический ил, встают, смыкаются разрозненные пылинки, и вот под гром военных оркестров стройный тридцатилетний генерал в треуголке и ботфортах шествует от моря до моря... — Должно быть, он видел и карту перед собой: иначе попросту нетрезвы были бы его вполне осмысленные жесты. Его импровизация, однако, вряд ли доступна была для серьезного обсуждения.

— ...мы отдадим здесь, вобьем клин сюда и сдвинем там. Мы окажем помощь восстаниям, купим лимитрофы, само небесное воинство и, наконец, луну... Луну, чорт возьми, и устроим на ней мировую бордель для православных воинов!..

Иван Петрович сидел смирно, как в парикмахерской, с замираньем сердца вслушиваясь в рокотанье хозяина; кажется, у него начиналась мигрень. В присутствии Петрыгина он просто растеривал себя, а заодно с волей и свое ученое достоинство. Шаровидный вообще чувствовал себя так, точно Петр Евграфович просунул ему руку в живот и чугуною пятернею тискает ему желудок. Арсений щурил глаза: пожалуй, так не разговаривал даже Минин, да и дядю он заставлял впервые с этими словами на устах. Разгром был полный, оставалось праздновать победу.

— Вы... вы безумный старик! — шептал Иван Петрович, трусливо вытирая петрыгинские брызги с подбородка, и голова его тряслась; было ему так, точно на прыгающем лафете везли его куда-то в грохочущую, полную жерновов глубину. — Но кто тот, под кого вы наряжены?.. но ваша программа?

— Ненависть! — в ураганной тишине шепнул тот, и в эту минуту было в нем даже от самого Питта.

В полном безмолвии Петр Евграфович поднялся и пошел к этажерке; и Катон не уставал так после словесных погромов Карфагена. В узком зеркале, поставленном в простенок, Иван Петрович сгорбясь наблюдал, как небрежно, почти вслепую хозяин заводил аристон. Потом он нажал сбоку рычажок и тонкие зубцы внутри ящика заиграли отрывистыми, мелодичными звуками. Сразу стало так, точно в прошлое отворилась замурованная дверь. Старая спокойная цивилизация с наивными идеями и неповоротливой техникой вступала в это затхлое пространство, замкнутое, как магический круг. В памяти странные происходили сдвиги и расщепленья, а вещи выглядели новее. С плавным шопотом проходили нарядные пары котильона, шуршали жесткие юбки с турнюрами и платья со смешными буфами на рукавах; застыло гнулись мужчины в складчатых брюках и усах, требовавших дорогих фиксатуаров и ежедневного присмотра; механически хохотали перетянутые жеманницы с проволочными валиками в волосах. Петр Евграфович молодел под это треньканье; сахару в моче не оставалось и в помине; юностный, как озимь, пушок покрывал одряблевшие щеки, но глаза оставались грустны и неподвижны. Он сидел скромнее всех, глядя в расшитый экран у камина; вещь была итальянской работы, она изображала охоту на кабанов, — ликуя и

смеясь, охотники били зверя, изогнутого, как пружина. Вдруг он обернулся и сказал с лаской, которая как удар бича:

— Кушайте яблоки, господа.

Но Ивана Петровича среди гостей уже не было, и, странно, никто не заметил его панического исчезновения. По лестнице он спускался бегом. Адвокатская кожа, возвращавшаяся с прогулки, сочувственно посторонилась: гражданин мог спускаться от дантиста, который, кроме исключительной физической силы, славился зверством врачебных приемов. С тем же лицом, распугивая прохожих, Иван Петрович вернулся домой. Действие петрыгинских чар проходило, но еще порядком потрясывало от одного воспоминанья. На всем — от крыш до островерхих уличных фонарей мерещились ему надетые разных размеров треуголки; то именно и страшно было, что лица под ними были угловаты, бездушны и множественны. Теперь для успокоения требовалось ему только услышать голос Скутаревского; этот не умел фальшивить, и самый тон его разъяснил бы несчастное положение, в котором очутился Иван Петрович. Не раздеваясь, он кинулся к телефону; номер был занят. Сердце до мозолей колотилось в ребра. Весь осунувшись, Иван Петрович почти в истерике колотил по рычагу, звонил еще и еще, все с прежней удачей. Потом, обессилив, он сутуло сидел под аппаратом, выжидая, пока отцепится от Скутаревского не в меру разговорчивый абонент. Позже, когда его соединили, он услышал голос Черимова, и уже одно это служило недобрый предзнаменованием.

— Сергеандрейча! — в одно слово прошептал Иван Петрович, губами прижимаясь к эбониту, и когда того не оказалось дома, прибавил отрезвев и с зевком, наспех придуманным для пущей убедительности: — Это вы, Николай Семенович? Добрый вечер... Передайте ему, что я достал, наконец, скерцо для четырех фаготов. И если только вечер у него свободен...

— Ладно! — неопределенно коротко сказал Черимов и прекратил разговор, а Иван Петрович долго еще прислушивался к шелесту в трубке.

Все рушилось. Там, в секретном свидании заочно решалась его участь; Скутаревский прятался от человека, с которым годы работал вместе. Не оставалось сомнений,

Черимов нарочно поехал к нему на квартиру, потому что не в институте же, не близ чужих ушей было вести подобный разговор. Где-то на особой страничке черимовского блокнота, куда, наверно, в порядке самокритики заносит свои партийные грехи, жирным карандашом записано было: *разъяснить* Ивана Петровича. Ну да, так возникают пухлые казенные дела, так пишутся доносные бумаги. И вдруг представлялось иное: поверх домов, пронзительно скрипя в рессорах, качаясь на незримых глазу ухабах, мчит за ним черная продолговатая карета... И тут со страху окончательно мутилось у Ивана Петровича в глазах. Но эти неопишуемые пантомимы трусости кончались у него обычно протрезвлением. Улик явных не было, значит ничего существенного не грозило; самое большое — могли выгнать со службы с волчьим билетом; и уж на крайний случай оставалась спасительная возможность донести самому ровно за сутки до того, как все откроется. История с пропавшей грамотой, как ее не интегрируй, ничем не указывала на его причастность. Опять же умный вор спустился бы этажом ниже, где помещались лаборатории особого назначения. Следовало держаться до царственности неприступно, — вот как следовало держаться! Случись на месте Геродова сам Петрыгин, он не постеснялся бы и в суд подать, ибо вовсе не такими методами предписывалось вести работу среди ученых.

А дело обстояло иначе. Расписываясь накануне в ведомости по зарплате, Черимов увидел там и расписку Геродова. Буква со славянским витиеватым росчерком показалась ему знакомой. Пошарив в жилетном кармане, он выудил оттуда истлевшую окончательно бумажку; на уцелевшем клочке та же самая буква встречалась четыре раза подряд. То была анонимная записка о Бебеле, которую он получил в памятный день своего появления в институте. И когда, в довершение всему, аноним оказался вором да еще сплетником, тут-то у него и зазудело в руке.

ГЛАВА 18

А дело обстояло проще. Ученик решился вмешаться, наконец, в судьбу учителя, который теперь, очумев от любовных эмоций, мог наделать непоправимых глупостей.

Правда, он несколько запоздал, и, задержись Иван Петрович у Петрыгина на полчаса, произошла бы смешнейшая, просто водевильная встреча, которая в один мах рассеяла бы все геродовские страхи. Черимов приехал без предупреждения; в случае неудачи представлялась возможность взглянуть краем глаза на самую виновницу многих предстоящих бед. Задолго до встречи он испытывал враждебность к ней, потому что, хоть и питал отвращение к сплетне, на основании ее он только и мог составить мнение свое о таинственной девице. Он увидел ее сразу, едва вошел. Низко склонившись под лампой, она правила гранки.

— Меня зовут Черимов, — грубовато сказал гость. — Сергея Андреича нет дома? Ничего, я подожду.

— Хорошо, тогда сидите.

— А ваше разрешение требуется? — с некоторой уловкой пошутил он, намекая на нечто им обоим известное.

Она удивилась —:

— Ну, тогда постойте... или ходите, все равно.

— Я предпочту посидеть, товарищ... товарищ?..

— Зовите меня просто Женя, если понадобится. — Она рассеянно взмахнула на него ресницами, и было так — точно птицы взлетели на плечи ему синей стайкой. «Эге, — подумал Черимов, — начинается».

Девушка молчала. Работа была спешная; девушка торопилась. Ничем не соответствовала она тому образу со-вратительницы, который он составил себе по романам до-революционного образца. У тех бросалась в глаза явная, так сказать, товарная ценность; их неукротимый запах приманивал с достаточного расстояния; походкой балованной кошки, с перехватом в талии, как гитара, — они проходили среди усатых и вполне семейных мужчин, и эти усачи, владельцы фабрик, железных дорог и поместий, бросались в самоубийства, разоренья и дуэли... Девушка, сидевшая за столом, напоминала переряженного мальчишку; совсем недевическая угловатость сквозила в каждом ее движении. Стриженные кудряшки падали до самой бумаги, закрывая лицо. Черимов видел лишь острое не вполне сформировавшееся плечо да еще старательные ученические пальцы с обгрызанными ноготками. Разница эта дразнила его и сбивала с толку. Необходимо было со всей строгостью разоблачить эту неискусную маску инфан-

тельности, хотя бы это влекло ссору с самим Скutareвским.

— Вы правите гранки. Значит, вы знаете предмет?

— Я сверяю по рукописи.

— Отлично, а вот зарплату вы получаете или просто так? — Подняв голову, она морщила переносье и не понимала; он смутился: — Я объясню. Я предан Сергею Андреичу и еще не решил своего отношения к вашему появлению в его жизни.

— А зачем вам это нужно?

— Чем торговал ваш отец? — вопросом на вопрос, со следовательской прямоотой настиг он ее.

Действительно, она оказалась сбитой с толку —

— Все-таки не понимаю, — и рассеянно перебирала гранки. — Правда, он продал шкаф, когда отобрали лишнюю комнату... — Вдруг она рассмеялась, точно насмешливый бубенчик забился в ее горле, а Черимов обратил внимание и на то, какая настороженная тишина отвечала ей из-за двери, с половины Анны Евграфовны. — Вы чудак. Сергей Андреич рассказывал, как вы пришли к нему в первый раз. Не обижайтесь, он любит чудачков. — Пожалуй, она уловила что-то из черимовского намека. — Кстати, вы всех секретарей допрашиваете таким образом?

Но Черимов на ответную уловку не поддался: тот же Скutareвский отказался наотрез, когда Черимов предлагал ему в секретари испытанную работницу, активного участника девятьсот пятого года и гражданской войны. И во многом этот молодой человек был прав, хотя и не представлял еще полностью, в какие смешные формы уложилась здесь жизнь... Фронтная линия не стиралась; подобно снайперу у амбразуры, жена караулила каждое движение на неприятельской территории. И там, где понять не хватало ума, приходила на помощь изобретательная мелочная ревность. Вещественной плотности мрака навис над этой нескладной семьей: десятки самых сокрушительных догадок предоставлялось жене накроить из него... В ее новом унижительном безделье они служили ей злыми, линючими игрушками. Сперва она кинулась к сыну, но детям всегда тягостна и непонятна огромная, страшная, как библейский ковчег, кровать родителей. Арсений сторонился интимных подозрений матери; вдобавок период этого совпал для него со временем острого душевного

разлада. И тогда, чтобы подсчитать перед войной свои резервы, Анна Евграфовна пошла продавать часть своей коллекции. Она понесла большое, золоченой глины, мавританское блюдо; такие появились, когда христианская реставрация запретила испанским маврам употребление столового золота... В магазине, полном хрупкой и вычурной выдумки, стыдясь и волнуясь, она долго развешивала проношенную простыню, в которую была завернута вещь. Приказчик ждал, отвернув глаза в сторону: он понимал философические причины суетливого и совершенно независимого от людской воли блуждания вещей.

— Сколько гражданка хочет за эту неудобную разрисованную тарелку? — спросил он потом с учтивым равнодушием, которое цепенило.

Второпях она назвала ему сумму, преувеличенную в сравнении с той, которую задумала. Впрочем, она не смущалась: вещь была редка, а с *них* всегда надо запрашивать. Приказчик сдержал улыбку; инструкция предписывала максимальную вежливость с клиентами. Он взял небольшой, килограммов на семь, бюст Наполеона, что валялся на полу, вытер ему лицо тряпочкой, как бы помогая высморкаться, поставил его не спеша на место и ответил только после всей этой, донельзя обидной процедуры. Он посоветовал хранить на дому это блюдо, которое, будучи парижской подделкой, являлось, повидимому, бесценной семейной реликвией. «Вы положите на него фруктов, когда придут гости, — это будет самое недорогое и изысканное украшение стола».

Никакое иное оскорбление не могло сравниться в силе с этим снисходительным сочувствием. Но первая неудача не сразила ее; слишком трудно было примириться с мыслью, что целая жизнь, со всеми заботами, усилиями и беготней, шла насмарку. В другой раз уже в сумке, с какими ходят на базар за овощами, она понесла две итальянских майолики; они были тяжелы, до магазина их тащила на себе домашняя работница. Труды ее пропали зря; приказчик подтвердил, что вещи — почти шедевры прекрасной флорентийской, но уже позднейшей, к сожалению, подделки. И опять, было бы гораздо менее обидно, если бы он попросту отвесил ей в глаза: «Идите вон, вы только безвкусная дура, мадам». Но Анна Евграфовна не сдавалась; деньги у нее еще имелись, и продавать она шла

вовсе не потому, что не хотела жить на средства сына; с тем большей настойчивостью, хоть и таяли в ней запасы мужества, она продолжала идти на приступ. Серебряная допетровская панагия, с сертификатом о принадлежности одному из Филаретов, оказалась просто медальоном работы современного вологодского мастера по черни; птичья фамилия этого искусника, названная приказчиком, вызвала в воображении некоего тощего человека с острым носиком и вороватым хохолком бородки. В бесценном Броуре, которым Анна Евграфовна собиралась потрясти музейных экспертов, отыскиали манеру одного ловкого жулика, который заканчивал свою художественную деятельность на рыбных промыслах в Соловках. Потом удары посыпались чаще: персидская, царственная по краскам миниатюра объявилась раскрашенной фотографией, врезанной в слоновую кость, а редчайшая, династии Мингов, китайская курильница — просто берлинской пепельницей. Как в старинной легенде, золотые червонцы на глазах у нее превращались в гадкие вонючие черепки. Линяла бронза, кость оказывалась деревом, фарфор — лакированной терракотой. Мадам уходила вся в пятнах, близоруко натыкаясь на посетителей, иногда грозясь жаловаться, а ее уже признали в магазинах и ждали, как развлечения, ибо поистине явление становилось необыкновенным. Здесь, у прилавков, она познакомилась со знаменитыми историями поддельных румынских медалей, чешского эпоса, петровского стекла и, наконец, с сатанинским именем Леона Хохмана, одесского ювелира и автора прославленной скифской тиары. Тот же самый приказчик, сжался однажды, предложил ей продать целиком ее смешную коллекцию фальшивок в какой-нибудь провинциальный музей... Катастрофу следовало сравнивать только с горным обвалом. Минутами Анне Евграфовне как будто даже становилось стыдно: Скутаревский работал, как лошадь, втаскивая на подъем неуклюжую семейную колымагу, и целая куча прохвостов сидела в ней, кормясь от неумных щедрот его жены. В действительности каждая вещь окутана была для нее драгоценными эмоциями, но магазин платил деньги не за эмоции, а за вещь. Как в бреду, проходили перед ней образы — Курцмана, неутомимого антикварного ловкача всех времен, потом седоватого черноглазого Кара-Бушуева, поставщика великих князей и

всесветного авантюриста, который, слегка попользовавшись, передал покупательницу Штруфу; теперь самое имя Осипа Бениславича вызывало в ней острые приступы мигрени.

Была удивительна быстрота, с какой Анна Евграфовна приспособилась к новой роли; по утрам она привычно уходила из дому в обход знакомых магазинов, зная все наперед. Она блуждала до изнурения, нагруженная вещами, — по ночам бессонно билось сердце, и усиленные дозы веронала не доставляли успокоения. Единственный сладостный смысл этого самоуязвления представлялся лишь в том, что, унижаясь так, она унижала *жену* Скутаревского. Еще быстрее сбегала с нее чопорная, хваленая ее интеллигентность. По ночам, открыв свою дверь и не поднимаясь с кровати, она с бьющимся до боли сердцем ловила ночные шорохи. Старые двери, которые не смазывались никогда, эти сторожевые деревянные псы семейного очага, неминуемо взревели бы, если бы Сергей Андреич по-воровски, крадучись, отправился в ночную охоту на *любовь*. Только это разъяснило бы ей, вдова она уже или нет, но ничто, ни писк, ни стон не нарушали ровного дыхания ночи.

Утомаясь от книг, которыми даже в чрезмерном изобилии снабжал ее Скутаревский, Женя спала без всяких сновидений. Она готовилась в вуз, и, конечно, нигде она не успела бы сделать столько за такой короткий срок; усиленные занятия служили единственным оправданьем ее нового положения. Вовсе неспроста Сергей Андреич рассказывал ей о Черимове, которого когда-то приютил; впрочем, о поспешном бегстве его он умалчивал. Ему хотелось создать видимость обычности для редкостного случая, каким являлось вселение Жени в семью. Впрочем, живя в одной квартире, они зачастую не виделись нелегальными; встречи их происходили главным образом вне дома и сперва в общественной столовой, куда сходились в конце дня, — время установилось само собою, без сговора. Здесь не было опасений встретиться со знакомыми; обеспеченные люди его круга даже и случайно не заглядывали сюда. Вряд ли это походило на свиданья. Пыльная пальма, на войлочной шее которой висело откровенное приглашение платить вперед, свешивала лакированные космы, — украшение несвоевременной этой дружбы!

Пределы их бесед суживала сама обстановка; за этой торопливой едой, составленной из серого хлеба и сурового стандартного бульона, недоступны были никакие лирические отступления.

Иногда, впрочем, им давали компот.

— Это бунтует старичье, — сказала она по поводу одного шумного судебного процесса, которым долго питались газеты.

— Я тоже старик, — усмехался Скутаревский, вылавливая сладковатые тряпочки урюка. — Вы еще молоды, ноги ваши, как молодые березки, а руки... — должно быть возраст давал ему право говорить это... — а руки, как трубы, по которым струится нежность.

Смутясь, она грызла скользкую, сладкую косточку.

— Но о вас столько говорят, вас хвалит даже молодежь. «Требоовательная, нещедрая, молодежь» — прозвучало в ее голосе.

— Ну... стариков она хвалит, лишь когда они безопасны для нее.

Конечно, он ждал возражений, горячих и убедительных, а Женья не знала, что именно так принято в его кругу. И, так уж установилось, беседу вела она, а Скутаревский, стремясь изучить ее, не перебивал и полусловом. Привыкнув к нему, она не стеснялась высказываться даже там, где требовались знания, которых она не имела. Зато всегда как бы свежим ветром дуло от нее; он сдувал слежавшуюся пыль с привычных понятий предшествующего поколения, и тогда в особенности становились видны раковинки времени на них, трещинки и червоточинки. Всякий раз это звучало для него по-иному. Она говорила: «Сперва младенец, потом старик; это глупо организовано, следовало наоборот. Я представляю себе так и почти вижу: вход в пещеру, и все следы близ нее ведут в одну лишь сторону. Дело начинается с костей, с россыпи, с оскорбительного и смертного тлена. Что-то происходит, я не знаю — что, но вот старики выходят из своего подземелья по одиночке или же настолько крепко слежавшимися парами, что на каждом еще видны отпечатки его супруга». — А он понял так, что это она про Анну Евграфовну. — «В их морщинах еще лежит время, земля и ночь. Они начинают с великого знания, свершений и мудрости. Они расстаются именно потому, что любят, и они молодеют тысячекратно в награду

за все не сделанное. И так, ликуя и смеясь, они постепенно растворяются в голубое ничто...» Он молчал, ему была любопытна эта, не додуманная до конца, юностная фантазия. Она говорила: «Послушайте, Сергей Андреич, я прочла наконец. Илиада — это очень скучно. Никто не прочел ее два раза, но почему об этом стыдно говорить?» А он переводил ее слишком искреннее признание на тяжеловесный язык собственных научных рефлексивов: «Что ж, вот умерла ньютонова механика... угасли, отвердели достижения Лейбница и Декарта. Омрачает все, и самый мрамор источится зеленым ветром новых весен. Храните жизнь!» И хотя старая культура на его глазах становилась знаменем реакции, он взирал подозрительно и недоверчиво на ростки новой, для которой уже освобождалось место.

Изредка совсем другие ветерки выбегали из этого ясного, ни морщинкой не прочерченного лба —:

— А вы знаете, Сергей Андреич, когда происходил первый съезд партии?

— Видите ли, у меня крайне странная голова: цифры держатся, а вот даты... — И уже самому было неловко, что осведомлен хуже нее о таком почтенном дне.

— Я буду взамен ваших, давать вам уроки политграмоты... хотите?

Он обеспокоенно двигался:

— Прекрасно... даже непременно. И мы начнем... вот, у меня послезавтра совещание, а потом сессия академии... вот, после сессии и начнем, идет? Да вы просто из поколения французских просветителей. Впрочем, теперь это в моде: я на театре видал — пионерка просвещает профессора-зубра. И все плачут, публика, директор и даже кассир внизу трешницами утирает слезы...

С удивлением, которое перерастало в отчаянье, он замечал: привязанность к этому бездомному существу крепла в чувство, которое он всегда поносил и от которого отрекся бы публично, на площади; у него нашлось бы уменье средствами самой математики доказать всю неосновательность этих обвинений: впервые она солгала бы, эта правдивая и в общем неприятная старуха. С тщательностью, которая определяла его старорежимную совесть, он все глубже прятал в себя, как в землю, это робкое зерно. Тем больше становилось шансов, что когда-нибудь оно вы-

растет в дерево, тяжелое от песен, птиц и ветвей: была еще плодородна скутаревская земля. Существо его раздвоилось; никто, пожалуй, не поносил себя так за эту запоздалую страсть. «Это маразм!» — кричала одна половина, и свистящим эхом отзывалась другая: — «...или эпос». Как человек с нечистой совестью, он краснел и злился в присутствии Жени, а она робела от его внезапной грубости, которую, по неопытности, не понимала. Но, кажется, он молодел; кажется, он начинал верить в обратимость процесса, о котором шутливо фантазировала Женя. Гора его, этот окостенелый горб, сглаживалась; он забывал о ней; его душевное существо выпрямлялось. И прежде всего это сказывалось на работе: сборка аппарата подвигалась к концу, и в ближайшем месяце следовало ждать первой пробы.

Помянутых обстоятельств не знал, конечно, Черимов; и уж во всяком случае об этой девушке знал гораздо меньше Скутаревского, который хоть пространные гипотезы составлял в изобилии на ее счет. Пребывание Жени в семье Скутаревского стоило размышлений, а Черимов, как и следовало ожидать, относился порицательно ко всяким психологическим выкладкам. Он помолчал, потом взялся за трубку телефона.

— Мне надо позвонить в одно место, — нерешительно объявил он.

— Моего разрешения не требуется! — засмеялась Женя.

Он нахмурился:

— Но вы работаете.

— Да... но вы же не уверены, получаю я за это или *просто так*...

Он отвернулся.

Номер телефона принадлежал одному его приятелю, капитану хоккейной команды. Неоднократные победы связывали их подобием особой дружбы, с тою существенной разницей от обычной, что время не действовало на нее никак. Там, в команде, Черимова и знали не иным, кроме как в белой фуфайке и с клюшкой, сдержанного и за счет сдержанности своей меткого парня, всегда послушного команде капитана. Наверно, к телефону подошел он сам; Черимов называл его по фамилии, прибавляя официальную частицу *товарищ*. Разговор затянулся; повидимому,

в этот именно час Иван Петрович безуспешно добивался Скutareвского. Черимов объяснял, почему за последние месяцы он ни разу не появился на тренировочные занятия; таким образом, он не мог участвовать в розыгрыше междугородного первенства и, в крайнем случае, просил исключить его из команды совсем. Кажется, это была размолвка, — Женя спросила:

— Почему вы бросаете команду? — Взгляд ее выразил одновременно и упрек и сочувствие.

— Занят, мне нехватает суток. Кроме того, у меня образовалась своя, очень спешная работа. — То было первое упоминание о его собственной работе.

Она помолчала.

— Я тоже. Я хотела взяться за лыжи, — вдруг доверилась она. — Но мне нельзя.

— Есть и женские команды, -- настороженно прищуриваясь, возразил Черимов.

— У меня... Мы грузили ящики на субботнике, и я сломала ключицу. Потрогайте... вот тут узелок. — И вся потянулась к нему, а он не сдвинулся с места, подозревая и в этом неловкий женский маневр. «Читал, читал, бросьте эти штучки», — хотелось сказать ему. Поверить в сломанную ключицу — означало поверить и в субботник, то есть отказаться сразу от удобной, всеразъясняющей гипотезы. И, может быть, он протянул бы руку, недоверчивую руку Фомы, если бы в эту минуту не вернулся Скutareвский... Он вступил высокий, чуть сутулясь от своего роста, шумный, и тотчас же ясность и как бы примирение наступили среди молодых; он казался веселым и довольным, — часовой разговор с Петрыгиным никак не повлиял на его самочувствие. На улице вдобавок у него произошла встреча, которую сам он почитал почти чудесной. — По сыпучему переулочному снегу тащился воз, полный ящиков; прошлогодние яблоки перевозили со склада. Среди переулочной тишины, в оттепельном воздухе текла волнительная река пенистого яблочного аромата. И, так уже совпало, было возу и Скutareвскому по пути. Так, от самого петрыгинского подъезда он шел следом, как бы посреди обширных яблоневых садов, тронутых слегка рыжеватинкой осени; негибкие уже ветви тяжело клонились под тяжестью спелых и нежных плодов. А грузчик шел рядом, счастливый хранитель московских гесперид, и

напевал о своем. И все это — и минута, и ощущение! — было неповторимо и недоступно никому другому, как слово, сказанное наедине с собой.

Самое свидание с Петром Евграфовичем, происшедшее почти тотчас же по уходе Ивана Петровича и остальных петрыгинских гостей, не могло, конечно, содержать сколько-нибудь увеселительных моментов. Утром Петрыгин, со слов Штруфа, сообщил Скутаревскому в институт, что квартира с окнами в сад все еще стояла непроданной, хотя покупатели якобы осаждали комиссионера день и ночь; ванну за это время успели починить, а Осип Бениславич, хоть и почитал себя обиженным, соглашался уступить тысячу с общей суммы; он благородно шел навстречу семейным затруднениям знаменитого ученого. «Свой уголок ты уберешь цветами и пригласишь дружишек на коньяк» — намекнул Петр Евграфович: уже хромя всеми своими колесами, он продолжал поддерживать установившуюся репутацию всемирного выпивохи. Мимоходом, возвращаясь из института, Сергей Андреич зашел за деньгами, которые уже давно ждали его; поднимаясь по лестнице, он мысленно порешил даже не снимать пальто. Но Петр Евграфович, дабы не уронить славы своего гостеприимства, втащил его в комнаты и потчевал чаем — предыдущие посетители не успели вылизать всего меду.

— Я, батенька, не чумной, ты меня не бойся, — говорил он, вводя его под руку туда, поближе к тестеву портрету. — У меня тело чистое, даже без пупырышков. И потом, насколько я понимаю в анатомии, я не девушка... так что я обольщать тебя не стану.

— Э... а лису-то как я промазал! — наобум сказал Скутаревский, ибо не знал, с чего начать.

— Ничего, пускай пока ходит: через недельку я до нее доберусь! — успокоил Петр Евграфович.

Все было тихо и чисто; окурки вымели и даже комнату успели проветрить; ничто не напоминало о бурном шквале бунта, страха и угроз, который прокатился здесь совсем недавно. Все улеглось, и на лакированную крышку аристана успел осесть тонкий налет пыли. Скутаревский взволнованный прошелся по комнате, и, едва увидел эту старомодную музыкальную игрушку, разом, расщепленное на тысячу мелких ручейков, вспыхнуло в нем воспоминанье. Уж он-то помнил, какая зловредная жеманная

усмешка записана там, на острых зубцах и пронзительных иголках машины. Он помнил с юношеской ясностью все и, кроме прочего, помнил — студент с продранными локтями сидит в коляске с молодой женой, стыдясь нищего, позорного своего торжества. «Итак, Серж, запомни этот час на всю жизнь: мы отъезжаем в будущее» — сказала жена по-французски, с носовым пономарским прононсом, от которого еще блевотнее стало во стократ. Стояла и без того засушливая пора, да еще этот живучий пес, которого он насилу извел впоследствии, почти обжигал колени. Сергей Андреич сидел молча, втянув голову в плечи и весь потный от чрезвычайных переживаний. В его положении лучше всего было не оглядываться... О, как он ненавидел теперь это будущее, которое стало прошлым... и тем сильнее все существо его сжалось к предстоящему прыжку. Ему хотелось верить, что гора его остается позади, а с нею — напрасное, долголетнее клубление силы и хмельная, погиблая пена славы, поглотившая его молодость.

...и еще, если всматривался зорче, видел он теперь тонкую опушку березового леса и насыпь, убегающую в тусклую, робкую еще весень. Видел еще редкую малокровную травку на нефтяной земле между шпал, видел смыкающуюся в математической неизвестности пару рельс, уже дрожавших от приближающегося поезда. И на них, лицом вниз, видел он Анну Евграфовну с черным, как бы обуглившимся лицом: она *ждала*. Образ этот, сложившийся из бытовых, книжных и всяких прочих наслесений, и был центром его интеллигентского страха; этот вполне выдуманный образ цепенил ему мысль и служил шлагбаумом на пути к будущему; он повторялся с каждым днем, обогащаясь новыми подробностями. Так, однажды он узнал эту травку между подгнивающих шпал; это был *кочеток*, — его треугольные семенные коробочки служили неотъемлемой деталью детства: возле отцовской скорняжной, между крыльцом и заборчиком, был один метр глухого пространства, густо заросший этой беззатейной живностью, — там прятались, играя в жуликов, ребятишки... Несколько позже, тотчас после петрыгинского звонка, он рассмотрел еще одну подробность: в руке Анны Евграфовны, зажатое последним рефлексивным движением, поблескивало ее пенсне, которое прежде всего должно было

разбиться в возрастающем гуле колес... Но стоило только вздохнуть глубже, во всю грудь, и дурманивший тот мираж прекращался. Он не только пугал, он и возмущал его, как жестокий, ростовщический процент к его традициям, привычкам и культуре.

Потом в выдвинутом ящике стола он увидел самые деньги. Они лежали аккуратной стопкой, перевязанные ниточками, захватанные пальцами нэпа, банковские пачки, дряблые тусклые лепестки, из которых он собирался свить свой любовный шатер.

— Это они? — спросил Сергей Андреич. — Грязные какие!

— Да: деньги. Портфеля ты не захватил с собой? Придется раскласть по карманам, и сразу станешь толстый, как я. Уж тогда тебя и пулей не прошибешь.

— Можно забирать?

— Разумеется, — деловито подтвердил Петрыгин. — Но ты хотел расписку написать... хотя, в сущности, это не обязательно.

— Нет, зачем же... давай бумагу, — сдвигая в край стола чайную посуду, перебил Скутаревский, и тотчас же Петрыгин подал ему листок глянцевиной прочной бумаги и автоматическое перо.

Вздываясь вверх, побежали крупные, быстрые строки: «Я, Сергей Скутаревский...» Он только это написал, а потом остановился:

— На какую сумму писать?

— Как условились. Тридцать минус одна, но зато, полагаю, тебе следовало взять для Анны, ну, тысячи три... на первое время. Потом я стану давать ей периодически. Всего пока тридцать две тысячи. Ты хочешь пересчитать?

— Нет, это неважно... — И писал дальше, что вот он, Скутаревский, берет тридцать две тысячи с обязательством...

Вряд ли объяснимое при дневном свете испытал он ощущение в ту минуту. Будто видимый изовсюду, сам он бежит по бескрайнему снежному полю, а за ним, спрятанный в укромном кустарничке, следит один, только один, немигающий, без блеска, черный глазок. Беспокойство овладело им и уже вовсе непонятное томление; а объяснилось это, может быть, тем, что в ручке не оставалось

чернил, перо раздражающе царапало бумагу. И, пока Петр Евграфович торопливо набирал в нее чернил, у Сергея Андреича сам собою придумался новый вопрос:

— Кстати, я так и не узнал, чьи это деньги?

— Ты берешь их лично у меня, потому что они доверены были мне.

— Но если с тобой случится... я не знаю что. Если, к примеру, тебя сцакает автобус... Я же не могу согласиться на уплату предъявителю.

— Но ведь ты и пишешь, что уплата производится не ранее полутора лет, — брюзгливо возразил Петрыгин.

— Это безразлично. Предъявитель может оказаться щелкопером, которого я и на порог к себе не допущу.

Петрыгин, действительно, сердился, как всякий, впрочем, охотник, которого перед самым выстрелом отвлекает постороннее, недостойное вниманья явление.

— Пустяки, родной. Переезжай со своей красоткой, наслаждайся и в счастье свое не подмешивай сомнений; и без того оно горькое. Мне верится, что после переезда ты даже начнешь писать сонеты... то-то посмеемся. — Но тот все еще медлил с распиской, и Петр Евграфович понял, что необходимо разъясниться полнее. — Деньги принадлежат вот ему. — И он небрежно ткнул в портрет тестя. — Поэтому тебе придется возвращать монеты только ему, а вернется он, по моим расчетам...

Портрет казался много живее, чем в тот последний раз, когда Скутаревский с женой сидел в гостях у Петрыгина. В его пожухлые было краски воротилась прежняя жизненная яркость, а в водянистые глаза — надежда, которая тогда — почти угасла. Вопреки словам Петрыгина, нет, утром не звонил ему Штруф. Осип Бениславич лично забежал к нему, как было условлено еще за неделю. Кроме многих явных и секретных специальностей, он занимался также реставрацией картин, и Петр Евграфович нанял его промыть загрязненный лак на тестевом портрете. В тот именно час, когда распластаный тесть лежал на столе и по нему ерзала смоченная в скипидарной эмульсии губка, принесли хозяину телеграмму. Она кратко сообщала, что старик умер в Медоне, — старик этот и был тесть. Повидимому, в одно и то же время, в Москве — пассивствующий Штруф, а под Парижем — плачущие родственники обмывали покойника. Была поэтому отто-

ченная и знаменательная ложь в словах Петрыгина, когда он уславливался о возвращении долга мертвецу.

И он промахнулся, утомясь, должно быть, на усмирении Ивана Петровича. Он сказал *это* зря, он стрелял слишком рано, он напрасно понадеялся на твердость своей одряхлевшей руки: красный зверь уходил. Следовало открыться много позже, уже после переезда Скутаревского на новый парадиз, когда он испил бы хоть глоток от сладостей уединенья. Теперь оставалась единственная возможность всучить эти деньги зятю — признавшись, что промышленника Жистарева уже не существует на свете. Но тогда пропадала бесплодно золотая эта дробь и весь предварительный умысел, хитроумный, как охота с флажками... Тут Сергей Андреич поднял взгляд и понял, что черный испытующий глазок, чуть расплюснутый веком, принадлежит именно Петру Евграфовичу; лицо шурина было ассиметрично, одновременно лицо пройдохи и мудреца.

— Если тебя затрудняет расписка, можно обойтись и без нее... — дрогнувшим голосом пробасил он; басил — значит все еще сердился. — Мне достаточно твоего слова...

— Нет, ты погоди, — молвил рассудительно Сергей Андреич, откладывая в сторону перо. — Кажется, я раздумал брать эти деньги... кажется.

— Как, ты отказываешься от квартиры? — вяло спросил стрелок, который стоял на номере. Он дышал тяжело, неравномерно: зверь уходил, охотник понимал это, и становилось скучно.

— Нет... но я, знаешь ли, обойдусь.

И, намелко разорвав записку, вспомнил очень своевременно, что Черимов уже давно ждет его дома. Поспешность, с которой он стал прощаться, показалась Петрыгину просто неприличной:

— Оставайся хоть чай-то пить. Не берешь денег — ну, и чорт с тобой: в другом месте достанешь. А такого меду... Эх, оба мы старики, а о ревматизмах-то еще и не поговорили!

— Нет уж... там у меня, дома, делегация еще ждет, забыл совсем.

Он лгал, не заботясь о правдоподобности: лишь бы выбраться из болота; он лгал, — он уже перешагнул, зажмурясь, через то красное и спутанное, что громоздилось

на воображаемых рельсах... Уходя, он оглянулся уже в последний раз. — Комната была квадратна и казалась нежилой. Тусклый свет еле пробивался сквозь матерчатый абажур. Именно в таких помещениях случаются кровавые и загадочные происшествия, надолго пленяющие обывательское воображение. Мертвый корректный человек внушительно смотрел вслед ему из рамы, и у Скутаревского надолго оставалось клейкое впечатление, точно спина его измазана известкой. Вот тогда-то, на его удачу, точно дождичком sprysнуло, и подвернулись сани, нагруженные яблочным ароматом.

ГЛАВА 19

Женя скоро ушла. И как только остались одни, Черимов напрямик пошел на беседу, которая вдруг по наитию пришла ему в разум. Долго и сперва беспорядочно он выюнил по околицам и начал издалека — о той же сибирской торфянке, но с тем различием, что секреты были, хоть и без его помощи, уже разгаданы. Пожалуй даже, секрет разгадался сам собой: крайние, почти штурмовые формы принимала в стране классовая борьба. Правда, много объяснялось пока или дурачеством или анекдотическим головотяпством, которое, конечно, также входило в организованный план интоксикации народного хозяйства. Черимов выразился приблизительно так:

— Я уловил, наконец, то, на что вы намекали тогда Кунаеву, Сергей Андреич. Я выверил все и нашел ту дырку, куда частично утекала наша энергия и деньги. — Слово «я» прозвучало здесь множественно. — Все расчеты и варианты в сметном и материальном планах были составлены теоретически правильно, но у меня имеется целая вереница особых фактов, которые я могу представить в любое время. А если принять во внимание, что Брюхе дал некоторые указания... — и стал закуривать, и спички у него не зажигались. «Этим вещами не шутят, товарищ!» — строго вставил Скутаревский и сам удивился, как искренно это у него вышло.

— ...дал указания на Ивана Петровича, который является частым гостем Петрыгина.

— ...и вашим! — вставил еще Скутаревский; он ничего еще не знал о происшедшем мордобое.

Возможно, Черимов и впрямь не слышал его реплик—:

— Арсений же доводится племянником инженеру Петрыгину и, больше того, по службе подчинен ему.

— А я ему довожусь отцом. А вы мне приятелем, как преждевременно толкуют некоторые. А Матвей Никеич дядькой вам... Этак вокруг земного шара объехать можно в поисках злодея, молодой человек.

— Арсения видели в театре с одним дипломатическим, так сказать, человеком.

Скутаревский вспыхнул:

— Вы... вы сами следили за ним, товарищ заместитель мой, или поручали третьему лицу?

Как бы утерав свою дерзость, Черимов угрюмо разглядывал рыжие, всегда рыжие ботинки Скутаревского. Глупо было рассчитывать на интимную близость с этим тяжеловесным чужаком. И не то чтоб обида, а просто стыдно ему стало за прежнюю искренность, которая родилась в его неизвращенном сердце. Потом, прищурясь, он перевел глаза в окно, но скулы его дрожали.

— Я ничего не покрывал, — глухо сказал Скутаревский. — Мнение свое я записал особо.

— Да, но вы зашифровали его... чтобы впоследствии иметь отговорку.

— Чушь! — завопил Скутаревский, сжимая кулаки. — Вздор... я только не делал выводов, но это мое человеческое право.

И хотя бесконечно тошны были Черимову такие собеседования, он шел на все, только чтоб добиться уверенности в чистоте самого Скутаревского.

— Давайте в упор, лицо на лицо, Сергей Андреич!.. думаете, меньшая на вас лежит ответственность, чем на мне? Потомками с вас спросится больше, потому что вы можете больше, и вы это знаете. Я говорю на том самом языке, на котором вы настаиваете. И кроме всего... — он усмехнулся почти вызывающе: — вы достаточно скомпрометированы в глазах всей этой шпаны своей работой для советской власти. А ведь всегда труднее платить по запущенному счету.

— Я не понимаю, — заворочался Скутаревский, увертываясь от пронзительной этой откровенности. — Я хочу

сказать, например, что всего полтора часа назад я сам был у Петрыгина, имейте это в виду. — Все недоставало в разговоре какой-то последней точки, и он смаху поставил ее: — Вы сознательно включили в эту темную... да, *темную* цепь Арсения?

Подтверждалась старая черимовская догадка; старая мораль, основанная на рабском, нечестном сострадании к человеку, весь комплекс старинных и ложных представлений о дружбе, родстве и общественных отношениях мешает Скутаревскому вести свою, правильную, линию в этом деле. Порою трудно приходилось старику, как четвероногому — сразу ходить на двух, и вот, вглядываясь в учителя, почти шептал ему ученик: «смелее, милый... сегодня ты еще споткнешься, но завтра это станет твоим рефлексом». Теперь все становилось ясно: «сын мой, он сын мне и даже большее, чем я сам...» — кричали сухие, скоробленные листья по осени, скутаревские слова.

— С Арсением я буду говорить особо, если он захочет. Сперва я хотел о вас. Передавали, что вы собирались опротестовать эту станцию?

— Да, но я мало смыслю в этом деле.

— А если бы вы, при равных условиях, были в партии? — резво бежал Черимов, и тот одышливо следовал за ним.

— Но я и не состою в партии.

— А почему, что вам мешает? Вот, Петрыгин, например, подал же заявление о приеме.

Скутаревский дико взглянул на Черимова; теперь он сидел, весь накренившись вперед, точно врытый в землю по пояс, он рвался из нее наружу. Чаше, чем могли предположить окружающие, он задавал себе тот же вопрос, когда пускался в некоторые мысленные странствия за пределы своего ремесла. Должно быть, в том и состоит трагедия всякого учителя — с радостью и ужасом взирать на опережающего и вот уже ведущего ученика.

— Не принимайте, не надо... гоните его! — Он спохватился и закусил губу. — Я могу отвечать только за себя. Видите ли, для вас смолodu не было другого пути; для меня же это только завершение огромных бурь, смещений и катастроф... которые, чорт возьми, может, и не произошли? И потом, разве вы думаете, что партбилет оправдывает

мое научное бесплодие? — Он сводил проблему опять-таки к личной своей драме. — Но, странно, я волнуюсь сейчас, как тогда, когда говорил с Лениным! — заключил он потерянно.

То была, конечно, правда — для него, для Скutareвского, каким он был, и штурм прекратился. Черимов умолк, чтоб позже — а теперь он знал наперечет уязвимые минуты Скutareвского — возобновить атаку. Потом он спросил тихо, потому что это нужно было не только для него, и он не надеялся получить ответ:

— Это не вопрос... но зачем вы, все-таки, ходили к Петрыгину?

...и вот тогда-то случилось — выслушав до конца, Черимов предложил учителю переехать к нему во флигель. Сергею Андреичу доставались две, вернее — полторы комнаты, потому что одна была совсем плохонькая и угловая, вполне пригодная, однако, для человека, который дни свои проводит вне дома. Сам он соглашался потесниться в соседнюю такую же; при том ограниченном количестве вещей, каким он обходился в жизни, это не составляло ему затруднений. В его конфузливом предложении, сделанном легко и с дружескою прямою, заключался блистательный выход из положения. Сергей Андреич заволновался, жал ему руки, отдал ногу влопыхах, допытывался — какой ему смысл вселять к себе этого живучего беспокойного старика и, в заключение, подарил коробку сигар, подарок одного заморского коллеги. Черимов сигар не курил и коробку взял с намерением порадовать при случае Федьку.

— Все-таки странно... разумеется, таково их положение в мире, но большевики ничего не делают без умысла. Полагалось бы отказаться, но, будучи хитрее, я принимаю: жена по ночам подходит к моей двери и нюхает: я слышу ее сопенье. Спросонья даже в пот ударяет, спросонья. Но по дряхлости своей я поеду не один, а с секретарем. — Он пытливо взглянул в лицо молодого, но тот ждал: в глазах его сиял невинный день.

— Я вам как раз две комнаты и предлагаю.

Скutareвский задумчиво посмотрел на стену:

— Между прочим, как вам известно, я играю на фаготте. И, надо сказать, я неплохо играю, но к фаготу, вообще говоря, надо привыкнуть, я бы даже сказал —

притерпеться. Помните стишонки: «хрипит удавленник фагот...»

Черимов смеялся:

— Ничего, я тоже заведу что-нибудь гремучее: мне нравится барабан, я непременно куплю его и увешаю для полноты впечатления колокольчиками, но, к сожалению, его негде поставить. Кроме того, я пою некоторые уссурийские песни, казацкие песни. И, по слухам, пою неплохо, хотя надо признать, голос у меня в большой степени самородный.

— ...самородный... — раздумчиво повторил Скutareвский. — Кстати, вы уже написали донесение на Ивана Петровича?

Черимов ошеломленно пожал плечами.

Итак, наконец, это произошло. Предупрежденная всего за час до переезда Женя куда-то исчезла. На обнаженных стенах обнаружили гвоздевые дыры и летучие космы пыли. Черимов с видимым удовольствием перетаскивал поближе к себе тяжелые книжные связки. Грузовик, взятый из института, одним колесом наступал на тротуар. Колючая тишина стояла на половине Анны Евграфовны. Извозчик, синяя личность в заерзанном халате, нес на вытянутых руках электрический прибор и приговаривал: «почтенная вещь, почтенная». Вытащил он ее вполне благополучно и грохнул о пол только на новой квартире. Араукария, едва ее подняли, сразу осыпала всю свою хвою, — двадцатилетний процесс закончился; так и оставили ее торчать сохлой вешкой на скutareвском пути. Сергей Андреич торопился: в окна глазели рожи. Черимов поехал на трамвае. Валом валил снег. Пассажир в бобровой шапке плотно сидел в санях, держа инструмент свой между колен, на манер старинного мушкетона, и сопел в поднятый воротник. Прикрепясь сзади, мальчишки разных размеров гирляндой ехали за ним на коньках. Было чудно Сергею Андреичу начинать все сызнова, со студенчества, с одиночества, с некрашеного соснового стола. Будущее было смутно и влекло к себе скорее не радостью, а тайной... Внедрение в черимовский флигелек произошло только к сумеркам, книги свалили в институтскую библиотеку, и час спустя уже квакал фагот на новоселье. Его мелодия звучала непонятно, вся в каких-то психологических бемолях, срывах, мнимостях: походило, будто, просыпаясь,

большой волосатый человек бубнит что-то с закрытым ртом. И еще: несколько раз мелодия подкрадывалась к одной и той же высокой ноте и всякий раз обрывалась, — так задают вопрос, на который не бывает ответа. Сергей Андреич не преувеличивал: только черимовские нервы способны были выдержать в один прием такое количество звуков. Чертя свое, набирая тушь на рейсфедер, он слушал за перегородкой и покачивал головой: «Новое место обживает. Вот и объясни тут Федьке эту чортову механику — в чем тут дело и какие тому суть косвенные причины». — Женя вернулась к вечеру, робкая и настороженная; у Черимова, который открыл ей дверь, нашлось такта встретить ее шуткой и не расспрашивать ни о чем.

...через неделю все вошло в норму. Новое место обусловило и новые обычаи, и, пожалуй, самым примечательным было то, что жить теперь можно было с незапертыми дверьми: красть у них стало нечего. Первому просыпавшемуся доводилось готовить чай, и Сергей Андреич, после нескольких, не вполне удачных, опытов дружбы с примусом, стал подниматься позже обычного. Пили чай, потом расходились до ночи; зачастую он оставался в лаборатории и на ночь, когда никакие посторонние разряды не мешали его экспериментам. Однажды, вернувшись невзначай, он застал у себя гостей. В каморке его, затканной слоями табачного дыма, подобно жукам в коробке, гудели люди. Горячась и грызя окурки, Федор Андреич спорил с Черимовым и Женей, которые сомкнутым строем нападали на него. В стороне, сохраняя строжайший нейтралитет, с монументальностью горы возвышался Кунаев. «Но... — на потеху своих собеседников вещал в лирическом припадке художник, — вот я прохожу по земле, как тень от облака, и истлевает тень, а почему?.. и кто мне ответит?» — «Все дело в том, какого облака вы были тенью». И уже в том одном была их правда, что Федору Скutareвскому впопыхах нечем было возразить. Приехавший со строительства на побывку, как солдат с фронта, Кунаев расширенными глазами взирал на смятенное тыловое существо, не понимал, не сердился, но и не доверялся целиком на запальчивую декларацию художника. «Вот, чорт... а почему действительно, приспичило ей истлевать? Занятно... ну вали, вали еще». Черимов, который уже

догадывался о наличии в мире Жистарева, улыбался и рассеянно, почти рефлексивно рисовал профиль Ленина на столе. Оказалось, Федор Андреич заходил много раз в отсутствие брата; оказалось, — заручившись согласием Жени и Черимова позировать ему, он задумал новый холст, *Лыжников*, который, по искреннему его убеждению, должен был послужить ключом к новому искусству. — Сергей Андреич постоял в дверях, задумчиво потирая переносье, потом отправился готовить чай.

С терпением истинного ученого он мыл посуду, которая проявляла гнусное намерение выскользнуть в раковину. Дверь стояла неприкрытой; слоистый дым табака и рваные клочки беседы достигали его и тут. С вялой и необычной для него скукой Черимов добивал Скутаревского художника, и слова его представлялись Сергею Андреичу тусклыми, как из прошлогодней газеты. Он подумал: «Сейчас изречет об ампутированной ноге, которая долго болит после того, когда ее уже и нет вовсе». И верно: тот сказал. Кто-то вошел сзади, и Сергей Андреич, обернувшись, застал взглядом Женю.

— Ну, зачем же вы... — смущенно заговорила она. — Идите к ним, я домою посуду.

Он шутил: «Ничего, я сам... обрабатывайте там этот лысый полуфабрикат. Я в этих делах бесполезен, Женя. Кстати — вас зовут!..»

Черимов повеселевшим голосом кричал в дверь: «Женя, идите скорей... послушайте, что он только говорит!»

— Я сейчас, — откликнулась Женя и притворила дверь за собой. — Давайте мне блюдце. Я моложе, давайте.

Усмехаясь, он отвел мокрые руки за спину:

— Я это слышал. Притом же вы опоздали, это блюдце последнее. Чего вы хмуритесь?.. ну, о чем вы думаете теперь?

Она подняла голову, и свежестью пахнуло ему в глаза:

— Я давно хотела говорить с вами, Сергей Андреич. О, как неправильно живете вы и... разве вы не видите, что делается вокруг? О вас много говорят, но... я не досказала тогда, — и много смеются.

— Кто же этот смешливый и насмешливый — Черимов?

— Нет, нет же! — с горячностью заступилась она. — Он славный... и он талантливый...

Он улыбнулся ее вспышке, а мысль метнулась: девчонка, девчонка, старься скорей!

— В его годы я сделал больше. — А еще подумал: «ага, ты становишься уже несправедлив». — Что же они говорят?

— ...что вы никогда не кончите своей работы, потому что это и невозможно; что вы растрчиваете народные деньги, спекулируете своим именем и из упорства обманываете Совет Народного Хозяйства.

— Я не виноват... мои электроны не подчиняются декретам правительства, они разбегаются прежде, чем я успеваю запрячь их.

Дверь отошла, стал слышен артистический, — и только брат с гримасой боли услышал в нем судорогу, вопль Федора Андреича: — «...вот, так, живем и цедим сквозь себя текучее время и засариваемся». Его перекрыл могучий и честный хохот Кунаева, который, в простоте душевной, полагал, что тот выколенивает все это нарочно.

— Вот, и вы точно так же, — скороговоркой, не помня себя, шла ему навстречу Женя. — Почему... почему вы не бросите свой *драндулет*? Иван Петрович, я слышала сама, говорил, что вы играете, как рожий в цирке...

— Позвольте, что такое *драндулет*? — нахмурился он.

— ...они говорят, что слушать вас можно только под хлороформом... нет, это еще не все! Почему вы оставили меня у себя? Ведь я не Черимов, правда?.. Я не умею ничего, мне только в билетерши с моими знаниями. И все думают, что вы...

— Ну, ну, что они думают по этому вопросу? — спросил он грубо, и щеткой привстали его усы.

Она стояла к нему вплотную, глаза в глаза; лицо покраснелось, а брови двигались, как бы рефлектируя раскидываемые слова. Его ноздри раскрылись, он с любопытством вдыхал ветерок с ее волос, который пахнул дешевой, с детства знакомой карамелью. В сущности происходило крушение; свирепую аварию терпели привычные его установки. «Сенька-то был прав!» — полоснулось в голове, и даже покраснел, хотя никогда раньше не стыдился своих

воззрений, внушенных ему его великим знанием. Перерождался в нем тот самый мир, который он воспринимал именно как безличный комплекс электромагнитных явлений; лишь протяженность и время играли направляющую роль при этом. Никогда в мысленных его тайниках не возникало тревоги, что завтра же совсем иную форму — дерева, облака или девушки! — примет это уплотнившееся пространство. Но вот карамелистый и уж вряд ли электронный только ветер подул со стороны из-за хаотических кулис материи, и беспредметный туман, в котором жил до сегодня, заколебался; рваные клочья его оторвались, поплыли, на лету принимая неожиданные вещественные очертанья. Как бы заново, но только преуменьшенное до крайней мелкости, происходило зарождение мира. Глазами прозревшего еретика он увидел блюдце, осколки его у своих ног, лоб девушки, очень простой, никем не целованный лоб, увидел смешной пушок на дрожащей от негодования губе и, в приближенном зрачке ее, — помолодевшее отражение самого себя. Он тянулся к нему: оно стояло такое легкое, несбыточное былое!

...его губы как бы склеились; неравная то была борьба, потому что трудней всего преодолевать себя. Казалось: неоспоримое какое-то право имел он на нее: вот он хотел, вот он достиг. Он шел с горы и на пути встретил последнее дерево, за которым предстоял спуск в прохладную, бесплодную и сумеречную долину; тем более стоило продлить это бесконечно малое мгновение, отдохнуть в его тени, хотя бы и сопровождалось это многократно оклеветанным ритуалом любви. Кстати, он достаточно смутно представлял себе, как все это происходит. Кажется теперь уже не играют на лютнях; теперь проще, теперь ходят в кино и, подслеповато щурясь на плоскую, всем телом мигающую красавицу, жуют пакостные, липучие леденцы; потом целуются в подворотнях, по-собачьи, наугад тычась губами в мокрые от снега воротники; потом следует обычная химия любви, пока дело не втекает в законное русло судопроизводства и алиментов. В суматохе он даже забывал разглядеть — не стоит ли перед ним только кургузая портяжная болванка, одетая теми же эмоциями обожания и любовного трепета, какими, хоть и в малой мере, он одевал когда-то и старую свою жену. — »Женя молчала, она требовательно ждала ответа. Тогда, подумав, он

тяжеловесно переступил с ноги на ногу, и осколки блюда захрустели у него под подошвой.

— Я очень мудрую, когда касаюсь этих тонких дел. — А смысл был иной, а смысл был — «ведь теперь же не ночь, а день же, Женя. А мой день и ваша ночь не совпадают».

— Но я постараюсь понять вашу мудрость! — кивнула она, принимая вызов.

— Нет, но, помните, у Фауста... «вся мудрость мира меньше одного твоего слова». Я не хочу говорить банальностей, потому что если они не испугают вас, я расстанусь с вами, Женя.

Она прислушивалась, сурово сдвинув брови.

— ...я уже старый воробей. Слушайте меня: я изучил эту материю в пределах человеческого мозга и сегодняшнего дня. Я видел электронные души тел, Женя. Мои пальцы утончались по мере того, как обострялось зрение и повышалась жадность... прекрасная человеческая жадность — знать! Держа атом в руке, я уже пытался — хотя бы любопытства, а не власти ради! — отколупнуть ноготком его электроны. Я окружил материю капканами, и вот, в крайнее мгновенье, когда я ею овладевал средствами ее же силы, она взорвалась, она ударила меня в глаза, и там, где витали в пустоте невесомые частицы, я увидел лужайку, какой-то декларационно-наивный курослеп на ней и девушку в белом платье... — Конечно, понятие девушки в этом месте следовало толковать расширительнее. — Это случилось задолго до того, как я встретил вас на шоссе. Так всегда; название приходит потом! На старости это всегда несчастье, но кто же смеет противиться попыткам своего воскрешения? Больше того, я до немоты рад, хотя и выражаю сие длинно и нечленораздельно. Видите ли, девочка, сейчас я даже моложе и глупее вас. — Ему так и не удалось подобрать слова, чтобы передать свое тогдашнее ощущение: оно походило на одно место вагнеровской увертюры к Фаусту; есть там некий исполинский всхлип, точно разрезают медного человека, чтоб сделать заново, и он кричит, потому что рвутся его медные сухожилия... Он выразил это по-своему: — Я знаю одно место в музыке, где есть радость и знание всего вперед и благословение всего, что неминуемо приходит за ними следом.

Почти испуганной теперь казалась Женя. Минуту назад она еще не знала, какую пещеру она открывает детским ключиком, каких призраков, десятилетия запертых в неволе, она выпускает наружу; и вот они дикостной толпою ударились в нее, — она зажмурилась и отступила. Ей стало холодно, в ее потемнелых зрачках отражалось лишь расплывчатое смущенье.

Он заключил иронически эти медные стенанья:

— Вот видите, а меня еще в директорах держат. Гнать таких надо железной метлой. Рекомендую прописать меня в стенной газете. Ну, пойдемте, а то я вас перепугаю вконец. Неофит Феодор уже готов, и пора его отпаивать чаем.

Из никелированного носка с ревом выбивалась паровая струя. Он взял его и торжественно понес; Женя со стопкой посуды в руках замыкала комическое это шествие. Отсутствия их никто не заметил. — Держа руку на колене Федора Андреича, Фома Кунаев врубал в него свои слова, и каждое слово надолго оставалось в памяти, как зарубка, сделанная топором.

— Чертило ты! я дам тебе клуб, через который проходят в сутки двадцать девять тысяч человек. Строители... армия, армия... я дам тебе лучшие краски нашего производства, дам тебе стены, на которых никогда не было еще написано ничего, — голые, грубого штукатурного зерна стены. Ты влезешь на леса и... и вали, действуй. Милый, да не трактора от тебя требуются, а ты своими словами дай, чем мы дышим и побеждаем чем. — Он передохнул и с конфузливym изумленьем подмигнул Черимову: — Во, Николай, здорово я говорить стал... прямо без запинки и даже по вопросам искусства, а?

И, видимо, столь велик был его запал, что и после появления Сергея Андреича, которого он дожидался давно уже, он продолжал мять так и эдак вялую художническую руку, как бы затем, чтоб или приласкать, воодушевить, или уж взять ее поухватистее, вырвать из сустава да и написать ею все это самому. Федор Андреич сидел неподвижно, глядя в пол, и какая-то сокрытая жилка чувствительно пульсировала в его лице. «Да, да, — думал он, — уйти надо, прикоснуться к основам всех тех вещей, из которых складывается жизнь будущего века».

Так, спускаясь с горы, он оставлял друзей, семью и старинные привычки. Полагалось радоваться, что вот спадают стеснительные обручи, мешавшие росту человека. Но образ почему-то представлял иной: с раскидистого и шумного дерева облетали скоробленные листья, а для новых еще не наступило весны. Напрасно, простерши голые сучья, шарило оно по зимней пустоте и цеплялось за ускользающий ветер, — крепко держала корни промерзлая земля. Попутно вспоминались такие стишки у арсеньева князца: «Человек ухватился за бурю, а она ему руки напрочь!..» И еще бился на ветке когда-то полновесный и звучный, сохлый теперь и последний листок — *сын*. Слово это росло, тяжелело, принимало неизведанную еще форму, слово это могущественней оркестра сопровождало первый его крутой житейский поворот и вот умерло, и вот повисло на последней нитке. Но, значит, сыновьям прощайте больше! — Тотчас после черимовского сообщения Сергей Андреич готов был лично поехать к Арсению, предупредить об опасности. И хотя ему нравилось, что Черимов с таким упорством стремится к обнаружению черного сибирского дела, Арсений был ему роднее по веществу; и даже целиком разделяя черимовское намеренье, он тем не менее хотел, чтоб только одного Арсения миновала горькая последующая участь. Впрочем, через сутки обстоятельства переменялись, Черимов наткнулся на разъяснения второй, уже петрыгинской экспертизы, и Скутаревский счел за лучшее объяснить тем временем с бывшим шурином своим непосредственно.

Вечером, по окончании работ, он позвонил ему из институтского кабинета, и, показательное обстоятельство, в той же степени, в какой происходила здесь хлопотливая душевная суетня, голос Петрыгина звучал с сытой и уверенной ясностью:

— А, это ты, советский Фарадей!.. читал, читал про тебя. Бросай к чертям своих рыб и приезжай. Вали как есть. Будут все свои и еще... — Он назвал знаменитого иностранного пианиста, застрявшего на гастролях в Москве. — Что он делает из Листа, если бы ты слышал! Ах, подлец... Аналитиков не терплю, но у этого если буря — так это трактат по метеорологии, соловей — так

ведь каждое перышко на нем разберешь. Ну, приезжай, будь душка! И потом, чуть не забыл, как ты устроился с квартирой? Осип пошел на уступки и скинул еще четыре тысячи... я его прижал, стрекулиста!

Слова его, разбрасываемые с торопливой и подозрительной щедростью, засорили весь провод; Сергею Андренчу некуда было вставить даже восклицания.

— Перестань, — впихнул он, наконец, одно. — У меня деловой разговор.

— Вот приезжай и поболтаем. Погоди, я уронил запонку... где же она! чорт! ах, вот... нет. Да кстати: лису-то я убил: богатейший зверь. Шкурка за мною!

— Дело в следующем, — энергично приступил Скутаревский. — Я настоятельно и уже в последний раз прошу оставить Арсения в стороне от твоих предприятий.

Была краткая пауза, Петрыгин молчал, но не клал трубки: возможно, он все еще искал отскачившую запонку.

— Не разумею, о чем ты... во всяком случае этот разговор не для телефона.

— ...или я расшифрую тебя к чортовой матери! — с бешенством заключил Скутаревский.

Петрыгин несколько оправился от первого удара:

— Мне трудно говорить с тобой в таком блатном тоне. Ты что, запил, что ли?

И опять чрезвычайная по напряженности наступила тишина. Провод был чист, и, представлялось, неисчислимые электронные орды на нем ждут лишь сигнала, чтобы ринуться криком или бранью в ту или иную сторону. Порывами было слышно в трубке одышливое кряхтенье Петра Евграфовича; возможно — уже стоя на коленях, он шарил по полу свою запонку. Кто-то пришел к нему, и хозяин пробурчал в сторону: «а, входи, входи, не наступи только... я потерял одну вещицу». И затем снова нуднейшее длилось молчанье.

— Так вот, — без прежней благозвучности закрипел петрыгинский голос. И если бы на амперы и омы перевести его ярость, провод докрасна нагрелся бы от перегрузки. — Ничем не могу помочь тебе, ты уж сам... Я уже советовал тебе: ты — голову меж колен да и посеки, посеки молодого человека веничком: на то и власть родительская!

Спектакль прекратился в самом интересном месте. Действительно, экзекуция, производимая строгим родителем над провинившимся инженером, могла расшевелить в иное время даже самого Сергея Андреича. Петр Евграфович уже вдел на место галстук поверх отысканной, наконец, шейной кнопки и уже разговаривал с племянником, потому что именно его он просил об осторожности, а Сергей Андреич все стоял у телефона; спазма мешала ему крикнуть достойный ответ на дребезжащее петрыгинское остроумье... Петрыгин, в меру позабавясь с Арсением над сумасшедшим стариком, перешел к темам, более для него любопытным, — но временами все еще тянула внимание его назад непобедимая паническая сила:

— Вздор, у меня тоже есть заслуги, я тоже важный. Но все-таки, как подлеют люди... ты извини, что это я про твоего отца. Впрочем, ты, конечно, напрасно в открытую поссорился с ним. Помиришь, пойди к нему, ты моложе, помирись: он может быть очень вредным. А как ты думаешь, способен он на какую-нибудь *такую* низость?

Арсений не отвечал, а дядя пристально взгляделся в племянниково лицо. Тот казался больным, но это происходило скорее от запущенной и неожиданной для такого шеголя неряшливости в одежде, чем от явных каких-либо признаков нездоровья. Лицо его было плоско теперь и невыразительно; надо было вглядываться, чтоб рассмотреть, какое судорожное раздумье вписано в это колючее небритое пространство. «Проигрался!» — определил Петр Евграфович, хоть до него доходили только очень смутные слухи о беспутном арсеньевском поведении. И оттого, что это был самый благовидный предлог платить члену организации, как племяннику, он тут же порешил дать ему денег еще, кроме той тысячи, которую вручил в предыдущем месяце. «А все-таки, как быстро лысеют все Петрыгины, — подумал он потом. — Гормона, что ли, в них волосяного нехватает?» И правда, лысина на Арсении заметно расползалась со лба, и потому оставалось впечатление, будто желтое его лицо занимает слишком много места на голове.

— Ну, как мать? — вскользь спросил дядя.

— Мать ничего. Она странная.

— Ты присматривай за ней! Утрата не велика, но привычка в старости... Она обезумела совсем.

— Да, я замечал.

— Постой, а с чего ты-то мрачный?.. проигрался или по службе что-нибудь? Я слышал, тебя зовет к себе Кунаев. Воспользуйся, это марка. Я тоже получил на-днях занятное одно предложение...

— Что-нибудь опять по шпионажу? — тихо спросил Арсений.

И сразу стало очень нехорошо. Петрыгин раздумчиво почесал за ухом, искоса вглядываясь в племянника. Все-таки, хоть на четвертинку, но было в том и от скутаревской темной крови. В горячечных условиях времени можно было и от Арсения ждать всякого. Петр Евграфович от изумления даже забыл, какое именно занятное предложение выдумалось у него по ходу разговора. Никогда в его среде деятельность его не называлась *так*. Реплика Арсения прозвучала бы совсем грозно, если бы, однако, он сам не засмеялся первым. Впрочем, смех его не звучал никак, — то были просто нервные и недобрые подергиванья губ при обнаженных деснах.

— Я пошутил, — смеялся Арсений. — Мне любопытно стало, испугаешься ты или нет.

— ...но ты стал плоско шутить, милый. И ты вообще не нравишься мне за последнее время. Ты совсем распустился. Побриться, например, следовало тебе, направляясь в гости, а? Если это от желудка, а именно он — отец всяких пакостей, так его чистить надо, мыть его, сукина сына, как носовой платок. Я почти вдвое старше тебя, но, гляди, держусь.

— Тебе легче, — опять еле слышно молвил племянник. — Ты скоро умрешь, дядя, и все счета уплачены, а мне еще жить надо.

— Ну вот, поперло скутаревское! — захохотал Петрыгин, суеверно косясь по сторонам.

— Нет, ты не смейся. Я нарочно пришел пораньше, чтоб обсудить все. Слушай, я знаю, ты не веришь мне. Тонешь и тянешь... ты приставил ко мне тень... она прячется, но я-то знаю, что это Штруф. Он ходит за мной везде, но ведь он дурак, пойми же это. Ты убери его от меня, мне противно.

— Ерунда, — вспыхнул тот. — Это ты сам смотришь за собой, это совесть твоя, Арсений. Но ты же болен, Сеник, болен! — Зашурился один глаз, он с фальшивым равноду-

шим прщупывал взглядом этого окончательно чужого и даже враждебного человека. «Чорт, они демобилизуются!» — билось сердце. — И вдобавок, если бы я тебе не верил, я не пригласил бы тебя сегодня.

— Я пить буду, дядя.

Петрыгин ласково гладил его по голове.

— Ничего, в молодости все сойдет. Запись и пей.

— ...я избыю его! — навскрик, со сжатыми кулаками рванулся Арсений, и крик его совпал со звонком в прихожей.

Петр Евграфович поднялся и принялся торопливо надевать пиджак; хитрить больше становилось некогда.

— Избить...? — Он подумал. — Ничего, избеи. Штруфа можно.

Кто-то раздевался в прихожей, — так шумно, точно фанеру сдирали с краснодеревой мебели. На всякий случай Петр Евграфович потрепал племянника по плечу, и в этом жесте сказалось все — и уверение на ближайших днях обсудить все в подробностях, и обещание убрать Штруфа, и безусловное согласие на уплату карточного долга. Разговор прекратился; в комнату просунулась волосатая фигура Бакулина, в прихожей пискнул тощий голосок младшего Граперонова, и за ними, точно пользуясь открытием двери, полезли и остальные. Но вот вошел уже и сам артист, герой торжества, шуркий, сверкающий, снисходительный и любезный, как фокусник, едва слышно, потому что богатый курдский ковер устилал эту часть комнаты. Не задерживаясь нигде, он обходил выстроенный ряд этих старороссийских столпов, эти колодные шкафы мудрости и знания. Его быстрая в рукопожатии, властная рука обжимала по очереди все остальные, протянутые ему руки, обилие рук — то толстые, с белыми и круглыми, как майские личинки, пальцами, то тонкие, безжизненные и безличные, точно лепестки, высушенные среди страниц толстых фолиантов. Самое рукопожатие его было примечательно: он как бы облеплял чужую руку гибкими своими мускулистыми щупальцами, оно длилось всего мгновенье, но в том, другом, чего-то становилось меньше; потом тем же эластичным движеньем он выкидывал прочь иссосанную, опустошенную конечность.

— Очень приятно... — прочувствованно зашелестел

чей-то голос в стороне, и Арсений, повернув голову, еле узнал в этом переряженном человеческом обручке самого Ивана Петровича. Тот был неузнаваем; чем-то смазанный, он сиял весь; что-то даже текло с него; весь он мелко, шарнирно двигался и, подобно барышне, сжимал в руке платок. — Переведите, переведите ему... может быть, он заглянет и ко мне. У меня жена также ужасно любит музыку и Европу; Европу даже больше, чем музыку. Она очень милая... объясните, объясните ему, — и второпях искал среди гостей добровольного переводчика. Голос его прерывался; видимо, лютая тревога последних дней лихорадила его, и оттого все бывалое достоинство его истощилось.

Остекленевшими глазами он ласкал суховатую, почти военную фигуру пианиста, который неторопливо вкатывал в рукав вывалившийся бриллиант запонки.

— *Qu'est ce qu'il dit?* — обращаясь ко всей шеренге гостей сразу, спросил артист.

Шеренга заколыхалась.

— Он говорит, что будет счастлив видеть вас у себя и в особенности рекомендует вашему вниманию свою жену. Со своей стороны могу подтвердить: чрезвычайно милая женщина и крайне удобная квартира... — Так перевел Арсений, прежде чем кто-либо другой отозвался на трепет Ивана Петровича, а вся шеренга так и замерла в чаянии почти международного скандала.

Но гость кротко улыбнулся, — точно где-то в сумеречном отдалении взмахнули зеркальцем; опыт подсказывал ему — они всегда восторженны и милы, эти жены провинциалов, а не все ли равно, из рук которой Бовари в тысячный раз получить признание. Последнее выступление приурочивалось к концу следующей недели, и жизнь представлялась полной всяких безопасных утех. Впрочем, злое, неприличное лицо Арсения несколько более, этнографически, заинтересовало его, — с такими лицами бывали, наверно, террористы в царской России, но и это ему было скучно. Он продолжал улыбаться, как бы говоря: «Ты варвар и тошное существо: ты радуешься, что обидел человека старше себя. Молчи, дурак, и восхищайся!» — и пошел дальше, ища глазами инструмент. Тотчас же вся шеренга, до хруста продавливая паркетную мозаику, двинулась за ним.

Задержась на минуту, Петр Евграфович тотчас подошел к Арсению: следовало хотя бы скандал пресечь в самом начале, потому что стало уже поздно гнать его вон, этого свихнувшегося, повидимому, родственника.

— Слушай, ты с ума сошел! — шепнул он ему, тиская, почти выворачивая ему плечо; наверно этим хотел он выразить всю степень бешенства своего. — Держи себя прилично или иди домой, проспись, чудище музейное!

— Мне безумно надоело твое подполье! — сипло ответил племянник.

— Ну, я прошу тебя, садись вот тут и слушай. Это действительно эпохальный артист.

Все происходило, как в тумане, но туман этот исходил из самого Арсения. Громоздкие манекены в усах, в сюртуках, в резинковых баретках, неправдоподобные, как галлюцинации, усаживались по креслам — и то ли дерево скрипело в них и под ними, то ли тугой, сгибаемый при этом крахмал. Сквозь тяжелые плюшевые гардины ни шорохом не просачивалась сюда жизнь. Стало тихо, как в подвале. Из соседней комнаты мягкие, под педаль, донеслись аккорды: артист пробовал инструмент. Ужин и чествование предполагались позже. Промытые подвески люстры распространяли по стенам и лицам радужные, скользкие блики. Хозяин деловито прошел к часам и, всунув руку в гремучий ящик, остановил маятник. Самое время замерло, и тотчас же физиономии этой ассамблеи стали важны, кукольны и надменны. Над круглым столом, за которым сидел и Арсений, неспешными клубами стал жертвенно подыматься дым. Пианист ударил по клавише — нижнее ми, и тотчас же щедрой пригоршней гения рассыпалось звучное, прозрачное зерно. Оно ворвалось в подвески люстры — и те закачались, по-новому преломляя свет; оно упало и в людей, и бесплодные, выжженные луговины в них мгновенно поросли ликующими простонародными толпами. Арсений горбился и курил, глубоко заглатывая дым; бурные звуковые пассажи глубоко вдавили его в кресло.

Тихая, вполголоса, шла за круглым столом беседа. Тут были все свои, и оттого люди не стеснялись называть вещи их не вполне благоразумными, но зато подлинными именами; вначале Арсений не обращал на них вниманья... Целыми страницами литавр начиналось то восстание,

о котором играл пианист. Но порою музыка снижалась до шопота, почти до пасторали. Живое и уже накаленное стремилось изойти в гибком и плавном движении; еще не наделенное материальностью, оно по размаху своему походило, наверно, на ту первоначальную магнитную волну, которая когда-то, как судорога, простегнула инертное вещество еще несуществующего мира... И время от времени Арсений, как замороженный, вслушивался в слова, произносимые над самым его ухом; они входили в его мозг легко, острому ножу подобно, оставляя после себя черные, бескровные, колотые раны. Никогда еще не доводилось ему прикасаться так близко к вещам, самое наименование которых он всегда слышал с отвращением и ужасом. Даже доверяя племяннику исполнение важных поручений, Петр Евграфович никогда не раскрывал до конца, не показывал могильных дантовских глубин, куда они гуськом опускались: не хотелось ему до поры смущать юношеское его воображение. Центральную ответственность он давно взял на себя; он называл это своим *крестом* и верил, что одна лишь история сумеет вознаградить его за понесенные труды. Здесь, куда они добрались за два года, стояли вечные сумерки, и рваный клоч голубого полдня над головой стал недостижим и невероятен, как чудо. Почти поэт, когда дело касалось обращения прозелитов, он лгал, как пророк, создающий новую религию, и втайне знал, что если бы не тонны мертвого сахара в крови, в аорте, в мочеточниках, может быть он и был бы тем молодым, тридцатилетним, в жестких солдатских ботфортах и неременной треуголке.

Арсений горбился давно; непреходящее ощущение полета вниз поселяло в нем мучительное расслабление. Сознание непоправимой ошибки наступило у него много раньше, но уже значительно позже того, как дядя связал его той самой веревкой, которую постоянно чувствовал на своей собственной шее; его недовольство социальным порядком выразилось уже в ряде значительных актов; сибирская торфянка была только скромным беллетристическим эпизодом, не стоящим своих чернил. Распад Арсения начался не со страха, как обстояло с Иваном Петровичем, а с мучительного сознания измены самому светлому, что еще сохранялось в его душе. И все Гарася вставал в его памяти, простреленный, но еще живой только потому, что

не совсем пока угасла ненависть к белому атаману. «Сволочь, сволочь...» — кричал призрак, и Арсений поднимался на ноги, пока мягкая рука Петрыгина не толкала его снова в болото.

— ...Донбасс, Кизел, Ленинград... вот! — настойчиво шептал голос рядом.

Арсений яростно принимался слушать музыку. — Артист очень своеобразно понимал пятнадцатую рапсодию Листа. Высокая техника, вполне достойная похвал и львиных гонораров, помогала ему делать из произведения то, чего никогда не писал композитор. Исполнитель подчеркнул минорность марша; тихую лиричность средних частей он раскрывал как величайшее разочарование народа; самое восстание становилось не творчеством, а лишь трагедией пришедших в движение масс. Ирония переходила в прямую издевку, и тогда по клавишам, проваливаясь в мостовинах и давясь друг о друга, бестолково и отвратительно бежала расстреливаемая толпа. Его искусство, таким образом, принимало сознательный политический оттенок; Арсений плохо знал музыку и принимал на веру его циническое толкование. Он слушал с закрытыми глазами — принято думать, что это удесятерит зоркость, но в усталых от пьянок и бессонниц зрачках плавали только медлительные цветные пятна — как бы копошились и терлись друг о друга толстые непрозрачные молекулы. И вдруг поверилось — он властен уничтожить все это одним мановением век, набухших и болезненных. Стоило раскрыть глаза, и все распылится, все станет наоборот, и опять победная юность вложит в руки его романтическую винтовку...

— Да, когда они умирают — они герои, а когда хотят есть — обыватели! — шипело рядом.

Он раскрыл глаза; действительность была сильнее, и нечем было ее сокрушать. Невыразимого благородства — ибо ложь любит опрятные гнезда! — старик повествовал про свой доклад в высоком учреждении, но теперь он подходил к нему иначе, раскрывая и заостря его в обратном смысле, и самая враждебная критика не могла равняться с его собственной, трезвой и беспощадной оценкой. Тяжелые, чуть разъехавшиеся глаза Арсения передвинулись на него, и тот, мгновенно умолкнув, с явной растерянностью начал поправлять галстук. В течение

последующей, очень недвусмысленной паузы все они установились на Арсения.

— Простите, мы с вами не знакомы! — сказал один, глядя в бегающие его зрачки и вызывающе протягивая руку.

Он сидел по другую сторону стола, и хотя, чтоб дотянуться, требовалась рука длины невероятной, он все-таки дотянулся; жировая каемка вокруг его глаз проросла багровыми ниточками жилок. Повидимому, ему просто хотелось удостовериться в фамилии, и тут-то могли произойти соответственные случайности, но все обошлось вполне благопристойно. Ничто не прервало игры великого артиста.

— Я просто хочу спать. Я не спал две ночи... — сказал Арсений, отдергивая руку и развинченно направляясь к двери.

«Тухлые, тухлые...» — гадливо двигались его губы, и была тоска, и было ощущение, точно огромное животное, чавкая и шумя, обнюхивает ему сзади запотевший затылок. Мимоходом он заглянул в следующую комнату; артист слился с роялем, в рояльном глянце покачивалась суровая — точно именно ему доводилось умирять восстание! — и вместе с тем изысканная голова. Черный лак его туфель сверкал, и, кажется, это смутная шеренга склоненных слушательских лиц отражалась в нем.

ГЛАВА 21

Автомобиль артиста стоял у подъезда; в полированном кузове с причудливой сломанной перспективой отражался глухой переулок. Проходя мимо, Арсений машинально взглянул в это зеркальное подобие. С черным, неузнаваемо длинным лицом выглянул оттуда плоскостной человек и, неслышно колыхаясь, стал удаляться; откидываясь назад и сгибаясь, заскользили там отражения фонарей. Так и не поняв, что в сущности произошло, Арсений свернул на большую улицу. Издали она казалась иллюминированной; при свете множества временных лампионов шла починка трамвайного пути. Люди спешили опередить ночь; кучка запоздалых зевак, сбившись у развощенной мостовой, молчаливо следила за происходящим.

Лица их были оранжевы и задумчивы; кажется, вовсе не это трескучее неистовство ночной работы привлекало их, а только необыкновенное зрелище огня, которым протаивали промерзлую брусчатку. Забыв про неясную первоначальную цель, ради которой бежал с дядина концерта, Арсений безотрывно глядел на это знойное невещественное порханье стихии. Широкая, ленивая река керосинового огня расплывалась по мостовой, поленья дров, разложенные в ней, полыхали, не оставляя угля. Жар ударял Арсению в подбородок, щеки и переносье. Рассеянно, рефлексивно Арсений пошарил в карманах папиросы и, не найдя, сразу забыл об этом. Человек рядом, которого он толкнул локтем, внимательно посмотрел на него. Он был в очках, и соответственно уменьшенные блики огня разбежисто играли в выпуклых стеклах. Глаз его не было видно, но было что-то бесконечно отвратное во всем облике его.

И опять, не разобравшись — в чем тут дело, Арсений повернулся спиной и двинулся в противоположный переулок.

Точных намерений он не имел никаких, кроме как отыскать Черимова, но зато желание было как бы завуалировано, и следовало долго напрягаться, чтоб — вспомнить. Там, в переулке, строился дом; дощатый заборчик с предохранительным навесом далеко выпячивался на мостовую. Если взглянуть, и на нем еще играли тени удаленного огня. Здесь, на высоких деревянных мостках Арсению снова приспичило курить, и опять на дне кармана пальцы его ощутили только сохлый и пыльный сор табака. Неравномерный поскрипывающий шорох заставил его оглянуться. Человек в очках не вполне уверенно приближался к нему по мосткам, и, так как разойтись было негде, а сойти на мостовую не возникало догадки, Арсений двинулся дальше. Он бессмысленно завернул за угол, пересек площадь, и снова сложный лабиринт старомосковских переулков принял его в себя. Всюду было темно; старинные, с крестовинами, газовые фонари давали свету ровно столько, чтоб не наткнуться на них в потемках.

...начальный замысел его был приблизительно таков: рассказать Черимову обо всем без утайки и прятков. Конечно, одна только эта решимость не означала арсеньева возвращения в покинутую семью. Сперва, конечно, будут

длиться нескончаемые расспросы, потом обстоятельная беседа у следователя по особым делам, потом тюрьма и деготь всесветного позорища... но зато — жизнь, ее ветер, ее солнце, ее нескончаемый бег! Оставаться посредине больше не хватало сил, потому что даже самые раздумья о Петрыгине и хотя бы о Черимове, например, физически расслабляли его. Простая безысходность приводила его к тяжелой и мрачной двери, оползти которую напрасно стремился его рассудок. Двухлетняя ревностная деятельность по заданиям дяди не давала заметных результатов — даже несмотря на то, что Арсений в конце концов сидел в самом сердце индустриализации; оно работало попрежнему, бесперебойно и могуче. На поверку Черимов оказывался прав: класс в непреклонном восхождении преодолевал без усилий сопротивление людской горстки. И вдруг — в болезненном его воображении вставали грохот и пороховая мгла новой интервенции; он видел детей, сожженных газом, людей изгрызанных бактериями, раскаленный металл, танцующий посреди опустошенных городов. Он колебался, и раздвоение это грозило катастрофой; кроме того, еще не постигнув высокого петрыгинского искусства мимикрии, он в каждом взгляде, направленном на себя, чувствовал разгадку. Он метался от призраков, созданных собственным воображением, и за ним ежеминутно гналось то самое, от чего нельзя уйти, как от тени.

Но свидание с Черимовым влекло за собой возможность встречи с отцом. И то площадное слово, которое вызрело, наверно, из отцовской горечи, теперь могло стать последней мерой его распада и, возможно, преступления. Занятнее прочих было тут именно то обстоятельство, что как раз отец, советский профессор Сергей Скутаревский, представлялся ему главным врагом. Конечно, лучше было поступить иначе: написать письмо... нет, просто вызвать Черимова по телефону и... — Впервые он вспомнил, что имелся невдалеке закрытый клуб научных и технических работников. И если только в ответ на его великодушие — за это слово цепко держался он! — Черимов протянет ему руку дружбы и даже, возможно, согласится сопровождать его в искупительной поездке к Гарасе, в тайгу... о, какой замечательный рисовался ему на земле мир и в людях, без различия пола, возраста и класса, благоволение... Тут же

он сделал еще заключение, что удобнее всего будет вести этот разговор все-таки на улице, — мало ли в столице нейтральных и укромных мест. Несколько овладев собою, он стал искать глазами пивную или аптеку, где обычно стояли телефоны-автоматы, и только теперь осознал обстановку этой поздней и последней своей ночи.

По существу, то было московское Сити, когда-то зубатый форпост Азии и главный ярмарочный штаб. С древнейших времен именно здесь, среди множества товарных складов и банковских контор, возникали планы торговых наступлений, и кованое, немеркнувшее золото кремлевских башен высилось над ним, как и в олеариевы времена. Здесь в суеде и грохоте множились неуклюжие российские миллионы и вырастали угрюмые, в бородах и тонкосуконных поддевках, шишковатые негоцианты. Ни один караван с товарами, направляясь с востока ли на запад, возвращаясь ли с севера на юг, не миновал этих приземистых, вполне прозаических строений. Чугунными ставнями, коваными шиповатыми воротами, бородатыми варварами в пахучих и жарких овчинах охранялась эта былая крепость торгового капитала. Былая... потому, что давно уже место утеряло свою историческую центральность; разумнее, богаче и порою скучнее планировалось то, что прежде хаотически наслаивалось друг на друга, кирпич на кирпич, кость на кость, рубль на рубль, репутация на репутацию. Еще гнили где-то в каменных погребках рыхлые серые книги ресконтро, мемориалов и балансов, полные цифр и азиатского величия, а в оттепельные ночи выбивались сквозь узорчатые амбразуры увесистые запахи прошлого и призрачной ватагой бродили по переулку, — запахи ивановских ситцев, восточных пряностей, цветных всяких смол и москательных специй, бесценных древесных пород и туркменской каракульчи.

В том распластанном, словно каменный ящер, доме, где полтора века помещалась контора Жистарева, деда, отца и покойного ныне внука, ютилась теперь парикмахерская губернского объединения инвалидов. Четыре неполноценных, полуголых восковых красавицы улыбались в ночь с точеных деревянных подставок. Бородатый сторож, тулуп которого монументально вращался в тротуар, неспешно разглядывал эти искусные и обманчивые подобья; должно быть, при этом не в силах воздержаться

от невыгодного сравнения, размышлял он о далекой своей колхозной жене в домашней пестрядинной юбке. Никто ему не мешал; мышцы его были могучи, ночь обширна, дело его было пустяковое. Район не имел жилых помещений, и забрести сюда в неурочное время мог только пьяница либо явный вор. Арсения, когда он проходил мимо, бородач проследил волосатым, неодобрительным оком; Арсения точно ветром несло, и сторож видел, как почти тотчас же следом за ним прошел другой, в очках.

Тусклое фонарное бельмо светилось у ниши древней московской стены. Замокшая в прошлую оттепель известка покрылась пушистым инеем и темными пятнами, причудливыми, как тень несуществующего. Под фонарем, зябко засунув руки в карманы, торчала та же знакомая фигура очкастого. Заметив Арсения, человек отвернулся к нему спиной: теперь тень его вонючей лужицей сползала со стены. Возможно также, он просто изучал старинную кирпичную кладку. И хотя Арсению путь был мимо, сквозь проломанные ворота на площадь и дальше, наискосок, его почему-то безмерно раздражил этот одинокий, измерзший человек. По кривой описав полукруг, он сзади подступил к нему вплотную.

— Послушайте, вы... — внятно и немного волнуясь, сказал Арсений. — Мне это неудобно... вы две недели блуждаете за мной, а я не желаю вас знать. Ходите в жизни как-нибудь иначе... или вам нужно что-нибудь от меня? Говорите, я выслушаю вас.

Тот стоял и стоял, как будто вовсе не его касалось дело. Сквозь протертое пальтишко даже взглядом прощупывались худые, голодные его лопатки, и весь он был как битый, с облезлым задом, из бродячего зверинца копеечный зверь. С внезапной злобой схватив за плечи, Арсений повернул его лицом к себе; тот повиновался с легкостью, точно специально приспособлен был вращаться на месте.

— ...в конце концов вы вмешиваетесь в вещи, которых не имеете права узнавать. Я иду к женщине, она замужняя. — Он запнулся. — И вы думаете, я не узнаю вас? Я знаю, вы — шулер, вы Штруф. Вы носили матери моей всякую дрянь. Теперь вы боитесь, что я донесу, что я предам ваше хамство, вашу жадность... Но что вы станете

делать, осиновая балда, если я действительно пойду туда?.. станете стрелять? Дурак, они услышат. А ну, выньте руки из кармана.

Тот продолжал молчать, — кажется, не существовало слова, которым сейчас можно было бы обидеть Штруфа. В эту ночь он был на своем посту, и знаменитая болтливость его оказывалась только маской, под которой он устало прятал свою многотрудную деятельность.

— Ты немой? — скривился вдруг Арсений; с ума сводила мысль, что действительно никто в целом свете, никакая мораль не воспрепятствует ему избить сейчас этого человека. — Ага, я понял, ты собака дядина... ты Трезор, Полкан, Жучка! Хлебца хочешь? Куш, куш! велю!.. А что, если я тебя сейчас в очки?..

Человек сжался и отступил к стене, он стал еще короче и униженнее, но глядел в самые зрачки, суетливые зрачки Арсения. Он как бы говорил: «Да, я молчу, но ты бойся меня, я такой же трус, как ты!» Было здесь, значит, что-то и от правды, — круто повернув, Арсений наперерез прошел старую эту площадь и снова очутился в кривом и нелепом переулке. Путем, которого он еще не осознал, он тащился на полную капитуляцию; он был путанный и не прямодушный, этот путь; он был даже достоин издевательства, если только достойно издеваться и над предсмертным смущеньем. Но тут негаданно возникла еще догадка: Черимов, едва узнает, в чем дело, конечно, откажется говорить с ним, уже поставившим себя вне закона. «Ха, и у него своя карьера!» Следовало искать дорогу прямее, но воля его не пружинила никак, точно связанная. И вдруг он увидел Ивана Петровича; в распахнутой шубе, приседая и прячась в поднятый воротник, когда попадал в полосу света, он мелко и деловито передвигал ножками, — он бежал прямо на Арсения. В полной тишине, ибо утих ветер, звучно пришепetyвали его калошки. Видимо, он очень спешил: очки его сбились с переносья, а в левое стеклышко глядела бровь; поглощенный своими соображениями, он не различал подробностей окружившей его ночи. Арсения он даже полой задел и не заметил, только мелькнул востренький, совсем белый, совсем покойнический его носик, да еще развязавшийся галстук мелькнул, — снова в черную тень, как в доху, запахла сутулая его фигурка.

Ничего в том предосудительного не содержалось; квартира Ивана Петровича находилась невдалеке, и если бы провести к ней прямую от Петрыгина, переулок этой встречи пришелся бы как раз посредине. Было занимательно другое — что так рано мог закончиться петрыгинский ужин, тем более что Иван Петрович не имел в обычае вылезать досрочно из-за сытного стола. И потому ли что самый этот район наводил на подозрения, или оттого, что вспомнился недавний бунт Ивана Петровича, Арсений ощутил потребность догнать его и порасспросить о дальнейших намерениях. Вопрос ставился так: кто кого обгонит, и, пожалуй, если бы Иван Петрович пришел к финишу первым, Арсению оставался один чистый деготь безо всякого романтического гарнира... Он двинулся вперед и, когда обегал обширные, нежилые госиздатовские склады, снова увидел Штруфа. Точно заранее угадывая все его маршруты, тот уверенно стоял в воротах дома, прислонясь к железной, ржавой решетке. По швам рвал и раздергивал его кашель после той короткой и жестокой перебежки, и напрасно, чтоб заглушить его, он прижимал ко рту жеваную войлочную тряпицу своей шляпы.

— А, — усмехнулся Арсений, — снова ты здесь, Авель. А видел, куда Каин побежал? Ивана видел, в каком он простреленном виде побежал? Что ж, разделись пополам, как амеба, и беги за нами в разные стороны... ну! Пропали твои надежды, твоя удача, поместья, акции и рудники... Ты стоишь опять посреди безумной пустыни, когда кругом потенциально расстилаются сады. Чорт возьми, ты умер прежде, чем в тебя выстрелили, но комментарий к тебе составлен при жизни. Что ж, снова и снова факирствуй, изобретай, продавай своих Рембрандтов, открывая желатиновые производства слабительных пилюль, составляй ликеры из морошки, чтоб голодной мякиной набить свое брюхо... ха, дядя Федор рассказывал мне про твои мытарственные предприятия! Ты уже мнимость, абберрация органического пространства, ты сдохнешь где-нибудь в подворотне, захлебнувшись своей гнойной слюной... ты будешь валяться лицом вниз в этой нечистой луже, и псы с облезлыми ребрами будут обнюхивать тебя...

Штруф безмолвствовал, все это он знал и сам, и не обижался; он был уже мертвый, и так как мертвей мертвого не бывает, то он и не замечал дальнейших своих

видоизменений. Арсений задыхался словами, морозный пар клубами выстреливал из него; какая-то душевная сломанность мешала ему освоить самоубийственность этого беспамятного, одностороннего поединка. Бессилие этого человека дразнило его; вдруг он протянул руку, сдернул с него очки и брезгливо кинул под ноги.

— Очки — это бездарно и наивно. Ты еще бороду гороховую приклеил бы на харю! — засмеялся он, когда хрустнуло у него под ногою. — Какой же вполне современный шпик пойдет нынче на такую банальность? Ну... идите прочь, вы мне вполне противны! — и вскочил на извозчицьи сани, что тащились по переулку.

Он едва не свалил извозчика, но малый тому не удивился, ибо, несмотря на возраст, он имел достаточный опыт и знал прежде всего, что события дня никогда не подходят на происшествие ночи. Сидя боком в санях и держась еще за спину извозчика, Арсений со злорадным любопытством глядел назад. «Гладиатор!» — конвульсивно шевелилась его челюсть... Человек вышел из ворот и пошел следом. В чайные хорошего прибавка и, видимо, уловив смысл игры, извозчик подхлестнул, — сани рванулись. Штруф двинулся быстрее, простирая руки вперед и как бы ловя ускользящую удачу; было слышно, как мешалось его kloкочущее дыханье с кашлем... Выехали из потемок на светлый проезд; сани резвее покатались под уклон. Одно время еще видно было, как, не помня себя, вдогонку бежал тот, почему-то уже без шляпы, — взрывчатый кашель разрывал его на бегу, как гранату, он скользил и, если бы поскользнулся, наверно не встал бы никогда. «А не догонит нас баринок!» — с грустным весельем молвил извозчик и еще раз, уже с жестоким вдохновеньем подстегнул конька. Потом все исчезло в снежной пыли, и когда Арсений вылез наконец из саней, оказалось, что Штруфу тогда, в самом начале их милого разговора, он не солгал: он приехал именно к женщине, с которой изредка, в выходные дни, делил свои досуги. Не он выполнил и другое свое намерение: расспросить Ивана Петровича обо всем... Да, это был тот самый подъезд — вычурная арка над входом, фасад, обделанный керамическими плитками, нахально красный абажур управдома в правом нижнем окне. Кто-то выглянул в окно второго этажа, и Арсению показалось, что он узнал востренький

силуэтик Ивана Петровича на замороженном стекле. Стало ясно, он успел вернуться, и, хотя таким образом острота ситуации миновала, все же любопытно стало разведать, что именно произошло у Петрыгина по его уходе. Все это был, впрочем, только шифр: говоря в упор, требовалось ему попросту удостовериться, что Иван Петрович уже дома. Он стучал в дверь с осунувшимся лицом. На стук вышла жена Ивана Петровича.

Судя по той неряшливости, с которой она была одета, по растрепанным ее волосам и по некоторой вещи, которую держала в руках, она не ждала никого, кроме мужа, в этот поздний час. Она открыла дверь, однако, только через минуту каких-то странных шорохов: и все-таки — улыбалась, запахиваясь в старенький, с облетевшими пуговицами халатик, пестрый и тем сильнее напоминавший подержанное оперение какой-то экзотической птицы.

Так воркуют голуби: —

— ...ты? Почему же не предупредил по телефону?

— Муж дома? — напряженно осведомился Арсений.

— Нет, входи, входи... глупый. Но ты совсем безумец: в такое время... Тише, прислуга спит.

Подчиняясь властному ее шопоту, он осторожно снял пальто и комом сунул его на кресло в прихожей.

— А муж дома? — повторил он вопрос.

— Ну, иди же... Ты не приходил так давно. Был болен?..

— Я здоров, как черкасский бык! — попытался зашутить он и все стоял, что-то припоминая. Через мгновение он разгадал эту глухую и зудящую потребность: к рукам прилипло скверное ощущение после прикосновения к Штруфу.

— Я пойду вымыть руки... — сказал он.

— Гадкий! Ты прямо с работы? — Она поняла его именно так, как и следовало в подобных обстоятельствах, легонько с намеком, она подтолкнула его в плечо: — Там на полочке мыло... а полотенце, длинное, с бахромой, над ванной. Тебе нужен тазик?

Вряд ли она имела время сделать что-нибудь над собой за этот короткий срок, но, когда Арсений вернулся, она выглядела совсем иначе: кажется это и называется волшебством любовниц; та же самая небрежность теперь легко сходила за интимный и нарочитый беспорядок,

предназначенный для коротких, бурных и желанных встреч. И даже отсутствие пуговиц приобретало какой-то подчеркнутый, вполне уместный смысл. Это и была женщина, ради которой всячески, с цирковой изобретательностью извивался Иван Петрович. Еще совсем молодая, крупная, почти как ее кровать, которая возвышалась тут же рядом, она уже вступила, однако, в ту зрелость, когда для душевного здоровья нехватает одной только известности мужа или уважения управдома к его супруге.

— Садись, садись... и я сяду, вот тут есть свободное место. — И вскочила на его колени. — Но как ты догадался? Мне так хотелось, чтобы ты пришел! Но почему же ты небритый? Разве ты не должен уважать меня?.. хочешь вина? — и на крохотный, шаткий столик поставила начатую мужем бутылку.

Он курил и, может быть оттого, что пришел вовсе не за этим, удивлялся ее жеманному бесстыдству, ее праву обнимать его, щекотаться атласистой кожей, сидеть на его чужих, острых и неудобных коленях. Когда-то его смертно одуряло это отсутствие всякой сдержанности, откровенная душевная нагота, всегдашняя готовность на ласку и даже якобы лирическая видимость, которую она ухитрялась придать этой случайной интрижке. То же самое предстало ему теперь как вульгарная и неприкрытая похоть. Минуту назад, мыля руки в ванной, он видел на стене розовую целлулоидную коробочку и в ней две одинаково истертых, две супружеских зубных щетки; и потому, что символ этот перерос теперь свои смысловые пределы, ему стало противно и скучно.

Она не понимала ничего в его лице:

— Слушай, говорят, у тебя завелась другая? Но разве мои губы бледнее ее губ?

— Твой муж ушел в шапке? — спросил он вдруг.

— Нет, в шляпе. Мне сказали, что сегодня тепло, и я велела ему идти в шляпе.

— Ага! — Он вздохнул свободнее и тогда только понял, что, нет, не высокие философические раздумья терзали его, а просто страх.

— Я боюсь, что он скоро вернется, — вкрадчиво, в самое ухо говорила чужая жена. — Он сейчас на заседание у Петрыгина. Кажется, это твой дядя? Муж ужасно его не любит.

— Потому что любит тебя.

— Да, я знаю. — Она выпрямилась, вспомнив о муже; глаза ее стали темны, как полуподвальные окна. — Он забавен и трогателен. Он трус, но он убил бы тебя, если бы вернулся сейчас. И ты знаешь... — Она приникла к его уху, дразня шопотом и щекоткой шелковистых своих кудряшек.

Бывало и раньше, она рассказывала ему сбивчиво и с прерывистым женским хохотком секретные подробности о муже. Ей нравилось доставлять любовнику ядовитую радость издевки. Таким образом они совместно и не раз тешились над старомодным арсеналом старческих ласк, но теперь это на Арсения не действовало никак. Он брезгливо кривил губы.

— Перестань, это похабно очень, — прервал он ее.

— Но я тебе ничего и не сказала! — обиделась и отреклась она. — Он любит, потому что хочет второго ребенка. Первый был от прежней жены. Ему очень хочется.

— А тебе?

Она подумала:

— Ему поздно, а мне рано.

— Но ты часто изменяешь мужу? — тихо, смеясь и разливая вино, спросил он.

Она с негодованием блеснула глазами: —

— Никогда! — И, кажется, сразу поверив в это внезапно сорвавшееся слово, заменившее то, чего в ней никогда не было, прибавила: — Как ты смеешь?

Обиженная, разочарованная в Арсении, она стояла у кровати, спиной к нему. И так легко было бы замять эту несвоевременную размолвку, но тому и в голову не приходило встать и подойти к ней. Новая догадка шевелилась в нем: разумеется, он ошибся тогда, в переулке, — тысячи людей снабжены в жизни заурядным лицом Ивана Петровича.

— Так, значит, он ушел в шляпе, а это был... Ну, дай же мне поесть, ты обещала.

Она ушла и долго не возвращалась. Он сидел неподвижно; неживая, почти мертвенная желтизна заливала его лицо. В углу поскреблась мышь, и не ее, а только быструю тень ее — не увидел, а лишь ощутил Арсений, скосив глаза. Безабажурная лампа на подоконнике не

горела; голый электрический патрон отражал чужой золоченый лучик. Вспомнилось, как давно, в день последней ссоры с отцом, глобусоголовый приятель рассказал ему на ухо поучительный опыт: если всунуть живую мышку в патрон и включить свет... Его передернуло, как и тогда, точно от скверной отрыжки. Все тело его физически болело, и не проходило ощущение соседства с огромным животным, которое тупо уставилось ему в затылок. Он огляделся; в простенке между туалетным зеркалом и бельевым шкафом висела черная лакированная коробка; он спокойно подошел и, сняв трубку, долго ждал ответа. Чужая жена не возвращалась; возможно, она плакала, по-бабьи положив голову на кухонный стол. Сонным голосом телефонистка назвала свой номер. Сложив ладонь рупором у микрофона, Арсений смотрел на пальцы; они бились как под током и почти утерjali чувствительность.

— Прошу вас... — произнес он внятно и вдруг назвал то слово, которое в это время швыряло Ивана Петровича по безлюдным московским улицам, — Гепеу!..

Прошла неопределенная пауза. На подзеркальнике лежала головная щетка, полная серых вычесанных волос. Собираясь в гости, Иван Петрович приводил себя в порядок у туалета жены. Потом Арсению ответили с коммутатора. Он молчал. Щетка была черного дерева; щетина ее проносилась ложбинкой посреди от долгого употребления. Девушка на коммутаторе сердилась: повидимому она ясно слышала прерывистое дыхание Арсения. Снова и снова называла она свой номер.

— Простите, нас соединили по ошибке, — выпячивая губу, произнес Арсений и положил трубку.

Все мысли и впечатления съехали куда-то на сторону, как шляпа на пропойце. Щетка, повидимому, служила Ивану Петровичу и в молодости, но тогда волос в ней оставалось меньше, и еще они были черные. Какой-то главный период в жизни Арсения был закончен, он узнал об этом по ноющему ощущению всех своих клеток. Он покорно, с угнетающим чувством преемственности, пригладил этой щеткой волосы на себе, неслышно оделся и пошел вон, но едва открыл дверь, сразу наткнулся на самого Ивана Петровича. Тот возвращался с блуждающими глазами, точно в параличе, точно со сражения. Галстук его тряпочкой свешивался из кармана распахнутого

пальто. Жена ошиблась: из боязни остудить голову он надел все-таки шапку. И странно, он опять, даже тут, не заметил Арсения, точно так же, как и тот, покидая подъезд, не увидел в подворотне иззябшего и уже дважды обманутого Штруфа... Осип Бениславич стоял в тени крошечного домика, окна которого слабо светились сквозь густые занавески. Летели искры из трубы, поднимались в кристаллическую замороженную синеву ночи и не потухали, а примерзали к черноте небосвода и оставались жить — как в детском сне! — мерцающими звездами.

...Но, значит, он все-таки учуял Штруфа!.. на перекрестке двух улиц, концы которых уходили в черное ничто, Арсений терпеливо дождался спутника своего за углом.

— Не ходите за мной больше. За мной сейчас не надо следовать... — шепнул он почти просительно.

И впервые на протяжении этой ночи Осип Бениславич опустил бывалые свои глаза.

ГЛАВА 22

Институт Скутаревского переживал кризисную полосу. Настоянием руководства вся его основная работа сведена была к решению все той же несбыточной темы.

Очень немногие — и Иван Петрович в том числе! — верили в успешное ее завершение. Правда, индикаторная лампочка этого чуда уже горела; за месяц ее перевидали многие, от наркома до одного пронырливого журналиста, и все имели возможность удостовериться, что действительно к эбонитовому ее постаменту не вела никакая проводка. Фокус этот стоил громадных денег, лампа светилась с достаточно тусклым миганьем, и на этот неверный маяк Скутаревский направлял громоздкое тело своего корабля... Так продолжалось вплоть до известного ханшинского бунта, в форме которого вылилось давнее недовольство верхнего этажа. Требуя выделения своей лаборатории, он подчеркивал опасность — при наличии тогдашних условий выдавать стране такие ответственные векселя. Беседа происходила с глазу на глаз, и Ханшин откровенно указывал, что в случае возможного провала непременно найдутся люди, которые постараются придать делу характер научной диверсии. Отличаясь

прямолинейностью и чрезмерной трезвостью воззрений, сторонник честной, но консервативной школы саморазвития, он втайне осуждал почти дилетантскую дерзость патрона и, хотя по убеждениям отстоял от Арсения на ином, даже враждебном фланге, одна и та же формула руководила ими.

— Не понимаю вашей фронды, не понимаю. Вместе с тем я не стану дискутировать с вами во всесоюзном масштабе, — торопился Скутаревский. — Вы — педант, вы боитесь риска. Но большевики тоже рисковали в Октябре.

— Да, — певуче соглашался тот, приглаживая свою неистовую седину. — Но вы знаете, каких это стоило средств!

— Ерунда! — сердился Скутаревский. — Те же средства были бы потрачены и в случае неудачи... средства!

И тут, пожалуй, расхождение могло бы иметь непредвиденные следствия, ибо Иван Петрович, вспыхнув, заявил визгливо, что никто еще не знает — научный или политический блок сформировался в верхнем этаже. Это произошло еще до мордобойного эпизода, и видимость дружбы с Черимовым, которую всюду демагогически выставлял Иван Петрович, имела здесь крайне существенное значение. Ханшин багрово молчал и щупал себе колени. И это маленькое, пожалуй, недоразумение ускорило течение начавшегося процесса. Все же, соглашаясь на автономию ханшинской группы, Скутаревский попытался усилить себя привлечением Черимова. Тот с удовольствием принял эту высокую честь — совместной работы, но не войны против Ханшина. Тогдашний раскол, который даже вряд ли заслуживал такого несправедливого определения, он считал не только естественным, но и полезным для роста института. Тут же выяснилось, что и на работу с директором он смотрел несколько утилитарно, потребовал возможности для себя работать над одной смежной проблемой и при всем уважении к Скутаревскому вопрос об этом поставил с дерзкой решительностью.

Сергей Андрейч просто за голову схватился:

— Все идет дыбом... Давеча подъезжаю на извозчике... он, обернувшись, спрашивает меня, извозчик: и к чему эдакая башня построена? Смехота! Этот синий человек тридцать лет не видел ничего, кроме хвоста своей лошади... и некоторых побочных явлений... и вот!

— А может быть, — улыбнулся детской его гневливости Черимов, — может быть целых три таких года он потратил так только затем, чтоб добыть частицу средств на вашу башню.

— Постная чепуха! Надо понимать, о чем спрашиваешь.

— ...надо говорить так, чтоб понимали! — почти весело заключил Черимов; кстати, всякую истину он принимал в строгой зависимости от ее резонанса во мнении масс.

Стычки эти служили как бы введением к дальнейшему разговору. Черимов не объяснял, как, после одной ничтожной беседы с Кунаевым, возникло у него это намерение. Назначенный директором крупнейшего комбината, куда как раз и призывал Федора Андреича творить свои живописные шедевры, он жаловался на невозможность плавки металла в необходимых газовых условиях: проблема — тогда еще не совсем решенная. И вот Черимов, неоднократно наблюдавший перегрев специальных антенн Скутаревского, задумал сделать высокочастотную спираль, чтобы перенести тепло в самую гущу расплавляемого металла.

Сергей Андреич нахмурился, едва понял своего ученика:

— Вы имеете в виду использовать высокие частоты, но это уже известно...

— Да, но я не гордый. Достаточной реализации это не получило нигде...

— Институт построен не для целей металлургии. Или вы имеете директиву?.. — Слово это в применении к науке приобретало у него вообще ругательное значение.

— Он построен вообще для содействия социалистическому строительству и обороне, — напомнил Черимов самый жесткий и существенный параграф устава.

— Вы изверг. Ладно. Я остаюсь один, прекрасно... — ворчал Скутаревский, вставая и покрываясь пятнами. — Я всегда был один. Все идет дыбом. Извозчики ревизуют науку, ученые занимаются производством электрических чайников, да.

...так целых полгода прошло под знаком бесплодных поисков. Правда, кроме лампочек на эбонитовом пьедестале вертелся теперь, и довольно бойко, вентилятор, условный агрегат, но требовалось еще много времени,

воли и даже мускульных усилий, чтоб отвлеченную идею, предел дерзости века, воплотить в послушную и выгодную машину. Сергей Андреич подвигался медленно, шаг за шагом, повторяя судьбу всех ранее проделанных открытий. От неясных догадок, носивших порою почти галлюцинаторный оттенок, он шел к формулам, тугим и изящным, как разбег волны, и дальше опять вниз, к разочарованию, к неуклюжим, несовершенным машинам, наивным для бородатых детей игрушкам, за которые заранее стыдно перед потомками... Стране, впрочем, было безразлично, каким словом начинена была его искательская ярость.

Теперь вчерне это было построено, но самая проба skutаревской аппаратуры происходила уже в отсутствие Ивана Петровича. Известие об его аресте было для всех полной неожиданностью, которой, однако, никто почему-то не удивился: незадолго перед тем Иван Петрович выступил с одним научным докладом, который своевременно был разоблачен как враждебная вылазка; последнее время он производил впечатление охваченного нервной лихорадкой. Но истинных причин и поводов не знал никто, и оттого подготовка к отъезду происходила в подавленном безмолвии; в черимовских выступлениях усматривалась, — хотя все ему согласно поддакивали, — некая дипломатическая игра. Под наблюдением самого начальства артель упаковщиков заканчивала обшивку последних механизмов. Наиболее крупные грузы были отправлены раньше, и где-то на перегоне Сумга — Терпенево уже двигались на юг многие тонны организованного металла, бесценные документы десятилетних усилий. Самый опыт предполагалось произвести в заброшенной, дикой усадьбе; в годы народной войны гостевали здесь посменно партизаны всех цветов, и когда схлынула последняя волна, в старинном с колоннадой доме этом не оставалось ни скотины, ни курицы, ни цельного окна. Туда, в отремонтированный флигелек приезжали на летние месяцы лечить нервы работники местного финотдела, а с ноября по апрель зимовало здесь воронье чуть не со всей губернии. Отдаленность места диктовалась свободой маневрирования и необходимостью провести эксперимент в полной чистоте. Ток предположено было взять частью у местной фабрики, частью у самого городка, и с тем непременно расчетом, чтоб на машинах было не менее

требуемого количества киловатт. Первая партия учеников Скутаревского уже полторы недели жила в усадьбе. Ежедневными телеграфными сводками они уведомляли его о ходе подготовительных работ — и когда Женя вошла в лабораторию, Скутаревский держал еще нераспечатанной последнюю из них.

По обязанности новой службы она бывала здесь и раньше, и всякий раз это обманчивое башенное пространство, в котором крик оставался шопотом, а полного голоса хватало только у машин, поселяло в ней детскую робость; здесь, пожалуй, и коренилось ее безоговорочное подчинение Скутаревскому. И оттого, что еще не знала назначения их всех — рубчатые шпильки трансформаторов, одетых в богатые алюминиевые шубы, могучие конденсаторы, напоминавшие сытых животных, прикорнувших по углам — и так похоже лоснились их лакированные кожуха! — все это мнилось ей образами из сказки, которую она выдумала сама. В первый раз сегодня она не заметила их, как не заметила и беспорядка, обычного перед путешествием. Десятки длинных, в рост человека, ламп торчали на деревянных козлах, и упаковщик, подстегиваемый окриками, с паническим лицом нес одну из них прямо на Женю, ничего не видя перед собою. Она обошла все, ища глазами Сергея Андреича, и вдруг увидела его в узком проходе на металлической галлерейке, в группе людей. Их было трое там, они никому не мешали, и только этим объяснялось такое неудобное место для беседы. По фотографиям в окнах, мимо которых проходила не раз, она узнала в одном из них наркома; именно о нем ей пришлось однажды отвечать на испытании по политграмоте, как об одном из первых маршалов Красной Армии; он приехал запросто, без всякой свиты — значит, это его длинный черный лимузин и видела Женя из окна кабинета. Нарком казался веселее, меньше ростом, но коренастее, чем сложился он в воображении девушки. Но и на это она не обратила сейчас никакого внимания. Разъятый на куски в суматохе суеты и спешки, до нее донесся только обрывок разговора:

— ...нет, это в Казани сгорели катушки, а в Ростове произошло перекрытие на корпус...

— Вы объясняете это теми же причинами? — нарком покосился вниз и тут увидел Женю.

Он взглянул на нее с кратким и пристальным любопытством; должно быть, всякие рассказы докатились и до наркомского порога; только после того он с новым вопросом обернулся к Скутаревскому. Тот сразу заметил Женю, которая делала жесты и звала вниз.

— Вы ко мне, Женя? — строго и вслух спросил Скутаревский. — Я занят.

Его сердитый оклик не заставил ее скрыться немедленно; ее известие стоило, видимо, внимания. Угловато извиняясь перед начальством, быстро, почти прыжком он спустился на несколько ступенек. И, казалось, в эту минуту все слушали *это*, и никто не слышал. Внимательно и сурово, циркулем расставив ноги, Сергей Андреич принимал ту отрывочную скороговорку, которую всунуть ему в сознание торопилась Женя. На мгновение лицо его расслабилось, точно развязался какой-то душевный узелок, и влажная тень смежила его глаза. Он взялся за перильца, потому что легко было поскользнуться на гладких, за десятилетие до глянца отшлифованных ступеньках. И снова он готов был слушать еще и еще, хотя вверху ждал его нарком, но Женя уже кончила.

— Благодарю вас, ступайте. И еще раз позвоните на станцию относительно поезда! — приказал он вполголоса и, поднявшись, продолжал прерванный разговор.

Нужно было слишком хорошо знать его, чтобы заметить, что он стал уже не прежний; рот утерял свою злую форму и постарели глаза. Он говорил, слегка запинаясь, потому что другая мысль, точно опрокинутые чернила, заливала ему мозг. Но тот, другой, спутник наркома проявлял повышенную и требовательную любознательность.

— ...но, все-таки, вернемся к началу. А если остановиться на прежнем... ну, как вы это назвали в прошлый раз?

— То есть пучок в газе? — как бы сквозь туман вспомнил Скутаревский. — Нам не полагается мечтать вне предела научных и допустимых на сегодня норм.

— Почему? — допытывался тот. — Вы можете рассчитывать на полное наше содействие.

Скутаревский перебил его: —

— Потребуется импульсная установка на... позвольте, я сейчас соображу... минутку. — Он подергал бородку,

и что-то хрустнуло в нем, как в арифмометре. — Потребуются двести пятьдесят тысяч киловатт. Возможно, в конце четвертой пятилетки... — Острота не удалась, он сдался и опустил глаза.

— Ну, с вашей помощью мы надеемся добиться этого в конце второй? — вопросительно, полусерьезно засмеялся нарком и, щурясь, ждал ответа.

Скутаревский молчал и, хотя решительно уверен был в своей правоте, снова и снова избегал давать хотя бы слабые гарантии успеха.

— Может быть, перейдем в кабинет? Там можно сидеть... — утомленно сказал он потом, вдруг навалившись на перила. — Эй, осторожно, не матрац тащите! — закричал он вниз, где в сплошной мягкий ящик устанавливали трехметровое параболическое зеркало. И опять никому не были понятны ни теперешняя его вспышка, ни давешний женин испуг.

Они стали спускаться.

— Вы уезжаете сегодня вечером?

— Да, у нас специальный поезд.

— Черимов едет с вами?

— Нет, на него я оставлю институт.

— К слову, как вы расцениваете его?

— Он смотрит на науку, как на свою партийную обязанность.

— Это плохо? — улыбнулся нарком: суждения Скутаревского он знал давно.

— Это — мало.

...их беседа длилась еще полчаса; кожаные кресла лениво вздыхали при всяком движении. Сумерки медленно переходили в вечер, а вечер в весну. За окном пулеметно грохотали отъезжающие грузовики. Позже сюда подошли Черимов и Ханшин, мирная беседа немедленно переросла в спор, и в этом десятиминутном страстном поединке разбежисто наметилась вся блистательная будущность института. Скутаревский сидел против окна; оно было круглое и напоминало иллюминатор; за ним пространственным конусом уходила территория научного городка. Частично ему видны были также серенькие окраинные дома, колокольня, поднявшая вверх линиялую шею жираффы, и еще круглые трамвайные часы у остановки. Все это скользило лишь по поверхности сознания, но вот зажглись фонари,

и яркий, внезапный проливень света напомнил Сергею Андреичу о времени сильнее, чем стрелки на светящемся циферблате. Он поднялся со спокойствием, которое впоследствии, когда все стало известно, заставило женский персонал института приписать Скutareвскому жестокие качества, которых тот никогда не имел.

— Я прошу извинить меня, — произнес Сергей Андреич, с хрусткой твердостью ставя слова. — У меня произошло несчастье, и до отъезда я хочу... — он поправился: — я должен посетить еще одно место.

Нарком поднялся; за краткое время рукопожатья горячее тепло его руки не успело согреть оледенелых пальцев Скutareвского. Оба они были почти однолетки, оба понимали друг друга трудно, точно перекликались через экватор, и оба шли по существу к одному и тому же, если взглянуть снисходительными, век спустя, глазами.

ГЛАВА 23

«Мужество, мужество...» — повторял он, не попадая в калоши.

И метнулся на улицу — быстро; его сердце разорвалось бы, если бы он хоть немного ускорил движение. Вот она снова воротилась к нему, его кометная стремительность, но для какой горестной обязанности! На безлюдной площади, откуда после базара расползлись крестьянские возы, он взял таксомотор. Места, куда он мчался, не должен был до времени знать никто, а тем более институтский шофер. Он распахнул кабинку так, что брал ее штурмом; молодого парнишку за рулем ошеломило властное, немногословное приказанье пассажира. Машина помчалась вопреки всем обязательным постановлениям; на одном повороте насилу ускользнули от грузовика, выскочившего из переулка, а на другом чуть не изувечили разносчика. На долю секунды перед радиатором мелькнула его корзина, полная непонятного оранжевого, брызнувшего во всех направлениях товара; визгнули тормоза, парнишка успел завернуть руль доотказа. И пока милиционер записывал фамилию шофера, Скutareвский успел закупить мандаринов, из раскиданных по мостовой. Карманы пиджака уже раздулись, а он автоматически все еще пихал

туда мятые, пахучие плоды; совсем не было уверенности, что они смогут пригодиться в ужасном месте, куда он торопился, но надо было чем-нибудь занять растерявшиеся стариковские руки.

Снова они помчались, и снова нетерпение пассажира пересилило шоферский страх перед столичной милицией. Каждая промедленная на перекрестке минута умножала душевное смятение Скутаревского. Неразборчивое известие, которое он сорвал с бледных, искусанных губ Жени, странным образом подтверждало его прежние опасения. Нужно было собраться с силами и, во что бы то ни стало, для себя найти немедленное, тысячное по счету доказательство своей непричастности к этому ужасному поступку Анны Евграфовны; он уже не сомневался, что мчится на последнее свиданье с женой. И как только принимался распутывать противоречивый клубок своих тайных помыслов, раскаянья и сожалений, воображение тотчас рисовало ему одну и ту же картину — сумеречное перевозимое пространство с рельсами, уходящими в закат; хилая, неправдоподобная травка пробивалась между шпал сквозь политую мазутом щебенку... и там лежало ничком большое, еще живое, но уже затихшее человеческое тело, — сестра Петрыгина, но мать его сына: жена. И он торопился, как будто еще было время добежать, припасть на колени, оторвать ее руки от длинного, розового железа, уже гудящего от приближения слепого, катящегося навстречу груза.

— Скорей... или пусти, я сяду сам за руль, — бормотал Сергей Андреич, кладя подбородок на плечо шофера.

Наконец в ветровом стекле появился серовато-скорбный дом столичных несчастий и развернулся во всю ширь старинного, с колоннами, фасада. В открытую дверцу ворвались гудки машин и множественный скрежет дворничих скребков. Воздух пестрел снежинками, и они заранее пахли горьким больничным запахом. Скутаревский ринулся по ступенькам подъезда, на ходу снимая пальто, взамен которого ему уже издали протягивали жестяной номерок. Потом, не попадая в рукава, он впахивался в узкий, заштемпелеванный халат. «На малых ребят шьете, на ребят-с!» — бормотал он, как в судороге, расправляя плечи. По несколько ступенек в прыжок, на удивление швейцара, он стал подыматься вверх — так в молодости,

бывало, каждый раз приступом брал он крутую университетскую лестницу. На площадке вверху он остановился, прижимая руку к боку; лицо его сморщилось, и десны обнажились. Сердце больно колотилось, старость его была беспокойная, ему было тесно в этом порывистом, неукротимом старике...

Возможно, все это происходило и не так, но когда впоследствии атаковали его воспоминанья, именно в таком порядке чередовались подробности тягчайшего его дня... Дверь к дежурному хирургу была белая, простенькая, простекленная чем-то пузырчатым и голубым. Взрывчатое хрипенье доносилось из-под двери. Пусто было, корректно очень глянцевели масляные стены. На пороге Скутаревский встретился с женщиной, которая уходила: по лицу ее видно было, что сама не знает, где будет через час. Он не уступил ей дороги, он не понимал уже ничего. Линолеумная дорожка доводила до самого стола. Хрип объяснился просто: врач сморкался старательно и хоть не в согласии с правилами врачебной науки, зато с чисто научной пунктуальностью. В стеклах его очков натужливо тряслись зеленоватые отблески абажура. Вообще во всем была эта утешительная зеленоватость, даже в коротко остриженных, выпуклых ногтях хирурга. Не двигаясь, одними глазами он указал на эмалированную дощечку с уведомлением, что прием посетителей заканчивается в пять.

— Моя фамилия Скутаревский. Я уезжаю через полчаса.

— Ага!.. — Кажется, так именовали того популярного химика, о котором, как о достойнейшем кандидате в академию, он читал в газетах. Химия, по его разумению, представлялась смежным с медициной ремеслом; они были некоторым образом коллеги; следовало проявить любезность, он привстал, приветствуя его поблескиванием стекол. Это был чистенький здоровячок, яблокощекий, работага, и потому все ему до дьявола нравилось в жизни. На поле его халата, у кармана, темнело крохотное, в горошину, пятнышко: иод. Но одна мысль, что это и была кровинка из жены, влила холодок в пальцы Скутаревского.

— Садитесь, прошу вас. У нас кто-то имеется с вашей фамилией.

— Жена, — сухо объявил Скутаревский. — Моя жена.

— Не припоминаю, нет... — раздумчиво проговорил тот. — Скутаревский?.. — и пальцем водил по списку, отыскивая там похожее слово. — Молодая?..

— Мне звонили час назад от соседей по старой квартире и сообщили, что ее отвезли к вам, — кусая губы, объяснил Скутаревский.

Врач принялся за список заново:

— Видите ли, это случилось в дежурство Сироцкого. Вы, наверно, слышали это имя. Он тоже писал что-то по химии. Ага, вот нашел, но тут значится мужчина. Есть у вас в семье мужчины?

— Нет, — отрезал Сергей Андреич. — Это жена. Дайте сюда.

И сам шарил пальцем по скорбному списку новоприбывших, застигнутых посреди жизни разочарованием, мезью, коробкой консервов или трамвайным колесом. Но там, среди прочих, каллиграфически зияло лишь одно имя, не оставлявшее никаких сомнений. Инициалы были те же, это мог быть один Арсений... Где-то тут же, за стеной, рядом, на бывалой больничной койке корчился как будто знакомый и вместе чужой человек — чужой, потому что не прежний, не цельный уже. Воображение, сорвавшееся со всех цепей, карнало Арсения так и эдак, делало кровавым обрубком или удлиняло петлей, в узлы завязывало смертной корью.

— Так, значит, это он и есть? — вслух спросил он себя, а врачу показалось, что глаза у него взорвались, и из самих разорванных глазниц текут по-старчески обильные слезы. — Это же сын, ясно! — И всей ладонью бил по измятому списку.

— Я же вам говорил, что мужчина. А мужчину я застал уже на операции... — сочувственно указал врач. — Он лежит в седьмой Бе, припоминаю. У него все время сидела мать, она уехала полчаса назад.

— Что он сделал с собой? — перебил Скутаревский, дергая лацканы распахнутого своего халата.

— ...он? Как же, он стрелялся! — не без удивления сообщил врач. — И, чорт, стрелялся-то как-то неряшливо: впихнул в себя пулю как попало!

И оттого, должно быть, что это была единственная в его положении любезность по отношению к будущему академику, он рассказал со слов Сироцкого.

— Несчастье произошло на рассвете. Молодого человека подобрали на улице с отмороженной рукой. Никто не слышал выстрела, кроме ликующего, издыхающего от одышки Штруфа: этого не знал Сироцкий! Пуля прошла наискосок, задев сердечную сумку и полость плевры, скользнула по ребру, пробила печень и застряла в малом тазу. Искать ее не стали, дабы не отягчать последних часов раненого. «Печень... — цепляясь за слово, пошевелил губами Скutareвский и с негодованьем на память, которого не мог уже управлять, вспомнил: — Столыпина тоже в печень!» Представлялось кошунственным это неуместное воспоминанье, но он даже увидел этот газетный, двадцатилетней давности, лист, услышал его хрусткое утреннее шуршанье...

— Я мандаринов ему принес... разрешается? — разбитым голосом спросил он еще.

Тот замялся:

— Уж не знаю. Видите ли, ему сделана *лапоротомия*. Хотя... Словом, есть данные, что к ночи показатели сердечной деятельности...

— Я хочу его видеть, — непреклонно сказал Скutareвский.

— ...я распоряжусь, чтоб вас провели. В таких случаях мы не препятствуем... — Он взялся за трубку и сперва сказал кому-то, кто дожидался в телефонной очереди. — Да, но только впереди не двойка, а тройка. Что? Да, она выздоравливает. Пожалуйста.

И опять впечатления шли рваными, нестройными клочками: как будет, если разрубить книгу вдоль, поперек, по диагонали и читать подряд перемешанные треугольные обрезки. Человек, тоже в халате, шел впереди; лысый его затылок был худ, рыж и в веснушках. В углу, на первом повороте, уборщица мокрой тряпкой затирала линолеумный пол. Тихо очень было. В радиаторе отопления глухо шипела вода. В нишеобразном углублении дежурная сестра пудрила от безделья нос, — чтоб не заснуть. И, удивительно, Сергей Андреич теперь вовсе не примечал въедливого больничного запаха, который напугал его вначале.

— Здесь, входите тихо, — шепнул провожатый и приоткрыл дверь.

Скutareвский вошел, скорее — протиснулся в щель.

Молочный свет был тускл, а потолок однообразен. Одеяло сползло с кровати. Оно было сурово и шершаво наощупь, когда отец хозяйственно взялся за его край, чтоб поправить. На столике рядом не стояло ничего — ни пузырька, ни коробочки, и эта пустая стеклянная поверхность безнадежности сильнее всего, как бы наотмашь, поразила Скутаревского. Но, в сущности, и предметов здесь не было никаких, то есть они не запечатлевались в мозгу; в комнате помещалось одно лишь невесомое, искаженное и бесформенное ощущение — сын. И глядеть на него почему-то избегал первое время Скутаревский. Потом он опустился на стул, единственный, и осторожно, краем глаза, покосился на лежащего. Тот раскрыл глаза и, судя по рывку бровей, что-то понял, но не издал ни звука.

— Вот, пришел проститься, — разведя руками, сказал Сергей Андреич. — Я уезжаю сегодня. Хочу испытать счастье свое и рукоделье испытать. Если оно оправдается, великая польза будет народу. Тебе, наверно, запрещено говорить, запрещено? Ты молчи, говорить стану я... я пойму по глазам!

Одеяло не прикрывало Арсения и наполовину; отцу виден был его приподнятый, тщательно пробинтованный живот и ледяной на нем пузырь. Видимо, размеренно заканчивался в этом недвижимом теле начавшийся процесс. Так вот как оно происходит, *это!* Вряд ли Арсений уже имел право на свое старое, живое имя. Вещество его стыло и угасало; оно видоизменялось; оно больше не нравилось самому себе; оно просилось в поля, пространства, чтоб, растворясь в кислотах и ветрах, снова когда-нибудь воспрянуть — безразлично: — деревом, облаком или простенькой полевой ромашкой. Распадались его сложные соли, потухали магнитные поля, клетка теряла электрический заряд свой, и самый мозг превращался в бездейственное, стеариноподобное вещество. И потому весь разговор этот следует считать, пожалуй, разговором наедине с собой.

— Возможно, мы не увидимся больше. Я пробуду там не меньше полуторых недель. Ты сделал так, как хотел. Говорят, что всякий человек умирает, когда ему это необходимо... Враки, Сенки. Настоящие люди живут так, что не умирают и после смерти!

Какое-то вялое слово шевельнулось на лиловатых губах сына, и не его уловил отец, а лишь усилием рассудка

понял, что это и есть цвет цианоза. Впрочем, лицо Арсения стало живее, и какая-то лихорадочная влажность появилась в запавших глазах. Но была ли то боль или просто несогласие с доводами отца, было не поймать сразу.

— Ты не возражай, я же и не утверждаю, что я прав... в этом месте. Я не знаю, я борюсь, я живой, и никто не знает. Больно мне только, что так быстро закончилось скутаревское. Еще говорят: человек — производная его среды... но кто же сделал тебя таким, Сеник? Всегда мы были врагами, а почему? Я никогда тебя не обижал... хотя, правда, и приласкать тебя у меня нехватало времени. Я помню тебя, когда ты краснел даже при слове чужой неправды. В кого ты пошел, не знаю. Твой дед был скорняк, прадед тоже, еще крепостной. Барин Шереметев променял его на рысака! Их труд был изнурителен и вонюч. И нужно было долго мочить в известковом молоке, мазать овсянкой и мять, прежде чем рыхловатые тошнвые кожи становились хлебом. Он был скуден, его нехватало даже детям: земля, на которой мы росли, была бесплодна и тоща. Но никогда в нашем доме не раздавалось жалобы. Отец нещадно бил за это, он приговаривал: — «Копи в себе, копи...» Я понял смысл только взрослым... Я боюсь, мне горько утверждать, Арсений, он бил за это, кажется, и мать. Знаешь, матери чувствительны, им всегда трудно глядеть на голодного ребенка, а нас было пятеро — кроме меня. Отец!.. мы никогда не видали его спящим; он все скреб что-то и шил. Он сшивал свои ночи и дни, самого себя пришивал к чужим мехам. Вот я старик, а до сих пор мне снится его длинная, неустанная рука. И мы тоже мокли в этом зольнике... и то, что впоследствии мы познали разумом, мы познали прежде всего шкурой, которую выдубили голод и нищета... и снаружи, чорт возьми, и с бахтармы! Мы выросли, милый, прочными, черствыми, жестокими. Нам невнятно то, над чем еще двадцать лет назад взасос рыдали всякие *такие* барыньки. Мы смеемся над этим, мы солдаты, Сеник... Конечно, я сознаюсь, я говорю не то, что есть, про что я хотел бы, чтоб оно было. Но ты понимаешь меня: мы не можем уважать истерических поступков.

Он очень переживал свои слова, шея его вспотела, минутно он поправлял усы, и каждый раз не сразу понимал, откуда он взялся — настойчивый мандариновый

аромат; только весовое давление в карманах, смежное по ощущению, напоминало ему место и цель его прихода сюда.

— Молчи, молчи, Сеник. Я вижу, чем ты хочешь мне возразить, но не в партбилете же дело. Я тоже только профессор, с чудачествами которого приходится мириться, и, когда наркомы говорят со мной, они хитрят, они информируются обо мне у Черимова, а не от меня самого. Но зато они и не требуют от меня столько, как от рядового, кровного пролетария. Я делаю сам, я кустарь, как умею, мою жизнь. Да, ты прав, я выстроил громоздкую философию там, где они руководятся почти инстинктом. И в конце-то концов они правы; дядя твой, Петрыгин, факт или не факт?.. ты хмуришься. Хочешь, я уйду?

— Сиди... — Он не сказал этого, он только сделал знак глазами и опять закрыл их; недвусмысленные хрипучие обертоны появились в его дыханье; видимо, внутреннее кровотечение продолжалось.

— Так, значит, это правда... вот, о чем пишут в газетах! Я долго не верил сам, потому что — подорвать величайшую попытку перестроить мир — это правда? Правда — организовано сжигать народные усилия? Правда — сибирская твоя электростанция, правда? Должно быть политика делит мир совсем на иные молекулы, чем делим его мы, механисты, так сказать, физики и химики...

Арсений издал какой-то звук, даже не слово, и еще вслед за тем несколько таких же; ослабевший его голос был удален безмерно: их разделяла уже не только разница воззрений.

— Да, ты не знал тогда еще и сам, — понял его отец, — но после, после ты молчал? А ведь мы с тобой простые, низкие, мастеровые люди: что заработаем, то и едим. Какое нам дело до тех жуликов, что потеряли навсегда свои несправедливые сокровища! Драться за них нечестно, а нищему — и вдвойне позорно. Ну где же та людская шельма, которая тебя окружала и вела... а ты думал, что ты ее ведешь! Впрочем, прости, Сеник, я же не агитировать тебя пришел, но так уж вышло. Ты же камень-то бросил, и вот брызги из меня летят. — И он рассказывал стыдную историю своей битой надежды во всех ее подробностях. Они были как потухающие уголья, уже не раздуть их. И даже та разящая деталь, что он видел и знал все и

молчал — когда мать украдкой жгла его толстые книги, чтоб согреть больного ребенка, Сеника! — уже никого теперь не обожгла.

Когда он взглянул на часы, до поезда оставалось сорок пять минут, а следовало еще заехать домой, взять бумаги и переодеться. Он поднялся торжественно; татарские его брови треугольчато нависли над глазами. Потом он поклонился — низко, словно клал обратно в землю то, что однажды напрасно взял из нее. Рот его раскрывался сам собой наискосок, как разодранная рана: нужно было больно ударить по нему, чтоб замкнуть его.

— Ну, прощай, и ты тоже прости меня. Я мог бы вызвать к тебе еще врачей, но поздно... да и вряд ли это нужно тебе. Ну, не буду мешать, ты хочешь, наверно, сосредоточиться. А мне — ехать, я не могу отменить поезда. Прощай, Сенька!

Арсений лежал с закрытыми глазами, да Сергей Андреич и не нуждался в ответе. Кстати, все труднее становилось раненому думать: заодно с телом он прострелил и мысль свою... Еще недавно ему казалось: посещение неизвестной гарасиной могилы даст ему новую силу жить. Но ехать было трудно, ехать было далеко, и тогда, должно быть, он и выбрал эту самую краткую к Гарасе дорогу. И, возможно, для него это было вернее, чем просто нежелание служить классу, которого не понимал... Дверь за отцом закрывалась медленно; хотелось приказать ему вдогонку, чтобы не резали *потом*, — отвратительно было Арсению самое представление о скальпеле патолого-анатомов, но, в сущности, то было даже не предрассудком, а лишь последней зацепкой за жизнь. Дверь закрылась; в безразличной тишине белой комнаты растворились отцовские шаги. На ходу слергивая с себя халат, Скutareвский побежал по коридору; времени оставалось катастрофически мало. И, пока спускался бегом по лестнице, взволнованно ероша усы, встретился с человеком, который быстрым, зорким взглядом обмерил его и отвернулся. Под наглухо, до самого горла, застегнутым халатом ловко двигались великолепные военные сапоги; видимо, один и тот же пошел на них кусок кожи, что и на портфель, слегка поскрипывавший на ходу. Человек этот явно боялся опоздать, равно как и Скutareвский. — Повидимому то был следовательно по особым делам.

...шофер заждался. В счетчике глухо отщелкивались гривенники и рубли. Пассажир грохнулся на сиденье, и тотчас же заскрипели в машине вставные челюсти. Скутаревского качало, возносило к матерчатому небу, ударяло о стенки на поворотах. Неподвижные подобья линз, смотрели впереди себя его подпухшие глаза: последние дни, в связи с отъездом, он вставал рано; может быть, ему хотелось спать. По сознанию елозили какие-то размытые зрительные композиции все того же вещества, трагедию которого он только что посетил. Он не отказывался от своей электромагнитной теории жизни... но если это самое вещество скорбело и ныло в нем теперь, если оно могло неистовствовать в зависимости от того, в каком сочетании стояли две заостренных металлических полоски на белом экране циферблата, если, прощаясь с Женей, он долгим и трудным взглядом задержался на ее надломленных детских губах — не значило ли, что новое, высокое, неизведанное качество приобретала та неживая материя, которую он знал, подвергал измерению, сгущению или рассеянию, которую прогонял через раскаленные нити ламп, видоизменяя по капризу, и которая пестрила теперь в его мозгу условными понятиями — то залетающих к нему кристалликов воды, то грубого булыжного вещества, по которому несло такое же мертвое вещество машины, то студенистой, непоседливой плазмы, налитой в английского сукна с бархатной оторочкой мешок — себя самого.

ГЛАВА 24

Кроме этого прямого официального назначения, поездка и по другим причинам была насущно необходима Скутаревскому. Она была бы бегством от самого себя, если бы главный, решающий перевал в его судьбе уже произошел; а когда-то в гостях, у Подушкина, он полагал в простоте душевной, что уже перевалил вершину. Это, впрочем, походило на правду, легкую и тем более обманчивую; все главные удачи были уже пройдены; низкое солнце стояло позади; затухало фанфарное эхо скутаревской славы, которая ни в ком уже не будила ни зависти, ни жажды соревнования; новые корявые самородные имена подбирались к зениту, и знаменье старой обветшалой

кометы не пугало уже никого. И когда в отдалении объявилось это квадратное, предназначенное для опыта, сорокакилометровое поле, он ринулся туда до срока, лишь бы скорей принять бой и опередить судьбу... Нет, именно навстречу ей бежал он, потому что удача сулила ему благополучное завершение и всех остальных его чаяний.

— ...профессор желает чаю? — спрашивал человек напротив.

— Может быть, попозже, товарищ... товарищ? Я все забываю...

— Меня зовут Джелладалеев... трудная фамилия, она дается легко только актерам: я заметил. — И улыбался, как бы извиняясь.

— Вы что же, бурят или узбек?

— Я туркмен. Так я все-таки закажу чай. — И весь этот разговор произошел расплывчато, как во сне.

Поездку эту при желании можно было истолковать и как бегство от Жени, если бы представляла теперь какое-нибудь значение эта запоздалая страсть. Требовалось слишком много всякого рода созвучий, чтоб из нее получилось то прекрасное стихотворение, которое издревле, на все лады, то в ярости, то в ревности, то в издыханье повторяет человечество. А прежде всего требовалось равенство, и хотя он всячески добивался этого, равенство их было мнимое. Из двух сторон слабейшей явно была Женья — безыменная девчонка, провинциальное существо и пока еще только замысел человека, макет его любви, выдуманный в унылой семейной камерке, с голыми ногами и еще у самого старта бегуны. Может быть, ее и не было вовсе, и только мысленные, силовые лучи Скутаревского, пересекаясь, образовали этот милый и ненасыщающий призрак. Ее мечтанья определяли ее самое. Ей хотелось иметь полупустую, свободную от вещей комнату и простой непременно кленовый в ней стол. Там неправильным треугольником разбросаны — наган, плитка шоколаду и ветка елочки в стакане; вот они, рифмы к девушке из поколения, которое пришло на смену Сергею Андреичу. Может быть, если найдется место, на столе лежит еще книжка Скутаревского; у Жени нет знаний прочесть ее, и оттого книжка всегда нова в ее воображении. Булка и яблоки — вот ее пища, пища богов и кроликов. Желание делать пользу,

еще не сформировавшееся до профессии, — вот ее простенькая и отдаленная цель... Та же самая беговая дорожка у него оставалась пройденной. А он был знаменитость, член горсовета, научный — так сказать — отец целой оравы сотрудников, директор, вождь, дед, индивидуй, величина и, хотя бесхвостая, но все еще комета... И так уж получалось: весь его житейский путь ступенчато приводил его к ее жесткой, нищей, еще несмятой кровати. Он разъярился бы, если бы ему показать, во что обратилась его борьба с *горой* и какими тяжеловесными смыслами он нагрузил случайную, шальную встречу с милотвидной девчонкой.

Нет, еще следовало спорить об истинных причинах, которые увели его из семьи, которые заставили его, подобно вору, в запертом кабинете разглядывать анкету Жени. На этом пухлом, соломенной бумаги, листе он отыскал третий вариант догадок, которого не мог заранее предположить. Она была дочь мелкого кооператора, член юношеской организации, — выход из нее она пространно объясняла отказом в путевке на учебу. Ее посылали на работу, которая не прибавляет знаний и не молодит; тогда она решила пробираться сама и пешком отправилась в столицу из крохотной подмосковной провинции. Анкета не требовала таких подробностей, и если Женя шла на такую щедрую откровенность, значит — знала, кто первым прочтет ее признания. И снова — бежать от нее теперь означало бежать ей навстречу.

— Поезд сильно запаздывает из-за заносов, — повторил спутник; сказать он хотел что-то совсем другое, и, в сущности, первая его реплика была о том же.

Сергей Андреич впервые со вниманием всмотрелся в провожатого своего. То был сухощавый, в военной форме, ловкий и чем-то замедленный человек; с самого начала пути он был внимателен, вкрадчив и молчалив, — должно быть, эти качества и способствовали его успехам в военном ремесле. Культура и городской отпечаток смыли с него прежнюю кочевую смуглость, и даже некоторая раскосость глаз представлялась скорее признаком индивидуальным, чем расовым. Только руки его, огромные, темные, с застарелыми желваками и рубцами в ладони, указывали, откуда он пришел в свое высокое воинское звание. И, глядя на него, Скутаревский думал рассеянно: чорт

их знает, какие стихийные национальные залежи раскопала эта неистовая власть!.. Страдая от безмерного уважения к имени ученого — и тут просыпался в нем кочевник, впервые увидевший могущество человека в мире! — Джелладалеев поминутно неуклюже и трогательно старался развлечь чем-нибудь черное профессорское раздумье; его секретно предупредили перед отъездом о постигшей Скутаревского катастрофе... И вот, как бы отдавая дань вежливости, Сергей Андреич смотрит в окно и сперва видит в черноте стекла только блестящие пуговицы проводника, устанавливающего стаканы. Потом он различает огоньки в снежных полях, клубы темных кустарников под насыпью и снег; накануне пронеслась метель. И, точно в порядке обмена вежливостью, каждый думает друг за друга. Джалладалеев думает, что взгляд Скутаревского направлен в сторону его воронежской родины: там в уездном городишке еще стоит, наверно, скорняжный домик и на березовой окраине, под круглым дешевым камнем лежит отец. Скутаревский вполне согласен: прекрасная ночь для обходного, наступательного маневра! И, действительно, небо было на редкость черное для конца зимы.

— Откуда вы знаете Кунаева? — слегка наклоняясь вперед, спрашивает Сергей Андреич.

Тот улыбается, и ему видны его крупные, кое-где в золото одетые зубы.

— Он был военкомом той бригады, которой командовал я. Это давно, еще на польском фронте. На всякий случай мы не порываем связи. — Его непривычный уху акцент придает железную значительность его речи.

— Великолепный экземпляр человека! — говорит Скутаревский.

— Настоящий пролетарий, — на свой язык переводит его спутник, и ему, видимо, приятно говорить о друге с таким известным человеком.

Скутаревский думает вслух:

— Странно: поезд идет, минуются какие-то баснословные полустанки, а мы так мало знаем про отдельные части паровоза, который нас везет. Кунаев!.. он так всю жизнь и пробегает в своей кожаной куртке. Чорт, и не холодно ему?

Спутник смеется:

— Нет, он привык... он любит холод. Текущей зимой товарищи, шутки ради, на съезде подарили ему вкладчину полушубок, и через неделю он опять...

— Пожалуй, это и правильно: надо, чтоб человеку было неудобно, — тогда он ищет!

— ...было племя в Средней Азии, таа-зы. Они надрезали ухо себе перед битвой, чтобы быть яростней. Повидимому, это будит злость...

Так, приятно поговорив, они мысленно снова разбрелись в разные стороны. Оба глядели в окна, и, хотя укачивали мягкие бархатные сиденья, вовсе не хотелось спать. В продолжение целой полуминуты оба видели за леском перебегающее на облаках клочковатое зарево: дружным костерком полыхала где-то невдалеке деревня, но ни один не обмолвился и словом. Опять текла в окне однообразная полоса древесных насаждений, и Сергей Андреич снова возвращался к своей горе. Сошествие с нее представлялось ему непосильной задачей: черная тень как бы от громадного каменного облака неотступно висела над ним в пути.

— ...выйдем на станцию, профессор? Погуляете... а я тем временем ругану, кого следует, за опоздание.

Желтый, скучный свет, налитый в круглую склянку, сочился на обширные сугробы; перрон был завален ими. Снегопад еще продолжался, но хлопье стало необильное, мокрое, — последние остатки сыпала из кузова своего зима. Беззвездная тишина куполом обступала станцию, но всюду, вплоть до красного семафорного огонька, пространство было затоплено мужиками с лопатами и в лаптях. На соседнем пути ждал очереди другой поезд, также застрявший из-за заносов.

Люди с окаменелыми от сна лицами проворно сновали от поезда к вокзалу и обратно, таща что-то в бумажках, бутылках и чайниках. У каждого была в этой ночи своя суровая дорога, — ни один даже не оглянулся на девочку, которая отбилась от матери и плакала на высокой стекляннот ноте. Рядом с нею стоял транспортный, в долгополой шинели, чин; он поглаживал маленькую по голове и любознательно поглядывал на бесстрастного иностранца, который торжественно нес куда-то в неизвестность рыжий чемодан, оклеенный ярлычками заграничных отелей. Сбоку его в прихромку бежал волосатый, местного

происхождения дед в мохнатой шапке, которая служила как бы естественным продолжением самого лица. Он совал в руку иностранца грязную, полуистлевшую записку — прочесть. Никто не потешился этой занятой двойцей, да, пожалуй, и некому было в суматохе, кроме одного старичка в укромном уголку, близ багажного сарайчика. С напыщенным и сомнительным благородством он держал в вытянутой руке серую пенсионную булку; почему-то верилось, что, если вышибить неподвижную, в рваной варежке, руку, булка осталась бы висеть, накрепко при мороженная к этой точке пространства.

Скутаревский шел неторопливо, вразрез привычке, точно производил смотр этой голой ночной правде. Булка в рваной варежке привлекла его внимание.

— Халло! — сказал он, останавливаясь, потому что имел достаточно времени.

— Меняю на мыло, — шершавым простуженным голосом ответил старик и пристально глядел мимо, на проплывающий чемодан иностранца.

— А деньгами принимаете? — почтительно поинтересовался Сергей Андреич, тронутый то ли пронзительной нищетой, то ли редкостной лодырной разновидностью.

И уже шарил по карманам мелочь, когда дернули его за локоток. Он обернулся с недоумением, которое рассеялось не сразу. Трудно было после долгой разлуки признать этого усатого здоровячка в тулупчике нараспашку. Ясно, он был тоже не из здешних; ясно, он был из соседнего поезда; он испытующе взирал на Скутаревского, и под дремучей бровкой его теплилось смешливое, хитрецкое лукавство.

— Пойдем, Сергей Андреич!.. это жулик. Тут разведки большие идут, руду ищут, иностранцев много, — вот на них он и охотится. Он и на прошлой неделе тут стоял, тогда только толстая книга у него была. У него здесь двое ребят работают... Бывший, негодный человек он, — пойдем. — И смеялся, смеялся, тешась недоумением Скутаревского. — Ты меня, Сергей Андреич, завсегда в одной коже да в бороде видал, вот и не признал сразу. Пойдем, я чайком тебя угощу. Чай у них, надо сказать, местного производства, но ведь горяченькое... Огонь-то везде греет!

Было невероятно встретить здесь, в черноземном захолустье его, Матвея Никейча, соучастника многих банных,

в римском стиле бесед. Но тот, вчерашний, был иконописен, почти отшельник, и по неповоротливости разума объяснялся лишь тезисами, которыми и действовал словно топором: бывало, только щепа от него летела, да и мало-вато бывало пользы от топора. Какая-то решительная подмена произошла в нем за зиму, — слова у него рождались легко и звучно, точно пересыпаемое зерно; приятно была его горячая, без тени кумовства, радость, с которой он подошел, и, когда распахивался на нем незастегнутый тулупчик, обнаруживалась ластиковая рубаша, вся в мелких, нарядных цветочках: только птичьей песни и недоставало на ней. И, наконец, вовсе уж примечательно было, что вот бывший банщик ведет в буфет общеизвестного физика, чувствительно поддерживая под локоток.

— Слышал про тебя, Матвей Никеич. На высокого коня вскочил.

— ...а баньки-то жалко: у воды всегда привольнее. А вот, произошло, послали подшефный колхоз проведать! — щебетали птички, что прятались где-то в Матвее Никеиче. — Музыка им привез, радио, книжки...

— Ну, и как на поверку?..

Матвеева ладонь оторвалась от рукава, и профиль его стал сломанный, сумрачный, сердитый. Из-за угла ветром ударять стало на платформу; Матвей застегнулся на все крючки, и сразу умолкли в нем птичьи хоры.

— Разно, милый, разно. Дураков честных много развелось. Проныры не страшно, его видать, и пятерня сама к нему, как к магниту, тянется, а честный — спрятанный. В день, как уезжать, трусики в кооператив привезли, черные и в розовую полоску. Это накануне-то сева... и ни гвоздя, ни сахаринки на всю округу, а все только трусики!.. малость покричать еду в столицу.

И вдруг перечислять принялся скучные, темные цифры невыполненных процентов, а Сергей Андреич слушал с жадным, сконфуженным вниманием. И не то поражало его, что Матвею интересно все то, чего сам он трусливо сторонился, а то — что по своей воле убежал из надменной дикарской пустыни в самую толкотню сложнейшего социального маневра. Он шел и улыбался, — может быть в ответ мыслям своим о великом одиночестве человека на земле. И всегда так бывало: жизнь оказывалась хитрее его предположений, и даже зная механику и расстановку

участвующих сил, он никогда не умел предсказать подробностей последующей минуты. «А Лаплас-то, все-таки, диалектики и не нюхал... Жизнь никогда не упрощается до параллелограмма».

Они выбрали место у стены, выкрашенной диким, первобытным колером и сплошь в отеках сырости. Тотчас Мятвей Никейч убежал за обещанным угощением. Шумно было, как нарочно, и в шуме этом приглушенно мерцал дребезг комендантского звонка, когда открывали дверь. По полу, густо заслеженному снегом, струился мокрый холодок; в дверь поминутно входили. Скутаревский огляделся, — кабинетного человека, его всегда отпугивала откровенная простонародная жизнь; да и теперь давалась ему трудно крепкая, настояная новизна ощущений. — За соседним столиком, в углу, сидела плотницкая артель. Их было пятеро. Тяжелая ремесленная упряжь — монументальные фуганки, скобеля и пилы в берестовых чехлах — вросла, казалось, в их серое, бывалое тряпье. Суровая праздничность лежала на их лицах, — с такими когда-то, при царях, пешеходило на богомолье неграмотное российское племя. Бородат из них был лишь один, наверно — самый смиренный и пуганый. Селедка, по шутке на брата, красовалась на столе, замкнутая в сторожевой круг из пяти стаканов. Они ели, рвя ее прямо руками и зубами, и терпеливо запивали сидром... Имелся там и шестой, но стакана на него не было. Он был чужак, бывший человек, им заведомо пренебрегали. Старинная, еще диагоналевого сукна, поддевка носила на себе печальные следы хозяиновых скитаний: ночевать ему, видимо, приходилось где попало. Весь он был явно гиблый, и одни только валенки с калошами, которые невыразимо сверкали резиновым лаком, могли служить предметом зависти для этих путешествующих в социализм мужичков.

Он сидел грустный, кося нетрезвый глазок на соседей, эпическое спокойствие которых возмущало его. Время от времени он сдергивал с головы лепешистое подобье кепки с жокейским козырьком и, щелкая ею по краю стола, требовал себе вниманья:

—...и вот, скажем, продал я доктору Саломатину последние полпуда масла, а дальше? Многоуважаемые люди, что со мной будет дальше?.. Кончина?.. но я ж не хочу! И отродясь мне не везло: други мои все жулики,

папа мой погибнул от продолжительного туберкулезу, в грабилровку я девять раз попадал, и даже фамилия моя с неприличной буквы начинается. Одна мама только и осталась у меня: глядите, жулики!

Всхлипывая, он тащил из кармана заерзанную фотографию пожилой и дородной женщины, в кофточке на-выпуск и с полнокровным добряцким лицом. Карточка не сразу просовывалась из рваного кармана, и это обстоятельство будило в нем пьяную досаду. Мужики безразлично брали выцветшую картонку, сумрачно глядели на его маму, передавали соседу; один пробормотал под нос себе: «Н-да, возразить не имеем... мама и есть!» Другой просто попробовал картонку ноготком, — картонка оказалась жесткая. Карточка обошла полный круг и улеглась на краю стола, никого не взволновав. Плотники сидели без движения, точно боялись растратить попусту заготовленные на продажу силы. Только один, самый рослый и щетинистый, уговорчиво откликнулся ему:

— Да нам не надо, что ты говоришь-то, не надо. Нужен ты нам, как пляшивому гребень, пра-а. И чего ты бьешься, опоздалый ты в жизни человек? Плотники мы, на Магнитку мы едем. У нас вся волость там, во! — И поразмыслив над судьбой опоздалого человека, прибавляя тихо и настойчиво куда-то в самое темя мамина сына, усаженное редкими розовыми волосиками: — Продай бы ты валенки-то, милый ты гражданин, куды тебе такая роскошь, пра-а....

Тот не отзывался, и тогда круговой, скупой — точно стоил денег, начинался разговор; так на зимнем ветру шуршат сохлые листья:

— Сказывано: гора лесом поросла, и из-под ей берут железо.

— Катькин деверь пять сот заработал. И гармонь трехрядку, — нежно, как свирель пастуха, пел другой.

— Там уж не подремлешь, — глухо и угрожающе прибавлял третий, щупая окоченелую ветку туи, что стояла тут же в кадушке. Он понюхал пальцы и досказал зло-веще: — И вода-то, поди, ржавая от железа.

Четвертый, что беспокоился о валенках, погибающих зря, отзывался с созерцательной усмешкой:

— Чудно, огромадные миллионы, и все спешат. Даже блоха, конкретно, шибче кусать стала. Это тоже *хотя!*

Пятый, в бороде, ершился, поправляя пилу, и без того накрепко, до боли привьюченную за спиной, и конопатый носик его заметно белел от волнения.

Скутаревский развернул было газету, но тут вернулся Матвей, нагруженный черствыми прошлогодними яствами: самоубийственно было бы поглотить и половину их, но, должно быть, расточительная радость встречи одолела прочие соображения. Едва они принялись за дело, снова, уже не без буйства, затормошился гражданин в диагоналевой поддевке. Сергей Андреич с любопытством обернулся: чем-то напоминал Штруфа этот человек, — один и тот же цвет был у этой горелой человеческой трухи... Вызревал в нем поглощенный хмель, и, видимо, фининспектор со всей его оравой приснился ему за краткое мгновение дремоты:

— Эй, вы, еноты!.. вот он я, дивуйтесь, последний нэпман на вашей паршивой земле. Один торчу, как на песке былинка... Эй, почему сполоха не бьете? Где, я вас спрашиваю, где Гаврилов Петр Савельич?.. где Букасов Ганя и его бесценный товар на семь тыщ довоенным золотом? Сожрали... еноты вы, еноты! Ну, до мово не доберетесь, крепко спрятано. Ага, молчите, прошибло? Вот я ухожу от вас, и отныне станете вы жрать маргарин по карточкам, купидоны вы, сукины дети!

И опять никого не затронула его ругань; кстати, не шибче шопота звучал в общем грохоте подшибленный его голосок. Но что-то темное и жесткое мелькнуло в лице Матвея Никеича и тотчас растворилось в краткой, даже восхищенной усмешке. Консервная коробка, которой хотел он заняться ввиду отказа Скутаревского, так и осталась стоять с воткнутой в нее вилкой.

Он покачал головой, как бы преклоняясь перед мужеством такого небывалого удальца:

— Ишь ты! — и снова великое множество птичек проснулось в его голосе, но теперь птички были железные и с зубами. — Живешь ты и ничего не страшишься. И где ты обитаешь, такой веселый... в гости бы к тебе побывать!

Тот хохотал:

— ...живу. В крепости обитаю. Наезжай, выпьем! У села Люксембургова хуторок в лесу, знаешь? Богданов я, слышал?

— Ишь ты, Богданов. Как же, как же... — уважительно бормотал Матвей и огрызком карандаша, который вдруг

родился в заскорузлой раковине его ладони, записал что-то в книжечку. — Люксембургово... это в Ульяновском районе? Очень хорошо. Ну, запасай угощение, приеду...

Но писал он еще долго, плохо владея непривычным инструментом, а тот следил растерянно за кривыми строками, прыгавшими по мятому листу. Мужики отвернулись: они были ни при чем, они ехали на Магнитку... Значит, так и не суждено было на этот раз побеседовать о высоких предметах; едва успели наладить прерванный разговор, подоспел Джелладалеев, — поезд их отправляли вне очереди, через две минуты. Матвей побежал проводить их до вагона. И, как только поднялись, гражданин в жокейской кепке резво побежал сбоку, хватая Матвея за рукав и умоляя вычеркнуть его из книжечки: разом протрезвила его трусость. Не ведал он ни имени, ни чина этого молоджавого старика, но воистину страшна была в его положении любая, сделанная про него запись. С вытарашенных губ летели какие-то изуродованные паникой слова и, наконец, очень неожиданная формулировка, что, кроме всего прочего в жизни, является он *детским отцом*.

— Да не проси, приедем... — отмахнулся от него Матвей Никеич и уже у самого вагона в последний раз взглянул Скутаревскому в глаза. — Племяннику ничего про меня не рассказывай. Пушай ране времени не ездит...

Поезд двинулся, Матвей Никеич проводил его пристальным, хозяйственным взором. Когда он обернулся, нэпмана уже не было: возможно, с высунутым языком мчался он на хуторок перепрыгивать свои сокровища. Неторопливо Матвей вернулся к опустелому пиршеству. Плотники еще сидели. Кучка обсосанных селедочных костей лежала на фотографии нэпмановой мамы; они закрывали ее целиком, и только руки мамыны виднелись изпод объедков, обрядно сложенные на животе, как и полагается мертвецу, а сбоку уже кралась к ней желтоватая лужица ситро...

Матвей Никеич обмерил плотников глазами, — те сидели выжидательно и терпеливо.

— А ну... уехал мой гость. Большой головы человек. Малому у нас особого поезда не дадут. Ну, садись до-есть, ребята...

Временное руководство институтом пало на Ханшина, и тогда возникла обманчивая очевидность, что только Скутаревский мешал ему ближе сойтись с Черимовым. После отъезда директора сразу совпали их практические устремленья, и хотя то было простым совпадением, но именно в этот период времени институт передал народному хозяйству два крупных своих достижения. Первое относилось непосредственно к высоковольтной передаче по проводам; второе, черимовское, было то самое, на которое надоумил его Кунаев. Почему-то как раз в отсутствие Скутаревского поползли злостные слухи, что в начальство назначается Черимов, а бывший директор получит только лабораторию; требовалось проявить немало усилий, чтоб затушить эту провокационную сплетню в зародыше. Черимов и сам понимал, что только при общей технической отсталости можно было назвать открытием его изобретение; за границей подобные аппараты уже вступили в фазу промышленного использования. Вдобавок открытие это, расцененное провинциальной печатью как научное событие, целиком вытекало из работ самого Скутаревского над высокими частотами; не было особой хитрости в том, чтоб воплотить их в тигель, спирально обтянутый проводом вокруг футеровки. Так уж, видно, полагалось — почитать Рентгена и пренебрегать безвестным именем Ленара! Повторялась давняя история с учеником, который надоумился использовать отвлеченный от практики опыт учителя... Впрочем, причины всеобщего восхищения лежали, пожалуй, в другом плане; от института давно уже ждали конкретной работы, и опубликование двух новостей этих газеты восприняли как частичную оплату давно просроченных векселей.

Об этом больше шумели в широкой печати, чем в научных кругах; газеты же приводили краткую, но поучительную биографию молодого ученого, украшенную, правда, не перечислением научных работ, а указанием на количество его общественных нагрузок. Кстати, фотографии перепутал метранпаж, и заместителем Скутаревского оказался пожилой детина в окладистых усах и промасленной кепке. Черимов же объявился старшим мастером

станкостроительного завода, перевыполнившего квартальную программу. И все читали, и никто не замечал — даже сам фотограф. Повидимому, фокус этот мог произойти и в действительности, и, как острили матерые анекдотчики, перемена произошла бы без особого ущерба для дела. Таким образом, враги черимовские, каких он успел вдоволь себе приобрести, метили поверх него в некоторые вещи посущественнее... Один Скутаревский, получив газету, много смеялся и за обедом так и объявил во всеуслышанье, что в его отсутствие рубль разменяли-таки на двугривенные.

Меньше всех участия в этой шумихе принимал сам Черимов. Яростный противник всякого *прометейства* — и этим словом он попадал сразу в Скутаревского, — он всюду отстаивал взгляд, что под всяким изобретением должна подписываться вся масса сотрудников, а не один только его вдохновитель; а принимая во внимание преемственность технической культуры, он непрочь был поделить свою победу и со всеми теми, кто до него истратил жизнь свою на том же поприще. И если тешило его что-то в этот день, то не эта скоропалительная слава, а скорее пути, которыми она делается. Утром, еще в кровати, он просмотрел газету, иронически улыбнулся на заголовок статьи «О наших будущих академиках», проверил — напечатано ли запоздалое соболезнование Скутаревскому по поводу постигшей его утраты; редакция объявления составлена была туманно. Впервые выпавшись за всю декаду, Черимов зевнул и потянулся: кстати, гибель бывшего приятеля не особенно огорчила его; ничто не противоречило его логике, которая, конечно, была в данном случае его собственной, конституциональной логикой. Притом же дружба с Арсением осталась написанной на вчерашней странице, а жизнь неоднократно заставляла его перелистывать и не такое. Он откинул газету и спустил ноги на пол. Они были сухи и жилисты, ноги спортсмена; приятно было самому испытать наощупь, как плотно и гибко одевают мускулы их костную арматуру. Вдруг он засмеялся, вспомнив недавний сон; он длился всю ночь и — о сон партийца молодого! — состоял из одного не совсем почтительного разговора с Каутским. Старик бубнил что-то о перерождении, Черимов злился и наседали; и хотя уже успели померкнуть ночные настроения, рука

еще оставалась сжатой, точно не хотела расстаться с клочком чужой пушистой, начисто выстиранной бороды.

Должно быть, возню его услышали за перегородкой:

— Николай, — кричала Женя, — где чай?

По ее расчетам очередь вести хозяйство приходилась сегодня на него.

— Об этом следует спросить вас, Женя.

— Я готовила вчера.

— Но вчера я не пользовался вашими трудами, — и правдоподобное возмущение слышалось в его голосе. — Я уехал на завод, когда вы еще спали. Вчерашний день не в счет.

— Вы становитесь лентяем, товарищ Черимов. Это вдвойне позорно для рабочего, который...

— Да, но я являюсь вашим начальством. И даже получаю на тридцать рублей выше вас.

— Ага, день начинается с неприкрытого зажима самокритики...

Так забавлялись они этой ребячливой перебранкой. И, может быть, оттого обоим было радостно, что то был первый день весны, солнцеворота день. Окно Черимова глядело на северо-запад; залитый солнцем мир обольстительно сверкал вот тут же, рядом, точно одетый в голубую праздничную рубашу. Цветные блики во множестве врывались в узкую его, гробового покроя, клетушку, и до безрассудства весело было читать по ним — о ворчливых, вспененных потоках, о раскисшей за городом и пахучей земле, о воробьях, суетливо чирикающих на проталинках, обо всем, что с неистребимой силой каждому припоминается однажды в год... Черимов открыл форточку, и стоголосый весенний гам, размолотый колесами далеких трамваев и гремучих грузовиков, вступил в комнату. Стало еще веселее в этом знобящем снопе воздуха, и теперь почтенный и затхлый титул академика звучал фальшивой монетой в сравнении с его нетитулованной, ничего пока не свершившей молодостью. Почему-то вспомнился ему тут Федька, которому так и не имел времени передать ящичек скутаревских сигар, но чем это было связано с весной и молодостью, так и не понял... Это был выходной день института, — в записной книжке не помечено было ни одного заседания: утренняя работа в лаборатории могла сегодня занять не более получаса. Приятно было

неторопливо обдумывать, как истратить несчитанное сокровище дня. В институте его, однако, задержали; кроме того, среди почты он отыскал открытку с тем самым бороатым писателем, которую, помнилось, много раз держал в руках. «Поздравляю с ангелом дорогого племянника!» — писал дядька, и Черимов понял, что Матвей Никеич в свою очередь предпринимает контрнаступление на него.

Из лаборатории Черимов вернулся только к полудню. Дверь оставалась незапертой. Тонкие междуконнатные перегородки не составляли препятствия звуку, да еще такому пронзительному. Повидимому, у Жени сидел гость, еще не известный Черимову, — он и говорил, предоставляя Жене возражать лишь в те кратковременные передышки, когда самому ему захватывало дух от скороговорки.

Голос ее дрожал:

— ...Когда я уходила, вы сказали мне: скатертью дорога!

— Да... но мы не предполагали, что ты дойдешь до того, чтоб стать любовницей спеца. Мы не хотели исключать тебя только за твой отказ ехать базным работником, и потому на сегодня ты позоришь организацию!

И опять защищаться пыталась Женя, — так барахтаются в воде утопленные котятя:

— Это неверно, он учит меня. Я учусь. Я ушла от вас учиться.

Но еще больше раскалялся тот в своем правоверном гневе:

— И это неумно, дорогой товарищ. Он не репетитор, чтоб тащить за уши наших недорослей: это уклон, от которого пора отказаться вчистую. Он должен оправдать ту цену, которая за него дана, — эти штучки пора бросить! Мы и без тебя овладеем наукой и научимся делать своих академиков, как паровозы, да, да!.. и станки. Да мы уже имеем их, своих пролетарских академиков. — Лозунг этот он тем же утром прочел в газете, но, разумеется, не мог предполагать, что сам этот будущий академик с улыбкой слушает его за дверью. — И если бы ты отличалась большей политической грамотностью, — да, да!.. ты поняла бы, что спеца надо использовать на все сто... нет, на тысячу процентов!.. по специальности. Я бы даже

разгрузил их ото всех общественных нагрузок, я бы их, напротив...

Кажется на этот раз Женя собралась с силами:

— Ты опять глупости говоришь, Ефим! — Она не посмела указать, что глупость эта и оскорбительна. — Он не из тех, которых мы собираемся судить. Слушай же меня, слушай... или... или я уйду от вас совсем и выгоню тебя сейчас!

— Ага! Стилль твоей угрозы вскрывает твою классовую сущность!

— ...я выросла вдвое с тех пор, как попала к нему. Я сама постепенно вступаю в научную работу... — И, судя по шелесту, наверно, листала свои тетрадки, полные учебных записей. — Он хвалит меня...

— Понятно: семейственность... — хрустнул мальчишеским негодованием женин собеседник.

Он сообразил, что слишком размахался и результатов мог добиться обратных тому поручению, которое имел от своего начальства. Смутясь, он долго кашлял, хмыкал и шагал по комнате. Женя вдруг спросила его:

— Тебя послал Жиженков?

— Это не существенно.

— Я спросила потому, что организация в целом не могла поручить тебе таких слов. Это грубо, грубо... Когда я вернусь, я сделаю одно сообщение про вашего Жиженкова.

— Ага, итак, ты возвращаешься!

Черимов тихо прикрыл дверь и вышел. Он прошелся по двору, осмотрел работы по расширению нижней, кабельной мастерской, простоял просто так посреди двора, запрокинув голову в небо, посвистал, потер щеки, которые щекотало морозцем и солнцем, усмехнулся мысли, что вот ему уже и тридцать один, а он все еще не женат: никогда не удавалось больше получаса в месяц выкроить на любовь. Весна лежала кругом, как огромный голубой сугроб... но, должно быть, всегда обманчивы первые ощущения весны. Морозом схваченный снег был хрусток и льдистошероховат; он крупичато рассыпался в ладони, и тогда казалось, что держишь на руке горстку жидких, текучих искр. И хотя в небе полное, как желток в эмалированной сковородке, лежало солнце, до настоящей весны было еще далеко; он был голоден, и тем объяснялась неожидан-

ность сравнения. Черимов подумал, что междугородный хоккейный матч, объявленный за месяц вперед, наверняка состоится. И оттого, что заранее решено было провести этот день совместно с Женей, он еще раз зашел домой.

Гость еще сидел, но беседа вступила в фазу настороженного перемирия.

— ...я хочу вернуться такой, чтоб Жиженков не посмел меня гнать, как это случилось...

— Оставим личные моменты, — перебил тот, — и резюмируем сказанное. Ты должна перевоспитать своего спеца, дать ему веру в работу и сделать ее возможно более интенсивной. Мы не определяем заранее формы ваших отношений, но... — И опять стрельба из детского пугача послышалась в его голосе... — детей от него не нужно. В этот переходный период, когда старая интеллигенция в целом...

— Как тебе не стыдно, Ефим!

Кажется, перемирие кончалось, и Черимов решил войти: без вмешательства третьей державы драчуны не унялись бы до вечера. Хоккей начинался через полчаса, и потом следовало все-таки выручать Женю. Гость встретил его пристальным, колючим взглядом, что ему, вообще говоря, плохо удавалось. Был то смешной парнишка, безусый совсем, с необыкновенной по густоте и размерам шевелюрой, и еще казалось, что веснушек у него на лице было больше, чем самого лица.

— Женя, нам пора.

— У нас серьезный разговор, — беспощадно отразил гость.

— Случайно я слышал часть его, — сказал Черимов, напуская на себя то же самое выражение: он боялся расхохотаться на эту вихрастую, щенячью юность, в которой отдаленно узнавал вчерашнего себя. — Вы напрасно мучаете Женю. Она несет очень полезную и зачастую весьма ответственную работу...

Паренек посмотрел на Черимова с пренебрежением; чистый воротничок и отлично выбритые щеки этого молодца внушали ему необоримое подозрение. Для него это и был осколок той страшной среды, из которого он поклялся Жиженкову вытащить Женю. Он опять запетушился еще решительней и задиристей, решась, повидимому, разить наповал:

— Да, я понимаю, на что вы намекаете... — Он приметил жесткую, недобрую гримасу в черимовских губах. — Вы... член партии?

— Да... но вы-то игумен, что ли?

Тогда Женя, оправившись, перезнакомила их. Паренек смутился, услышав имя, которому два часа назад отдал дань своего выдержанного классового восхищения; он покраснел, привстал, сунул руку и вытащил — посмотреть время — часы. Они были громадны, с диковинно громким сердцебиением. Заметив молниеносную улыбку Черимова, он заволновался еще более, стал совать часы в кармашек, но она уже не влезала назад, эта мальчишеская улика. Теперь он много откровеннее посматривал на дверь. Чувства его поверглись в окончательный сумбур. Был он из той части молодого поколения, которая, не попав в гражданскую войну, тем большее благоговение испытывала перед ее героями. В конце концов неизвестно, из подражания им или от непримиримой левизны убеждений он носил такие негнушиеся в складках скрипучие кожаные штаны.

Теперь он готов был броситься на шею этому человеку в чистом воротничке, который сразу приобрел противоположное значение. Поэтому он сказал, сдвигая дрожащие брови:

— Да, я где-то читал про вас в газетах. Я постараюсь вспомнить. — И вдруг с разбегу, как в детстве — головою в живот старшему, уткнулся подозрительным взглядом: — а где борода..?

— Это я побрился! — засмеялся Черимов, хлопая его по плечу: все дело заключалось в метранпажевой ошибке.

Это была полная капитуляция, но, и уходя, тот еще ершился, хмурил сросшиеся у переносья брови и грозно пообещался еще раз произвести такой же переполох. Немудрено, что на Женю он произвел самое неизгладимое впечатление. Она казалась задумчивой в продолжение всего дня, и даже сидя на матче, больше вглядывалась, пожалуй, в свои собственные мысли, чем в то стремительное действие, которое происходило на льду.

Там за республиканское первенство дралась с Минском та самая команда, в которой когда-то состоял и Черимов. Старых игроков осталось только двое, остальные — была сменка, все молодежь, незнакомая ему. Еще невяпргашиеся полностью в жизнь, они средоточили на мяче все

свое неизрасходованное неистовство. Минутами почти падая, опрокидываясь под острым углом, — и тень насилу поспевала за ними, — они стремглав чертили размягченный солнцем, легкий лед. Должно быть, в том и состояло искусство игры, чтоб подражать мячу, который молниеподобно вычерчивал сложную геометрическую звезду. Порою он прорывался сквозь условную черту ворот, и тогда пел свисток — протяжным и как бы голубоватым тоном, который не противоречил ни матовому искренности льда, ни глубокой, разбежистой синеве неба. Плотные шеренги зрителей обступали место того чрезвычайного состязанья. Каток принадлежал металлистам, и можно было догадываться, что веселое это соревнование служило лишь завершением каких-то других... Черимов глядел впереди себя сощуренными, отяжелевшими глазами; когда-то и он сам отдавал этому полю пенистый излишек юности своей, но вот она миновала... и, когда с налету, хрустя и брызгая льдом, к нему подбежал кипер команды, он испытал беспокойную, ноющую тяжесть в ногах.

Может быть, признал тот издали знакомую, с наушниками, черимовскую шапку и неизменный белый свитер за распахнутым пальто?

— Вот, втыкаем Минску. И довольно успешно. А лед плохой... — сообщил он и помахивал клюшкой, тренируя руку на удар.

Черимов снисходительно кивал ему и смеялся беззвучным стариковским смехом:

— Это кто там... Ленька Козлов?

— Он самый, фанерный директор... что ж, старик навсегда, значит, сбежал? — и слегка подмигнул в сторону Жени, как бы улавливая смысл происшедшей перемены.

Но тут над самым ухом пронзительно запевал голубой свисток, и снова начиналась головокружительная гонка.

Впервые и совсем по-новому Черимов покосился на свою спутницу, которую великодушию его поручил учитель. Вряд ли она расслышала намек или заметила пристальное разглядыванье соседа. Слегка закинув голову, она как-то вскользь и жмурясь от света, смотрела в небо. Захватывало дух от его пространственности. Могучее гуденье наполняло эту круглую, вращающуюся неподвижность. Над совсем просохшими крышами домов, поверх

деревьев, у которых теперь страстнее, чем неделю назад, изгибались сучья, острым журавлиным клином летела самолетная эскадрилья. И образ этих невидимых пропеллеров, высверливающих дорогу в ветре, будил в ней такое же безмерное желание полета. Вдруг она вспомнила товарищей, которых покинула, и тотчас она подумала, что там, в безвестном провинциальном кружке, скоро, может быть через неделю, начнется тренировка. Она увидела себя в трусиках и с голыми ногами, она ощутила под ступней плотную, еще сыроватую дорожку трэка и жгучий, много раз изведанный сквознячок бега на коленях; она услышала клейкий запах, исходивший от березовой рощицы, что вправо от спортивного павильона, — и с грустью, которая не печалила, решила, что теперешней их коммунке скоро придет конец. Что-то заставляло ее, как и Черимова, приписывать этому первовесеннему месяцу могущество, которым тот никогда не обладал. А еще не прилетали грачи, и зябли ноги от близости льда; еще синие афиши возвещали о втором хоккейном матче, с Харьковом, и самые дни напоминали скомканные, неудавшиеся улыбки.

И точно, следуя генеральному изотермическому плану, солнце вдруг окуталось в мутное кашицеобразное облако. Лед и небо потускнели, подуло холодком, Черимов застегнул пальто; вспомнилось, что Федор Андреич настойчиво приглашал их обоих посетить открытие выставки, которую устраивал совместно с несколькими товарищами по судьбе и ремеслу. Ни от кого не было секретом, что его *Лыжникам*, которые должны были стать центром общественного внимания, моделью служили Женя и Черимов. Обоим это было в новинку — чужими глазами взглянуть на себя, и если бы даже знали о размолвке с художником, которую они унесут с вернисажа, все равно любопытство пересилило бы. Какой-то неостылый кусок давешнего солнца, волшебный его потенциал, еще держался в них. Они поехали на автобусе и всю дорогу, свирепо гримасничая, лопотали на каком-то забавном тарабарском наречии, которое придумалось само собою. Сухонькая старушка из породы тех, которые омывают покойников и обожают постоять в очередях, востроносенькая и с кузовком, благоразумно отсела от них на другое место; почему-то это придало новой силы их беспричинному озорству. И то ли действовал на шофера хмель вчерашней вечеринки, то ли сын — розовый и двена-

дцатифунтовый — у него родился накануне — вел он машину с таким преступным форсом и мастерством, что старушку на рытвинах так и возносило к потолку. Скоро она выползла совсем, и, хоть мало весила, вчетверо быстрее понеслась вперед опустелая колдовская эта коробка.

...они сразу увидели себя. Картина была огромна и по замыслу представляла эскиз одной из фресок, заказанных Кунаевым. Линия оврага композиционно делила холст по диагонали, и первое впечатление от нее было — движение и еще уйма лилового, закатом подсвеченного снега. Близка была весна, в мгlistой гуще можжевела потухала заря. В лесистую низинку, полную округлых сугробов, скользила лыжница. Она была прекрасна, и, волшебством гения, черный цвет ее свитера представлялся почти розовым. Длинное ее тело, утерав равновесие, почти переломилось и напряглось; казалось — еще мгновение, и она с разбегу зароется в этот белый хрусталистый пух. И становилось ясно, что в небе, разлинованном киноварью и золотом, происходило лишь наивное подражание этой скромной земной девушке... Сзади, согнувшись перед спуском туда же, в овраг, стоял юноша; возможно, Черимов и в действительности был когда-то таким; под белым, грубым тканьем его фуфайки угадывались великолепные, горячие мышцы, а на сумеречном снегу хищно чернели загнутые носки пьекс. Он ждал минуты, чтоб скользнуть вниз и там, где еще пылали снежные розы в заячьих следах, поймать девушку. Впервые в пореволюционной живописи, после изобилия батальных лубков, наивность которых равнялась их злободневности, радовал взгляд этот сверкающий апофеоз молодости и беспрестанного движения вперед. И уж во всяком случае никто до Федора Скутаревского, исключая разве фламандцев, холсты которых весят многие старинные пуды, не давал такого буйного и легкого торжества одушевленной материи...

...но у холста стоял человек с сутулой спиной; по пиджаку прорисовывались подтяжки и кривая унылая кость его позвоночника. Мелко облизывая губы или почесывая щеку, он выписывал в книжечку уязвимые места картины. Он был из тех, кого выгоняют из искусства с великим запозданием, только после многих лет их разрушительной деятельности. Целлулоидная оправа его очков светилась

много ярче его тусклых глаз, вплотную собранных у переносья. Постоянно испытывая некую необъяснимую обиду, он находил утешение в том, чтобы наводить цепенящий страх на вдохновение, и верно — это он прорабатывал перед смертью Шунина, громил Евлашевского, сломал Василия Зеркальников, и если уцелели прочие, то по причинам вовсе от него не зависящим. Так он торчал здесь, и зрела в нем начальная, ставшая классической впоследствии фраза статьи: «Нужны ли такие произведения пролетариату? Нет, они не нужны ему...» Участь Федора Андреича была решена; крупнейшая его ставка была осмеяна. Сам он стоял в уголке с покорностью во взоре и жевал себе палец. И опять, как в годы молодости, приходили приятели, целовали его, великодушно афишируя близость к зашиканному художнику; одни исчезали, их сменяли другие с неверными, жуликоватыми глазами, а ему мальчишески хотелось поверить в успех, — не тот, которым покупал его Жистарев, а в тот истинный успех, происходящий от признания огромной массы людей из другого социального этажа. Мутная одурь накатила на него от приятельских поцелуев, и вот уже сам не знал — успех ли это, или просто жалость, или, наконец, дружеский испуг перед размерами той хулы, которую завтра изрыгнет на него рецензент.

Встреча с Черимовым обрадовала его, — все-таки это был свидетель его искренности и душевного переворота. Это свидание служило как бы концовкой многих их бесед об искусстве, о его высокой роли в революции; не всегда эти споры протекали мирно, но всегда оба они становились умнее после них. Федор Андреич засуетился; он раздернул штору, чтоб уловить остатки угасающего дня; он шумливо повел гостей к своим работам, и тотчас же критик неподкупно вышагнул в дверь. Посетителей оставалось мало. Теперь они, трое, художник и его модели, стояли молча, с опущенными руками, перед картиной; она еще пахла краской.

— Вот, — сказал Федор Андреич, и губы его дрогнули, как у подсудимого перед последним словом. — Мало свету — только...

— Нет, света достаточно, — уклончиво возразил Черимов и про себя отметил старомодную тщательность работы. — Совсем недурно. Но зачем у нее разорвано трико

на коленке? Если сегодня мы и выпускаем не всегда приличную продукцию... Но ведь вы рассчитываете, наверно, что картина проживет дольше пяти лет.

Значит, провал был обеспечен, если и этот судья осуждал бесповоротно. Внезапно загораясь, художник заговорил что-то очень туманное и далекое от черимовской специальности, о теории пятен, о могущественной силе детали, доставляющей правдивость произведению, о распределении цвета, о какой-то там хрупкости живописной плазмы, о тысяче вещей, совсем лабораторных и потому не понятных никому, кроме него самого.

— Да... но в каталоге это помечено как проект фрески... Тогда — зачем сумерки? Пускай будет наш полдень, пускай лед горит и плавится под нашим солнцем... —

И тут же намекнул, что совсем не плохо было бы подчеркнуть производственную специфику картины.

— Что вы, что вы! — и даже руками замахал в полной панике Федор Андреич. — Что бы осталось тогда от моих лыжников? Именно сумерки...

И опять, в десятый раз, уже с меркнувшей убедительностью и нехотя он пытался объяснить, что помимо литературного содержания всякое произведение должно диктоваться и задачами чисто живописного порядка, если только... если... Он замялся, не желая ссориться в последний раз. В стремлении доказать свою правоту он открывался в гораздо большей степени, чем позволяло ему артистическое самолюбие. В пример он приводил торжественную, сумеречную силуэтность *Охотников* Брейгеля, которого втайне почитал единственным учителем своим. Решаясь даже на банальность, многократно скомпрометированную, он твердил что-то об абсолютности этих неистлевающих слов — весны, зимы, любви и смерти, ревности и радости — тех камешков-голышей, из которых на берегу вселенского неведомого моря выкладывает свои причудливые узоры художник. И уже в припадке художнической агрессии он грозил душевною цынгой тем, кто хоть раз пренебрег всем *этим*. Самые образы его были чужды Черимову, практику и стороннику точного мышления, но он тем охотнее кивал, чем больше не соглашался. Усталость и место мешали им заострить этот спор до очередной стычки.

Заодно они обошли и другие полотна, и тут выяснилось, что Федор Скutareвский несколько опрометчиво выбрал себе окружение; его компаньон, целиком увязавший в подражании дурным образцам всеевропейского живописного распада, изображал почему-то только обвислых женщин с непотребными лиловыми грудями; вряд ли это было только женоненавистничество. Рабочий и его жена стояли перед одним из таких сногшибательных опусов; мужу было смешно, но он крепился, и напрасно жена деликатно доказывала ему что *такое* случается в жизни, что у ее соседки после родов была такая же в точности грудь... Постояли они также у одного необыкновенного моря со шлюпкой на восьмигранных волнах; мелкое свое жульничество автор продавал как наступление на буржуазный академизм. Две тоненьких вузовки глядели на этот хаос, бесстрашно намалеванный прусской синькой, и одна, наиболее впечатлительная, произнесла вслух: «...как не страшно на лодке в такое море ехать!» Черимов стал прощаться; минуту Федор Андрейч расспрашивал его о брате, которого так и не успел повидать после катастрофы с Арсением. Он искал, кстати, спутницу Черимова, но та уже вышла, — вузовки узнали в ней *лыжницу* по портретному сходству. Выставка помещалась в здании педагогического музея; кассирша считала выручку, мусоля пальцы языком. Сумерки плотнели. Воздух походил на сырую вату. И когда Черимов вышел следом за Женей, совсем уже закончилась эта неопытная репетиция весны.

Ветер дул вдоль реки. Они шли по набережной. Обоим хотелось итти пешком и молчать. Пустынные, приземистые дома, бывшие лабазы, однообразно тянулись по их пути. Желтую старинную штукатурку шелушила непогода. На реке, продолбив дырочки во льду, сидели неунывающие рыболовы в ушанках и проплатанных чуйках.

Женя сказала:

— Как быстро это проходит... — И рукой в заштопанной перчатке махнула впереди себя, где танцевали редкие, запоздалые снежинки.

Занятый другим, Черимов не ответил. Картина Скutareвского не понравилась ему: все-таки она была не о том, за что героически боролась сегодня страна. Но, странно, она не забывалась, она волновала его и не только по

тому знаменательному действию, что вторично на протяжении дня открывала ему глаза на Женю. С почти аскетическим осуждением он вспомнил сдержанный эротизм *Лыжников*, наглухо зашитый в этот суровый снежный мешок. Он думал: разве это только — молодость? Но удивительно, теперь уже не противоречила его ощущениям спрятанная тенденция холста. И еще оставалась подсознательная уверенность, что где-то за кустами, отстав от молодых, плетется на широких канадских снегоступах сам Сергей Андреич Скutareвский. Но, как ни искал по памяти, не находил и намек на присутствие третьего лыжника. В художническом воображении они умещались только вдвоем, — третьему не было места, хотя бы то и был собственный его брат... Черимов шел чуть впереди и вдруг спросил, — туго натянутая струна прозвенела в нем:

— ...итак, вы полюбили его, Женя?

Было, может быть, и нечестно действовать в тылу у Скutareвского, но теперь Женя представлялась не только простой, пришедшей из неизвестности девушкой, но и частичей той отдаленной цели, из-за которой оба они состязались. Она ответила сразу, точно ждала вопроса:

— Не знаю, Николай. — Ей нехватало средств объяснить, как она понимает это огромное, так опошленное старым миром слово. Что это?.. взаимное, жестокое притяжение клеток или преувеличенное уважение, или благодарность за ласку, или недуг, происходящий от одиночества, или просто флуоресценция того клейкого, недолговременного вещества, в которое все мы одеты?

Старик на углу у проломных ворот, в которые лениво тянулась вереница ломовых саней, продавал мороженые яблоки. Они набили карманы этой дешевой сладостью, и в карманах стало холодно, точно купили всю зиму. Путь их был долог, как нескончаемо мог тянуться их молчаливый разговор. Мерзлая яблочная мякоть долго шекотала зубы, прежде чем раствориться в призрачную, водянистую сладость; кое-где на непромороженных бочках еще сохранился острый иодистый привкус.

— Я не знаю, — повторила она. — Ужасно шпрот хочется! — и снова умолкла. Шагов через сто она сказала еще: — Он ласков ко мне, а я с детства жила плохо. — Входя на мост, она продолжала: — Нельзя же говорить такие вещи просто так. Не слушайте, я говорю для себя.

Например, он сказал, что ноги мои похожи... нет, не думайте, он никогда не видел их! Но он говорил мне слова, от которых теряешь рассудок. Нет, я не знаю, Николай!

Она посмотрела на надкушенное яблоко: — фу, как десны от него щемит! Щемило десны и отдавалось в сердце.

Сама того не понимая, она по-детски выдавала тайну, на которую, в сущности, и сама не имела еще права; Черимова так и обдало жаром посреди знобящей, колючей мокрети.

— И... и он вполне честен в отношении вас, Женья? — непрямодушно спросил он.

Она остановилась и взглянула на него исподлобья. В ее глазах желтоватым отблеском ветреной вечерней зари светились упрек и горькая, обиженная нежность. Вдруг, наморщив лоб, она щелкнула его перчаткой по руке:

— У вас нос стал совсем синий. Он озяб, как беспризорник. Суньте его в варежку и молчите... молчите!

И сразу точно сгинула взаимная их, неестественная настороженность, сразу точно и не было злых этих пронзительных сумерек и временного отступления весны. Сплетя руки и чуть раскачиваясь, напевая вполголоса ту полувоенную песню, которую поют обычно колонны демонстрантов, они шагали прямо по мостовой, и весело им было продавливать на мерзлых лужах тонкий ажурный ледок. Должно быть светит солнце и в сумерках, потому что весна человеческая делается изнутри.

ГЛАВА 26

Тот же самый вечер в трехстах километрах южнее застал Скутаревского на открытой веранде. Она помещалась во втором ярусе усадьбы, на кровле нижней террасы, и с нее всегда был виден старинный, во всем своем вековом размахе липовый парк. Радиусами от площадки разбегались аллеи, залитые почернелым, ссевшимся снегом. Отлого понижаясь, они сводили к реке, которая круглила здесь свое русло, а за ней, на высоком нагорном берегу, ступенчато теснилось сплошное чернолесье. Старый владелец усадьбы обладал достаточными средствами, чтобы

даже в этой перенаселенной полосе поддерживать, прихоти ради, такую романтическую глушь. И хотя, появившись он теперь, никого не испугал бы ни вельможный пропойный бас, ни разужоренный драконами китайский его халат, мужики стереглись почему-то осваивать эти чудовищные просторы. Лес походил на заповедник, и среди прочей живности, по слухам, доживал в нем скорбный век какой-то престарелый, здешнего происхождения чорт. Щедрый собеседник мог разведать также при желании, что партизанская орава, гоняясь тут за одним мамонтовским осколком, изловила якобы однажды этот шерстистый предрассудок и целый месяц потехи ради возила его с собой. И таких будто бы вещей насмотрелся он в гостях у них, что поседел до самого хвоста, прежде чем догадался прогрызть свой тюремный мешок... Весь этот пестрый фольклорный ералаш отчасти развлекал провинциальную скуку, в которую окунулся вдруг Сергей Андреич, — все это приносили закутаные в шали и овчины бабы вместе с молоком и яйцами, в лукошках и крынках, на усадьбу.

Отсюда, сверху, в особенности занятно было наблюдать нехитрую, волнительную механику весны. Стихийно и множественно журчало по ночам и, странно, никогда не сливались в целое эти разрозненные, резвые голоса. Иногда призрачная дымка, из которой родятся стихи и первые, еще неумелые апрельские облачка, заволакивала низинку, и тогда заметнее на плешивых бугорках проступали робкие, как бы прилизанные волоски зеленой травки. Расплющенное, точно после наковальни, безвредное солнце опускалось невдалеке, — в такие вечера смутно, как в музыке, неотступно реял образ юности... расплывчатый и нежный звук, который периодически, как волна, то гаснет, то возникает снова на весенней тишине. — Пожалуй, то был первый вечер, когда зелень рванулась на штурм с шершавых, набухлых ветвей; наступила дружная оттепель. К ночи густым туманом стало заволакивать усадьбу, и такова была его плотность, что, верилось, птицы застревали в нем, и самые крылья превращались в плавники. Во всяком случае, когда Сергей Андреич вышел на веранду, он не услышал обычной перед ночью птичьей гомозни. Точно уничтоженный лежал перед ним мир, и Скутаревский подумал, что — продлись века этот хаосный туман — потребовались бы десятки гениев и аппаратов,

чтоб доказать его существование. Даже вороны, к вечернему кружению которых так привык он в последнюю неделю, затихли где-то в ветвях. Все было тихо, и, если судить по проемам в этом сизом, бесплотном молоке, видимые предметы соединялись совсем по-иному, образуя дикостные сочетанья.

...он вспомнил другой вечер: садилось солнце, и рядом, в комнате, докашливал свои сроки его учитель, огромная глыба мяса, костей и знаний. Он умер через два дня, не доехав до места, предписанного врачами. Это было на озере Неми, в Дженцано, под Римом. Гостиница, где они остановились, стояла над обрывом, и на противоположной стороне этой розоватой пространственной чаши, полной садов и виноградников, дремал старинный монастырек; в закате он был призрачен, мистичен и мал. Сергей Андреич увидел его впервые из узкого окошка уборной, но запах выветрился за эти тридцать лет, и сохранилось впечатление ясной свежести: жизнь была впереди, и ждали его прихода еще никем не штурмованные твердыни... Пиджак Сергея Андреича просырал, непокрытая голова стала влажной. Стеклопанель двери позади, обвисшая с петель, прошуршала по дощатому настилу веранды: Джелладалеев подошел неслышно и стал рядом, чуть впереди. Сергей Андреич покосился на него с досадой: нечего было в Дженцано делать Джелладалееву. Глаза туркмена глядели сурово и трезво из-под тяжелых век: впервые Скутаревскому было неинтересно, куда они смотрят так, эти слегка притушенные, монгольские глаза.

Джелладалеев обернулся:

— Профессор может простудиться: туман! — сказал он с улыбочатой военной четкостью, которая вряд ли соответствовала его тогдашнему настроению.

— Привык, чепуха. Меня известить можно только азотной кислотой и то лишь мешая ее с разочарованиями.

— Сыро! — И озабоченно окинул взглядом высокие, почти гейхеровой схемы антенные столбы, маячившие в тумане. — Все готово, можно начинать.

Они вернулись в комнаты.

Непосвященному в замыслы экспедиции трудно было бы сразу освоиться с тем, что происходило. Была длительная подготовка, стоившая годов, денег и борьбы, строились десятки машин, непостижимых, как прихоть маньяка;

первоначальная, вполне крылатая идея загрузилась множеством смежных утилитарных задач... и все это средоточилось теперь в одной комнате головоломным нагромождением стали, вольфрама, ртути и стекла. Были потрачены лучшие годы жизни, и вся ярость, какая возникала в нем, немедленно переключалась в эти как бы недосказанные моторы... и все это затем, чтоб запустить вентиляционную установку на противоположном берегу и зажечь сотню ярких полуваттных ламп. Но и эта простенькая иллюминация послужила бы триумфальным украшением для небывалой человеческой победы... Два лаборанта в синих комбинезонах застыли с опущенными руками возле машин; один был хром, он так и стоял, перевесясь на короткую ногу. Они ждали распоряжений хозяина. Третий сдержанно спорил о чем-то с механиком, твердя ему по рупору вниз, откуда несло слышимое всем телом равномерное гуденье. Моторы уже работали, и здание, не рассчитанное в целом для такой судьбы, слегка дрожало. Скутаревский проверил охлаждательную аппаратуру, обошел измерительные приборы и у одних бормотал что-то, в последний раз проверяя на память расчеты, у других сердито пощелкивал в стекло, как бы выгоняя стрелку. И Джелладалеев следил за ним; он волновался, как никогда, даже в плену у Джунаида; но был приятен ему этот, никогда не испытанный холодок в лопатках.

— Давайте ток, — сухо приказал Скутаревский и, отойдя к окну, прибавил совсем прозаически: — кто-нибудь ступайте наверх.

Как были — без шапок, они рванулись все трое, потом остановились в нерешительности; потом хромой опередил прочих, и слышны были с деревянной лестнички его сбивчивые, неверные шаги. Скутаревский не обернулся. В окно было видно немного. Смерклось, и в молоке тумана как бы разболтались жидковатые лиловые чернила. Два черных кабеля временной проводки взбежисто уходили в его гущу. Глиняная ваза с былой куртины высывалась из-под снега, обок сохлому будылю чертополоха. Все было ясно, расчеты достигали предельной математической четкости. Сперва щелкнула искра выключателя, и секундой позже на низкой боевой ноте загудели трансформаторы. Потом у всех было минутное, необычайное только для Джелладалеева, ощущение, точно громадные порции жара

им насильственно нагнетали в ноги. Скоро это прошло, тогда что-то хлестнуло над крышей — обманчивый шок, происходивший единственно от напряженного ожидания чуда. Машины работали полным ходом; наверх в антенное зеркало остервенелым потоком лилась энергия. Вибрируя высокой частотой, она срывалась с металлической сетки и дальше шла волною, образуя свирепые магнитные поля и бури. Первичный хаос силы, заключенный в жесткие, властные берега, могуче вонзался в беспредельность. В эфире начинался беспорядок, почти крушение; замолкали телеграфы и визжали радиоприемники... И опять все это было только наивным воображением Джелладалеева. Стало совсем тихо; только единовременный и краткий раздался вороний крик, и снова, внятная всему телу, пульсировала тишина.

Не оборачиваясь от окна, Скутаревский ждал торопливых шагов лаборанта, караулившего сигналы наверху. Шагов не было, и крика о победе не было, ничего не было. Время толклось на месте, и можно было постареть даже за краткий срок этого ужасного смущения. Очень медленно Сергей Андреич повернулся назад; вдоль лица его пролегла черная усталая складка. Едва заметным жестом приказав выключить ток, он раздраженно взялся за трубку телефона. Линия вела на тот берег реки, где в охотничьей сторожке стояли приемные агрегаты.

— Хо-да-ко-ва! — раздельно произнес он. — Ну да, позовите мне эту балду!

Еще он ждал полминуты, кося глаза на черную лакированную коробку конденсатора. Кажется, никто не дышал. Джелладалеев украдкой поглаживал облезлые мавританского рисунка обои, которыми отделан был этот почти танцевальный зал; он гладил и потом украдкой нюхал зачем-то ладонь.

— Слушайте, Ходаков, — вяло — и это звучало хуже ругани — заговорил Сергей Андреич. — Проверьте клеммы... да, и все вообще соединенья. Нет, это лишнее. Что?.. антенну я ставил сам, а вы свою работу проверьте. Через десять минут, по часам, повторяем.

Не глядя ни на кого, он поднялся на веранду. Туман стоял гуще, пропорция чернил в нем стала больше. Из тумана тянулись к перилам скрюченные иззябшие сучья конского каштана. Лаборант, с руками — рукав в рукав,

задумчиво перекидывал папироску из одного угла рта в другой.

— Огней не видно, — как бы оправдываясь, заявил он. — И кто-то там зажигал спичку.

— Мерси. Идите, наденьте пальто.

Эти десять минут продолжались несравнимо дольше. Похоже, будто Сергей Андреич боялся возвращаться туда, где решалась судьба не только его изобретения. Его погнал ознобный, пронизывающий холод ночи. Он вернулся как раз в тот момент, когда позвонил Ходаков, виноватым голосом он сообщил, что, действительно, в переключателе антенны, по недосмотру механика, не было полного контакта. Опять включился ток и стало происходить главное; остальному предоставлялась лишь роль свидетеля. Теперь Скутаревский стоял у самого пульта, ревниво следя за тем, чтоб накал на лампы задавался не сразу. Медленно раскаляясь, они начинали светиться неопрятным желтоватым светом. Жеманно покачиваясь, стрелка напряжения ползла к своему пределу. Джелладалеев улыбнулся; судя по времени, уже сияли белесо сквозь туман контрольные щиты, но все еще не бежал вниз с ошеломительной вестью хромой наблюдатель, не звонил дубина Ходаков. Чудо не состоялось; возможно, его отменила сама непогода. Скутаревский сам прервал ток и, цепляясь ногами за провода, бросился осматривать механизмы. Все было в строгом согласии с его собственной схемой. Он закусил ус и вдруг, выхватив листок из блокнота, тут же, при свидетелях, чертил рваные какие-то иероглифы, понятные ему одному.

— ...да, но в знаменателе остается то же Q! — вопросительно и бешено прохрипел он, и все слышали эту скорбную, в сущности, формулу его поражения.

Еще и еще в продолжение той весенней ночи, уже не надеясь на удачу, они пытались докинуть энергию до ходаковского берега. И каждый этот немишуемый провал отнимал у Скутаревского какую-то частицу его уверенности в себе. Да тут еще позвонил этот бестактный негодяй и спрашивал, скоро ли начнут вторично испытывать аппаратуру. Ласково поглаживая рубчатый эбонит трубки, Джелладалеев слал его, Ходакова, ко всем чертям. Ночь стояла за окном как облако смертное; стекла увлажнились с внутренней стороны. В соседнем флигеле, где помещалось временное общежитие московских гостей, уже чадил само-

вар на столе, свистел свою песню, потухал, и грел его снова, раздувая сапогом, могильного вида старикан в николаевской папaxe, и опять утекало животворящее самоварное тепло. Снова начинали урчать моторы; по хлебному зданию передавалась их ненасытная дрожь, и старик суеверно качал головой на стену, за которой происходило это. В третий раз, не щадя одежды и рук, Сергей Андрейч собственнoлично лазал вокруг установки и непонятным образом успел вымазать где-то маслом свой нарядный, совсем летний галстук.

— Не выходит... вот, сука, не выходит, а?... — бормотал он, и все более астматическим становилось его дыханье.

То была отцовская повадка — бубнить так, когда не удавалась подборка, либо когда расходились швы на подопревших шкурках. И он сам, сын скорняка, замечал это трагическое сходство, и вот его ударило тухлым воздухом детства — снова и снова ветер был из-под Тулы!.. когда все великое таинство науки представлялось ему простым, почти игрушечным шаром, полным колес — как полно всевидящих глаз божество из ассирийской космогонии. Так он ползал вокруг омертвелого своего металла и уже не мог сосредоточиться на обманувших его цифрах. Давление в груди не проходило; что-то замкнулось в нем на короткую, — должно быть в этом заключалось физическое проявление его смятенья. Весь темперамент, который могущественно толкал его на одoление цели, теперь, после отпора, тянул назад. Уже он сомневался не только в правильности гениальной схемы, но и тех путей, по которым дoныне деспотически вел свою науку. И вдруг с тoской, которая реально умещалась где-то в развороте реберной клетки, он почувствовал, что вот жизнь прошла, а он так и не узнал, отчего в конце концов светятся рыбы.

Он вылез, постаревший и черный; он вытер руки о тряпку, которую подал лаборант; он сказал только одно слово:

— Спать.

...два следующих дня потрачены были на точнейшую, почти заново, регулировку машин. И хотя все стремились поддерживать в себе некрепкую, фальшивую бодрость, никто уж не обожествлял, как прежде, этого безумного, слоem на слой нарощенного металла. Было в эти дни тускло и бездельно очень. Дождичком покropило, и, точно

у фокусника, на деревьях обнаружили первые липучие листочки. Приходила огромная конопатая баба с лукошком утиных яиц. Звонили с фабрики, у которой брали энергию, с запросом — скоро ли кончат свою галиматью. Скутаревский жалел, что не захватил с собою драндулета... Как-то на рассвете старший механик слышал в парке гугливное тетеревиное лопотанье. Небо было полосатое; разлинованное лучами восхода, оно, кажется, пахло можжухой. Утро вызревало тугое, рубчатое, весьма похожее на исполинскую тыкву. Ходаков ходил на ток и убил птицу неизвестного сорта. Клочки недавнего тумана и неудачи еще держались в людях. Однажды, внезапно совсем, такое с полудня засияло солнце, что Джелладалеев даже знойную родину свою вспомнил. После обеда он уговорил Скутаревского пойти к реке. Почти болтливый в этот день, он ни словом не обмолвился о случившемся несколько дней назад. Только изредка Скутаревский ловил на себе его зоркий под монгольскими ресницами, мерцающий взгляд.

Джелладалееву нравился этот молчаливый в беде человек. Он вообще любил гордых, — с ними легче переносятся несчастья, а счастье можно разделить и с собакой. За свой недолгий, в сущности, век он повидал много с юношеской поры, когда батрачил далеко за Бухарой, до последней, хитрой и пока еще бесплодной охоты на Ибрагима. Его любознательному разуму нравилась такжэ эта замусленная, с прожелтевшими листьями, книга жизни, от которой иные стареют, иные сходят с ума, а он испытывал неодолимую жажду дочитать до конца. Видел он азиатские эпидемии у себя на родине — собаки пожирали трупы, видел безумие голодных стад на оледенелой земле, саранчу и ураганы видел, и никогда еще не бывал в таком тесном соприкосновенье с трагедией науки, перед которой благоговел.

Они прошли по аллее, держась снежной полосы вдоль опушки: ноги прилипали к вязкой глине дорожки. Без умолку болтая обо всем, Джелладалеев ориентировал разговор по случайным, рассеянным репликам Скутаревского. Терпко, хмельно пахло прошлогодним листом; деревья стояли как околдованные и — казалось — с опущенными руками. Везде еще проникало солнце, и оттого изовсюду посверкивали острые ручейные глазки.

«Весна... это когда дуреешь, и не совестно», — не обращая ни к кому, значительно признался Скутаревский.

— ...а у нас сейчас, — подхватывал Джелладалеев и, вдруг мешая слова двух языков, принимался за длинное и путаное повествование — о долинах благословенных азиатских рек, где розовыми кострами цветут тамариски, об астрагале и джужгуве, суровых и могучих травах пустыни, и тогда бесплодные, подобно маятнику, качающиеся в веках пески, мнилось, согреты были не солнцем, а его собственной физиологической нежностью к родине, покинутой навсегда. Осмелев, разойдясь, он звал профессора поехать с ним хотя бы на неделю, хотя бы затем, чтоб сесть на корточках у древней караванной дороги, глядеть в мерцающую от жары даль и, запустив пальцы в раскаленный песок, вспомнить весь тот путь, которым шел человек от своей колыбели.

Я и сам давно уж не был там. А завтра, может, грянет то самое, что грянет когда-нибудь и заметет Джелладалеева. А тебе совсем любопытно будет: с горы виднее! Ты много знаешь. Наш бог, Худдай, знает меньше тебя. И ты отдохнешь. Будешь верхом ездить, дутар слушать, шурпу хлебать! — И неожиданно — так кристаллизуется перенасыщенный раствор — заканчивал вежливо: — Не пугайтесь, профессор: шурпа — это просто лапша ваша!

— Это потом, после... когда все закончим. Чорт возьми, истинная жизнь — это когда некогда даже умереть!

На этот раз никто не ответил ему; Сергей Андреич обернулся. — Стоя на одном колене, Джелладалеев держал в ладони мертвую птицу. Это была ворона. Ими сплошь был усеян участок парка, где они находились, и какой-то лесной зверек уже принялся лущить их. Следовало пристальнее разглядеть лишь одну, чтоб понять, что случилось и с остальными. Перо птицы было слегка опалено, и птица казалась темнее своей натуральной окраски.

— Бросьте... пададь, — махнул рукой Сергей Андреич, задерживаясь на мгновение. — Луч прошел несколько низко, а они ночевали тут, в вершинке. Итак, вы объяснили про шурпу, а дутар?..

— Интересно... птичка... я не знал, — вдумчиво твердил тот и некоторое время нес птицу на ладони, то расправляя, то снова складывая мертвое ее крыло.

Потом они сидели на ветхом каменном диванчике и, хотя все благоприятствовало тому, уже не возвращалась к Джелладалееву весенняя его лирика. Он держался любезно и замкнуто; прежняя военная выправка появилась в его плечах. Может быть, и умнее было молчать в это время, в этом месте, поскольку тишина включает в себя все, что можно произнести в ней. Из нагретого камня скамьи приятное тепло сочилось в ноги; она была широка, и ленивый зеленый бархаток мха расползался по ее шербатым боковинам. Мутная, верткая вода подступала к самым ступеням, и такое же возникало влечение ступить на нее, как смотреть в большой, спокойный огонь, или прыгнуть с обрыва, за которым голубые луга и цветы, или, как вчера, коснуться смертельной клеммы, где невидимо строится энергия.

— Значит, принцип все-таки не скомпрометирован? — молвил, наконец, Джелладалеев.

Вопрос был из тех, которые еще не раз должны были ему поставить в будущем. Скутаревский собрался отвечать долго и сердито — о причинах первой неудачи, о негодности ионизаторов, достаточных лишь в пределах лабораторного опыта, о том, что, может быть, потребуется порвать крепкие сцепляющие резинки в атоме, взорвать, наконец, целый тоннель воздуха и в нем пропихнуть бесшумный электрический поток. Он не успел произнести и трети: по аллее, прыгая со снежного островка на островок, приближалась Женья. И по тому, как Скутаревский сжался и растерянными глазами, уже не скрываясь перед чужим, глядел *туда*, Джелладалеев понял, что напоследок судьба дает ему наблюдать старость великого человека, — именно таким, несмотря на все, умещался Скутаревский в его воображенье. Он ошибался: просто сказывалась у Сергея Андреича нервная перегрузка последних дней.

ГЛАВА 27

Чем ближе подходил он к ней, тем тяжелей становилась его походка. От Джелладалеева отошел юноша, а к девушке подошел старик, величественный и хмурый.

Приезд Жени заставлял его врасплох; попросту он не знал, что с нею делать. После неудачи, которая в глазах

широкой обывательской массы ставила под сомнение весь его научный путь, он готов был анализировать то, что уже неподвластно было грубому механическому расчленению. И хотя он жал ей руки, пытаясь согреть красные, иззябшие на ветру пальцы, сам он терялся от мысли — зачем ему еще этим лишним персонажем засорять свой трагический и без того тесный балаган.

— Вы... как?

— Приехала, вот.

— Что случилось?

— Просто так, к вам! — И по глазам видно было, что ждала начальственной, но не очень грозной воркотни.

Он захватил губами ус и жевал его, глядя в сторону.

— Ну, как там? — Конечно, в институте уже могли прослышать о его поражении: Джелладалесв ежедневно отправлял куда-то письма, а родных у него не было в мире. — Что там нового?

— Все в порядке. Николай рассчитал Кассимова за пьянство. Потом его вызвали по делу Петрыгина. Пристройка...

— ...он взят? — жестко перебил Скutareвский.

— Да. У него нашли валюту в полом валу музыкального ящика. Пристройка третьего дня закончилась. Ханшин, возможно, получит премию.

— Да, я читал.

Ясно, она ничего не знала пока о происшедшем, но, значит, и у нее таилась какая-то догадка, если не решалась в упор спросить о самом главном. Они молча пошли к дому; говорить сразу стало не о чем. Вдруг Скutareвский услышал, как в стоптанных калошах Жени всхлипывает вода.

— Я промокла, — улыбнулась она на его вопросительный жест и невесело покачала головой: — даже чулки мокрые...

— Вы от станции?..

— Да, шла пешком. Я без вещей. Колхозник запросил сто рублей, он ехал порожняком...

— Сколько вы шли?

— Три часа.

Он замахал руками, зашумел, не давая произнести и слова:

— Тогда марш домой. Надо растереть, да. Чорт, такая пора... эти, как их?.. коклюши ходят. — И свирепо тащил за рукав.

Всякое сопротивление взбесило бы его; в эту минуту было в нем что-то от старой, задушевной няньки с бородавкой на щеке. Невольно в голову ей пришло сравнение; тогда, после вернисажа, она также промокла и весь вечер — долгий вечер ребячливых и преступных, так ей мнилось, утех — она высидела с ощущением ноющего холодка в коленях. И за весь вечер Черимов, который сам был в прочных, битюговой кожи, сапогах, даже не поинтересовался, почему она жмет к нетопленной печке и дрожит. Объяснение давалось просто; молодость не боится, и, странно, именно небрежением этим был ей Черимов в особенности близок тогда.

Сергей Андреич притворил дверь и бросил на стулья насквозь просыревшую кожаную куртку Жени.

— Ну, разувайтесь... — грубо закричал он. — Чулки долой!.. и это калоши, это калоши?.. — и неистово совал палец под оторвавшуюся подошву. — Куда вы деваете деньги, которые вам платит институт?.. проедаете на сластях? Вы что, разжалобить меня, что ли, хотите?

В чемодане у него отыскался вместительный флакон с одеколоном; потом оттуда же он извлек жесткую щетку и, стоя рядом, командовал, точно и это входило в обязанности главы института:

— Это почти спирт. Лейте в ладонь, так. Трите щеткой, трите... ступню... докрасна!

— Но щеткой больно! — напуганно сопротивлялась она. — Это же щетка для головы!

— Жарьте, чорт с ней: коклюши ходят. Еще спирту. Э, да не так, дайте сюда... — И готов был действовать сам.

Внезапно, раскатывшись, он отвернулся. Они были совсем наедине, и, казалось, все население дома затаилось в ожидании чего-то. Ноги девушки были голые. Растерявшись от его паники, она вовсе не береглась от его взглядов. И, наконец, даже любительски, он никогда не интересовался медициной настолько, чтоб оправдать свое присутствие здесь.

— Девчонка вы! — рывкнул он напоследок и, сам на себя дивуясь, вышел вон.

Это настроение старческой неловкости в отношении к Жене он сохранял в течение всей этой недели, которую они еще прожили на усадьбе. За весь этот срок только однажды, и то лишь после тщательной перемонтировки, Сергей Андреич попытался произвести эксперимент. Возможно, он пользовался отсутствием Джелладалеева, который лично поехал ругаться на фабричку; тамошние хозяева энергии проявляли досадную нетерпеливость и то возлагали на Скутаревского ответственность за невыполнение промфинплана, то ссылались на участвовавшее хулиганство в поселке из-за постоянного мрака... Опыт прошел с прежним успехом, и это даже не огорчало. Хромой уехал на тот берег ловить рыбу. Ходаков настолько старательно предохранял себя коньяком от простуды, что и в действительности заболел. Кстати, как-то произошло, в заключение разбили один из тиратронов,— все к одному! Разумеется, пора было бросать бесполезные потуги атаковать пространство, которое оставалось в прежнем, безличном равновесии. Сергей Андреич ходил и щупал свои механизмы; они были холодны, они утратили тепло, которое он им отдал. Пространство зеленело, наполнялось смутительными запахами, но в ту ночь, когда Женя сама пришла к Скутаревскому, оно было ледяное, с синдой и даже не без оттенка величавой надменности, — это самое пространство!

Луна стояла в чисто выметенном небе, и еще какая-то острая звезденка делила с нею власть в этой ночи. Было очень удивительно, что в первый раз за последние двадцать лет вспомнил о ней, о луне, об этом романтическом придатке. Луна, которою обычно начинаются всякие истории, у него замыкала полностью заверченный круг. Какие-то незрелые, неполноценные образы засоряли его сознание, и то ли нестерпимое ледяное сиянье, то ли малокровие мозга порождало их. После двух бессонных ночей, пока настойчиво и порою почти наощупь отыскивал свою ошибку, организм противился сну. Разбеги этих образов лежали где-то раньше, и вдруг начинало вериться, что о Петрыгине, например, он догадывался давно; всегда, даже в самом ничтожном противоречии сочился из Петра Еврафовича какой-то ядовитый гормон, достаточный, чтобы и эпохальные граниты разжесть. Только при том ироническом отношении к понятию классовой борьбы, которое в

целом отличало всю прослойку Скутаревского, даже история с сибирской станцией не пробудила его. Теперь же, наедине с собой и в свете краткого женина известия, в особом значении представляли и мохнатая личность Штруфа и вселенские махинации шурина. Он вспомнил, как однажды при отъезде за границу Петр Евграфович сунул ему письмо в карман и равнодушно попросил бросить его в ящик в Берлине; фамилия адресата была русская. Он вспомнил и покраснел. А темная их игра в связи с его личными событиями!.. в конце концов его, заболевшего нежностью к этой девчонке, они обыгрывали, как воры подгулявшего фрайера, опоенного марафетом. И тут почему-то всплывал в памяти портрет чужой мамы, залитый ситром и загаженный селедочным объедком. Тогда, дразнясь и негодуя, он задавал себе вопрос, как повел бы он себя, если бы еще раньше, до петрыгинского ареста, обобщил в целое уйму мелких, мимолетных улик. Молчал бы он, деля ответственность за дело, которое сам почитал омерзительным, или...

...он даже видел этого следователя. У него был крупный, чувственный нос и чернявые усики под ним, точно подмазанные сажей; допустимо, что он был тенью того, которого встретил на лестнице у Арсения в день несчастья. Должно быть, понимал и следователь, кто именно сидит перед ним, и потому держался необычного тона вынужденной и рассеянной вежливости. Он был весь подобранный, без задоринки, и, хотя сидел за глухим письменным бюро, Скутаревский отчетливо видел его синие бриджи и полулаковые, в обтяжку, сапоги. Разговор происходил скорее целыми понятиями, чем словами, и потому хрупкую ткань этого никогда не состоявшегося разговора невозможно было переложить в слишком огрубленные слова.

«Итак... вы были уверены в успехе вашего эксперимента?»

«Да, это легко, но мы не умеем».

«Вы знали, какое значение это может иметь для народного хозяйства?»

«В гораздо большей степени, чем можете предположить даже вы».

«Но опыт, оправданный в ряде предварительных испытаний, все-таки не удался?»

«Да. По уверению Ходакова, на контрольной установке развился некоторый крутящий момент, но при той мощности, какую мы имели на отправительной станции, ходаковское наблюдение... вернее, результат его я считаю недостаточным».

Следовал как бы провал не то памяти, не то воображенья, но зато дальше все шло с полной ясностью:

«Итак, регистрирующих приборов не было. А Петрыгин знал схему вашего аппарата?»

«Не допускаю. В тетрадке, которая пропадала, заключался первый, отвергнутый впоследствии вариант. Выводы и формулы я записываю вкратце: у меня хорошая память».

«Но крупный специалист сумел бы догадаться о путях, которыми вы шли?»

«Но они же были неверны!»

«Это безразлично».

«В таком случае — да».

Опять шел перерыв, и связь нарушалась. Воображаемая комната с глухими дверями, коврик в углу, закапанная чернилами бюварная бумага — все растворялось в кислотном свете луны. В поле зрения оставались только чужие пальцы с выпуклыми, коротко обстриженными ногтями; они бесшумно барабанили в подоконник, и как будто следствием этого возникал последний вопрос, уже издавека, и голос следователя — был его собственный голос:

«Но почему, все-таки, опыт окончился безуспешно?»

Потом таяла и рука, и тот же равномерный мутный раствор луны заливал мысленное пространство. Жизнь, придававшая движение ему, была такова: кошка, крадучись, пересекла лунное поле за окном, — она была хуже своей тени. У черной опушки парка она сделала крутой прыжок, и тотчас же тишину пронзил ее ранящий вопль. Ей ответил другой, точно такой же; ее взъерошенный любовник был размером с песка. Тени сблизились, Скутаревский отвернулся. И в ту же самую минуту вошла Женя; старательно, всем телом, она притворила за собой дверь. Он рассердился бы, если бы она неоднократно не предваряла возможности своего прихода букетиком подснежников; ей приходилось долго блуждать за ними по парку, и в то утро он нашел у своей кровати всего четыре цветка в скоробленном кленовом листе. Тот же, что и тогда, на

аллее, полной солнечных пятен и ручейков, был смысл ее появления, оттого и диалог их остался тем же самым:

— Вы ко мне?

— Вот, пришла. Не спится.

Он усмехнулся зло:

— Что ж, жалко стало?..

— Нет, просто так. — И в сторону глядели ее чуть озабоченные таким приемом глаза.

— Ну, садитесь и давайте говорить. — Они сели друг против друга, и потому, что это очень походило на прием у врача, Скутаревский спросил басовито, приглашая усы: — На что жалуетесь?

Она засмеялась, и смех звучал подбито; ей не понравилась его шутка.

— Расскажите... что вы хотели и что вам не удалось.

— Я не умею.

Она все узнала; уже упаковывали наиболее ценные приборы, и то, что оставалось посреди бывшего машинного зала, более походило на груды металлического трупья после пантагрюэлева побоища. Именно жалость и неясное сознание своей вины заставляли ее преувеличивать степень поражения Скутаревского; даже и теперь ценность некоторых его побочных достижений никто не посмел бы подвергать сомнениям. Но ей потребовалось собрать все скудное женское великодушие, чтоб притащить ему в каморку свой простенький розовый еще, провинциальный венок победы. Во всяком случае отдать себя ей было легче, чем дать веру в конечное осуществление его замыслов. И теперь, когда думала о нем, он представлял в ее воображении не прежним, командармом электронов, видным за тысячи километров, а одиноким сгорбленным человеком, который посреди страшной ночи держит на ладони светляка, с мучительным бессилием разгадать *почему* это?

Скутаревский смотрел на нее пристально и строго; она заволновалась. Следовало немедленно и любым образом объяснить свой приход сюда.

— Мне кажется... вы можете считать, что я люблю вас. — И сидела, вся дрожа и покорно сложив руки на коленях.

Он продолжал молчать, но тень какой-то беспощадной насмешливости прошла в его лицо. Она повторила еще тревожнее:

— Если вы хотите... то живите со мной!

Скутаревский отвел глаза к окну. Было тихо. Глухая ночь благоприятствовала преступленьям, и даже Джелладалеев не узнал бы ни о чем. Непроизвольная гримаска скользнула в нем и замерла где-то в пальцах.

— Вы дитенок, Женя, — засмеялся он, чуть отодвигаясь в сторону. — И не грызите ногтей!.. знаете, я не создан для лунных происшествий. Я старый, равнодушный человек, и никаким стихотворением не прошибить меня. — Он задержался, сцарапывая какое-то пятнышко с колена. — Поэзию я всегда считал забавой лживых, борода-тых младенцев. Детство мое не благоухало. В жизни я шел слепой, так живут лошади в шахтах. Я работал, изобретал всякие штучки, но жизнь я прожил наедине. Жена мне не мешала в этом. Сын? Это даже не оплошность, это неряшливость... всякий отец, чорт возьми, имеет право на такое же жестокое слово! Я холостяк-с, я даже цветов гнушался, и надо признать, вы родились из меня в тот самый миг, когда во мне умер я прежний. Знаете, новые идеи никогда не поселяются на падали: они как полевые птицы...

Ее трясло раскаянье; она сказала сломанным голосом:

— Я не понимаю, что вы говорите...

Его нижняя губа брезгливо выпятилась:

— Проще — значит площе. Я не имею права на вас, дорогой товарищ. Будучи нелюдимым, я прожил одиноко. Такое состояние продлится, повидимому, и впредь. Наверно я умру один. Меня похоронит милиция. Гроб оклеят красненькими обоями. Черимов, если ухитрится сбежать с заседания, скажет благоразумное слово о попутчике, которому приспичило вылезать на таком неказистом полустанке. Вы застудите ноги на похоронах и получите насморк... Я приказываю вам купить новые калоши! — и устремил на нее длинный палец. — Фагот мой полгода провисит в комиссионном магазине, потом его уронят...

— Это неправда, неправда!.. — закричала она, хватая его руку.

— Вот знайта, и все, — заключил он, нарочно исковеркав слово. — Мой вам совет, товарищ, сойдитесь с кем-нибудь еще.

Некоторое время она еще сидела, склоняясь на сторону со стула. Так сидят убитые — перед фотоаппаратом судебного врача. Спазма жгла ей горло. Вдруг, как бы вспомнив что-то, она быстро поднялась и пошла в глубь комнаты, но внезапно повернулась и ринулась в дверь. Лестница в верхний этаж, где ей отвели кровать и угол, приходилась над самой его койкой: ее ступени служили потолком в этой тесной, гробовой нише. Шаги звучали, срываясь, через ступеньку, похожие на всхлипы; они были такие, точно комьями кидали на него плотную, сырыми комьями, глину. И верно, маленький осколок старой, рыжей шпаклевки свалился ему на колено. Скутаревский лег поверх одеяла и лежал, следя, как ореольно светится в луне его ботинок. Выпихнуть Женю из комнаты оказалось много легче, чем из памяти, но он-то знал, что поступил правильно. И он не того боялся, что завтра же целая сотня лицемерных и ревнивых глоток гаркнут хором — «вот он, глядите, палач, который взял юность Жени!»: о том, что произошло в его отсутствие между Женей и Черимовым он догадался сразу! — он просто страшился увидеть себя еще раз, уже иного, в ее расширенных, обезумевших зрачках.

Вдруг он поднялся и огрызком карандаша на форзацном листке книжки чертил свои знаки, тангенсы, логарифмы и греческие буквы, и опять распыленным рыбьим ртом зияло в знаменателе то же самое Q. Ошибка его диссертации на вечность, которую мысленно писал столько лет, таилась в самом начале ее... Луна передвинула свои тени и пятна. Совсем рядом, над головой почти, раздался страдальческий крик кота. Тогда, облизав иссохшие губы, Сергей Андреич комком прикорнул на койке и на этот раз заснул сразу, крепко, как у окопа оставшийся неубитым солдат.

ГЛАВА 28

Экспедиция вернулась в последних числах апреля обычным пассажирским поездом и уже без тени той таинственной торжественности, которою сопровождался отъезд. Неоправдавшая себя аппаратура, багаж бездельников, ползла где-то малой скоростью, потому что в самом разгаре была посевная, и по дорогам сплошь двигались

сельскохозяйственные грузы, тракторы и зерно. На вокзале приезжих встретил Ханшин и точно так же, как и Женя несколько дней назад, ни словом не обмолвился о неудаче, уже прошумевшей на Москве. Стараясь не глядеть в переутомленное и более чем когда-либо высокомерное лицо хозяина, он шел чуть позади: жердистые ноги его слегка пришаркивали. Казалось, он стал еще длиннее, потому что шубу он уже сменил на пальто, — ветхое, многократно проштопанное неумелой рукой жены и слишком уж, не полетному даже, короткое пальто. Почему-то все на него глядели, на его проглянцевавшую от времени шляпу, на треснувшие по сгибам, но до блеска отчищенные ботинки: в таком стиле одеваются благородные нищие за границей. И только потом замечали Скутаревского; он шел с поднятой головой, глядя прямо перед собою и, может быть, не видя ничего: так отправляются в изгнание. Значительно отстав, мелко пришепetyвала подошвами смущенная его свита. Кстати, — Жени не было среди них; она уехала на сутки раньше вместе с Джелладалеевым... Шофер, все тот же Алексей Митрофаныч, со сконфуженной вежливостью приподнял фуражку, но, сказать правду, требовалось много усилий и тренировки, чтобы изобразить участие на таком неподходящем инструменте, каким являлась беспечная его, удалая рожа.

— Ну, как у вас тут, в пучинах научной мысли? — громко спросил Сергей Андрейч, шумно влезая в машину, и когда Ханшин попытался подать ему единственный и тяжелый чемодан его, прибавил чопорно и резко: — Не утруждайтесь, благодарю вас — и сам одной рукой втянул свой багаж в кабину.

— Но я же моложе вас! — с упреком сказал Ханшин.

— Тем более опрометчиво тратить свою молодость на такие безделицы.

Все три его реплики били по Ханшину, и неизвестно еще, которая больнее. Ханшин покраснел, стал сморкаться, и даже шофер понял, что это только для отвода глаз. Усаживались, не произнося ни слова. Часть сотрудников поехала на трамвае. В слюдяных окошках, забрызганных дождем, прыгала Москва. Она была неузнаваема сегодня. Впервые, может быть, за два века так основательно перекраивали щербатую московскую мостовую. Свидетельницу и летопись первых мятежей и поражений, всегда

напоминавшую о старом режиме, сдирали с нее грубую булыжную дерюгу, многократно смоченную рабочей кровью; кто из поколения, которое стояло тогда во главе жизни, не помнил мелкого, сыпучего, слегка захлебывающегося цокота казацких эскадронов по ней? — Улицы сплошь были разворочены под брусчатку, — Алексей Митрофаныч ехал переулками.

— Большевики-то! Мамушку-то, Москву-то... — усмехнулся Сергей Андреич.

Кажется, Ханшин понял это как приглашение к разговору.

— О делах института переговорим сейчас или позже? — сдержанно спросил он.

— Дайте мне хоть умыться с дороги! — бросил Скутаревский и снова обернулся к окну.

Беспорядочная московская толчея происходила в окне. Хлебная очередь, верблюжий горб напоминающая чертаными своими, жалась от непогоды к стене. Лужи рябились среди свежих, только вчера насыпанных холмов. Машину качало на них, как шлюпку в бурю, — Алексей Митрофаныч чертыхался и скорбно, заедино с рессорами, вздыхал. Общий перестройки не миновали и переулки; их ковыряли ломами, дырявили автоматическими сверлами, их покрыли траншеями для бетонных труб новых коммунальных сооружений. Чернее ила, плотнее камня был песок под столицей; и еще, — даже профильтрованная сквозь века, — сильно пахла древняя московская история. Иногда обломками гнилого сруба, кубышкой бородатого скареда или грудой костей и черепов проступала она здесь, и людям некогда было обменяться по поводу их молчанием или тем шекспировским вопросом, каким принято встречать такие находки. Но как раз одну такую желтую костяную чашу, края которой обгрызло время, держал в руке землекоп и улыбался. Волосы взмокли на нем — от пота ли, дождя ли; он устал, и Скутаревский наделил его мыслью: измена, разлука или верность сводили с ума когда-то эту голову?

— Участие Ивана Петровича в петрыгинской банде доказано? — скороговоркой осведомился Сергей Андреич.

— Полностью.

— Черимов здесь?

— Он на два дня уехал в Ленинград.

— Большую премию получаете?

— Я отказался от нее.

Открытой враждебностью пахло от честной ханшинской откровенности. Скutareвский умолк, потому что все сильнее, по мере приближения к дому, становилось ощущение загнанности и одиночества. Судьба его мнилась в виде серого сараистого здания, каким виделся ему уже сквозь изморось главный корпус института. Машина содрогалась на деревянном настиле, последнем остатке московского средневековья; грязной жижей так и стреляло из-под лохматых и полусгнивших пластин. Скutareвский вышел первым и подумал, что небо изгнания — всегда пасмурное небо. Мокрый старик в громадном угловатом брезенте почтительно поклонился директору, прибывшему из командировки. Он кланялся так низко, точно прощался или в землю хотел закопать знающие свои глаза.

— Здравствуйте, сторож, — хрипло и важно произнес Скutareвский, кося одним глазом в сконфуженное лицо старика. — Ну, что нового?

Была подозрительна неуместная болтливость сторожа:

— В порядке-с. Вот, улицу начали мостить... А еще вчера, произошло, ходил весь день, а в валенке мокро. Думаю, с чего бы-сь промокнуть? Вечером, судите сами, снял-с, а там, оказывается, мышь заполз. Уж так надо мной смеялись...

Дождь усилился; так и било по брезенту, точно в барабан, и в лицо Скutareвскому летели мелкие отраженные брызги. Он продолжал стоять и слушать о необыкновенных подробностях мышьи гибели, стараясь вникнуть в оттенки чужого, насильственного веселья. И рядом, сутулясь и разглядывая пузыри на лужах, молчаливо мокнул Ханшин.

— Да, это редкостный случай! — сказал, наконец, Сергей Андреич и медленно пошел вперед, чуть прихрамывая, потому что отсидел ногу за длинный путь от одной окраины к другой.

... и вот дверь закрылась. Оставшись, наконец, наедине, он разделся и придиричивым оком осмотрел свою каморку. Неприметной пленкой всюду налегла пыль. Раскрытая книга свешивалась с края стола. Он заглянул в нее; то была брошюра о высоких частотах того самого английского коллеги, с которым изредка, в год по письму, но

зато написанному с латинской монументальностью, переписывался Скutareвский; это его сигары, через посредство стольких рук, получил, наконец, безвестный ударник Федор Бутылкин... На столе, он только тут заметил, остался след чьей-то маленькой руки: женщина стояла тут, опершись в край стола. Слишком мало было верить, чтоб сюда, понюхать место его нового несчастья, приходила в его отсутствие жена. Тогда он допустил неприятную и бездоказательную догадку: Женя! Не сходилось только в мелочах: кажется, девушка не знала английского языка, и еще меньше тот предмет, которому посвящалось содержание книги. Значит, она приходила проверять его, значит... Он позвал гневно: «Женя!» Ничто не отозвалось ему ни снаружи, ни изнутри; девственное это слово уже не доставляло ему ни радости, ни покоя, как будто иссякла его магическая сила.

...висел фагот. Он сдул с него пыль и украдкой от самого себя приложил к губам. Звук был мерзкий, и даже простенький *Джемми* не удавался пальцам, недвижимым как мертвецы. Клапаны немотно и немощно жевали воздух, точно умер маленький злой человечек, населявший волшебную эту трубу. Скutareвского спугнул затаенный стук в дверь: пришел бухгалтер подписывать чеки.

— Ну, наконец-то! — в радости завопил он и притирал редкую волосную паутину, облеплявшую его затылок. — И, между прочим, совсем лето!

— А по-моему, дождь идет, — откликнулся Скutareвский, перебирая цветные бумажки. — Что это?

— А тут расплатная ведомость по перестройке. А это ассигновки заводу... мы задолжали, потом я заболел, а Николай Семенович тем временем уехали. Знаете, без хозяина и железо-то вдвое ржавеет. Как съездилось?

— Мерси, недурно... — И с отвращением смотрел на желтые, верткие, прокуренные пальцы, подсовывавшие ему бумагу. — Ну, что вы задумали?

Тотчас, услужливый и востренький, обдергивая тощий москвошвеевский пиджачок, он засуетился, попросил *особого* слова, и уже по одному виду его, происходившему от секретности и вдохновения, Сергей Андреич понял, что тот прибежал с доносом. Был он отроду незадачлив, бездарен и убогую карьерку свою мастерил как умел.

— Сядьте, — брезгливо сказал Сергей Андреич и даже указал пальцем:— вот тут сядьте...

Так и оказалось: собирались тучки, кое-кто уже метил на высокое skutаревское место. «Знаете, Сергей Андреич, травка на порубях и дубки обгоняет!» Бухгалтер чуть не плакал от задушевности; по его словам, какие-то ватаги недоучившихся молодых людей действовали сообща, ходили дюжинами, кидались под ноги Скутаревскому, со спины били, выступали только хором и с лихим доносным удалством миражили в глазах у высокого начальства. Они, на великое размахнувшись, якобы и Арсения Сергеевича вспомнили, и Петрыгина приплели...

— Дела-то какие, Сергей Андреич. Уж они пролетарскую физику выдумали и под этим соусом Ньютона прорабатывают. Галилея на прошлой неделе так разносили, что и на суде ватиканском так его, поди, не чистили!

...объяснили неудачу преступным замыслом, Женю мазали дегтем и, наконец, отыскиали двух отступников в стенах самого института, которые, хоть и под присягой, подтвердили бы небывалый зажим самокритики со стороны директора, распутство совершенно римского масштаба и вдобавок застарелый механистический уклон. По институту ползли темные слухи, будто по этому поводу уже сдана в газеты разносная статья и будто тотчас по напечатании ее Скутаревского снимут с руководства институтом. Мотивировалось это, однако, вовсе не тем, что теперь, в подмоченном виде, он уже не годился стоять во главе научной армии, а якобы необходимостью предоставить время Сергея Андреича научной работе целиком... Скутаревскому становилось жарко и противно; изредка взглядывая на пляшущий рот бухгалтера, он молча рисовал какие-то равнобедренные треугольники по пыльной глади стола.

— А не врете? — бледными губами спросил он вдруг, и лицо доносчика стало сразу такое, точно ему пообещали расстрел. — Ну, ладно, давайте... что еще там у вас?.. Деньги в Харьков перевели?

Посещение все же вернуло его к действительности. Тоненькая бухгалтерова ложь кое-где припахивала правдой. Еще минуту по его уходе он сидел, как пришитый к месту, и вдруг распрямился. Газетой, смоченной из чайника, он смахнул пыль, и в мокром глянце подоконника

сверкнула рассеянная предмайская просинь: погода разгуливалась. Потом он мылил щеки и выскребал рыжее мочало, наросшее на них. Ага, его обходили! Он вымылся и вышвырнул из шкафа другой костюм, поновее; пухлая белая плесень на вздувшемся кармане привлекла его внимание. Это был тот самый пиджак, в котором он навещал Арсения перед его путешествием к Гарасе. Мандарины сгнили, и коричневатая жижа в тонком и длинном пушке — вот все, что осталось от сына! Вывернув карман наизнанку, он ножом выскребал эту дрянь, все еще пахивавшую апельсиновой коркой; кстати, еще оставалась теплая вода от бритвы... Заодно, сразу вступая в разгон запущенных дел, он сделал в этот день первый обход своего хозяйства.

Опять он шел, — бегло, как страницы, листал лаборатории. Он поднимался по лестницам, спускался в просторные, облицованные кафелем стойла машин и всюду видел одно: люди ходили как приторможенные. Как и прежде, почтительный шелест катился перед ним, но провожали его шопотком и перемигиваньем. Искали знака обреченности, признака скорого падения, которым, впрочем, заканчивает всякая звезда. Все это находили в той сонливой величавости, какая дается только глубоким старикам. За весь свой путь он не отдал ни одного распоряженья. Дверь в свой кабинет не открыл рывком; в этой комнате, застланной линолеумом и с круглым башенным окном посреди, родились его беспримерная гордыня и жажда соревнования с потомками, которые вот он ездил хоронить в собственных обломках своих. Все было попрежнему, и Ленин из огромной, обтянутой крепом рамы шурился на судорожное хождение Скутаревского. Женя сидела на том же месте, где он оставил ее перед отъездом, в белой блузке и над кипой спешных бумаг: ничего не произошло. При его появлении она поднялась, и был безмерно понятен ей его сухой, начальственный кивок.

— На три часа разговор с Ленинградом, — приказал старик. Рука его бесцельно барабанила в гладкое, холодное стекло. — Завтра же с утра доклад Ханшина. Делегацию американских шкрабов отменить. Я не папа римский, и дом этот не музей наглядных пособий. Так и скажите им... вы, кажется, знаете по-английски?

— Я учусь, — ничего не подозревая, ответила Женя.

— ...Черимов?

— Он приезжает завтра. От него получена телеграмма о полном согласовании плана параллельной работы с ленинградским филиалом. Тут накопилась корреспонденция... — И подала целый ворох писем, проспектов, журналов и брошюр.

Так они и остались лежать нераспечатанными. Скутаревский писал, марая листы, кряхтя и бормоча себе под нос: повидимому, удавался ему стиль бумаги, которую сочинял. С жадностью губки она вбирала в себя отравную скверну его тогдашних настроений.

— ...и потом позвоните Вилькинду и скажите, что я не согласен с приказом номер двести четыре. Могут выметать меня железной метлой!

— Слушаю.

Буря продолжалась; выражения менялись в его лице — так по тенистой болотной черноте бегут прорывающиеся сквозь грозовое облако лучи.

— ...калоши купили наконец?

Она опять приподнялась; озороватая ласковость его плохо вязалась с образом того, кто обидел ее накануне.

— В кооперативе не было моего номера.

— У вас большая нога?

— Нет, но я не ношу туфель на французском каблуке.

— Великолепно-с!

И опять писал, шурясь, причмокивая, покручивая бородку так, словно совсем сбирался вывинтить ее с места.

Утром приехал Черимов, и Сергей Андреич вручил ему свое рукоделье, когда тот забежал к нему поздороваться. Послание и по почте с успехом могло достигнуть адресата, высокое наименование которого заставляло быть кратким и осмотрительным. Черимов быстро пробежал его глазами и, досадливо крякнув, с самым покорным видом присел на стол. Он очень торопился; то был бешеный день партийца, ответственного за громадное предприятие, но это, ребяческое по существу, обстоятельство заставило его временно отбросить все другие дела. Литературное творчество Скутаревского всегда отличалось скупостью; за два часа только восемь гневных и горьких строк изошло из него. Заявление Сергея Андреича заключало в себе просьбу об отставке.

— В чем же дело, Сергей Андреич? — и сидел, смирно сложив руки на коленях.

— Спешу, пока не выгнали!

Черимов грустно потупился, чувство юмора редко покидало его. Вместе с тем Скутаревский походил на обожженного и завопил бы даже при самом осторожном прикосновении. С терпеливым и задумчивым видом Черимов разорвал конверт и наискосок, одну за другой, отрывал узкие ленточки фиолетовой подложки.

— ...так чего же вы молчите? Я надеюсь, пенсию-то мне дадут! Домов я не нажил, брильянтов не накопил. Гоните меня, гоните, пролетарская физика!.. и уж если в профессора не гоюсь, так в сторожах сойду. Уж во всяком случае исправнее буду этого вашего Зайкина, который ногами мышей давит в валенках!

Из одной полоски Черимов успел свернуть тоненькую трубочку, наподобие лучинки, а из кармана извлек костяной мундштучок.

— Да-с! — наступал Скутаревский. — На вашем месте я написал бы донос на меня. Одним ударом можете соорудить карьерку... кстати, это практикуется! Опыт-то все-таки не удался, а почему? А может, я нарочно?.. А может, я не желаю давать вам в руки это? Иван Петровича помните? — и зловеще подмигнул округлившимся глазком.

Трубочкой Черимов чистил мундштучок и делал это с демонстративной почти откровенностью. В сущности, он был беззащитен в эту минуту. Конверта как раз хватило, чтоб вычистить беззатейную костяную штучку до конца. С видимым удовлетворением он положил ее в карман.

— А заодно с институтом берите и Женю: наши с вами карты ясные. Вам пора семью, уверяю вас. Сын будет, удовольствие будет... себя в нем, как в зеркале, станете узнавать. Ну вот, я кричу, а он смеется! — и растерянно развел руками.

Черимов и вправду не мог сдержатъ усмешку.

— Вот, курить я из-за вас начал, Сергей Андреич. Отравляюсь никотином, юность свою укорачиваю...

— Так, пошучиваете. А Енисейскую-то линию придется тянуть на проводах.

— Но мы же верим вам безусловно, Сергей Андреич.

Мы довольны уже тем, чего вы добились. И мы уверены, что вы станете продолжать вашу работу.

Скутаревский снова взорвался, но, кажется, это были уже остатки:

— Но я не могу сам! Я беден, а мои машины стоят денег. Я не имею личных средств. Я гол, молодой человек, и теперь я уже не дал бы вам пары штанов...

— Не к *Азгу* же вам обращаться за субсидией. Да заграничные фирмы вряд ли и дадут на науку столько, сколько сможем мы даже в конце этой пятилетки. Слушайте, я говорил уже кое с кем. И потом я устрою вам свидание-с...

— Чушь!.. — и весь в пятнах отошел к окну. — Брать больше денег я не смею. Я тоже знаю, какие это деньги, молодой человек. А потом меня, как Ньютона, четвертовать станут!.. Но я еще живой, я еще сплю пока не в урне, а в кровати. Я не дамся на себя ярлычки наклеивать. Крови, что ль, они моей хотят?.. так ведь стар я, и кровь моя не сытная. К чорту, в сторожа! — Он передохнул, что-то замкнулось у него в груди; потом он сел, легкое удушье не прекращалось, — это было только начало будущей его астмы. — Имейте в виду, что и впредь я буду ставить *это* центральной проблемой института. И я гайки в этом доме еще потуже подкручу.

— Ну вот, и правильно! — обрадовался было Черимов и, взглянув на часы, стал слегка потягивать на себя дверь. — Вот и действуйте, Сергей Андреич...

Тот не унимался:

— Разумеется, мы задолжали... и вы думаете, что вы с Ханшиным расплатились? Чепуха-с, молодой человек, фанера-с! В социализм идут не такими шагами... уже если итти. Социализм — это человек во весь рост, это человек, уже навсегда вставший с четверенек... и только там гордо будет звучать это слово — человек! А вы элементы Лекланше изобрели, чересчур жизнерадостный вы, мой товарищ академик!

Как бы махнув рукой на просроченное заседание, Черимов властно и дружески притянул к себе учителя.

— Успокойтесь вы, добрый и взрывчатый мужик, — сказал он тихо и с такой пронзительностью, что обмякла разом в Скутаревском вся его обида. — Лезете вы на рожон, замахиваетесь на меня, но я же кроткий человек,

и обидеть меня легко! — и опять смеялся, не выпуская плененной его руки. — Я знаю, вам больно сегодня. Но даже если и не вы, так другой двинет эту несбыточную штуку вперед.

— К черту, я никому не намерен переуступать своих прав!

«Как медленно растут в старости, и с каким страданием это сопряжено, — думал Черимов, — и то, что в молодости легко и просто, какой свирепой трагедией разворачивается в старости!» Он додумывал уже вслух.

— Занятно, что, если бы мы сегодня победили окончательно, вы были бы совсем наш, но догнать нас было бы вам во стократ труднее. Догоняйте же, Сергей Андреич, догоняйте пока...

Их разговор затянулся, и даже легкий оттенок задумчивости, противный обоим, появился в нем. Не подозревавший в себе таких талантов, Черимов только диву на себя давался. Ханшин дважды подходил к кабинету и безуспешно дергал запертую дверь... Заодно уже, пользуясь обстоятельствами, Черимов попробовал уговорить старика выступить на заводском собрании: в текущем месяце завод перезаклучал свой шефский договор с институтом. Над этой новой формой революционного сотрудничества Сергей Андреич всегда, хоть и благодушно, посмеивался.

— Лекцию им, что ли, читать? Так ведь не поймут.

— Не то, — подталкивал Черимов. — Это только предмайское общезаводское собрание ударников. И не лекция им нужна, а слово ваше, появление ваше. Вот вы и расскажите им про семимильные шаги в социализм.

— Не умею, я подумаю... я ругаться с ними буду насчет того трансформатора! — сообразил он вдруг, высвобождая руку. — Кстати, чуть не забыл, — он сделал вид, будто не замечает, как заливают краску черимовские щеки, — Женя заявила мне вчера, что она уходит. Ей предлагают койку и харч в вузовском общежитии...

— Да, я слышал, — сказал Черимов, кутаясь в облако табачного дыма.

— Ей надо прежде всего учиться. А институт дал ей слишком много нагрузок... Я не возражаю против ее ухода. Распорядитесь о моем новом секретаре!

— Хорошо, — сказал Черимов.

И вот, через два дня она пришла к Скутаревскому проститься. Она совсем не видела его эти дни. Как когда-то в молодости, он забирался теперь на ночь в лабораторию, теперь уже не один, а с тою сплоченной группой учеников, которых собрала его увядающая слава и которые остались верными ему. В этот день, ввиду предстоящего майского праздника, занятия прекратились с полудня, и в здании института стояла запустелая тишина. Два исполинских иллюминационных транспаранта с лозунгами пятилетки зажглись на соседнем корпусе, и, когда Женя шла к Сергею Андреичу, всюду, где она проходила, на столах, стенах и приборах светился мерцающий, размноженный никелированными поверхностями и стеклом багрец. У малого высоковольтного зала, откуда пересекающимися треугольниками выступала световая кулиса, она постучала. Ей навстречу вышел тот хромой ассистент, который заместил собою Ивана Петровича. Он мельком недоброжелательно взглянул на нее и ухромал вспять.

— Мне Сергея Андреича на минутку, — вдогонку ему сказала Женя.

Тот вышел через секунду в жилете, без воротника и с нетерпением, которое заранее обрекало на неудачу задуманный ею разговор.

— Я пришла поблагодарить. — Она смутилась его grimасы, выражавшей степень раздражения за прерванную ради пустяков работу. — Федор Андреич звонил насчет машины. Он едет сегодня...

— Отлично. Дальше!

— Все бумаги я сложила на столе в углу. Сверху два немецких письма требуют срочного ответа... это по поводу аппаратуры, которую мы заказывали.

И опять Сергей Андреич с видом учтивого терпения переступал с ноги на ногу.

— Я ни в чем не виновата перед вами. Я так хотела помочь вам...

Он топнул ногой:—

— Вам непременно нужно, чтобы я подтвердил вам это?.. или вы думаете, что ничего не случилось бы, если бы новым козырем в игре не упали вы? Вы мой миф,

Женя, миф, попавший в машину. Вы пришли, и вот вы уйдете!

— Но мне жалко уходить отсюда...

— Вам предоставляется право вернуться сюда через десять лет, как вернулся Черимов. Учитесь, ищите в жизни свою семерку... Меня вы не застанете, наверно, но будет кто-нибудь другой. Все благополучно. Я тороплюсь... Возьмите машину, если надо!

— Я на трамвае, у меня мало вещей...

Он ушел, оставив ее в темноте и на полуслове. Хромой пробежал мимо нее, падающий и быстрый, как гном, таща какой-то размером со свою голову стеклянный шар. Женя все стояла, потом медленно пошла, и сразу все на ее пути, чему она по-детски еще совсем недавно сообщала души и раздавала имена, теперь приобрело холодную машинную величественность. Она стала чужой здесь, она ошибалась всегда: здесь никогда не было мечтанного сада, не было и сохлых хотя бы деревьев здесь; от века тут была пустыня, и на песке ее, среди математических писем, начертанных ветром, лежали и зрели моторы, лысые, вычурной формы, колбы и какие-то механические уроды — рабы, которых пошлет на одоление природы освобожденный человек. Она шла, изредка останавливаясь и слушая эхо своих шагов; она шла, и никто не догонял ее, чтоб вернуть.

Только через полчаса Сергей Андреич заехал за братом, и похоже было на то, что время свое он планирует не по предстоящему заседанию, на котором должен был выступать, а по отходу поезда, на котором к Кунаеву уезжал Федор Андреич. С чемоданом и рюкзаком за спиной тот ждал его на тротуаре, у фонаря.

— Садись, эй, странствующий артист! — закричал Скutarevский, распахивая дверцу. — Где же твои мольберты, подрамники?..

— Кунаев дает все... он, чудак, потребовал, чтобы я ехал к нему почти голый!

Машину затирало толпой. Уже с вечера беспорядочным пока гуляньем начинался предстоящий праздник. Темной угловатой вереницей текла толпа. Алый жар струился вниз с электрических щитов; их было много, и целое багровое половодье поднималось в небе над центральной частью столицы. И не свежим воздухом, идущим от прозябаю-

щих за городом полей, ознобляло, а тем, пожалуй, волнением, которое внушает всякая, монолитно движущаяся, объединенная одним очень простым словом толпа. Было глуховато и торжественно: просунув руку, Скутаревский отстегнул оконную слюду, и смех, смешанный с задиристым треньканьем струн, стал вплетаться в почти непрерывное гуденье автомобиля.

— Сюда нехватает оркестров и красок, которые еще надо изобрести! Со временем это выльется в форму небывалого карнавала, и... это новое просвещенное язычество, идущее на землю, я благословляю, брат! — И Федор покосился на Сергея, но тот слушал внимательно. — Знаешь, я почти вижу эти гибкие, цветные ленты народа, который пляшет, веселится и поет. Май — это день обновления и свободы, это праздник роста и сева, это торжество молодости и неукротимой веры в свои силы... На одной из кунаевских стен я сделаю это шествие новой весны!

Скутаревский иронически покачал головой —:

— Что с тобой сегодня?

— Да, волнуюсь. Это очень трудно, начинать сначала... Я боюсь...

— Кунаева?

— Нет, себя. Я не хочу сделать мало, а много — я не вижу для этого ясности в самом себе. Знаешь, всегда художник пользовался полуфабрикатом, который ему поставляла заслуженная, испытанная фирма: жизнь. Сегодня он стоит перед взорванными и разрытыми карьерами, которые еще дымятся. Его сырье сегодня — первородная руда; надо долго сушить ее, сортировать, сплавлять, чтобы сделать ее послушной руке ваятеля. Вот почему, Сергей, даже малое неумение сегодня звучит как преступное косноязычие.

— Ага, душа, значит, отступает перед разумом! Что ж, твори... только без кипарисов, без позолоты, — одуванчиков и честности побольше!

Они стояли друг против друга на перроне, как много лет назад, но оба уже с седыми висками, старики, и прежняя тема их повторялась почти дословно. Сергей Андреич взглянул на часы; заседание на заводе длилось всего только час, и поезд Федора отходил через две минуты.

— Итак, что же ты будешь делать у Кунаева?

— Не знаю. В договоре стоят — полдень, стройка,

баррикада, шествие, весна, то есть все те эпосные слова, которыми класс начинает свою историю. Но внутри себя я вижу только массу пересекающихся линий, из которых одни идут вверх, вырастая за пределы моих картонов, иные бьются на месте, затухая в агонии и подобные волне, иные идут вниз, чтоб уступить место новым, которым дано просечь великие пространства впереди...

Поезд пошел быстрее, Сергей Андрейч шагнул вперед:

— За тобой долг: сделай мне воспоминание, о котором я просил тебя!

— Да... — и махнул рукой.

Истратить вечер так, чтобы не осталось вовсе времени для выступления на заводе, не удавалось. Опоздать туда оказывалось еще труднее, чем убежать от самого себя. Судя по тревожному, все более усиливающемуся ощущению, заседание там, куда он такими окольными зигзагами направлялся, все еще продолжалось. Но даже давая адрес шоферу, он мысленно приказывал ему не торопиться, и тот понимал его полунамеки. И правда, ломило в затылке после целого дня работы, целительнее кавказских полдней была ему эта фантастическая первомайская ночь. И опять на судорогу походил маршрут его ночной поездки. Он заехал к зданию, куда сотни раз вбегал рыжим, неистовым студентом; он побывал в переулке, в котором, как в тюрьме, высидел значительную часть жизни; он сделал десяток километров по шоссе, по которому, может быть, столетие назад вез Женю, — и снова оказался все на той же уличной магистрали, о которой не забывал ни на мгновенье.

Снова они ехали по переулкам, среди скудных, только вчерашней посадки, скверов. Прохладная тишина, вымытая дождичками накануне, казалась прозрачной, и в ней, как бы потягиваясь, деревья расплавляли свои спутанные, уже тяжелеющие сучья. Потоки электрических огней, свитых в гирлянды, гербы и звезды мелькали время от времени в проемах улиц, и опять лиловатая мгла, обступавшая машину, расширяла пределы воображения. Этой короткой ночи, не отличимой от многих таких же, она придавала почти эпическое звучание. Казалось, самая планета ускоряла свое вращенье, и по центробежной инерции выступали из нее цветы, алые знамена, зелень и неугомонная, певчая человеческая порода.

— Езжайте скорей! — сказал Сергей Андреич.

Заводские ворота, наряженные в кумач, светились. И хотя десятки раз Сергей Андреич проходил в них, сегодня труднее обычного было перейти границу заводской территории. Задрапированная тканью, убранная цветами лестница повела его наверх. Зал был полон, и часть рабочих теснилась у дверей.

— Вас ждут, — улыбнулась работница, поставленная на проверку билетов.

— Я от института...

— Да, я знаю, товарищ Скутаревский! — Улыбка ее, от глаз внезапно распространявшаяся по всему лицу, напомнила ему Женю той поры, когда он впервые пришел к ней после болезни.

Его ждали давно и из-за опоздания изменили повестку. Только что закончился доклад заводского комитета. Дав музыке прогrometer свое, председатель собрания, цыганистого обличья человек в снежно-белой косоворотке, встал и назвал имя директора высокочастотного института. Зал затих; его искали глазами, о нем шептались, пока из толпы, запрудившей все выходы, он пробирався на трибуну.

Это была самая наивная, из фанеры сколоченная мебель; кривобокий графин с питьем ораторов нетрезво покачивался на ней при каждом движении. Завод был детищем пятилетки, и клубный зал, по замыслу строителей — венец архитектурной техники, был еще недостроен. В центре этого монументального полукруга, полного глаз, света и неподвижного ожидания, стоял теперь Скутаревский, ища глазами Черимова, который непременно должен был затаенно улыбаться в гуще этих людей.

— Товарищи... — полувопросительно начал он, сурово поджимая губы.

И как будто только теперь имя его достигло внимания аудитории, его прервали грохотом рукоплесканий. Было так, точно взорвалось длительное недоумение, разделявшее их до этой минуты. И может быть не его самого, а именно эту удивительную частицу времени приветствовал овациями зал. В этом небывалом приеме, значительно превосходившем меру той дипломатической деликатности, которую старательно и незаметно подготавливал Черимов, выразилось многое — и прежде всего приглашение раз-

делить свою временную неудачу на миллионы долей, каждая из которых утратит тогда свою ядовитую, отравную горечь. Сергей Андреич сбился и молчал, и вот уже не знал вовсе, что он сделает сейчас: расскажет ли историю возникновения своего института, десятилетний юбилей которого приближался, или действительно выберит завод за качество высоковольтного трансформатора, построенного по его заказу, или, наконец, отвечая на неистовство этой распахнутой дружбы, объявит ударным свой институт: сейчас он одинаково был готов ко всему. Сердце его колотилось зло, аритмично, точно после крутого спуска с горы, точно перед путешествием в грозную и обширную страну, которая белым глухим покатом пока пятном обозначена на картах.

1930—1932

П Ъ Е С Ы

П О Л О В Ч А Н С К И Е С А Д Ы

ПЬЕСА В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Маккавеев Адриан Тимофеевич — директор совхоза, 57 лет.

Александра Ивановна — его жена, 39 лет.

Юрий, 34 лет

Виктор, 32 лет

Сергей, 29 лет

Василий, 26 лет

Анатолий, 24 лет

} дети Маккавеева от первого брака.

Маша, 19 лет

Исайка, 18 лет

} дети Маккавеева от второго брака.

Отшельников Алексей Дмитриевич — военнослужащий,
28 лет.

Унус Ирод Антонович — научный сотрудник, 45 лет.

Ручкина Софья Николаевна — учительница, 35 лет.

Стрекопытов Платон Платонович — заведующий хозяйством, 52 лет.

Дуся — его жена, 23 лет.

Пыляев Матвей Фомич, 50 лет.

Жабро Каспер Касперович — гость Маккавеева.

Письмоносец.

Лейтенант для связи.

Другие гости Маккавеева.

Действие происходит в плодовом совхозе.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Бывший помещичий дом, и в нем большая, с остатками былых роскошеств, комната Маккавеева; одна из стен вся новая. В трех некрашенных шкафах — восковые плоды, ботанические препараты, лабораторный инвентарь. Направо — лестница в верхний этаж; на площадке ее первого марша — чучело ночной желтовато-серой птицы. Под лестницей, рядом с дверцей в пристроенный чуланчик, — конторка. Над нею — часы-ходики и сельскохозяйственные плакаты по сторонам: большие разрезанные яблоки и в них хищные червяки. За дверью с цветными стеклами — прозрачное, подкрашенное осенью пространство сада. Слева — отгороженная занавеской койка Исайки и столик с его инструментами; разобранный граммофон на полу. Вечер и жара: все проходящие обмахиваются чем придется. Александра Ивановна штопает пиджак мужа. Маккавеев в кресле; из-под халата торчат его большие грубые сапоги.

1

Маккавеев (*взял крынку, заглянул*). И тут скисло. Хлопья какие-то плавают. (*Сплеснув на пол, пьет.*)

Александра Ивановна. Не пей столько. Опять припадок будет. Дай сюда.

Маккавеев. Поезд давно пришел. Что ж дети-то не едут?

Александра Ивановна. Твердила, лошадей бы послать. Много ли за вечер воды навозишь!

Маккавеев. Нельзя, Саша. Сгорят мои сады.

2

Стрекопытов (*заглядывая за дверь*). Есть кто-нибудь дома-то?

Маккавеев. Заходи, в самый раз.

Стрекопытов. Отвернитесь, Александра Ивановна. У меня вид окаянный. *(И верно, рубаха на нем надета задом наперед. Он что-то высматривает.)* Не приехали еще ребята-то?

Маккавеев пальцем зовет его к себе.

Ну, пошто, пошто заманиваете?

Маккавеев. Чего, на аркане тебя тянуть? Что я, дракон?

Стрекопытов *(усмехаясь)*. Ну, опять вы, такая вещь, задумали!

Маккавеев. Вы же сами, как это говорится, местный самородок ума. И рапорт тоже... *(И такая уж у него привычка: в волнении утрачивать связь между словами и сопровождать их необыкновенными жестами.)* Па-адалица везде! Слива-то венгерская...

Стрекопытов. Вы уж как-нибудь появственней, Адриан Тимофеевич.

Александра Ивановна. Адриан говорит, поливка у нас плохая. Молодь пожелтела, лист сыплется, как в ноябре.

Стрекопытов. Неустройство вселенной. *(Он неторопливо набивает трубочку.)* Как снег сошел, два дождя всего. Из них один неполноценный. Вы окиньте легким глазиком, что деется-то: петухи петть перестали.

Маккавеев. Воды, воды... в бочках возить, копать.

Александра Ивановна. Тише, Адриан, спят у нас. Сойдитесь вы поближе. Кричат, что на покосе.

Стрекопытов *(шопотом)*. И это я благоразумно понимаю, что вода. Что же, я ее загонопотизирую, что ли? Пруды вчистую выхлебали, уж головастики в трубы пошли... Один намедни топор в колодец уронил. Он туда влезает. И что же он там видит? Не угадаете. *(Закурил, пыхнул дымком.)* Лежит его топор, а вокруг сухое, прохладное помещение. Такая вещь.

Молчание.

Я так полагаю, нынче их ждать не приходится, ребят-то.

Маккавеев *(тихонько забирая в кулак его плечо)*. Рапорт-то писали, Платон Платонович?

Стрекопытов. Кто ж за язык-то нас тянул? Эка, рапорт надо писать с поправками; на стихийство, на

немошь людскую, на встречное обстоятельство. Да пустите вы мое плечико. Возьмите вон скамеечку, что ли, и ломайте. (*Вырвался и отошел.*) Вы, я вижу, выздоравливаете.

Ма к к а в е е в. Со мной осторожно, я нынче под током. Я, эвон, припадочный стал. (*Срываясь с шопота.*) И ежели завтра же, завтра... сколь глаза хватит... я не погляжу, что самородок!

Стрекопытов вопросительно смотрит на Александру Ивановну.

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Адриан говорит, что если завтра все полито не будет, то... (*Мужу.*) То что тогда, Адриан?

Ма к к а в е е в. Переведи, переведи ему... я сам, сам с ведрами выйду, я...

Стрекопытов уходит.

Он опять свой перхун пил. Вокруг него посидишь — пьяный станешь.

Стрекопытов (*вернувшись*). Уже лекарства от вина не отличаете, просвещенный человек. (*Уходя.*) Разъясните ему потом, Александра Ивановна.

3.

Ма к к а в е е в. Вот и он то же говорит. Васька все свои моря побросает, прискачет, а я здоров... и даже в сапогах. Нельзя, Саша, телеграммами шутить.

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. За три года можно три дня подарить больному отцу.

Ма к к а в е е в. Чем я болен, чем? Припадки сердца у всех бывают. У меня один ребенок знакомый был, и тот... э! (*Махнул рукой.*) А ты Ваську с работы сорвала. Часовой на посту, он караулит морскую границу, а ты... А может, в эту-то полминуту они и полезут!

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Что ж ты все про Василья одного? К тебе и другие дети придут.

Ма к к а в е е в. Тем паче! У Юрья глаз на эти штуки специальный. Эх, не поверит. Дай хоть пузырьков сюда из чулана. Пыль сотри и долей, где нехватает. (*Ерошит голову.*) Больные все лохматые бывают. Что ж ты меня ровно в шкатунке содержишь. Побалуй, дай сквознячку!

Александра Ивановна пошла открыть окна.

Саша, а может на голову тряпочку мокрую положить? Я видал, больные кладут на голову тряпочку.

Александра Ивановна. Адриан, я с тобой поговорить хотела.

Маккавеев. Давно заметил. Ну, порадуй.

Александра Ивановна (*у Исайкиной койки*). Исай, ты спишь? (*Она отдернула занавеску, там нет никого.*) Опять уполз куда-то. Задал бы ты ему хоть раз: расшибется где-нибудь.

Маккавеев. Вернется, я ему подкручу пружину. Ну, давай, радость-то.

Александра Ивановна (*тихо, сзади*). Адриан... Матвей-то жив, оказывается.

Маккавеев взволнован, он пытается встать. Она его удерживает.

Сиди уж, сиди. Он письмо прислал. Я тебе не показала, не хотела волновать, ты лежал. На!

Маккавеев (*отстраняя ее руку*). Значит, они его не убили? Это хорошо, Саша, хорошо. Что же он тебе пишет, Матвей?

Александра Ивановна. Пишет, в тресте устроился, по поручениям. Вот, описывает, как рыбу закупал. Смешно очень, в стишках, прочесть тебе?

Маккавеев молчит.

Он хочет сюда приехать. Я сама понимаю, что не вовремя: и дети приедут, и он... Да ведь адреса-то мы его не знаем, предупредить.

Маккавееву душно, он распахивает халат.

Надо бы койку-то Исайкину в чуланчик перенести. Все почище, поаккуратнее будет при гостях.

Маккавеев. Не похоже, чтоб Матвей на рыбе успокоился. Злых кровей мужик. Значит, турнули его с высоты-то?

Александра Ивановна. Ты сам прочти, оно не длинное...

И опять Маккавеев не взял письма.

Помиритесь вы с ним, Адриан. Оба вы теперь старики

Маккавеев (*притянув ее к себе за рукав*). Присядь, Саша. Все собирался спросить, да минута не подо-

дила. Как же это случилось-то промеж вас... знакомство-то ваше?

Она молчит.

Какая ты все еще молодая у меня!

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Смотри, как расплылось мое лицо и как глаза мои потухли.

Он гладит ее руку.

Просто, Адриан, проще самих слов. Я за тебя девчонкой вышла. А ведь я с твоими детьми росла. Настенька, сестра, когда умирала, велела мне не покидать детей. Потом ты ушел на фронт. А Матвей тут и подвернулся. Утром началось, я думала — к вечеру и кончится. Шла по дороге, а он случайно попался мне навстречу. Он остановил коня и все глядел мне вслед.

М а к к а в е е в. Значит, оглядывалась?

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Нет.

М а к к а в е е в. Так откуда же ты знаешь, что он вслед тебе смотрел?

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Должно быть, сердце подсказало.

М а к к а в е е в. Приставал он к тебе?

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Нет. Молчал и только улыбался при встречах. Он веселый был, и всегда ветерок от него шел. Потом, через полгода... уже немцы пришли, и ты ушел в окопы... Матвей ворвался ко мне. Мокрый, вот здесь кровь, черная. Ночь была, и дождик с ним ворвался. Мне почудилось, все наши, убитые, товарищи наши, теснятся сзади. Куда же я нитки-то задевала?.. Я его пустила.

Молчание.

Потом его взяли немцы. Все прошло, Адриан. Я его оплакала.

М а к к а в е е в. А он взял да и открылся через осьмнадцать лет.

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Не думай об этом. Ничего у нас и не было, погляделись и разошлись. Первая-то любовь никогда не бывает главная. *(С новой силой.)* Но когда подумаю, что то же самое случится когда-нибудь и с Машей... Тот же возраст, тот же в окнах запах яблочный!..

Маккавеев. Ну, за Машенькой-то мы последим. *(Слегка оттолкнув ее от себя.)* Мне и самому интересно, чем он стал теперь, Матвей Пыляев. Постой, кажется, приехали.

4

Шум из сада. Александра Ивановна едва успела распахнуть дверь. Влетели, запыхавшись, Ручкина и Дуся. Они разодеты в пределах местных возможностей и вкуса. Дуся хромает, оторвавшийся каблук она завернула в платок.

Ручкина. Дуська, я за тобой не поспеваю. Ты словно на колесиках.

Дуся. Миленькие, значит, все наврали нам? Мавра плела — у Маккавеевых полон дом сыновей, играет музыка, все кричат «ура». А у вас тишина и даже лекарством пахнет.

Александра Ивановна. Музыку-то, вон она, еще не собирал Исайка. Нету. Наверно, поезд опоздал.

Ручкина. Сейчас урожай в первую очередь. Как здоровье, Адриан Тимофеевич?

Маккавеев. Здоровье мое подтачивает неизвестный червь... старость, Софья Николаевна! А я ему не поддаюсь. *(Жене.)* Дай-ка мне папку с конторки.

Дуся. Мы сюда шли, за бурнашевскими стогами — войска, танки стоят. Даже воздух — какой-то железом пронизанный!

Ручкина. Ну да, сегодня ж маневры начинаются.

Александра Ивановна подала папку.

Маккавеев. Опять у вас, барышня, в ведомостях ералаш. Нельзя эдак, круглый год в голове весна... Семью девять сколько, восемьдесят один?

Дуся. Ой, дайте я поправлю. Такой переполох, все ждут гостей. Мы так спешили...

Ручкина *(перебивая)*. Мы так сюда спешили. Дуська все бегом, напрямки... Даже каблук в канаве сломала.

Дуся. И вовсе не бегом. Он у меня давно шатался. Взгляните, Адриан Тимофеевич... просто как специалист взгляните: все гвозди ржавые. Мне-то незачем бегать, я замужем.

Ручкина *(вспыхнув)*. Ну, меня тоже добиваются. Только я на первого встречного не кидаюсь.

Дуся. Кто про что, она про Унуса. Нашла хвастаться. Цифра какая-то в бумазейных брюках. На этого лунатика только в погребе, ночью, с завязанными глазами и любоваться. Одна фамилия: Унус! Унус в гумус сунул прунус... Господи, какая пучеха!

Александра Ивановна. Опять повздорили подружки. В который раз сегодня?

Дуся. Тре... да, третий. Ну, будет дуться. Поцелуй меня. *(Она обняла Ручкину, которой это неприятно.)* Мой Платон тоже клад, прятать некуда. Ребята еще и не приехали, а он уж... ревнует, как... ну, как его звали, негра, который жену-то задушил? *(Шепчет что-то Ручкиной на ухо.)* Ты подразумеваешь, что это за фрукт!

Ручкина. Пусти, жарко же.

Дуся. Мавра плела, будто у Мосея курица вареное яйцо снесла. По-моему, это в высшей степени не научно. Как вы думаете, Адриан Тимофеевич? Просто как специалист скажите... Тс-с, голоса! *(Выглянула наружу.)* Не-ет, это Исяя ведут. С утра так волнуюсь, что новые люди приедут...

Ручкина. ...и молодые люди, главное дело.

Дуся. Ты что, мстить мне собираешься?

5

Унус *(с чешским акцентом)*. Обопирайтесь на меня хорошенько. Тут еще приступочка. *(Держа один костыль, вводит смущенного Исайку.)* Добрый вечер, всем добрый вечер. Барометр шагает вниз. *(Меланхолично.)* Ура, ура.

Исайка. Теперь пустите, я один могу.

Александра Ивановна. Вот, посмотрите на гуляку. Он и полежать дома не может.

Исайка. Братья не приехали еще? Ну, принимайте меня, прячьте за занавеску.

Унус *(поочередно здороваясь со всеми)*. Иду, а он лежит под яблоней подобно тому, как птенец из гнезда. Больные должны лежать; напротив, здоровые должны ходить. *(Передавая сверток Маккавееву.)* Ваша почта. Тут записочка, на мотоцикле привез один. Маневры начинаются. Уже заметно движение войск. *(Ручкиной.)* Вы красивы сегодня.

Ручкина. Всегда вы берете руку, как в тиски. Ложитесь, Исай, не стесняйтесь.

Исайка. Вот еще музыку надо к приезду починить.

Маккавеев *(тоном выговора, который ему не удается)*. Ты уже, братец, экскурсии какие-то затеваешь. Нельзя быть таким гордецом.

Исайка. Брани, брани меня, Маккавеев. Мама, дай мне керосин. Он там, на окне, в баночке.

Ручкина. Делайте свое дело, я ему подам. У вас целая мастерская. Я вам зонтик принесу, защелка отскочила. Можно?

Исайка. Вот граммофон; потом медогонка у Мосея. Строгая очередь. Несите.

Ручкина. Как делается жизнь, Исай?

Исайка. Подержите тут, я просверлю. *(Положил пружину на стол.)* Какую мне Васька дрель-то прислал! Обо всем помнит. *(Он сверлит отверстие для заклепок.)* Жизнь моя покончилась, наступило житие.

Ручкина. А вы держитесь. Посмотрите, какие все Маккавеевы крепкие, стойкие. Каркас в них какой!

Исайка. Э, разве я Маккавеев... разве Маккавеевы такие?

Молчание

Это Мосей сказал про житие, а я ему не верю. Мне нельзя в это верить.

Дуся. Вы еще наделаете дел, Исай. У меня предчувствие.

Исайка. Хочется. *(Со сдержанной завистью.)* Бурнашевские ребята в Красную Армию пошли, с песнями. Они песни поют... Ну, еще одну, не устали? Вы нарядная нынче.

Ручкина. Последние дни каникул отгуливаю. Опять школа, ребята... Я люблю после лета ребячьи новости.

Скатилось одно колесико, она его подняла

Не гнитесь, не гнитесь, я подниму.

Исайка. Руки дрожат. Юрка в письме обещал посмотреть меня. Он вроде профессора теперь. Его все болезни, как чорта, боятся.

Дуся. Адриан Тимофеевич, вы нам все про Василья рассказываете, а у вас, оказывается, и врачи есть в семье?

Маккавеев (*прерывая разговор с Унусом*). О, спросите, кого у меня нет. На любой выбор. Вот еще Исайку будем ремонтировать. Эй, знаменитый ходок, лови газеты. (*Кинул ему сверток.*) Читай, потом доложишь. А сыновей у меня множество: сад.

Дуся. Когда вы успели столько, Александра Ивановна? Не скажешь ни по годам, ни по лицу.

Ручкина. Это все от первого брака Адриана Тимофеевича. (*Александре Ивановне.*) Я еще девчонкой помню вашу сестру.

Александра Ивановна. Моих только двое, остальные от Настеньки. Заждались, три года дома не были.

Маккавеев. А чего? Чего товаро-пассажирское движение без толку загружать?

Унус (*пуская длиннейшую струю дыма*). Есть такая поговорка: отцы не должны терзантих своих детей.

Ручкина (*терпеливо*). Нету такого слова, Ирод. И поговорки нету. И потом, что вы такое курите?

Унус. Это есть опыт табака. Новый сорт.

Ручкина. Попролам с крошеними мухами, наверно. (*Закашлялась и отошла в сторону.*)

Унус спрятал трубку. Дуся прибирает комнату.

Дети и не узнают теперь, так все здесь переменялось.

Александра Ивановна. Уж двадцать лет, а как вчера! Дусенька, там я уже вытирала. Кажется, закрыть глаза, и снова будут вечер, и песня, и молодость, и тачанки гремят в степи, и этот дом расстрелянный, точно на колено припал...

Отдаленный стук пулемета. Все слушают.

Дуся. Началось.

Александра Ивановна. Когда нас сюда привели и сказали: «Стройте!» — здесь горелое место было и две десятины порубленного сада. Вот эта стена на земле валялась, и на ней ночная птица. Адриан ее убил.

Унус (*глядя на чуело*). Это есть по-латыни бубо максимус. Есть еще и другой вид, бубо аскалафус с крапинками на груди, но он у нас не живет.

Ручкина. Какой вы смешной, Ирод. Это есть пугач, по-русски — филин.

А лекс ан дра И ва но в на (*улыбнувшись*). Спали вповалку на полу, снег забивался в щели. Ночью раз чайник наклонила напиться, а не течет, замерзло. Тишина, Адриан на фронте, дети спят... Начало мира.

Д у с я. Вы прямо поэт, Александра Ивановна, поэт на все сто. Да что же они не едут-то?

Все посмотрели на часы.

Дайте, дайте мне еще что-нибудь вытирать!

6

Ст ре ко пы то в (*уже приодетый*). Благоверная, кто станет ужином кормить? Собирайся домой, матушка.

Д у с я. Слыхали, все слыхали? Но никто не обращайтесь внимания... Ну, дальше, дальше!

А лекс ан дра И ва но в на. Может, пирожок скушаете, Платон Платонович? Я для детей напекла.

Ст ре ко пы то в. Да ведь я пирожков просто так не ем. Пирожок есть такая вещь, сухая.

Д у с я. Не давайте, не давайте ему водки. Он намажет себе лицо чернилами и задушит меня на конторке.

У н у с. Одолжите вашего табачного состава, товарищ Стрекопытов, и покурите трубочку, как я.

Стрекопытов со вздохом опускается рядом и закуривает одновременно с Унусом свою коротенькую носогрейку.

Ма к ка в е е в. И вот, Витька без штанов бегал, дроздов из рогатки стрелял. И вдруг он уже что-то там на радио. М-м, консультации дает. Но Ваську ему, конечно, не перешибить.

Д у с я. Я так и вижу: он сидит в железной башне, ветер шевелит на нем волосы, на макушке. Мя-ягие! И голос такой мелодичный, смахивает на баритон.

Р у ч к и н а. Дуся, ты же не слыхала его в жизни ни разу.

Д у с я. Я замечаю, Сонюшка, что из высших переживаний тебе ничего недоступно.

Ма к ка в е е в. Или Юрий, например. Отчаянный малый был, полна голова репья, ящериц таскал за пазухой...

Дуся содрогнулась от отвращения.

Как вдруг в газетах пишут, он что-то себе привил, для науки. Все ученые даже за голову схватились, а он отвил назад, и никаких последствий. Вроде Васьки сынок-то, решительный!

Д у с я. Он не психиатр? Безумно люблю психиатров. В них всегда что-то есть.

Стрекопытов. Дуся, не смей людей, пойдем домой.

Д у с я. Вот бы тебе у него гипнозом от водки лечиться... Ну, третий теперь!

М а к к а в е е в. Третий мой — чемпион пяти городов. Бьет налево и бьет направо... Этого Анатолием зовут, знатный человек у себя на железной дороге. А кроме того, извиняюсь, боксер.

Ручкина. За силу не надо извиняться. Ловкая и быстрая сила — это хорошо.

У н у с. Зачем вам сила, Софья Николаевна?

Ручкина. А хотя бы охранить старость матери, славу родины, честь сестры. Вы кроткий, Ирод. Вы гусеницу с закрытыми глазами давите, чтоб не видеть. А в мире еще мерзость есть, с ней драться надо.

А лекс ан дра И ва но в на. Вот, двое у нас в войну пошли. Сергей-то здесь, танками теперь командует. Скоро увидите.

М а к к а в е е в. Он записку прислал, прочти.

А лекс ан дра И ва но в на (*прочтя записку*). Пишет, только после учений. Жалко, в сбор не попадет.

Молчание.

А Василий в подлодке ходит, под водой. Под тяжелой морской водой. Скажи сам что-нибудь про своего Василья, Адриан!

И с а й к а. Василья папа больше всех хвалит.

М а к к а в е е в. Чего ж мне его хвалить. У нас зря орденов не дают. Приедет, сами увидите.

Ручкина. А Машу-то, если не сын, и забыли?

А лекс ан дра И ва но в на. На рассвете приехала. Спит. (*И показала наверх.*) Исай, что ты все стучишь?

И с а й к а. Пружину надо переклепать.

А лекс ан дра И ва но в на. Так ты как-нибудь шопотом стучи... Это и есть самое дорогое у нас. Нонешне-то, знаете как, пиво пьют, с аэропланов кувыркаются.

И думать-то дух замирает. А эта тихая, как свет вечерний: ходит, и тени от ней нет.

Стрекопытов. Погодите, придет и за ней какой-нибудь. Мордастый, с усиками, папироску жует... И уведет он вашу Машу.

Отдаленный расплывчатый гул.

7

Александра Ивановна. Никак гроза? Ребята в самый дождь попадут. Когда же ее надуло?

Один очень сильный удар. Дуся выбежала и вернулась.

Исаяка. Война стучится в половчанские сады.

Дуся. Из-за сада стреляют. Бой начался. Кто со мной туда, на поле? Ракеты пускают, и кажется, что яблони бегут от страха. Сонюшка, айда... может, оркестры пойдут.

Стрекопытов. Куда, куда! Оркестры на войне раненых таскают.

Исаяка. Мама, можно мне из-за занавески выйти?

Александра Ивановна. Дуся, проводите его до беседки. Оттуда все как на ладони. Подайте ему, Сонюшка, отцовский бинокль из конторки. Но будешь сидеть тихо.

Исаяка. Да, мама.

Дуся (*уходя под руку с Исайкой*). Не ревнуешь, Стрекопытов?

8

Новый удар.

Маккавеев. Здорово, сынок!

Унус. Товарищ Стрекопытов, молодые посадки у нас еще не загорожены?

Стрекопытов. У меня там колышки стоят и ямки накопаны.

Маккавеев. Так ведь ночь, и на картах они не обозначены. Надо бы хоть людей с фонарями поставить.

Стрекопытов (*привстав*). Люди, такая вещь, в баню пошли. Выходной завтра, Адриан Тимофеевич.

Маккавеев (*сердясь*). Э, опять он... в глазах у меня маячит. Саша, рукав подшила? Давай сюда, как есть!

Александра Ивановна. Адриан, тебе лежать надо.

Стрекопытов. Вам бы теперь себя, Адриан Тимофеевич, в аккуратности соблюдать.

Маккавеев скинул халат, вскидывает на себя эту старую, с разными пуговицами куртку. Какие-то пузырьки падают вокруг него.

Дракон, дракон и есть.

Маккавеев. Належимся еще, милые. Айда, Ирод Антонович. (*Обернувшись с порога.*) Дети приедут... э, покорми!

Они ушли.

Стрекопытов. Ему бы рук-то вчетверо. И в саду-то идет — яблони от ветра клонятся. Дуську-то гоните, гоните от себя. Она надоедлая. (*Бежит следом за ними.*)

Александра Ивановна (*вдогонку*). Адриан, что же ты делаешь с собою... Адриан!

9

Александра Ивановна. Вот так и упадет где-нибудь лицом в землю.

Ручкина. Сколько я его ни помню, всегда он такой. Куда ни войдет, и сразу тесно становится.

Александра Ивановна. После припадка я к нему подошла, а он один глаз нащурил, мокрый, и подмигивает. «Вот, хрипит, нехватает меня на мир-то, Саша. Так я сыновей на него напушу...»

Ручкина. И сдержит свою угрозу.

Гул самолета и еще одна далекая бесшумная ракета. Тени скользят. Ручкина поднялась.

Светло будет домой идти. Надо подготовиться, заняться скоро.

Александра Ивановна. Не оставляйте меня одну, Сонюшка.

Ручкина. Всегда вы ровная, тихая, как ясный день осенний. А нынче вас и не узнать. Глаза без солнышка, и все движение другое. Что с вами, Саша?

Александра Ивановна. Духота какая стоит. Грозу бы хорошую опрокинуть на эту печку.

Ручкина (*настойчивее*). Так что же с вами, Саша?

Александра Ивановна. Страшно, Сонюшка.

Молчание.

Давно, девчонкой была... помните, я вам рассказывала? Так вот, этот человек скоро сюда придет, и этого нельзя остановить. Я думала, его убили в застенке, а он... Мне кажется, я даже слышу его шаги. Вот сейчас он мостик переходит. И я не вижу его лица: какой он теперь?

Ручкина. Саша, Саша... ведь вы же всегда любили Маккавеева!

Александра Ивановна. Должно быть, девчонка забыла, что она любит только Маккавеева. (*Подает знак молчания.*)

По лестнице, потягиваясь и протирая кулачками глаза, спускается Маша.

10

Маша. Что же это, утро или все еще ночь? Никак не разберу. Тишина, и где-то звенело. (*Перед чучелом.*) А, это вы! Приветствую вас, хранитель ночи. (*Зевнула.*) Мама, сколько моли в нем. А братцы... моются, спят?

Александра Ивановна. Задержались где-то. Кушать хочешь?

Маша (*отрицательно качнув головой*). Как я разоспалась. Туман какой-то... Что же мне снилось? Розовое, и много-много. Забыла.

Александра Ивановна. В твои годы это всем снится, Воробей.

Маша. ...И все звенит. Не-ет, не мошкара. А потом все рухнуло и разбилось. (*Трясет головой.*)

Ручкина. Что, застряло и не вываливается?

Маша увидела Ручкину. Склонив голову, та смотрит на нее из-за конторки.

Маша. Софья Николаевна... Сонюшка!

Ручкина. Это стекла зазвенели, как из пушек ударили. Маневры начались. Большущая вы какая! (*Держась*

за руку, они кружатся.) Какая вы стали, Маша! Голову можно потерять.

М а ш а (трогая щеки). Красная? Это спросонок. Мама, куда ты?

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Я за Исайкой схожу. Затащит его Дуся куда-нибудь.

Уходит.

11

Р у ч к и н а. Кто же вы теперь, Воробей?

М а ш а. Агроном. Ездила много, на хлопке была. Сколько повидала людей и городов! Широко в мире, Сонюшка!

Р у ч к и н а. У вас вся жизнь впереди, весь ее разлив. А мне приятно, что когда-то вы сидели у меня на школьной скамье. И глаза у вас были такие же, непроснувшиеся. По зимам вас увозили в Половчанск, и, помню, вы спросили однажды: «Почему в Половчанске всегда зима, а у папы всегда лето?»

Обе смеются.

Чего вы погрустнели, Маша?

М а ш а. Можно мне вас поцеловать, Софья Николаевна?

Р у ч к и н а. Маша, за что?

М а ш а. Просто так. У меня нехватило денег на подарок вам. Стипендия маленькая, вы понимаете.

Р у ч к и н а. Как вам не совестно, Воробей!

М а ш а. А ведь это вы научили меня любить науку, работу, жизнь. И, главное, видеть то, что спрятано от немелых глаз.

Р у ч к и н а. Мне дорого, что меня не забыли. Целуйте, можно.

М а ш а. Вот, честнее не умею. Очень хочу, чтобы ваши ученики поднялись высоко-высоко, откуда видно все, города и люди. И пусть они вспомнят тогда, кто же первый обучал их этой честной жизни... Вас Василий часто вспоминает.

Ручкина. Довольно, а то разревусь... Перестаньте, Воробей.

Маша. Все еще не поженились с Унусом? Как мне стыдно, что девчонками мы издевались над этим... Ну, что у вас ничего не получается?

Ручкина. Вот видите, мошка какая-то в глаз попала.

Молчанье.

Он добрый ко мне, но тихий очень. Нет, не выходит у нас. Да и неловко, Маша. Знаете, сколько мне? Не говорите ничего, не надо, Воробей. Кому я нужна! Разве цыган ночью по ошибке со двора сведет.

Маша. Стыдно, стыдно, Сонюшка.

Ручкина. А у вас, Воробей, никого нет? Признавайтесь старухе, я никому не скажу.

Маша. Хитрая, подзадорить хочет. А мне и не в чем признаваться. Тут чисто... И, кроме того, все это баловство ужасно отвлекает от работы. *(Легкая, неслышная, она проходит по комнате. Ручкина провожает ее взглядом.)* Только теперь начинаю узнавать все: дом и сад. Вот электричество у вас, новость.

Ручкина. Первый год еще, Воробей.

Маша. Завтра с утра побегу здороваться. Мосей жив? О, какие он мне дудки вырезал! Я ставила их в поле, и они сами пели на ветру. И прежде всего в пруд, купаться. Я забегу за вами, Сонюшка. *(У раскрытого окна.)* Безмолвие... и воздух-то! Стойте, что это?

Ручкина. Соловей. Молодое поколение. Ишь, трелей не досказывает. Начнет, начнет, и не умеет.

Маша. Странно. Вот соловьев не помню совсем. А хорошо как...

Ручкина. Так никого у вас нету? Ну, значит, это вор был. Днем нынче, когда вы спали... и никого у вас дома не было... человек приходил под окно, вас спрашивал.

Маша *(резко захлопывает раму)*. Кто?

Ручкина. Он называл фамилию, да я забыла. Машенька, что с вами? Воробей!

Маша смущена, закрыла лицо руками. Шум из сада.

Маша. Молчите... ничего не было.

Ручкина *(принимая, как уговор)*. Ничего не было.

Александра Ивановна вернулась.

Ручкина. Что, не нашли Исая?

Александра Ивановна. Нет, я по саду прошлась. Ты что окном хлопнула, Маша? Ну, взгляни мне в глаза, что тебя напугало?

Маша (*растерянно*). Там... В саду.

Ручкина. Маше кто-то в саду привиделся.

Александра Ивановна. Я шла, там никого не было. Да и про разбой не слыхать в нашем краю, все сытые.

Ручкина. Маша, простите меня.

Маша. Нет, нет. (*Прижав руки к щекам.*) Как щеки горят. Мама, что же это со мной? Я, кажется, заболеваю.

Маккавеев вернулся. Веселый, кинул куртку в кресло, болезни нет и следа. Закусывает, стоя у стола.

Маккавеев. Кто же на сады попрется? Чай, грамотные. Ну и конница, Саша, прошла! Вспомнил, как и мы когда-то в клинки ходили... и разволновался. Пылищу подняли. Вы что, мышей ловите, — затихли?

Александра Ивановна. Маша заболела с дороги. Порошки бы найти. Были у меня где-то порошки.

Маккавеев. От жары! По дороге идешь, как по горячей золе. (*Пьет из крынки, отплюнулся.*) Кисейкой надо закрывать, хозяйка! (*Поставил на место, подошел ближе.*) На что жалуетесь, Воробей?

Ручкина. Маше кто-то в саду привиделся.

Александра Ивановна. Вот и пожалеешь, что Анатолия-то нет. Он бы освидетельствовал, что за зверь бродит. Верно, за яблоками полезли.

Маккавеев. Что же, у самого дома-то слаще, что ли?

Молчание.

А может, покойник? Его ведь только с одной стороны видать, а с другой не видать. В третьем годе в Бурнашевке повадилось привиденье кур воровать. Дали два года с изоляцией. Теперь сторожем при клубе служит, ничего...

(За подбородок поднимая голову дочери.) Загуляли твои братья, Воробей!

М а ш а. Они приедут.

М а к к а в е е в. Не-ет, разлетелись из гнезда. Вот и ты полетишь когда-нибудь от меня, Воробей.

М а ш а. Я уже сговорила в наркомате. Весной приеду к тебе работать уже навсегда. Кро-овы! Что у тебя с рукой, порезался?

М а к к а в е е в. Так, от земли потрескались. Салом смазать. Ну-ка, мать, что тут случилось?

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Я ушла, меня тут не было.

М а к к а в е е в. Софья Николаевна, ну-ка!

Молчание.

Софья Николаевна, в этом доме не лгут.

Р у ч к и н а (смущенно). Днем, Маша спала, к ней сюда человек приходил. Я случайно за выкройкой прибежала...

М а к к а в е е в. А-а!.. Человек-то молодой или старый?

Р у ч к и н а. А я внимания не обратила... (Не выдержав маккавеевского взгляда.) Молодой.

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Оставь их, Адриан. Это у нее пройдет. Щеки... это у нее с дороги.

М а к к а в е е в. Саша, дочка-то последняя у меня. Зашей пока рукав, на плетне порвал. Ты его знаешь, Воробей, человека-то?

М а ш а. Да.

М а к к а в е е в. И давно ты его знаешь?

М а ш а. Совсем нет. (С внезапной смелостью.) Конечно, давно знаю.

М а к к а в е е в. Год, два знаешь... сколько? Смелей, Воробьенок!

М а ш а. Месяц... Да, месяц.

М а к к а в е е в. Она его знает давно: месяц. Темпы, мать, дыханье времени!

Р у ч к и н а. Не дали девочке отдохнуть с дороги...

М а к к а в е е в. Кто же он, Воробей? Может, юрис-консульт какой или в кооперативе служит?

М а ш а. Я не знаю. Я поднималась к Василью, брату. Мы встретились на лестнице. Он уступил мне дорогу. Он

в форме, как у Василья... (*И жест о нашивках на рукаве.*) Он глядел мне вслед, пока я не захлопнула дверь.

А лекс ан д р а И в а н о в н а. Так, значит, ты оглядывалась? Оглядывалась на него, Машенька?

М а ш а. Нет.

М а к к а в е е в. Оно повторяется, Саша. Оно падает на нас из ясного неба... Тогда откуда ж тебе известно, дочка, что он вслед тебе глядел?

Р у ч к и н а (*пытаясь помешать допросу*). Раз шаги его стихли, значит он на месте стоял. А если стоял, так что ему и делать иначе!

Испуганная совпадением происшествий и слов, Александра Ивановна растерянно трогает вещи кругом.

М а ш а (*подымаясь*). Я лучше к себе пойду. У меня вещи не разобраны.

М а к к а в е е в. Машенька, не торопись. Мы никогда тебя больше не спросим. Ну, потом вы встретились еще. Нет, нет, как и мать твоя, совсем случайно!

М а ш а. Да. Однажды ночью...

М а к к а в е е в. Ты хотела сказать — днем однажды!

М а ш а (*резко*). Нет. Я из академии шла, бюро выбирали. А там шоссе глухое. Трое пристали. Я побежала от них и упала, руками. А этот человек...

Молчание.

Он шел случайно сзади.

А лекс ан д р а И в а н о в н а. Ну, и что же, Машенька?

М а ш а. Эти трое плакали.

Молчание.

Я даже и не говорила с ним ни разу.

М а к к а в е е в. А разве при этом говорят? Не говорят, молчат и улыбаются. Что ж, Воробей, ты звала его сюда?

М а ш а. Нет.

А лекс ан д р а И в а н о в н а. Но хочется тебе, чтоб он пришел сюда... случайно?

М а ш а. Совсем нет. Что ты, папа! Пусти меня, мне больно.

М а к к а в е е в. Саша, она не хочет. Она знает, что первая-то не самая главная. Она приносит горе, первая-то.

Не пугайся, мы так и сделаем, Воробей. Мы его не пустим.

Ручкина. Пойдемте, Маша, на верхнюю террасу... ну!

Александра Ивановна (*смятенно*). Ступай, Воробей, ступай. Там у нас хорошо, самый аромат.

Ручкина и Маша медленно уходят к лестнице.

Маккавеев (*вслед*). Ты улетишь от меня, Воробей, как разлетелись твои братья.

Маша вздрогнула, остановилась и, не обернувшись, пошла дальше.

14

Александра Ивановна. Почернела вся, точно молоньей обожгло. И голос с хрипотцой, ты заметил?

Маккавеев. Вспомнила себя, Саша? (*Перебирая свои лекарства на столике.*) Тут уж не помогут твои порошки. (*Потом он проходит по комнате, трогает исайкины инструменты. Александра Ивановна следит за ним от двери.*) Сколько раз говорил, собак не держать на цепи.

Александра Ивановна. Адриан, этого собаками не устроишь. Да и время не то: они выходят замуж сами.

Она всматривается в ночной сад.

Маккавеев. Времена-то новые, да я-то уж не прежний! (*Услышав движение Александры Ивановны.*) Ну, что еще там?

Александра Ивановна (*мечась*). Что делать, что делать... Кто же думал, что он так скоро! Матвей идет! (*На ней легкое летнее платье. Второпях она накинула на голые плечи старый вязаный платок.*)

Маккавеев нехотя садится на прежнее место в кресло.

В последний раз... когда-то он был твоим другом. В последний раз: не гони его, Адриан!

Они ждут в молчании. Появляется Пыляев в черном пальто, с некрашеной длинной палкой. Полуседая прядь налипла во впадину виска. Он снял фуражку. Так, закусив ус и держа за спиной скобку двери, он стоит на пороге.

Пыляев. Собак в доме нет?

Александра Ивановна. Они на цепи. Входи, не бойся.

Пыляев. Они меня не любят.

Александра Ивановна. Собаки!.. Адриан, а к нам гость. Ты заснул, что ли? У него позапрошлой ночью с сердцем было нехорошо.

Пыляев. А, знакомо. Что это у вас, половики? *(Коснулся палкой.)* Половики в доме — хорошо. Для ног. Здравствуй, Адриан!

Маккавеев недвижим.

Что смотришь, постарел?

Маккавеев. Входи, будь гость. Сымай свою хламиду.

Александра Ивановна. Мы и не слышали, как ты подъехал. Или ты пешком?

Пыляев. А я не спешил. Идешь с палочкой. Луга в росе, птицы шебаршат. Хорошо. *(Бережно вешает свое пальтишко на спинку стула, а палку относит в угол.)* Что ж ты не спросишь, Адриан, зачем я приехал?

Маккавеев. А я знаю, зачем.

Пыляев, который собрался сесть, выпрямился.

Пыляев. Что, что ты знаешь?

Маккавеев. А вот, зачем приехал-то, знаю. *(Пауза.)* Чай, отдохнуть приехал.

Пыляев *(Александре Ивановне, с облегчением)*. Все знает, ничего не утаишь. Потянуло на прежние места. Все думал, сойду со станции и след своего коня увижу. Ан нет. Приходит вечерний ветер, он сметает дневные следы.

Маккавеев *(жене.)* Его в поэзию потянуло. Это с голоду. Заряди-ка его, Саша, похлопочи.

Александра Ивановна рада занять чем-нибудь свои беспокойные руки.

Чего жмешься, озяб? Там, в буфетике, есть. Погрейся.

Пыляев идет к шкафу, наливает, пьет.

Дверь-то открой, Саша.

Пыляев. Дуплет в середину, хоп!.. *(Выпил.)* Комик я стал, Адриан. Я, пожалуй, еще стаканчик позаимствую. *(Выжидательно смотрит на хозяев, они молчат, он поспешно закрывает шкаф.)*

Александра Ивановна. Мы детей сегодня ждем. Уж летят со всех сторон в отцовское гнездо. Ты не запиваешь, не испортишь нам встречу?

Пыляев. Нет, что ты! Я совсем другой стал. Меня люди не узнают на улице. *(Присаживается к краешку стола.)* Вот, потепле стало, и пальцы гнутся. А ты, я вижу, все тот же, деревянный доктор: лечишь деревья, беседуешь с мотыльками... Премудрость. С мясом пирожки-то! *(Ест.)*

Молчание.

Сколько же у тебя всего сынов-то?

Маккавеев. Семеро.

Пыляев. Сколько накопил. Кто же это, седьмой-то?

Александра Ивановна. Исайка, ты его не знаешь. Он... потом родился. Ты ешь, ешь селедку-то!

Пыляев. Большое хозяйство. Вот тоже, я шел, яблоч у тебя много. На деревьях-то не помещаются. Богатство. И моль летает, живая. Я люблю, когда моль. Сколько ж мы не видались-то?

Маккавеев. Осьмнадцать.

Пыляев. Много.

Александра Ивановна. Расскажи нам, что же было-то в твоей жизни?

Пыляев. А все было. Солыцы в доме нет?

Александра Ивановна подала ему солонку.

Я сейчас хорошо живу.хлопотно хотя, хочу уходить. Ты меня не пристройшь куда-нибудь к обиходу? Что-нибудь такое, огород сторожить. Меня вороны очень боятся. *(Посмеялся.)* Я шучу, у меня место хорошее. Начальство меня тоже любит.

Маккавеев. Саша, дай ему тряпочку. Чего он руки-то все о стол вытирает. Да ты не беги от него, Саша. Ты поближе сядь.

Александра Ивановна. Ему, наверно, с дороги умыться надо. *(Пыляеву.)* Вещи-то подводой, что ли, едут?

Пыляев. А меня обокрали в поезде. Я спал, они стенку над головой прорезали... И ловко так, только дырочка осталась.

Маккавеев. Ты дай ему потом переодеться, Саша. Рубаху свежую дай, мою. Зашила пиджак-то? Ну-ка, прикинь пиджак.

Пыляев (*стыдясь Александры Ивановны*). Это я потом, Адриан, потом. (*Он складывает пиджак у себя на коленях.*)

Александра Ивановна. Адриан, я пойду пока, кровать ему постелю. (*Молчание мужа она принимает за позволение уйти.*)

16

Пыляев. Чего ж она бежит-то от меня?

Маккавеев. Карболкой от тебя несет, Матвей Фомич. Болел, что ли?

Пыляев. А я принюхался, не замечаю. Я, Адриан, как Иов стал!

Маккавеев. Чем болел-то?

Пыляев. Да всем понемножку, по совокупности. Саша-то какая все еще молодая!

Маккавеев. А что! Жизнь ровная, власть советская, работы вдоволь, на воздухе целый день.

Пыляев. Плечики-то у ней как играют.

Маккавеев берет его за руку, они пристально смотрят в глаза друг другу. Пыляев опускает голову.

Совладал, совладал, пусти.

Маккавеев. Так зачем же ты приехал-то?

Молчание.

А я знаю: ты на сына своего, на Исайку, приехал взглянуть.

Александра Ивановна (*сбегая вниз по лестнице*). Адриан, там подводы какие-то гремели... Адриан! (*Пробегает в сад.*)

Маккавеев. Ну, допивай свое. При детях не дам. Дети у меня строгие.

Пыляев. Что ты! Я запрюсь в каморочку, меня и нету.

Маккавеев садится в кресло, старым байковым одеялом прикрывает ноги. Пыляев отходит в сторону. Из сада слышны смех и молодые голоса.

18

Александра Ивановна. Вещи все наверх. Несите все сразу наверх. Складывайте пока в угловую. Они, оказывается, на станцию дальше проехали. Василия только не раньше утра ждать. Адриан, дети приехали!

Рослый возница, на цыпочках и косясь на Маккавеева, поднимается с чемоданами по лестнице.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Верхняя просторная терраса у Маккавеева. Покосившуюся балюстраду заплело диким виноградом: на балюстраде графин с квасом. Узенькая лестница налево опущена по стене дома вниз. Видны желтеющие верхушки яблонь. Стол, табуретки, дощатый диван, почерневшие от времени. На столбике висят две пары боксерских перчаток. На столе в углу весы, микроскоп, два сортовых яблока. Время за полдень, полтеррасы в тени. Пишут рапорт. Маккавеев ходит и диктует. Стрекопытов за бумагой. Унус у весов.

1

Маккавеев. Стоимость капиталовложений подсчитаете потом и вставите в рапорт, Ирод Антонович. (*Стрекопытову.*) Пишите дальше. Совхоз обещает, кроме того, увеличить площадь посадок до четырехсот га.

Стрекопытов (*иронически*). Вы уж пообещайте, такая вещь, сплошной сад до самого Черного моря.

Унус. Ничего. Что человек задумал, значит можно вдвое. Я хочу этим сказать, что можно сделать вдвое против того, что задумал человек.

Маккавеев. Написали? Точка с запятой. И, наконец, повысить урожайность до сорока восьми тонн с гектара, а выход меда на пасеке до восьмидесяти килограммов с улья.

Стрекопытов (*вскочив*). Это ж чистая брехня, Адриан Тимофеевич! Миленькие, ведь это же все выполнять придется. Я и сам, такая вещь, слава богу, тридцать два года в крымских садоводствах, а там все коренные сады.

Маккавеев (*показывая ему вниз на балюстраду*). Эва, полюбуйте на вашу гвардию. С жого это они пример берут?

Стрекопытов (*вниз*). Эй, эй... в платке, в платке! Разве я так тебе наказывал? Ты вольготней, на штык, на полный штык бери!.. Что ж это с головой моей делается? Вы пощупайте... Нет, я прошу вас, как директора совхоза, пощупайте мне лоб.

У н у с. Это солнце, оно напекает гладкие поверхности. Перебирайтесь на эту сторону. Здесь хорошо. (*Вдвоем с Маккавеевым они переносят стол в тень.*) Говорят, градусник на солнце лопнул. Я не видал.

Стрекопытов (*держа в руках бумагу и чернильницу*). Вы хоть про сухостей-то помяните, Адриан Тимофеевич. С самых, дескать, жен-мироносиц не было дождя... И все-таки, как бы это сказать, что ли, вопреки стихийству...

У н у с. В райкоме, товарищ Стрекопытов, широко известно про сухостей. Надо писать, чего они не знают. (*Дружественно.*) И не надо думать о жене. Она молода. Вникайте в закон природы.

Стрекопытов. Во все законы природы вникать, это проникновения нехватит.

Александра Ивановна внесла посуду, поставила на стол и ушла.

2

Маккавеев. Не прерывайте ход мысли, сейчас завтракать сюда придут. (*Диктует.*) Таким образом, запятая, совхоз, основанный в октябрьский год на мертвой половчанской глине, волею народа и советской власти...

У н у с. Имеете глубокое право упомянуть и себя, товарищ Маккавеев.

Маккавеев. Э, я тоже и народ, и советская власть. Не мешайте!

Голос Маши внизу: «Мама, лови мыло!»

Ну, вот. И не успели!.. Тут, Ирод Антонович, вы подберите подходящую цитатку, что-нибудь насчет всемирного сада. Так. Нам еще остался помологический паспорт. Ну-ка, дайте сюда яблоко. И не плохое, милые товарищи мои!

Стрекопытов. А говорят, Адриан Тимофеевич, вы людей убивали в гражданскую войну.

Маккавеев. Это вы меня каждодневно убиваете, Платон Платонович. Итак, внимание, товарищи: новый сорт. Название «родина» оставляем? (*Высоко поднимая плод.*) Начали. Ну, что мы видим? Форма плода.

Унус (*сурово пряча свою длинную трубку в самодельный чехольчик*). Кальвилевая, ребристая.

Стрекопытов. Тут у меня прибавлено: слегка сплюснутая по оси.

Маккавеев. Отставить, незначительно. Окраска! Скажем так: смуглая...

Стрекопытов (*искося взглянув, привычно пишет*). Сму-углая. У плодоножки, на солнечной стороне, нежный размытый румянец. «Нежный» я зачеркну, пожалуй: неловко, ведь это в газеты пойдет...

Маккавеев. Подчеркните два раза слово «нежный»!.. Вес прикидывали?

Унус. Не верится. Давайте еще раз. (*Бросает яблоко на весы.*)

Все собираются рядом.

Гирьку десять граммов Маша потеряла еще шесть лет назад. Но мы возьмем пятьдесят и вычтем два раза по двадцать. Дайте ей остановиться. Смотрите, четыреста тридцать грамм. Это — чудесная плотность. «Первенец Джеффри» посинеет и сгниет от зависти, ха-ха...

Стрекопытов (*похлопывая его сзади по плечу*). Не зазнавайтесь, Ирод Антонович!

Маккавеев. Теперь вкус. Внимание!

Кривым садовым ножом, предварительно вытерев лезвие о виноградный лист, он режет яблоко на три дольки. Каждый жует свою.

Не торопитесь, вы делаете историю. Как там у вас записано?

Стрекопытов. Не дойдет, несерьезно как-то: мускатно-винный, переходящий в гамму лимона.

Унус. Припишите еще: с острым ледяным... Нет, зачеркните! Пишите так: с прозрачно-ледяным ароматом. Это есть так.

Стрекопытов. Какой же это такой аромат: прозрачно-ледяной. Такого аромата, извините, не бывает.

У н у с. Внюхайтесь, если еще не все органы у вас утратили свое предназначение. От него нестерпимый холод идет, на нем роса лежит, глядите!

3

Снизу голоса и быстрые шаги по лестнице.

Р у ч к и н а. Маша, что вы еще там придумали?

Обе с полотенцами вбегают на террасу. Легкий халатик Маши, пронизанный сзади солнцем, не скрывает формы ее отличных ног.

М а ш а. Простите, мы не знали...

М а к к а в е е в. Входи, входи, мы почти закончили.

М а ш а (*целуя отца*). Какое утро было! И везде побывала: и на ключе, и на пчельнике.

Р у ч к и н а. Бросилась Мосея целовать. Сперва растерялся, потом принялся мед ломать. Гудит и ломает, гудит в бороду и ломает.

М а ш а. До сих пор голова кружится, и пальцы, понюхай, медом пахнут. Что ты жуешь так вкусно?.. Дай кусочек!

У н у с. Маша, когда вы успели... Такая!

М а ш а (*махнув рукой подружке*). Все такой же. Сейчас будет речь.

У н у с. взял оставшееся яблоко. Он колеблется, кому из двух женщин отдать его. Ручкина отходит в сторону.

У н у с. Возьмите, товарищ Маша.

Она уже протянула руку, но он еще не отдает яблока.

Скоро юбилей нашей молодой родины. Потом ей будет и сорок, и сто, но двадцать не повторится в жизни никогда.

Р у ч к и н а. Ирод, это все знают и без вас.

У н у с. Всякий несет ей свои плоды и дары. Одни — паровозы молниеносных скоростей, другие — рекорды угледобычи или, скажем так, перелет через неизвестность. (*Ручкиной.*) Можно так сказать, Софья Николаевна: неизвестность?.. Мы, маленькие люди, — новое яблоко. (*И опять он не торопится отдать его Маше.*) Оно прекрасно и лежит дольше всех. Великий зоркий друг, кто ви-

дит все, пусть возьмет его на руку и похвалит его мудрую тяжесть.

Ма к к а в е е в. Это яблоко, Маша, мы делали втихомолку семь лет. Возьми!

Ма ш а. Это почтенно, и это нарядно. Но этого мало... Нас двое!

Р у ч к и н а. Кушайте, кушайте, Воробей, вам в новинку.

Ст ре ко пы то в. В этом году выпускаем первые две тонны.

Маша смотрит на него и не узнает.

Это я, Платон Платонович, Черномор!

Ма ш а. Милый Черномор! Я и не узнала вас сразу. Где густейшая борода?

У н у с. Хо-хо, время переменяет облик человека, как говорят некоторые старики.

Ма к к а в е е в. Ты про женитьбу-то его расспроси.

Ст ре ко пы то в (*закрывая ладонью голый подбородок*). Проспал полвека, сосал водочку-перхун. И вдруг разглядел и лунный свет, и женский след на талом-то снежку. Тут мне бороды и урезали. Эх-ма, пародия в общей сложности. Двинулись, что ли? Адриан Тимофеевич, мы вас в конторе будем ждать. Софья Николаевна, Дуську там мою не видели?

Они уходят с Унусом.

Ма ш а (*вдогонку*). Черномор, Черномор, где твоя густейшая борода?

4

А лек с ан дра И ва но в на вошла со скатертью.

А лек с ан дра И ва но в на. Завтракать станем, не расходитесь. Задержи их, Адриан.

Ма к к а в е е в. Погоди, мать. Вижу, купался, Воробей?

Ма ш а. Всю дорогу мечтала — с разбегу в воду. А ты все пруды на свои яблони вылил, Маккавеев. Пришлось за пчельник тащиться. Ряской затянуло... но у самого дна, если нырнуть, вода отличная, с хрусталинкой. И обе, как русалки, в зеленой чешуе!

Ручкина. Русалка была одна, Воробей. Не надо быть умнее правды.

Александра Ивановна. Умней не надо, а добрее будь.

Маккавеев. И выпался, вижу, отлично.

Маша (*про яблоко*). Это его собственный запах?

Маккавеев (*отводя ее руку*). И щеки больше не горят?

Маша. Нет, прошло. А братцы все дрыхнут? Какая гадость. Сонюшка, айда ребят будить.

Ручкина. Они меня, наверно, и не помнят.

Маша. Какие пустяки. Вы увидите, это всемирные ребята!

Александра Ивановна. Уж поднялись. Анатолий, вон, все утро тень свою на стенке колотил. В саду гуляют.

5

Исайка (*поднимаясь по лестнице*). Папа, тебя ждут в конторе.

Маккавеев. Иду, иду. Кликни к завтраку. (*Ушел.*)

Александра Ивановна. Я у тебя костыли отберу, Исайка. Юрий разрешил тебе по ровному месту ходить час в день.

Исайка. Мне уж восемнадцать. Мне пора учиться ходить по лестницам.

Александра Ивановна. Слова не даст сказать. На вечер костылей у тебя не будет.

Маша. Исай, машину свою починил? Значит, мы устраиваем фестиваль танца, Сонюшка!

Ручкина. С утра минутки свободной не дала. (*Маше.*) Нет, нет... я молодею с вами.

Александра Ивановна. Бедовая.

6

Вошел Пыляев; сразу наступило молчание.

Пыляев. Нигде Адриана не найду.

Александра Ивановна. Они рапорт пишут.

Пыляев (*Маше*). Красоте вашей поклоняюсь. По-знакомь нас, Александра Ивановна. Пылаев!

Сдержанный поклон Маши и Ручкиной.

А когда-то в шорохе этого имени людям чудились горные обвалы. И я знал вас совсем маленькой. Вас еще не было, а было предчувствие одно... в мимолетности взгляда, в лепестках той весны...

Молчание.

Девушки-то уж и не смотрят. И пожалеешь горько об этих обвисших плюшевых щеках.

Ис а й к а. Мама, кто этот пыльный человек в папином пиджаке?

Ручкина. Пойдемте, Исай. Это старая дружба.

Маша. И, кажется, слишком старая, чтоб ее стоило подновлять.

Ушли.

7

Пыляев. Жестких деток вырастили. Занятный сад, где каждое яблоко с шипами.

Александра Ивановна (*не желая поддерживать разговор*). Ты далеко ходил гулять сегодня?

Пыляев. Да, обошел ваше хозяйство и должен заметить, что в сравненье... Кстати, эти громадные чаны и пресса?..

Александра Ивановна. Это опытные. Адриан пробует делать сидр. Все изобретает.

Пыляев. Я так и догадался. Он и в молодости беспокойный был мужик. Хо, мир замер и не дышит: все ждут маккавеевского сидра!

Александра Ивановна. Ты покури пока, я спущусь. Скоро завтракать будем.

Пыляев. Не беги от меня, больше не буду. Ну, пойдй ко мне, скорее. Шкуру я сменил, больше не пахнет.

Александра Ивановна. Ты уже старый. Тебе стыдно, Матвей!

Пыляев. Усы, что ль, не нравятся! Я за усы не держусь. Сбреем.

Александра Ивановна. Не говори, не подумав. Мне это причиняет боль...

Пылаев. Спасибо. В самые черные минуты Пылаева поддерживала мысль, что здесь его встретит старая ласка... хотя бы в половинном пайке. Хотя жалость-то осталась?..

Александра Ивановна. ...и я не хочу, чтобы она перешла в отвращение к тебе.

Пылаев. А скажи, шепотком скажи... нищим не лгут. Если бы я снова позвал тебя с собою...

Александра Ивановна сделала произвольный жест испуга.

Ну-ну, я пошутил. Ты прочно встала на этот якорь, да и Пылаев не тот. Сам под маккавеевским диваном пристроился из милости. В жизни-то, как в женском сердце: смыли — Пылаев, написали — Маккавеев, и никто не заметил.

Александра Ивановна. Как можешь ты сравнивать Адриана с собою!

Пылаев. Ему не повредит. Он идет, и все цветет вокруг: сад, сыновья, самые камни, по которым он ступает. Так вот она, обитель, куда я полз осьмнадцать лет. (*Подергав себя за ворот.*) Тесна, тесна мне маккавеевская риза!

Александра Ивановна. С такими мыслями трудно тебе будет у нас.

Пылаев. Я уйду. Отпустишь?

Она молчит. Он отвернулся к балюстраде, лицом в пространства полей и сада.

Там за лесом, синее на горизонте... это и есть граница? (*Неожиданно обернувшись*). Да, я уйду. Я, собственно, по дороге и забрел. Но вот что: ты не дашь мне что-нибудь... на память?

Александра Ивановна. Ты карточку хочешь? Я давно не снималась.

Пылаев. Нет, нет, я не то имел в виду. Нечто другое, не столь выцветающее. Ты... не устроишь мне некоторую скромную сумму? Я потом почтой верну... или попрошу одного паренька завезти. Милейшая личность. Кстати, он и отдохнет у вас малость.

Александра Ивановна (с готовностью). Хорошо, Матвей. Я все собиралась Исайку на курорт везти, на грязи. Все лежать — какое уж на койке лечение. Кроме исайкиных, нет у нас денег. Но я возьму немножко, украдкой. Сколько тебе надо?

Пыляев. Одному римскому папе пожелали прожить сто лет. Он сказал: зачем ограничивать милость Божию. Так и я. Бери больше. (Взял микроскоп в руки.) Это ведь тоже ценность в наше время, а ценности любят пропадать. Во что ты ценишь эту вещь?

Александра Ивановна. Поставь, уронишь. (Недобро.) Куда ж тебе больше-то?

Пыляев. Ну, как сказать! Расходы по жизни. Там у тебя в графине сидр? Будь друг, протяни!

Александра Ивановна почти конвульсивно сталкивает графин за балюстраду.

Смотри, убьешь кого-нибудь!

Александра Ивановна. Какого зверя ты в себе содержишь ежеминутно, ежечасно!

Пыляев. И раненого зверя, прибавь.

8

Юрий с осколком графина.

Юрий. Кто тут кидается режущими предметами?

Александра Ивановна. Он упал.

Юрий (Пыляеву). Я не признал вас вчера, в суматохе. Я — Юрий Маккавеев. Помните, во времена оккупации, мальчика, который таскал обеды вам на чердак. Это был я.

Пыляев. Как же, как же. Выросли. Кажется, директор клиники? Время, время...

Юрий. Что было! Немцы, завоеватели... они превратили нашу Украину в сплошную братскую яму.

Пыляев. Да, да...

Юрий. А вот голос у вас стал совсем другой.

Александра Ивановна. Только ли голос?

Пыляев. Да, да, и голос.

Юрий. Из всех ребят только я один знал, что вы прячетесь у нас на чердаке. И эта тайна делала меня

взрослым. Курите?.. Я даже отчетливо помню ночь, когда вас взяли. Еще у двери усатый, рыжий такой, в бескозырке, и штык у пояса...

Пыляев. Я не люблю вспоминать: еще не зажило. Я внизу погуляю, Александра Ивановна. *(Ушел.)*

9

Юрий. Кажется, я задел больное место у старика.

Александра Ивановна. Не бойся. Оно зарубцевалось и черной шерстью поросло.

Юрий посмотрел на нее, удивленный ее тоном.

Что же завтрак-то... Плохая я хозяйка. Ты, говорят, утром отца смотрел. Ну, что?

Юрий. Признаться, по телеграмме я думал — дело хуже.

Александра Ивановна. Уж он бранил меня за телеграммы. Но ему так хотелось повидать вас, я хорошо знаю Адриана. Это еще с весны у него началось.

Юрий. Ты весной болела, кажется, мать?

Александра Ивановна. Да. Так получилось: все разъехались, в шашки ему играть не с кем. Исайка читал нам вслух по вечерам. И, помню, строка попалась. Пустяшная... Но как же это было? *(На память.)* «Когда настигла его ночь, он встал во весь рост лицом к закату и припомнил свой пройденный день...» Вскочил мой Адриан и убежал в сад. Я бросилась за ним с курткой, как была — раздетая. А еще снег лежал.

Юрий. Ну, до ночи-то ему далеко. Этот человек долго сделан.

Александра Ивановна. Ты толкуй ему беречь себя.

Юрий. Славная ты женщина, мать! Помню, болел, мальчишкой. Открою глаза — потолок с оббитой штукатуркой, в глазах все какой-то черный мотылек порхает... ты топишь печь рядом. Потом опять бред, ночь, иней на окнах, маленькая Маша плачет. И опять, как ни очнусь, — ты рядом сгорбилась у печки. Нас пятеро, отец за советскую власть где-то бьется... а ты сама еще совсем девочкой была. Дай руку, мать.

Она протянула, он ее целует.

А лекс ан д р а И в а н о в н а. Юрий, Юрий!

Где-то далеко четкая, буйного ритма песня. Оба слушают.

Конница идет. Хорошо у нас песни петь научились.

Ю р и й. Можно задать тебе вопрос?

А лекс ан д р а И в а н о в н а. Давай поговорим о тебе, о твоей работе.

Ю р и й. Вот при мне твоя телеграмма: «Выезжай немедленно». Она без подписи. Я прочел ее сто раз. В сто первый она показалась мне похожей на крик.

А лекс ан д р а И в а н о в н а. Да, я припадка испугалась.

Ю р и й. Я так и понял. Когда припадок-то случился?

А лекс ан д р а И в а н о в н а. Ты со мной, как с маленькой. Тринадцатого вечером.

Ю р и й. Точнее время, мать!

А лекс ан д р а И в а н о в н а. Ну, в семь. В четверть восьмого Унус уже мчался за врачом.

Ю р и й. Припадок в семь. Телеграмма послана в восемь. Но ехать до станции два часа. Значит, телеграмма была написана в шесть. Ну, смелее, мать! Что же случилось за час до припадка?

Молчание.

А лекс ан д р а И в а н о в н а (*волнуясь*). Дай и мне папироску. Зачем ты хитришь со мною! Ты же все знаешь, тебе было *тогда* уже шестнадцать лет.

Юрий терпеливо ждет ответа.

В шесть пришло письмо от Пыляева. (*Кашляя от дыма.*) Адриана не было, его принесли потом. Мне стало страшно...

Ю р и й. Вот это мне и нужно. Чего же ты напугалась, мать?

А лекс ан д р а И в а н о в н а. Я не знаю... Но ты же понимаешь, Пыляева увели тогда в такое место, откуда никто не возвращался живым. Ты же помнишь Гришу Одинцова, Гарковенку Илью. А ведь они знали, кого они берут. И мне стало страшно, что придет человек, который умер.

Ю р и й. Ну, мертвые не ходят. Они спят в хорошо закрытом помещении.

Александра Ивановна. О, сколько ходит их между нас. Оттого порой живым и плохо. И вот он уже денег у меня просил.

Юрий. Что ж, дай ему рублика три. Эти трубокуры любят подымить.

Александра Ивановна. Нет, я не дам. Это тьлько начало. Или уж заплатить ему, чтоб ушел? Не знаю... А все-таки, как же он выбрался-то оттуда, Юра?

Юрий. Ну, наши бегали и не из таких застенков.

Александра Ивановна. Ты прав, мне и самой смешно теперь. Но вернулся он уже не наш... мне кажется, даже не свой. Все ходит вокруг дома, кого-то ждет... забулдыгу вроде себя. Мне все чудится, вот двери рухнут, и целое кладбище ворвется за ним...

Юрий (*помолчав*). Ну, кто же может войти в дом, если ты сама этого не захочешь.

Александра Ивановна. Мальчики, не пускайте их сюда!

Музыка в глубине дома.

Вот, Исайка музыку свою починил.

Юрий. Смотри в жизнь весело, мать, и она станет еще веселей. И, кроме того, ты не одна.

10

Из внутренних комнат открывается шествие. Виктор и Анатолий, одетый в длинный пестрый халат, несут на самодельных носилках граммофон Исая. Из помятой оклеенной сукном трубы грохочет полька. Сзади Маша и Ручкина.

Виктор. Халло, халло. Танцевальный фестиваль объявляю открытым. Маша, Софья Николаевна! (*Кричит вниз, в сад.*) Папа, Платон Платонович, вас записать? Навальс? (*Всем.*) Они желают танцевать марш.

Маша. У нас марша нет в запасе.

Анатолий. У меня в чемодане есть, я привез.

Ручкина меняет пластинку. Старинный дребезжащий вальс. С молчаливой изысканностью Виктор предлагает руку Александре Ивановне, Анатолий — Маше. Юрий остается сидеть. Кружатся две пары. Первая пара — Виктор и Александра Ивановна.

Виктор. Не сопротивляйся, мать, я в танце зvreю.
Александра Ивановна. Не надо, Виктор, я совсем разучилась.

Виктор. А ты делай, как я. Теперь поворот, два шага влево. Что с тобой? У тебя губы трясутся.

Александра Ивановна. Жара, осы летают. Ужалила одна.

Виктор. Куда она тебя ужалила?

Александра Ивановна. В сердце, Виктор.

Вторая пара — Анатолий и Маша.

Анатолий. С тобой и пройтись лестно. Ты фартовая девочка стала.

Маша. Хорошо, а билет на матч с Воскобойниковым не прислал.

Анатолий. А почему не позвонила? Я сбил его на втором раунде. Если бы не канат, он летел бы у меня шесть трамвайных остановок. В декабре еду за границу на рабочую спартакиаду. Что тебе привезти?

Маша. Крутите, крутите!

Темп вальса замедляется, музыка хрипнет.

Анатолий. Там Исайка пружину переклепал, не хватает на полный завод.

Ручкина поворачивает завод один раз. Что-то шелкает, и все замолкает. Все бросаются к граммофону.

Виктор. Халло, халло. Фестиваль объявляю закрытым. (*Отцу, который поднялся наверх.*) Папа, ты опоздал. Мог получить первый приз.

11

Дуся (*вбегая по лестнице.*) Уже оттанцовали? Всегда в жизни опаздываю. (*Ищет глазами свободного партнера, видит Юрия.*) А вы почему не танцуете?

Юрий. Ботинок жалко, новые.

Дуся. Скрипеть перестанут... Вы — Юрий Адрианович, я вас знаю. (*Присела возле.*) Вы — не психиатр? Немножко да? Ну, расскажите тогда, как специалист, что-нибудь про сумасшедших. Я так интересуюсь на научную

тому. У меня у самой иногда мурашки по спине и голова как отрубленная...

Ю р и й. И часто это у вас бывает?

Д у с я. Не-ет, когда с мужем поссорюсь. А отгадайте, почему? Ай-ай, вам же надо хорошо знать человеческую душу, правда?

Ю р и й. Конечно. Как же нашему брату без этого?

Д у с я. Я не знаю, есть ли душа, но что болеть она может, это я знаю.

Молчание.

Женская душа, наверно, труднее остальных?

Ю р и й. Я бы не сказал. Устройство и наружный вид почти одинаковые.

Их окружили. Собираются к завтраку.

Д у с я. А можете вы меня загипнотизировать и внушить что-нибудь? Только не вредное.

Ю р и й. Это запрещено. Милиция не велит.

В и к т о р. Гипнотизер — так это я. Сорокалетний стаж и семь медалей. (*Скороговоркой.*) Гипнотизирую лиц обо-его пола, домашних животных, сельскохозяйственный инвентарь, а также мелкие серебряные вещи!

Д у с я (*в восхищении*). А можете вы... Хотя лучше начнем с мужа. Он у меня уже созрелых лет, и мне так хочется... Что вы головой трясете?

В и к т о р. Насчет мужа не выйдет. Тут гипнотизм пропадает.

Д у с я. А вы попробуйте. Если с ним что и случится, то ничего. Это такой мировой водочник и, кроме того... О, Сонюшка, ну как его звали, этого негра, который... ну! Стойте, я его сейчас приведу. Платон, Платон! (*Бежит вниз искать мужа.*)

12

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Дуся, оставайся завтракать. Садитесь же к столу, простынет.

М а к к а в е е в. В такую погоду не простынет. (*Весело.*) Ну, баяны, знакомьтесь промеж собою. А это старый приятель Александры Ивановны.

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. И твой!

Ма к к а в е е в. Она ему крепко нравилась, но я ее покорил. Это теперь у меня на голове только сто восемьдесят шесть волосков, а тогда я был завлекательный мужчина.

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Адриан, уймись.

П ы л а е в. Уж вряд ли кто помнит меня. Пылаев!

Братья молчат, несколько смущенные этим именем.

Ма к к а в е е в. Вот и славно. Ну, становитесь в ряд, сынишки. День-то какой благоприятный!

Сыновья становятся в шеренгу, оставляя не занятым одно место. Отец обходит их поочередно.

Здорово, Юрий! (*Про его рост.*) В общем я бы запретил такие длинные предметы на земле. Ну, обними меня. Крепче, еще крепче. (*Высвобождаясь.*) Ну, хватит. Мысль мне скажи... какую-нибудь мысль, свою.

Ю р и й. Хорошо жить, отец, зная, что люди нуждаются в тебе. Хорошо идти в бой, отец, и локтем чувствовать соседа.

Ма к к а в е е в (*задумавшись на мгновение*). Кругло, кругло. Ничего не скажешь. Ну и выходит это у тебя?

Ю р и й. Об этом родину спроси, отец.

Ма к к а в е е в. То-то. Лечишь нашего брата, припадочных?.. И взрезаешь?

Ю р и й. И взрезаю.

Ма к к а в е е в. Аспирин с касторкой не путаешь? Смори-и!

Ю р и й (*Ручкиной*). Сколько таких прошло через мой московский кабинет. Иного разденешь — все тело в иероглифах гражданской войны. А прочтешь по складам — выходит песня

Ма к к а в е е в. Э-эх, про раздетых при девушках!.. Виктор, дай грудь. Ну, скажи мне тоже что-нибудь такое... ну!

В и к т о р. Страна моя прекрасна, отец, но я волюю в нее себя, и она станет еще лучше.

Ма к к а в е е в. Похвальное намерение. Что это, братец, ремешки какие-то на тебе, штучки разные?

А н а т о л и й. Это кинамка на нем висит. Хорошая вещь, папаша. Она записывает время.

Ю р и й. Он ее из-за границы привез. Ездил радиостанцию консультировать.

В и к т о р. Вот, в строители затесался.

М а к к а в е е в *(всем.)* Слыхали? Чче-рти! Гляди с башни-то, сынок. Враги на нас лезут... все ползут, ползут. В оба гляди!

В и к т о р. Слово! По буквам, отец: Савелий, Лука, Ольга, Василий... Ты что, ты что, отец?

М а к к а в е е в. Василий... На этом бы месте ему стоять. Обманул Васька. *(Анатолию.)* Здорово, душегуб!

А н а т о л и й. Боксерский салют, папаша. Что, тоже мысль сказать?

М а к к а в е е в. Скажи, Толенька, хочу и тебя услышать.

А н а т о л и й. Ты сказал сейчас: враги на нас ползут. Так вот, раньше говорили: око за око, зуб за зуб. А я так скажу: два ока за око и челюсть за зуб.

М а к к а в е е в. Крутовато, но ничего. Нам и это сгодится. Чего смеешься? А ну, давай, как Бульба, на кулаки. Разойдись! Счас я его прочку.

А н а т о л и й *(слегка отталкивая)*. Проиграешь!

М а к к а в е е в. Да, стар стал Маккавеев. Я уж как бы на вокзале, перед отъездом. Не провожайте меня, не машите картузами...

А н а т о л и й. Шути, тебя хоть на ринг ставить.

Ю р и й. Ложись ко мне на стол, старик. Я из тебя трех комсомольцев выкрою.

М а к к а в е е в. Не-ет, погнулось мое железо. Но я сделал все, на что хватило разума и рук. Сады видишь под солнцем? Мои. Доделывайте, детки..

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Да уж налюбовались, голодом всех заморил. Садитесь, садитесь.

Все, кроме Маши и Маккавсеза, садятся за стол.

М а ш а *(пальцами касаясь маккавеевского лица)*. Ты грустный сегодня, Маккавеев. И брови сухие, как осенняя трава.

М а к к а в е е в. Вот, Васьки нет. Неполон, неполон наш сбор. *(Подошел к столу, про место рядом с собою.)* Пусть это место, васькино, нынче свободно будет. Ну, налили? *(Встал.)* Позвольте, близкие мне люди, секретно представить сей первый опыт отечественного сидра. Он

молод и ясен, время прибавит ему силы и крепости. И пускай потомки выпьют тогда за наше здоровье, как мы сейчас выпьем за ихнее.

А лекс ан д р а И в а н о в н а. Матвей, ты выпьешь с нами? Ты хочешь говорить, Матвей?

П ы л я е в (*поднявшись*). Я остерегаюсь формулировать... (*Какая-то дрожь мешает ему говорить.*) Это есть дело других, вдохновенных пророков. А насчет того, выпьют ли они за нас, чорт возьми, не будем навязывать этого потомкам...

Все вскочили. .

В и к т о р (*закусив губу и протирая очки, как всегда он это делал в волнении*). Я не очень понял ваше вещание, но тон и смысл его мне показались злыми. Мне думается, вам теперь пойти бы за занавесочку и поспать часок.

М а ш а. Он забыл, что в этом доме можно нарваться на неприятности.

П ы л я е в (*выходя из-за стола*). Я прошу прощения. Что-то тут сломалось у меня. (*Задыхается, держится за грудь, табуретка его упала.*) Воздуху, еще воздуху. А-а, не идет...

Р у ч к и н а. Ему дурно.

М а к к а в е е в. Отведите его, помогите ему. Матвей возьми мою руку... Матвей!

А н а т о л и й. Я проведу гражданина до кровати.

П ы л я е в. Я сам, я сам. Прошу прощения. Я сам до берусь. (*Уходит.*)

Молчание.

13

В и к т о р. Что это, астма?

Ю р и й. Нет, это деменция завистиана, браток, по-русски — бешенство зависти. И ненависть.

А лекс ан д р а И в а н о в н а. Нехорошо как вышло. Сметаны-то, сметаны-то накладывайте!

Ю р и й. Васька не похвалил бы тебя, отец, за это гостеприимство.

Р у ч к и н а (*стараясь переменить тему разговора*). Кстати, я так и не поняла... Василий Адрианович завтра придет?

А лекс ан дра И ва но в на. Видно, завтра.

Ма ш а. Стойте, я никак не припомню. Разве я не говорила вам? Василий вряд ли скоро приедет.

Общее движение удивления и досады.

Ю р и й. Позволь, у него же отпуск!

А лекс ан дра И ва но в на. Телеграмму-то он получил?

Ма ш а. Получил. Но его послали в поход на подлодке. Он сказал, если успеет вернуться до зимы, приедет наверняка. Зимой у него какие-то зачеты предполагались.

Ма к ка ве е в. Так ведь сам же он писал... (*Шаря в карманах.*) Да и письмо где-то здесь было...

Ви к тор (*стуча вилкой о тарелку*). Чего вы так растерялись, чудачки! В нашу эпоху все в экспедиции ходят. Хозяевам полагается знать свое хозяйство.

А лекс ан дра И ва но в на. Погоди, Витенька. (*Маше.*) Ты толком-то расскажи.

Ма ш а. Словом, я зашла к нему недели полторы назад. Он был подтянутый, сухой, но веселый. Он мне: «Я, говорит, не смогу с тобой поехать, сестра, извини!» Мы с ним вместе собирались ехать. «Иду, говорит, в поход. Поцелуй за меня стариков». Я стала расспрашивать. «Это секретно, говорит, ничего не могу сказать». И сам смеется. «Но это опасно?» — спрашиваю. «Ну, говорит, я же не один иду. Но лестно, как никогда». Мне тогда очень понравилось в нем, что опасно, а он доволен. Я ему: «Топтыга, говорю, вы симпатичный!» Мы обнялись. Вот и все.

Ру ч ки на. Но смысл-то какой жизнью рисковать? Неясно, Воробей.

А на то ли й. Куда поход-то?

Ма ш а. Я же сказала, что не знаю. Никто не знает. Но билеты лежали на столе, он не успел убрать. (*Оглянувшись, тихо.*) Билеты были на север.

А лекс ан дра И ва но в на. Там же льды теперь. Что же, морей у нас потеплее нет?

Ю р и й. Чудачки вы, половчанцы. Человеку разрешают подвиг, то есть проверить себя на большом. Я понимаю подвиг как цветение мужества и зрелости. И я ввел бы это обязательным для каждого комсомольца страны. Покажи себя родине во весь рост, незнакомец!

Ма к к а в е е в. Как всегда, шибко правильно ты все освещаешь, Юра.

А н а т о л и й. Какой же это подвиг, раз секретный... если о нем и не узнает никто! Я понимаю, портрет в газетах напечатают...

В и к т о р. Запомни, Толя, боксера украшает только молчание.

А н а т о л и й. Что ты меня все учишь! Кроме того, что я боксер, я еще лучший помощник машиниста на моей дороге.

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Дети, дети, зачем же ссориться!

Р у ч к и н а *(раздельно и в тишине)*. А я ставлю так: тот подвиг и есть настоящий, о котором никто и никогда не узнает.

М а ш а. Сонюшка, вы это про себя?

Р у ч к и н а. Вы меня мало знаете, Воробей. Но я назову вам десятки имен...

М а ш а. Но вы знаете их здесь, куда газеты на третий день приходят. Значит, вы неправы, Сонюшка!

В и к т о р. О чем спор! Неважно, громкий подвиг или неслышный. Для народа важно, чтобы его высокое поручение было исполнено до конца.

Ю р и й. Станные речи для кандидата партии и учительницы. Простите за прямоту, Софья Николаевна. Так чем же отличается ваш подвиг от подвига тех, которые утверждают его смертью, могилами неизвестных солдат? Мы утверждаем его жизнью. Назовите мне еще страну, где говорят о подвигах шахтеров, трактористов, доярок. Нет подвига безвестного. Нужно, чтоб на нем учились другие. И только тогда это станет качеством действительно нового общества...

В и к т о р. Это следствие, а я говорю о причине.

Ю р и й. Ты сними очки, ты оглянись на массы, Витя.

В и к т о р. Очки тут ни при чем. Попроси боксера, он тебе разъяснит.

А н а т о л и й. Витька, дай мне поесть спокойно!..

Ма к к а в е е в *(внимательно выслушав всех)*. Ладно, уймись, петухи. Значит, к зиме будем ждать Ваську.

Молчание. Виктор отошел к балюстраде.

М а ш а. Вы обиделись на меня, Сонюшка?

Р у ч к и н а. Я имела в виду вашего брата, Исайку.

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Дети, что ж вы про Ися-то забыли?

М а ш а. Мы его звали, но он сказал, что занят.

Р у ч к и н а. Я ему зонтик в починку принесла. Я виновата. Я пойду приведу его.

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. На лестнице не споткнулся бы!

М а ш а. Пойдемте вместе, Сонюшка!

Они ушли в дом.

14

В и к т о р. Идет какой-то незнакомый человек. Юрий, это не тот?

Ю р и й (*быстро*). Где, покажи. Мама, мы больше никого не ждем?

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Нет.

Ю р и й. Поди сюда на минуточку. Ты знаешь этого человека... озирается за яблонями?

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Нет, Юра. Помнишь, я тебе говорила...

Ю р и й. Не волнуйся, мать. Все будет так, как тебе приятно. Поди и ты сюда, Анатолий.

М а к к а в е е в. Кто еще там, Юра?

Ю р и й (*сухо*). Пыляев несколько расширительно толкует маккавеевское гостеприимство. Он собирается устроить здесь клуб проходимцев. Ты не возражаешь, чтобы мы вмешались в это дело?

Маккавеев подходит к балюстраде, косится на дверь, куда ушла Маша, отходит на прежнее место, молчит.

Анатолий, после доешь.

А н а т о л и й (*подходя с тарелкой*). В чем дело, начальник?

Ю р и й. Скажи ему, детка, что мы никого не ждем и чтоб он ушел отсюда.

А н а т о л и й. Ага! Это тот самый, пыляевский? Ну-ка, пустите меня.

В и к т о р. Он улыбается.

А н а т о л и й (*широко раздвигает виноград, насмешливо*). Эй, внизу! Быстренько, в два счета, смывайся отсюда со своей гитарой!

В и к т о р. Он улыбается.

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Ты не груби ему, Толенька. Скажи только, что никого дома нет.

А н а т о л и й. Пустите, мамаш. Я имею аппетит на эти вещи. (*С сознанием своих преимуществ.*) Там, с серенадой!.. Когда я говорю во второй раз, то я только половину говорю, а половину делаю.

В и к т о р. Он улыбается.

А н а т о л и й. Подержите кто-нибудь тарелочку, я сейчас вернусь. Эй, лови, вздремни пока на подушках!

Он сорвал с гвоздя перчатки и бросил вниз. Маккавеев украдкой прикрывает дверь в дом.

В и к т о р. И довольно симпатичная улыбка, чорт возьми! (*Быстро вынимая из футляра кинемку.*) Давай, начали... Для семейной хроники это просто клад.

А н а т о л и й. Хана!! (*На бегу развязывая пояс халата, он спускается вниз.*)

И снова поглядывая на всех, Маккавеев подходит к балюстраде. Трещит кинемка. С возрастающим любопытством Юрий реферирует поединок внизу.

Ю р и й. Неплохая школа у парнишки. Брэк!.. Анатолий, первое замечание.

В и к т о р. Эх, свет-то какой. Только бы пленки хватило... Эге, ну это можно пропустить. Для широкого зрителя это неинтересно. (*И пока Анатолий внизу оправляется от удачного удара, он снимает всех, даже, кажется, самый раскаленный воздух полдня.*)

Ю р и й. Сочно. Bravo, Анатолий. Страхни песок с перчатки. Пыляевскому мальчику сегодня будет скучно.

15

М а ш а. Сбежала от нас Сонюшка. Расстроилась, такая жалость. Что у вас происходит?

В и к т о р. А, пустяки... Вот, стой так! (*И с колена он направляет на сестру объектив кинемки.*)

М а ш а. Да объясните же.

Ю р и й. Брэк!

В и к т о р. Пыляев позвал гостя, а мы двинули на него. Анатолия. Вот все, благодарю.

М а ш а (*выглянула в сад*). Юра, это же не тот... это другой, я его знаю! (*Бежит к отцу.*) Папа, останови это... тут ошибка!

М а к к а в е е в (*удерживая ее за рукав*). Сядь со мной, дочка. Теперь уж поздно.

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Кто же это, Машенька? Адриан!

М а к к а в е е в. Он за Машей сюда пришел, мать. Все в порядке. Держи себя в руках, Воробей. Ну, что же Исайка-то?

М а ш а (*сплетя пальцы*). Он не может, у него паяльник разогрет. Он говорит, что вечером будет дождь и зонтик потребуется... (*Сдержанность оставила ее.*) Юрий, прекрати это немедленно!

Ю р и й. Погоди, сестра. Брэк!.. Анатолий, второе замечание. Что ж, и это бывает. Раз, два, три, четыре, пять... (*Дальше он отсчитывает время нокаута только взмахами руки.*) Так, сеанс окончен. Где тут его тарелка-то?

В и к т о р (*перематывая ленту*). Кстати и лента вся. Вот подвезло, Воробей!

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Кто кого, Юра, кто кого?

Ю р и й. Маккавеева бьют, Виктор.

В и к т о р. Значит, завелся кто-то на свете пошибче Маккавеева.

Молчание. Маша все не может выбрать яблоко с тарелки. Пауза. По лестнице с опущенными руками и рассеченной бровью, волоча за собой халат, поднимается А н а т о л и й. Он дышит тяжело, плечи блестят от пота. Никто на него не смотрит.

А н а т о л и й. Ну... я его попробовал, значит. Парнишка, оказывается, в полутяжелом весе, и... (*почти с восхищением*) мировое крошэ! Понимаешь, Воробей, я сперва погнался, и он стал виснуть...

Ю р и й. Не ври сестре. Виснуть стал ты.

А н а т о л и й. Ты же ничего не понимаешь в боксе. Ты умеешь только считать до десяти. (*Виктору.*) А ну, давай сюда ленту, что сымал.

В и к т о р. Не дам, урок тебе. Зазнался слишком, чемпион. А вот как продам ее в Союзхронику...

М а ш а (*подавая Анатолию графин с водой*). Как видно, это тебе не Воскобойников. Поди умойся, Толька!

А н а т о л и й. Какие люди у нас зря пропадают. Такого бы подучить да на европейский ринг поставить... какие апперкоты! (*Идет в угол террасы с графином, плеснул воды в ладонь.*) А вот все-таки уходит, с серенадой-то!

Пауза, и всем жалко, что тот уходит, наверно, уже навсегда.

М а к к а в е е в. Что ж ты, невинница, стоишь, глаза опустила? Иди пригласи его в дом, твоего!..

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Машенька, тут прибор лишний есть. Я на Василья рассчитывала.

Ю р и й. Покажи нам его, сестра. Это становится занимательным.

Маше стоит усилий не бежать вслед за уходящим, но она помнит, что все смотрят на нее.

М а ш а (*широко раздвинув сетку винограда*). Слушайте, Отшельников. Я вам, вам. Поднимитесь сюда. Это все недоразумение. Вас зовет мой отец.

Г о л о с а в с е х. Вернулся он?.. Вернулся? Да ты сбеги вниз-то за ним, гордыня!

А н а т о л и й. Он идет.

17

Все, кроме Маккавеева, привстали от нетерпения. В дом входит незнакомый человек. Он в белой рубашке и военных сапогах. Свой пиджак он держит в руке. Бросается в глаза четкая и легкая подобранность его движений. Маша виновато делает два шага ему навстречу. Они разговаривают так, будто остальных не существует.

М а ш а. Произошло ужасное недоразумение.

О т ш е л ь н и к о в. Я понял. И я собирался уйти сам, но мне не понравилась форма, в которой было высказано это пожелание.

М а ш а. Вы вели себя хорошо. Здесь возникло недоумение, как вы сюда проникли.

О т ш е л ь н и к о в. Ворота были раскрыты.

М а ш а. Почему не лаяли собаки? Для таких случаев вы носите сахар с собою?

О т ш е л ь н и к о в (*смеясь одними глазами*). Повидимому, собаки догадались, что здесь меня ждут.

Маша кусает губы.

В первый раз я вас увидел в Тушине восемнадцатого августа, когда вы прыгали с парашютом. Василий показал мне на вас.

Общее движение. Маккавеев сокрушенно шарит вокруг себя.

Александра Ивановна шепчет: «Машенька, свет мой вечерний...»

Братья с полной серьезностью переглянулись.

М а ш а. Это была ошибка, меня легко спутать с другой. Василий жил только на восьмом, а и то мне бывало жутко глядеть с его балкона. Я просто ужасаюсь высоты.

О т ш е л ь н и к о в (*понял и улыбнулся*). Вы правы. В первый раз я видел вас тогда, на лестнице. Я не знал, что вы сестра Василия.

М а ш а. Вы могли справиться у него на другой день.

О т ш е л ь н и к о в. Я полагал неудобным спрашивать у друга о девушке, которая в поздний час поднимается к нему по лестнице.

В и к т о р. Да познакомь же нас, Воробей.

М а ш а. Это мои братья, отец и мать. Ступайте к ним.

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Будьте гостем, молодой человек. Не поранил он вас, медведь-то? Как его зовут-то, Машенька?

О т ш е л ь н и к о в. Моя фамилия — Отшельников. Меня зовут Алексей Дмитриевич. (*Идет здороваться.*)

Ю р и й. У вас первоклассная школа. Где вы учились спорту?

О т ш е л ь н и к о в. В армии.

В и к т о р. Очень выпукло, Алексей Дмитриевич. Умно и не назойливо.

О т ш е л ь н и к о в. Все это простая случайность. В минуту решительной атаки ваш брат дрался лицом против солнца. (*Анатолию.*) Не сердитесь на меня, друг!

А н а т о л и й. Вы меня ужасно сконфузили.

Отшельников. Нельсон советовал не презирать врага, чтоб не уменьшать бдительности к нему. (*Дружески поправил складку на его халате.*) Со временем из вас выйдет мастер, если только не станете увлекаться. (*Александре Ивановне.*) Ваша дочь — лучшая из девушек, ваши сыновья — славные ребята.

Александра Ивановна. Матери в таких случаях не возражают. Извините нас, мы плохого человека ждали. Мы так рады, так рады, что все обошлось.

Юрий. Мы все объясним ему потом, мать.

Александра Ивановна. А это папа ее, Адриан Тимофеевич.

Отшельников делает поклон. Маккавеев сидит неподвижный и пристальный, не протягивая руки.

Маккавеев. Хорош кавалер, силком в дом входишь.

Отшельников. Не совсем так. Василий приглашал меня ехать с ним, но его поездка расстроилась. Я друг Василья.

Маккавеев. Васька-то у меня осторожен в выборе друзей. Помнится, он у меня даже к таблице умноженья критически относился.

Маша. Васька отважный и наш человек. Он пройдет, и завтра миллионы ринутся по его следу.

Маккавеев (*насмешливо*). Куда он ходит, ваш Васька!

Отшельников (*Маше*). Жму вам руку за друга. (*Маккавееву.*) Дружба Василья много стоит. И было бы ошибкой не поработать над этой дружбой.

Маккавеев. Я отец ему.

Отшельников. Этого мало, друг больше.

Из сада слышны голоса Ручкиной и Дуси: «Маккавеевы, на серенование... Маккавеевы!»

Юрий. Нас зовут, отец. Мы пошли в сад.

Виктор. Отшельниковы, мы будем вас ждать на волейбольной площадке.

Маша показала ему язык.

Александра Ивановна. Твой костюм я погладила, Толя. Ступай, оденься!

Двое сыновей уходят в сад. Александра Ивановна и Анатолий — в дом.

Отшельников. Кстати, я обедал сегодня с Сергеем Маккавеевым. Он просил передать привет всем, кто помнит его. Отличный командир и настоящий Маккавеев.

Маккавеев (*польщенно, подмигивая дочери*). Я вижу, нравятся тебе Маккавеевы-то. Чего глаза прячешь?

Отшельников. Я не понял, что вы имели в виду. Повидимому, я еще молод и неопытен.

Старик сконфужен этой четкой и холодной простотой.

Маша. Вы в волейбол играете, Отшельников? Тогда пойдемте. Приходи к нам, папа!

Они уходят.

Маккавеев (*вслед*). Стой!.. Кто же ты сам-то такой... статный, ловкий, без промаха весь?..

Отшельников. Я служащий. Военнослужащий. Я той же части, что и Василий. Но я в отпуску, и вот... (*Так он объясняет свой гражданский костюм. Они уходят.*)

18

Из дома выходит Исайка с газетами и зонтиком.

Исайка. Софья Николаевна уже ушла? А я-то спешил... (*Подошел, неслышно сложил костыли.*) Ну, прочел я газеты. Доложить тебе? В Испании республиканцы продвинулись немного по железной дороге. Вот, посмотри на карту...

Маккавеев (*отстранив его руку с газетой и глядя в ту сторону, куда Отшельников увел Машу*). Не улетай, Воробей!

Пауза. Вступает глухой, далекий гул маневров.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Нижняя угловая, гораздо меньшая терраса у Маккавеева. Два спуска в сад. Яблоня, похожая на корзину с плодами, подступила слева. Ночь. Луна делит не поровну это пространство на свет и тень. В теневой стороне на двух составленных скамейках, среди всякого хозяйственного инвентаря, спит прикрытый тулупчиком Исайка. Из дома несутся всплески смеха и музыка. У Маккавеева гости по случаю приезда детей. Пробуют молодой сидр. У н у с и Р у ч к и н а. Они не знают, что они не одни здесь.

1

Р у ч к и н а. Люблю, когда идет гроза. Когда все никнет и поклоняется дождю. И он проходит, добрый, влажный, тучный...

У н у с. Нет, это синие наступают. Сегодня ночью будет бой.

2

Очень веселая, высунулась за дверь Александра И в а н о в н а.

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Софья Николаевна, где вы тут? Идите, ваша очередь, Сонюшка.

Р у ч к и н а. Я вышла из игры. И воздух здесь посвежее. Я потом вернусь.

Дверь закрылась.

Ручкина. Помолодели Маккавеевы! Дети приехали. Какая огромная сила во всякой радости! Хотелось бы вам снова стать восемнадцатилетним, Унус?

Унус. Нет.

Ручкина.хлопотливо, что ли?

Унус. Мудрость яблони, я полагаю, в ее плодах.

Ручкина. Так. А кроме яблонь существует для вас что-нибудь на свете?

Унус. Да. Вы это знаете. Я люблю вас.

Ручкина (*оглянувшись*). Не надо об этом!.. Яблони... Ну, если бы вы хоть финики на крапиве выращивали. Это хоть есть нельзя, но интересненько. А яблоко и без вас сладкое.

Унус. Яблоко от завтра должно быть слаще, чем от вчера.

Ручкина. Ничего не возразишь. Я читала вашу анкету. В гражданскую войну, когда все дрались за наше счастье, которое придет столько лет спустя, столько лет спустя... вы караулили ваши сады, чтоб не порубили на дрова. Стрекопытов сказал, вы даже лаяли по ночам, для острастки. Ну, покажите вполголоса, как!

Унус. Я думал, завтра начинается с сада.

На мгновение звук самолета, и тотчас же четкий, не очень далекий пулеметный речитатив.

Ручкина. И вот — Василий Маккавеев. Я не видала его взрослым ни разу, но я вижу отчетливее, чем ваше, его большое грубоватое лицо, с умными, хозяйскими глазами. Вот мы стоим. В доме пробуют первый сидр. А где-то в плотной тьме он идет, и ледяная вода шумит о стенки лодки. Маккавеев незримо проходит через океан, и сотни тысяч матерей, братьев и сестер, затаив дыхание, слушают его шаги. А кто слышит мои?

Унус. Слышат те, кого вы выпустили в жизнь. Бригады, председатели сельсоветов, пограничники на рубежах нашей земли. А это и есть народ, Сонюшка.

Ручкина. Что же, я браню вас, а для меня тоже не существовало ничего, кроме детей. Чужих.

У н у с. Надо, чтоб скорее родились наши дети. Я люблю вас.

Р у ч к и н а. Пустите, с серенадой... увидят. А скажите, Ирод, вы скандалили в жизни хоть раз?

У н у с. О, да!

Р у ч к и н а. Где, как это случилось?

У н у с. Когда я был в институте, там был молодец, который очень обидно врал про женщин, чужих. Тогда однажды я подошел к нему, посмотрел свысока... и потом сразу вышел вон. К сожалению, он не понял. Я никогда не изменял правилу: не бить людей.

Р у ч к и н а. Это похоже на вас. Какая пучеха, как Дуська говорит. *(Насмешливо протянула ему обрубок толстого сука с перил.)* Нате, сломайте.

Он легко сломал его в вытянутых руках.

Ну, значит, он был гнилой. Идут сюда. Бежимте, мой вечный жених!

4

Дуся тянет за руку Виктора.

В и к т о р. Дуся, я боюсь темноты. И чай недопит остался.

Д у с я. Скорее, а то он за нами увяжется. Слушайте совет пожилой страдавшей женщины: не связывайтесь со стариками!

В и к т о р. Дусенька, я там мед не доел, целое блюдце.

Д у с я. Ни слов, ни речей. Вытрите губы, так. Теперь быстро целуйте тетю за добрый совет. Постойте, что там? Ах, нет — это просто лунный свет играет. Ой, как я испугалась. Ночью я боюсь даже самой себя. Послушайте, что у меня с сердцем делается... дайте руку!

В и к т о р. Не дам.

Д у с я. Да не бойтесь же вы! Оно маленькое, оно не кусается.

В и к т о р. И ногти у вас какие-то... электрические.

Д у с я. Тихо. Молчание — разговор любви... *(Вдруг.)* Достаточно, вы забываетесь. Ой, кто еще тут? *(Погладила*

рукой в темноте.) Мохнатое... Нет, это Исай спит. Тсс, не разбудите его.

Дверь открывается.

Тихо спускайтесь за мною в сад.

Гул нарастает и проходит. Ручкина тронула локоть Унуса, приглашая слушать.

5

А н а т о л и й. Дуся, куда вы завалились? Идите, вам водить.

В и к т о р. Здесь спят, не буди. Кстати, шепни Стрекопытову, что мы пошли в сад. Из последних сил отбиваюсь.

А н а т о л и й. Вижу тебя, Виктор, убеленного сединами, и детишек, числом до дюжины, резвящихся вокруг. А ты попробуй сказать ей что-нибудь такое, в популярной форме!

В и к т о р. Она тотчас в слезы. И грозит сказать мужу, что я ее соблазнял. А я, понимаешь...

А н а т о л и й. Ладно, ступай, я понятливый.

Анатолий скрывается.

6

Некоторое время никого нет. Музыка из дома и шорохи ночи. Кто-то прячется здесь и кого-то находят. Потом приходят Александра Ивановна и Пыляев. Он заметно под хмельком. Дверь осталась открытой.

П ы л ь е в. Зачем я тебе нужен? Ну, чаруй меня, деньги заплочены!

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Я таким тебя никогда не видала. *(Старается говорить мягче.)* Ты, когда пьяненький, не очень похож на себя, на трезвенького. Я вижу, тебе понравился наш яблочный квасок.

П ы л ь е в. Давай короче.

Молчание. Кто-то внутри дома, во исполнение фанты, читает «попрыгунью-стрекозу». Александра Ивановна прикрывает дверь.

Александра Ивановна. Я принесла тебе деньги на дорогу.

Пыляев. А, давай.

Александра Ивановна. Ты не разворачивай, бери прямо с платком. Он старый. Никто не знает... И возвращать не надо!

Пыляев. Сколько тут у тебя?

Александра Ивановна. Сто. Это из исайкиных. Он простит меня. Ну, прощай... *(И протянула руку.)*

Пыляев. Что ж ты мне... на пол-литра съешь? *(После минутного раздумья опустил в карман.)* Подешевел Пылаев. А помню раз, как в монастырьке под Балтой два монаха украли у меня из вагона десять цинок с патронами, а я их накрыл... Что ж, падают и горы! *(Берясь за скобку двери.)* Ну, все?

Александра Ивановна. Когда ты уйдешь?

Пыляев. Как тебе сказать... не знаю.

Александра Ивановна. Ты обещал. Пойми, все они смотрят на тебя и молчат. И ты сам какой-то нервный стал, все что-то слушаешь, бегаешь куда-то.

Пыляев. Шесть лет без отдышки бегу, Саша. Уж я прямо бегун стал. Да ведь и некуда мне.

Молчание

Никто не приходил ко мне в эти дни?

Александра Ивановна. Вот, вот, ты кого-то ждешь. А я даже не знаю, кто ты теперь... беглый, прощенный. Я ночей не сплю. Уйди, Матвей, дай нам жить!

Пыляев. Ну, не плачь, не надо. *(Подошел ближе.)* Не толкай меня. Я уж и так на краешке стою.

Александра Ивановна *(шопотом)*. Умей уйти совсем, сам... если тебе не удалось. Чего, чего ты еще хочешь от жизни? Скажи.

Пыляев. Я бы, знаешь, и застрелился, но мне не хочется тебя расстраивать. *(Коснулся ее плеча.)* Пылаев слов назад не берет. Я уйду. Но я не могу уйти сейчас. Потерпи до завтра, Саша.

Александра Ивановна. Хорошо... но не доводи меня до последнего слова, Матвей.

Пыляев. Какое же это слово?

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Я прогоню тебя... с собаками.

П ы л я е в. Ну, побоишься!

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Я ничего не боюсь, Матвей.

П ы л я е в. Покажи мне такого, чтобы не боялся, что про него что-то откроют!

Молчание.

Скажи, этот дерзкий мальчик на костылях... это он?

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Нет, что ты!.. Твой сын умер еще маленький. Это от Адриана.

П ы л я е в. Врешь, Сашка. Это тебе никогда не удавалось. Техники нет...

7

Она руками закрыла лицо. Исайка, который проснулся и слышал часть разговора, скинул на пол тулупчик.

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. Исайка!..

И с а й к а. Мамочка, дай ему в морду... мама! Ударь его, я не дотянусь. Мама, дай мне костыли, мамочка...

А л е к с а н д р а И в а н о в н а (*кидаясь к нему*). Исай, тише, тише, милый старичок мой, молчи!

И с а й к а. Я же сильный... посмотри, какие руки у меня. У меня сильные руки. Помоги... да помоги же мне!

П ы л я е в. Голос из далекой провинции. (*Повернулся и очень медленно ушел.*)

8

И с а й к а. Не плачь, мама, не ведию. Как же ты егопустила? Догони его, еще не поздно, догони!

А л е к с а н д р а И в а н о в н а (*гладя его руки*). Исай, все это сон. Ты маленький, тебе приснилось. Все хорошо, Исай. (*Шопотом.*) У Маккавеева больное сердце. Утихни, утихни, милый...

И с а й к а. Мамочка, как же ты могла полюбить его, такого!

Один из гостей. Александра Ивановна, вас ждут. Публика бунтуется.

Александра Ивановна. Я приду, приду... Ты лежи, я пойду, а то заметят. Юрий сказал, что, если можно тебя починить, он возьмет тебя с собою. Ты спи, а когда проснешься, сразу будут Москва и утро.

Исайка (ласкаясь). Вы все ко мне добрые.

Тот же гость. Александра Ивановна, там уже посуду бьют.

Александра Ивановна (*поднимаясь и разглаживая руками лицо*). Я иду, иду. (*Открыла дверь в комнату.*) Ой, как вы тут накурили. Вы бы хоть на воздух шли!

10

Отшельников из сада вглядывается в темноту. На нем военно-морская форма.

Исайка. Ее тут нету. Это я, ее брат Исайка.

Отшельников. Я вижу. Что же вы один лежите?

Исайка. Юрий костыли отобрал, в наказание, как маленькому. А я обиделся. Эх, Отшельников!

Отшельников. Что Отшельников?

Исайка. Они все думают, что я не от мира сего. А я от мира, от мира. Я хочу много, хочу летать, драться. О, мне бы только ноги. Я бы всыпал кой-кому и за маму и за Испанию. Я дал себе срок: два года ждать, а там... Теперь этот срок истекает. Сказать вам тайну, Отшельников?

Отшельников. Если можно ее вслух сказать.

Исайка. Дайте ухо. Ваське завидую. Ему машины, честь народа доверили, а мне зонтик. Но я его починил.

Отшельников. Не надо этих слов, Исай. У нас подвига не ищут. Его делают из повседневной жизни. Чем они лечат-то вас?

Исайка. А чем придется. Мосей на-днях салом с тертым хреном натирал. А я лежу, мне смешно и щекотно. «Лавровый лист, говорю, забыли положить?» Уж скоро, очень скоро изобретут лекарство ото всего и такой силы, что в пузырьке уж нельзя его хранить, стекло расплавится.

И я его выпью, и все во мне обуглится... И встану во весь рост, седьмой Маккавеев...

Отшельников. Осторожно, свалитесь, расшибетесь. Ну, а теперь... о чем тут плакала Александра Ивановна? Я видел ее глаза.

Исайка. Маккавеевы не плачут.

Отшельников. Так. Ну, а что Пыляев здесь делал?

Исайка. Я не видел. Я спал.

Молчание. Отшельников поднялся уходить.

Но я потом проснулся. Он ждет кого-то здесь...

Отшельников. Да, Юрий объяснял мне... почему меня встретили у вас так оригинально.

Они сидят молча.

11

Струнный шелест гитары. Анатолий проходит мимо и поет.

Анатолий. Мамаша спит, огонь горит, а сердце грустно... как-то даже слишком грустно говорит... (*Остановился, заглянул; тихонько Отшельникову.*) Пыляев опять к воротам бегал. Но там пока никого нет. (*И пошел дальше, напевая.*) Моей любезной милый прах, явись, явись мне впотьмах!

12

Отшельников (*взглянув на часы*). Все очень хорошо. А Василью не завидуйте, не надо.

Исайка. Я не ему, а его движенью. Когда идет человек... и воздух ледяной, с искорками, бьет ему в грудь.

Отшельников. Какой там искорками! Мы подводники, Исай. Мы ходим по глубине, и воздух наш пахнет грым маслом. Ну, я пойду Машу поищу.

13

Дверь открылась. Там все поднялись, двигаются стулья. Возгласы: «Ан-тракт восемь минут!», «Чаю, кому чаю?» Первым выходит высокий старик с вислыми усами в чесучевом френче и сапогах. Через минуту он назовет себя Жабро.

Жабро (*прокашливаясь*). У, заложило. Дам никаких нет? (*Он расстегивает френч, за которым видно могучее*

его, волосатое тело.) Здесь отрадно, как на дне морском. Ирод Антонович, поставим тут три кущи! Ну-те-с?

У н у с (*весь обвешанный табуретками*). Там уже аудитория расходится.

Ж а б р о. Ничего, они подойдут потом. Эй, Платон, тащи сюда наглядные пособия.

В дверь деловито протискивается Стрекопытов с бочонком, украшенным веночком, подмышкой. На пальцы нанизаны стеклянные кружки. В темноте он натывается на Отшельникова.

Стрекопытов. Каспер Касперович, тут уж занято.

Отшельников. А мы сейчас уходим. Исай, помогите нам найти Машу.

Ж а б р о. Разрешите... Кандидат ветеринарных наук и старинный друг Маккавеева, Жабро! Это фамилия. (*Громкогласно прокашливается.*) Ух, как заложило, чорт. Прибыл приветствовать молодое поколение. Ну-те-с?

Отшельников (*дружественно*). Мне всегда приятно видеть друзей Адриана Тимофеевича.

Ж а б р о. Так. Изучаем загадочный напиток сидр и его последствия. Не щадя слабых сил.

У н у с. С научно-медицинской точки зрения.

Стрекопытов. Погода бездыханна. Небо чисто. Слава творцам земли!

Они стоят перед Отшельниковым в ряд, все трое в разной степени навеселе.

Ж а б р о. Заметьте, с наглядной демонстрацией учебного материала. (*И стукнул в дно бочонка.*) Ты расставляй пока!

Стрекопытов снимает с Унуса табуретки, расставляет кружки на одной из них. Пы л я е в появляется на ступеньках из сада.

Отшельников. К сожалению, мы запоздали к началу и не сможем соответствовать в полной мере. Берите мою руку, Исай.

И с а й к а. Юрий браниться станет.

Отшельников. Ничего, я беру вину на себя. (*Шутливо он подает Жабро исайкин тулупчик.*) Будьте добры подержать некоторое время эту вещь. (*Уходит с Исайкой.*)

Ж а б р о (*смотря на полушубок*). Ну-те-с?

Пыляев (*прислонясь к столбу террасы*). Держи крепче, а то оно уползет.

Жабро молча укладывает тулупчик на койку. Группа молодежи, тесня друг друга, пробегает из дома в сад. Происходит диалог: Александра Ивановна: «Ребята, куда же вы от чая?» — «А мы купаться, Александра Ивановна!» Стрекопытов пристально всматривается в лица пробегающих девушек.

Пыляев. Не разыскивай жену, Менелай. Она занята сейчас с другим.

Стрекопытов. Третий раз вы нынче все против шерстки, Матвей Фомич. Я ведь прыгать на вас буду!

Жабро. Плюнь, пренебреги. Дурак. Сядем без него и утолим нашу жажду. (*Прокашлялся так, что все на него посмотрели.*) Что вы в меня уставились?

Стрекопытов. Этак из вас, такая вещь, позвонок вылетит, Каспер Касперович!

Жабро. Технически невозможно. Но продолжим наш семинар. Всем налито? На чем мы остановились?

Александра Ивановна вышла на террасу.

Жабро. Честь и место!

Александра Ивановна. Я на минутку. Я все на вас гляжу, как дети забавляетесь... Адриан куда-то пропал.

Идет к ступенькам. Пыляев посторонился.

Пыляев (*тихо*). Там кто-то приходил, Александра Ивановна?

Александра Ивановна. Нет, это почти принесли. (*Кричит в сад.*) Адриан!..

Ответа нет. Она возвращается, делая жест, чтобы все оставались на прежних местах.

Ж а б р о (*обращаясь к одному Стрекопытову*). Товарищи студенты! В предварительной лекции мы рассмотрели с вами ботаническую и поэтическую часть нашего предмета. Мы гуляли по садам, видели урожай года и рассуждали, куда же все это девать, когда Адриан Тимофеевич сдержит свою угрозу и превратит всю планету в сплошной сад. Так мы пришли к сидру. Нам надлежит теперь изучать общие симптомы болезненного состояния, называемого опьянением. Итак, яды суть лекарства, а лекарства суть яды...

С т р е к о п ы т о в (*монотонно*). Как сказал Клод Бернар...

Ж а б р о. ...как сказал Клод Бернар. Слово имеет Ирод Антонович Унус.

У н у с. Итак, мы обозрели таинственный процесс, где труд человека, яблони и мельчайшего грибка, сахаромикета, образует эту дивную жидкость. Это уже не ваш гадкий перхун, товарищ Стрекопытов! Это сок половчанской земли, безгрешный, как юность. Сюда примешаны цветы и песни, здесь растворены закаты и ночи наши. Пусть все пьют и видят в нем лицо того, кого любят! Подвергнем дополнительному рассмотрению, что это есть и как оно происходит.

Все выпили.

С т р е к о п ы т о в. Глоток скользит и ждет к себе другого.

Пауза. Стрекопытов снова взялся за кружку.

Вникнем еще раз!

У н у с. Теперь обозреем механизм действия. Принятая вовнутрь через рот, жидкость эта собственным весом протекает по данной толстой трубе сюда и через посредство различного калибра трубочек и хоботков жадно... виноват, я хочу сказать: жадно всасывается в организм.

Ж а б р о. Как сказал Клод Бернар. (*Хохоча.*) Похоже, похоже, вали дальше!

У н у с. Болезни... например, даже неизлечимый кашель товарища Жабро... проходят бесследно. Образуется прилив крови к оболочкам мозга, к печени и ряду... скажем условно, к ряду второстепенных органов. (*Стрекопытову.*) Ощущаете?

Ж а б р о. Ирод, друг мой Ирод, печень не с той стороны.

У н у с. Появляется теплота в желудке, пульс крепнет, хочется закусить... Умственная деятельность оживляется, как это представляется обзору ваших глаз на примере Матвея Фомича Пыляева.

Точно пробудившись, Пыляев подходит и наливает себе кружку.

П ы л ь е в. Сколько у вас времени, Платон Платонович?

С т р е к о п ы т о в. Ну, десять... Ну!

Пыляев отошел.

У н у с. Но мы углубляем предпринятый опыт, чтоб проследить действие этого... как его некоторые ошибочно называют... яда до конца.

17

Когда кружки уже подняты, из сада приходит М а к к а в е е в. Руки его висят вдоль тела, из кармана торчит смятая газета. Рукав белого праздничного пиджака в пыли. Он остановился и незрячим взглядом смотрит куда-то мимо гостей.

Ж а б р о. А, включайся, еще не поздно.

Они заметили его состояние. Все замолкли, только музыка играет в доме.

Адриан, ты что, упал?.. Что-нибудь с сердцем? Сядь, сядь.

С т р е к о п ы т о в. Адриан Тимофеевич, очнитесь. Выпейте глоточек!.. Александру Ивановну надо позвать.

М а к к а в е е в (*слабо махнув рукой*). Нет, не надо. Музыка не надо.

Замешательство. Унус бежит в дом, вытаскивает лампу на длинном шнура, ставит ее на пол. Музыка прекратилась.

Стрекопытов. Вот... говорил я вам, Адриан Тимофеевич, в аккуратности себя соблюдать.

Жабро. Он весь вечер как опоенный. Все — «неполон, неполон наш собор». А чем неполон? В четырнадцать рук на жизнь вышел. Ты оглянись: сыновей-то — целое человечество. И сыновья какие!

Стрекопытов. И семеро, как в библии.

Маккавеев стоит безучастно.

Пыляев (*ставя на балюстраду допитую кружку*). Он деятельный, трудолюбивый, Адриан-то. Даром времени с супругой не терял!

Почти смятение. Стрекопытов закрыл лицо руками. Жабро отвернулся. Маккавеев медленно и страшно движется к Пыляеву, тот пугается его.

Маккавеев. Кто это тут? Голос знакомый, а признать не могу. А, это ты, Матвей! (*И он уходит обратно в сад.*)

Группа гостей, которая возвращается с купанья, расступается перед ним.

18

Пауза. Гости вопросительно смотрят на Унуса. На что-то решаясь, тот поднимается

Унус (*глухо*). Так, мы продолжаем нашу лекцию. Нам предстоит теперь рассмотреть обратный процесс вытрезвления. (*Двигается к Пыляеву. Тот замечает его слишком поздно, чтоб бежать.*)

Пыляев. Не трожь меня... не задирай меня, деревянный доктор!

Унус. Тихо, тихо. Ну, дай мне теперь твой нос. (*Почти наощупь он шарит по лицу Пыляева.*) Ну, не срывай нам лекции. (*Поймал и сжал крепко.*) Внимание. Я произвожу легкое сжатие...

Пыляев. Пусти меня, мне больно.

У н у с. И вот сознание просыпается, в стыде и горечи возвращается память, затемнение проходит. Я ускоряю действие. Обратите внимание...

Ж а б р о (*сбоку*). Как в лещётку взял. У вас исключительная сила в пальцах!

Стрекопытов. Ирод Антонович, у него кровь показалась. Софья Николаевна, Софья Николаевна, скажите ему!..

Р у ч к и н а (*пройдя сквозь толпу*). Что вы делаете?.. Вы его избili?

У н у с. О нет, я никогда не бил людей. (*Брезгливо глядя себе на руки.*) Теперь дайте мне платок.

Громыхая голосом, Жабро рассказывает о происшествии Александре Ивановне. Стрекопытов бежит в сад искать жену. Сцена поворачивается. Яблони, яблони без конца. «Дуся, Дусенька, я по тебе соскучился. Откликнись хоть разок!» Но муж уклоняется в глубину сада, а те, кого он искал, оказываются прямо перед рампой. Две яблони у пруда сплелись ветвями. На скамейке под ними Виктор и Дуся.

19

Д у с я (*прислушиваясь к воплям мужа*). О, даже ночью мне чудится этот скрипучий голос.

В и к т о р. Дайте же мне, гражданка, хоть словечко вставить.

Д у с я. Какой вы говорливый, господи!

В и к т о р. Вы, конечно, сокровище...

Д у с я (*сороговоркой*). О, не надо! Я замужем и люблю мужа. Он такой чуткий. Он даже во сне все слышит. Как собака! В день вашего приезда я даже еще не знала, что именно должно случиться, а он уже начал ревновать. Это просто припадки старости. Кстати, о припадках. Вы обещали мне сеанс. Имейте в виду, я очень легко поддаюсь внушению, в два счета. Мне один доктор говорил. Он, собственно, не доктор, а агроном, но у него двоюродный брат доктор. Вернее, аптекарь. Лы-ысенский! Он умер, когда я была совсем маленькая, вот такая! (*И двумя сложенными пальчиками коснулась губ оторопевшего Виктора.*) Как же я могла его запомнить? Ну, и я не знаю. Начинайте же, берите мою руку.

Виктор оглянулся на далекий зов Стрекопытова.

Д у с я. Чего он все кричит? Только на мысли наталкивает. Ну, я готова.

В и к т о р. Смотрите только, это опасно для здоровья.

Д у с я. Ничего, от этого не умирают. Наоборот!.. Я уже чувствую кое-что, щекотное такое электричество в коленках... это так и надо?

В и к т о р. Рано. И не прижимайтесь, у меня пиджак линяет, имейте в виду. Итак, вы чувствуете себя маленькой птичкой. Перышки на вас блестят. И вам хочется...

Д у с я. У меня веки закрываются. Это так и надо?

В и к т о р. Не обрывайте тока!.. И вам хочется, бесценная птичка, полететь домой, выпить чаю с кулебякой, которую испекла Александра Ивановна, а потом храпануть до зорьки, чорт возьми!

Д у с я (*кладя ему руки на плечи*). О, я разрешаю вам это только потому, что вы настигли меня врасплох. Этот упоющий аромат, нельзя сидеть!

В и к т о р. Дуся, я вам этого не внушал. Я рассержусь, Дуся...

Д у с я. Скажите, вы альтруист?

В и к т о р. Н-нет, я скорее радиоинженер.

Д у с я. Ага. Тогда увезите меня куда-нибудь на громадном океанском пароходе. И чтоб трубы дымили, восемь штук и чтоб никто не знал...

В и к т о р. Это невозможно. Таких пароходов не бывает!

Д у с я. Но вы же сами называли меня сокровищем!

В и к т о р. Так вы же не давали мне досказать. Я хотел выразить, что вы есть сокровище для холостяков, а я... У меня невеста есть. Даже две. И обе даже стреляли друг в дружку. Ревность!

Д у с я. Зачем же вы меня завлекали тогда? А я-то верила, что вы покажете мне людей, и горы, и города. Уйду я от Стрекопытова, все равно уйду. Я замуж выходила — хотела отомстить одному человеку, который... Словом, я его еще больше, чем вас, ненавижу...

В и к т о р. И берегите в себе это ценное чувство, берегите!

Д у с я. Слушайте, инженер башенный, ну хоть недалеко увезите.

Виктор. Нет. По буквам: Никодим, Елена, Тимофей. Нет!

Дуся. Хорош гусь, нечего сказать. Внушил бог знает что, а теперь на попятный. Боже, опять муж зовет. Бежимте хоть вон до той скамейки! *(И снова она его тащит в глубину сада.)*

20

Стрекопытов. Дуся... что у меня есть для тебя, Дуся! *(Заглядывая везде, обминает каждый куст.)* Виктор Адрианович, она вас заманивает, а вы не поддавайтесь. Молчат, замолкли... Дуся, я уже простил тебя. Я все знаю. Дуся. *(Вспоминая слова Маши.)* «Черномор, где твоя густейшая борода?» Эй, там, вижу, вижу!

Уже издали доносятся его печальные зовы. Потом сюда приходят Маша и Отшельников.

21

Маша. Сядем. Девчонкой я бегала по дну этого пруда. Его при мне копали. Вы молчаливы сегодня, Алексей Дмитриевич.

Отшельников. Бывают часы, когда надо молчать.

Маша. Справедливое, но скучное наблюдение. Сорвите яблоко и дайте мне.

Яблоко скатилось в пруд. Он сорвал другое.

У вас сегодня все падает из рук. Не узнаю Отшельникова.

Отшельников. Я тоже.

Маша. Вы больны?

Отшельников. Больных военных не бывает. Вам это известно.

Маша. Значит, еще одна загадка. Мне непонятно... Вы гнались за мною столько дней. И вот настигли здесь. И никого нет. И луна. И скамья еще теплая от предыдущей пары.

Отшельников. Вам смешно, что я искал этой встречи?

Маша. Тогда изъясняйтесь. Читайте стихи. Скажите, что у меня красивый лоб. И руки хорошие, и затылок. И имя. Кажется, так полагается в подобных случаях. Я читала в довоенных романах.

Отшельников. Да, у вас красивый лоб. И руки ваши теплые, милые. И имя. Если все эти слова доставляют вам радость...

Маша. Ура, сдвинулись. Берите яблоко в награду. Я испортила его, надкусила. Но вишня, например, клеванная воробьями, всегда вкуснее. Так говорят. Берите же, я не Ева. Мне от вас ничего не надо.

Он взял. Молчание.

Мы еще с вами не настолько знакомы, чтоб молчать без передышки.

Отшельников. Вы дороги мне вдвойне. Ведь вы сестра Василья.

Маша. Этим и объясняется ваша привязанность ко мне?

Отшельников. Этим объясняется моя двойная привязанность к вам.

Маша. Ну, хорошо, давайте помолчим.

Пауза.

Мне нравится ваша дружба с Васькой. Жалко, что он не приехал. На ваш взгляд, это опасный поход?

Отшельников. Его опасность равна его почетности.

Маша. А если бы поход кончился неудачно и Василий вернулся бы ни с чем... Это, разумеется, невозможно, но все-таки?..

Отшельников. Народ пошлет второго, третьего, пятого. Есть вещи, Маша, которые должны быть выполнены.

Маша. Понятно. И тогда, может статься, этим вторым, третьим, пятым окажется вы?

Отшельников. К сожалению, это зависит не от меня. Я только перо в крыле громадной птицы.

Маша. Вы хорошо сказали: перо в крыле громадной нашей птицы. У вас есть что-то общее с Васькой. Не в лице, нет...

Отшельников (*почти сухо*). Василий был лучше меня. Иначе его не послали бы первым.

Маша. Но почему — был? Вот, опять замолк.

Отшельников (*поднимаясь*). Случилось большое несчастье, Маша.

М а ш а. Я не поняла... скажите!

О т ш е л ь н и к о в. В газетах, я только что получил, напечатано краткое извещение товарищей. Маша, спокойствие... Маша!

Она догадалась, она зажала рот ладонью, чтобы не крикнуть.

М а ш а. Нет, этого не могло произойти. Я же знаю Ваську! Но какой бы ни был теперь... жив он по крайней мере?

22

И с а й к а вышел из сада, он слышит окончание разговора.

М а ш а. Исайка, милый Исайка...

О т ш е л ь н и к о в. Надо сообщить старику. И будет лучше, если это сделаете вы.

М а ш а (*про газету*). Дайте мне... дайте!

О т ш е л ь н и к о в. Там, на последней странице.

М а ш а (*комкая газетный лист, бегло*). На боевом посту... милый товарищ... погиб... дело живет... подписи. Все. Я пойду. Алеша, побудьте сегодня у нас!

О т ш е л ь н и к о в. И будет лучше, если вы вызовете его сюда. Не на людях!

Она ушла.

23

О т ш е л ь н и к о в. Хотите и теперь васильевой судьбы?

И с а й к а. Попролам ее поделить хотел бы. Я сяду, Отшельников. Я устал.

Они сидят рядом. Отшельников чертит сучком по песку.

Он даже Мосея не забывал... В письмах всегда для него ласковое слово. Его на все хватало... Слышите?

О т ш е л ь н и к о в. Армия идет, Исай. Родина готовится к бою.

И с а й к а. Ну, на этот раз гроза. Воздух-то жесткий на ощупь. (*Весь подаваясь вперед.*) Сережка, Сережка приехал!

Отшельников. Сидите, Исай. (*Идет навстречу Сергею. Тот в серой гимнастерке танкиста.*) Это правильно, что ты собрался. Во-время.

Сергей. Был уверен, что встречу здесь Алешку. Ну, здравствуй.

Отшельников. Читал?

Сергей. Читал. (*Исайке.*) Не ходи, я подойду к тебе, Исай.

Исаяка. Тебя, тебя одного не ждали, Сережа. Сядь со мной. Вижу, вижу, ты весь на лету. (*Касаясь его командирских петлиц.*) Ого, какой у нас Сережка-то!.. и золото на рукаве.

Сергей. Отец уже знает?

Отшельников. Я послал за ним Машу. Там люди.

Сергей. Да, так умнее. (*Отшельникову.*) Я прочел, знаешь, и растерялся.

Отшельников. Ты же знал, что он в плаванье?

Сергей. Только из заметки. Как все это случилось-то?.. Прочет?

Отшельников. Не думаю, Василий не из таких. Возможно, снесло течением. Ну, и пропорол брюхо. Это, разумеется, на лучший конец.

Сергей. Понимаю. К чорту ли тогда ваша хваленая гидрография!

Отшельников. Ну, жестким тралом все море не потралаишь. Да еще такое море!

Исаяка. Готовьтесь, отец идет.

Маша (*несколько опередив отца*). Я ничего не успела ему сказать. Нехватило мужества. А, Сережа!.. ну, после, после.

Приходят Маккавеев с Анатолием. Старик уже спокоен, газеты в кармане нет. Сергей обнял его за плечи.

Сергей. Здорово, Маккавеев. (*Держа его в объятиях.*) Добрый, теплый. Ну, как политико-моральное состояние?

Маккавеев. Спасибо, я прочный. Надолго к нам?

Сергей. Моя колонна проходит мимо. Вот я и решил заскочить на... (*смотрит под рукав, на часы*) ровно на шесть минут с половиной. Времени вечность, отец.

Ма к к а в е е в. Скуповата твоя вечность, Сереженька.

Сергей. После тактических учений я приеду на целую неделю. Пеки пироги! А пока не серчай. Сейчас все военные скупы на время. Вижу, дети здесь? Анатолий!.. Маша, не сердись, что семь лет назад я отломал нос у твоей куклы? Вот жаль, отец, что Васька-то не приехал, а?

Ма к к а в е е в. Ты что это имеешь в виду-то, Сереженька?

Сергея выручает появление лейтенанта.

26

Лейтенант. Товарищ комбриг.

Сергей (*обернувшись*). Да.

Лейтенант. Лейтенант ...нов. С пакетом от командира кавдивизии.

Сергей. Да. (*Прочел.*) Так всегда бывает: ускорение причин вызывает ускорение следствий. Ты извини, отец. Видишь, какая быстрая наша жизнь.

Он отошел с лейтенантом, который подал ему карту из своей полевой сумки. Сергей делает отметки, сломался карандаш.

Лейтенант подал ему свой из кармана комбинезона.

Спасибо. Передайте начальнику штаба установить связь с дивизией.

Лейтенант. Приказано передать начальнику штаба установить связь с дивизией.

Сергей. Исполняйте.

Лейтенант. Есть. (*Ушел.*)

27

Сергей. Вот и опять я с вами, отец. Мать здорова? Черевички я ей на Кавказе отыскал... Привезу после отбоя.

Ма к к а в е е в. Ты полторы минуты истратил на этот пакет. Тоже в счет идет, Сережа?

Сергей. В счет, Маккавеев! Идем в бой. Эх, хорошо у вас тут, а мы гремим, птиц ваших пугаем. Что делать, Маккавеев. Полмира хочет кидать в нас бомбы. И каких полмира! А у них еще кровь Абиссинии на руках не высохла!.. Может быть, я бы каналы знаменитые строил, а Алешка, скажем, сонаты писал, а Васька...

Молчание.

(*Про Отшельникова.*) Маша, ты уже познакомилась с этим пареньком? Наложу на него глаз покрепче. Сколько у тебя отпуска, орел?

Отшельников. С дорогой месяц. Еще много впереди.

Сергей. Тогда все в порядке. Ну — мне сворачиваться. Еще добраться до машины. Рад был слышать твой голос, отец. Скажи мне слово на прощанье, последнее. (*Снял фуражку.*) Маккавеевское!

Маккавеев. Хочу много, но ты спешишь. Хочу, чтобы никто не упрекнул Маккавеева ни в трусости, ни в слабости, ни в лжи.

Сергей. Есть маккавеевское слово. (*Делает прощальный жест.*) Маша, обними братьев. Здоровы? Ты, Анатолий, поучи паренька... (*Про Отшельникова.*) Он у нас тоже к боксу пристрастие имеет. Береги отца, Отшельников. (*Обернулся с полдороги.*) Ой, орлы-ы!

Исаяка. А мне-то, Сережа... Ну, потом, ладно, иди, иди!

28

Маккавеев (*сидясь на скамью*). Устал от гостей. Да один еще так и не приехал. Война. (*Анатолию, который сзади положил ему руку на плечо.*) Что ты делать станешь, Толенька, если война?

Анатолий (*сурово и твердо*). Кровь из носу, папаша. Первые лягим, как один.

Маккавеев. Лягим!.. Грамматика у тебя, сынок, плохая. А сады мои кто станет защищать?

Исаяка. Папа, не будь несправедлив к Анатолию!

Маккавеев. И пусть они разобьют головы о ваши груди. И пускай «Яблочко» наше громыхнет под воротами ихней столицы. Поют нонче «Яблочко»-то?.. А вот и за-

был, как ее зовут, ихнюю столицу. (Отшельникову.) Ну-ка, помоложе. Ай тоже память недолга?

Отшельников. Я внимательно слушаю вас, Адриан Тимофеевич.

Маккавеев (усмехнувшись). Нельзя, форму надел?.. Ну, кончен бал. Будни начинаются. Спать пора.

Он уходит, и в ту же минуту вдалеке начинается шествие танков.

29

Маша. Догоните, скажите ему, Алеша. Я вбежала, он что-то матери говорил про Василья. Они обнялись. Я не посмела прервать его.

Анатолий. Что, что случилось?

Отшельников (беря его за руку). Завтра он все узнает сам. Сохраним ночь старику!

Колонна Сергея приблизилась. Грохот усиливается. Все стоят, обратясь лицом на звук. Исайка машет рукой. Луна ушла. Свет из дальнего окна гаснет. Тьма, и в ней раскат грома. Первый суховатый всплеск дождя. В короткое мгновение молнии видно: Маша подняла руки навстречу ливню раскрытыми ладонями вверх.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Общая комната первого действия. Обед окончен, еще не убрана посуда со стола. Смеркается, и сад стоит мокрый. Дождь. Исайкиной койки уже нет. У стены выстроились в ряд чемоданы братьев. Склонясь с табуретки, Анатолий укладывает вещи в свой. Юрий осматривает полууголого Исайку; рядом горит спиртовка.

1

Юрий. Твердо помнишь, не падал, не ушибался?
Исайка. Нет. Холод-то какой завернул.

Юрий. Ничего, потерпи. (Анатолию.) Ну, чего же замолк? Ну, выбегаешь на ринг... а дальше?

Молчание.

Ты что, сломался, что ли?

Анатолий. Вот перчатки почему-то не влезают.

Удивленный его тоном, Юрий поднимается.

Юрий (Исайке). Погоди рубаху надевать.

Он подошел к Анатолию, поднял за подбородок опущенную голову.
Тот слабо сопротивляется.

Анатолий. Отца жалко. Ваську жалко. Руку бы дал отрубить по плечо, по сердце, вот тут!

Юрий. Держись, Толя. Чемпион, а совсем как мальчик. И губы дрожат.

Анатолий. Пусти, чего ты меня крутишь! Я тебе не велосипедный руль.

Исайка (кратко). Юра, у меня уже обледенение началось.

Юрий возвращается на место. Вошел Виктор. Не снимая мокрого пальто, с запотевшими очками, он молча стоит посреди.

И с а й к а. Ой!

Ю р и й. Больно?

И с а й к а. У тебя руки холодные. Но ты коли, где тебе надо, коли.

Ю р и й. Это хорошо, если больно. (*Виктору.*) Нашел отца?

В и к т о р. До самого Мосея доходил, нигде не видно. (*Анатолию, который рвет какие-то бумаги.*) Все уклады-ваешься?

Молчание.

И Пыляев пропал. Куда он мог завалиться?

Ю р и й. Далеко не уйдет. (*Исайке.*) Теперь согни в колене, попытайся.

В и к т о р. Коснись, меня за нос бы взяли, — я бы нагишом по снегу убежал. А этот ходит как ни в чем не бывало. Что Алексей-то говорит?

Ю р и й. Все идет хорошо, Витя.

А н а т о л и й (*вскакивая*). Где мы живем, где!.. Прохвост обидел отца, и мы молчим. Он ждет кого-то, а ты велишь нам молчать. И мы молчим. Витька, мы молчим! У меня ногти ноют, когда я на него гляжу. Ты старший: сам медлишь, и нам не даешь его за грудки взять...

В и к т о р. Тихо!

Вошел Пыляев с вязанкой дров. Он идет к печке.

3

Ю р и й. Закройте дверь, если это вас не утомит.

П ы л я е в (*возвращаясь к двери*). Виноват.

В и к т о р. «Здравствуйте» надо говорить, когда входишь в чужой дом.

А л е к с а н д р а И в а н о в н а внесла блюдо пирогов.

4

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. На дорогу вам, пускай простынут. Что, Юра, можно починить человека? Человек-то хороший.

Юрий. Одевайся. В герои годится. Поедет с нами в Москву.

Исайка. Мне тогда собираться надо. Братя, вы подождете меня? Мама, что, неяснее там?

Александра Ивановна. Грязища, реки по дорогам идут. Как-то вы поедете? Подождали бы, может, разветреет.

Анатолий. Нельзя, мать. У Юрия клиника, у меня матч. Да еще на дороге соревнование начинается. *(Про перчатки.)* Вот черт, только теперь вспомнил: они ж у меня в отдельном свертке были. Постой, что-то мне сидеть высоко. *(Он идет к Пыляеву, который затапливает печку, пристроившись рядом на скамеечке.)* Будь друг, слазь на минутку. *(Взял его скамейку, унес с собой.)*

Пыляев. Вступись за меня, Александра Ивановна!

Молчание. В печке веселый огонь. Виктор предупредительно распахивает дверь. Входит Маккавеев с корзиной яблок.

С них течет, как и с его плаща. Все встали.

5

Александра Ивановна. А мы не знали, что и думать про тебя. Гляди, уж пообедали.

Маккавеев *(про корзину)*. Пускай с нее стечет. Что ж вы все повскакали, я не архирей.

Анатолий. Сбираемся к отплытию, папаша.

Маккавеев обводит комнату глазами, и, следуя за его взглядом, Юрий тушит спиртовку, Анатолий собирает с пола клочки бумаги.

Это я, папа, насорил.

Александра Ивановна. Ты Машу смотришь? Она промокла, сушится наверху. Сонюшку искала, запропала с утра. И Унуса нигде нету.

Исайка. Виктор, а мы не опоздаем?

Виктор. У нас в запасе два часа сорок минут. Но надо еще прикинуть на плохую дорогу.

Маккавеев. Вот и сору в доме не будет. *(Жене.)* На, расстели мой брезент, чтоб просох.

Пыляев. Ты его ж огню, Адриан. Давай сюда.

(Замолкает от пристального маккавеевского взгляда.)
Я пройдусь, тебе с сыновьями проститься надо.
Маккавеев. Пройдись, ступай пройдись.

Пыляев уходит.

6

Маккавеев. Стемнело нынче быстро. (Включает свет.) Ну, развязывайте ваши сундуки. Саша, полотенце дай, мокрые. (И вот, стоя на коленях, он укладывает яблоки в чемоданы сыновей.) Придвинь корзину, Толя. Прояви силу.

Александра Ивановна. Для пирогов-то место оставь, не жадничай. Да куда ж ты яблоки-то, прямо на чистое белье!

Маккавеев. Сюда хватит, вяжи его. Следующий. Мешок приготовила бы, если не влезут.

Юрий (вполголоса). Виктор, помоги отцу.

Виктор. Чего ж ты гнешься перед нами, отец? Давай я!

Маккавеев уступает место. В молчании все работают.

Между делом Виктор выдернул ленту из кинемки.

(Анатолию.) Возьми картину подвигов твоих и не задирай рога перед миром, чемпион.

Анатолий уходит в сторону, на ходу разматывая ленту.

Маккавеев. Под книги-то подсунь. За пустое место тоже платить.

Виктор. Ремешок лопнет, папаш. Вынуть бы, куда их столько.

Александра Ивановна. Пожужешь на своей башне, лишний раз вспомнишь старика.

Маккавеев. Затягивай, затягивай. Остатки на базаре продашь. Ну, лошади заказаны.

Виктор. Отец, мы тебе хотели сообщить одно известие...

Маккавеев (раскинув руки). Ну, пронзи меня еще раз!

Александра Ивановна. Он уже все знает, мальчики.

Маккавеев ушёл к двери, смотрит через стекла.

Маккавеев. Что на свете-то делается. Дождь идет!.. Колесо по ступицу уходит. (*Обернулся.*) Ну, дайте я обниму вас напоследок, Маккавеевы.

Исайка. Анатолий!.. а то опоздаем.

Анатолий (*Виктору*). Зря я за тобой ухаживал. Ничего на этой ленте, кроме дырочек, и нету.

Виктор. Помолчи.

Маккавеев. Полетал, пора и заземляться... Мне уж, грешным делом, и подремать порой охота. Ничего, родина мне простит.

Юрий. В будущем году пораньше приедем, весной.

Маккавеев. На том-то свете, сказано, ни тревог, ни печалей. А я любил мои тревоги... одолевать и ломать их обожал. (*Глядит себе на руки.*) Какие! Темные руки-то. В жилах.

Виктор. Что ж, ты закопал их в землю, и вырос сад. Не плохо, отец.

Маккавеев. Мне хорошо, я сыт.

Александра Ивановна. Поцелуй их, Адриан, сынов-то! Какой-то еще будет ближний год. Может, и полезут!

Маккавеев. Что ты меня все войной пугаешь? Эти руки могут еще доставлять неприятность кое-кому. (*Юрию.*) Ну, лечи там своих малахоликов. (*Виктору.*) А ты строй. Людишки стоят, чтоб поработать для них в полную силу. (*Анатолию.*) Вот, опять смеется! Мотри, битого и на порог не пушу.

Исайка. Папа, я тоже еду, в починку.

Маккавеев (*целуя его одного*). И ты, слабый мой, меньший мой. Мать, а волосы-то у него мя-ягие, мои.

Юрий. Ну, время, Исай. Собирай свой багаж.

Александра Ивановна. У него и багаж-то — бельишко да васькина дрель. Витя, проводи Исай!

Братья уходят вверх. Виктор отводит Исай к каморке под лестницей.

Исайка (*через всю комнату*). Папа!

Маккавеев. Чего тебе, ходок?

Исайка. Как же ты один-то здесь станешь?

Маккавеев (*басом*). Буду на гитаре играть.

Александра Ивановна. Маша у нас остается, Алеша Отшельников побудет. Одевайся, иди!

Маккавеев. Обедать не накрывай, не стану. Кинь мне исайкин тулупчик. (*И, как в шутку когда-то, он закутывает себе ноги.*) Ну, что Матвей?.. нагляделась? Ты думала, он тебе в кармане молодость обратно принесет? Стыдно тебе?

Александра Ивановна. Горя не стыдятся. Его прячут.

Маккавеев. Позови его ко мне.

Александра Ивановна (*за дверь*). Матвей, иди. Зовет... Мне уйти или остаться?

Маккавеев. Поставь ему графинчик напоследок и уходи.

Александра Ивановна ставит на стол последнюю трапезу
Пыляева.

Вот и ладно. Закрой дверь поплотнее.

Она ушла. Из сада пришел Пыляев. Он трет руки.

Пыляев. Ветер поднялся, глаза текут.

Маккавеев молчит.

Плакал я нынче, Адриан. Пришел черед и Пылаеву.

Маккавеев. Это плохо. От этого глаза вянут. С чего же ты так?

Пыляев. Подвел итоги.

Маккавеев. А это хорошо. Налей себе, погрейся. Что все на дверь оглядываешься?

Пыляев. Ливень. Плохо, кого в поле застало. (*Наливает.*) Ишь, рука-то пляшет, как подстреленная. Не сердчай на меня, Адриан. Ты — как гора, а гору чем обидишь? У тебя (*широкий жест*) эвона, а у меня только палка, да и та из чужого плетня. Отгромахал Пылаев, и ни следа позади, как за мертвецом на воде. Как это вчера читали? Вот, затмилось. Стрекоза одна все прыгала, все резвилась, а на поверку... Горько сказать: ведь я даже горю твоему вчера позавидовал. Ничего, что я так длинно?

Маккавеев. Говори, говори! Как кончишь, так и выгоню.

Пыляев. И вот все я отбыл: любовь, славу, бегство. Мне только пятьдесят, а уж руки коченеют по утрам. Пора на гроб доски воровать. А ведь было, было, Адриан! Как добивали скоропадчину, не другого, а меня послали к немцам в тыл, на секретную работу...

Маккавеев. И целую неделю ты вел эту секретную работу у меня на дому.

Пыляев. Ну, значит, все тебе известно. *(В открытую.)* Выпьем тогда за солдатских жен, Маккавеев!

Исайка, уже одетый, вышел из своей каморки.

9

Исайка. Не пей с ним, папа. А вам пора уходить, Пыляев. Уж вечер.

Пыляев *(догадываясь о чем-то и потому медля с уходом)*. Да, я пойду. Кажется, и ливень перестал. Ну, спасибо за хлеб, Адриан. Старых калош у тебя не найдется? *(Надел пальто, взял палку из угла.)*

Исайка. Теперь можно и без калош. Торопитесь. Вас человек ждет у калитки.

Пыляев. Чушь, я один. Во всем мире один... Кто?

Исайка. Которого вы ждали здесь два дня. Он пришел.

Пыляева пугает чернота раскрытой двери.

Пыляев. Я, пожалуй, задним ходом пройду.

Ему навстречу вышла Александра Ивановна.

Александра Ивановна. Той дорогой тебе ближе будет, Матвей.

Пыляев. Лужи там... натекло.

Отшельников *(появляясь с террасы)*. Теперь уж не бойся насморка, Пыляев!

Внезапно Пыляев ударяет палкой по лампе. Свет тухнет. Падение тела и звон стекла. Слабое мерцание угольного тлена из печки пересекается мельканием проходящих ног, — люди, которые пришли с Отшельниковым. В темноте происходит кратковременная схватка. Несколько реплик, и все тихо.

Чирканье спички.

Отшельников. У меня спички отсырели. Александра Ивановна, есть у вас спички?

Александра Ивановна. Я в соседней комнате свет зажгу.

10

Квадратный сноп света падает из соседней комнаты. Видно, что, кроме Маккавеева, все переменили свои места. Скатерть на полу, стулья опрокинуты. Пылева уже нет. Исайка сидит на полу.

Александра Ивановна. Он ранил тебя, Исай?

Исайка. Нет. Я, когда бросил ему костыли под ноги, тоже равновесие потерял. Мама, все в порядке. Это нам только приснилось, мама. Помоги подняться.

Александра Ивановна. Ты дойдешь один?

Отшельников зажжет свечу, подбирает вещи с полу.

Я вернусь, приберу потом. Спасибо вам, Алеша, за все!

Отшельников. Я делал только то, что сделал бы на моем месте и Василий.

Александра Ивановна (*уходя*). Дети наверху. Подымитесь к ним.

Отшельников. Потом. (*Выглянув в раскрытую дверь*.) Ну, увезли Пылева!

11

Отшельников. Теперь здравствуйте, Адриан Тимофеевич. Погода отличная для сада.

Маккавеев. Чисто ты работаешь в жизни, Алексей. Я как-то сразу и не понял.

Отшельников (*прикрывая дверь*). Знаете теперь, зачем он приходил сюда?

Маккавеев (*шопотом*). У него сын здесь, Исай. Все мы ищем опоры в старости.

Отшельников. Не угадали, Адриан Тимофеевич.

Маккавеев. Ты думаешь, он за Сашей притащился?

Отшельников. Проще, в жизни всегда проще. Однажды этот человек испугался смерти и продал себя

за жизнь. Понятно? Вас здесь любят, верят вам. Вот он у вас и ждал хозяина своего... оттуда. И дождался.

Ма к к а в е е в. Мы простые люди, живем с открытым сердцем. А сын, а Саша, а ненависть его, Алеша? Чувству-то где-нибудь найдется местечко на этой свалке бесчестия и низости?

От ш е л ь н и к о в. У них — все игра и маска, а в глубине злоба и расчет. Хватит о них. Их много, нас больше. Спички вот отсырели. *(Идет к печке закурить. С угольком в пальцах.)* Их много, нас больше. Это Васька сказал перед отъездом. Он брился, когда я книги ему занес. Потом встал, и почему-то в тот раз он мне показался громадного роста.

Ма к к а в е е в. Он у меня роста хорошего. Грудница-то, помнишь?

От ш е л ь н и к о в. В Сочи, помнится, мы с ним возились на песке. Он клал меня на второй минуте.

Ма к к а в е е в. Как же он, Алеша... в рукопашную с водой-то? Этак и Васьки нехватит: с океаном в рукопашную. Дела-то своего он так и не выполнил?

От ш е л ь н и к о в. Об этом позаботятся. Василий не один у нас на флоте.

12

Ма ш а *(с лестницы)*. Я слышала ваш голос, Алексей. Что у вас темно?

От ш е л ь н и к о в. Лампочка упала и разбилась. Я вверну потом новую. Идите, совет сыновей заседает перед отъездом, вас зовут.

Ма к к а в е е в. Завтра доскажешь. Ежедень давай мне его помаленьку. Ступай к ней, ступай!

13

Он ушел. Маккавеев недвижим. Порыв ветра распахивает дверь. Листья с террасы скользят по полу. Вихрятся бумаги, колеблется пламя свечи.

Ма к к а в е е в *(один)*. Ну, войди, ближе, ближе... Васька. Дай мне твою минутку. Какой ты новенький весь, хороший. Лицо твое поцарапанное, мокрая рука. Э, все торопишься... ветер!

Порыв слабеет. Сверху спускается шествие сыновей. Они одеты по-дорожному. Отшельников и Маша позади. Александра Ивановна приходит в самом конце явления.

Юрий. Ты задремал, отец?

Виктор. Вертай, вертай назад. Он в саду возился, озяб.

Исайка. Он спит. Адриан всегда сидя спит.

Юрий. Я пойду прикрою дверь.

Маша. На, верни лампочку кстати.

Юрий спускается, ввинчивает лампу, заглянул в лицо отца.

Юрий. Научная медицина, отец, рекомендует закрывать глаза во время сна. Давай сюда, ребята!

Анатолий (Исайке). Садись на меня, паяльщик.

Виктор. Кто станет говорить?

Юрий. Я. Становись, отъезжающие.

Маша (Отшельникову). Становитесь и вы в ряд, седьмой сын!

Отшельников. Речь идет об отъезжающих, а я остаюсь, Воробей.

Юрий. Срочное сообщение, отец. В вечернем заседании совет сыновей постановил выразить тебе благодарность за гостеприимство. Туш!

Они изображают туш.

Виктор. Нет у тебя, братец, этого самого, информационного таланта. Пусти меня! (Подражая шипящему голосу радиодиктора.) И кроме того запятая если не встретится возражения запятая просить о разрешении остаться еще на три дня. Все, точка, точка.

Маккавеев. Мальчики мои!

Юрий. Теперь осторожно отнесем его в постель. Он еще не дободел.

Исайка. Больные должны лежать. Напротив, здоровые должны ходить.

Анатолий. Папаш, не сопротивляйся. Дай сюда ножку.

Маккавеев (легко обороняясь от протянутых к нему рук). Словхитились, нашли лекаря себе болванку.

Разве можно на одном человеке все порошки, какие есть, испытывать? Душу надо иметь! (*Жене.*) Саша, что ж ты меня не покормишь? Сижу час, сижу два, намекаю...

Александра Ивановна. Пойдем, я там тебе соберу. Какой подарок вы ему сделали, мальчишки!

Маккавеев. Погодите веселиться, я еще резолюцию не наложил. Сейчас совет родителей обсудит ваше постановление.

Они ушли.

15

Стрекопытов. Отъезжающим второй звонок. Везет молодым: погода проясняется, и звезды видать.

Маша. А Дусю где вы потеряли?

Дуся (*врываясь в дверь, которую Стрекопытов прижимал телом*). Я тут, тут.

Стрекопытов. Дусенька, люди торопятся. Надо, Дусенька, приличия соблюдать. Лошади поданы. Ну, боритесь там за нашу славу!

Дуся (*вручая мужу сверток*). Не урони... Виктор, я все простила. Так боялась, что не застаю вас. Слышали? Мир полон событий. Сонюшка с Иродом поженились. Виктор, вы не передумали?

Виктор. У меня слово твердое.

Стрекопытов. Не заманивай, не заманивай... все равно уж!

Дуся. Тогда вы будете мне писать, каждый раз не меньше четырех страниц и мелким почерком. Лучше на Александру Ивановну, а то лиса перехватит. (*Мужу про сверток.*) Платон, дай сюда. Это варенье. Будете ехать в вагоне и кушать. Китайские яблочки, малюсенькие, вот такие! (*И двумя сложенными пальчиками коснулась губ Виктора, прижатого в угол.*) Не стоит. Ложечка завернута в записку, внутри. Записку прочтете на ночь.

Стрекопытов. Так жалею, так жалею, опять останемся одни. Представьте на минуточку, такая вещь: дремучий лес, и вдруг луч солнца!

Анатолий. Могу тебя порадовать, певучий старик. Данный луч солнца остается у вас еще на три дня!

Дуся хлопает в ладоши. Стрекопытов роняет варенье.

Д у с я. Разиня, ты сердце моё уронил. Не огорчай-
тесъ, Виктор, я сварю другое.

Стрекопытов. А я-то им сенца свежего в подводу
положил.

Ю р и й. Внимание! Молодая пара идет.

16

У н у с и Ручкина под одним зонтиком, разряженные,
промокшие, торжественные. Букет обмявших цветов.
Все аплодируют.

Ручкина. Товарищи, не надо, не надо... я убегу.

М а ш а. Мы еще утром догадались. Уехали! А куда
уехали?.. И не одна? Браво, Сонюшка!

Ручкина. Перестаньте, Воробей. Глядите, на кого
мы похожи.

У н у с почтительно подхватывает падающие из ее рук вещи:
букет, перчатки, пальто.

Д у с я (*повисая на шее подруги*). Прощаю, все про-
щаю. И что скрывала, и платье новое не показала мне...
все! Сонюшка, у вас будут дети. И, по глазам вижу,
много. Но, ради бога, не увлекайся, береги линии!

Ручкина. О таких вещах вслух... Дуся! Надо же
такт иметь.

Д у с я. Ты хочешь сказать, что я бестактная?

Ручкина. Да скажите же им что-нибудь, Ирод!

У н у с. Мы... мы постараемся оправдать доверие
друзей.

Ручкина. Поддержите, Адриан Тимофеевич: со
стыда горим!

17

М а к к а в е е в. Занимаетесь разными пустяками, а...
(*Стрекопытову*.) Яблоки бойцам на учения отправили?

Стрекопытов. Завтра утром отправляем, Адриан
Тимофеевич.

М а к к а в е е в. Вот, вот, карусель... Опять он у меня,
Платон... снисхождение...

Голоса всех. Александра Ивановна, Александра Ивановна... Мама! Скорее, требуется срочный перевод!

Александра Ивановна. Перестань уж, в такой день. Садитесь, в этом доме нынче поят чаем. Витя, самоварчик с кухни!

Виктор ушел, все рассаживаются за столом.

18

Юрий. Интересно, чья ж теперь следующая свадьба? Маша. Брось свои шуточки, Юрий. Скучно.

Анатолий. Поскольку я остаюсь, а к матчу мне готовиться не с кем... Может быть, ты со мною... Алексей? Отшельников. Я к твоим услугам, Анатолий.

19

Виктор с самоваром.

Александра Ивановна (*Ручкиной*). Как же вы надумали-то? Столько лет тянули, и вдруг на, в одно утро.

Ручкина. Это ужасно... но он меня украл.

Дуся. Господи, как людям везет. Ну, расскажи скорее!

Ручкина. Ирод, скажите им, как вам это в голову пришло.

Голоса всех. Внимание!.. Просим... Рассказывайте ваши секреты!

Унус. Если начинать последовательно, то мысль об этом содержалась во мне уже давно. Но в позапрошлом году на совещании в районе я слушал доклад старшего агронома.

Маккавеев. Это Афанасия, что ли? Вот балда!

Унус. Да, это ужасно смешно. Вы помните, как он поставил раздел о гибридизации плодовых деревьев? Я еще сказал ему тогда: я прошу вашего великодушного извинения... не считайте, что я хочу оскорбить вас, но до некоторой степени я имею смелость считать вас чудаком. И напомнил ему, — ха-ха, — как много лет назад, когда почтенный Шредер скрещивал свою крупноплодную китайку, пирус прунифолия, с обычными садовыми сортами...

Стрекопытов. Вы не в те ворота попали, Ирод Антонович!

Все смеются.

У н у с. Что вы имеете в виду сказать?

Д у с я (*мужу*). Вот перебиваешь, а сам всегда молчишь, такая вещь. Ну, скажи и ты что-нибудь выдающееся!

Р у ч к и н а (*Унусу*). Сядьте уж, оратор здешних мест.

А л е к с а н д р а И в а н о в н а (*жестом призывает всех к молчанию*). Кого вам надо?

20

Это деревенский письмоносец. Каплет вода с его бедного клеенчатого плаща. Он долго ищет в сумке.

П и с ь м о н о с е ц. Телеграмма-молонья. Тут она, в подкладке забила. Ходил-ходил, мгла така стоит, прямо зима!

О т ш е л ь н и к о в (*покидая стол*). Простите, друзья. Это, наверно, мне.

П и с ь м о н о с е ц. Эва, подмокла моя молонья-то. Не вижу на свету, как сова. Постой, вот: Отшельников Алексей.

О т ш е л ь н и к о в. Давайте. (*Расписываясь в получении.*) Чего же вы смеетесь, товарищ?

П и с ь м о н о с е ц (*улыбаясь восхищенно*). А как же, куда ни приду, везде Алексей. И сам я тоже Алексей.

О т ш е л ь н и к о в (*протягивая ему папиросы*). Ну, закуривай тогда, если Алексей.

П и с ь м о н о с е ц. Мы уж свово. Не шшипает, поди, твой табак. Читай, может, я тебе плохого привез. Чего в этой сумке не бывает!

О т ш е л ь н и к о в (*прочел и весь прямеет при этом. В чем-то это уже совсем другой человек*). Нет, на этот раз хорошее. Маша, найдется у вас расписание поездов?

Все выходят из-за стола. Маша роется в конторке, второпях выкидывая какие-то бумаги.

А л е к с а н д р а И в а н о в н а. У вас же отпуск, Алешенька.

Отшельников. Видите, какой я: не могут без меня. Маша, поторопитесь. (*Письмоносцу.*) Не заметили, лошади еще тут?

Стрекопытов. Про лошадей-то я и позабыл, такая вещь.

Письмоносец (*заклеивая цыгарку*). Фырчат там. Не видать, кто фырчит. Граждане фырчать не станут.

Маша подала наконец расписание.

Отшельников. Где тут ваша ветка? Так, двадцать два сорок! (*Справился с часами.*) Маловато. А если не попаду? Час тридцать две. Нет, уж лучше буду спешить. (*Одевается.*)

Александра Ивановна. Чай-то допейте, Алешенька.

Отшельников. Вы его не убирайте. В следующий раз допью. Вот подгребу к вам на будущий год.

Ручкина. Положите пирожков в карман, пожуете в дороге. (*Кстати она протянула блюдо и письмоносцу.*) Угощайся, дедушка!

Письмоносец (*подбирая кончиками пальцев четыре*). Для деток!.. О прошлый месяц в одночасье и внук и сын у меня родились. Во какой я дедушка!

Отшельников. Ну, спасибо хозяевам за ласку. Постараюсь заслужить.

Маккавеев. Значит, по васькиному следу, Алеша?

Маккавеев взял его голову в руки, и, пока смотрит ему в глаза, Юрий успевает сказать сестре.

Юрий. Маша, не грызи ногтей.

Маккавеев (*отпуская Отшельникова, про глаза*). Веселые.

Отшельников. Общий привет всем — инженерам, садовникам, врачам... (*Анатолию.*) Не забывайте о нижней защите прессы. Маша!

Маша (*сдержанно*). Я провожу вас до подводы.

Исайка (*Отшельникову*). Встретимся еще в мире-то, Алексей!

Отшельников уходит. Маша бежит за ним, схватив тарелку и роняя яблоки по дороге.

А лекс ан дра И ва но в на. Воробей, накинь что-нибудь на плечи-то. Простынешь, Маша!

Ручки на. Не трогайте уж вы ее теперь.

Она прикрывает дверь и сама становится как бы на страже.

Стрекопытов. Вот и все. Будто ничего и не было. Такая вещь.

Дуся (тихо). Как она любить его будет, когда он вернется. Какое солнце будет ей светить в эту ночь...

Унус (у окна). Повидимому, луна восходит.

Неслышно входит Маша. Туфли ее в грязи, волосы мокры, кофточка прилипла к плечам. Раскинув руки, держась за рамку двери, она стоит с закрытыми глазами.

Маша. Тума-ан какой!.. Что же вы все замолкли? Я хочу, чтоб было весело сегодня. Мой день, мой день. Мальчики... где же ваша музыка, мальчики?!

ВОЛК
(БЕГСТВО САНДУКОВА)
ПЬЕСА В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Рошин Григорий Иванович, ответственный работник.
Аграфена, его мать.
Настя, его дочь.
Ксения, его жена.
Лаврентий Сандуков, отец Ксении.
Лука Сандуков, ее брат.
Елена, ее подруга, живет в доме Рошиных.
Остаев Андрей Павлович, жених Насти.
Дарья Никитишна, его мать.
Фома Кукуев, его дядя.
Магдалинин Василий Самсонович, юриконсульт у
Рошина.
Три настиных подруги и один молодой человек.

Действие происходит на периферии.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Столовая в квартире у Рошина, обставленная замысловатой мебелью из распределителя, Буфет с дверцами гнутого стекла, кресла с резными спинками в виде гирлянд из крылышек и детских личиков, — часть уже в чехлах. На круглом столе расписная ваза местной продукции. На стене мазия в раме, изображающая не то пожар в лесу, не то лесной закат зимою. У дивана в углу детская игрушечная колясочка. В окнах сквозь тюлевые занавески все крыши попеременно с зеленью, крыши да чердаки. Направо — дверь в прихожую, прямо — стеклянная, за которой анфилада опрятных, просторных комнат.

Стоя на коленях и с ножницами, Елена кроит чехол на очередное кресло.

С полотенцем на плече, без френча и с бритвой выходит Рошин.

1

Рошин. Иод у нас в доме есть?

Елена. Ой, да глубоко как! Надо одеколоном промыть.

Она ищет везде склянку с одеколоном.

Рошин. Все чехлы шьешь?

Елена. Ксения приказала. Ангелочки, вишь, ей не понравились.

Рошин. Такие, как ты, у меня с районом справляются, а ты — чехлы. Курсы кончишь, я тебя на место устрою. Правь, пей жизнь крупными глотками.

Елена молча промывает ранку.

Ну, хватит, хватит. Чего глаза прячешь, плакала?

Е л е н а. Куда же вы с бритвой-то, Григорий Иванович?
Р о щ и н. В глаза тебе хотел заглянуть.

А гра ф е н а, мать, приносит на буфет мытую посуду.

Отдохнули бы вы, Еленочка. Ночь — за книгой, днем — шитье...

А гра ф е н а ушла.

Е л е н а. Ну, от ее глаз не спрячешься. Матери до дна морского видят. (*Нечаянно.*) Господи, как воры, как воры, мы с тобою... Кто я, кто я в этом доме!

Р о щ и н. Ты меня совсем разлюбила. Уж месяц не была.

Е л е н а (*отступая*). Григорий Иванович, полон дом людей. Настя вернулась, у вас человек в кабинете сидит... (*Она снова принимается за чехлы.*)

Р о щ и н. Все Луку ждешь. А что твой Лука? Туман, искатель, выдумщик.

Застегивая портфель и со шляпой выходит О с т а е в.

2

О с т а е в. Я пробовал написать, Григорий Иванович, но у меня не выходит. Я вам завтра принесу.

Р о щ и н. Что, заявление об уходе? Согласен. (*Очень сухо.*) Вчера, на подкомиссии, вы потрудились заявить, что нашей молодежи полезнее проводить время на футбольном поле, чем на этих прокуренных заседаниях. Вы что, футболист?

О с т а е в. Я врач. И я сказал не совсем так, но... Вы находите мою мысль неправильной?

Р о щ и н. Для футболиста — правильная. Зачем вы ко всему придираетесь? (*Примирительно.*) На институте-то вы остаетесь?

О с т а е в. Я ухожу только с референтуры.

Пауза.

Кстати, это вам Магдалинин на меня донес?

Р о щ и н (*гневно*). Человек ученый, вы должны выбирать выражения.

О с т а е в. Я потому и стараюсь выражаться точнее.

Рощин. Я знаю Магдалинина девять лет, вас — пол-года. И мы уже ссоримся.

Остаев. Предпочитаете тихих?

Рощин. Вы... вы у меня...

Елена (*спокойно и твердо*). Собирались уезжать, Григорий Иванович... Не опоздаете?

Рощин. Заявление ваше заранее принимаю. (*Снова смягчаясь.*) Я сейчас еду. Могу вас подкинуть.

Остаев. Спасибо, мне в другую сторону.

Остаев кланяется и уходит. Аграфена сторонится в дверях.

3

Рощин. Вот, черт, какой упорный: не согнешь. И кричит, кричит к тому же!

Аграфена. Это ты, Гриша, на него кричал.

Рощин. Письмо я неприятное получил. Крикните, когда машина придет. (*Он ушел.*)

4

Аграфена. Не гостит у нас радость на дому. Сам в работе до ночи. Ты все молчишь. Ксения... В колхозе, поди, уж коров подоили, а она еще не обедавши. Щи выкипели, а я все дрова подкладаю да подкладаю.

Елена (*держа булавки во рту*). У нее, бабушка, генеральная репетиция сегодня.

Аграфена. Как, как ты сказала?

Пауза.

Опять молчишь, а ночью плакала. На кухню воду бегала пить.

Елена. Мне Лука плохо приснился, бабушка.

Аграфена (*присаживаясь возле, с видом разгадчика снов*). А как, а? Ну-кошь!

Елена молчит, занятая делом. Настя вошла и стала у двери с цветами в опущенной руке.

И поговорить-то мне не с кем. Ходишь-ходишь, до чумоты! Ведь до чего намедни дошла: с рукомойником заговорила. И внучка тоже. Другая бы утешила бабуку...

5

Н а с т я. Не ворчи, бабушка. (*Про цветы.*) Нà тебе венчик, нюхай. И дай мне черного хлеба со смородиновым вареньем.

А г р а ф е н а (*намазывая варенье на хлеб*). Даве вахтер зовет: «Гляньте, говорит, обожаемая старушка, как ваша внучка вверх тормашками загибается!» Каково старухе-то слушать!.. Летала?

Н а с т я. Ну, летала. Ой, Еленочка, что было! Ветром меня на луг понесло. Чуть птицу свою не поломала. Одува-анчиков!.. Вот кстати и нарвала.

Она ест. Усевшись напротив, Аграфена касается ее колена.

А г р а ф е н а. В деревне у нас, я еще Гришкой ходила, заладила одна, молодка этак-то, лятать. Другие хороводы водят либо с мужьями спят, а она лягает, оглашенная, да лягает. Тут ее мужики в колья и взяли. А бабочка-то ровная, гладкая, вот вроде Ленки.

Н а с т я. Так ведь она на помеле летала, а я на планере. На помеле и теперь не разрешается.

Аграфена обиженно отошла.

Остаев у отца сидит?

Е л е н а. Ушел давно.

Н а с т я. Что ж молчишь?.. Ну, как они?

Е л е н а. Поругались.

Н а с т я. Вот, всегда он так. Пришел о свадьбе говорить, а получилось наоборот. Что делать-то теперь?

А г р а ф е н а. А то — как Гришку я в ремесленное училище определила — жила я, вдовая-то, у адвоката одного, в кухарках. Краса-авец, сукин сын, борода махром. Швейку одну, я с ее сестрой водилась, с первого взгляду и обольстил. Так она, несчастная, с шестого этажа и рухнись!

Н а с т я. Никак ты это про меня, бабушка?

А г р а ф е н а. Я на то упираю, что долетаешься.

Н а с т я. А я повторяю: на планере не опасно. На самолете — другое дело. Там — мотор, крылья, бензин.

А г р а ф е н а. К тому и веду, что не в бензине дело, а в высоте.

Н а с т я. Бабушка, ну дай же мне с Еленочкой поговорить!

А г р а ф е н а. И чего я к вам из колхоза приехала! Месяца не доживу, уеду. Рукомойник, где ты, батюшка? *(Тоненько, отвечая самой себе)*. Кап-кап-кап. Иду, иду, касатик, иду! *(Ушла на кухню)*.

6

Н а с т я. Хорошая старуха!.. Хочет на свадьбе моей плясать. А твоя когда, Еленочка?

Елена молчит.

Пишет тебе Лука?

Е л е н а. С полюса-то? Почтовый ящик, говорят, некуда там приколотить. Только телеграммы с оказией шлет: «Жди меня да жди». Я и жду, дура.

Н а с т я. Значит, любишь, если ждешь.

Е л е н а. На три года с меня обещанье взял: ждать. Два дня еще мне любить его осталось.

Н а с т я. А что же через два-то дня?

Е л е н а. О, не печалься. Далеко не уеду. Где-нибудь рядом поселюсь.

Пауза.

Н а с т я. Люблю на руки твои глядеть. Все умеют. И тела у тебя много, и оно хорошее. Ему бы рожать, по борозде ходить после дождя, чтобы след на земле оставался.

Е л е н а. Хвали меня, хвали. Я люблю, когда меня хвалят.

Н а с т я. Я в тебе то хвалю, чего в самой нету.

Е л е н а *(лаская ее)*. Ты умница, только заметалась зря. Летаешь, а науку забросила. В летчики собралась?

Н а с т я. Не знаю. Летчику хорошо. Лица его там никто не видит — красивый он или нет, — а только дерзость их, волю, выдержку. Я и твоей выдержке удивляюсь. Тебя

Ксения каждый день норовит обидеть, а ты... И только солнышко на поверхности играет.

Елена. Мы девчонками вместе росли. Приютила меня. Я спокойная.

Настя. Лука, говорят, за спокойствие в тебя и влюбился.

Елена. У самого-то нет покоя, оттого. На заводе работал — разонравилось, ушел. На железной дороге устроился — повздорил, году не высидел. Теперь на зимовку фантазия приспичила. Любовь, говорит, временем надо поверять. Скачет-скачет!..

Гудок под окном. Елена кидается к окну, потом стоит с закрытыми глазами и держась за сердце.

Ксения вернулась... (*И уже совсем спокойно, приоткрыв дверь.*) Григорий Иванович, машина за вами пришла.

Настя. Чего же ты напугалась, Еленочка?

Елена. Это еще с ночи у меня. Ветер-то! Ночью, думала, и дом завалит. (*Тихо.*) Весна...

7

Быстро вошла Ксения, за нею Аграфена, которой та на ходу отдает вещи: перчатки, шляпу, пальто.

Ксения. Приедет Магдалинин с покупками, задержите. Чаем напоить. (*У зеркала.*) Боже, как лицо от грима горит... Еленочка, мне ванну горячую. Побыстрей!

Аграфена. Дрова-то у нас, Ксюша, на исходе.

Ксения. Позвоните, не поленитесь, вам рошу приволокут. (*Елене про чехлы.*) Очень мило получается. Потом обошьешь красной тесемкой по канту. Ужасная мебель, поповская. Чего улыбаетесь, бабушка?

Аграфена. Ни еда, ни добро, ништо в прок тебе не идет.

Елена (*сдержанно*). Видно, по табуреткам соскучилась.

Ксения. Умерь свой блеск, Елена. (*Насте.*) Как жила?

Настя. Спасибо.

Ксения (*тронув ее за подбородок*). Бледненькая.

Настя (*резко отпихивая ее руку*). Не трогай меня, Ксения, за лицо. Не хочу.

К с е н и я. ...и нос блестит. Отчего нос блестит? Есть у тебя пудреница? Напомни, я тебе подарю.

Она уже уходит, когда, одетый в дорогу, появляется Р о щ и н.

8

К с е н и я. В семь я звонила, тебя еще не было. Опять едешь на всю ночь?

Р о щ и н. Да, надо слетать в район.

К с е н и я. Завтра на дачу едешь?

Р о щ и н. Неизвестно.

К с е н и я. Bravo, строим прочную советскую семью. *(Она смеется и так же неожиданно умолкает.)* После завтра тебе надо быть на премьере. Они тебе речи заготовили.

Р о щ и н. У меня сев, Ксения. Не выполняем планов. Овсы запоздали в трех районах.

К с е н и я. Планы, планы... Все толкуют о планах! По плану тебе обещали новую машину к осени. Уж май, а корыто все то же.

Все осудительно молчат, она оборвалась в смущении. Потом заметила детскую колясочку. Слишком поздно Аграфена пытается унести ее.

Кто ее вытащил сюда? Я же всех просила не ходить в детскую.

А г р а ф е н а *(виновато)*. Девочка вахтёрова, хроменькая, пошту приносила. Я и дала ей поиграть, — попусту добро пылится.

К с е н и я. Можно вас просить, Аграфена Петровна, не вмешиваться в мою личную жизнь?

Р о щ и н. Садись уж, пообедай. Добрей станешь.

Ксения уходит. Аграфена понуро плетется вслед.

А г р а ф е н а. Кап-кап-кап!

9

Р о щ и н. Чего смотришь, дочка? *(Кивая на дверь, куда ушла Ксения.)* Понравился тебе спектакль?

Н а с т я. Ты поезжай, поезжай, опоздаешь.

Задетый ее улыбкой, Рошин кинул фуражку на стул, медленно идет к дочери.

Р о щ и н. С игрою дочка, узнаю. Ну, здравствуй, Настасья Григорьевна!

Н а с т я (*шутливо*). Здравствуй, Григорий Иванович!

Р о щ и н (*про царапину на щеке*). Где это ты напоролась?.. Планер?

Н а с т я. О, спохватился, — уж зажило.

Р о щ и н. А я все мотаюсь. Овес, кирпич, лен, вагоны... Людей нету, Настасья, подрастай!

Н а с т я. Ну, в такой-то стране? Шу-тишь, Григорий Иванович. Мало по улицам ходишь.

Р о щ и н. Вострая, узнаю. Как у тебя на научном фронте? Сколько семью семь будет? То-то... (*Посмотрев на часы.*) Ну, рад, что у тебя все в порядке.

Н а с т я. Раз ты думаешь так, значит все в порядке.

Р о щ и н. А что, больна? Врачей позвать, для этого существует аспирин... Что?

Н а с т я. Ты за делами иногда не видишь жизни, Григорий Иванович. Вернее, видишь в ней то, что тебе приятно видеть.

Р о щ и н. Ну, это ты загнула. Я же самая ось колеса!

Е л е н а. А случилось вам, Григорий Иванович, людям в глаза взглянуть, до донышка? И чтоб люди не моргнули при этом?

Н а с т я. Сделай опыт. (*Приблизив к нему свое лицо.*) Ну, что ты видишь?

Р о щ и н. Вижу глаза. Ясные, нормальные, в мать. Из всех ивановских ткачих она у меня самая востроглазая была.

Е л е н а. Дочь-то замуж выходит.

Рошина это известие застаёт врасплох, он не верит, машет рукой.

Н а с т я (*повернувшись уходить*). Ну... я задержала тебя, Григорий Иванович. Заезжай на свадьбу-то!

Р о щ и н. Постой... ты же все время девочкой была. Я тебя помню на каруселях в Суздале. Еще бантик-то у тебя сорвался...

Н а с т я. О, уже и бантику тому восемь лет. Не тужи, Григорий Иванович, я тебе объясню. Дай ухо... (*Шопотом.*) Я выросла!

Елена уходит.

Р о щ и н. Еленочка, вы куда?

Е л е н а. Ванну Ксении нужно затопить.

Р о щ и н. Позвоните кстати секретарю. Задержусь на полчаса. Ждать.

Елена ушла.

10

Р о щ и н. Кого же ты себе выбрала? Ну, по секрету!

Н а с т я. Угадай.

Р о щ и н. А я его знаю, видал его?

Н а с т я. О, много раз. Он бывал у тебя с докладом.

Р о щ и н. Кто же там у нас из холостых? Коняев... так это же бревно. Алексей Трофимович если... но он же харя и подхалим. Как там у поэта сказано: прислуживаться рад, но подскажите как!

Н а с т я. Дальше! Ты же ось, все спицы знаешь.

Рощин в раздумье смотрит на руки.

Ага, дело дочери коснулось, Рощин!

Р о щ и н. Что же он представляет из себя?.. член партии?

Н а с т я. Тебе нужна его анкета? Но там же не сказано — глупый он или умный, честный или дрянь, красивый или нет.

Р о щ и н (*с любопытством*). А твой, красивый он?

Н а с т я (*оглянувшись, раздельно*). Я люблю его... больше тебя, папа.

Р о щ и н (*прижав ее к себе и заглядывая в глаза*). Ну-у? Хвастаешься, поди. А умный?

Н а с т я. Я тебе все о нем сказала. Я люблю его.

Рощин ходит по комнате. Все ему представляется новым.
А уже сумерки.

Р о щ и н. Вот! А у меня еще нынче доклад, потом ускоренный выпуск на курсах, еще что-то было...

К с е н и я (*зажигая свет*). Ты еще не уехал?

Р о щ и н. Представь себе, дочь-то замуж выходит. Пригодятся твои игрушки. А ну, мать, Еленочка... кто там? Дайте бутылку вина из тех, подарочных! Такое у меня не часто бывает.

Ксения достает из буфета. В полном молчании Рошин открывает старую черную бутылку.

А г р а ф е н е, которая внесла тарелку шей для Ксении.

И ты, мать, выпей с нами кисленького за внучку! (*Насте*.) Да ничего, ничего, чашки давай.

Все становятся в молчании вокруг стола. Рошин разливает вино.

Стойте, дайте сообразить... Смысл-то в этом какой?

Е л е н а. Я ванну затопила. Ты бы шла, Ксения, а то дров нехватит.

К с е н и я. Бери чашку и молчи.

Р о щ и н. Итак... третье поколение стучится в жизнь. Мы отвечаем: просим, детки, просим. Входите, дом для вас построен. Кто же мы сами-то, строители? Кто ты, мать? Кухарка. О тебе Ленин писал, когда тебя не считали даже за человека. А я ткач, сын кухарки. А Ксения — писарева дочь... Э, не то я говорю! Главное, что жизнь в цвету. И как бы еще цвела, кабы черви ее цвету не точили...

Н а с т я. Григорий, уж вся пена осела.

Р о щ и н. Буду пить это за всех дочек, которые станут рожать нас, завтрашних. Пей, мать! Это дорогое вино. Твой адвокат такого не нюхал. Пей, мать! (*Выпил*.) Хорошо, начерно.

А г р а ф е н а (*вытерев руки о передник*). Ну, со счастьем, родимые. Никого не хоронить, никого, кроме меня, старухи, не провожать, ни с кем не разлучаться! (*Ставя чашку на стол*.) Кислое, за что только деньги берут.

К с е н и я (*Насте*). Когда же ты нам покажешь своего жениха?

А гра ф е н а. Сёмью бы его повидать. Тут уж не утаишь. Вы меня на сёмью-то напустите.

Е л е н а. Завтра день рождения Настеньки. Вот и позвать бы к обеду.

К с е н и я (*взглянув на нее мельком*). Тебе иногда хорошие мысли приходят. Пускай завтра на дачу приезжают. Справитесь с обедом, Аграфена Петровна?

А гра ф е н а. Посуды бы хватило. Много их там, родни-то?

Н а с т я. Я не видала их ни разу. Он как будто стесняется их немножко.

Пауза.

Р о щ и н. А теперь спросим главное. Ну-ка, поди сюда, Настя!

Н а с т я. Все равно, уж поздно, старик. Дедушка из тебя получится отличный!

Она подходит, танцуя. Рошин кладет ей руки на плечи.

Р о щ и н. Ты меня так учила?.. чтоб до донышка?.. Ну... а он-то любит тебя?

Настя молчит.

Не таись, дочка!

Н а с т я (*снимая с плеч его руки*). Мне это... неинтересно. Мне важно, что я сама люблю.

Р о щ и н. Значит, любит?

Н а с т я. Не порть мне торжества, Григорий.

Она отошла. Он идет за нею. Тихо.

Хочешь сказать, что некрасивая я? Я сама этого никогда не забываю. (*Движением плеча стряхивая с себя руку*.) Пусти-и, папа!

К с е н и я. Женится — значит любит. Настя отлично делает. И другим посоветовала бы: замуж, да поскорей. (*Елене.*) Я про тебя, про тебя. Чего Луку упустила? Я ли вас не сватала?

А гра ф е н а (*с тоской и громко вздохнув*). О-осподи!.. Щи-то ешь, Ксюша. Простыли, щи-то.

К с е н и я. Я щ и не буду. Дайте мне молока. *(Елене.)*
Кажется, и Лука нравился тебе.

Н а с т я *(чтоб перебить этот разговор)*. Ксения, ты не забудь лекарство-то принять.

Аграфена уже пристроилась сбоку с пузырьком и рюмкой.
Все стоят, кроме Ксении.

К с е н и я. Упустила, вот и осталась на бобах.

Р о щ и н *(окриком)*. Ксения!..

Е л е н а. Я же не виновата, что твой брат... исчез от меня... за день до свадьбы. Ведь помнишь, весь город надо мной смеялся. Хорошо еще, что мы оттуда уехали.

К с е н и я. Ты могла и удержать Луку.

Е л е н а. Чем, Ксения, чем... могла я его удержать?
Ничего у меня больше нету. Чем?..

К с е н и я. Надо уметь, женщина!

И опять, заметив недоброе молчание всех, смутилась. Она торопливо идет к Елене, которая с закушенными губами стоит в нише окна.

Ну, не сердись. Пойми, что я права. *(Дергая ее за рукав.)*
Посмотри, как ты ходишь. Кому ты нужна, такая!

Е л е н а. Будут деньги, сошью себе.

К с е н и я. Возьми у меня старенькое какое-нибудь, перешей. Я же даром даю. Какая ты обидчивая стала!

Р о щ и н. А злая ты, Ксения. С того и сохнешь.

Пауза.

Вот почему я спросил тебя, Настя. Письмо я получил... без марки, без смысла, без подписи. *(Достал и развернул его.)* Тут сперва чепуховина. Тоже, Иезекииль нашелся! *(Читает вполголоса)*. «Утомился от сладкой лжи язык мой и жаждет в последок дней коснуться пламени правды. Уже природа тянет руку за моим телесным составом, гаснет жизни жар, и любопытство меня томит испробовать холод ночи». Чорт, нарочно не придумаешь! И тут клякса. *(Разбирая с трудом.)* «Тайный благожелатель ваш упреждает: человека бойтесь, с дружбою приходящего в дом...» Ну-ка, читай сама, дочка!

Н а с т я *(медленно, через плечо отца)*. «Туча идет на тебя, видом, как рысь... С нее содрали шкуру. Ей и

больно, и обидно, и холодно...» Глупости какие. Про кого же это?

Рощин (*свертывая письмо.*) Ничего не имею прибавить тебе, дочка.

13

С середины письма в дверях показывается Магдалинин со свертками. Ксения поднялась было ему навстречу, — Магдалинин остановил ее, приложив палец к губам.

Ксения. Григорий, прервем на минутку. Василий Самсонович приехал.

Магдалинин. Продолжайте, продолжайте. Я только свой сверточек выберу — и назад. (*Он сконфужен общим вниманием.*) Малость запоздал я, Ксения Лаврентьевна. (*Рощину.*) Решил все-таки показаться на торжественном заседании...

Рощин. А, техникум! Кончили они там?

Магдалинин. Резолюцию принимают. Пороховая молодежь. Трясутся, сотрясаются стены древнего Иерихона! (*Насте.*) К вам разговор! Целая Илиада в областном масштабе. Колхозник выиграл планер по лотерее. Деньгами остерегся получить: «Вещь, говорит, мне интереснее, а денег у меня и из трудодней хватит!» Ну, ему и доставили махину. Приковал к дереву, а она рвется с цепи-то, летать хочет...

Все смеются скорее на Магдалинина и его добродушные ужимки, чем на самый рассказ.

Продается. Торопитесь, пока куры не засидели.

Настя (*загораясь*). Дорого?

Магдалинин. Двухместный, буксировочный. Э, покопаться надо, найдем статью. Григорий Иванович поддержит в порядке шефства.

Настя. Нет, это неудобно. Я его дочь... а в кружке нашем всего четверо, и я же председатель.

Магдалинин. Коснись меня... да я бы для такой красавицы...

Настя (*в упор и очень резко*). Имейте в виду, Магдалинин: когда мне говорят что-нибудь чересчур приятное, я всегда соображаю — *почему* мне это говорят.

Неловкое молчание.

Р о щ и н. Сдерживай себя, Настя.

К с е н и я. У нее вырабатывается ужасный стиль. Извините ее, Василий Самсонович.

М а г д а л и н и н. Я не сержусь на вас, милая девочка.

14

Е л е н а. Звонит секретарь. Прибыл фельдъегерь с именным пакетом, литер «К». Что сказать?

Р о щ и н (*взглянув на часы*). Еду.

Н а с т я. Я провожу тебя. Подожди, я только оденусь. (*Она убежала.*)

15

К с е н и я. Замуж выходит, понятное волнение.

М а г д а л и н и н. Хорошего темпа девочка. У меня тоже дочь, замужем за моряком. Сегодня телеграмму получил с Дальнего Востока: неудачные роды. (*Отвернулся, посморкался в старомодный цветной платок.*) Может, и меня подбросите до площади?

К с е н и я. Без чаю вас не отпущу. Елена... Аграфена Петровна!.. (*Молчание. Мужу.*) Задержи Василия Самсоновича. Я только чайник поставлю. (*Она ушла.*)

16

Р о щ и н. Конечно, оставайтесь. Куда вам спешить!

М а г д а л и н и н. Действительно, торопиться мне теперь некуда.

Р о щ и н (*глядя в сторону*). Мы очень благодарны вам, Василий Самсонович. Вы во-время подали сигнал.

Магдалинин вопросительно смотрит на Рошина.

Я насчет Цирульникова. Он уже признался во всем.

М а г д а л и н и н. В меру моих сил, Григорий Иванович. (*Неохотно.*) Надеюсь, вы охраните мою старость, если... если он вывернется.

Р о щ и н. Думаю, вам не потребуется наша помощь. Страшное дело...

Пауза.

Магдалинин. Есть еще один на примете.

Рошин молчит.

Остаев!

Рошин молчит.

Мы не знаем, как выглядит завтрашний Остаев!

Рошин (*разочарованно*). Ну, этого недостаточно. Значит, еще не созрело. (*Елене, которая ждет окончания фразы.*) Вы что, Еленочка?

17

Елена (*сухо*). Настя по черной лестнице побежала. Машина во дворе ждет.

Рошин. Не прощаюсь, Василий Самсонович. Вы еще заедете на работу?

Магдалинин кланяется.

Елена (*подойдя вплотную к Рошину и касаясь его руки*). Одевайтесь потеплее, ветрено в поле.

Рошин (*тоже вполголоса*). Заприте за мною дверь, Елена.

Они уходят.

18

Магдалинин один, развернул телеграмму, лицо его сморщилось; это горе. Он принимается разбирать свертки. Дверь за его спиной раскрылась. Магдалинин не видит, что это Настя.

Она смущена и молчит, тербит сумочку.

Магдалинин. Будете вы меня бранить, Ксения Лаврентьевна. В нашем магазине появилась лаковая мужская обувь. И неплохая. Григорий Иванович сорок третий номер носит? (*Он оборачивается с ботинками в руках, он удивлен, он прячет ботинки за спину.*)

Настя, виновато улыбаясь, идет к нему навстречу.

Настя. Так ведь он в сапогах ходит, отец. Хорош бы он был на колхозном совещанье в лакированных штиблетах! (*Кончиком пальца она робко касается руки Магда-*

линина.) У меня давеча нехорошо получилось. Я не знала про вашу горе. У вас умерла дочь?..

Магдалинин (*суеверно выставив руки*). Она еще жива, она еще жива... (*Справившись с собой*.) Уж нашептал вам Григорий Иванович! Ничего, девочка, ничего. У меня еще кот остался. Мы уж как-нибудь с ним, старички. Идите, Григорию Ивановичу спешить надо.

Настя. Завтра день моего рождения. Будут свои. Приезжайте к нам на дачу.

Пауза.

(*Совсем по-ребячьи и всхлипнув*.) Ну, извините! (*Она убежала*.)

19

Ксения. Что с вами делается, Василий Самсонович?

Магдалинин (*тычась с ботинками*). Да вот, Рошину захватил, и недорогие... А он, оказывается, не носит лаковых-то.

Ксения. Бросьте куда-нибудь, пригодятся. У меня тоже настроение неважное, Магдалинин. Всех сегодня перекусала.

Магдалинин. Майские ветры, артистическая натура... Одно к одному!

Ксения. Мне дали дублершу в пьесе. Вчера я видела ее в своей роли и разревелась.

Магдалинин. Так плохо?

Ксения. В том и дело, что хорошо. Как эту роль Ксения Рошина станет после нее играть!

Магдалинин. Дорогая, откажитесь от дублерши!

Ксения. Я сама ее потребовала. Не могу же я играть каждый день. А я занята везде.

Магдалинин (*припоминая*). Я ее видал, эту артисточку. Худенькая такая. Но талантливая.

Ксения подавленно молчит.

И она красивая. Когда-то я обожал таких.

Ксения. У вас дурной вкус, Магдалинин.

Магдалинин. На днях в одном месте о ней разговор был. У нее что-то с родней неблагополучно. Тетка, по-

мнится, с околоточным жила. И вообще следовало бы ее проверить.

К с е н и я (*пугаясь слова*). Я прошу вас, не делайте то, что вы задумали сейчас, Василий Самсонович. Как же можно отвечать за родню!.. (*Тихо.*) И потом, если эта история дойдет до Рощина...

Пауза. Лицо Магдалинина жестко и по-старчески бесстрастно.

М а г д а л и н и н. Я был лучшего мнения о вашей воле. Когда великие артисты шли к цели... ну, как это говорится по-русски, напролом... А в искусстве и нельзя иначе...

Ксения молчит, закрыв лицо руками.

Справились же вы с вашим мужем!

К с е н и я. Нет, неладно в этом доме, Магдалинин. Такие, как Рошин, ключей от себя не хранят под супружеской подушкой. Я откровенна с вами. В вас есть что-то свое, актерское. Да и Григорий очень верит вам.

М а г д а л и н и н (*взволнованно и прямодушно*). Я вышел из другого класса. Но я тоже много жил, работал и умирал, поднимал друзей и опрокидывал врагов. (*Привстав и подняв руку, как в клятве верности.*) Таких, как Рошин, я встречал мало. (*Пауза. Совершенно трезвым голосом.*) Что же неладно в доме Рощина? Вернее, кто она?

К с е н и я (*расставляя чайную посуду на столе*). Я не знаю. Теперь женщины всякие: химики, парашютистки. Все хорошенькие, приходят с докладами, настойчивые...

М а г д а л и н и н. Ну, а эта пышная женщина... в славянском стиле?

К с е н и я. Елена? Это овца, грубошерстная. Словом, он от меня уходит.

М а г д а л и н и н (*отечески*). Деточка, надо удержать его.

К с е н и я (*тушит верхний свет*). Простите, у меня глаза от рампы болят. (*Стыдясь и кусая ногти.*) Чем, чем мне его удержать?

М а г д а л и н и н. Не мне советовать, вы — женщина. Да закатите ему порцию ребят в полдюжины. Садитесь поверх кучи и смейтесь.

К с е н и я. Да, но... судьба ответственных работников так превратна. Их кидают с места на место.

Ма г д а л и н и н. Понимаю. Но есть и другие способы.

Ксения в нетерпенье, а Магдалинин нарочно тянет слова.

Станьте ему полезной, необходимой, как хлеб, как воздух. Герои тоже стареют. Влейте себя в него.

К с е н и я. У меня театр.

Ма г д а л и н и н. Главный театр в жизни, деточка. И, наконец, спасите его. Вот он письмо про тучу читал... Хотя вряд ли Остаев на тигра похож!.. Так заслоните Рощина собою. Да-да, пока его не спасла другая!

К с е н и я (*стряхнув с себя колдовство магдалининских советов*). Спаси Рощина.. Что я — пожарный или водолаз? Он мне говорит: Ро-щи-на спасти!.. Нет, Магдалинин, давайте уж лучше чай пить.

Ма г д а л и н и н. Этот совет я подал бы и дочери, когда б она была несчастна и талантлива, как вы. И если бы она жива осталась...

Ксения слушает его, стоя к нему спиной и держась за скобку двери. Дверь подергивают снаружи: это Елена с чайником и под шалью. В открытую дверь откуда-то шум дождя в желобах и нытье ветра.

20

К с е н и я. Вот спасибо, что догадалась, Лена. Да ты бы хоть копоть-то вытерла!

Е л е н а (*вполголоса*). Он... пришел. Ты ему в это время наказывала?

К с е н и я (*пугаясь*). Здесь?

Е л е н а. Там... на улице стоит.

Ксения суетится, ей неловко перед Магдалининым. Тот поднимается.

Ма г д а л и н и н. Все понятно, дорогая. Не стесняйтесь старика. У женщин вашего звания всегда гости: портные, режиссеры, парикмахеры, поклонники, просители... И мало еще кто!

К с е н и я. Извините нас... К Григорию столько людей ходит. Даже ночью...

Е л е н а. Ты сиди, Ксана. Я ему вынесу что надо.

Магдалинин. Да все равно, мне уж и поздно. Семьи-то нет, а я вот еще дырочку прожег, заштопать надо. Только сверточек свой заберу...

Ксения (*томясь и слушая скрежет ливня*). Так мы вас завтра ждем, Василий Самсонович.

Магдалинин. Дождик начался, а я без калош. Ну, да мне недалеко.

Он бежит к окну взглянуть на погоду. Ксения знаками спрашивает Елену, где ночной гость.

Елена (*тихо и раздельно*). Он на задний двор пошел.

Магдалинин (*отходя от окна*). Ух, как припустился! Теперь все в цветение пойдет. Ваш гость!

Он заблаговременно подвертывает брюки и смешно, точно ныряя в воду, бросается в дверь. Ксения меняется. Торопливо она набирает в салфетку всякую снедь: хлеб, кусок колбасы, сыплет туда же орехи. Елена усмешливо наблюдает эту суматоху.

21

Ксения. Дай мне твою шаль добежать до него. Господи, и жалко и стыдно. Настя бы не наткнулась...

Елена. Беги, я постою у двери.

Они встретились глазами.

Ксения. Прости меня, Лена. У тебя большое сердце, ты поймешь.

Елена. Обижаешь всегда на людях, а извиняешься наедине. Неси скорее!

22

Ксения убежала. Ее долго нет. Ночным дозором, туша по дороге свет, квартиру обходит Аграфена. Единственный свет от уличного фонаря, падает на потолок и оттуда к приножке буфета.

Аграфена. Что, ровно краденое караулишь?

Елена. Не спится мне. Снов боюсь.

Аграфена (*зевнув и по-бабьи оправив платок*). Мужики в деревне скоро уж вставать станут, хо-хо! А старые-

то ноги все идут куда-то, идут. (*Наклонясь к ним.*) Далеко вы собрались, но-оги? (*Присела рядом.*) Как тебе Лука-то твой приснился?

Е л е н а (*не сразу*). Будто поле и ночь крутая. А он бежит, голова обвязана, и все оглядывается. И не жалко мне его и не страшно, а уж только добежал бы скорее до конца.

А г р а ф е н а. В сапогах бежал-то, аль босый?

Е л е н а. Не разглядела. Не до того мне было, бабушка.

А г р а ф е н а. Не знаю, что и присоветовать. При царизме, бывало, панихидку заказывали. Отслужишь, тут его ровно в лоб шшелканет, он и отстанет.

Е л е н а. Бабушка, в наше-то время стыдно такое говорить.

А г р а ф е н а (*обидевшись*). Ну, тоды мажь его иодом, как заявится. Мажь на весь рупь. Вон он, иод-от, в бутылочке!

Возвращается Ксения. В спешке она не видит старухи.

На ее шали посверкивают капли дождя.

23

К с е н и я (*скороговоркой*). Где у нас григорьево белье?

Е л е н а. В левом нижнем, Ксана. В буфете.

К с е н и я. С ума посходили! Кто ж в буфете белье держит!

Е л е н а. Класть-то нечего, а комода нет у нас пока.

К с е н и я. Вы бы еще тут баню устроили.

Быстро просматривая на просвет, она отбирает белье похуже.

Аграфена сзади коснулась ее плеча. Ксения присела, застигнутая врасплох.

А г р а ф е н а. Кому, бабочка, исподники-то гришкины несешь?

К с е н и я. Нужно... там.

А г р а ф е н а. Я и спрашиваю, кому? Не самой же носить! Присоветуйся, не чужая.

Пауза. Ксения закрыло лицо руками.

А ты не стыдись. И не то, родимая, в жизни моей видала.

Е л е н а. Там... отец ее пришел.

К с е н и я. Я... я неправду сказала Григорию, что он умер. Я же не виновата, что он жив на мое горе.

А г р а ф е н а. Кто же он, твой отец, что смерти ему хочешь?

Е л е н а. Поп. Без места четвертый год шатается.

Пауза. Слышен дождь. Где-то хлопнула рама.

А г р а ф е н а (*Елене*). Поди окна-то закрой. Все рамы ветром побьет. Иди... мы тут с ней!

Елена ушла, оглядываясь.

Может, он замаранный какой?

К с е н и я. Старый он и жалкий. Гляньте, на лестнице стоит.

А г р а ф е н а. Отца под дождем, как собаку, держишь. По-оп!.. Нынче им, эвона, и выбирать дозволено. Сходи за ним, угости чайком, и пускай своей путей бредет.

К с е н и я. А если Рошин узнает?

А г р а ф е н а. Не убудет у Рошина, если дочь отцу кусок хлеба подаст.

Ксения нерешительно уходит. После минуты раздумья Аграфена ставит вместо кресла табуретку и стелет на нее газету, убирает вещи поценнее, скатерть загибает, чтоб не испачкал ее гость, стелет у порога половичок. Звонок, приходит Н а с т я со свидания, ставит в угол мокрый зонтик сушиться. Ушла, возвращается, смотрит широко раскрытыми глазами на бабушку.

24

Н а с т я (*как во сне, вытянув ей руки навстречу*). Бабушка!..

А г р а ф е н а. Что, милка моя?

Пауза.

Н а с т я. Бабушка!..

А г р а ф е н а (*подойдя к ней*). Что? Какое ты солнце там повидала?.. Сиянье-то в глазах несешь!

Н а с т я (*шопотом*). Нет, ничего... Спокойной ночи, бабушка!

Оча уходит, сопровождаемая Аграфеной. Вернулась К с е н и я.

К с е н и я. Входите, папаша.

Слышно только усердное шарканье ног, вытирасмых о половинок, да простудный, с трудом заглушаемый кашель.

Да входите же. На веревках вас тащить?

В дверь, заглянув по сторонам, просовывается Л а в р е н т и й С а н д у к о в. Он в меховой и намокшей, с бархатным доньшком, шапке. Остальное — милость православных: стеганая кофта образца восемнадцатого года, кожаные брюки-галифе и обмотки. В руках узелок Ксении, на плече брезентовая сума; в ней вместе с прочим что-то плоское и квадратное.

Л а в р е н т и й. Текут мои бахилки-то. Зря ты меня, Ксанка, на чисто место тянешь. *(Беспокойным взором обводит углы, понятливо улыбается, долго ищет, куда сложить имущество, и, наконец, складывает его у порожка. Трясет головой.)* Дожжик в ухо затек. Он меня наскрозь протекает! *(Почти весело.)* Вот и все. Честь имею явиться из тайны гроба, доченька!

Ксения пятится, когда он обмахивает бороденку рукавом, — не полез бы целоваться!

Издаля, издаля!

К с е н и я. Чего вы развеселились-то, папаша?

Л а в р е н т и й. Колбаски-то пожевал, должно, и захмелел с колбаски-то. На душу ведь ногой не притопнешь. *(Озираясь.)* В красоте живешь!

К с е н и я. Ничего не трогайте руками. Пейте уж чай, раз на столе стоит.

Л а в р е н т и й. Мебель-то священного содержания. Напей, может, патриарх александринский сидел, а теперь — ты. Знаешь, я и княгинь видал, даже отпевал одну. Важная, усатая ляжит... А ты пошибче будешь. Барыня, хе-хе!

К с е н и я *(оглянувшись)*. Бар нет, папаша. Бары в Черном море утопли.

Пауза.

По ночам ходите, живых смущаете...

Л а в р е н т и й *(наливая себе чайку)*. Напоследок дней обхожу всех сынов и дочей моих. Ухожу, прощайте, кровные, милые мои. Безрадостно приидох изовсюду, безгоре-

стно уйду во вся. Четверо вас у меня, а все при деле. *(Важно.)* Федька-то торгсином заведывал! Бывал, крупки пришлет, пуговок там... На предъявителя, конечно: таится. К сестре твоей, Глашке, забежал. Фершелица в родильном доме. Чистота-а, окна зеркальные, сморкнуться некуда. Тоже, под вечерок, деньжонок три рублика мне к забору вынесла. Сергунька Сибирь обмеривает. Ге... геодезия, не сыговоришь. Лука вот не добрый. Не заявлялся, Лукашка-то?

К с е н и я. Он на зимовке, далеко. Папаш, чего же вы конфетку с бумажкой-то едите?

Л а в р е н т и й *(испуганно)*. А?.. а!..

К с е н и я. Я говорю, далеко он. И чешетесь все. Рубашка-то на вас есть?

Л а в р е н т и й. А то как же! Жука поковыряй, и тот рубашку носит.

К с е н и я. Расстегнитесь тогда...

Л а в р е н т и й. Что ты, не-е, я остудиться боюсь. Не-ет, я всем доволен. Я живу хорошо, сам при себе. Лекции когда о вреде леригии читают, то меня зовут. Я теперь вроде как наглядное пособие. *(С завистью.)* Дьякона-то ноне в оперу идут, а меня и в комары не примут. Но я детей своих не ограблял.

Пауза.

А Лукашка придет — гони его. *(С внезапной яростью.)* Ружье, ружье ему в грудь наставь... Вглубь хочет уйти, душой спасать, сукин сын. Скаку-ун, обломают ему лапки!

К с е н и я. Не говорите мне плохо о Луке, прогоню. За что вы на него злобитесь?.. Общенья не имеет? Так ведь вы хуже чумы, папаша.

Л а в р е н т и й. Общенье-то он имеет. Он, было, у Глашки-то съестъ меня задумал. Уж и вилку в меня воткнул. А эвон, в мешке-то, и не позволил, хе-хе... Кса-анка! Всякое в роду у нас бывало: рукастые, сутяги, маклаки, шельмецы, барышники, а такого... *(Приходя в себя, шепотком.)* Не осуди, доченька, за счастье ваше трясусь.

Сквозь закрытую дверь сочится слабая музыка: какой-то растленный голосовой джаз поет фокстротную песенку. Насторожась, Лаврентий делает три шага в направлении звука.

Ишь ты, ровно полунощницу ангели поют. *(Восхищенно.)* Где, где тут, Ксанка, у тебя на небо-то щель?

К с е н и я. Это Настя. Дочь от первого брака. Радио пустила.

Л а в р е н т и й (*слушает, уткнув лицо в ладони*). Нет меня хуже, а люблю, люблю мне на свете, Ксанка. Радость-то, как роса, на мире лежит. Утро-то из нищеты виднее! (*Поднял колясочку, про колесики.*) Крутятся, махонькие. Своих-то деток много у тебя?

Ксения молчит.

У нас в роду все плодущие были. У Прокопия двенадцать, из них одна двойня. У Герасима девятéro, да еще помер старшенький-то. Онисим, каб его на войне не обезглавили, уж он наворочал бы племени... Покажь деток-то! Спят, что ли? Я на цыпочках, бездыханно.

К с е н и я. У нас нет детей, папаша.

Л а в р е н т и й. О-о, так, ровно сука и живешь? Ноне бабы-то модные стали, за талию страшатся. Дед-то Дорофей проклял бы тебя, каб дожил! (*Вкрадчиво.*) Али уж муж от тебя не хочет?

К с е н и я. Он-то хочет... Они у меня не родятся.

Пауза. Лаврентий гладит ее, всхлипывающую, по голове.

Л а в р е н т и й. Смири-ись! Несчастье бродит посередь нашего роду.

26

А г р а ф е н а. Григорий приехал. Сбирайся, поп.

Елене, которая торопливо проходит в прихожую.

Сразу-то не отпирай, займи его.

К с е н и я (*чуть не плача*). Папаш, там ботинки в углу. Примерьте на лестнице, может сгодятся.

Л а в р е н т и й. Спаси бог, уж и мечтать не думал. (*Хвастливо Аграфене.*) Младшенькая-то у меня, старушка, а?

А г р а ф е н а. Давай, давай! (*Ксени.*) Ты его через задний ход. Да выбеги — нет ли кого на лестнице.

Л а в р е н т и й. Старушка, ты меня еще позови. Лестно мне погостить-то у вас.

А г р а ф е н а. Завтра на дачу уезжаем, за сорок верст.

Лаврентий. И-и, я и по четыреста хаживал. И пешком. На поезд-то ноне билеты надо брать. Ты в чуланчик меня пихни, ситничка дай — и все.

Ксения *(в дверь)*. Да скоро ли вы там?

Лаврентий торопится и еще раз, машинально, вытирает ноги
о половичок.

Аграфена *(вдогонку)*. Где ж ты, старичок, нонче спать-то будешь? Ведь дождь.

Лаврентий. И-и, старушка! Я люблю спать под дождем.

Аграфена закрывает за ним дверь.

27

Молча проходит Рощин.

Елена *(следом)*. Григорий Иванович, расстелите пальто на диване. Пускай просохнет...

Рощин ушел.

Аграфена *(Елене, сурово толкая ее в плечо)*. Все равно уж, поди к нему, утешь. Хмурый приехал...

Елена. Еще один день, бабушка, остался. Не могу. *(В отчаянье.)* Какие же слова-то скажу Луке, если он придет? Ведь я его любила...

Аграфена. А ничего ему не говори. Сердце за тебя скажет.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Большая темноватая кухня на рошинской даче. Внушительная русская печь, с плитой и лежанкой, творение провинциального печного архитектора. Под окошком за нею коечка — прилечь на часок. На переднем плане узенький проход в кладовую. Направо дверь в чистые комнаты. В углу стол и табуретки, крашенные ядовитым голубым колером. Посуда на полках, осколок зеркала на стене, полотечца сушатся на веревочке. Посреди — открытая дверь во двор. Видны часть крыльца, лес, и впереди качаются тоненькие, в цвету, вишневые деревца. Где-то в комнатах тихо играет радио. Свежий солнечный полдень.

Аграфена в действии. Со двора опасно поднимается Лаврентий. Он в лаковых штиблетках.

1

Аграфена. Притащился?

Лаврентий (*сгружая суму со спины*). Здравствуй, старушка! Как, не наезжал?

Аграфена. Рошин-то? К обеду обещался, как день сложится. Нонче во властях-то ходить — и не пообедаешь.

Лаврентий (*почтительно*). Уму не приложимо.

Аграфена. То поезд с рельсов сойдет, то завод новый задумают, а то, глядишь, шпие́на поймают. Ведь вон куда забираются. Ты сам-то, батюшка, не шпиён?

Лаврентий. Не-ет, что ты!

Аграфена. Ну, притащи тогда дровец. У сарая сложены. Веревку в чулане возьми.

Лаврентий. У меня есть.

Присев на порожке, он последовательно вынимает из сумы краюху хлеба, икону, которую кстати протирает рукавом, и, наконец, длинную веревку с узлами. Аграфена стоит над ним.

Тута у меня весь припас. Пустой не хожу.

А гра ф е н а. Пошто бога-то таскаешь? Аль веришь в доску-то?

Л а в р е н т и й. Матушка моя, слишком много я об этом деле знаю, чтоб верить. А куды ево? Жечь нельзя, топить ево грешно, на дороге кинуть боязно: скажут — нарочно. Так и живет у меня на горбу. *(Он уходит.)*

А гра ф е н а *(вдогонку)*. Посуше выбирай.

2

Заглянула Н а с т я, стала у двери.

Н а с т я. Кто это, бабушка?

А гра ф е н а. Так, с ветру один. Женихи-то не едут. Не обманут?

Н а с т я. Ксения хотела машину за ними послать. Я звонила. А они уж поездом выехали... Давай я помогу тебе, бабушка!

А гра ф е н а. Куды, куды в чистом-то платьи! Тебе теперь сидеть да в зеркало хорошиться. Счастливая ты!

Пауза.

А?

Н а с т я *(тихо)*. Я говорю — да.

А гра ф е н а. Счастливые-т, сказывают, песни голосят. Что-то я твоих не слышу.

Н а с т я. Голосить-то нечем, бабушка. Летчикам голосу не полагается.

А гра ф е н а. Подразнись, подразнись у меня!

Н а с т я *(вдруг, как бы на счастье)*. А ну... дай мне, бабушка, зеркальце.

Аграфена снимает осколок со стены. Настя смотрится.

За что же он меня берет? То-ошая я...

А гра ф е н а. Не скажи. Нонче постненьких-то нарасхват.

Н а с т я. И всего у меня чуть-чуть: носика немножко, губы тоже, глаза... Нет, глаза у ней ничего! А так — фи-тюлька. Нет, некрасивая я. *(Со вздохом отдавая зеркальце.)* На, возьми.

Лаврентий (*с вязанкой дров*). Куды их?

Аграфена (*машинисто отвертывая мясорубку от стола*). Складай на стол. Счас в котлеты порубим!

Лаврентий послушно сваливает дрова у печки, сматывает веревку, садится на коечку.

Это отец письмом тебя напугал. Слово-т — горькая трава, запустит корешок — не выполешь. А ты брякни ему, жениху-то, что капиталу при тебе нет, секретных бумаг тоже. Чтоб не рассчитывал!

Н а с т я. Ладно, брякну.

Она переводит глаза на Лаврентия, который что-то жует. Тот мгновенно поднимается.

А вы... счастливы?

Лаврентий. Премного. Маненько меня покачало, как строительство произошло. А боле ничего.

Н а с т я. А скажите, людям можно верить?.. Да садитесь, зачем вы встали-то!

Лаврентий. Ничего, обожаем постоять. (*Он поник головой и как бы задремал на мгновение.*) Ежели их не обижать да самому дураком не быть, так верить можно. Ведь каждый человек при сердце своем состоит.

Н а с т я (*недобро усмехнувшись*). Ладно. Продолжайте, жуйте.

Где-то женский голос зовет Настю. Гремя противнем, Аграфена достает пирожки.

Я зде-есь...

Аграфена. Ступай к подружкам-то. На тебе ватрушечку.

Две настиных подруги и сердитый молодой человек с фотоаппаратом.

2-я подруга. Настя, где у вас теннисные ракетки спрятаны?

1-я подруга. Ой, вкусно пахнет как. Что у вас тут?

Аграфена (*держа пирожки на блюде*). Налетайте, кушайте, ребятки. Пожалуйста и вы, молодой товарищ!

Молодой человек (*мрачно*). Извиняюсь, я не ем ватрушек.

1-я подруга. Вот дурной, ведь вкусно! (*Дуя на пальцы.*) Горячие какие... Настя, это ты ему своей свадьбой сердце пронзила. Заметь — бледность кожного покрова и ногти до локтя обкусаны.

Молодой человек вырывает у ней руку:

2-я подруга. Ну,ними нас тут, у плиты.

Молодой человек. Невозможно. Освещение плохое.

Настя. Ракетки у вешалки, в прихожей. Ступайте, я скоро приду.

1-я подруга. Тоня, бери ее под руки. Колька, а ты заводи аллилуйю...

2-я подруга (*Насте*). А ты упирайся, вопи, невеста!

Настю насильно уводят. Молодой человек с порога возвращается.

Молодой человек. Если можно... дайте теперь и мне ватрушечку.

Аграфена (*протягивая ему все блюдо*). Утешь свое горе, милый!

Молодой человек выбирает покрупнее. Нечаянно поднял глаза на Лаврентия.

Молодой человек. А вы чего улыбаетесь, старичок?

Лаврентий. О младости о вашей веселюсь.

Молодой человек (*сердито*). Довольно странная улыбка при подобном возрасте. (*Он ушел, подкидывая на руке горячую ватрушку.*)

5

Аграфена. И верно, чего ты больно ликуешь-то? Опять подозрительный ты мне стал.

Лаврентий. Да чем, чем, старушка ты этакая?

Аграфена. Ведь ты мне про себя не рассказывал.

Лаврентий. Што рассказывать-то? Ты и так все про меня знаешь.

Аграфена. А зачем пришел-то к нам? Может, ты Григорью что подбросить хочешь.

Лаврентий (*оглядевшись*). Дакошь ухо-то. (*Секретно.*) На архирея самому-то пожалиться хочу.

Аграфена. Ну-у!.. Обижат?

Лаврентий. Насаждал везде по приходам шурьев да свояков, а я четвертый год в списках хожу. А кушать-то надоть. И поговорить не дается. Я к нему раз ночным часом да омманом и ввернулся. А он сидит, архирей-то, в красной темноте, карточки проявляет.

Аграфена. Скажи на милость!

Лаврентий. Ну, вознегодовал на меня, суроп свой опрокинул...

6

Елена (*запыхавшись*). Дома-то у нас никого нет, бабушка?

Лаврентий (*копаясь в суме*). А вселенски-то патриархи как наказывали? К примеру Златоуста взять аль Ефрема Сирина...

Аграфена. Да помолчи ты, Ефим Филин. (*Елене.*) А что стряслось? Лес на речку купаться побёг?

Елена. Женихи приехали. Они спереду покричались, а нет никого. И повернули. Наши-то за ландышем пошли!.. Ведь их к обеду звали, а они экую рань!

Аграфена. Беги, девка, за нашими, а я их встрену, проведу, обследую пока, кто такие.

Елена убегает. Аграфена сдергивает с себя передник. На ней новое платье, в горошек.

Лаврентий (*выглянув в окно*). Сюда идут. У-у, жених-то бравый, аки конь.

Аграфена. Примкнись в уголок. И чтоб тебя не слышно было.

7

Входят гости. Мать жениха, толстуха в ярком вязаном берете, с зонтиком, обмахивается еловой веточкой. Не мало усилий стоила ей нынешняя ее краса. При толстухе — длинный равнодушный мужчина в сивых усах и с букетом черемухи; на плечах, внакидку, пиджак, выдавший и дождь и зной; вместо жилетки старинный широкий брезентовый пояс с кожаным кармашком: там часы.

Остаева. Здравствуйте, если не помешаем.

Аграфена. Пожалуйте, пожалуйста! Зонтичек-то приставьте к стенке. Пушай отдохнет.

Остаева. Благодарю вас. Знакомьтесь. Это мой брат Фома.

Кукуев (*кладя руку на усы*). Очень приятно завести знакомство.

Аграфена (*встревоженно, Кукуеву*). Поди, батюшка, встань к свету.

Отвела к окну, коснулась усов, оглядела всего. Кукуев неподвижен.

Ой, усиши-то!.. Да чем же ты, батюшка, Настеньку-то нашу обольстил?

Остаева. Да нет же, что вы! Я даже вся смеюсь!

Кукуев. Ах-ах, ошибка! (*Положив букет на плиту.*)
Никогда не сделаю такой глупости, чтоб жениться. Это долго объяснять, но факт остается фактом.

Остаева. Назовись, как я тебя учила.

Кукуев. Женихов дядя, Фома Кукуев.

Аграфена (*с облегчением*). Должность какую-либо занимаете?

Кукуев. Эксперт я являюсь по роялям.

Остаева. Настройщик, по-нашему. Во времена старого режима фирма Блютнер, не слышали?

Аграфена. Ой, не русская, слышать? В чисты-то комнаты проходите, уж будьте гости до конца!

Остаева. А мы лучше тут, на сквознячке, посохнем. Тут у вас прекрасно. Я люблю, когда чисто. Чтоб всякую иголку на полу видать. Сядь, Фома!

Аграфена. Пирогам тут у нас воняет.

Кукуев. Приятным приятного не испортишь.

Они сели, разговор не клеится.

Аграфена. А мы тут радио заслушались. Очень приятно передают.

Кукуев. Музыка молодит человека. Особенно в жару.

Остаева. Фома, думай больше, говори меньше. Знаете, мы со станции пешком прошлись...

Кукуев. ...Один час восемнадцать минут, тютелька в тютельку.

Остаева. Ну какой ты, Фома!.. Утихни. Цветы такие яркие на жаре. Можно ослепнуть, если долго на них глядеть. Всю дорогу пришлось обмахиваться еловой веточкой.

А гра ф е н а. А наши-то машину хотели за вами спосылать.

О с т а е в а. Не-ет. Я и в прежние времена не любила в машине ездить. Меня от мотора мутит.

Молчание. Кукуев поймал бабочку на стене.

А гра ф е н а (*Остаевой*). Тоже занятие какое-либо в жизни имели?

О с т а е в а. У нас заведение было.

А гра ф е н а (*насторожась*). Ой, поди, хлопотно с на-родишком-то?

О с т а е в а. Мы очень зажиточно жили. Ни в чем себе не отказывали. Фома, не раздирай мотылька, ему больно!.. Захочется фруктовой воды, сейчас же покупали фруктовой воды.

А гра ф е н а (*хмуро*). Та-ак-с!

Кукуев. Извиняюсь, кстати, попить у вас найдется?

А гра ф е н а (*с сердцем на гостей, Лаврентию*). Эй, полупочтенный, зачерпни там, в кадushке. И какое же, матушка моя, заведение?

О с т а е в а. Вы про нас? Швейное. И заказчики были тоже все зажиточные! Адвока-аты... Даже один управляющий был. На железной дороге. Депоm управлял.

Лаврентий подает ковш Кукуеву. Тот пьет, видимо наслаждаясь.

А гра ф е н а (*уныло*). Пóльты, извиняюсь, шили али форменное что?

О с т а е в а. Нет, мы верхнее не любили шить. Мы больше нижнее платье шили. Рубашки там, сорочки... Ну, все, что ниже, тоже шили.

Кукуев. Белошвейное производство. (*Очень благородно.*) Воду, извиняюсь, с колодца берете или из городу пользуетесь?

Лаврентий. С колодца-с. Многие не верят. (*И посмотрел на Аграфену, так ли сказал.*)

А гра ф е н а (*сердито Лаврентию*). Иди в чулан, батюшка. Глянь, нет ли там мышей.

Лаврентий уходит.

Белошвейное-то мне знакомое. Была у меня одна швея. Это очень хорошо: как песню заведут, машинки застучат...

Ну, ровно на пароходе в даль едешь. И капиталу прибавление. *(В упор.)* Народу-то много у вас работало?

Остаева в замешательстве молчит.

Кукуев *(кладя руку на усы)*. Перед зеркалом сидеть — так четверо, хо-хо-хо!

Остаева. Не будь болван, Кукуев!.. *(Смущенно.)* Вдвоем мы с сестрицей работали. Потом-то уж и померла она... *(Вспыхнув.)* Несчастлиная, в лестницу она кинулась.

Аграфена. С чего ж она так? *(И вот, заглядывая в мокрые глаза Остаевой.)* А скажите вы мне, милая, не Дашенькой ли вас зовут?

Всеобщее потрясение. Остаева пьтится, роняет кастрюлю, потом кидается на шею Аграфене. Беретик с нее валится.

Кукуев предупредительно отодвигает стол и табуретки.

Остаева *(смеясь и плача)*. Грушенька, что же ты мне сразу-то не открылась?..

Аграфена *(держая ее в объятиях)*. Остынь, Дашка, остынь. То-то я слушаю: на машине, говорит, ездить не любила. Я тоже, милая, не любила... Я и есть досыта не любила, Дашенька.

Остаева. Родная ты моя, родная, тело мое...

Кукуев взволнованно отворачивается.

Фома, это Груша, что у адвоката жила. Мы и Зойку-то с нею хоронили. Вдвоем да в дождик за гробом шли. Постарела-то ты как, Грушенька. Бородавки-то не было у тебя тут!

Аграфена. Годков-то, милая... А что прожито! А как сынов-то в грязи да в нужде подымали...

Остаева *(уже не помня себя)*. А как мы с тобой краюшечкой-то делились! Слезой-то посолишь ее погуще...

Кукуев *(взволнованно)*. Да перестаньте вы... люди же живые кругом, с сердцами!

Аграфена. Тут уж нам наливочки на радостях! *(Лаврентию.)* Эй, Ефим Филин, возьми там, на столе, плодоягодную да поесть, что глянется, захвати. *(Вслед.)* Ценного-то не побей!

Лаврентий с великой охотой бежит в комнаты. Кукуев заранее вынимает ножик со штопором.

Платье-то сама шила?

Остаетева. Только самой себе и шить! Заказы-то брать сын не позволяет. Неудобно, говорит, чтоб в научный институт чужие люди с узлами таскались. (*Яростно.*) Вот и отдыхаю. А я завсегда при руках моих жила. Руки-то и страдают!

Кукуев. Если не считать глаз и головы, то главное рук нет у человека.

Аграфена. И не говори. Я от своих в колхоз бежать собралась. Настеньку выдам — и прощай... (*нараспев*) прощевай тоды, мой милый подстоличный городок!.. Матушка, жиреть стала.

Остаетева. Ужас, ужас!

Аграфена. Полы бы помыть, а они паркетные. Внуков бы, глядишь, помять, а не дадено. (*Мечтательно.*) Зеленья-то, поди, уж в шелкà пошли... (*Лаврентию в комнаты.*) Эй, там, не слышать тебя... Закусываешь, что ли?

8

Возвращается Лаврентий, нагруженный всякой всячиной; три рюмки на подносике и бутылка; он жует.

Кукуев (*берясь за бутылку*). Дозвольте проявить силу. Эх, был у меня знаменитый штопорок, да злые люди погубили... (*Он деликатно разливает по тонюсеньким рюмочкам, всякий раз вытирая горлышко чистым носовым платком — своим.*)

Аграфена. Ну, со свиданьем. (*Лаврентию.*) Возьми себе рюмочку шелковистого-то на радостях.

И сразу из лаврентьева рукава появляется четвертая рюмка.
Налито и роздано.

Лаврентий. Наиприятнейшего времяпровождения!

Все выпили.

Кукуев. Что-то знакомое, но не могу уловить аромату. Факт остается фактом.

Для правильной ориентации он наливает себе и Лаврентию еще по одной. Лаврентий поглаживает его наливающую руку.

Остаетева. Ты, Фома. как будто семь лет не едал, наваливаешься!

Аграфена. А чего! Нашему брату да в нынешнее время не покушать? Ешь, Кукуев. Ветчины бери, а то вот крабы.

Кукуев (*Лаврентию*). Краб — это есть большой паук, проживающий на морском берегу.

Лаврентий (*с благодарным чувством*). Разнообразие природы!

Кукуев. Как, как вы заметили?

Аграфена. Иди, батюшка, на место пока.

Лаврентий уходит в чулан.

Остаева. А как былое-то вспомняешь, Грушенька..

Неожиданно она запекает высоким фальцетом, делая какое-то профессиональное движение ногой: ножная педаль швейной машины.

С третьей строки баском подхватывает Аграфена. Кукуев изучает тайну плодоягодной наливки, время от времени пожимая плечами.

При слиянии двух рек
стоит ужасный человек.
Ты за что меня спокинул,
разлюбил меня навек?
Головою кинусь в пролубь,
захлестну себя петлей...
Милый голубь да сизый голубь,
посидел бы ты со мной!

9

Рощина на пороге, обнявшись с дочерью.

Рощина. Вона, мы гостей ищем, а они уже песни поют.

Настя. Ну, познакомились, бабушка?

Аграфена. Родные мы оказались. (*Рощину.*) Рубашка-то синяя лаптевая, в тюрьму тебе принесла... это она тебе шила!

Остаева. Нет сил передать мое состояние. Боюсь проснуться...

Кукуев. Можете не верить: всю ночь глаз не сомкнула. Женская натура является загадкой для мужчины.

Рощина смотрит на него с любопытством.

Женихов дядя, Фома Кукуев. Дозвольте, как невесте, поднести бесхитростный букет. (*Ищет везде, берет с плиты обгорелый веничек.*) Винова-ат, это же черемуха была!

Рощин. Ничего, в воде отойдет.

Настя (*прижимая букет к сердцу и в тон Кукуеву*). Мерси вам от чистого сердца. (*Отцу с торжеством.*) Как ты считаешь, все в порядке, Григорий?

Рощин. Завтракать — молодежь проголодалась! (*Уходя в комнаты.*) Ксения, принимай гостей!

Аграфена. Ой, сгорят у нас совсем пироги... за-была!

Остаева. Где у тебя фартук-то, давай помогу.

Кукуев уводит Настю под руку. Немного спустя из комнат доносится еще раз: «Женихов дядя, Фома Кукуев!» Происходит рождение свадебных пирогов. Старухи мажут их маслом, тычут лучинками, соблюдая кухонный ритуал. Реплики их носят чисто технический характер. Из столовой слышен шум нетерпения.

10

Остаева. Ну-ка обдерни меня сзади, Груша. Ничего там не сбилось?

Аграфена. Ладно, бери с капустой-то. Неровен, еще тарелки побьют!

Они торжественно несут пироги. Сцена поворачивается. Столовая. Два разнокалиберных стола накрыты одной скатертью. Тахта у стены. Букет черемухи уже в вазе. Все сидят за столом и барабают вилками в тарелки. Жених отсутствует. Магдалинин среди гостей. Появление будущих бабушек встречается аплодисментами.

11

Ксения. Ура, ставьте их на середину. (*Остаевой.*) Здравствуйте и садитесь, где вам нравится.

Подруги. К нам, к нам... Вот это место не занято.

Остаева (*кланяясь на приветствия*). Спасибо... и пускай вы, девочки, так же будете счастливы в мои годы, как я сейчас. Фома, откликнись!

Кукуев (*привставая*). Язык ограничен в пределах.

Уже теперь он не сводит глаз с Елены, та конфузится.

Настя. Еленочка, садись рядом со мною. Дарья Никитишна, дайте вам фартук сниму.

Рощин. Нет, дочка, дай уж мне поухаживать.

Снимает фартук. Остаева плачет.

Н а с т я. О чем вы, Дарья Никитишна?.. Что с вами?
Кукуев. Переживание.

О с т а е в а *(в слезах)*. Как в бывалое время...
к магазинчику одному за деньгами я притащилась... при-
даное его дочке шила. А прикашики-то собаками меня, для
забавы... А я толстая, в забор враз не пролезу, тыркаюсь...

А г р а ф е н а. Да перестань, ты, оглашенная, дрянь-то
вспоминать!

Р о щ и н. Вот-вот, почаще им *(жест на молодежь)*
рассказывайте. Веселей завтра драться будем.

М а г д а л и н и н. Поблекшие враги наши всегда по-
мнят, чем они были вчера. И нам тоже не следует забы-
вать об этом.

Пауза.

Н а с т я *(Магдалинину, благодарно)*. Вы хорошо ска-
зали...

Остаева улыбается.

Ну, вот и все. И солнышко.

О с т а е в а. Извините за неожиданность.

Е л е н а *(Кукуеву)*. Кушайте, чего вы на меня устави-
лись.

Кукуев. Не могу. Гляжу и целиком теряюсь.

Е л е н а. Почему?.. Смешной какой!

Кукуев. Вы мне вчера во сне такую вещь сказали...

Е л е н а. Ну что вы, право, Фома Никитич!

Кукуев. ...и, главное, я поверил вам, как ребенок!

Все смеются. Кукуев со вздохом принимается за пирог.

А г р а ф е н а. А уж и настрадалась я с тобою, Даша!
Что за барыня, думаю, притащилась. Внучку-то ведь
жалко, в какие руки попадет.

Часы бьют два раза.

Р о щ и н. Жениха-то багажом, что ли, отправили?

К с е н и я. Да, что-то не торопится.

О с т а е в а. Не знаю, что и думать. Не случилось ли
чего?

М а г д а л и н и н. А могло!

Пауза недоумения.

Рощин (*Насте*). Ты бы хоть позвонила ему.

Настя. Почему же ты не захватил его с собою? Он тебе сегодня заявление об уходе подавал.

Рощин. Ну, открывай тогда твой секрет. Кто же он?

Настя. Остаев, Андрей Павлович.

Остаева (*привставая*). Остаевы мы, Остаевы.

Рощин. А! (*Плохо скрывая досаду.*) Мало в нем жениховского-то. Суховат твой суженый.

Магдалинин. А я бы его в излишней резвости упрекнул.

Все затихло.

Еще третьего дня утром он гулял под ручку с Цирульниковым. Смеялись... И вообще мне показалось, что так смеяться может только не наш человек.

Остаева потерянно встает в тишине.

Настя. Папа, папа...

Остаева. Вы... вы сказали... Андрюша не наш человек? Фома... как он про Андрюшу-то сказал!

Кукуев (*в волнении поднимаясь во весь рост, по-солдатски*). Виноват. У Остаева глаз ясный. У Андрея Остаева сквозь глаз сердце видать.

Магдалинин. Я про то говорил, что у него на службе видать. И еще — кому видать.

Кукуев. Ах-ах! (*Помолчав, трудно соображая.*) Зачем же Кукуева порочить? Кукуев в гражданской войне дрался.

Магдалинин. Надо сперва узнать, на чьей стороне он дрался.

Замешательство. Одна из подруг вскрикнула. На всякий случай все прячут глаза от Кукуева. Он в смятении вытирает салфеткой пот с лица. Он ищет слов, их нет. Он совсем один.

Он говорит через силу и с запинкой.

Кукуев. Я... я... Умственная способность моя, возможно, меньше вашей... (*грудью двинувшись на Магдалинина*) но я выжимаю на два пуда больше!

Его придержали. Магдалинин значительно кивает Рощину на Кукуева. Рощин сердится, ни на кого не глядит.

Остаева. Нам бы погулять теперь. Мы уж покушали на кухне. Знаете, у нас Фома очень природу любит. (*Ручкой гладя брата по лицу, чтоб успокоить.*) Фома, Фома!..

Настя (*вскакивая*). Папа, мне опять не нравится этот Магдалинин.

Тогда Магдалинин поднимается, обводит всех взглядом и медленно идет к выходу. В смятении сердца он уходит через кухню.

Ксения (*догоняя его*). Василий Самсонович, Василий Самсонович... Григорий, вмешайся же наконец!

Магдалинин. Девочка права. Я зря сюда поехал. Мне надо сосредоточиться, побыть одному... Но в доме Рощина не говорят неправды! (*Он ушел.*)

12

Рощин. Настя, я лично прошу тебя вернуть этого человека. Это мой старый сослуживец...

Ксения. ...и единственно преданный тебе до конца человек.

Рощин. Он оказал нам большую услугу.

Пауза.

И у него сегодня дочь хоронят. Настя-а!

Настя. Я не могу, папа. Не заставляй меня!

Аграфена. Оставь ее, Гриша. Вся дрожит девка-то.

Остаева. Дайте уж мы тогда его догоним. Он Андрюшку хотел обидеть, а я его мать. Ему приятно будет, что сама мать извиняется. (*Тихо.*) Пойдем, Фома... нам не впервой!

Они идут вон из комнаты рядом, плечом к плечу.

Кукуев (*очень сурово, с порога*). Извиняемся за причиненное беспокойство.

Настя. Дарья Никитишна, не ходите за ним. (*Топая ногой.*) Я не велю. Для меня же весь праздник. (*Бросается вдогонку и роняя стул.*) Мама!

Рощин. Настя, вспомни письмо.

Настя в растерянности бежит к Аграфене.

Настя. Бабушка, что же делать-то мне?.. Бабушка!

Аграфена (*басовито и властно*). Э, дитя! Солнце на дворе, пироги на столе, а людям все мало. Пойдем вместе, махонькая моя, дураков мирить!

Они уходят. В ту же минуту телефонный звонок.

К с е н и я. Вот и жених... в самое время! *(Елене.)* Это из проходной будки звонят. Возьми трубку.

Елена поднимает трубку и снова с силой прижимает рычаг.
Ксении не сразу удастся сорвать с рычага ее руку.

Пусти же, что с тобой? *(В трубку, не выслушав.)* Пропустить, пропустить...

Р о щ и н *(поднимаясь из-за стола, раздумчиво)*. Кто пригласил Магдалинина к обеду?

Молчание.

Как Остаев заявится, проведите его ко мне. *(Ищет на столе.)* Пить... питья опять у нас никакого нет!

Е л е н а. Я сейчас на погреб за квасом сбегаю.

Рощин уходит. Подруги потихоньку выбираются из комнаты.
Елена поднимает глаза на Ксению.

Пироги-то убирать? Остынут.

К с е н и я. Выдавать замуж больше некого. Может, тебе захотелось?

Е л е н а *(сдержав себя)*. Я пока не собираюсь замуж выходить.

К с е н и я *(испытующе)*. Чужими мужьями пробавляться думаешь?

Е л е н а *(сурово)*. Язык-то жалит, да яд не жжет. Как бы не раскаться тебе, Ксана. *(Уходит.)*

Мгновение спустя Ксения бежит за нею. Сцена пуста.

14

Дверь распахивается рывком. Точно с разбегу в ней встает нестарый, длиннорукий и бородатый человек в меховой, внакидку, куртке. В одной руке эскимосская шапка-кюхлянка, в другой — большой и доотказа набитый чемодан, который он волочит за собою.

Л у к а. Что... никого дома нет?.. А голоса?

В тишине он идет на средину комнаты поднять опрокинутый стул. Из кухни выглядывает Л а в р е н т и й. Он выставляет руки, защищаясь, когда к нему приближается Лука.

Лаврентий. Ну, чево, чево тебе тут?

Лука. Добежал? Уйди.

Лаврентий (*показывая пальцами*). Три слова... три!

Лука. Не на людях, дурень.

15

Ксения (*из боковой двери*). Вот не гадали. Ты пришел с вокзала? Григорий, к нам Лука приехал.

Лука. Здравствуй, сестра. (*Разнимая ее руки у себя на шее*.) Ну!.. похудела.

Рощин. Надо было позвонить, чудило полярное. Я бы послал за тобою.

Лука. А я и звонил на квартиру. Там не ответили. Я тогда напрямик сюда. Елена дома?

Ксения. Она на погреб побежала. Ты садись, раздевайся.

Рощин. Пирого ему штрафную порцию.

Лука. Сперва пить и спать. Устал за двадцать суток. (*Оглядывая стены*.) Все новенькое, с иголки. Настя, небось, выросла?

Рощин. Невеста, не узнаешь!

Лука. У меня для ней подарок есть. Елена здорова?

Ксения. Сказано тебе, она сейчас вернется. Ну, как медведи на полюсе?

Лука. А я ведь, собственно, на Чукотке сидел. Дальше семидесятой параллели не заглядывал. (*Очень размашисто и жадно*.) Надоело, солнца хочу. Три года ледяной ночи — это много.

Рощин. Да, не мало. Рассказывай, рассказывай!

Шум в соседней комнате. Лука оглядывается.

Гости у нас сегодня. Настасью выдаем.

16

Три настиных подруги и молодой человек.

1-я подруга. Все помирились, все идут сюда.

2-я подруга (*соседке удивленно*). Это не жених, этот в бороде?

3-я подруга. Наверно, зимовщик. Я в журнале видела таких.

К с е н и я. Знакомьтесь, девочки. Это мой брат, Сандуков.

Они робеют. Лука протягивает им руки, шутливо рычит.

Лука. Что, страшный я, девушки?

1-я подруга (*подходя и улыбаясь*). Вы весь меховой. Наверно, боитесь простудиться?.. Тоня.

3-я подруга (*залпом, в одно дыхание*). Студентка второго курса педагогического техникума географического отделения, Нина.

Вторая подруга фыркает.

Лука. Пятнадцать тыщ для вас отмахал, а вы уж и на смех подымаете!

2-я подруга. У вас... у вас такой вид... словно вы... забыли побриться в прошлом году.

Молодой человек (*знакомясь, с фотоаппаратом в руках*). Я состою в арктическом кружке... как секретарь. Можно мне вас снять?

Лука. Вот отдохну, срежу бороду, поем, посплю, отогреюсь как следует...

Р о щ и н. Озяб, наверно!

К с е н и я. Что ты спрашиваешь! Лед, холод, растительности, конечно, никакой...

Лука. Растительность я носил при себе.

Общее внимание, все молодые столпились вокруг Сандукова.

Из записной книжки он достал засушенный цветок.

Вот. Одна девушка сорвала мне это три года назад. Э... да далеко у вас погреб-то?

К с е н и я. Потерпи же, Лука. Она за квасом побежала.

3-я подруга (*благоговейно*). Можно мне осмотреть этот сухой цветок? (*Соседке.*) Как в стихах, верно? Как в стихах!

2-я подруга. Дай мне. Ты уж посмотрела.

1-я подруга. Девочки, он снегом пахнет... (*Заглянув в книжку.*) А там нарисовано... это план зимовки?

Лука. Это вам еще рано, девушки. Это чертеж скворешника.

Молодой человек (*враждебно*). Почему бы, однако, нам рано?

Рощин. А ну, покажи.

Не сразу Лука вырвал листок из книжки и протянул Рощину; тот принял его после секундного раздумья.

Ого, целый птичий комбинат: крылечко, поилка... Ну, объясняй!

Лука. Как-то раз, помнится, нерпичий жир горел в плошке, а я...

Тем временем вернулись Остаева, Настя, Кукуев с Магдалининым в обнимку, — через минуту они молча станут выпивать в уголке. Все почтительно сохраняют тишину. Аграфена пальцем зовет Остаеву на кухню. Лука делает приветственный жест Насте, которая шопотом рассказывает про него подругам.

...а я глядел на пляшущие копотинки и рисовал это. (*Глухо.*) Мечтать о скворешнике — это стареть. Выдумай мне, Григорий, где-нибудь избушку на лесной поляне... чтоб одуванчики в траве... воркотня в этом (*стуча пальцем по листку*) домике и нагретой хвоей пахнет. А?

Рощин. Заело, вижу, тебя. А на завод, по старой специальности, не хочешь?

Лука. Нет, не теперь.

Кукуеву, который подобрался и засматривается в самый рот Луки.

Вы, кажется, что-то во рту у меня забыли?

Кукуев. Интересно очень и глазам невероятно.

Ксения. А вот и она! (*На кухню, Елене.*) Еленочка, иди скорей. Он весь в сосульках. Обогрей его поскорей. Еленочка...

17

Пауза. Потом Елена с глиняным кувшином.

Елена (*протяжно и навскрик*). Лука!!

Она стоит на месте, бессильно откинув голову к косяку двери. Квас льется на пол. Лука быстро подходит; не сводя с нее глаз, берет кувшин из ее вялых рук,

Лука. Ну... ну, не надо. Сердишься?.. Простила?

Елена. Не то, не то...

Лука взახлебку пьет из кувшина. Жидкость течет по его бороде и платю. Он смотрит на Елену долгим взглядом и снова пьет.

Как... доехал?

Настя (*выталкивая подруг*). Не будьте любопытны, девочки. Пошли, пошли Андрюшку встречать!

Подруги уходят неохотно.

Лука (*отдавая кувшин*). Хлебный. Хорошо. Теперь спать.

Ксения. Ты пока ложись здесь до обеда, а я тебе кровать приготовлю. Гриша, можно его с тобой на террасе положить? Еленочка, ты задерни шторы.

Елена (*все еще слабо*). Я ему сейчас... подушку принесу.

Все деликатно ушли, кроме Кукуева и Магдалинина, которые самозабвенно пьют на брудершафт и на ухо, по-братски, бранят друг друга. Кукуев кивает на Луку и шепчет что-то на ухо Магдалинину, который тоненько хохочет.

18

Лука (*идя к ним*). Что он вам про меня сострил? Давайте знакомиться. Сандуков!

Магдалинин. Да он говорит, что вы с ним уж встречались.

Лука. Не припоминаю.

Кукуев. Вы у меня в прошлом году вещь забрали попользоваться, да так и не отдали.

Лука. Какую вещь?

Молчание.

Магдалинин. Да вещь-то, ты скажи, какую!

Кукуев. А штопор! Ситро открыть. Под Воронежем.

Лука (*снисходительно хлопая его по плечу*). Чудак! Я три года сидел на Чукотке. Как же я мог к вам оттуда до Воронежа дотянуться!

Кукуев. Вы в карманах-то пошарьте — может, и найдется. Вещь-то заветная. Там с другой стороны ключ на-стройный был.

Магдалинин (*под хмельком*). Какой ты нескромный, Кукуев. Может, он с Чукотки по этой... ну по дамской линии выезжал. А ты порешь вслух. А у него тут невеста. Пойдем, пойдем отсюда!

Кукуев. Главное дело — вещь-то заказная, любительская.

Магдалинин. Грубый ты, грубый. А еще струны настраиваешь. (*Он насильно уводит Фому.*)

Елена возвращается с подушкой, бросает ее в изголовье тахты.

19

Елена. Вот, спи. Я тебя разбуду к обеду.

Лука (*удерживая ее*). Ты не рада мне?

Елена. Руки! Руки убери...

Лука. Я сдержал свое слово — вернуться через три года. А ты?

Елена. Э, не о том нам надо говорить, Лука. Сон я видела вчера...

Лука насторожился.

Ты бежишь, и тебя убили. А ты не хочешь и опять бежишь.

Лука. А... дальше?

Елена. Потом я проснулась. Я, как безумная, проснулась. Бросилась к окну... Дождик шел.

Лука. Чепуха-а... Смотри, что я тебе привез. (*Он раскрывает чемодан, небрежно выкидывает оттуда белье, вещи, подарки родным.*) Это кость моржовая... Рошину, для смеха. Это Ксении торбаза. Это кюхлянка Насте. А тут у меня, на самом дне... Ну, закрой глаза!

Елена (*увидев в чемодане*). Револьвер, спрячь назад. Какой большой! Он заряжен?

Лука. Да... а что?

Елена. Убери, убери, не люблю.

Лука. Пустяки, ты сюда смотри. (*Выхватывает из чемодана шкуру песца.*) Это голубой, Лена, голубой! Погладь его.

Елена. Мне?

Лука. Да. Прикинь на шею.

Елена (*борясь с собой*). Небось, дорого заплатил?

Лука. Нет, я сам. Тут, на лапе, и след от капкана. О, как я соскучился по тебе! Бывало, выйдешь в полдень

на берег. А но-очь! На Беринге льды, ветер свишет по разводьям. В нем голоса с далекой земли. И среди них — твой. Звала меня?

Пауза.

Е л е н а. Говори, говори много, чтоб я забыла свои мысли.

Л у к а. Не хочешь простить, что я ушел тогда, перед свадьбой. Пойми, не мог. Права не имел. Нам помешали бы. А теперь все ясно впереди.

Е л е н а (*в упор, властно*). Скажи мне все... всю правду, все и сразу, что ты от меня прячешь. Не опуская глаз, скажи!

Л у к а. Я письма покажу тебе, которые я писал каждый день. И все не мог послать.

Он копается в чемодане, стоя на коленях. В дверную щель просунулось лицо Кукуева.

(*Нетерпеливо.*) Спроси его, Лена, что ему?..

20

Е л е н а. Что вам, Кукуев?

К у к у е в (*значительно*). Хотел напоследок на солнышко взглянуть, перед тем как закатится.

Е л е н а. Ну, посмотрели — и хватит. (*Нетерпеливо.*) Идите, помочите себе голову.

К у к у е в (*войдя в комнату*). Сказать правду, ужасаюсь происходящему. (*Луке.*) Одолжите хоть папироску!

Л у к а. Возьмите там, на столе.

К у к у е в (*осмотрев портсигар*). Вот, что я говорил! И портсигар тот же, что под Воронежем. Факт остается фактом.

Л у к а (*продолжая копаться в чемодане*). Не могу я найти этих писем...

Вдруг раздается выстрел. Кукуев хватается за висок. Под пальцами проступает на коже красная полоса. Лука вскакивает к нему, почти падающему.

Вас задело?

Кукуев ошеломленно молчит; его тело оседает. Он потягивает скатерть, скомкав край в кулаке. Падают стаканы и бутылки на столе.

Е л е н а. Кажется, мимо. И ведь говорила я тебе, Лука!

Л у к а. Откройте же глаза... Вина, выпейте вина, Кукуев!

Пауза. Кукуев открывает глаза. Долго смотрит на Сандукова.

К у к у е в (*очень трезво, строго и сощурив один глаз*). Я у тебя только папироску попросил, а уж ты мне сразу и огоньку! (*Отстраняя Луку.*) Ничего. Моя красота от этого не погибнет.

Е л е н а. Возьмите же папироску-то!

К у к у е в. Извиняюсь. Я не курящий. (*И он уходит, пятясь спиной.*)

21

Елена одну за другой распахивает двери. Всюду тихо.
Она выглядывает за штору в окно.

Е л е н а. Все ушли. Хорошо еще, никто не слышал. Неужели ты меня ревнуешь даже к Кукуеву?

Л у к а. Спа-ать!

Она хочет уходить, он схватил ее за край платья.

Нет, нет... видеть тебя я хочу еще сильнее. (*Махнув рукою.*) Нет, спать еще больше хочу. Не забыть: его фамилия Ку-ку-ев. Ну, теперь уходи. Разбуди меня... через год!

Он валится на тахту, сгребая под себя подушку и валик и засыпает лицом вниз, мгновенно. Елена стоит над ним в смятенье.

Е л е н а (*как бы жалуясь*). Зачем же ты не хочешь говорить со мной, Лука?

22

Л а в р е н т и й (*шопотом, из кухни*). Что, никак началось? Можно мне теперь к нему?

Е л е н а. Завтра, завтра... Спит.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Низенькая, но широкая остекленная терраса на даче у Рощина. Две громадных сирени прикикли снаружи к рамам. В левом полукруглом углу несколько банок с длинными безлистными растениями, подмороженными за зиму. Тут же складная, с серым суконным одеялом, койка Рощина. Ближе, лицом к рампе, большой и неожиданный в таком месте карельской березы шкаф. Входная дверь направо. Красные сумерки стоят в комнате, потому что закат пробивается сквозь набойчатую, с красными цветами, до полу занавеску. Когда ее отдернут, оранжевые пятна, разлинованные рамами, лягут на бревенчатую стену. Здесь сооружена из стульев кровать Луки. Она в беспорядке, клетчатое одеяло съехало на пол. Рядом раскрытый чемодан Луки. Бумажная карта страны наколота на стену. Стол с подвернутой клеенкой; на его неприкрытой части зеркало и стакан чая. Беспоясый и с расстегнутым воротом, в синей кавказской гимнастерке, Лука мылит щеки. Бороды уже нет. Где-то за террасой теннисный корт. Оттуда доносятся голоса молодежи.

1

Г о л о с а. Колька, Колька, не жулить! Василий Самсонович, берите свободнее!

Взрыв смеха, аплодисменты. Вошла Е л е н а с платьем Луки и плетеной лопаточкой для выбивания пыли. Она бросила весь ворох на постель и смотрит сзади на Луку. Тому видно в зеркало ее лицо.

Л у к а. Давай условимся на будущее время. Не терплю, когда на меня смотрят со спины. Бритву принесла?

Е л е н а (кладя ее на стол). Я у Григория Ивановича взяла. Потом вернешь мне.

Пауза.

Сколько моли в твоей куртке! Откуда же моль-то на холсте развелась?

Лука. А ты думала — снег полетит, как ударишь? Снег остался позади. Ха, он растаял от твоей любви, Лена. Сколько я спал?

Елена. Сутки.

Она раздергивает занавеску, открывает раму. Полураспустившаяся сирень вваливается в комнату.

Все уж пообедали. Григорий Иванович с Ксенией уехали на спектакль. Ты спал...

Лука. Это его кровать, Рощина?

Елена. Да.

Лука. А Ксения?

Елена. Они врозь спят. (*Прижимая мимоходом сирень к лицу.*) Ты что-то хотел сказать мне?

Лука. Нет, с чего ты взяла? Бритва хорошая.

Пауза.

Ничего не помню. Даже как вы перетаскили меня сюда. Смутно только — музыка какая-то, пение.

Елена. Вечером жених приехал, танцы начались. Он и перетаскивать тебя сюда помогал.

Лука. Не помню. Кто он?

Елена. Врач. О нем писали. Я его не знаю. Из-за него-то и суматоха. Да, тут еще дрянь одну поймали, Цирюльникову. Магдалинин помог его раскрыть. Да!.. Видишь ли, третьего дня письмо пришло с предупреждением: стеречься от злых людей, которые войдут в дом.

Лука (*быстро*). Подпись?

Елена. Без подписи.

Лука. Все ловят призраков, взрослые люди. Даже там у нас, на Чукотке. (*Мимоходом.*) Опять смотришь сзади... Что с народом делается!

Елена. А что? Народ тишины хочет, труда и братства. Слушать его надо, Лука.

Лука. Что народ! У меня на себя своего ума хватит. Я сам.

Елена. Народ! Ты встань да шапку сыми, о народе-то говоришь. Ты чей сын? Вас пятеро у Лаврентия, а все при деле. Ксанка кутью бы жрала на чужой могилке со

своим блохастым дьячком. А Федор? А ты-то сам! Инженер-механик, в большую семью пущен... Э, не то я говорю. Мне бы кричать надо. А вот о чем — не знаю.

Сказав лишнее, она зажала себе рот ладонью. Лука идет к ней,
Елена встревожена.

Что, что ты хочешь делать?

Лука. За сутки ты мне ласкового слова не сказала. И речь твоя двойственная. Но я-то знаю: ждала, ждала меня!

Ей страшно его вытянутых рук. Он взял ее за плечи, она рванулась, не удалось.

Елена. Я тебя другого ждала. *(Внезапно.)* Лука, на коленки встану... скажи, что ты там наделал?

Лука. Ты люби и не думай. Счастье ума не любит.

Елена. Постой, не надо...

Лука. Согрей меня, я озяб.

Елена *(высвобождаясь)*. Мертвому и в пожаре холодно. Пропадать с тобою не хочу. Скажи, деньги у народа украл, да?

Лука *(толчком локтя закрывая раму)*. Нет.

Елена *(шопотом)*. Убил кого-нибудь? Случайно... как вчера Кукуева.

Лука *(зажимая ей рот)*. Замолкни. В мыслях, в мыслях потуши. Мы теперь с тобой уедем в глушь. Я видал из вагона: есть еще боровитые места. Ты с обрыва спускаешься за водой. И ты сама, как речка: все в тебе — лес и небо. А я сижу на камне...

Елена. Пусти, задушишь. Я людей крикну...

Они борются. Стук в раму. Снаружи, привстав на завалину, засматривает Лаврентий и делает знаки. Вытирая лицо полотенцем, Лука идет к окну.

Лука. Ну, что тебе, лиса?

Лаврентий воодушевленно машет руками, и сквозь стекло ничего не понять из его жестов.

Ну, заходи. Давай скорее.

Лаврентий исчезает.

Эх, Лена! Не ссорилась бы ты со мной...

Е л е н а (*подаваясь на его ласку*). Вот, и сильный ты. А кажется: раздеть тебя — и весь ты в рубцах, битый. Кто, кто тебя сюда пригнал?

Л у к а (*хрипло*). Любовь.

Стук в дверь.

(*Громко.*) Давай!

2

Вошел Л а в р е н т и й с сумою. Он изображает великую радость о свидании с сыном.

Л а в р е н т и й. В кои веки, Лука! Дай мне прижать тебя, принять на себя твоё дыханье...

Л у к а. Ступай теперь, Елена. Сейчас ломаться начнет. Ишь, что на публике выделявает, петрушка.

Она не трогается с места. Лаврентий суетливо бегаёт по комнате, заглядывая во все углы — нет ли посторонних; и верно: есть в нём что-то от петуха, обхаживающего курицу.

Ступай, я сказал. Дай Сандуковым обняться на радостях. (*Лаврентию.*) Эй, петух, курицы не вижу!

Елена уходит.

3

Л а в р е н т и й. Сие проходит мимо меня. Уж полгода не осязал тебя, вот и льются слезы-то. (*Прикрыв рот ладонью, секретно.*) Боялся: уж и застрелили Лукашку-то, как букашку, хе-хе. А он живет, сукин сын, слава богу, во святых его!

Л у к а (*барабаня пальцами в стол*). Короче, короче, лиса. Не обедню тянешь.

Л а в р е н т и й. Злое семя, злое семя. Плевел, плевел на ниве людской. А родной, родной!.. Как тебя называть-то теперь?

Л у к а. Как! Ты Сандуков, я твой сын. Обыкновенно. Ну, что у вас там, в загробном мире?

Лаврентий. А ничего. Лежим, сынок, под нафталином, до всеобщего воскресения.

Лука (строго). Помирать пора, отец. Совесть надо иметь.

Лаврентий. Легко сказать! Что она, адреса моего не знает?.. Да ведь живучие все у нас в роду. Считай!.. Прокопий уж только шестидесяти осьми в колодец упал, пьяный. Герасим-то на семидесятом вторую сноху заездил. Онисим... (Махнув рукой.) Только ты у нас рано себя кончаешь.

Рама раскрылась от ветра. Лука пошел закрыть ее, смял при этом в горсти ветку сирени и поднес к своему лицу.

Лука. Ну, я жизнь люблю, старик.

Лаврентий. Да жизнь-то тебя не любит.

Лука хочет кстати задернуть и занавеску, Лаврентий не дает.

Пошто, пошто тебе тьма? Пускай светло будет. (Тревожно.) Скоро отсель уходить-то собираешься?

Лука. Дай дух перевести, не гони раньше срока.

Лаврентий. А я и не тороплю тебя. Хошь — нонче уходи к вечерку, а хошь — завтра поутречку. Так ножками ступай... А то ризы-то с тебя совлекут, весь срам и увидят.

Лука. Ты за мной, как горе, ползешь. От Глафиры меня прогнал. У Федьки двух дней погостить не дал. Опасную игру ведешь, старик!

Лаврентий. Самая жизни дороже мне счастье детей моих.

Пауза.

Ты бритву-то положи. Бритва есть острый предмет.

Лука. Океан хитрости в тебе, лиса. Денег хочешь?

Лаврентий (очень поспешно). А что, лишние завелись?

И он уже гладит то место стола, краешек, куда должен положить деньги Лука. Сын откровенно смеется над этим произвольным движением Лаврентия.

Нет, сынок, не воодушевляет меня злое золото твое.

Лука. Не о злате речь. Ну, а вещь, например, рублей в пятьдесят, воодушевляет тебя? Ха, тогда возьми вон одеяло у Рощина!

Лаврентию остается лишь посмеяться над собою вместе с сыном.

Лаврентий (*сквозь смех и кашель*). Ух, заморил ты меня совсем, Лукашка. Шутишь над стариком, в люди вышел. Тебе уж, поди, иерей-то и пахнет плохо. (*Наступая на сына.*) На-ка, понюхай меня, отца своего!

Лука. Брось, брось... (*И, сразу обрывая веселье.*) А если не уйду?

Пауза. Лаврентий вытирает лоб рукавом.

Лаврентий. Я тебя тоды народу выдам. Выду на базар да — «людишши, вскричу, хватайте ево, пока не поджег он дѡмы ваша, пока ребяток ваших не потравил!» А у них, Лукаш, рука тяжелая.

Лука. Всегда знал, что ты поможешь мне упасть.

Пауза.

Много в голове держишь. Лучше порох в ней хранить, чем такие мысли. Смелый ты!

Лаврентий. А я всякий бываю. Мне Ксанку от тебя охранить охота. Чего в ей?.. На что Рощин польстился? Так только, жилка какая-то дрожит и гибнет. А в счастье живет. Уж дай ей жить, уйди!

Лука. Куда уйти-то, лиса!

Лаврентий. А беги, скитайся. Летом травку ешь, ягодка, грибок тебе случится. Река тебя напоит. А зимой... что зима! Собаки-то не мерзнут!

Лука. Уж умереть легче.

Лаврентий. И то! Сам, ты сам умри, Лукаш. Самому-то не так страшно. Посмейся над ними! А я твой грех отмолю... в чистом поле, перед осиновым пеньком. Смелей! (*Подталкивая снизу в подбородок.*) Глянь, глянь наверх-то разок! Давай я благословлю тебя. Веревка у меня есть хорошая, конопельная..

Лука молчит, плечи его обвисли. Лаврентий кладет руку ему на голову.

Властью, данной мне от него (*стука по суме*), дрянь и прелесть мира создавшего, сымаю с тебя самоубиение твое!

Лука (с силой отпихивая его от себя). Иди ты... к чорту!

Ему жарко, рубаша душит его; он рванул ворот, стрельнула пуговица; долго ходит по комнате.

Для кого ты представление затеял? Ломается-ломается... Тебе Ксанку жалко или себя?

Лаврентий (тихо). Ты раскомаривай себя на стороне. А за других не хватайся. Я тебе башку напрочь оторву. И Ленку за собой не влачи: она тебя первал утопит!

Лука. Ага, своим голосом, наконец, заговорил.

В ту же минуту на террасу через открытую раму влетает теннисный мяч. Лаврентий пугливо шарахается.

Это мячик с тенниса... Сколько же ты мне сроку даешь?

Лаврентий. И часу много, да мягко сердце-то. День!.. Ну, не сердчай на меня. (*Копаясь в кармане.*) Орешков не хочешь? Мне старушка даве подвалила... Ты, говорит, уж больно старичок-то забавный. И верно, я смешной! И какая я лиса, — я уж скорей зайчик стал. (*С порога обернулся.*) Пахнет-то у тебя как духовито!

Лука. Сирень.

Уходя, Лаврентий сталкивается с Настей. Слышны голоса остальных, которые ищут мяч под окном.

4

Настя (внимательно глядя вдогонку Лаврентию). Лука Лаврентьевич, тут мячик не залетал?

Лука. Где-то здесь.

Настя (в окно). Тоня, Нинка... он здесь, здесь.

Луке, который, откинув ногой крышку чемодана, раздумчиво смотрит в него.

Это Магдалинин. Мы его хотим научить, а он такие свечки дает...

5

Две настиных подруги, молодой человек и Магдалинин с ракеткой входят через дверь. Солнце уже низко, последние блики горят на стене.

1-я подруга. Ну, нашла? (Луке, едва узнав его.) Здравствуйте!

2-я подруга. А вы без бороды еще старше выглядите. Ну, нашли?

Н а с т я (*на коленях*). Нет, закатился куда-то. И под шкафом нету. (*Да она и не ищет, а все глядит украдкой на Луку.*)

Ма г да л и н и н (*виновато, не участвуя в поисках*). Говорил я вам, поздно мне спорту обучаться.

М о л о д о й ч е л о в е к. Зачем же вы снизу-то поддаете? Эх, старец! Нужно глазомер иметь.

Ма г да л и н и н (*ворчливо и утираясь платком*). Вот и заменили бы меня, раз вы такой профессор.

М о л о д о й ч е л о в е к. К сожалению, я не играю в теннис.

Н а с т я. Нашла, нашла! Он за банку с вареньем закатился.

М о л о д о й ч е л о в е к (*Луке*). Можно мне теперь снять вас, товарищ Сандуков? Пока солнце не ушло...

Лу к а (*рассеянно*). Снимайте.

М о л о д о й ч е л о в е к. Вот спасибо. Тогда садитесь вот тут, так. Теперь встаньте кто-нибудь из своих сзади... А то скажут, что я с чужого негатива напечатал...

Девушки стесняются.

Н а с т я. Иди ты, Нина.

2-я п о д р у г а. Почему именно я? Я вся растрепанная. Лучше Тоня.

Ма г да л и н и н. Давайте я встану. (*Становясь позади Луки.*) Вот для этого дела я гожусь.

М о л о д о й ч е л о в е к. Отлично! Василий Самсонович, положите руку ему на плечо. А вы (*он срывает карту со стены*) возьмите вот карту... и как будто показываете, где Чукотка. Так! (*Он разошелся, перекладывает руки Луки, поправляет складки его гимнастерки, даже коснулся подбородка. Тот взглядывает с бешенством, но повинуется.*) Теперь внимание. Ой, забыл, какая кассета у меня была снята...

Н а с т я. Все фотографии — деспоты, а ты, Колька, прямо рабовладелец!

2-я п о д р у г а. Сейчас солнце скроется.

М о л о д о й ч е л о в е к. Внимание! Василий Самсонович, немножко улыбки! Снимаю...

Все замолкают. Щелкает затвор. Солнце скрылось, сразу стало сумеречно. Все собрались уходить.

2-я подруга (*первой*). Ну, говори, говори... ты хотела сама.

1-я подруга. Лука Лаврентьевич... у нас завтра в педтехникуме вечер перед выпуском. Вы не согласитесь выступить с рассказом о жизни наших незаметных героев за полярным кругом?

Лука. Не знаю. У меня плохо выходит.

2-я подруга. Настя, попроси его.

Настя. Они уже с директором сговорились. Все очень просят.

Лука. В котором часу? Возможно, я уеду к ночи.

1-я подруга. О, мы успеем. Приедем за вами на машине, упакуем...

Магдалинин. ...в стружки.

Молчание. Косой взгляд Луки.

2-я подруга. Почему в стружки? Тоже, сострил!.. И увезем прямо на вокзал, даже не заметите.

Лука. Хорошо.

Они уходят. Магдалинин незаметно прячется за занавеску.

Первая подруга возвращается.

1-я подруга. Разрешите наш спор, если вам... Как пахнет белый медведь?

Лука (*зло*). Рыбой. Он тухлой рыбой пахнет.

1-я подруга (*разочарованно*). Спасибо.

Ушла, и тотчас же за дверью начинаются поиски Магдалинина:

«Василий Самсонович! Василий Самсонович!..»

Магдалинин (*из-за занавески*). Не говорите, что я здесь. Прямо до испарины загоняли.

2-я подруга. Магдалинин у вас?

Лука. Он в окно вылез. (*Магдалинину*.) Выходите, они убежали. И уходите. Я хочу быть один.

6

Магдалинин (*вышел из своего укрытия*). Минутку пережду. Нет, старому миру не угнаться за молодостью. Пора не та!

Молодежь еще раз со смехом пробегает мимо окон: «Настя, Настя, с крыльца заходи...»

Бегают, смеются. Вот так же, со смехом, и драться пойдут. Победа начинается с первой бесстрашной улыбки. Кстати, вы любите бегать, Сандуков?

Лука. Нет.

Магдалинин. Та-ак!.. Ну, а за что мы с вами будем драться, Сандуков?

Пауза.

Молчите — и правильно. Не говорите никому, за что мы станем драться. А то *они* рассердятся.

Лука. Вы, кажется, ловите меня? Не чисто работаете, я вам не Цирульников. Вообще у вас тут мода, я вижу, в сыщиков играть.

Магдалинин. А думаете, их нет?

Лука. Кого?

Магдалинин. А врагов-то!

Лука. Какого же чорта вы губы распускаете по этому случаю?

Магдалинин. Анекдот сейчас придумал: «Неужели вы верите в шпионов?» — спросил один. «Конечно, нет!» — ответил другой. И их повесили вместе.

Лука. Я не поклонник провинциального юмора. (*Берясь за скобку двери.*) Извините, пойду перекусить. Со вчерашнего дня ни крошки.

Он стоит спиной к Магдалинину, взявшись за скобку. Смутная тревога мешает ему открыть дверь.

Магдалинин. Вам не очень хочется уходить, Сандуков. Так оставайтесь. Разве со мною скучно?

Лука (*вернувшись*). Да нет... Но вы, кажется, юрист? Органически не выношу юристов.

Магдалинин. Советских только или всяких?

Лука в бешенстве идет к нему.

Лука. Говорите быстро, что у вас есть ко мне!

Магдалинин. С передовых позиций не бегают, Сандуков. От нас не так легко уйти.

Внезапно Лука хватается его. Тот улыбается, не сопротивляясь.

Лука отступает, суеверно вытирает руки о штаны.

Дурак! Куда же ты меня, мертвого-то, спрячешь в этом доме?

Лука. Вот кто ты!

Магдалинин. Зовите меня на «вы», Сандуков. Я старше. *(Расхаживая по комнате и вертя в руках за спиной лопаточку для выбивания пыли.)* У вас неплохой нервный ритм, но мало ума. Вот где нечистая работа. Давеча, когда мы снимались, вы вместо Чукотки показывали мне Камчатку. Потом этот выстрел в Кукуева — тоже глупость. Это делают в укромном месте, наедине!

Лука. Я хотел спать.

Магдалинин. Надо уметь хотеть спать. Вы еще на Рощина замахнитесь за то, что он из-под вас невесту украл.

Лука. Так это он? Ага, спасибо за сведение. Я не знал.

Пауза.

Кукуев, наверно, разболтал про этот выстрел?

Магдалинин *(нехотя)*. Н-нет. Вчера я припугнул его. На сегодня дал ему работу в двух клубах. Завтра отправляемся попойнствовать в одно место. А у него вообще... плохое здоровье.

Лука *(понятливо)*. А-а...

Магдалинин. О вас приходится заботиться, как о ребенке. *(Он останавливается у шкафа.)* Зайдите сюда, за уголок.

Лука *(насторожась)*. Зачем?

Магдалинин. Встаньте здесь, а то видно снаружи.

Лука. Может быть, задернуть занавеску?

Магдалинин. Обойдемся и так. Ну! Когда я прошу, это надо делать быстро.

Лука неохотно отправляется на указанное место. Его не видно от рамп. Отведя одну руку за спину, Магдалинин бьет его, как придется, ивняковой лопаточкой. В его речи на мгновенье проскальзывает нерусский акцент.

Я бью одного собачьего сына, чтоб работал и не бегал... не бегал. Опустите руки, я еще не кончил.

Орудие расправы ломается у самой рукоятки. Он бросает обломки в угол. Совсем сумерки. Тяжело дыша, Магдалинин отходит к открытой раме и наклоняет лицо к веткам сирени.
Он говорит, стоя спиной к Луке.

Разожмите кулаки, Сандуков. Так. Не вздумайте кричать. Там, снаружи, будет еще больнее.

Пауза.

Вам нравится сирень, Сандуков? Лично я предпочитаю розу.

Лука (*не сразу появляясь из-за шкафа и судорожно оправляясь*). Вы еще довольно сильный для вашего возраста человек.

Магдалинин. О, вы мне льстите. Уже не то. Одышка! Я вас нигде не поранил?

Лука вытирает пот, прикладывает полуоторванный на гимнастерке лоскут.

Теперь говорите, только недлинно. Почему вы сбежали из Воронежа?

Лука. Я выполнил много поручений, но... собаки идут по следу!

Магдалинин. Мы это знаем. Держитесь, чтоб не пришлось пожертвовать и вами!

Сандуков делает жест бешенства.

Вы перестали ненавидеть?

Лука. О нет.

Магдалинин молчит.

Я боюсь. Мое тело боится. Я хочу Елену, сирень, воздух. Я хочу жить.

Магдалинин. Когда на фронте потери, в тылу отменяются отпуска. Я сам уже двадцать семь лет в этой стране. Уже хожу в баню, люблю самовар, ем блины на масленице. Когда я был щенок, как вы, мне тоже мечталось — дом со скворешником, цыновка перед порогом. И полная, добрая фрау. И сын приезжает из города на вейнахтен навестить старика. Это слюни возраста! Мне их утерли.

Пауза.

Трус весом в сто кило — это достаточно гнусное зрелище. Согласны?

Лука (*сжавшись*). Я слушаю вас. У вас есть планы?

Магдалинин. Планы — это логика, а логика — отмычка ко всему. Сам Цирульников сломался на логике!..

Лука. ...которого вы предали?

Магдалинин. Он все равно закончился. Я получил про него телеграмму. *(Дает прочесть.)* Неудачные роды дочери — это про него... Но логика бешенства, вот! Валите людей, шепчите, сейте сомнения, делайте просеки... Они пригодятся нам, Сандуков... И чтоб никто не улыбался, оставаясь наедине. Убивайте улыбку! И кусайте, кусайте на сгибах, там трудней заживает.

Лука. Вы прямо поэт. Конкретно — Рошин?

Магдалинин. Что Рошин! Остаева, то есть народ.

Пауза.

Я проголодался с вами, Сандуков. Пойдем закусим вместе. Вы так мне и не ответили, нравится ли вам сирень. Лично я люблю в сирени эту кристальную чистоту. Этот холодок майского воздуха, эту взволнованность младости. Кроме того, я люблю в сирени... Прошу!

Он выпускает Сандукова первым. Некоторое время сцена пуста. Потом в дверь заглядывает Настя.

7

Настя. Лука Лаврентьич, вы один? вы не спите? *(Кому-то за дверь.)* Никто не отвечает. Он ушел, пока ты с бабушкой говорил.

Остаев *(войдя и осмотревшись)*. Я подожду его здесь. Ты ступай по своим делам.

Настя. Но он может вернуться только к ночи. Поискать его?

Остаев. Не надо, я не тороплюсь.

Настя. Я тоже.

Он сел. Она опустилась на скамеечку возле, положила голову ему на колени. Остаев касается ее волос.

Андрюшка, у меня есть к тебе пренеприятный вопрос.

Остаев. Ну, только тихо.

Настя. Ты... шибко меня любишь?

Остаев. Шибче даже нельзя. Постой, не говори ничего, молчи.

Настя *(тоже прислушавшись к звукам)*. Нет, это бабушка с посудой. А зря любишь. Я неорганизованная. На

планёре катаюсь, конфет много ем... Ну, а за что ты меня любишь?

О с т а е в. Не надо вслух об этом.

Он шепчет ей что-то на ухо, она смеется.

Н а с т я. Ну, у нас все веселые и чистые. А еще?

Он опять склоняется к ее уху.

Тоже сказанул! У нас все умные и смелые. Не-ет, ты самое важное скажи!

О с т а е в. Важнее не знаю, не умею.

Н а с т я. А пожалуй, ты и прав, Андрюшка. Любовь не должна знать, как она родилась. И я не знаю. Хотя нет, знаю. Ты будешь большой ученый, Андрюшка. Можешь мне верить? Я никогда не лгу. Но зачем ты такой строгий с людьми? Хотя нет, будь, будь строгий... Не изменяйся даже для меня. (*Неожиданно.*) Не целуй меня, я запрещаю тебе!

Он ее целует.

Я хочу быть землей, по которой ты ходишь.

О с т а е в. Детка, ты хочешь мало: бессмертия.

Н а с т я. Я не досказала... Землей — пока по ней ходишь ты. Хочется тебе растаять во мне без остатка?

О с т а е в (*сухо*). А ну-ка, зажги свет на минутку, Настя.

Н а с т я (*обиженно отодвигаясь*). У нас здесь проводки нет. Я вижу, тебя пугает моя любовь. Не бойся, это у меня скоро пройдет. Уже проходит.

Пауза.

О с т а е в. Ну как, прошло?

Н а с т я (*совсем по-детски*). Нет еще, не совсем.

О с т а е в. Что еще ты хочешь, девочка моя?

Н а с т я. Хочу, чтобы прошли тучи.

О с т а е в. Мы это устроим, пожалуйста. Еще?

Н а с т я. Хорошую ботаническую лупу.

О с т а е в. Еще?

Н а с т я. Скажи, зачем тебе нужен Лука?

Вечерние звуки вступают в окно.

А я знаю. Рошин пожелал познакомиться с родней жениха. Но жених тоже непрочь полистать родню Рошина.

Быстрые шаги за дверью. Кто-то снаружи шарит скобку двери.

Остаев. Молчи.

Торопливо входит Сандуков, вслепую шарит на столе, роняет какую-то вещь, берет бритву. На мгновение блеснуло ее лезвие. Он уходит.

Настя. Что он взял?

Остаев. Бритву.

Настя. Зачем ему?.. Опять молчишь, что-то прячешь от меня. Поссорился с отцом, а он хороший. Это он Еленочку поднял... Она полуграмотная к нам приехала. Ну, говори быстро, чего ты сейчас больше всего хочешь? *(Тормоша его.)* Ну!

Остаев. Знать, куда ушел с бритвой Сандуков.

8

Рошин чиркает спичку в дверях.

Рошин. Кто тут у меня?.. Можно?

Настя. Входи, ты нам не помешаешь. К сожалению. Мы не слышали, как ты подъехал.

Она хочет обнять его. Рошин сторонится.

Рошин. Постой, дочка. У меня неприятности.

Он зажигает огарок свечи. Настя поворачивается к отцу спиной.

Ты не одна?

Настя. Я боюсь темноты. Со мной Остаев.

Остаев. Здравствуйте, Григорий Иванович!

Они поздоровались холодно. Откуда-то с шоссе доносится далекая гармонь.

Вы звонили мне. Я приехал. *(Иронически.)* Едва сдерживаю волнение.

Рошин. Потом, потом...

Неловкая пауза.

(Насте.) Магдалинин не приезжал?

Настя. Он у нас с обеда. Ксения его на весь день позвала.

Рощин. Так. Принеси нам, Настя... что-нибудь попить.

Молчание.

И не торопись.

Настя. Что вы затеваете? Папа, я уже не ребенок. Я хочу знать все.

Остаев (*бережно и с нежностью ведя ее к двери*). Есть знания, детка, которые могут испачкать человека. Ступай и будь совсем милой. Нам очень хочется пить.

Настя ушла.

9

Остаев (*не зная, с чего начать*). Как прошел спектакль?

Рощин. Неплохо. Я не дождался конца. Дал кое-какие указания и уехал.

Остаев. Вы хорошо разбираетесь в театре?

Рощин. А что?

Остаев молча играет веткой сирени.

У вас есть склонность задавать иногда странные и неприятные вопросы.

Остаев. Но я никогда не задаю их впустую.

Рощин. Это правда. Ваша вражда с Магдалининым делает вам честь. За старичком оказалась кое-какая темнота. Пока я направил туда людей с фонарями.

Остаев. Я ждал, что вы заговорите со мной о другом. О Сандукове.

Рощин (*выжидательно*). А что, тоже сумлеваешься?

Остаев. В истории науки сомнение бывало иногда более прогрессивным фактором, чем абсолютная вера.

Рощин. Ну, я человек неученый, кухаркин сын.

Остаев. Пора подучиться! Я тоже не из графьев. Не надо ждать, пока другие скажут.

Пауза. Рощин в гневе подносит огарок к лицу Остаева.

Рощин. Вы... вы даже похудели, Остаев. Что это, любовь?

Остаев. Вы капаете стеарином на пол, Григорий Иванович.

Рощин. Есть документы на Сандукова?

Остаев. Тогда я обратился бы в другое место. У меня есть ощущение.

Рощин (*разочарованно*). Неходкий товар. Вам что, вообще не нравятся зимовщики?

Остаев. Раки тоже где-то зимуют. Однако я их ем.

Рощин. Грубо, товарищ Остаев!

Остаев (*запальчиво*). Они уже лезут на нас, Рощин. А на войне всегда грубо!

Пауза.

Не сердитесь, Григорий Иванович. Хочу, чтобы вашим внукам хорошо и честно жилось в просторном доме родины моей. И еще: не люблю ходить в дураках.

10

Аграфена входит с подносом, на нем шестнадцать стаканов чая.

Аграфена. Настенька чай вам прислала. Да где же остальные-то? (*Не сразу поняв, в чем дело.*) Ой, баловница! Может, лампу вам принести?

Рощин. Не надо. К слову: тут приедут четверо. Проведи ко мне, чтоб Магдалинин не видал. (*Остаеву.*) Попейте хоть чайку со мною...

Остаев. Нет, пора. Мне только с Настей попрощаться.

Рощин (*задерживая его руку в своей*). Трудно ей будет с вами, Остаев.

Остаев. Ну, всякая радость стоит своего труда.

Рощин. Проводи его к Настеньке, мать. Видишь, он умирает от любви!

Они ушли. Упираясь локтями в колени, Рощин сидит на койке и смотрит на пылающий огарок и, не чувствуя ожога, оправляет пальцами фитиль. В дверь без стука вошла полуодетая Елена.

11

Елена. Можно к тебе?

Рощин. Пришла наконец, нашла время. Куда же ты такая? А если Лука сюда войдет?

Е л е н а. Он вдруг собрался и в город уехал.

Р о щ и н. А!.. Эх, сизый голубь, посиди хоть ты со мной. Что у нас в доме-то делается?

Е л е н а. Все хорошо будет, Гриша.

Р о щ и н *(настороженно)*. А что пока плохо-то?

Е л е н а. Замучилась, ума моего нехватает.

Р о щ и н. На что нехватает-то?

Е л е н а. Луку ловлю, а он склизкий, уходит. Всю ночь сидела, слушала, может во сне проговорится, — а нет. Но разгадаю я его загадку, только бы не помешали. *(Ладонями закрывая свои голые плечи.)* Не гляди на меня, Гриша. Злая я сейчас...

Глухая трель гармонии с шоссе. Вдалеке одинокий крик. Рощин и Елена прислушались. Тишина.

Ни единому вздоху его не верю. А родне его еще меньше.

Р о щ и н. Я тоже.

Е л е н а. Ой, давно ли?

Р о щ и н. Я вчера запрос о нем послал: был ли зимовщик с такой фамилией?

Е л е н а. Как же мне самой-то в голову не пришло? Ну, ответа не присылали?

Р о щ и н. Ответ получен... утвердительный. Тут глубоко, Елена. Тут неведом надо брать.

Шум на дворе, голоса, свисток. Елена бежит к окну. По комнате скользят блики от фонарей, с которыми проходят люди во дворе.

Г о л о с а. Ты аккуратней, аккуратней... Рогожу-то подымайте разом, за все концы.

— Он у тебя спалзывает, спалзывает он у тебя...

Р о щ и н. Взгляни, кого они несут? *(Сам подошел к окну.)* Эй, соколá, что у вас там?

Г о л о с. Магдалинин... на шоше... зарезался.

Пауза. В окне появляется деловитый п а р н и ш к а в красной рубашке, глаза его горят.

П а р н и ш к а. Куды его класть-то, Григорий Иванович? Там накрапывает!..

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Столовая из первого действия, но с того времени поприбавилось в комнате — рояль, ковер на стене, шторы на окнах, всякая пестрая мелочь. Мебель уже вся в чехлах. Два новых кресла в углу похожи на людей, присевших на корточки и накрытых простынями. Вечер, пасмурно, крыши блестят от дождя.

Аграфена складывает шубы в сундук, засыпает их нафталином.

1

Громкий, с руладами и странным бульканьем зевок за дверью.

Аграфена (*за дверь*). Эй, взойди, красота. Чего тебе в прихожей-то томиться!

Вошел Кукуев. На нем чесучовый пиджак, белые в полоску брюки, в руках соломенная шляпа, плащ, палка с костяной ручкой, перчатки, коробка конфет, букет и еще что-то в карманах. Он плохо справляется со всем этим имуществом. Аграфена мерит его взглядом.

Батюшка... из дому-то все захватил аль еще осталось? Ты б еще мелкий столик на себя надел!

Кукуев. Ах-ах, Аграфена Петровна, а еще в людях жили. В парадном виде ни один человек на себя не похож!

Аграфена. Зачем тебя Еленочка-то позвала?

Кукуев (*таинственно*). Причина неизвестная. Однако письмо духами пахнет.

Переглядываясь, оба нюхают конверт.

Аграфена. Приманула тебя, видать. Так ведь у ей жених есть.

Кукуев (*испытующе посмотрев на старуху*). Молчу. (*Про картину, на которую смотрит, сложив пальцы в трубку.*) Природа изображена. Довольно живые краски. (*Не оборачиваясь.*) Аграфена Петровна!

Аграфена. Что, милая ты моя картинка?

Кукуев. Она вам про меня ничего не намекала?

Аграфена. Намекать не намекала, а сказывала.

Кукуев. Что сказывала-то?

Аграфена. Лицом, говорит, Кукуев не вышел, на на-
лима похож, а по душе, говорит, отменный человек.

Кукуев. Ах-ах!.. А поконкретнее не выражалась?

Аграфена. Некогда мне с тобой, батюшка. Пока-
рауль пока шубы-то! (*Она ушла.*)

Кукуев в волнении приводит себя в порядок перед зеркалом.
«Ежели издаля, так ты, Фома, совсем ничего!» Замечает пятно
на шляпе, трет его. Из графинчика на буфете смачивает носо-
вой платок. Вошла Елена.

2

Елена (*на ходу*). Здравствуйте, Фома Никитич. Уж выпиваете? Вы рюмку возьмите. Там, в буфете, и сыр есть.

Кукуев. Даже не могу найти, что произнести. (*Про шляпу.*) В девятьсот девятом в Ревеле куплена...

Елена. Я захлопоталась, заставила вас ждать. Завтра утром Сандуков уезжает. Меня с собой зовет. Так вот: ехать мне с ним?

Кукуев. Ни в коем разе!.. (*Испугавшись.*) То есть, конечно, можно и поехать (*иронически*) для здоровья.

Елена. Я и решила поговорить с вами по одному делу. Секретному, Кукуев!

Кукуев. Могила, как это говорится, раза в три разговорчивее, чем я.

Елена. Отлично. Видите ли, возраст мой таков, что пора мне замуж выходить.

Кукуев. Абсолютно согласен, чего уж тут ждать!

Елена. Но когда не знаешь человека, то... Словом, я и решила обратиться прямо к вам.

Елена показывает на кресло. Кукуев в волнении садится, потом встает, набирает воздуху в грудь и снова садится.

Кукуев. Все понял. Разрешите приступить? Я зачну немножко издалека, но вы меня не прерывайте. Скажу о себе напрямки. Я являюсь застарелый холостяк. (*Хитро усмехаясь.*) Иные даже подразумевают во мне игру природы, хо-хо! Они меня просто не знают. Отсюда вопрос: в чем же тогда секрет? Отчего же, отчего я, так сказать, сорок девять лет варюсь в индивидуальном соку? Ответ прост. Хотите — смейтесь, хотите — нет. Я всегда обожал только высоких женщин!

Елена. Фома Никитич, вы меня неправильно поняли...

Кукуев. Погодите, вы уж привыкайте ко мне помаленьку. Для меня женщина ниже, чем метр восемьдесят пять, просто как-то не существует. То есть она существует, но как человек, как брат. И когда вы в тот раз, как этот жулик приехал, пропорхнули мимо меня с квасом, то, извините за грубость, вся шерсть на мне затрепетала. Вот когда я понял, что ошибался...

Морщась, но не от смеха, Елена идет к столу; наливает воду из графина, пьет. Ее губы закушены.

Кукуев заметил ее состояние.

Буду краток. Я есть бережливый, жизнерадостный активист, вес с одежей девяносто семь, по утрам занимаюсь гимнастикой. Имею жилплощадь с садиком, выколачиваю восемьсот. Но поскольку массы тянутся к музыке, а количество инструментов сказочно растет и поскольку товарищ Сандуков вам совсем не пара... Что, что с вами?

Елена (*справившись с собой*). Вот я и хотела узнать, почему... почему он мне не пара?

Кукуев. Виноват, вы за кого выходить-то собрались?.. За меня или...

Елена. Совесть имейте, Фома Никитич. Посмотрите в зеркало-то на себя!

Кукуев нерешительно отправляется к зеркалу; ему боязно взглянуть на себя, потом он касается усов, сует в карман сбившийся галстук, в огорчении смотрит на свои закатанные брюки.

Кукуев. Я... я лучше домой пойду.

Елена. Имейте жалость, Кукуев! Я останусь одна, на распутье... Кстати, вы с Сандуковым раньше были знакомы?

Кукуев. За руку не держались, а взглядом не считается.

Елена. Зачем же он стрелял в вас тогда?

Кукуев (*машинально касаясь царапины*). Происшедшая нечаянность. От прикосновения руки.

Пауза.

Только если у вас на уме итти за него, так лучше вам от него в гроб укрыться. (*Доверительно.*) Они стервецы-с. Где жрут, там и гадят.

Елена. Да вы говорите начистоту!

Кукуев. Опасаюсь.

Елена. Чего, чего?

Кукуев. Товарищ Магдалинин позавчера упредил меня, что-де поскольку товарищ Сандуков являются родственниками товарищу Рошину, то через посредство этого можно без хвоста остаться.

Елена. Какие пустяки. Рошин простой человек, как и вы. Он поручил мне узнать правду. Он работал ночь, спит. Хотите, разбужу его?

Кукуев. Отпустите меня домой. Я всем доволен.

Елена. Значит, вы нарочно про него сказали, чтоб соперника отогнать?

Кукуев изо всех сил борется сам с собою.

Ну, приезжайте завтра на вокзал проводить нас с Лукою. Поезд уходит в полдень. Ладно?

Кукуев (*не принимая ее протянутой руки*). Ах, раз так, сидите крепче. Я... я их в прошлом году под Воронежем встречал. Они в соседнем купе ехали с дамочкой и штопор у меня попросили. А потом военный их спугнул ненароком, они на ходу и спрыгнули. Штопор оставимши при себе. Я их в лицо потому и заприметил, что вещь-то заветная. Все. Прощайте.

Елена (*поднимаясь*). Ну, спасибо вам, Кукуев. А невесту вы себе найдете строго намеченного роста. Попадаются! Я понимаю, как вам грустно сейчас...

Кукуев. И не говорите, до чего тяжело. Замнем-с! Так мне и надо.

Звонок в прихожей.

Е л е н а. Сегодня же присылайте Дарью Никитишну. Пора молодых устраивать. Это ваш сверток?

К у к у е в. Коробку конфект хотел поднести, если сладится. Придется самому конать. Вот сяду нонче вечером у раскрытого окошка... Извините, что невпопад раскрылся.

3

А г р а ф е н а. Што, родной, не выкраивается твоя доля?

К у к у е в. Факт остается фактом.

А г р а ф е н а. Тебе, милый птенчик, старушку надоть вроде меня. Она тебе и горчишник поставит и рюмочку поднесет.

К у к у е в. Ах-ах! Сказал бы я вам, бабушка, да при дамах стесняюсь. (*Уходит.*)

4

А г р а ф е н а. С Ксенией-то поговорила?

Е л е н а. Нет еще. Дай мне платок, бабушка, знобит меня.

А г р а ф е н а. Не остудилась ли?

Е л е н а. Нет, так что-то. С утра.

А г р а ф е н а. Ксения с Лукою заперлись ночью. Лаврентия призвали. Все жу-жу-жу да быр-быр-быр. Прогнала я попа-то. И всех бы их метлом.

Е л е н а. Ничего, всему свое время, бабушка.

А г р а ф е н а. Магдалинина поминали, а что — не разобрала.

Елена молчит.

Чего молчишь? Уши-то мне на рукомойник, что ли, повесить?

Звонок.

5

Никак, телефон?

Н а с т я (*танцует, пробегает в прихожую*). Ура, ура, Андрюшка приехал!

А гра ф е н а. Вахтер даве спрашивает про Магдалинина, с чего завернулся. А я моргаю, уж что и соврать — не знаю.

Е л е н а. А нечего и врать. Одинокий старичок был, заодно дочь у него погибла.

Н а с т я вошла, сделала знак молчания.

Е л е н а. Кто там, Настенька?

Н а с т я. Лука с Ксенией вернулись.

Она понуро идет к Елене, садится возле.

Е л е н а. Летала нынче?

Н а с т я. Нет, не летается. К микроскопу опять потянуло. Должно быть, и впрямь выросла.

Пауза.

Почему, когда мне грустно, к тебе, как к матери, тянет, Еленочка?

Е л е н а. Все потом объясню, погоди. Ну-ка, бабушка, снимай чехлы с мебели.

А гра ф е н а. Что ты! Ксения со свету сживет.

Е л е н а. Ничего, пускай у нас нынче нарядно будет. Новая жизнь в этом доме начинается. Сымай, сымай!

Н а с т я. Ура... Еленочка бунтуется!

А гра ф е н а. Нехорошо здесь будет. Шла бы ты к себе, девка!

Е л е н а. Зачем? Пускай на людей посмотрит. Ей все нужно знать. Прижмись ко мне, Настенька!

А гра ф е н а. Никак, сюда идут...

Лука и Ксения.

К с е н и я (*продолжая начатый разговор*). ...пожил бы недельку, а там мы тебя и отпустим. Еленочка, ты слышала? Лука завтра утром покидает нас.

Е л е н а. Да, все не сидится ему.

К с е н и я. Ты, конечно, едешь вместе с ним?

Е л е н а. Нет... я еще не решила.

К с е н и я. А мне показалось... ты стремилась приобрести человека в жизни. И ты выходишь из фальшивого положения, в котором ты живешь у нас.

Лука (*лицом к окну*). Не надо, Ксения. Я вернул ей слово. Она и без меня устроится!

К с е н и я. Что же ты завтра будешь делать в этом доме, Елена?

Е л е н а. Но я же не спрашиваю тебя, что ты завтра здесь делать станешь?

Пауза.

А еще сегодня не прошло.

К с е н и я (*пытаясь змять разговор*). Ты голоден, Лука?

Лука. Я непрочь был бы закусить.

К с е н и я. Дайте нам чаю, Аграфена Петровна, и... осталось что-нибудь от обеда?.. Ступайте.

Е л е н а. Не ходите, бабушка. (*Сухо.*) Бестактная ты стала, Ксана. Мать приехала на месяц к сыну, а ты пристроила ее на побегушки.

Напуганная Ксения подошла к Елене, взяла ее за руки.

Опять извиняться? Надо было раньше соображать.

К с е н и я. Не узнаю тебя. Ты вся какая-то новая. И бровь, и бровь другая. Ты даже нравишься мне. (*С еле заметной настойчивостью.*) Ну, подай тогда ты!

Е л е н а. Не трогай меня. Нездоровится мне с утра.

Н а с т я. Давайте я принесу. (*В комнаты — тревожно.*) Папа, иди чай пить.

8

К с е н и я. Вот так и живем, Лука. (*Пряча под шуткой свою растерянность.*) Возьми меня с собой на зимовку!

Е л е н а. Хорошие мысли иногда тебе в голову приходят, Ксана. Отдохнешь, окрепнешь на свежем воздухе...

К с е н и я (*Луке*). Молчишь? Конечно, я не смогу заменить тебе Елену...

Лука. Не болтай глупости, Ксения. Не время!

Р о щ и н. Зовут чай пить, а стол пустой. Здорово, Сандуков! Как твои делиши?

Л у к а. Понемножку прихожу в себя.

К с е н и я. Знаешь, он опять уезжает.

Р о щ и н. А! И далеко?

Л у к а. Сперва в санаторий. Был сегодня у врача. Нервы нашел, дур-рак. Ха, у Сандукова — нервы!

Н а с т я принесла чайник, ставит посуду на стол. Елена молча кутается в платок.

Р о щ и н (*поучительно*). А ты напрасно так относишься к своему здоровью! Ты здорово кричал нынче во сне.

Л у к а (*отвернувшись*). А о чем... не запомнил?

Р о щ и н. Неразборчиво в общем. Собаки какие-то...

Л у к а (*не сразу*). Видишь ли... у меня всегда собака возле койки спала. Проснулся, руку опустил, а никого нету. И вдруг испугался... пустоты! Трехлетняя привычка.

Н а с т я. Григорий, тебе погуше?

Р о щ и н. Да. Надолго едешь?

Л у к а. Я в санатории недолго побуду.

К с е н и я. Неужели опять на зимовку?

Л у к а. На этот раз думаю податься на золото. Кстати, не выяснили, что с Магдалининым?

Р о щ и н. Наверно, пронюхал, что по следу иду. Но как бритва моя к нему попала!

Л у к а (*в упор*). А ты сам не имел с ним ссоры? (*Смутясь от рощинской усмешки.*) Мне что-то это дело темно!

Н а с т я (*стремительно*). Но ведь вы же сами, ночью...

Елена удержала ее за руку. Пауза.

Е л е н а. Старик Магдалинин заходил к Луке. Видимо, захватил со стола.

К с е н и я. Уверена, старик это сделал с умыслом: запутать чистых людей. Боже, как мы иногда обманываемся в... (*Только теперь заметив перемену.*) Кто снял чехлы?

Н а с т я. Это Еленочка велела.

К с е н и я. Ты? Смелая какая стала.

Е л е н а. А зачем красоту прятать? Пускай глаз радуется. Пускай...

Ей становится трудно говорить, она борется с очередным приступом, который скоро проходит. Настя заглядывает ей в глаза.

Н а с т я. Дать тебе что-нибудь, Еленочка?

Е л е н а (*отстраняя ее*). Я говорю, пускай все раскрыто будет.

Л у к а. Ну, я пошел пока вещи собрать. (*В последний раз.*) Как же ты решила, Лена?.. Лена!

Е л е н а. Голос чужой, не слышу.

Он уходит, плотно прикрыв за собой дверь.

10

Е л е н а. Магдалинин тебе нарочно со всего города мебель посмешнее собирал. А ты и обрадовалась? Чего ж чужую насмешку прятать!

Сделала незаметный знак Насте. Та идет к двери.

Смеются люди — значит, есть над чем смеяться.

Настя внезапно открывает дверь, Лука стоит за нею.
Неловкое молчание.

Л у к а (*не обращаясь ни к кому*). Я старуху спросить хотел... белье пришло из стирки?

А г р а ф е н а. Пойдем, Лука Лаврентьич. Я тебе выдам твое белье.

Они уходят вместе. Дверь опять прикрыта.

11

Е л е н а (*Ксении*). А как ты думаешь, зачем Лука за дверью стоял? Скажи Рошину, муж ведь. Мне скажи, всем! К с е н и я. Он... несчастный.

Е л е н а. Прямей говори. Народ спрашивает.

К с е н и я. Я... я тебя с самого низу вытащила, одела тебя, кормлю, а ты... ты...

Н а с т я (*становясь между ними*). Не смей, не смей на Еленочку кричать. Это ты плохая. И артистка ты пло-

хая! Над тобой в театре смеются... Только боятся, что укусишь.

Е л е н а. Перестань, Настя. (*Ксении.*) Предупреждал тебя Лаврентий?

К с е н и я. Григорий, что же это? Вступишь, Григорий!

Молчание.

Е л е н а (*с тоской*). Дождик еще этот с утра... А вот опять. (*Властно.*) Гриша, дай мне воды, самой сырой дай. Что-то тошнит меня с утра.

Ксения отступает. Рошин бросается к Елене.

Р о щ и н. Чай есть. Чаю с лимоном хочешь?

Е л е н а (*сквозь зубы*). Воды, я сказала. Ничего, сейчас пройдет.

Настя убегает за стаканом. Голосом на кухню: «Бабушка, осталось у тебя селедочки? Поделись...»

(*Она встала.*) Нет, пойду...

Р о щ и н (*держит ее под локоть*). Прилечь бы тебе.

Е л е н а (*Рошину, через плечо*). Меня Ксения с Лукою во вдовы посылает. Ехать мне, Гриша, с Лукою-то?

Р о щ и н. Останься.

Елена ушла.

12

Р о щ и н. Тебе бы самой с Лукой поехать. Женский глаз да присмотр — великое дело для нашего брата. Сама проветришься.

К с е н и я. Я не поеду с Лукою.

Р о щ и н. А почему?

Пауза.

Одна поезжай. Путевку тебе театр устроит. А что, не нравится с Лукою?

К с е н и я. Я не поняла, это вопрос?

Р о щ и н. Нет, просто последняя наша беседа.

Рошин поднялся, готов уйти.

Ты сама знаешь, где и когда мы живем. Знаешь, сколько на мне всего лежит. Весь дом тебе доверил... а ведь в спине глаз нет. Ну, твоя очередь говорить!

Молчание. Рошин уходит. Ксения делает шаг вдогонку.

К с е н и я. Григорий!

Рошин обернулся

Ты... ты сегодня поздно вернешься?

Р о щ и н. Больше у тебя нечего мне сказать?

К с е н и я. Клянусь тебе... я ничего не знаю.

Рошин ушел в раздумье.

13

Ксения одна. Она расстроена. Разолетая, вошла с чемоданчиком Остаетва; даже нос блестит от счастья. Несколько позже сюда вернется Аграфена.

О с т а е в а. Здравствуйте, дорогая моя! Вижу, вижу, вся в мечтах и звуках. Я уже почти ушла, только на минуточку.

Ксения неподвижна. Остаетва переводит дыхание.

Ой, высокононько живете, сердце-то и стучит! Как Фома мне передал, так я и помчалась. Андрюша сказал, теперь можно и свадьбу играть. Он-то в скромности хотел, да мне уж понарядней охота, чтоб, как люди. Дерево вон бессердечное, а и то для любви одевается. Я не о тройках, как в бывалошнее время, говорю, а только бы обед с гостями и чтоб тихая музыка играла.

К с е н и я (*рассеянно*). Конечно, конечно...

О с т а е в а. Сама-то я плохо замуж выходила. Я ведь чувствительная. И, знаете, все хотелось мне за композитора, а композиторы живые-то как-то редко попадают.

А г р а ф е н а. И вышла тебе судьба с монтером на чердаке слюбиться!

Остаетва укоризненно смотрит на Аграфену.

В облаках летаешь. О простынях надо говорить. А знаешь, почему нонче простыни-то?

Остаева (робко). И полетать надо, Грушенька, — не раки!.. И уж как хотите, а платье Настеньке сама буду шить. Я и выкройку захватила. (Достала из чемоданчика, раскинула на диване кусок материи.) Да взгляните же кто-нибудь! Мы ей креп-жоржет поставим, а снизу фэй. (Прикидывая на Аграфену.) Ну-ка, стой так. Рукава скроим попышней, со сборками... Прихвати тут мизинчиком. А на шейке присобрано, тысячи-тысячи мелких складочек. Здесь цветок! (Осматривая Аграфену глазом мастера.) Дух замирает, до чего прилично! (И уже закалывает ткань на застывшей Аграфене булавками, которые по прежней привычке носит при себе.) К вам на суд, Ксения Лаврентьевна.

Аграфена. Ты мне, мне говори. Не трожь ее.

Остаева. Они артистки, они дамы со вкусом...

Ксения. Уйдите все вон отсюда... Что вам надо от меня?

Остаева с шопотом извинений пятится в дверь и спиной натывается на сына. Сердась и фыркая, Аграфена торопится снять с себя свадебную ткань.

14

Остаев. Как с тобой говорят, мама! Ступай домой.

Остаева. Я пойду, я пойду, Андрюшенька. Я хотела...

Остаев. И зачем ты все это на себя нацепила? Стеклашки какие-то...

Остаева. Андрюшенька, не сердись. Весь век на людей шила да шила... самой покрасоваться захотелось.

Аграфена (освободясь, наконец, от приколотой ткани). Чево, чево мать бранишь! Экого дуботряса вырастила... Цалуй руку матери, не мене двух раз цалуй. А то как шугану тебя через окно...

Остаева. Не кричи на него, Грушенька. Может, он мыслями занят!

Звонок в прихожей.

Остаев (привлекая к себе мать). Толстая ты моя... И не надо тебе быть другой. Швея — это тоже высокий титул, мать!

А гра ф е н а. Пойдем, Настеньке выкройку покажешь. Осподи, и везде-то я нужна. И что бы с вами без меня стало, оглашенные!

15

К с е н и я (*одна*). Что же нам делать-то теперь, Лука?

Вошла Е л е н а, настороженная и спокойная. Это и есть завершение ее плана.

Е л е н а (*негромко и значительно*). Ксения...

К с е н и я. Что, что там?

Е л е н а. Там... за Лукой приехали.

К с е н и я. Ты... отперла?

Е л е н а. Я через дверь спросила.

Ксения мечется по комнате. Второй звонок у двери. Решась на последнее, Ксения распахивает дверь во внутренние комнаты.

К с е н и я. Беги... Лука!!

16

Вначале какая-то смутная возня, шум отодвигаемой мебели и звон стекла. Потом выскакивает С а н д у к о в, его лицо искажено. Он кидается к двери и, вспугнутый новым звонком, бежит обратно. Ксения боязливо тянет к нему руки: «Лука, Лука...» Он с ходу вскакивает на подоконник и, ухватясь за раму, в нерешительности повисает над крышами.

Е л е н а (*тихо*). Куда же ты, Лука, на зимовку?

Л у к а. ...придержи дверь.

17

На пороге появляется Р о щ и н, и это ускоряет развязку. Несколько раньше опрокидывается за окно горшок с цветком. Следом за этим, слабым, слышен тяжкий звук сандуковского прыжка. Ксения кидается к окну. Слышен грохот проминаемого железа: Сандуков бежит вниз по крышам.

К с е н и я (*вся вместе с Лукою, машинально*). Торопись, Лука... торопись, Лука...

Е л е н а (переглянувшись с Роциным). Не ушел бы, Гриша.

Р о щ и н. Только в яму, Еленочка, только в яму!

Грохот на крыше становится множественным, и, может быть, это погоня. В поведении Ксении отражено происходящее за окном: вот она бьет в ладоши, вот вскрикивает и закрывает лицо руками. Одновременно закричали и на улице: Сандуков сорвался вниз. Ксения кидается в дверь, к брату. Елена молча уступает ей дорогу. В следующую минуту появляются остальные. Ряд беспорядочных восклицаний.

18

Г о л о с а. Что, что упало?

— Где Лука?.. а Ксения?

— Да отойдите же, там звонят.

Аграфена поспешно уходит в прихожую. Роцин делает знак Остаеву пойти вниз; тот уходит. Настя в недоумении идет к Елене.

Н а с т я. Я видела, как ты пошла сюда. Что ты им сказала?

Е л е н а. А ничего. За Лукой приехали. Он же на вечере согласился выступить.

Пауза удивления. Тишина и далекий свисток за окном.

О с т а е в а. Так зачем же ему в окно-то прыгать?

Р о щ и н. Наверно, так ему было ближе!

19

1-я подруга. Можно?.. Тонька, входи, можно.

Это две настины подруги. Они робеют, волнуются, Аграфена подталкивает их вперед. Они говорят вперебой.

2-я подруга. Мы за товарищем...

1-я подруга. ...мы за Лукой Лаврентьевичем. Он хотел...

2-я подруга. ...он дал обещание выступить. И уж полон зал. Но мы так долго...

1-я подруга. ...ужасно долго искали машину!

Е л е н а. Он не сможет поехать с вами, девочки. Его уже нет.

1-я подруга. Опять на Чукотку укатил? Вот хвост-то нам теперь накрутят.

2-я подруга. Это ты придумала, ты и отвечай.

1-я подруга. И вовсе не я. Ты сказала — пригласить бы!

2-я подруга. Я тихонечко сказала — пригласить бы, а ты в институте растрезвонила...

20

Вернулся Остаев.

Остаев (*проходя мимо Рощина к окну*). Его уже увезли.

2-я подруга. А портрет-то колькин?

1-я подруга. Да, где портрет?

2-я подруга (*ища вокруг себя*). Потеряли, потеряли... что делать-то? Ты его в руках держала.

Аграфена (*беря из-за дверей*). Тут он, ваш портрет.

2-я подруга (*Рощину*). Коля вчера ваших гостей снимал. Он сделал увеличение и просил передать вам в подарок. (*Передает Рощину что-то завернутое в газету, большое и квадратное.*)

1-я подруга. Здесь они оба, Лука Лаврентьич и Василий Самсонович, как живые. Колька и колечко привинтил, можно на стенку повесить.

Рошин (*сорвав бумагу, в которую завернут подарок*). Хороши!.. Передайте молодому человеку спасибо от Рощина.

Пауза. Девушки уходят.

Остаев. Скажи и ты что-нибудь отцу-то, Настя...

Настя (*кладя руки на плечи отца*). Хорошо жить в чистом доме, Григорий!

1938

О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Й Ч Е Л О В Е К

КОМЕДИЯ В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Ладыгин Дмитрий Романович — известный оперный певец.

Вера Артемьевна — его жена.

Алексей Иванович — его племянник.

Кира — невеста Алексея.

Констанция Львовна — мать Киры.

Свеколкин — друг Ладыгина.

Аннушка.

Параша — горничная у Ладыгина.

Действие происходит в столичном городе.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Покинутая на лето городская квартира Ладыгиных. Она похожа на антиквариат обилием вещей, закутанных ныне в марлевые чехлы и пожелтевшие газеты. Последний луч солнечного дня, пробившись под шторой, переползает с рояля на горку с хрупкой и пестрой мелочью, чтоб посверкать там четверть часа и погаснуть. Здесь, в жарких августовских сумерках, вешают новую картину на оголенную стену, от которой отодвинута тахта. Взгромоздясь на стол и табуретку, придерживаемую за ножки Парашей, шофер Ладыгиных вбивает крюк: еще до поднятия занавеса слышны удары молотка. Геркулесовского сложения дворник готов поднять на воздух самое сокровище в полосатом, не ладыгинском чехле. Обмахиваясь нарядной соломенной шляпой, Вера Артемьевна из кресла руководит работой.

В е р а А р т е м ь е в н а. Ну, вешайте ее наконец. И пора на дачу. Как Дмитрий Романович вернется, так и едем.

Все приготовились. Вера Артемьевна привстала.

Чехла снимать не будем. Все равно мухи засидят.

Телефонный звонок.

П а р а ш а. Наверно, опять эта приезжая Дмитрия Романовича добивается.

Повторный звонок. Вера Артемьевна с досадой тянется к аппарату.

Не берите, Вера Артемьевна... Уж больно нахальные пошли эти поклонницы. Намедни одна пришла карточку у

Дмитрия Романовича просить. Уж вторую. Первая от поцелуев вся сносилась.

Все смеются, кроме дворника.

В е р а А р т е м ь е в н а . Несчастлиная!

Дворник приподымает картину.

Постойте... а не рухнет она на Дмитрия Романовича? Как раз его любимое место тут.

П а р а ш а . Может и рухнуть. Тяжелая, ровно на чугуне написана.

В е р а А р т е м ь е в н а . А что, если ее поместить над горкой, а мелочь перевесить сюда? Как вы находите, Параша?

П а р а ш а . Дайте сообразить, Вера Артемьевна. (*Солдно.*) Уж, конечно, против окна самый вид. И опасность меньше.

В е р а А р т е м ь е в н а . Давайте прикинем начерно, пока Дмитрий Романович не вернулся.

Отирая рукавом лицо, шофер спускается. Параша снимает меккие картины со стены. В соседней комнате звонкий дребезг стекла и басовитое чертыхание. Все оглянулись на звук.

П а р а ш а . Дмитрий Романович вернулись.

В е р а А р т е м ь е в н а . Ничего, продолжайте. (*Громко.*) Митя, что ты там еще разбил?

Г о л о с Л а д ы г и н а . Ва-аза! Чорт, наставлено везде. На дачу скоро едем?

В е р а А р т е м ь е в н а . Через десять минут.

Из-под картины падает письмо. Параша пытается скрыть его.

Дайте сюда, Параша.

П а р а ш а . Пылища какая! Я за тряпкой схожу, Вера Артемьевна.

В е р а А р т е м ь е в н а (*скучным голосом*). Я видела, Параша. Дайте сюда.

П а р а ш а . Это Дмитрию Романовичу письмо.

В е р а А р т е м ь е в н а . Я его жена и друг. Дайте, пожалуйста.

Параша отдает письмо. Вера Артемьевна читает его, держа в кончиках пальцев.

П а р а ш а (*с сердцем*). Чего заснули, как мороженые! Берите снизу да поухватистей беритесь.

Под жалобный звон хрустала горка выезжает на середину. Разгрузить бы сперва, Вера Артемьевна. Посуда хорошая побьется.

Все стоят в ожидании, пока Вера Артемьевна дочитает письмо.

В е р а А р т е м ь е в н а (*складывая письмо*). Рухнет она и здесь, боюсь. А не отвезти ли нам ее на дачу, Параша... как вы думаете?

П а р а ш а. Уж, конечно, на даче для здоровья безопаснее будет. Люди все больше на воздухе. И упадет, так на свое место упадет.

В е р а А р т е м ь е в н а (*поднявшись*). Так и решили. (*Про письмо.*) Отнесите это Дмитрию Романовичу.

П а р а ш а (*уходя, дворнику*). Волоки ее к машине. Сверху привяжем. Да на лестнице-то не загреми.

Дворник уносит картину.

В е р а А р т е м ь е в н а (*шоферу*). Берите пока абрикосы. На переднее сиденье. Пожалуйста.

Шофер уносит решето. С осколками большой вазы возвращается П а р а ш а.

П а р а ш а. Поморщились... на письмо... и ничего не сказали.

В е р а А р т е м ь е в н а. Хорошо. Сюда придет пожилая дама. Я дома.

Кивнув, Параша идет к выходу. Большой и красивый, с седеющими висками, в рубашке с расстегнутым воротом, вошел
Л а д ы г и н.

Л а д ы г и н. Кисленького чего-нибудь или яблочка мочененького у вас не найдется? (*Прочистив горло звуком.*) Стражду и жажду.

П а р а ш а (*взглянув на хозяйку*). Все уже в машину отнесли, Дмитрий Романович.

Вера Артемьевна делает знак Параше уйти.

В е р а А р т е м ь е в н а (*про картину*). Опять ты купил какую-то громадину, Митя. Как хочешь, я отправила ее на дачу.

Ладыгин. Мировая вещь!.. Но чорт с ней, можно и на дачу. Фу, жара! (*Опускаясь в кресло*). В такую погоду рыбу на речке удить.

Вера Артемьевна (*собирая покупки*). Одевайся, сейчас едем.

Ладыгин. Ты... поезжай одна. Я приеду завтра утром.

Вера Артемьевна. У тебя концерт?

Ладыгин. Нет... но мне надо остаться в городе.

Вера Артемьевна (*шутливо*). Очередная поклонница? (*Присаживаясь к нему на поручень кресла*). Не думай, я слишком молода сама, чтобы ревновать тебя к твоим фифкам!.. Кстати, одна притащила вчера две банки варенья. Я отдала их сторожу: не люблю малинового. И, кроме того, эти девчонки такие неряхи... (*Искося взглянув на мужа*.) Ты не замечал?

Ладыгин. Верочка, мне уже сорок пять. Меня уже племянник забивает. Опять статья об Алешке... читала?

Вера Артемьевна. Не увиливай. Целый день какая-то сумасшедшая звонит. Вот опять...

Телефонный звонок. Вера Артемьевна тянется к трубке.

Что ей сказать?

Ладыгин. Болен.

Вера Артемьевна (*в телефон*). Говорите же, кто там? Нет, это аккомпаниатор и личный секретарь Дмитрия Романовича. К сожалению, он нездоров. Ему как раз ставят банки на поясницу... Что? Нет, у него поясница.

Ладыгин. Что ты говоришь, Вера!

Вера Артемьевна. Пустит руку. (*В телефон*.) Нет, это я санитару. Да, вчера пел Фауста, а сегодня... Ну, девочка, когда вам тоже стукнет пятьдесят шесть, и вы станете прихварывать. Берегитесь смолоду, милочка. Цветы можете передать горничной. (*Положила трубку*.) Так почему же вам надо остаться одному в пустой квартире?

Ладыгин (*обиженно*). Ты зря. Я никогда не изменял тебе, Верочка...

Вера Артемьевна. ...но всегда был в полной готовности. (*Ласкаясь и перебирая его волосы*.) Итак, от кого вы получили это письмо?

Ладыгин (*смеясь, как от щекотки*). Не могу же я запретить им писать. Ну, от женщины... ну!

Вера Артемьевна. Я хочу иметь представление об этой кошечке. (*Насмешливо.*) Ее масть?

Ладыгин. Как тебе сказать... Ну, потемней вот этого кресла.

Вера Артемьевна. Возраст?

Ладыгин. На вид ей около сорока. И вообще она довольно молодо выглядит...

Вера Артемьевна (*другим тоном*). Ладно, я отвечу сама. Ей уже за пятьдесят. По ее словам, она еще свежа, но в бороду уже вплелись серебряные нити. Ее зовут Павлом. К сожалению, этот Павел ничего не пишет о себе. Кто этот человек, Митя?

Ладыгин (*неохотно*). Ну, в гражданскую войну... был у меня приятель один на фронте. Фамилия Свеколкин. Мы с ним хлеб делили пополам и спали под одной шинелью.

Вера Артемьевна. Не торопись, я хочу знать все по порядку.

Ладыгин. Только ты пересядь куда-нибудь. Жарко.

Вера Артемьевна переходит к роялю.

Мы и раньше встречались... он даже выручил однажды нашу батарею из беды. Но подружились мы, когда наша дивизия, уже красносменная, стояла под Херсоном. Кудрявый, бессребренник, литого золота человек. (*Чего-то стыдись.*) Он жарко меня любил и все пророчил мне славу.

Вошла Параша и ушла после нетерпеливого жеста Веры Артемьевны.

Помню, накануне моего отъезда на учебу в консерваторию мы до рассвета просидели на обрыве, над рекой. Рваные, веселые, голодные и молодые!

Вера Артемьевна. И что-нибудь случилось в эту ночь?

Ладыгин. Нет. Но я много пел ему в ту ночь, как умел. Так же август стоял, днепровская луна катилась в небе. (*С театральной выразительностью.*) И хотя в этом громадном зале был только один зритель, Свеколкин... никогда потом петь так мне не удавалось.

Вера Артемьевна. И с тех пор ты видался с ним хоть раз?

Ладыгин (*с неловкостью*). Он написал мне, но я как раз уезжал учиться в Италию. Было и второе письмо, но, кажется, я тогда репетировал Базилио...

Вера Артемьевна. И вот скромный провинциальный человек, собираясь приехать по делам, просит разрешения навестить тебя. А ты сунул письмо куда придется и даже забыл, что это как раз сегодня. Тебе не хочется его видеть?

Ладыгин молчит.

Ты хвастался Алексею каким-то приятелем, который стал большим человеком. Это не он?

Ладыгин (*виновато*). В том и дело, что я не знаю, кем он стал. Ту ночь я бережно храню в себе двадцать лет и... боюсь: ввалится какой-нибудь кассир с портфелишком, маленький и лысый... увидит эти вещи, напьется, нахамит. И вся мечта рухнет к черту!

Вера Артемьевна. Если в нем и тогда были задатки пьяницы или проходимца, ты можешь не ждать его и прямо уехать на дачу.

Ладыгин. Но этому человеку я пел самые первые свои песни.

Вера Артемьевна. Тогда садись и жди его.

Ладыгин (*в раздумье*). Они всегда нуждаются, эти старые друзья. Им негде ночевать, и у них всегда какие-то африканские несчастья. Дружба — чувство мужественное, и я не хочу, чтобы она выродилась в жалость.

Солнце скрылось. Мягкий летний вечер вступил в комнату.

Вера Артемьевна (*улыбаясь*). Ты как ребенок, Митя! Решай, скоро уже взойдет твоя днепроовская луна.

Ладыгин. Знаешь, я посижу так до одиннадцати... и поеду. Кто же ходит в гости ночью!

Вера Артемьевна. Даже если ему и не удалась жизнь, ты должен его дожидаться, Митя.

Параша (*войдя*). Вера Артемьевна, пришла эта дама. Имя какое-то чудное, язык сломаешь с нею говорить... Очень сердятся.

Вера Артемьевна (*мужу*). Это она. (*Параше*.) Задержите ее там на минутку.

Параша ушла.

Совсем забыла. Приехала тетя Констанция из Ялты. Я хочу пригласить ее к нам на дачу.

Ладыгин. Какая еще Констанция?

Вера Артемьевна. Ну, жена брата моей покойной матери... словом, кирина мать. Она слышала, что Кира выходит за Алексея, и хочет быть на свадьбе. И, хотя она немножко нелепая, я уверена, ты полюбишь ее, когда узнаешь ближе.

Ладыгин. Да чорт с ней, пускай живет. Приютили дочь, найдем место и для матери. Сунь ее в угловую светелку, а Киру перекинем вниз, ближе к Алексею. *(Хитро.)* Это им будет наруку. Вот черти плисовые, чего они тянут со свадьбой?

Вера Артемьевна. У него большая работа, государственное задание, ты знаешь. Он все ночи проводит в институте.

Ладыгин. Но Кира молодая женщина. Ей скучно одной.

Вера Артемьевна. Я понимаю Алексея. Он хочет присмотреться к человеку, с которым итти всю жизнь. Он не из тех, кому нравятся многие. Этого мало, что она хороша собою. *(И опять косою взгляд на мужа.)* А она, по-моему, очень красива!

Ладыгин *(неуверенно)*. Н-не нахожу.

Вера Артемьевна наблюдает, как он рассказывает по комнате, стараясь побороть свое смущение. Ее молчание заставляет его говорить.

Во-первых, у нее какой-то непонятной архитектуры спина. Я бы даже сказал, неприятная спина. А шея! И уж какие-то... совершенно не такие ноги.

Вера Артемьевна. Ты несправедлив к ней. Ты у меня стареешь, Митя.

Ладыгин. Может быть, но все-таки я артист. У меня есть вкус на красоту.

Параша снова вошла и придерживает дверь за скобку.

Параша. Вера Артемьевна, бунтуется эта гражданка. Меня по первое число обложила.

В е р а А р т е м ь е в н а *(мужу)*. Иди, встретить ее сам. Я столько рассказывала ей про тебя.

Параша открывает дверь. Ладыгин живописно приветствует еще невидимую за порогом гостью. В комнату важно и сердито вступает массивная, с усиками и без единой сединки дама, в шляпе с бывшею птичкой и в пенсне на длиннейшем шнурке; в руке вместительная сумка с замком, издающим звук, точно перекусывают кость. При виде хозяйки ее лицо смягчается: она плывет к ней мимо протянутых рук Ладыгина.

Мы заставили вас ждать, тетя Констанция?

Констанция. О, мы все чего-нибудь ждем, мой друг. *(Приблизившись, она отступает на шаг.)* Молчи, дай мне глядеть на тебя. Те же брови, тот же невыразимый взгляд... Боже, как ты похожа на мать!

Пенсне срывается с носа куда-то вниз, лицо принимает плаксивое выражение. Вера Артемьевна торопится обнять ее.

Твоя мать... Она умирала у меня на коленях!..

В е р а А р т е м ь е в н а *(кратко)*. Вы забыли, тетя. Вы были тогда даже в другом городе.

Констанция *(безутешно)*. Тем тяжелее, тем тяжелее, мой друг. Быть в разлуке в такую исключительную минуту... *(Как всегда на протяжении этих дней, она извлекает мужской платок из сумки и, забыв вытереть сухие глаза, прячет назад.)* Однако где же твой муж, спит?

В е р а А р т е м ь е в н а. Вот он. Уже давно стремится познакомиться с вами.

Ладыгин кланяется. Пенсне водворяется на нос. После осмотра Констанция движется к нему, и хотя Ладыгин благоразумно отступает, она настигает его.

Констанция. Ну, здравствуй, дружок. Нагнись, не лестницу же мне к тебе подставлять! *(И, притянув его голову, шумно целует лоб.)* Ты что-то изобрел, говорят? Не крутись, не крутись. Тут ничего дурного нет, что изобрел.

Ладыгин *(потирая лоб)*. Верочка, вмешайся, пожалуйста, в эту историю.

В е р а А р т е м ь е в н а. Вы спутали, тетя. Это не он, а его племянник... вакцину против папатачи открыл.

Констанция. Как ты сказала?.. Повтори...

Вера Артемьевна. Есть такая папатачи, москитная лихорадка.

Констанция. А-а... (*Ладыгину.*) А ты, мой дружок, значит, ничего не изобрел? (*Снимая шляпку.*) А еще инженер. Нехорошо.

Ладыгин заметно сердится.

Вера Артемьевна. Тетя, я же объясняла вам вчера по телефону. Мой муж — известный оперный певец.

Констанция. А инженер кто же? Раз изобрел, значит тут должен быть инженер.

Вера Артемьевна. Никакого инженера нет. А на Кире женится его племянник, очень талантливый пато-физиолог.

Констанция недоверчиво переводит взгляд с жены на мужа.

Ну, пато-физиолог. Они изучают природу болезней, чтоб бороться с ними. Вот и сейчас... у него в лаборатории есть очень дорогая обезьяна. С нее даже картинки в журналах печатали. И он ей привил одну неслыханную болезнь.

Констанция. О-о!.. (*Ладыгину.*) А ты, мой дружок, тоже что-нибудь такое... прививаешь?

Ладыгин (*довольно громко*). Если вас не затруднит, милая тетя, зовите меня на «вы». Я человек грубый, из маляров. Мне так больше нравится.

Констанция (*оробев*). Хорошо. Я сяду. (*Она села.*)

Вера Артемьевна (*мужу*). Ты ступай пока, скажи Параше, что купить к вечеру. (*Констанции.*) Извините Дмитрия Романовича, он гостя ждет.

Констанция. Иди, иди, мой дружок. Я зайду к тебе проститься. Ну, теперь я все поняла. (*Кивая вслед уходящему Ладыгину.*) Скажи... а этот мужчина тоже что-нибудь изобрел?

Вера Артемьевна (*потеряв терпение*). Дмитрий Романович — певец. У него голос. В горле у него бас, понятно? Он поет, и ему за это платят деньги.

Констанция (*сокрушенно*). Да-да, везде деньги. Мне вот тоже комнату надо покупать. (*Покопавшись в сумке, она достает нечто в тряпочке, из которой появляется большой футляр.*) Тут у меня от покойного мужа

часы остались. Сослуживцы поднесли. Скажи, твой муж не купит у меня часы?

Вера Артемьевна. Да вам и не надо их продавать, тетя. Пока вы погостите у нас на даче, а после свадьбы Алексей — для точности пато-физиолог!.. — наверно, получит новую квартиру.

Констанция. Но у вас уже живет моя дочь... (*Поднимаясь.*) Я лучше продам ему часы.

Вера Артемьевна (*удерживая ее в кресле*). Дом очень большой, река под самой террасой, березовая роща.

Констанция. Нет, и не упрашивай меня. Я человек болезненный. Мне нужны покой и тишина.

Вера Артемьевна. Там у нас очень тихо, разве только Дмитрий Романович поет иногда по утрам.

Констанция. Это ничего. Если немножко, то пускай поет. Я и сама иногда пою... Уж и не знаю, что тебе сказать. (*Робко.*) Я бы их недорого ему отдала!

Вера Артемьевна в изнеможении опустила голову.

Параша (*войдя*). Шофер спрашивает, успеет ли он в гараж съездить.

Вера Артемьевна. Нет, поздно. Надо было раньше. (*Поднявшись.*) Я сейчас еду.

Констанция. Ну, бог с тобой. Я и матери твоей ни в чем не могла отказать. Вези, вези меня в свою березовую рощу.

Пользуясь тем, что Вера Артемьевна занялась с Парашей, Констанция незаметно выскальзывает в дверь к Ладыгину.

Вера Артемьевна (*подойдя к Параше*). К Дмитрию Романовичу придет малознакомый человек. Водки на стол не ставьте. Если засидится, напомните Дмитрию Романовичу погромче, что я одна осталась на даче.

Параша. Я понимаю, Вера Артемьевна.

Вера Артемьевна. И потом я уговорила Констанцию Львовну погостить у нас на даче. Велите шоферу заехать за ее вещами. Она скажет адрес. Чему вы улыбаетесь, Параша?

Параша. Да они уже в машине, вещи-то. (*Усмехнувшись.*) Корзиночка небольшая да сундучок такой... печальный. Так прямо на абрикосы и брякнула.

В е р а А р т е м ь е в н а (*не сразу*). Ну, тем лучше. А куда же она сама-то пропала?

Они прислушиваются к громким голосам в кабинете.

Боже, она, кажется, уже там...

Г о л о с Л а д ы г и н а (*рыча*). Поймите же, драгоценная мадам... У меня своих, своих четверо. В зубах я их буду носить, ваши часы?

В е р а А р т е м ь е в н а бежит к мужу на выручку. Дверь осталась открытой. Вошли К и р а с теннисной ракеткой и А л е к с е й.

Они слушают нарастающий шум в кабинете.

Г о л о с К о н с т а н ц и и. Я же просто подарить их тебе хочу... как древнюю вещь. Покупаешь же ты древние вещи!

Г о л о с Л а д ы г и н а. На дьявола мне нужен ее будильник! На нем даже стрелок нет.

Г о л о с В е р ы А р т е м ь е в н ы. Уймись, уймись, Митя. Ты же с дамой говоришь!

Г о л о с К о н с т а н ц и и. Объясни же ему, Верочка, что стрелки ему на каждом углу вставят.

К и р а со вздохом берет в руки шляпку Констанции и, узнав птичку, роняет обратно.

А л е к с е й. Кто это там дяде Мите кровь пускает?

П а р а ш а (*иронически кивнув на Киру*). Это вот к ним мамаша приехали.

И ушла. К и р а молча поглаживает скатерть на столе.

А л е к с е й. К и р а, мы опаздываем к концерту.

К и р а. Идите, одевайтесь, Алексей. Я только с мамой поздороваюсь.

Алексей ушел. Отступая перед Верой Артемьевной, из двери кабинета пятится К о н с т а н ц и я.

К о н с т а н ц и я (*взволнованно*). Но я же старого закала, мой друг. Я не привыкла даром есть чужой хлеб!

В е р а А р т е м ь е в н а (*раздельно, как с глухой*). В машину садитесь. Нам ехать пора, тетя-а.

И дверь закрылась. Констанция стучится в кабинет.

Констанция. Но пойми, может быть, я десять лет у вас проживу. У нас в семье все были выдающегося здоровья и погибали только от несчастных случаев.

Кира (*стыдясь ее*). Боюсь, мамочка, что ты не избежешь этой судьбы.

Констанция оборачивается и видит дочь. Слова замирают у нее на языке; она становится старенькая, жалкая и старомодная.

И, забыв про платок, она плачет уже по-настоящему.

Констанция. Кира!

Кира. Я прошу тебя, мама...

Констанция. Как я соскучилась по тебе, моя роза... черная роза моя. За два года ни одного письма!

И зачем-то склоняется к руке дочери, — та конвульсивно прячет руки за спину.

Кира. Как тебе не стыдно, мама!

Констанция. Ты меня простила?.. за ту мою ошибку простила? Я хотела, чтоб ты сидела в гнездышке, а я бы носила тебе червячков. Кто же виноват, что один, самый первый, оказался тухлый!

Кира. Не надо, услышат. Сядь. Ты надолго?

Констанция (*садясь*). Насовсем, мой дружок. Представь, катин муж обучил свою громадную голую собаку каждое утро лизать мне лицо. Ну, я устроила ему грандиозную варфоломеевскую ночь и укатила. Ты же знаешь мой характер!

Кира (*смеясь*). Ты неисправимая, мама.

Вера Артемьевна (*уходя от мужа*). Я пришлю машину к одиннадцати. Вы все еще не ушли, тетя?

Кира. Ну, мы поговорим с тобою завтра, мама.

Констанция. Будь счастлива, роза моя! Куда же я шляпу-то задевала?

Оказывается, она сидит на ней. Расправив смятую птичку, она возлагает шляпу на голову и уходит.

Вера Артемьевна. Все такая же и все хлопочет о твоём счастье. Я слышала, едете на концерт с Алексеем? Разве он закончил свою работу?

Кира. Не знаю. Обезьяна, кажется, выздоравливает. Ну, поезжай.

Они разошлись. Параша приходит накрывать на стол. Почти стемнело; на шторах проступили световые пятна от чужих окон. Из кабинета выглянул Ладыгин.

Ладыгин. Увезли?.. Удивительная дама.

Параша. А что ж в ней удивительного? Каждая пчелка в свой медок летит. (*Мельком.*) Говорят, Алексей Иванович большую премию получает. С приданным жених!

Ладыгин. Откройте окно, Параша. Пускай это пекло продует.

Параша поднимает штору и открывает окно. Ворвался ветерок, и виден серый пролет вечернего двора.

Голос Алексея. Это вы, Параша, сквозняк устроили?

Ладыгин. Это я тут... (*полунапевая из арии*) «кого никто не любит и все живущее...» Зайди потом, Алешка. (*Подняв крышку рояля, он выстукивает одним пальцем мотив этой арии.*) Почему вы усмехнулись давеча, Параша... насчет приданого-то?

Параша. Просто так, Дмитрий Романович.

Ладыгин. Просто так не бывает. А все-таки?

Параша (*делая свое дело*). Не любит она Алексея Ивановича. Другое у ей на уме.

Ладыгин. А что у ней на уме?

Параша украдкой поднесла передник к глазам.

Ну-ну, с чего это вы... землячка?

Параша. Веру Артемьевну жалко. Добрая, ничего не видит... На сколько человек накрывать, Дмитрий Романович?

Ладыгин. На двоих, Параша, на двоих. И перестаньте!

Одетый к концерту, вышел Алексей. Еще с порога он жестом приветствует дядю.

А, похудел, пират. Ночи не спишь. Что с обезьяной?

Алексей. Очень страдала эти десять дней. К сожалению, есть болезни, которые не воспроизводятся на других животных. Зато теперь пойдет в долгий и заслуженный отпуск. (*Параше.*) Спуститесь, пожалуйста, и задержите машину, Параша.

Параша ушла.

(*Оттянув рукав, он смотрит время.*) Кира, кончается первое отделение концерта.

Г о л о с К и р ы (*спокойно*). Я сейчас.

Л а д ы г и н. Сядь, я вечность тебя не видал. Болтают, что после премии ты двинешь прямо в академики?.. Молодец! Твой дед, а мой отец, Роман Ладыгин, тоже был не последним среди маляров. Жизнь надо ломать, как мед, и жрать из пригоршни. (*Мимоходом.*) К слову, большая премия?

Алексей хмурится.

Понимаю. Молчу, молчу.

А л е к с е й. Почему ты не на даче, дядя Митя?

Л а д ы г и н. Вот жду фронтового друга. Томлюсь, и время идет на убыль...

Может быть, полдюжины часов в разных комнатах квартиры поперебивку вызывают время. Дядя и племянник переживают этот музыкальный шум.

...идет на убыль время, и не приходит старый друг.

А л е к с е й. А не боишься? То были друзья гневной и героической бедности... Придет, увидит эти стены, спросит: что у тебя здесь, товарищ... товарная база или ломбард, или, прости на дерзком слове, приданое твоей будущей вдовы?

Л а д ы г и н (*сумрачно*). Ты не впервые заводишь со мною этот разговор, Алексей. Но я... я не крал все это. Это мне дал мой народ за то, что я пою ему. И потом, братец мой, это такие пустяки...

А л е к с е й. Дядя Митя, проказа начинается тоже с пустяков. Она начинается с насморка.

Л а д ы г и н. Что ты этим хочешь сказать?

А л е к с е й. Я обожал тебя в детстве, дядя Митя, подражал в юности и очень хочу уважать тебя и теперь.

Л а д ы г и н. Ты!.. (*Горячась.*) Тебя мне помогала растить вся страна. У тебя были книжки, пионерские дома, а я провел детство на коньке крыши, с ведерком медянки, подручным маляра. Мы экономили семитку на квасе. А ты, ученый, даже не знаешь, что такое семитка. Знай, это две копейки нищего!.. Меня в детстве отовсюду гнали, и все кругом было: нельзя нельзя, нельзя. Я слишком долго ждал, братец, когда все будет: можно, можно, можно!

А л е к с е й (*иронически*). Значит, ты мстишь прош-
лому... или все еще утоляешь детский голод?

Ладыгин отвернулся.

Э, да ты, никак, обиделся, дядище!

Л а д ы г и н. Покойный брат велел мне вырастить тебя.
Я исполнил. И ты созрел. И уходишь от меня. Уже я не
вижу ни лица твоего, ни мыслей... Будь добр, включи свет.

Алексей вертит выключатель, света нет. Ладыгин в ярости
распахивает дверь.

Параша!.. Почему нет света?

П а р а ш а (*запинаясь*). Новую люстру вешали, кото-
рую вы вчера купили, Дмитрий Романович... Не успели
соединить провода.

Л а д ы г и н (*во весь голос*). Дать сюда полсотни
свечей!.. Сотню самых толстых стеариновых свечей!!

А л е к с е й (*спокойно*). Дядя Митя хочет сказать, что
двух свечей ему пока за глаза хватит.

Параша ушла.

(*Дружески кладет руки на плечи дяде.*) Ну, не рычи. Я же
понимаю, что ты рассердился на меня.

Л а д ы г и н. Брось, брось... Ты хотел бы видеть меня
босяком, с шарманкой. Тебе все на свете надо подправить.
Дай тебе власть, ты бы и соловья отрегулировал!

А л е к с е й. Ну, дядя Митя... Соловьи басом не поют.
(*Взглянув на часы, громко.*) Кира, скоро начнется второе
отделение концерта.

Г о л о с К и р ы. Я сейчас.

Параша вносит канделябр о пяти зажженных свечах.

А л е к с е й. Ладно, давай мириться... и выпьем за
твоего друга, который вряд ли придет: не сезон. Самая
стройка в разгаре. Чем он занимается-то теперь?

Л а д ы г и н. А вот не скажу. Не хочу с тобой гово-
рить. Не ваш брат... ф-физиолог! Это широкого действия
человек. (*Глядя, как Алексей разливает вино.*) Кабы не
он, природа давно накрутила бы из меня всякой всячины
на том безвестном баштане. Словом, он спас меня. Нас
белые однажды окружили, тыща сабель... (*Увлекаясь рас-*

сказом.) Представь себе, солнце хоронилось этак за курган, а мы кавунами занялись у овражка, когда...

Алексей, улыбаясь, подает ему вино.

А ты не рано развеселился, товарищ?

Алексей. Ты не обращай на меня внимания, дядя Митя. Бери, бери!

Ладыгин. Нет, ты объясни. Иначе слова дальше не услышишь.

Алексей (мягко). Словом, когда я слышал эту историю в первый раз, белых было только двести.

Ладыгин (потупив глаза). Это... это жестоко, Алешка!

Алексей. Ты же сам учил меня в детстве: будь жесток к себе, если не хочешь, чтобы другие были к тебе жестоки.

Ладыгин. Уж позволь мне, однако, украшать мою юность цветами. Нет, не хочу с тобой пить, трезвый и умный человек. (Отставляя свой стакан, громко.) Кира-а... второе отделение концерта близится к концу!

Кира (из-за двери). Я уже готова. (Она входит в длинном спортивном плаще и без шляпы.) Ну, Алексей, поехали?

Телефонный звонок. Ближняя к аппарату Кира берет трубку.

Квартира Ладыгиных... Кого? Но их здесь два. (Прикрыв микрофон ладонью, Алексею.) Из лаборатории. Сказать, что уже уехал?

Алексей. Нет, я подойду. (Взяв трубку.) Кто это? А-а. (И почти сразу его лицо принимает озабоченное выражение.) Когда? Не температура, а моча! Мне нужно знать, когда прекратилось выделение мочи... Нет, так не годится. Я немедленно приеду сам.

Молчание. Положив трубку, Алексей закуривает папиросу и виновато поднимает глаза на Киру.

Кира. За весь месяц это первый вечер, который вы собрались подарить мне. И снова... нельзя?

Ладыгин (тревожно). Что-нибудь с обезьяной?

Алексей. Она опять потеряла сознание.

Кира тербит перчатку. Интонация Алексея меняется. Кажется, он хочет тронуть свою невесту.

Кира, это очень забавное и поучительное существо. Ее зовут Лилианой. Она даже носит пенсне... правда, без стекол, но на веревочке. Хотите поехать туда... со мною? Старый Моцарт не обидится, если мы его отложим на другой раз.

Взяв папиросу из раскрытого на столе портсигара Алексея, Кира рассматривает ее, точно видит впервые.

В эти дни решается вопрос счастья для многих людей.

К и р а. Минус одно. Мое.

Л а д ы г и н (*как эхо*). А это значит, и твое, Алешка.

К и р а. Все будни, будни, будни. Бывает у вас когда-нибудь праздник, Алексей?

А л е к с е й. Завтра я весь день с вами... И у нас будет важный разговор. Сегодня я смогу лишь проводить вас до зала. (*Решительно.*) Спускайтесь черным ходом, Кира... машина во дворе. Я только переоденусь, мне неудобно ехать в таком виде.

Он ушел, оставив дверь открытой. Ладыгин взялся за отвергнутый было стакан. Он обернулся: с тою же папироской в руке Кира пристально смотрит на него из двери.

Л а д ы г и н (*смущенный этим взглядом*). Вам спичку? Где-то были... сейчас. (*Он наугад шарит в карманах и на столе. Сломанная в пальцах папироска упала на пол. Ладыгин в замешательстве.*) Тут, между прочим, шпроты есть. Хотите шпроты?

К и р а (*раздумчиво*). Мне с детства сулили в жизни какую-то необыкновенность. И жизнь пришла. И шпроты! А где необыкновенность?

Л а д ы г и н. Вы... меня спрашиваете? Затрудняюсь, не знаю...

К и р а (*громко*). Есть одно свободное место. Хотите со мною на концерт, Ладыгин?

Ладыгин молчит. Его спасает появление П а р а ш и.

П а р а ш а (*недобро косясь на Киру*). К вам пришли, Дмитрий Романович.

Л а д ы г и н (*с показной радостью*). Так скорей... ведите же его сюда, скорей! Эй, где ты там, товарищ?

Кира исчезает.

П а р а ш а (*удостоверяясь, что Киры уже нет*). Девушка... приезжая, чистенькая такая, цветы просится передать. И прогнать-то жалко... всю-то в иголочку ее проденешь!

Л а д ы г и н. Людей не надо гнать, Параша!.. Впустить!.. Я только пиджак надену. (*Он ушел.*)

Параша выглянула в коридор.

П а р а ш а (*жалостливо*). Входите уж... несчастная.

Прижимая к груди целую охапку флоксов, входит молоденькая девушка в открытом цветастом платье и полотняной панамке — А н н у ш к а.

Только имейте в виду, гражданочка... у Дмитрия Романовича назначено одно важное заседание.

Девушка робко кивает. Ревниво оглядев ее до пят, Параша ушла. И тотчас же со свертком, в кожаной заграничной куртке, появляется А л е к с е й. Аннушка смотрит на него сияющими глазами. Падает несколько цветков.

А н н у ш к а (*шопотом*). Так вот вы какой... Ладыгин! Алексей. Да, я такой... Вы цветы растеряли!

А н н у ш к а. Пускай, мне не жалко.

А л е к с е й (*вдруг*). А если не жалко, то... подарите мне половину. Понимаете, дозарезу нужны цветы.

Не сводя с него глаз, она протягивает ему цветы.

Вот спасибо. Уж я тогда побольше заберу, можно? Вы, наверно, к дяде? Он сейчас, он там усы подкручивает. (*Громко.*) Дядя Митя, тут к тебе поклонница пришла.

Г о л о с Л а д ы г и н а. Иду.

А л е к с е й. Ему цветы ни к чему. Он яблоки моченые любит.

И быстро уходит, унося ее букет. Поняв ошибку, Аннушка показала вслед ему язык. Сзади появился настоящий Л а д ы г и н.

Л а д ы г и н (*снисходительно*). Итак, где же они, мои цветы?

А н н у ш к а (*отдавая несколько оставшихся стебельков*). Вот... Я думала... Он у меня все отобрал.

Ладыгин. А, племянник! Ничего, они ему нужнее. Он сейчас с невестой поссорился. Вы не глядите, тут у нас беспорядок.

Аннушка *(благоговейно оглядывает стены)*. Я еще никогда не видела, как живут великие артисты. Все вещицы, вещицы, большие и маленькие... Меня Аннушкой зовут!

Ладыгин. Ну, пока снимайте вашу панамку, Аннушка. Вот яблочко берите, так. Теперь садитесь на это пружинное облако, фея...

Аннушка. Ну, что вы!

Улыбаясь, — и когда она улыбается, морщинки разбегаются от ее переносья, — Аннушка опускается на краешек тахты. Вставив один цветок в петлицу, Ладыгин грузно садится рядом.

Ладыгин. Рассказывайте... когда и в чем вы слышали меня в последний раз?

Аннушка. Еще вчера... *(От робости забыв название.)* Ну, как ее... это произведение из жизни чертей!

Ладыгин *(покровительственно)*. А, Фауст! Впервые после лета пел. А, постойте, кажется, я даже помню эти веснушки! Вы в ложе бенуара сидели?

Аннушка. Кто... мы? Не-ет, мы там, под самой люстрой, сидели. Нам сказали... когда Ладыгин поет, всегда билетов нет.

Ладыгин *(польщенно)*. Да. И как же звучал мой голос?

Аннушка. Ничего себе. Он довольно громко звучал.

Они помолчали. Протянув руку за спиной гостю, Ладыгин отечески приподнимает спустившуюся с ее плеча бретельку платья. Аннушка отодвинулась.

Только вы... не надо меня обнимать. Я не люблю, когда меня обнимают.

Ладыгин. Да я и не собирался...

Аннушка. Все равно не надо. *(И поднялась. Яблочко покатилося на пол с ее колен.)* Так вот вы какой... *(разочарованно)* Ладыгин!

Ладыгин. Какой же я?

Аннушка. А папка говорил, что вы молодой и красивый... *(И зачем-то оглянулась на дверь, куда ушел Алексей.)* Он, наверно, забыл: уж давно-о!

Ладыгин (*гораздо суше*). Вам рано судить об этом. Вы еще ребенок.

Аннушка. Нет, я уж большущая, в вуз поступать приехала.

Ладыгин. И какой же вуз вы себе избрали?

Аннушка (*застенчиво*). Папка в науку уговаривает. А мне хочется...

Ладыгин. Куда, куда? Что вы там под нос шепчете?

Аннушка (*громко, со страхом*). В театральный... говорю.

Ладыгин (*холодно и печально*). Не примут вас в театральный. Данные не те, и голосок у вас вполне куклячий. Вам скорее белый халат науки к лицу... или, например, почему бы вам по пчеловодству не вдарить! (*Тоном выговора.*) И не шататься в ночное время по артистам.

Аннушка. Я не одна, я с папкой пришла. Он там за такис расплачивается, а я уж бегом сюда.

Ладыгин. Какой папка? Ничего не понимаю...

Аннушка (*секретно*). Мне хотелось, пока его нет, проверить... правда ли, будто однажды вы ему одному... целую ночь на фронте пели?

Ладыгин. Стойте... (*Схватив ее за плечи, издавая неясные звуки удивления, он мучительно всматривается в ее лицо и вдруг бросается к двери.*) Эй, кто там в доме есть... быстрее, Параша!

Параша вбежала.

Там, внизу... кудрявый такой... Свеколкин... На лифте его махом сюда!

Параша убежала.

(*Тащит Аннушку к окну.*) Где он там, где, покажите!

Аннушка. Во-он... который с племянником вашим прощается. Вот Параша к нему подошла. Это он, он! (*Высунувшись в окно.*) Папка, иди скорей, он уже поправился, твой певец! (*Ладыгину.*) Как он обрадуется... ведь он еще не знает, что вы уже выздоровели!

Ладыгин не спускает с нее взгляда, потому что в ней он видит пробежавшее время.

После театра спать вчера не хотелось, мы до рассвета по улицам гуляли. Я люблю ночью заблудиться в незнакомом

городе. Папка все рассказывал про молодость, про вас... Какой вы хороший, какой вы хороший... были, Ладыгин! Но что же они не идут?

Ладыгин. Да перестаньте вы вертеться, юла. *(С трудом.)* Значит... вы дочка Паши Свеколкина? Я к тому, что тогда вас не было.

Аннушка. Верно, меня не было тогда... Я — потом.

Голос Параша *(в коридоре)*. ...Имейте в виду, что Дмитрий Романович торопится на очень важное заседание.

И вот, торопливо и улыбаясь, со старенькой шляпой в руке, входит небольшой, скромного облика человек. Под слегка прищуренным взглядом Ладыгина он проводит платком по облысевшей голове, оправляет пиджак, надетый поверх вышитой рубашки.

Аннушка. Вот и папка в натуральную величину.

Молчание.

Свеколкин. Не узнаешь, Дмитрий Романович? Ну-ну, привыкай ко мне. *(Улыбка медленно сбегает с его лица.)* Нам не к спеху.

Ладыгин. Где же кудри-то твои, пират?

Свеколкин. Э, ветром да временем посмыло. *(Кивнув на дочку.)* Взгляни на этот календарь... Не столь красиво, зато гигиенично, Дмитрий Романович.

Ладыгин *(красивым голосом)*. Ну, дай мне... сжать тебя. Пашка Свеколкин!

Они обнялись, не очень крепко.

Теперь узнаю. Глаз твой узнаю озорной. А, и оспинка на месте, ха-ха....

Свеколкин. Я с племянником твоим задержался... *(Искренне.)* И вообще извини, что до сих пор тебя не навестил: некогда. Я тебе писал, не раз писал.

Ладыгин промычал что-то неопределенное.

Аннушка *(отцу)*. Дмитрий Романович тебе, наверное, по старому адресу отвечал.

Свеколкин. Я так и догадался. А мы с дочкой на новое место переехали. Всех ты обогнал, Дмитрий Романович. На всю страну гремишь.

Ладыгин *(с приятностью)*. Переста-ань, не люблю. Ты о себе-то расскажи.

Свеколкин. По радио слушаем тебя. Обширнейший твой голос. Веришь ли, целиком-то в квартирке как-то и не помещается. Подтверди, дочка!

Аннушка (*счастливо*). В палисадник слушать выходим.

Ладыгин. Ну, мерси. А сам-то, сам-то кем теперь стал?

Аннушка (*переглянувшись с отцом*). Не говори, не говори. Пускай он сам определит.

Свеколкин. Ты артист, у тебя глаз зоркий. Угадай.

Ладыгин. Тогда держись, Паша. Встань этак попрямей... (*Обходя кругом.*) Не сердчай, по лицу и виду твоему я бы сказал, что ты есть... ну, кадр районного масштаба.

Аннушка. Нет, точней, точней надо!

Ладыгин. А ну, подыми голову, так. (*Осторожно, чтоб не обидеть.*) Кассир?

Аннушка (*хлопая в ладоши*). Угадал, угадал!

Свеколкин. Артист, сразу видать. Насквозь глядит!

Ладыгин. Что ж, должность твоя не крупная, но ничего, Свеколкин. Перед народом своим всякий человек маленький. А помнится, ты о науке мечтал... Не сбылось? Ладно, дочка наверстает. (*Аннушке полушутливо.*) В науку, товарищ!

Свеколкин. А чую, не оправдал я чем-то ожидания твоего, Дмитрий Романович! Ждал, небось, что я на «линкольне» прямо в шестой этаж к тебе подъеду, а?

Ладыгин. Неверно! (*Театрально.*) Рад был любого, в опорках и язвах, обнять тебя, Паша Свеколкин... И вчера я даже как-то сразу учуял, что ты в зале. (*И уже сам верит в это.*) И как подняли меня из подполья в красных моих пламенах, даже накладка случилась... не заметил? Вараввин дирижировал, дает второй раз начало... помнишь? Пам-пам, пам-пам... (*И он напевает несколько тактов своей знаменитой арии.*) А я молчу. Понимаешь, замкнулся звук. Гляжу в эту тысячеглазую тишину, ищу тебя... И как мне захотелось пожить с тобой недельку, вспомнить все то, на чем уже роса истории лежит!..

Свеколкин незаметно посмотрел на часы.

Ты чего время-то смотришь, пират?

Свеколкин. Не обижайся, Дмитрий Романович, мы люди приезжие. А у тебя поясница... Твоему басу спать пора.

А н н у ш к а *(лукаво)*. Нам еще номер надо искать. Теперь сессия, все гостиницы заняты. Вот мы с папкой ночь-то и прогуляли.

Свеколкин укоризненно покачал дочери головой из-за спины Ладыгина.

И даже вещи в чужом номере сложены.

Л а д ы г и н. Сожалею, друзья мои... Но тут мне вас поместить, как видите, негде...

Вошла П а р а ш а

Что вам?

П а р а ш а. Шофер вернулся, спрашивает, скоро ли поедете.

Л а д ы г и н. Ждать. Идите, Параша.

П а р а ш а. Я к тому, что ночь на дворе, а дача громадная, совсем пустая... Вере Артемьевне страшно одной.

Молчание.

Л а д ы г и н *(неохотно)*. А это неплохая мысль! Слушайте, пираты: семь комнат, речка с карасями и сорок километров первостатейного горизонту. Машина ходит раза четыре в сутки. Соглашайтесь!

С ве ко л к и н. Как, Аннушка?.. Удовлетворим его ходатайство?

Аннушка давно уже подает ему знаки, чтоб соглашался.

А н н у ш к а *(рассудительно)*. Дмитрий Романович так упрашивает тебя, что тебе неудобно отказываться.

Л а д ы г и н *(Параше)*. Сейчас спускаемся. Мне мою сбрую!

Параша ушла. Ладыгин стеснительно трогает локоть Свеколкина.

Маленький уговор, Паша. Будь друг, выдай там себя за кого-нибудь поважнее...

Свеколкин недоуменно прищурился.

Видишь ли, я столько хвастался тобою перед своими домашними, что... Ну, я прошу тебя, словом!

Свеколкин (*растерянно*). За кого же мне себя выдать? Скажем, директор Каспийского моря. Сердито звучит, как ты находишь?

Ладыгин. Не дойдет. А если повыше хватить?

Аннушка. А, например, дальневосточный наркомздрав?

Ладыгин. Наркомздрав... это неплохо. А выдержишь?

Свеколкин. Попробую, Дмитрий Романович. Блеснем, дочка?

Аннушка. Блеснем, папка.

Вошла Параша со шляпой и пальто Ладыгина.

Ладыгин (*показав гостям на дверь*). Прошу...

Гости выходят первыми.

Приберите этот кавардак и ранним поездом на дачу. (*Кивнув вслед Свеколкину*). Видали паренька? Был директором всего Каспийского моря, а теперь выдвинули в наркомздравы. Одних докторов у него семь с половиной тысяч, а всякой мелочи, фельдшеров да акушеров... (*Он только рукой махнул.*) Словом, мы с ним на фронте советскую власть вместе добывали.

Параша (*с почтением*). А по виду и не скажешь, что большой человек.

Ладыгин (*с усмешкой*). Большой... Необыкновенный человек!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Когда раздернут синюю занавеску, в которую солнечными пятнами и щебетом птиц уже ломится утро, обнажится раздвижная стеклянная перегородка, отделяющая комнату от веранды, станут видны: гряды неистовых августовских настурций, вершины берез на спуске к реке и, в просвет между ними, пойма с копнами сена; веселые отблески сада отразятся тогда в краске стен, в лаке мебели, в эмали электрического холодильника. А пока — синий, как бы зимний сумрак стоит в этой нарядной комнате с массой дверей и широкой лестницей наверх, в помещение хозяев; пока — на столе, вокруг которого беспорядочно расставлены стулья, тарелки после ночного ужина гостей, бутылки, увядший букет, и красивая шелковая шаль Веры Артемьевны забыта в кресле. На диване в углу, разметавшись, спит Аннушка: ее платьице чинно висит рядом на спинке стула. Другая, уже скатанная, постель сложена у стены возле привезенной с вечера картины.

Вошла Параша делать утреннюю уборку. Прикрыв одеялом голые ноги Аннушки, она загораживает ее ширмой. Из комнаты под лестницей, споткнувшись на высоком пороге, вышла

Констанция.

Параша. Ш-ш, тише...

Констанция. И пороги какие-то... за ноги цепляются. Порядки в доме! Завтракать пора, и никого нет.

Параша. Воскресенье, а у Дмитрия Романовича вечером спектакль. Спите, все еще спят.

Констанция. Я человек по натуре деятельный, мой друг. Я не привыкла без дела сидеть. Мне всегда что-нибудь делать надо. *(Она ходит за Парашей и смотрит, как та работает.)* Кофе еще не скоро?

П а р а ш а. Сперва Дмитрий Романович на речку сходит, потом вернется. Тогда уже Веру Артемьевну начнем ждать.

Констанция возмущенно уходит к себе. Дверь остается открытой. Из своей комнаты вышла с мохнатой простыней К и р а. Она стучит в дверь к Алексею.

К и р а (*вполголоса*). Алексей, вы собирались пойти купаться. Уж утро, Алексей!

П а р а ш а (*собирая посуду со стола*). Алексей Иванович еще не возвращался.

К и р а. Он ночевал в городе?

П а р а ш а. Нет, он совсем домой не приезжал. Ночью только позвонил из института.

К и р а. Зачем?

П а р а ш а. Ну, спрашивал... веселая ли вы вернулись с концерта. (*В глаза.*) Спросил... одна ли вы вернулись с концерта.

К и р а. Что же вы сказали?

П а р а ш а (*недружелюбно*). Я сказала, что Дмитрий Романович гостей на дачу повез.

К и р а (*смутившись и спиной к Параше*). Это... каких гостей?

П а р а ш а. Директор Каспийского моря с дочкой к нему приехали.

И, забыв посуду, она уходит. Кира с самонадеянной улыбкой обводит глазами комнату и только теперь замечает под дверью большие черные башмаки Констанции.

К и р а. Мамочка, я вижу твои громадные сапоги. Убери их, пожалуйста.

Башмаки уходят. На площадке лестницы с удочками появляется Ладыгин; увидел Киру и тотчас пытается скрыться.

Вы тоже на реку, дядя Митя?

Л а д ы г и н. Минуточку... я только полотенце захвачу.

К и р а. Оно у вас на плече. (*Она медленно поднимается к нему на несколько ступенек.*) Вы усердно избегаете встреч со мною. Вы боитесь меня, Дмитрий Романович?

Л а д ы г и н. Тише. Я ночью товарища привез. Тут его дочка спит.

К и р а. С некоторого времени вы даже не смотрите мне в глаза.

Ладыгин (*глядя в сторону*). Вам... в глаза? Н-не замечал. (*И вдруг в упор.*) Повидимому... опять оказалось одно свободное место?

Кира. Вы делаете иногда такие ценные наблюдения, которые меня просто умиляют.

Ладыгин. Я хотел сказать, что последнее время вы проявляете ко мне признаки внимания, которого я не заслужил. Ну, извините, мне пора. Я отсюда слышу, как эти... караси плещутся на речке.

Кира стоит на три ступеньки ниже, преграждая ему путь.

Если нас увидит жена, она ничему не поверит. Она отлично знает, как я люблю Алешку. Но что будет, если он сам застанет нас здесь наедине?

Кира (*тихо*). Я только этого и добиваюсь, Ладыгин. Все еще непонятно вам?

Ладыгин. Для чего, для чего это? Вам скушно с ним? Мне и самому непонятно, что его привлекает в этих... микробах. Но, Кира, поверьте мне, этот парень стоит того, чтоб его любили. Вдобавок, он и теперь на примете, а лет через пять, когда слава и деньги хлынут на него, как воды потопа, любая, поймите же, любая пойдет за него вприпрыжку. Но вы, вы красивей всех! У вас отличные ноги, глаза... и шея тоже. Он... разум потерял из-за вас. Пожалейте... его! И мой совет: целуйте его, целуйте до обручения. Это парень чистый и, главное дело... совестливый.

Полузакрыв глаза, она слушает это, по существу, его собственное признание.

Кира (*качая головой*). Что вы понимаете, кроме своих арий, Ладыгин!

Ладыгин. Два месяца подряд все шепчутся о вашей свадьбе. Уж и шампанское выдохлось в чулане. Вера давно приготовила вам подарки... Почему, почему же вы не хотите стать его женой?

Кира. Вам нужно, чтоб я сама, сама сказала вам об этом? Хорошо.

Приставив удочки к стене, он на всякий случай прикрыл позади себя дверь. Оба не видят, что башмаки Констанции снова появились под дверью.

Я неделями не вижу Алексея. Оставаясь со мной, он рассказывает мне только про Лилиану. Ею одной заняты его

мысли и дни. Обезьяна владеет и моей собственной судьбой... Но о свадьбе Алексей еще не заговаривал со мной ни разу... *(Отступив к перилам.)* Я мешаю вам пройти? Идите.

Ладыгин. Простите меня, Кира. Я не знал... *(Он тянется утешить ее и вдруг отдергивает руку, как от западни.)* Ну, тогда, будь я на вашем месте...

Кира *(очень просто)*. Не замахивайтесь, Дмитрий Романович. Он сильнее меня. У него нет соперников в этом доме. У меня был только один способ привлечь к себе его внимание: вы. Но вы не поняли, не захотели... хотя я могла бы попросить для вас у Веры даже письменное разрешение на это!

Ладыгин. Мне... мне не нужно никаких позволений. *(Солидно.)* Дайте мне сутки, и я посажу вам Алешку, как муху на этот клейкий лист! *(Мужественно.)* Пойдемте на реку, и пусть Алешка нас поищет для начала.

Удочки шумно падают на ступеньки, Ладыгин оглянулся на дверь позади.

Кира. Чего вы так напугались, дядя Митя? Разве мы делаем что-нибудь дурное?

Ладыгин. Ш-ш, мы Аннушку разбудим. Спускайтесь, тихо...

Они уходят крадучись. Улыбаясь своим сокровенным догадкам, Констанция выходит из-за дверей. Потом она прикроет кирину дверь, прежде чем войдет вернувшийся из города Алексей.

Алексей. Доброе утро.

Констанция. Здравствуйте, мой друг. Мы знакомы с вами. Я кирина мамочка. *(Она движется с явным намерением обнять его и задерживается на полпути, остановленная его ироническим взглядом.)* Я знаю вас только по письмам Киры. Верите ли, весь последний год она мне только про вас и писала.

Алексей. Охотно верю. Тем более что Кира знает меня уже целых два месяца. Мы уговорились вместе итти на реку. Она встала?

Констанция *(томно)*. О, пускай дети еще понежятся в постели!

А л е к с е й. Вы все-таки постучите к ней. Я зайду за нею через минутку. (*Он прошел к себе.*)

А н н у ш к и н а голова показывается поверх ширмы.

А н н у ш к а (*шопотом*). Она уже ушла. Она на реку с Дмитрием Романовичем ушла.

Пенсне Констанции вопросительно поднимается на нос.

К о н с т а н ц и я. И что вы здесь делаете, милочка?

А н н у ш к а. Кто, я? Сплю-у...

К о н с т а н ц и я. И вы всегда, милочка, стоя за ширмой спите или только в гостях?

А н н у ш к а. Нет, я проснулась, как удочки у него упали. Я и проснулась. А папка всегда еще до чая уходит гулять.

К о н с т а н ц и я. И вам хорошо пройтись перед чаем. Одевайтесь, милочка. Детям вредно долго оставаться в постели.

Судя по движению силуэта на ширме, Аннушка торопливо одевается.

Вот и славно. У нас прекрасный сад. Нарвите свежий букет. (*Милостиво ведя ее к веранде.*) Значит, вы Аннушка? У вас очень милое лицо, Аннушка. Вы очень похожи на меня в молодости... как и я на вас!

В открытой летней рубашке и с полотенцем вышел А л е к с е й. Выпроводив Аннушку, Констанция успевает опередить его на пути к кириной двери.

К и р а, ты проснулась? (*Она осторожно стучит.*) Алексей Иванович зовет тебя на реку. (*Алексею, улыбаясь.*) Спи-ит...

А л е к с е й. Как она долго сегодня.

К о н с т а н ц и я. О, перед тем как проснуться, девушки спят со страшной силой! У вас такой усталый вид. Вы можете прилечь пока у себя. Кира постучит к вам потом.

А л е к с е й. Гораздо проще подождать ее здесь. Времени еще достаточно.

Он опускается в удобное плетеное кресло. На площадке лестницы появилась В е р а А р т е м ь е в н а. Алексей приветствует ее рукой.

Дядя Митя еще дрыхнет?

Вера Артемьевна. Я не заглянула к нему. Он поздно лег, долго с гостями сидел. (*Спускаясь вниз.*) Как вы провели ночь, тетя?

Констанция. Кошмарно, мой дружок. Совершенно незнакомые люди до утра заставляли меня пилить какое-то громадное полено. Ужасно проголодалась!.. Побудь с Алексеем Ивановичем, я только Киру разбужу. (*Она ушла в комнату дочери.*)

Вера Артемьевна. Вы опять не спали ночь, Алексей? Которую на неделе!

Алексей. О, у меня в лаборатории есть диван... старый, колючий друг. Мне удалось на полчаса прилечь перед рассветом. А сейчас пойду искупа-юсь...

Откинувшись к спинке кресла, он блаженно закрывает глаза.

Вера Артемьевна садится рядом.

Впереди у меня только каких-нибудь... тридцать лет. Потом я стану разводить цветы, украшать собою президиумы, писать мемуары... А время течет. И вот я тороплюсь нагрузить его своей добычей.

Вера Артемьевна. Мне надо итти, Алексей.

Алексей. Посидите со мною, Верочка. (*Наугад коснувшись ее руки.*) Мне хочется рассказать про себя и... некому. Я уже месяц сплю не раздеваясь. И так много надо сделать! И океан времени впереди... Кажется, я счастлив, Верочка!

Она поднялась.

Куда вам надо? Еще утро...

Вера Артемьевна. Я хочу пройти на реку.

Алексей. Сейчас разбудят Киру, и мы пойдем все трое.

Вера Артемьевна. Ну, сегодня ее придется долго будить.

Алексей приоткрыл глаза.

Кира уже давно на реке. Она ушла с Митей. (*Улыбнувшись.*) И ее мать знает это.

Алексей. К чему же тогда вся эта комедия?

Вера Артемьевна. Когда-нибудь мы это узнаем. Оба сразу.

Алексей (*рассмеявшись на ее тон*). Однако вы смелая женщина... Вы отпускаете мужа с моей невестой, среди бела дня, одних... и куда? Жутко сказать: на реку!

В е р а А р т е м ь е в н а. Не смейтесь, Алексей. Люди смотрят на просвет вино, которое они пьют.

А л е к с е й. Понимаю, дядя Митя держит экзамен на верность.

В е р а А р т е м ь е в н а. И не он один. *(Защищаясь.)* А вы... разве вы закрыли бы глаза на все вокруг, если бы в вас вкралось сомнение?

А л е к с е й. Сомнение в чем?

В е р а А р т е м ь е в н а *(охваченная новой идеей)*. Скажите, может случиться, что вы не получите премии?

А л е к с е й. Наверно так и будет. Туда представлены блестящие работы... полевой хирургии например. А от моей папатачи пока никто еще не умирал. К чему вы это?

В е р а А р т е м ь е в н а. Я с детства знаю мать Киры и знаю, чего она ищет для дочери. Уверены вы, что она отпустила бы с вами Киру на лишения самой простой трудовой жизни?

А л е к с е й. Кира — человек взрослый.

В е р а А р т е м ь е в н а. Однажды ее мать уже пыталась поселить ее в своих воздушных замках. Вам известно, что Кира была замужем?

А л е к с е й. Мне глубоко неинтересен этот разговор.

В е р а А р т е м ь е в н а. Не я начала его... Замужем за одним режиссером, у которого внешнее и душевное уродство прикрывалось его большим заработком.

А л е к с е й *(недобро)*. Я все-таки надеюсь, что из этого путешествия на реку с моей невестой дядя Митя вернется целым и невредимым.

В е р а А р т е м ь е в н а *(с упреком)*. Алеша, я вам завтраки в школу готовила!

А л е к с е й. Мне известно, что люди болеют. Но болезнь я считаю отклонением от здоровья, а не наоборот. Кроме того, я люблю Киру. Люблю ее одну. Люблю ее любую... *(И совершенно другим голосом.)* Как я, однако, спать хочу! *(И опять, откинувшись к спинке, он закрывает глаза.)*

В е р а А р т е м ь е в н а *(материнским тоном)*. Кира — первая ваша женщина, и вы потеряли голову. Это хорошо, это молодость. Но у вас большая жизнь впереди, и не надо засорять ее ошибками. Ищите жену, для которой ваша работа станет самым главным на свете. Когда вы познакомились с Кирой, я нарочно поселила ее у нас, чтобы вы

разглядели ее ближе. Вам этого оказалось мало. Тогда я пригласила сюда и ее мать. Всмотритесь в них, не торопитесь. Мне не понравилось, как всю дорогу вчера она расспрашивала меня о вашей премии. (*Вполголоса и отойдя от Алексея из опасения, чтобы кто-нибудь не вошел.*) Хотите маленький опыт, Алексей?

Он молчит.

Хорошая любовь не боится испытаний. И разве у себя в лаборатории, решаясь на крупный шаг, вы не делаете предварительных исследований?

Алексей неподвижен. Вошла Параша с чайной поедой на подносе. Пока Вера Артемьевна идет к ней, полотенце Алексея падает на пол, соскользнув с колена.

К вам просьба, Параша. Мы хотим подшутить над Митей. Пожалуйста, когда все будут в сборе, вызовите Алексея Ивановича как бы к телефону. Сделайте вид, что случилось что-то ужасное. Можете даже разбить что-нибудь в суматохе...

Параша (*опустив глаза*). Я все понимаю, Вера Артемьевна.

Вера Артемьевна (*строго*). Понимайте меньше, Параша, и вы дольше проживете у нас. (*Она возвращается к Алексею.*) Все готово, Алексей. Остальное я беру на себя. Вы слышите меня?

Он не отвечает, он спит. В раздумье Вера Артемьевна поднимает полотенце Алексея, потом останавливает уходящую Парашу.

Параша, ничего не надо. Суматоха отменяется.

Наклонив голову, Параша ушла. С цветами возвращается Аннушка.

(*Говорит с нею уже шопотом*). А вы куда, Аннушка, поднялись в такую рань?

Аннушка. Уже я выпалась. Нигде так крепко не спала.

Вера Артемьевна. И что же вам приснилось на новом месте, Аннушка?

Аннушка. Вот это самое... как Дмитрий Романович сказал вчера. (*Припоминая.*) Ты-ся-че-глазая тишина. И я стою одна, в белом халате, посреди. И все ждут, какую же дорогу я выберу в жизни. А я еще не знаю...

В е р а А р т е м ь е в н а. Я покажу вам человека, Аннушка... Со временем будет стыдно не знать его имени. *(Ведя ее к Алексею.)* Он только заснул нечаянно. Он работал ночь. Запомните его лицо!

А н н у ш к а. О, с этим я уж знакома. Он цветы у меня вчера отобрал.

В е р а А р т е м ь е в н а. Тем лучше. Поговорите с ним о своей дороге в жизнь.

Хмурясь и улыбаясь своим мыслям, которые, как солнечные пятна, бегут по ее лицу, Аннушка стоит перед Алексеем. По дороге в сад Вера Артемьевна шумно раздвигает занавеску.

В комнату врывается день. Алексей открывает глаза.

А л е к с е й. Простите, Верочка... меня тут словно волной подмыло. *(Он видит Аннушку.)* Вы... ко мне?

А н н у ш к а *(лукаво)*. Вы так храпели, даже мухи садиться на вас боялись. Я из сада прибежала взглянуть, как вы это делаете...

Ее шутка не дошла до Алексея.

Я пошутила... Я читала про вас. И думала, вы старенький и добродушный, а вы — нет. Но уже знаменитый?

А л е к с е й *(сухо)*. По части знаменитости — это у меня дядя. А мне пока мало что удастся.

А н н у ш к а *(горячо)*. Неправда! Папка говорит, что вы будете такой же, как Павлов. А уж папка-то знает!

Лицо Алексея резко меняется.

(Отступает.) Я обидела вас?

А л е к с е й. Вы юны, товарищ. Не бросайтесь словами, которые вам пригодятся когда-нибудь, чтоб обозначить самое дорогое в жизни. *(Почти сурово.)* Павлов — это образец человека и его труда.

А н н у ш к а. Но ведь Павлов не сразу родился старым. Некоторые уверяют, что он тоже был молодым...

Алексей усмехнулся.

...и даже, говорят, на велосипеде ездил.

А л е к с е й *(смягчаясь)*. Это у вас я вчера цветы отобрал?

А н н у ш к а. У меня. Пригодились?

А л е к с е й. Немножко. Теперь я вспомнил вас. Вы — вчерашняя поклонница.

А н н у ш к а (*обиженно*). И неверно. Я сюда учиться приехала.

А л е к с е й. О, это почтено. И чему же вы намерены посвятить свои могучие силы?

А н н у ш к а. Еще не решила. Ум как-то с сердцем борется. Театру или науке.

А л е к с е й (*полушуткой*). Если колеблетесь, идите в театр. Там слава, толчея, аплодисменты... А науке нужны верные люди, которые не ждут от нее ни денег, ни быстрого успеха, ничего... (*почти самому себе*) кроме разве маленького утешения под старость, что и ты поморгал человеческому роду подняться хоть на ступеньку из его жалкого зверства. Итак, в театр, милый товарищ!

Аннушка отошла и ставит букет в вазу, он не влезает. Видя, как дрожат руки девушки, Алексей идет к ней.

Давайте я вам помогу. Да вы не огорчайтесь. Дядя Митя, например, тоже в театре. Однако это вполне порядочный человек.

А н н у ш к а. Спасибо... за совет! (*Она убегает на веранду.*)

Из кириной комнаты, запыхавшись, со сбитой прической вышла Констанция.

Констанция. Кира выйдет сейчас. Едва добудилась ее... Куда же вы, мой друг?

А л е к с е й. Я думаю, Кире незачем вторично идти со мною на реку. (*Коснувшись подбородка, он выглянул в коридор.*) Параша, мне кипятку, пожалуйста. (*И ушел.*)

Констанция приоткрывает дверь, за нею никого. К ее удивлению, Кира появляется с веранды.

Констанция. Почему ты не влезла в окно, как я тебя просила?

К и р а (*сдержанно*). Я не хочу в окно, мама.

Констанция. Твое счастье, что он ушел. Сядь. Я хочу, чтоб ты ввела меня в курс дела.

Кира расставляет чайную посуду на столе.

Не уловлю, кого же из них ты выбрала себе наконец. Ты как будто невеста младшего Ладыгина и просто на аркане тащишь с собою старшего. Я же вижу твои уловки, сама

была когда-то женщиной!.. И, как видно по всему, ты любишь именно певца, а выходишь замуж за ученого? Я отказываюсь понимать твои планы.

К и р а. Тебе и не надо их понимать. Дай мне делать мою судьбу.

К о н с т а н ц и я. Надо же разобраться в этой путанице. Возьмем для начала жениха. Конечно, он молод, хорош и, кажется, даже образован... в своей области, конечно! Но не всегда же он будет находить эти самые микробы. Они же такие маленькие, девочка. Мне соседка рассказывала, у них даже ножек нет! Когда они рождаются, их даже собственная мама не видит!

К и р а. Ты тише говори. Услышат, будут смеяться над тобой.

К о н с т а н ц и я (*грозя пальцем*). Ничего, мой друг. Над Суворовым тоже смеялись... Я даже допускаю: ты ушла, скажем, к подруге, а он тем временем запирается в кабинете, снимает пиджак, заглядывает в микроскоп и опять открывает какого-то неопикуемого микроба, который уже присел, как тигр, и готов прыгнуть на человечество... Слов нет, это приятно, но ведь он может и ничего не получить за это. Этих микробов на каждой пылинке, как в трамвай, насовано. За каждого микроба премию платить — это американский банк лопнет.

На веранде появились Ладыгин и Свеколкин с дочерью.

К и р а (*смеясь*). Перестань, я разобью что-нибудь, мама...

К о н с т а н ц и я. Теперь коротко взвесим твоего певца. Конечно, это ветреный народ... слава богу, я имела дело с артистами!.. Кроме того, они глохнут, теряют голос под старость... и вообще любят умирать от паралича. Зато закрой глаза и вообрази на минутку. Ты сидишь в первом ряду на его концерте. На тебе длинное платье, тонкий мех, но ты грустна. И пока твой муж рычит что-то со своих подмостков, весь зал, затаив дыхание, в тысячу биноклей смотрит на тебя одну... (*С пылом.*) О, это уже не микроб, милая моя! Спел разок потише — люстра, спел погромче — чернобуря лиса. Господи, да будь у меня такой бас, я бы рта не закрывала... я бы в месяц целый Париж себе напела, радость моя! (*Вздыхнув.*) Мой совет: бери певца!

К и р а. Кончила?.. Теперь слушай меня.

Констанция затихает при бдном звуке ее голоса.

Ты уже рассорилась с братьями, а однажды жестоко напутала и в моей жизни. Так вот: или я уеду отсюда... или ты даешь мне слово сократить твою кипучую деятельность...

Констанция. Хорошо.

К и р а. ...и не вмешиваться в мои дела.

Констанция (злоюще). Хорошо. (*Пытаясь взять ее за руки.*) Мне казалось, что ты меня простила...

К и р а. Пусти, я хочу к людям.

Но теперь поздно: вошли Вера Артемьевна и Ладыгин с удочками. Одновременно, уже в летнем костюме, вошел и Алексей.

Вера Артемьевна. Тетя Констанция, скажите Параше, чтоб давала кофе. (*Алексею.*) Вы так и не дождались Киры?

Алексей (*поцеловав руку невесты и смотря ей в глаза*). Кира вышла, когда я задремал, и пожалела меня будить.

Вера Артемьевна. Вот вы все спите, Алексей, а Митя тем временем отобьет у вас невесту.

Ладыгин. Ну, Алешка — это апрель, а я уже август. Куда же августу состязаться с апрелем!

К и р а. Август — это еще не ноябрь.

Алексей. Но это уже август! (*Дяде.*) Я шел садом и слышал, как кричали караси, которых ты подсекал. Где твой улов?

Ладыгин. Сперва не клевали, потом щука леску утащила, потом стало накрапывать...

Вера Артемьевна. Словом, не повезло.

Параша вносит большой кофейник.

Параша, пошлите сюда за картиной. Ее надо повесить теперь же! После обеда все едут на футбол. А куда же тетя Констанция пропала?

Параша. Они там у себя... наряжаются.

К и р а (*заметив улыбку Параше*). Я схожу за нею, Верочка.

Параша и Кира уходят. Вошли Свеколкин и Аннушка.

И тотчас же стал слышен легкий шелест дождя.

В е р а А р т е м ь е в н а. Как раз от дождя ушли. Знакомьтесь. Это и есть Алексей Ладыгин. (*Подталкивая Аннушку вперед.*) А это девушка, которая ищет, как применить себя в жизни, — Аннушка.

А л е к с е й. Первую консультацию, правда неудачную, мы уже провели.

В е р а А р т е м ь е в н а. И ее отец — друг митиной молодости.

С в е к о л к и н (*кланяясь*). Я давно и пристально слежу за работами Алексея Ивановича.

А л е к с е й. Это неутомительно. Их не так много.

Л а д ы г и н (*похлопывая Свеколкина по плечу*). Ты не шути с ним, Алешка. Это, брат, тоже своего рода ученый. Скрещивает под пиво раков с помидорами!

Все удивленно посмотрели на Ладыгина.

А л е к с е й (*Свеколкину*). Не обижайтесь на дядю Митю. Он хороший человек, но к его юмору надо терпеливо привыкать.

Вошли шофер и сторож.

Верочка, это к вам!

В е р а А р т е м ь е в н а. Митя, усаживай пока гостей. (*Подойдя к вошедшим.*) Доброе утро. Берите, пожалуйста, картину... Параша покажет вам место над диваном. Только вбейте крюк поглубже, чтоб не сорвалась: боюсь.

Шофер и сторож выносят картину. Из коридора слышны голоса Киры и Констанции.

К о н с т а н ц и я. Оставь меня в покое, мой друг. Я сама знаю, что прилично и что мне к лицу.

В е р а А р т е м ь е в н а возвращается к гостям. Наряженная в атласное, но ставшее ей тесноватым платье, вступает К о н с т а н ц и я; на ее жилистой, как у кондора, шее черная бархотка с агатовым крестиком. Сцепив руки за спиной, Кира остается у двери.

В е р а А р т е м ь е в н а (*демонстративно*). Будьте знакомы, пожалуйста. Это мать невесты Алексея Ивановича.

Привстав, Свеколкин кланяется. Тем временем Алексей незаметно отправляется за Кирой.

Констанция (*шумно*). О, мне уже говорили про вас. Если мне не изменяет память, вы директор Каспийского моря?

Ладыгин. Нет, это он раньше был каспийским директором.

Констанция (*сидясь за стол*). Мне всегда было как-то до слез жалко Каспийское море. Ведь, если не ошибаюсь, это высыхающее море?

Свеколкин (*пожимая плечами*). Да, море, как говорится, не особенно надежное.

Констанция. Но будет ужасно, если оно когда-нибудь высохнет совсем!

Вера Артемьевна. До этого не допустят. (*Свеколкину*.) Наверно, каждую весну приходилось подвозить воду?

Аннушка. Там узкоколейка проложена. Целый день цистерны взад и вперед ходят.

Ладыгин. И даже на верблюдах. У них на горбу такие котомки кожаные... (*Фыркнув*.) Сам видал!

Все смеются. Констанция больше всех. И уже непонятно, кто же над кем шутит. В эту минуту Алексей ведет к столу свою невесту.

Кира. Не надо. Я хочу уйти, Алексей.

Алексей. Не стыдитесь вашей матери, Кира. У меня не было и такой. (*Он поймал на себе внимательный взгляд Свеколкина*.) Долго собираетесь погостить у нас?

Свеколкин. Сессия завтра уже кончается. Денек другой еще побудем.

Аннушка. Не забудь, завтра ты делаешь доклад у врачей.

Свеколкин. Я успею. Сессия закончится днем, и вечер у меня свободный...

Ладыгин (*дейтельно помогая ему в этой трудной роли*). Смотри, замотаешься, старик. Засадят тебя в санаторий, приставят батальон докторов... (*Хвастаясь Свеколкиным*.) Как видишь, Алеша, ни зернышка из нашей горстки не пропало!

Тем временем за стеной началась работа. Под ударами молотка крюк идет в стену.

Слушай, что они там у тебя затеяли?

В е р а А р т е м ь е в н а. Ты чудак, Митя. Они вешают твою картину.

Л а д ы г и н. В четыре молотка дубасят. Дайте хоть в воскресенье передохнуть.

В е р а А р т е м ь е в н а. Кира, скажи им, пожалуйста, чтобы потише.

Кира охотно уходит. Вскоре стук прекращается.

С в е к о л к и н. Давно собираюсь посетить ваш обезьянник и кстати познакомиться со знаменитой Лилианой. Кажется, так ее зовут?

А л е к с е й. Она в большой работе сейчас. На ней как раз изучается это новое почечное заболевание.

С в е к о л к и н. К сожалению, слышал. Вы начали эту работу недавно?

Вкрадчивый, пока еще неуверенный стук снова вкрадывается в тишину, приходится повышать голос. Ладыгин с удовольствием слушает научный разговор.

А л е к с е й. Недели три назад. Я сам вводил ей в вену патогенный материал.

С в е к о л к и н (*приставив к уху ладонь, чтоб лучше слышать*). Менингеальных явлений не замечали?

А л е к с е й. Нет. Центральная нервная система не была затронута. И вообще это уже в прошлом. Сегодня она уже вступила в контакт, температура снизилась. Только совершенно не бывало гиперемированы глаза...

Стук усилился. Свеколкин не расслышал.

Я говорю, глаза очень красные стали! (*Оглянувшись на стену.*) Ого, это уже серьезные работники действуют.

Л а д ы г и н. Чорт знает, что такое. (*Жене.*) Вдолби ж им, что гости, гости у меня!..

Его заглушает грохот, как бы обвал мебели, звон и вскрик за стеною. Аннушка сразу убегает туда. Привстав, все обеспокоенно глядят на стену. Тишина. Вошла П а р а ш а.

П а р а ш а (*деловито*). Вера Артемьевна, примочки у вас какой-нибудь не найдется?

Л а д ы г и н. Что у вас там, сражение происходит?

П а р а ш а. Сторож с табуретки рухнул. Хорошо еще, на картину упал, не шибко повредился.

Свеколкин. Может, пойти повязку наложить?

Вера Артемьевна. Пустяки, там невысоко. Тетя Констанция, сходите туда. Лекарства в шкафчике.

Констанция поднимается с большим бутербродом в руке.

Параша. Бинтик бы на всякий случай захватить.

Констанция. Там на месте посмотрим, Параша.

Они уходят. Слышно лишь мелкое, судорожное постукивание.

Алексей. Красота тебя погубит, дядя Митя.

Ладыгин. Это у них надолго. Давайте на террасу перебираться. А ну, ребята, перетаскивайте харчи...

Свеколкин и Ладыгин уносят часть посуды. Вера Артемьевна составляет на поднос оставшуюся. Алексей уходит со стульями.

Очень встревоженная, вбежала Параша.

Параша. Алексея Ивановича нет? Его немедленно к телефону требуют.

Вера Артемьевна (*насмешливо*). Во-первых, я просила вызвать его, когда все будут за столом...

Параша. С картиной завозилась, Вера Артемьевна.

Вера Артемьевна. ...во-вторых, я же отменила этот переполох.

Параша. Да нет же, его в самом деле к телефону зовут!

Алексей вернулся еще раз за стульями.

Алексей. Верочка, пойдем радугу смотреть. Радуга в полнеба!

Вера Артемьевна. Вас к телефону, Алексей.

Параша. У них там что-то ужасное случилось. Женский голос говорил и вдруг заплакал.

Алексей быстро уходит.

Ладыгин (*войдя*). Кто... где заплакал?

Параша (*сурово*). В лаборатории у Алексея Ивановича нехорошо.

Молчание.

Кира (*войдя*). Дядя Митя, требуется ваша атлетическая сила. Представьте, крюк завязнул в сучке, и теперь вытащить не можем... Что у вас такое?

Ей никто не отвечает.

В е р а А р т е м ь е в н а (*прижимая пальцы к вискам*). У меня весь день было предчувствие. Что же он станет делать теперь... накануне самой свадьбы!

К и р а (*с нарастающим беспокойством*). Вера... что случилось?

Л а д ы г и н. Мы стали перетаскиваться от вашего грохота на террасу, а Параша вызвала его к телефону. Он ушел, как в воду опущенный.

В е р а А р т е м ь е в н а (*раздумчиво, для Киры*). Могут и с института снять теперь...

П а р а ш а (*неподкупно и скрестив руки на груди*). И очень даже просто. Раз у них в лаборатории нехорошо. (*И, переглянувшись с Верой Артемьевной, она решается еще подстегнуть события.*) Ладно еще, если под суд не отдадут!

В фартуке, с веревкой и молотком возвращается
Констанция.

К о н с т а н ц и я (*возмущенно*). Человек с огромной тяжестью стоит под самым потолком, и все ушли. Будем мы ее вешать, наконец, или не будем?

В е р а А р т е м ь е в н а. Завтра утром повесим. (*Параше.*) Скажите, на сегодня кончили. Пускай идет.

Довольная сознанием хорошо выполненного поручения,
Параша уходит.

К о н с т а н ц и я. Тогда для чего было весь шум затевать?

Л а д ы г и н. Порадуй тетю, Верочка.

К и р а (*тихо*). У Алеши большие неприятности.

К о н с т а н ц и я (*роняя молоток*). Что-нибудь с премией?

В е р а А р т е м ь е в н а. Вы попали в самую точку, тетя.

К о н с т а н ц и я. Какой ужас, какой... (*Внезапная догадка осеняет ее лицо.*) Но где же он сам? Приведите его, дайте мне обнять его в такую исключительную минуту.

В е р а А р т е м ь е в н а. Пусть Кира одна побудет с ним пока. Мы придем потом. Митя, задерни занавеску!

И, отгородив таким образом веранду от столовой, Ладыгины
уходят.

Констанция (*плачевно дочери*). Иди скорей к нему, мой несчастный дружок. Ничего, можно устроиться уютно и в палаше... Раздели с ним это... несуществующее горе. (*В сторону веранды.*) Ах, шутники!

Кира. Как ты сказала... несуществующее?

Констанция. Я ничего не знаю.

Кира. Что, что ты скрываешь от меня?

Констанция. Ты оторвешь рукав у моего лучшего платья. (*Высвободив руку.*) Ты же запретила мне вмешиваться в твои дела.

Кира. Мама!

Констанция. Могу только пожелать тебе скорого решения. Но боюсь, что любое из них будет ошибочным. (*Напоследок.*) А только не кажется тебе, что они хотят тебя проверить?

Кира. Проверить?.. меня проверить?.. в чем?

Мать уплывает, посылая дочери торжествующие поцелуи. Смутные подозрения терзают Киру. В ее поведении отражены все внезапные и тотчас откидываемые решения. Она бежит к веранде — и раздумала, распахнула дверь в коридор — и захлопнула снова, точно оттуда пахнуло бедой. Аннушке приходится приложить усилия, чтоб войти сюда.

Ну!

Аннушка молча гладит ее руки.

Кира. Меня только одно пугает, что... ничего не случилось!..

Аннушка. Я сама видела, как трубка чуть не выпала у него из рук.

Кира. Вы слышали, о чем он говорил? Хоть полслова... о чем?

Аннушка. Какое-то вскрытие дел у них сейчас начинается. Может, деньги растратили или секрет какой пропал. Теперь начнется... но, может, и лучше, если он не получит премии, и пусть. Вы же не жадная! Зато никто не скажет, что вы выходили на готовенькое. У нас есть еще, которые любят сразу выходить за знаменитых... А где они раньше были, эти крашенные, беспощадные, когда их мужья в одиночку пробивались к своей славе... где! (*С жаром.*) Их кнутом, кнутом надо по их белой коже!

Кира. Какая вы... жестокая, Аннушка.

А н н у ш к а. Я не жестокая, я только честная... Вам тяжело, я понимаю. Ведь я все-таки тоже будущая женщина! (*Ластясь к Кире.*) И я знаю, вы гордая... Но, говорят, если поплакать, то легче станет.

К и р а. Я с детства не умела плакать, Аннушка. (*Про глаза.*) Они у меня сухие, сухие...

А н н у ш к а. Мне тоже редко плакать доводилось: папка запрещал. А вы попробуйте, может, выйдет... я отвернусь.

Кира хочет уйти. Аннушка с раскинутыми руками заступает ей дорогу.

А н н у ш к а. Не уходите, вы не смеете уходить от него. Вы же хорошая. Алексей Ладыгин не мог полюбить дурную! (*И уже совсем по-детски.*) Не пушу, не пушу...

К и р а (*сквозь зубы*). Дайте мне пройти, девчоночка.

Она прорвалась и ушла. Аннушка в смятении, когда, внешне спокойный, возвращается А л е к с е й.

А л е к с е й. Кира ушла?.. Я слышал ее голос.

А н н у ш к а. У нее... голова закружилась... от жары. (*Плача и комкая занавеску.*) Не надо, не надо...

А л е к с е й (*с досадой*). Послушайте, что вы там шепчете? Роль, что ли, разучиваете? Вы мешаете мне думать...

Она умолкает, закрыв рот скомканным краем занавески. Он идет к ней и, повернув к себе, заглядывает в ее опущенное лицо.

Э, да и у вас беда какая-то. Верно, любимая кукла заболела. Ничего, мы ее помажем столярным клеем, и она поправится. Еще красивей станет. Ну, улыбнитесь... актриса!

А н н у ш к а. Мне жалко вас очень.

А л е к с е й. И жалеть меня совершенно излишнее. Вы посмотрите на меня, ну! Я здоровенный парень, семьдесят два кило. А горе мое — действительно непоправимое... горе. Теперь я уже не выполняю в срок государственное задание, которое было поручено мне. Видите ли, у меня умерла... моя обезьяна.

А н н у ш к а (*неумело*). Она была... важная?

А л е к с е й. Очень, Аннушка. И довольно дорогая.

И как-то случилось незаметно: по-товарищески обняв ее за плечи, он ходит с нею по комнате.

Есть такая страна, Гвинея... проходили по географии? Так вот, у себя на родине они скачут и свисают с лиан, как лилии... мы ее и звали Лилианой. Она была немолодая. Еще Павлов заглядывал в эту живую книгу в минуты своих раздумий. И потребовалось привить ей одну новую болезнь...

А н н у ш к а *(подняв глаза)*. Какую?

А л е к с е й. Вы же все равно не поймете. Геморрагический нефрозо-нефрит, понятно? Мои ребята уложили ее в ремни, и я сам сделал это. Она металась, кричала, бредила своим лесом и стадом... И многое из того, что очень нужно людям, она рассказала мне в эти ночи своим немым языком. *(Горько.)* О, если бы все, кого мы любим, так помогали нам в наших поисках человеческого счастья!

А н н у ш к а *(с силой)*. Первый раз в жизни... денег, много денег хочу!

Алексей внимательно взглянул на нее.

Будь у меня богатство, я бы их купила вам сразу десять.

А л е к с е й *(улыбнувшись ее порыву)*. Вчера ночью я зашел к ней с сотрудниками в виварий. *(Он выпускает Аннушку, чтобы наглядно показать обстоятельства последней встречи.)* Припадок кончился. Она забилась вон в тот угол. Я протянул ей яблоко. Она взяла... и все кругом засмеялись!.. Но она так и не съела его. Вы опоздали взглянуть на нее, Кира!

А н н у ш к а *(отступив и с еще не осознанной болью)*. А-а... как же вы любите ее! Даже теперь, даже теперь...

Алексей не понял, какую оплошность он совершил.

(Спешит поправиться.) ...даже мертвую!

С веранды тихонько вступают Вера Артемьевна, Свеколкин и Ладыгин, который подходит обнять племянника. Алексей ждет, что войдут еще, но никого нет, и только ветерок колеблет занавеску.

Л а д ы г и н. Не унывай, Алешка.

В е р а А р т е м ь е в н а. У вас несчастье, Алексей?

А л е к с е й. Я потерял Лилиану. Ту самую, которую вы ездили смотреть с дядей Митей.

Л а д ы г и н. Это, конечно, прискорбно. Но Лилиана же не человек!

А л е к с е й (*не без резкости*). У нас разные взгляды, дядя Митя. Я привык любить свой инструмент, которым я преобразую мир. Это часть меня, моей руки. А Лилиана была инструмент, живой и точный. У меня больше нет таких.

С в е к о л к и н (*осторожно*). Алексей Иванович, я увижу завтра кое-кого на сессии и, если вы позволите...

А л е к с е й. Спасибо. Преждевременно. Ваша дочь заронила в меня другие планы.

В е р а А р т е м ь е в н а. О планах потом, потом. Они просят меня поиграть им... Хотите немножко музыки, Алексей? (*Аннушке.*) Пойдемте наверх, маленькая советчица.

А н н у ш к а (*пряча лицо*). Я только умыться сбегая.

В е р а А р т е м ь е в н а. Ну, ваших веснушек вы все равно не смоее. Занимайте место на диване.

Все смотрят, как Аннушка, спотыкаясь, поднимается по лестнице.

У этой девочки хорошее сердце, Алеша. Правда?

А л е к с е й (*рассеянно*). Да... и сердце. Вы начинайте, мне надо звонить в институт. Там началось вскрытие Лилианы. Мы придем попозже... с Киной.

Вера Артемьевна идет наверх с Ладыгиным, который задерживается на верхней площадке. Свеколкин взял за плечи Алексея.

С в е к о л к и н. Вы строгий человек, Алексей Иванович. Сына всегда хотел иметь такого.

Алексей молча кивнул в ответ.

Наверно, завтра уже опубликуют постановление правительства о премиях. А это уже радость. Ну, идите... расскажете потом.

И, проводив Алексея взглядом, он идет к Ладыгину.

Л а д ы г и н. Паша, есть важный разговор.

Свеколкин остановился.

Ты уже держись, Паша, этой роли до конца. Тем более, что у тебя здорово получается. Ты просто артист!

С в е к о л к и н. Ты это про какую роль, Дмитрий Романович?

Ладыгин. Алешка же полагает в душевной простоте, что ты и в самом деле важный гусь. Было бы жестоко, если бы ты теперь раскрылся вдруг.

Свеколкин. А!.. Уж я постараюсь, Дмитрий Романович.

Вера Артемьевна сыграла вступительные такты.

Пойдем, пойдем, а то хозяйка обидится.

Они ушли. Домашний концерт начался: торжественная, как гимн наступившему дню, музыка наполняет дом. Когда первая бура затихает, из сада приходит Кира, которая ведет за руку упирающуюся Констанцию.

Констанция. Итак, ты просишь меня, гордыня?

Кира. Да.

Констанция. Нет, не так. Ты ласково попроси свою мамочку.

Кира (*сквозь зубы*). Прошу.

Констанция (*расположась в кресле*). Так вот, дружок: весь этот спектакль задуман для тебя одной.

Кира безотрывно смотрит в лицо матери.

Он намекал вчера, что будет важный разговор. Видимо, предложение? А перед этим тебе прикалывают крылышки и кладут под микроскоп.

Кира. Не понимаю...

Констанция. Словом, они делают вид, что премии никакой нет... и даже наоборот.

Кира. Но Аннушка слышала сама...

Констанция (*перебывая ее*). И Аннушка! Им всем интересно, как ты поведешь себя при этом. Останешься с ним — все равно любить его после такой гадости ты не станешь. Уйдешь — скажут: низкая, нужды испугалась.

Кира (*с недоверчивой полуулыбкой*). Ты путаешь что-то.

Констанция. Давеча, совершенно случайно, я слышала сама, как Вера сговаривалась с Парашей вызвать Алексея к телефону и устроить весь этот адский переполох. (*Стуча пальцем в стол.*) О, Верочка!.. После смерти твоего отца это я приютила тебя с твоей несчастной матерью. И я хотела мирно жить с тобою, но ты разбудила дьявола во мне. Хорошо, тетя принимает твою игру!

К и р а (с какой-то надеждой). Конечно, Алексея не было при этом?

К о н с т а н ц и я. Нет, он был.

К и р а. Был!.. Но он не хотел, он возражал, он спорил?

К о н с т а н ц и я. Кажется, он курил папироску... Потом я побежала за тобой. Они же могли толкнуть дверь.

К и р а. Однако какой же разговор о премии: постановление-то еще не состоялось!..

К о н с т а н ц и я. Ах, мой друг... ну, значит, твой экзамен переносится на завтра. И имей в виду, что этот Алексей способен и вовсе отказаться от премии. Скажешь, кто же отказывается от личного счастья? О-о эти, нынешние, они могут все. Они ломают по сорок норм, не спят по десять суток и еще улыбаются при этом! (*Вслушиваясь в музыку.*) Боже, что она играет? Такое знакомое — и не могу вспомнить. (*Она негромко вторит мелодии Веры Артемьевны.*) Будь я на твоем месте, я была бы осторожна до поры. В чужом доме нельзя быть красивой молодой хозяйки. Я б ему ежеминутно хвалила его талант, артисты это любят. Потом я разрыдалась бы и позволила бы ему себя утешить. И наконец: «Верочка, не пугайся, ничего особенного. Митя любит меня!..» А, вспомнила! Это самое играли давно-давно, когда я познакомилась с твоим отцом. Как хочешь, я поднимусь. Хочу вспомнить молодость.

К и р а (*остановив ее уже на лестнице*). Отец был добрый и умный человек. Как могло случиться, что он женился на тебе?

К о н с т а н ц и я. Ах, милочка, он просто не заметил!.. Ну, пей свою желанную судьбу. Не проглоти иголку, которая на дне ее лежит! (*Она ушла.*)

Кира неподвижна: она не меняет положения, даже когда приходит, с плащом на руке, Алексей. Они молчат, и так проходит некоторое время.

А л е к с е й. Как я ждал, что вы подойдете ко мне... хоть с каким-нибудь теплым словом, Кира.

К и р а. Вы были с этой... девчоночкой. Я не хотела прерывать вас.

А л е к с е й. Это правда. Все кругом мысленно жали мне руку. Все, кроме вас. Я не думал, что вас так отпугнет мое несчастье.

К и р а. Как смешно: самое главное еще не сказано, а уже семейная сцена. Мы начали нашу жизнь не с того конца, Алексей.

А л е к с е й. Но было бы поздно упрекать вас через год, когда я стану вашим мужем.

К и р а (*иронически*). Так скоро?.. Вы торопливы, Алексей.

А л е к с е й. Да... мне хотелось, чтобы вы хоть немного привыкли к моей работе. И целый месяц была больна Лилиана.

К и р а. Каждый раз она встает между нами, эта знаменитая Лилиана!.. У меня уже нет сил бороться с нею. (*Горько.*) Ну, хоть опишите мне мою соперницу. Красивая она по крайней мере?

А л е к с е й (*очень тихо и строго*). Очень. У нее была сильная, несколько сутулая спина и маленькая волосатая грудь. На мой взгляд, это самый гениальный из приматов. Сейчас я еду к ней на последнее свиданье. Там начинается вскрытие.

И, тронутая суровостью его признания, Кира машинально движется к нему.

Не ревнуйте меня к ней. Она уже мертвая.

К и р а. Простите, я не хотела обидеть ваше горе. Я все ждала, когда вы начнете... это.

А л е к с е й (*улыбнувшись*). Тот разговор? О, я не спал эту ночь, и у меня несвежая голова. Разговор мы отнесем на завтра. (*Он уходит в сад и обернулся с полдороги.*) Но я буду драться за вас... с вашей матерью, с дьяволом, с вами самою наконец. Потому что даже слепую я люблю вас, Кира!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Ночь, пронизанная сиянием августовских звезд. И глаз не сразу угадывает очертания этой просторной площадки в ладыгинском саду; она почти нависла над обрывом, откуда крадутся вверх молодые елочки. Вдалеке за ними, в тумане и росе, мерцает излучина реки. Совсем не видно, кто говорит и кто отвечает; и вообще сначала только ровная трескотня кузнециков. Позже, когда слева, в стене дачи, затянутой хмелем, засветится окно, яркий сноп света выхватит из мрака высокий жердистый столб с фонарем, скрытый в ветвях деревьев, крашенный круглый стол, врытый в землю, и такую же скамейку, Ладыгина на ней и Свеколкина в шезлонге. Из дома глухо доносится радиомузыка.

Ладыгин. Чорт, и газет не несут, и Алешки нету. Незнестность. Ну, бери же, рука держать устала!

Свеколкин. Постой... что это ты мне суешь?

Ладыгин. Возьми, закури хорошую сигару. Кассиры таких не курят. Рад я, Паша, что сбилось и мы сидим с тобой, как прежде. И сквозь туман кремнистый путь блестит, и звезды... Множество. Бери, бери... сигары хорошо от комаров!

Свеколкин. Нет, уж я лучше папироску, Дмитрий Романович.

Вспыхнувшая спичка озаряет его лицо и протянутую с ящиком руку Ладыгина.

Ладыгин. Слушай, пират... а откуда тебе известно, что постановление уже напечатано?

Свеколкин. Мне там один кассир знакомый из газеты передавал. А уж кассиры все знают. Да ты не волнуйся за Алексея Ивановича. Тут дело верное.

Ладыгин. А может, по телефону все-таки позвонить?

Свеколкин. Потерпи, может по радио сообщат.

Ладыгин. Такое состояние, точно сам экзамен держу...

Кто-то подходит к ним со стороны дачи.

Вот и квасок приехал. А стаканы захватили, Параша?

Звякнули стаканы, поставленные на стол.

Вера Артемьевна. Что же вы здесь в темноте сидите?

Свеколкин. Ждем нашу днепровскую луну...

Ладыгин. ...однако не торопится, старуха.

В открытом окне отвели штору. Яркий свет хлынул на площадку.

Я же просил, просил не зажигать... Потушить в доме свет!

Вера Артемьевна. Ты уж не мешай им, Митя. Они опять с твоей картиной занялись. Надо же повесить, наконец, твое сокровище.

В окне стоит Параша; ее огромная тень качается на кронах деревьев.

Не закончили еще, Параша?

Параша. Дмитрий Романович шуметь запретили, а нам бы еще разочка три стукануть. Опасаемся, как бы не сорвалась она с крюка.

Ладыгин. Хорошо. Стучите... Два раза.

Параша скрылась. Слабый свет сочится в шель шторы. Следуют с большим промежутком два глухих полновесных удара и один маленький.

Непорядки, Верочка. До самой ночи нет газет.

Вера Артемьевна. Видимо, письмоносец заболел. (Свеколкину.) Митя ужасно волнуется: нагрядят Алексея или нет.

Свеколкин. Он его нянчил, на коленях держал, растил...

Ладыгин. Вера, а если Парашу на станцию послать? Может, продаст кто-нибудь газету?

В е р а А р т е м ь е в н а. Гнать человека ночью за четыре километра... это неудобно, Митя. Она работала весь день. Я звонила туда. Алексей давно выехал. Возможно, он уже на пароме стоит.

Л а д ы г и н. А ну, дай-ка я гаркну ему. *(Во весь голос, в сторону реки.)* Алексе-ей... Алешка!

Тишина, эхо, кузнечики трещат.

Нету. Радио не выключать. Стол до моего сигнала не готовить.

В е р а А р т е м ь е в н а. Закрой пока горло, Митя. Застудишь ты свой огромный бас! *(Своим шарфом она обернула шею Ладыгина и ушла.)*

С в е к о л к и н. Крепкая у тебя хозяйка, капитан. Она тебя бережет.

Л а д ы г и н. Н-да, она меня... этово... бережет.

С в е к о л к и н. Моя умерла... Помнишь, когда мы сидели на обрыве, девушка пришла к ужину звать, рыженькая такая?

Л а д ы г и н. Прости, забыл. Вот не помню даже, были тогда сверчки или нет. Даже себя прежнего забыл... Только голос свой помню. А, наверно, я забавный был тогда?

С в е к о л к и н. Ты уходил от меня в жизнь длинный, неуклюжий, басовитый, почти нищий. Я тебе чемоданчик на дорогу предложил, но ты ответил, что судьба мира лежит в твоей берестяной кошелке. Гордо так сказал... Цела еще кошелка-то?

Л а д ы г и н. Валяется где-то в чулане.

С в е к о л к и н. На дорогие игрушки разменял ты ее. А ведь ты артист. Народ твой ежедневно смотрит на тебя.

Л а д ы г и н. Ну, артиста надо спереди смотреть... кто же смотрит артиста сзади!

С в е к о л к и н. А разве, становясь артистом, ты перестал быть человеком, Митя? Или ты собираешься тащить всю эту ветошь с собою, в будущее? Там, на свету-то, за каждое пятнышко стыдно будет.

Л а д ы г и н. Значит, там уже не будет искусства?

С в е к о л к и н. Там оно хлынет в улицы, чтобы украсить самую жизнь. Помнится, возвращался я

раз с одного конгресса морем и решил побывать в Афинах...

Ладыгин. Минутку, Паша! (*Он зажигает свет на столбе и обходит площадку.*) Никого нет... чего же ты мне одному-то заливаешь? И вообще, слушал я, как ты лихо с Алешкой о какой-то барбитуровой кислоте разговариваешь...

Свеколкин. Есть такая, это веронал. Ну!

Ладыгин. И вкралось в меня одно подозрение.

Свеколкин. Наконец-то, догадливый человек!

Ладыгин (*хитро*). Скажи... а ты не родственник будешь тому ученому, известному Свеколкину, который на сессии выступал и который в экспертной комиссии по премиям, а?

Свеколкин. Промахнулся, Дмитрий Романович. Нет... я ему не родственник.

Ладыгин. Так откуда же ты нахватался столько, пират?

Свеколкин. А видишь ли... у них кассир есть в институте. Так вот, жены его свояченица соседкой нам приходится по улице. Вечера-то у нас длинные, а бабенка болтливая... Ну, слушаем ее да вникаем!

Ладыгин (*недоверчиво*). Что-то больно много кассиров у тебя знакомых.

Свеколкин. Постой... кажется, наша луна восходит.

Они встают и молчат. Голубоватый свет заливает заречное пространство. Потом из дома слышны голоса, шум, беготня, и из-за угла показывается взволнованная Параша, а несколько спустя и Вера Артемьевна.

Параша. Дмитрий Романович, Дмитрий Романович... ой, даже сердце замерло!

Ладыгин. Опять кто-нибудь свалился?

Параша (*торопливо*). Только мы ее на крюк-то подняли... я еще подергать собралась, крепко ли висит. А тут я слышим: Ладыгина по имени называют... да отчетливо так. Враз меня ровно знойким ветром прохватило...

Вера Артемьевна. Кричи «ура», Митька! Только что по радио сообщили. И Алексей на четвертом месте.

Ладыгин недоверчиво молчит.

Дай я поцелую тебя...

Свеколкин. Позволь и мне поздравить тебя, друг. Спасибо тебе за твоего питомца.

Ладыгин. Вот оно, чего я ждал. Ну, выпускаю тебя в жизнь. Выше, выше всех летай, Алешка!

Вера Артемьевна. И как странно, Митя: Кира рядом сидела. Даже не шевельнулась... только лицо вдруг померкло. Неужели ей не приятно? Такие деньги...

Параша. Да тут от радости очумеешь, Вера Артемьевна. Счастье-то! Перед всем народом спасибо человеку сказали... Что с ледника-то нести?

Вера Артемьевна. Все, что в доме есть, все на стол.

Параша убежала.

Ладыгин. Свет!.. полный свет зажечь в доме... в гараже, в погребе, везде. И напьюсь же я с тобой, Алешка!.. Встретить его как-нибудь почудней. Постойте, я с вами вместе пойду.

Все ушли, кроме Свеколкина. Из-под обрыва слышен хруст сучьев. Свеколкин подходит к краю. Целиной, пробираясь сквозь кусты и елочки, поднимается Аннушка. Наткнувшись на отца, она тяжело дышит и вдруг, подняв голову, счастливо смеется.

Свеколкин. Ой, ноги мокрые, чулки изодрала... Откуда ты такая, Аннушка?

Та не в состоянии вымолвить и слова.

Разве можно бегать так, дочка! Сердчишко-то на весь мир стучит.

Аннушка *(через силу)*. Я... я со станции... газету доставала. *(Слышно ее загнанное дыхание.)* Еле выпросила... соврала, будто я и есть его невеста.

Свеколкин. Что же там, Аннушка, в газетах-то?

Аннушка. На!.. *(Тормоша за локоть отца.)* Доставай свои очки...

Свеколкин. Я уж в глазах твоих прочел. Там полностью отпечаталось. А я думал, свернулась ты где-нибудь клубочком...

Аннушка. Он уже едет! Только у него что-то в машине сломалось. Я у мостика обогнала. Я лугом,

прямо через кусты махнула. Бегу, бегу, потанцую... и опять бегу!

Далекий автомобильный гудок. Свету в доме прибавляется. Скрипит передвижаемый стол; слышен нетерпеливый голос Ладыгина: «На костылях вы, что ли, черти плисовые!»

А н н у ш к а. Сейчас в ворота въедет. Пойдем встретим его у речки, а?

С в е к о л к и н. Это неудобно, Аннушка. Встретить его должна другая. *(Ведя ее к скамейке.)* Мы с тобой тут посидим.

А н н у ш к а *(рванувшись)*. Я только газету им отнесу.

С в е к о л к и н *(удержав ее)*. Все уже знают, Аннушка. Тут по радио без тебя передавали.

Газета скользит из ее рук на землю.

А н н у ш к а. А там хорошо сейчас, внизу. Се-еном пахнет... и птицы какие-то под кустами разговаривают. Пойдем!

С в е к о л к и н. Ну, птицы теперь дрыхнут. Это лягушки под кустами балакают. Чему же ты обрадовалась-то, дочка?

Аннушка прячет лицо у него на плече.

Не отец твой, не брат премию получил, а чужой дядя с дальней стороны... *(Испытующе.)* Нам-то от того какая прибыль?

Она молчит. И вот возникает веселый шум, возгласы и приветствия: встречают Алексея на веранде. Слышно: «Алексею Ивановичу ура!..» «И мне, и мне дайте его обнять!..» а громче всех ладыгинский бас: «Ты ж Клод Бернар, ты ж Клод Бернар, Алешка!»

А н н у ш к а *(тихо)*. Это ничего, что нас там нету?

С в е к о л к и н. Им не до нас теперь. Мы с тобой люди посторонние. К тому же завтра мы уезжаем отсюда.

А н н у ш к а. Уже... завтра?

С в е к о л к и н. У них начнется свадебная суматоха, переезд на новую квартиру... Мы будем только мешать. Ты поселишься пока в общежитии, я уже договорился с директором.

С веранды доносится новый взрыв голосов и звон бокалов.

А н н у ш к а. Никогда еще не пила вина. Наверное горькое, да?

С в е к о л к и н. Бывает и сладкое вино.

Шум приближается.

Они сюда идут. Возьми себя в руки... ты ничего не знаешь!

Аннушка послушно кивает в ответ. Из-за угла в сдвинутой на затылок шляпе, возбужденный вином и поздравлениями, выходит А л е к с е й; поодаль К и р а. Позади всех П а р а ш а несет поднос с налитыми бокалами, а впереди, точно она и есть виновница торжества, К о н с т а н ц и я.

К о н с т а н ц и я. Мы ищем их, а они тут секретничают, пустынные. Налей им тоже, Кира, доверху.

А л е к с е й. Поздравьте меня с большой радостью, мои друзья.

К и р а (*держа бокалы*). Все пьют до дна!

С в е к о л к и н (*принимая бокал*). Поскольку настоящего не испортишь похвалой... Словом, горжусь, что видел вашу молодость, и хочу дождаться полной зрелости вашей.

А л е к с е й. От речей я уже сбежал из института. (*Аннушке*.) Как видите, случается шум и в нашем скучном деле.

Аннушка искусно играет непонимание.

К и р а. Поздравьте его, Аннушка. Он получил большую награду.

А н н у ш к а. О... вы, наверно, обрадовались?

А л е к с е й. Очень, Аннушка. Они мне крайне пригодятся, эти деньги.

А н н у ш к а. Сколько вы теперь купите красивых вещей... зеркала и люстры. Только ковров не покупайте, их мошь ест.

Алексей пристально посмотрел на Аннушку, обманутый детским тоном ее восхищения.

Вы даже сможете купить огромный дом с глухими воротами и цепной собакой... И она будет лаять на весь мир!

Констанция *(властно)*. Ну, на дачу может и нехватить. Дачу мы оставим до следующего раза.

Хмуро, даже не чокнувшись с Аннушкой, Алексей хочет поставить бокал на поднос и тут встречается взглядом с Парашей.

Алексей. А вы сами так и не поздравили меня, Параша. Пожелайте мне что-нибудь, за что вина не жалко.

Параша. Ой, не уронить бы мне угощение-то! *(Перехватив в левую руку поднос, она правой берет бокал. Очень просто.)* Работайте так, Алексей Иванович, чтоб людям еще краше стало на свете жить.

Алексей признательно пожимает в кисти парашину руку.

Ладыгин *(из окна)*. Павел, иди помоги нам. И пока куда все не будет устроено, Алешку не пускать!

Свеколкин уходит, унося аннушкину газету. Аннушка нерешительно движется за ним.

Алексей. Аннушка, куда же вы? Вы нам не мешаете, Аннушка!

Кира. Верните ее! Она стесняется, бедняжка.

Алексей догнал Аннушку только за углом. Тем временем Констанция приблизилась к дочери.

Констанция *(тихо)*. Теперь держись, дружок. Сейчас начнется твое испытание. У него такие торжествующие глаза!

Кира. Этого не будет.

Констанция. Ты увидишь сама. Но что бы он ни сказал, молчи. Я проучу его сама.

Алексей возвращается, ведя за руку Аннушку.

Алексей. ...и вообще, не могу уловить, что в вас изменилось со вчерашнего дня. Вы совсем другая стали.

Аннушка. Наверно, заспанная? Я в гамаке дремала, когда вы приехали.

Алексей. А разве не вы бежали давеча перед машиной? Я даже остановился у мостика, кричал вам, когда вы свернули...

А н н у ш к а (*насмешливо*). Вы, кажется, думаете, что это я к вам на дорогу выбегала?

А л е к с е й. Нет, с какой стати. Но я отчетливо видел, как белое платье мелькнуло в фарах и пропало. Я и решил...

К о н с т а н ц и я. Здесь есть и другие в светлых платьях!

И тогда взоры всех невольно обращаются к Кире.

К и р а (*смущенно*). Но я тоже все время была дома. Верочка может подтвердить...

К о н с т а н ц и я. Что же здесь стыдного, если ты поспешила встретить жениха? Любая на твоём месте поступила бы так же.

Отойдя от Аннушки, которая остается в тени дерева, Алексей молча целует руку невесты и опускается в шезлонг.

Расскажите же, мой друг, если это не секрет... как началось ваше открытие.

Откинувшись к спинке, Алексей закрывает глаза.

К и р а (*тихо*). Принести вам подушку, Алексей?

А л е к с е й. Слассибо, мне хорошо и так. (*И, наугад поймав ее руку, он уже не выпускает ее из своей руки.*) В южных приморьях проживает один гадкий москит, который разносит лихорадку. Его зовут флеботомус.

К о н с т а н ц и я (*мигнув дочери*). Ты слышишь, Кира? Флеботомус!

А л е к с е й. Мы долго искали его в плавнях, ловили его родню и тысячи этого зверья растерли в ступках. Но сам преступник, этот коричневый двукрылый комар, по-прежнему валил с ног рыбаков, выводил из строя наших моряков и звенел у нас над ухом. (*Увлекаясь этой импровизированной лекцией.*) А есть у нас одно научное положение, так называемая триада Коха...

Он открывает глаза и видит сладкий и плохо скрытый зевок Констанции.

К о н с т а н ц и я (*сконфуженно поглаживая губы*). Какая гадина, а? ф-флеботомус... Я готова его проткнуть первым попавшимся предметом!

Алексей (*сразу охладев*). Словом, это длинная история. Завтра я отыщу вам мою статью, и вам все станет ясно. (*Уже одной Кире.*) Какая это отличная вещь — затишье после законченной работы!

Констанция. Но можно ли так изнурять себя... перед самой свадьбой, мой мальчик!

Кира (*сдержанно*). Мама, давай послушаем ночь.

Констанция. Ночь вы послушаете потом, а пока надо обсудить, куда вам отправиться после свадьбы. В свое время настоящие люди уезжали за границу. Хозяин, у которого служил кирин папа, всегда после свадьбы уезжал за границу. Они там смотрели природу, поправлялись, мыслили... Конечно, теперь это отпадает. По сравнению с нынешней заграницей братская могила покажется курортом!

Кира. Ты помогла бы Вере по хозяйству, мама.

Констанция. Я знаю, ты обожаешь море. Это красиво, конечно, поселиться в уединенном домике возле самого прибоя... И все-таки я посоветую вам длительную пароходную прогулку. (*Мечтательно.*) Вообразите: вечер, и шлепают колеса по аметистовой воде, и хочется грезить о чем-то несбыточном... Кроме того, всегда свежая питательная рыба. Вы любите рыбу, Алексей?

Алексей. На реке я больше всего люблю тишину. Когда молчат, люблю.

Констанция. У нас с вами одинаковые вкусы, мой друг.

Алексей (*сердясь*). Я хотел сказать, что вряд ли мы поедем куда-нибудь после свадьбы. У меня много срочной работы, и, наверно, я буду очень занят эти... ближайшие тридцать лет.

Констанция. Мы можем уехать с Кирой вдвоем, вы догоните нас попозже!

Кира. Мама... Алексей хочет отдохнуть.

Констанция. Боже, а я о чем докладываю? Имейте в виду, когда вы получите на руки эту сумму, я не позволю вам ее транжирить. О, все влюбленные расточительны. (*Со вздохом.*) Я займусь ею сама... Надо, чтоб ее хватило как можно дольше... чтобы жить месяц, два, даже полгода и ничего, ничего не делать, а только отдыхать!

И видя, как круто меняется настроение Алексея, Кира делает решительную попытку предотвратить начинающийся скандал.

К и р а. Мне холодно. (*Поднявшись.*) Пойдемте в дом, Алексей.

А л е к с е й. Простите, я не догадался раньше... (*Он накинул свой пиджак на плечи Киры и бережно, но настойчиво возвращает ее на место.*) Останьтесь не надолго. Кажется, ваша мать неправильно истолковала мою радость. (*Констанции.*) Вам не придется взваливать на себя эту обузу. Я уже нашел назначение для этой... внезапной суммы. Их уже нет у меня, этих денег.

Общее движение. Констанция победительно взглянула на дочь.

К о н с т а н ц и я. Ты слышала? У него уже нет этих денег!

К и р а (*напряженно улыбаясь*). Куда же вы дели их? Вы бросили их в воду?

А л е к с е й. Нет, но можно считать, что я уже истратил их. Сегодня утром.

К о н с т а н ц и я (*притворно всплеснув руками*). Кира, он отказался от премии... Еще не поженившись, он уже разорил тебя, этот молодой человек!

А л е к с е й. Я не отказывался от премии.

К о н с т а н ц и я. Вы потеряли их?.. Но где, где! Я сама туда поеду, я пешком пойду... Принеси мне мою накидку, Кира!

Сбитый с толку ядовитой иронией Констанции, Алексей выжидательно молчит.

(*Резко меняет тон.*) О, я догадалась... Алексей Иванович купил тебе свадебный подарок, он у него в кармане. (*Нежно.*) Не мучьте нас, покажите же нам его наконец!

К и р а. Не беснуйся, мама. Пусть он сам объяснит... свою шутку.

А л е к с е й. Я не шутил, Кира. В жизни мне нужно только то, что необходимо для работы. И, кроме работы, у меня нет ничего на свете.

К о н с т а н ц и я. Кроме работы, у вас будет еще жена!

А л е к с е й. Я полагаю, что моей жене, как и мне, не нужны... (*искоса взглянув на Аннушку*) ни замки с цепными собаками, ни вещи... которым место в музеях.

Констанция. Пора оставить эти старые замашки, Алексей Иванович. Слава богу, мы хоть и слабые существа, тоже имеем свой голос. Мы, женщины, с боями завоевали это право. Что требуется вашей жене, она скажет сама...

Молчание. Вера Артемьевна пришла звать Алексея.

Вера Артемьевна. Ну, у них почти все готово. Они оба ужасно смешно нарядились. (*Обведя всех взглядом.*) Митя там целую феерию поставил...

Никто даже не оглянулся на нее.

Алексей. Меня пугает ваше молчание, Кира.

Кира (*растерянно*). Простите, Алексей... я все не могу понять, что именно здесь происходит?

Аннушка делает шаг вперед. Вера Артемьевна предупредительно задержала ее за плечо.

Констанция (*вызывающе*). Как же ты не понимаешь, Кира! Алексей Иванович даже к выбору невесты подходит научно. (*Ее голос звенит.*) Он кидает под стол трехрублевую бумажку и смотрит в щелку, не стянешь ли ты ее украдкой...

Аннушка (*Вере Артемьевне*). Остановите ее, она их поссорит!

Констанция (*жестко*). Дети молчат, когда говорят взрослые... (*Кире.*) А когда ты протянешь руку за этой бумажкой, он тебя за руку-то хватя!

Аннушка (*кидаясь к Констанции*). Как не стыдно вам, вы... старая женщина! Алексей Ладыгин хороший, хороший... Он лучше всех, лучше всех нас!

Констанция. Вполне допускаю это, девочка. Но учитесь скрывать свои желания. Вам самой угодно замуж за этого знаменитого молодого человека?

Смятение. Все переменили места. Алексей стал очень прямым и строгим. Аннушка отшатнулась, как от удара.

Аннушка (*захлебываясь словами от боли*). Злая, самая злая на свете! Смотрите, какое у ней старое, опытное, какое у нее черное лицо...

Вера Артемьевна. Аннушка! (*Схватив чей-то бокал со стола.*) Возьмите, отпейте глоток... Ну, немножко отпейте.

Бокал расплескался. Аннушка никого не видит, кроме Констанции.

Аннушка. Дайте же нам жить, черные люди. Уйдите, уйдите!..

Вера Артемьевна. Успокойтесь, Аннушка, успокойтесь. И я, и Митя, и Параша... все вас любят в этом доме. (*Алексю.*) Дайте ей что-нибудь попить... она вся дрожит.

Аннушка (*уже тише*). Как ей жить среди нас не стыдно!

Молчание, кузнечики трещат. В замысловатом тюрбане, скрученном из бархатной скатерти, торжественно и до чрезвычайности невольно в окне появляется Ладыгин.

Ладыгин (*ударив в медное блюдо и на мотив варажского гостя*). Веленьем визиря и солнца справедливо приказано Алешку привести...

Вера Артемьевна (*ровным голосом*). Уйди, Митя. И притуши свет. Чего вы там иллюминацию не ко времени устроили!

Ладыгин (*виновато сдирая тюрбан с головы*). Вино киснет, понимаешь, и мухи на закуску садятся.

Вера Артемьевна. Уйди. И не пускай сюда ее отца.

Ладыгин быстро опускает штору. Констанция шумно пьет у стола; в эту минуту ей почти тесно на сцене. Свет в доме то здесь, то там постепенно убавляется.

Констанция. Тебе придется выбирать между твоими гостями, Верочка!

Вера Артемьевна (*глядя по голове Аннушку, затихшую у нее на плече*). Хорошо, тетя Констанция.

Констанция. И завтра же, мой друг! (*Алексю.*) Если вам не угодно было вступить за мать вашей невесты, может быть, вы хоть объясните ей вашу гадкую шалость?

Алексей. Я не ждал, что вас так огорчит мой поступок.

Констанция (*дочери*). Слышала?.. Он уже раскусил свой поступок. (*Алексей*.) Еще, Алексей Иванович, еще пошарьте внутри. Может быть, там найдется и человеческое слово!

Поочередно переводя взгляд с одного на другого, Алексей ищет разгадки происходящему, и никто не смотрит на него в эту минуту.

Кира. Теперь дай и мне сказать, мама.

Она поднимается. Пиджак Алексея соскользнул с ее плеч на землю. Веру Артемьевну пугает надвигающаяся развязка.

Вера Артемьевна. Ты бледна, Кира. Лучше бы на завтра отложить этот разговор...

Слышен дальний гудок автомобиля.

Кстати, кто-то едет к нам.

Кира. Мы успеем закончить, Верочка. (*Алексей*.) Я знала... еще вчера узнала я, что вы задумали со мною. Я тысячу способов за ночь перебрала, в какую же форму вы облечете свой опыт. И я думала: разве мало ему Лианы, чтобы и на мне изучать темные людские болезни... (*Почти спокойно*.) Скажите, она тоже кричала, как я, смотрела вам в глаза, просила о пощаде, когда вы делали над нею... это?

Вера Артемьевна. Кира! Не торопись с последним словом, Кира.

Кира. Да, мы поторопились... И мне уже расхотелось. Я не умею и мне не надо быть вашей женой, Алексей Ладыгин. (*Тихо*.) Я устала, Алексей.

Она медленно уходит. Констанция движется за нею.

Не ходи за мною, мама.

Констанция. Только деревянный истукан может тебя оставить в такую минуту.

Вера Артемьевна (*быстро Алексей*). Догоните, объясните ей, что вы пошутили.

Алексей (*все еще не понимая*). Кира, вернитесь. Кира!

Констанция (*становясь на его пути*). Поздно, Алексей Иванович. Роза, когда ее срубают заступом под корень... вы думаете, она едет в санаторий, чтобы пить

ваши обезьянны лекарства? Она осыпается и умирает, молодой человек!

Она торжественно удаляется за дочерью. Алексей один остается на обрыве.

П а р а ш а (*в окно, тихо*). Гости едут, Вера Артемьевна. Уж на пароме стоят. Может, сделать вид, что спать легли?

В е р а А р т е м ь е в н а. Все в порядке, Параша. Пусть их встретит Митя.

Параша скрылась. Вера Артемьевна подняла за подбородок аннушкину голову.

Ну, все еще болит, Аннушка?

А н н у ш к а. Заживет... Какую хорошую ночь испортили!

В е р а А р т е м ь е в н а. Каждый держит свое счастье в ладонях. И не надо его ронять на землю. А то подымут другие. (*Она идет с нею к скамейке.*) Слушайте-ка, деревянный истукан... дайте нам ваш пиджак.

Алексей подошел, рассеянный и волоча пиджак за собою.

Итак, вы все-таки решили взглянуть на просвет свое вино? Не жалейте, Алексей. Вам нужна другая жена, как у Вихрова, у Пастера, жена-друг, помощница-жена. (*Укрывая пиджаком аннушкины плечи.*) А если в вино попала муха, надо выплеснуть и налить другое!

Свет фар, пробившись сквозь кусты, обегает площадку.

Вы посидите тут, а я пойду встречу гостей.

Отложив пиджак, точно он жжется, Аннушка поднялась за нею. Вера Артемьевна уходит.

А вам зачем, Аннушка?

А н н у ш к а. Вещи укладывать. Уж раз наскандалила, надо уезжать.

В е р а А р т е м ь е в н а. Никуда вы не уедете, пока не уедут другие. У нас места много!

А н н у ш к а. Я не хочу.

В е р а А р т е м ь е в н а. Но вы даже не знаете, что я собираюсь вам сказать.

А н н у ш к а. Все равно не хочу...

И, не умея скрыть невольной своей радости, она убегает. Ладыгин, вышедший из-за угла, еле успевает посторониться.

Л а д ы г и н (Алексей). Там к тебе поздравители из института нагрянули. Пойдешь?

А л е к с е й. Я давеча удрал от них. *(С усмешкой.)* Я так торопился к своей невесте. Что же случилось-то, Верочка?

В е р а А р т е м ь е в н а. Они решили, что это проверка.

А л е к с е й. Кому же я обязан... кто устроил все это?

В е р а А р т е м ь е в н а. Вы сами! Но можно было сделать это незаметно, а вы решили в упор и при всех.

А л е к с е й. Но я действительно истратил эти деньги.

Л а д ы г и н (обиженно). Ну, Алексей... мы же не собираемся с Верой просить у тебя взаймы! *(Вскользь жене.)* Иди пока к гостям, а то неудобно.

Вера Артемьевна уходит.

А л е к с е й. Мне потребовалось израсходовать эти деньги у себя в институте. Имел я на это право, дядя Митя?

Л а д ы г и н. Но ты же знаешь, как правительство относится к твоим работам. Если нужно, попроси, тебе дадут. Это же дело государственное!

А л е к с е й *(уже сердясь)*. Ну, у моего правительства сейчас много и других расходов... тебе не кажется?

С ве ко л к и н с дочерью показываются на краю площадки.

Иду, иду! Извини за поученье, но... ни черта у нас не получится, если дела государственные не станут нашими личными делами. Эх, дремучее ты мое дядище! *(И дружески хлопнув дядю по плечу, он торопливо уходит.)*

С ве ко л к и н (Ладыгину). Ступай и ты, гости требуют хозяев.

Ладыгин виновато уходит.

Куда же ты меня тащишь, дочка?.. От самого веселья.

А н н у ш к а. Встань здесь. Ну... посмотри на меня хрошенько.

С в е к о л к и н. Посмотрел. Дальше?

А н н у ш к а. Еще, еще посмотри... *(С надеждой.)* Скажи, смешная я? Неуклюжая, правда?

С в е к о л к и н. Это от молодости, Аннушка. К сожалению, это проходит.

А н н у ш к а. А знаешь... она, по-моему, тоже не такая уж красивая. У нее только глаза хорошие. И волосы тоже ничего...

С в е к о л к и н. Нет, Аннушка. Она очень красивая. Побеждай свое сердце. *(И, видя ее огорчение, он торопится приласкать ее.)* И волосы отличные у нее. Но твои мягче!

А н н у ш к а *(вдруг рассмеявшись)*. Помнишь, Дмитрий Романович пел третьего дня: «люди гибнут за металл». *(Секретно.)* Алексей Иванович сделал вид... ну, для проверки!.. будто он истратил эти деньги. А им жалко стало, они начали кричать на него. Да я бы халаты пошла стирать к нему в институт, чтобы только возле него учиться, учиться... *(спохватившись)* если бы, конечно, он хоть чуточку нравился мне!

С в е к о л к и н. Они обе на него кричали?

А н н у ш к а. Нет, только старуха... Она, как крапива, жглась и своего добивалась: они разошлись. Нет, он ее не любит, не любит, не любит.

С в е к о л к и н. Он ее очень любит, Аннушка. И ты это знаешь лучше всех.

А н н у ш к а. Но разве можно этим испытывать любимую!

С в е к о л к и н. А если он не испытывал ее, а действительно купил... ну, материалы, необходимые ему для работы. А ей почему-то показалось, что он неправду сказал. Не поняла, обиделась... похоже? Видишь, как просто все разгадывается.

А н н у ш к а. Все равно, уж последнее слово сказано.

С в е к о л к и н. Ну, в этих делах за каждым последним всегда найдется местечко для самого последнего. *(Бережно.)* Тебе не хочется найти ее сейчас и объяснить ей ее ошибку?

Аннушка неуверенно качнула головой.

А если бы ты, скажем, нашла на дороге счастье. Большое, нарядное... и чужое. Разве ты унесла бы его с собой, чтобы закопать у порога... или украдкой стала бы примерять на себя? Нет, ты б до утра ходила, спрашивая даже лесных зверюшек: не вы ли, маленькие, мохнатые, не вы ли обронули ваше счастье?

Аннушка пытается пальцами охладить свои горящие щеки.

Ступай, отнеси ей твою находку, Анна.

Аннушка покорно отправляется в путь и по дороге без сил припадает спиной к дереву.

А н н у ш к а. Я не могу... я притворяться не умею.

С в е к о л к и н. Ой, конфузно как. На первую же роль силенок нехватает. *(Подойдя ближе.)* А как же ты на настоящей сцене станешь играть? Тебя оденут в чужое платье, дадут чужое имя, горе вложат чужое в твоё маленькое сердечко... И тысяча очень строгих, большими делами занятых людей станут судить тебя за чужую вину... а?

А н н у ш к а *(еле слышно)*. Увези меня отсюда, папка... Сейчас!

С в е к о л к и н. Куда же мы на ночь-то глядя? Да и билет себе я только на завтра заказал. Ладно, пойду сам искать счастливую соперницу твою!

Не видно, где они разошлись, потому что луна уже скрылась, и ночь почти вернулась на свое место. Только фонарь тускло светит в высоте, раскачиваемый ветерком, и тени ветвей колеблются по земле. Через сцену проходит Кира; она находится на середине, когда, распахнув занавеску, Вера

А р т е м ь е в н а всматривается в темноту.

В е р а А р т е м ь е в н а. Это ты, Кира?.. Параша пошла на ледник и пропала.

К и р а. Не видала! *(Жмурясь от света.)* Никто не искал меня?

В е р а А р т е м ь е в н а. Как будто нет. Алексей всю с гостями веселится. Приходи, развлечешься немножко.

Взрыв чужого смеха донесся из комнаты, и занавеска опустилась. Потом слышно измороженное дыхание Констанции, и вот она сама появляется из-за деревьев.

Констанция. У меня нет сил гоняться за тобой по оврагам. Не убегай, я не буду больше. Если и теперь он еще дорог тебе, этот милый мальчик, я умолкаю навсегда.

Кира переходит на скамейку.

(*Следует за нею.*) Видишь, я молчу. И еще могу молчать. Хоть до утра. Пожалуйста.

Тишина, и только ночные звуки возятся, как мыши в гулком
коробе.

Я только хочу сказать, что то — артист, художник... на нем печать бога лежит, а это — обыкновенный человек. Я не сержусь: дети никогда не ценили наши заботы.

Кира. Заботы! (*Горько.*) Если бы не ты, я была бы теперь химиком где-нибудь на заводе... ела бы свой чер-
ный хлеб, дружила бы с людьми, которым я издали за-
видаю! Ты, ты заставила меня уйти с ученья, выдала
за поганца, от которого я сбежала ночью в чем была...
Теперь ты торгуешь меня за старшего Ладыгина, потому
что золото льется у него из горла и восьмицилиндровый
рысак стоит у его ворот...

Констанция (*торжественно*). Я искала тебе счастья. Ты не хочешь. Пусть. Попрежнему ты будешь корпеть над переводами своих химических трактатов да одно и то же платишко гладить по ночам. (*Дернув за рукав.*) Ведь это на тебе последнее, гордыня?

Кира. Не трогай меня, не трогай!

Констанция. Мне ничего не нужно от тебя: ни сухаря, ни рубля, ни лоскута. Я вернусь в свою нору. Я только мать, чтоб плакать... Но я люблю тебя, не истреб-
ляй меня за это!

Они не слышали, как сзади, поднявшись с шезлонга, подошел
Свеколкин.

Свеколкин (*над самым ухом*). Надо уметь любить своих детей... мадам!

Держась за сердце, Констанция пьтится назад. Кира закрыла лицо
руками.

Констанция (*стараясь овладеть собою*). Разве так можно! Ведь этим убивают наповал...

С веколкин. Я задремал тут было по-стариковски. Потом слышу — чьи-то кости хрустят. Я и вышел взглянуть, кого это терзают в темноте.

Констанция. Полюбуйтесь, что с нею наделал этот мальчик.

С веколкин. Ну, ему так не сделать. Тут видна старая, опытная рука. (*Пригласив ее в сторону и вполне корректно.*) Не хочу вам льстить, но у вас есть несомненные способности в этом деле. Если развивать их и дальше, можно далеко пойти. И даже до Колымы, мадам. Ну, вы столько потрудились сегодня, что теперь можете и отдохнуть.

Констанция (*присмирив*). Кира, ты не хочешь пойти со своей мамочкой?

С веколкин (*со злой мягкостью*). То, чего она не успела сейчас, она доскажет вам завтра.

Констанция растворяется в темноте.

Вы не ушли с нею, значит хотели остаться со мною... или вам просто некуда уйти отсюда, Кира?

Молчание.

За эти дни мы с вами не обмолвились даже словом. А завтра я уеду. А минут через пять меня позовут к гостям. Но пять минут — это много. За это время человека можно вытащить из воды... Правда?

Молчание.

Чтобы вам не скучать со мною, я открою вам один секрет. (*Внятно.*) Никто не устраивал вам этой унижительной проверки. Он действительно истратил эти деньги.

Кира с надеждой подняла голову.

Вам непонятно, как можно, еще не получив, уже истратить. А если эти материалы для работы нельзя достать у нас... мог он послать заявление с просьбой разрешить их закупку за границей?.. Похоже? Я видел утром и самое заявление. Ему очень нужны обезьяны... Что вы сказали?

К и р а (*в раздумье*). Все эти дни она неотступно идет за мной, Лилиана!

Свеколкин. Вот и все. (*Совсем просто.*) Если вам больше ничего от меня не нужно, тогда ступайте. Свежо становится...

Кира (*поднявшись*). Спасибо вам... хороший человек.

Она уходит, Свеколкин не останавливает ее. Но какая-то сила вдруг поворачивает ее назад, к Свеколкину. Она несмело опускается рядом, и теперь во всем ее облике сквозит та же виноватая беспомощность, что и у Аннушки в недавнем разговоре с отцом.

Свеколкин. Вот, мы вернулись... значит, еще что-то болит?.. Что?

Молчание.

Гордость хороша с врагом, а я друг всех, кого любит Алексей Иванович. (*В самое сердце.*) Да ты не прячься от меня, дочка!

И тогда, впервые в жизни, Кира безутешно плачет, положив голову на руки, брошенные на стол. И удивительна спокойная отцовская властность, с какою Свеколкин отводит от лица кирины руки.

Ой, совсем как маленькая... все пальцы мокрые, хоть ведро подставляй. Ну, покажи мне свое горе, дочка!

Кира (*не смея поднять глаз*). У меня не выходит... больно...

Свеколкин. Нужно, чтоб ты сама свою болезнь назвала. Значит, в самом сердце она лежит, если только крикнули — *проверка*, а оно уже сжалось — *про меня!*

Кира. Я сама... сама искала этой красивой, необыкновенной жизни.

Свеколкин. Я сразу понял, что не только в старухе дело. Кого же теперь силой замуж выдают! А необыкновенное не живет, оно умирает, как всякое уродство. Только самое простое вечно. Другая красота стучится в мир, и если ей завтра не откроют дверь, она взломает стены!

Параша идет к ним из дома.

Уходите вы скорей из чудесных замков вашей необыкновенной мамы под обыкновенное солнце обыкновенной

весны. Алексей Иванович лучше меня вам про это расскажет. Он помоложе...

П а р а ш а. Павел Сергеевич, на вас гости очень обижаются. *(Она собирает со стола посуду.)*

С в е к о л к и н *(Кире)*. Мы еще попозже с вами поговорим. *(Параше.)* Давайте и я захвачу что-нибудь с собою.

И, нагрузаясь посудой, он уходит первым. Параша подходит к Кире.

П а р а ш а *(тихо)*. Уж шли бы вы к Алексею-то Ивановичу... Он там как мертвый посредь пира сидит.

Она тушит свет на столбе и уходит. Темнота, как в начале действия. Кира подходит к окну. Снаружи, оттянув занавеску и прячась в тени, она с полуфразы слушает окончание тоста, который с звенящим мальчишеским задором произносит в доме одна из приехавших гостей.

Г о л о с. ...весело, умно и страстно, как умеет это Алексей Ладыгин. Здравствуй, ветер, грозный ветер, попутный ветер всемирной истории! Гони наш широкий краснѣй парус к вечным вершинам человеческого счастья. За героическую обыкновенность!

Конец заглушают аплодисменты и голоса. Кира отпускает занавеску, и сразу тишина. Проносится порыв ночного ветра.

К и р а *(в темноте)*. С вами хочу, Алексей Ладыгин!

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Боковая комната с небольшой застекленной террасой, где поверху и понизу вставлены квадраты цветного стекла. Только они разнообразят прохладный густо-зеленый колорит помещения. Терраса эллиптической формы фонарем выдается влево, в березовую рощу; сквозь огвесно ниспадающие ветви видны вдалеке шпалеры небольших елочек. Здесь также имеется выход в сад. Над диваном, где лежат уже в ремнях постели Свеколкиных, чуть покосившись набок, все в том же чехле висит картина, нашедшая наконец, здесь свое пристанище. В стороне, под нею, телефон. Пристроившись на краешке столика, где стоит низкая стеклянная ваза с полевыми цветами, А н н у ш к а с ученическим усердием дописывает свое послание. Рядом следы ее упражнений — куча изорванной бумаги. Моросит дождик. Время близится к вечеру.

А н н у ш к а (*отложив перо*). Ну-ка, что тут у меня получилось? (*Она перечитывает, вслушиваясь в отдельные слова.*) «Прощайте, Алексей Ладыгин! У вас будет жена самая красивая на свете. Объясните ей про человеческое счастье, которое, как птица, которая не отдыхает никогда. И не надо ставить капкан на нее: кому она нужна с переломанным крылом!.. Я сама хотела поговорить с Кирой, но не успею, потому что я сегодня уезжаю с папкой из этого дома. Хочу, чтобы у вас была жена и самая хорошая на свете. Но вы глубоко ошибаетесь, если решили, что я сама немножко люблю вас. Вы только нравились мне одно время, в прошлом году, как выдающийся научный работник. Тем более что я, хотя и не горбатая, но почти рябая. А. С.» (*Почмокав, с сожалением.*) Не годится... Сразу догадается, что это я. Не надо подписи!

Телефонный звонок.

Минуточку, я только зачеркну...

Она вычеркивает подпись. Повторный звонок. Она берет трубку.

Ну, кто там? *(Ее тон меняется.)* О, я сперва не узнала вас, Алексей Иванович. Нет, ничего подобного, я веселая. Только у нас дождик идет. У вас не идет? Можно... сейчас позову.

Спрятав письмо, она отпирает дверь и отступает. Смушенная, неузнаваемая со вчерашнего дня, за дверью стоит К и р а.

К и р а *(неуверенно)*. Меня?

А н н у ш к а. Берите скорей. *(Обеими руками точно самую хрупкую вещь, вручая ей трубку.)* Он издалека... Не уроните, а то ток на станции разъединится. Спросите кстати, папка уже достал себе билет?

К и р а *(в трубку)*. Да... да?... Да-а...

Аннушка наблюдает искоса, как одновременно со сменой кириных интонаций меняется выражение ее лица.

Я уже все знаю. Нет, другие... Я рада, что этих денег уже нет! Конечно. *(Приглушив голос.)* Я скажу потом.

А н н у ш к а. Мне уйти?

К и р а *(удержав ее за рукав)*. Я буду ждать. О... не разбейтесь! *(И, уже положив трубку, как будто он еще может слышать ее.)* Скорей!.. *(Аннушке, не сразу.)* Ваш отец уже купил себе билет.

А н н у ш к а. А еще что он вам сказал?

К и р а. Сказал... что будет гнать машину со скоростью ветра.

А н н у ш к а *(с почтением)*. Ветра!.. Значит, все улаживается, да? Что же вы не веселитесь... ну? *(Она насильно кружит ее по комнате.)* Быстрее, быстрее!.. Ой, даже голова закружилась. О чем вы задумались, счастливая?

К и р а. Так... о разном. Вам, наверно, грустно расставаться с вашим отцом? Вчера мы до полуночи проговорили с ним. Он... добрый и справедливый человек.

А н н у ш к а. Папка у меня ничего, довольно ценный папка. Вот облысел только немножко.

К и р а. Я пойду, Аннушка. *(Задержавшись.)* Какие у вас странные глаза сейчас!

А н н у ш к а. Мне представилось... что ведь и я тоже кого-нибудь люблю... потом. Какой он будет? Такой же... как папка, или другой? Идите.

Кира оглянулась на нее с порога. Оставшись одна, Аннушка достала письмо.

Когда вы получите это письмо, Алексей Ладыгин, я буду далеко-далеко от вас. И вы не сразу его получите. (*Надрывая письмо пополам.*) Оно будет идти к вам долго-долго... Уж и дети наши вырастут и состарятся... а оно все будет идти, идти, к вам... Алексей Ладыгин.

Она рвет его еще и еще, намелко, пока не приходит, кутаясь в свою венецианскую шаль, В е р а А р т е м ь е в н а с м у ж е м.
Аннушка успевает зажать в кулачке клочки письма.

В е р а А р т е м ь е в н а. Вы не заняты, Аннушка? Я и Митя хотели поговорить с вами о делах.

Ладыгин опускается на диван. Вера Артемьевна с беспокойством взглянула на картину над его головой.

Только ты пересядь отсюда, Митя... я боюсь.

Л а д ы г и н. Какая ерунда!.. Ты просто суеверная стала. На потолке, что ли, мне сидеть?

В е р а А р т е м ь е в н а. Где хочешь. Я прошу тебя. Она упадет!

Пожав плечами, Ладыгин переходит на другое место.

Завтра у вас экзамен в театральном училище. Наша квартира находится как раз рядом. А Митя все ищет быть чем-нибудь полезным вашему отцу...

Из сада в мокром плаще входит С в е к о л к и н. Остановившись на пороге, он подает знак, чтобы его не замечали.
Аннушка его не видит.

Словом, мы приглашаем вас поселиться на все это время... у нас.

А н н у ш к а. У вас? (*И сразу подавив свою радость.*) Нет, спасибо. Мне это не подходит.

В е р а А р т е м ь е в н а. Да вы нас несколько не стесните. У нас всегда кто-нибудь живет. Вы подумайте, не спешите...

Аннушка отрицательно покачала головой.

Л а д ы г и н. Вот чудачка! Сама же рвалась в театральное, а тут только через улицу перейти.

А н н у ш к а. Я уж раздумала в театральное. Вы верно тогда сказали: и данные не те, и голос у меня... куклячий. И сама не хочу. (*Увидев отца.*) А, папка приехал! Ой, весь мокрый... (*Засматривая в глаза.*) Ну, говори, быстро... сколько билетов взял? Ты же хитрый, все наперед знаешь...

Свеколкин (*снимая плащ*). Два, Аннушка, два. (*Ладыгиным.*) Верно, ей лучше со мной ехать. Институт у нас не хуже ваших. Да, видно, и по друзьям соскучилась. Домой-то всегда, как магнитом, тянет.

Ладыгин. Знаем мы, какой там у нее электромагнит. Этакий... повыше меня и с карими глазами. Попал?.. Попал.

Вера Артемьевна (*всматриваясь в смущенное лицо Аннушки*). И в самом деле, кто-нибудь вас туда притягивает? Мы тогда и уговаривать не станем.

Аннушка счастливо кивает в ответ.

Кто же этот удачник, который достучался в ваше сердечко?

Свеколкин. Выдавай свои секреты, дочка.

Аннушка. Ну, этот... футболист один. Ну, Егоров же! Он еще третьего дня, на встрече с Киевом, центр играл. (*Ладыгину.*) Вы же рядом сидели, а Егорова не заметили? Плечистый такой, в синей майке... Ой, даже не помните, как он во втором тайме вырвал мяч и, словно ураган, понес его к воротам? (*Отцу.*) Папка, они даже Егорова не заметили!

Свеколкин. Разве их всех упомнишь! Они там, как черти, гонялись.

Ладыгин. Нет, я, кажется, припомнил. Егоров — это верзила такой! На контрабас похож, и еще брови у него срослись у переносья?

Аннушка (*отцу, с обидой*). Это Егоров-то контрабас!.. Смешные, верно?

Махнув рукой, Ладыгин возвращается на диван, под картину.

Вера Артемьевна (*разочарованно*). Ну... жалеем, Аннушка. Что же вы станете делать, когда вернетесь?

Аннушка. Там дела много. Танцевать, потом в кино буду ходить. (*Глядя на кулачок, где зажаты клочки письма.*) Только я кино больше люблю... И потом новые танцы у нас никто не умеет, всегда за кавалера приходится танцевать!

Ладыгины снисходительно переглянулись.

Свеколкин. Ничего, она у нас еще маленькая.

В е р а А р т е м ь е в н а. А когда же учиться, Аннушка? Аннушка. Ну, конечно, в остальное время буду учиться.

Л а д ы г и н (жене). Вот видишь. А ты собиралась ее в нашу стариковскую компанию запереть.

В е р а А р т е м ь е в н а. Опять ты сел на то же место! Так тебя сюда и тянет, Митька!

Ладыгин молча меняет место.

Что ж, поезжайте, Аннушка. Вам виднее.

Через сцену проходит в сад Кира, торопливо окутывая голову легким шарфом.

Куда ты собралась в такую погоду, Кира?

К и р а. До парома добежать... Алексей возвращается.

В е р а А р т е м ь е в н а. Ты же вымокнешь вся. Без разговоров, вернись и надень пальто! Я категорически прошу тебя беречь здоровье.

К и р а. Ничего со мной не будет... Верочка, я не успею добежать!

В е р а А р т е м ь е в н а. Возьми хоть это...

Она кинула ей свою шаль. На лету схватив ее, Кира убегает.

Л а д ы г и н. Не мешай ей. Может, ей хочется вымокнуть немножко... для него.

С в е к о л к и н. Да и дождик-то теплый, грибной.

В е р а А р т е м ь е в н а. Заболеет перед самой свадьбой... (Мужу.) Скажи Параше, чтоб отнесла ей пальто.

Ладыгин уходит. Слышно, как он зовет по комнатам Парашу.

С в е к о л к и н (Вере Артемьевне). А ведь хорошая жена будет у Алексея Ивановича!

В е р а А р т е м ь е в н а. Я всегда это говорила... если только она войдет в его работу и расстанется со своей мамочкой. (Чтобы переменить разговор.) Вы так и не успели побывать в институте?

С в е к о л к и н. Я как раз оттуда. Алексей Иванович на прощанье показал мне все.

А н н у ш к а. Лилиану уже увезли?

С в е к о л к и н. Мы зашли в ее пустую клетку, постояли...

А н н у ш к а. Наверно, тишина-а... Когда даже самое маленькое уносят из дома... или из сердца, все равно!.. всегда тишина наступает, правда?

И, привлеченная этой недетской интонацией, Вера Артемьевна снова приглядывается к Аннушке.

С ве ко л к и н. Скоро там опять будет шумно. Меня уже запрашивали об очередной работе Алексея Ивановича. (*Понизив голос.*) Видимо, правительство находит, что ему незачем тратить премию на обезьян. Они будут куплены срочным порядком.

Он умолкает. Прислушиваясь ко всему, из сада приходит Констанция. Она делает вид, что ищет что-то.

В е р а А р т е м ь е в н а (*уже не для Аннушки*). А то оставайтесь жить у нас, Аннушка!

А н н у ш к а (*громко*). Стоит ли на какую-нибудь неделю...

В е р а А р т е м ь е в н а. Наоборот, мы хотим, чтобы вы жили у нас всегда. Вы что-нибудь потеряли, тетя Констанция?

К о н с т а н ц и я (*тоном сдержанной угрозы*). Да, укладываю вещи и потеряла мою сумочку.

В е р а А р т е м ь е в н а. Скажите Параше, она поможет вам найти.

К о н с т а н ц и я. Спасибо, дружок. (*Демонстративно Свеколкину.*) Вы, кажется, уезжаете сейчас? Уделите мне крохотный уголочек у себя в машине!

С ве ко л к и н. С величайшем удовольствием (*взглянув на часы*)... если только вы поторопитесь. Нам уже пора.

К о н с т а н ц и я (*колеблясь*). Но только мне надо далеко...

С ве ко л к и н. Вас довезут на край света... и даже дальше, мадам.

К о н с т а н ц и я (*очень трагично*). Верочка, можно взять у тебя кусок черного хлеба на дорогу?

В е р а А р т е м ь е в н а. Я еще с утра заказала изжарить вам утку. Параша говорит, что все готово.

Фыркнув, Констанция уходит.

С ве ко л к и н (*дочери*). Ну, принимайся за чемоданы!

В е р а А р т е м ь е в н а (*уходя*). Я вам тоже припасла кое-что на дорогу, Аннушка.

Молчание. К удивлению отца, Аннушка садится на подоконник.

А н н у ш к а. Еще последнюю минутку, папка. Ну, прощайте все. Старые березы, прощайте! Красивый диван, прощай! И ты, многострадальная картина... Смотри, не падай! Готово, бери меня в свою науку, папка. Я выбрала себе дорогу в жизни.

С в е к о л к и н. Вот мы и взрослые стали. А что это за Егоров такой объявился?

А н н у ш к а. Какой Егоров? А!.. Не знаю, выдумала. Умница твоя дочка?

С в е к о л к и н. Умница-то умница, только ты слишком много наплела на себя: и танцы, и кино, и футболист...

А н н у ш к а (*лукаво*). Мне хотелось доказать тебе, что я все-таки могла бы быть актрисой. А знаешь, у нас лучше: и речка шире, и снег без копотиночки...

Она с силой кидает за окно разорванное письмо. Медленно кружась, клочки бумаги оседают на землю.

Вернусь с лекций, сварю тебе обед, а вечером мы опять пойдем с тобой на лыжах. Уж скорей бы зима. (*И вдруг резко соскочила на пол.*) Хватит, погостили у великого артиста! (*Выдвинув из-под дивана чемодан, она приступает к укладке вещей.*) Это сюда, а это?.. Смотри, платье, в котором я на экзамен в театральное собиралась. Самое любимое у меня!

Слышны голоса из сада.

Г о л о с А л е к с е я. Возьмите же мой плащ... Как это глупо — бегать под дождем!

К и р а (*вбежав, с порога*). Но посмотрите сами, потрогайте меня, я же совсем сухая.

У Аннушки острее стали плечи да торопливей принялась забивать вещи в чемодан.

С в е к о л к и н. Этак сомнешь ты любимое-то!

А н н у ш к а. Все равно гладить придется, ничего!

Отец и дочь невольно слышат, хотя и приглушенный, разговор позади них.

А л е к с е й. Надо же сказать вам эти слова когда-нибудь!

К и р а. Сберегите их до вечера. Я так боялась потерять вас, Алексей.

А л е к с е й. Я купил вам розы... Последние, больше не было. (*И достав из портфеля, из-под книг, он дует на них, чтобы расправить смятые лепестки.*) Тут где-то и третья была... неужели потерял?

К и р а. Давайте уж хоть две!.. (*В глаза.*) Не говорите. Сберегите до вечера... когда все уедут.

А н н у ш к а. Какой ты нерасторопный стал у меня, папка! Мы же на поезд опоздаем.

С в е к о л к и н (*Алексею*). Вот вырастет у вас дочка, тоже покрикивать станет.

А л е к с е й (*подойдя к Аннушке*). Уже в дорогу? А мне будет жалко... Я как-то уже успел привыкнуть к вам за эти дни.

А н н у ш к а (*рывком затягивая ремень на чемодане*). Мы еще встретимся. (*Отцу.*) Чего же ты стоишь? Подарки-то мы повезем с собой?

Свеколкин снимает свертки со шкафа.

Пройдет каких-нибудь десять-двенадцать лет... незаметно пройдут!.. и, может быть, я приеду диссертацию защищать, а вы будете моим официальным оппонентом.

А л е к с е й. Возможно, возможно... (*Кире.*) Ну, пойдем все-таки переодеться, Кира!

Он уводит ее. Все вещи Свеколкиных сложены в одно место.

С поднятым воротником и с головой накрывшись плащом
К и р а, приходит из сада Л а д ы г и н.

Л а д ы г и н (*встряхивая плащ*). Ни Параши, никого; все пропали!

С в е к о л к и н. Ну, спасибо, Дмитрий Романович, за дом, за хлеб, за братское слово.

Л а д ы г и н. Все хотелось мне сделать тебе что-нибудь приятное, Паша. Так и не успел. (*Очень серьезно.*) Слушай-ка, у тебя в доме этакий надежный крюк найдется?

С в е к о л к и н (*смеясь*). Мне еще пожить охота, Дмитрий Романович... Ну, найдется, а что?

Л а д ы г и н. Тогда дарю тебе вот эту картину. Бери, только не благодари.

С в е к о л к и н. Мерси, Митя. Мне не надо.

Л а д ы г и н (*обиженно*). Зря, мировая вещь. Капиталист Рябушинский две тысячи за нее отвалил. Не помню только, что изображено... Не то галки сидят на кладбище, не то... Словом, что-то из охотничьей жизни. Можно посмотреть!

С в е к о л к и н. Ты не хлопочи, Дмитрий Романович, не возьму. (*Аннушке*.) Иди узнай насчет машины.

Аннушка уходит.

Л а д ы г и н. В таком случае... Я тут денегят с филармонии некую толику получил. Возьми у меня займы, Паша. Да ты не стесняйся, ты без отдачи бери. (*Достав пачку из кармана*.) Будь друг... ну, я прошу тебя!

С в е к о л к и н. Да я не нуждаюсь. Спрячь это, спрячь. Чудак ты этакий. Я лучше тебя, легче тебя живу.

Л а д ы г и н (*в затруднении*). Но можешь же ты потерять казенные деньги, обсчитаться... растратить, наконец, ненароком. Имей в запасе, Паша!..

С в е к о л к и н (*весело*). А ведь ты это мне взятку, Митя, суешь... Только за что? Чтоб не приезжал я больше или за молчание мое? А я твой друг, Митя, не буду молчать. Отыщи берестяную кошелку-то, поглядывай на нее почаще: в ней молодость твоя звонкая лежит. А вот не спел ты мне ни разу за все время, это правда!

Л а д ы г и н. Да для тебя, если только охота есть... (*Хлопая в ладоши*.) Вера, Верочка!

В е р а А р т е м ь е в н а (*войдя*). Машина у большой террасы стоит. (*Параше, которая пробегает под окном*.) Параша, покричите Алексею Ивановичу, что гости уезжают.

Уже одетая и в той же полотняной панамке, А н н у ш к а приходит из внутренних комнат.

Л а д ы г и н (*подавая плащ Свеколкину*). Мой первый концерт, который ты услышишь по радио, будет только тебе одному.

С в е к о л к и н. Ты уж тогда хоть покашляй для меня вначале. Пойду мадам искать. Что-то не шибко она торопится ехать с нами.

П а р а ш а. Они у себя в угловой светелке заперлись и даже занавеску опустили.

С в е к о л к и н. Ничего, у меня заветный ключик к этой светелке есть. (*Уходя, он встречается с Алексеем и Киной.*) По старой дружбе, Алексей Иванович, помогите Аннушке вещи в машину отнести.

По его уходе все обступают полукругом Аннушку.

А н н у ш к а. Ну, спасибо вам за все... вы были ко мне такие ласковые. (*По очереди пожимая руки и заглядывая в лица, точно стремясь унести их с собою в памяти.*) И вы... и вы тоже! И вы, Парашенька.

Кусая губы, еле сдерживаясь, Параша смотрит в сторону.
Аннушка подошла к Кире, стоящей с края.

И вы прощайте. Самая счастливая на свете.

К и р а (*держит ее руки*). Верочка сказала по секрету, что ваш жених был тогда на матче. (*Алексей.*) Кажется, Егоров, вы не запомнили? Как жаль, что вы не показали его нам, Аннушка!

Аннушка неподвижно смотрит, чуть склонив голову, в лицо Кире. И та, прочтя еще не затихшую боль в застылой улыбке Аннушки, смутилась и заметалась. Теперь она поняла, какой свадебный подарок поднесла ей эта приезжая девчоночка.

А н н у ш к а (*в самые глаза*). Ну... вы счастливы теперь? Любите Алексея Ивановича!

К и р а (*торопливо вынул розы из волос, подарок Алексея*). Сейчас у меня нет ничего дороже этого. Передайте их... Егорову!

А н н у ш к а (*шопотом*). Непременно... (*И медленно уходит.*)

Покашливая и не глядя друг на друга, все трогаются к выходу; каждый несет что-нибудь из багажа Свеколкиных. Потом очень дружелюбно, судя по виду, выходит К о н с т а н ц и я со вдетым в один рукав пальто и С в е к о л к и н, который острожно, как святыню, несет ее шляпу с птичкой.

С в е к о л к и н (*одной рукой помогая ей надеть пальто*). Издали вы лучше поймете свои родительские чувства и даже встретите, быть может, матерей, которые сами посылают своих любимых на лишения и нужду.

К о н с т а н ц и я. Но, право же, я буду вам в тягость. У меня так разболелась голова!

Свеколкин (*суше*). Мадам, она разболится еще больше, если Вера Артемьевна узнает про ваши бывшие намерения... относительно ее мужа! (*Подавая шляпу*). Теперь головной убор, мадам!

Констанция. Вы так любезны, мой друг!

Свеколкин. Я еще не разучился ухаживать за дамами.

Констанция. Но я уже старуха...

Свеколкин. Я бы не сказал. Вам, например, даже не поздно заняться каким-нибудь производительным трудом!

Из сада вошли поспешно Вера Артемьевна и Параша.

Вера Артемьевна (*Параше*). По-моему, я ее на буфете забыла...

Параша убежала в комнаты.

Свеколкин. Проститесь с вашей тетей, Вера Артемьевна. Я похищаю ее от вас.

Констанция (*приближая платок к глазам*). Так не хочется покидать твой гостеприимный дом, Верочка!

Вера Артемьевна (*утешительно*). Вы приедете к нам в будущем году. Хотя следующее лето Митя собирался провести, кажется, на юге...

Параша принесла кондитерскую, доверху наполненную сладостями плетенку.

Констанция (*внезапно Свеколкину*). О, вам придется ехать без меня. Я совсем забыла про свои вещи...

Параша. Они уже в машине. Я еще давеча их отнесла. Корзиночка небольшая да сундучок такой... печальный.

Констанция (*яростно глядя на нее сквозь пенсне*). Очень мне хотелось бы еще раз повстречаться с вами, Параша.

Параша (*с простой улыбкой*). Может, и встретимся. Я тоже как-то с первого взгляда вас... полюбила.

И только теперь, оскорбленно вскинув голову, Констанция покидает дом Ладыгиных.

Вера Артемьевна (*передавая плетенку Свеколкину*). Это Аннушке. Кроме кино, дети любят еще и сла-

дости. Приезжайте еще раз! Как видите, дом большой, березовая роща, речка...

С в е к о л к и н. Теперь уж с внуками когда-нибудь.

Все ушли. Доносятся прощальные возгласы: «Пишите с дороги!» и «Казенные деньги берегите!» Затем хлопанье дверцы и фыркание машины.. Тем временем погода разветрилась, и дальние елочки оранжево горят в закате. Держась за руки, возвращаются В е р а А р т е м ь е в н а и Л а д ы г и н.

Л а д ы г и н. Не люблю... (*Садясь на диван.*) Чемоданов, вокзалов не люблю. Провожать не умею.

В е р а А р т е м ь е в н а. Я присмотрелась к ней... Она милая, но совсем простенькая, эта Аннушка. Кира и сильней и красивей ее. Правда?

Л а д ы г и н (*без всякого выражения*). Седьмой раз тебе говорю, ты у меня лучше всех, Верочка.

В е р а А р т е м ь е в н а. И я понимаю, почему тебя так тянуло с нею на реку!

Л а д ы г и н (*тем же тоном*). Седьмой раз тебе повторяю: Алешку нужно было с места сдвинуть. Они бы и теперь в молчанку играли.

Посмотрев на картину, Вера Артемьевна уводит Ладыгина с дивана.

В е р а А р т е м ь е в н а. Ты славный у меня. Но не скрывай от меня ничего. Я только берегу твой голос. Как только я замечу, что я мешаю тебе петь, я уйду сама. (*Ласкаясь.*) Ну... веришь мне?

Л а д ы г и н. Я... я из всех сил стараюсь, Верочка. Кстати, откуда у него такая машина взялась?

В е р а А р т е м ь е в н а. Но он же и нарком, и депутат, научный деятель. Как видишь, страхи твои не сбылись. Что, что с тобой, Митя?

Л а д ы г и н (*точно проснувшись*). Нет, ничего... а я-то деньги ему тайком в карман засунул и махину эту хотел всучить...

И тогда с зловещим шелестом картина срывается с крюка; подскочив на пружинах дивана, как бы с намерением наступить Ладыгина, она с треском валится на пол. На грохот прибегает А л е к с е й, позже П а р а ш а с К и р о й.

А л е к с е й (*после долгого молчания*). Такие вещи хорошо над кроватью вешать, дядя Митя. Не гоняться же ей за тобой по всей квартире!

П а р а ш а. Промахнулась, чертовка...

В е р а А р т е м ь е в н а (*осторожно идя к картине*). Уж лучше бы нам ее сразу в сарай отнести. Как вы думаете, Параша?

П а р а ш а. Уж конечно, Вера Артемьевна. Стоит себе в сохранности, а захотелось полюбоваться — пришел с фонариком, посмотрел и ушел невредимо.

Л а д ы г и н (*придя в себя*). Три дня она, как гора, надо мной висела. К чорту ее отсюда, немедленно... А ну, помогите мне кто-нибудь!

Они выволакивают, как придется, эту провинившуюся громадину.

Чем она там, лапой, что ли, упирается, чорт?

В е р а А р т е м ь е в н а (*заранее распахивая дверь*). Параша, вы на кольцо наступили. Чего ты так разошелся, Митя?

П а р а ш а. Безжизненная вещь, а, видать, уже корешки запустила!

Картину вытащили. Из комнат слышен гневный, постепенно затихающий голос Ладыгина. Кира расставляет опрокинутые стулья; за этим и застает ее Алексей.

А л е к с е й (*смеясь*). И в довершение всего картина оказалась совсем не та, какую ему продавали. Разгремелся, грозитя все со стен снимать. Обожаю, когда в дяде Мите маляр бунтуется!

К и р а. Как смешно живут иногда очень хорошие люди.

А л е к с е й (*с упрёком*). А мы, Кира?

К и р а. О, я целые дни проводила одна, будучи вашей невестой. И я гадала со страхом: что же будет, когда я стану вашей женой? На что я не пускалась, чтоб оторвать вас от Лилианы! И теперь... я не хочу, не хочу одна проводить мои бессонные ночи.

А л е к с е й. Кира! Когда стареет человек и меркнет его сила, он вспоминает только бессонные ночи, потраченные на счастье или работу. И я научу вас любить их... любить клеенчатый стол со склянками и хрупкую тишину утренних часов, и штопанный халат из миткаля. (*Сильно.*) У меня нет сокровищ, которые сняты вашей матери, но я разделю с вами мое могущество, искательство мое, нестерпимую жажду проникновения в тайну, которой еще

не знает никто, и самую жгучую радость в мире: каждое мгновение быть необходимым людям...

К и р а. И я буду подавать на рассвете остывший чай... вам, одержимый человек!

А л е к с е й. Я сделаю вас первым помощником моим. В два года... которые пускай покажутся вам вечностью!.. и передам вам все, что я успел узнать в моей науке. И, может быть, вы даже обгоните меня, потому что я дам вам больше, чем владею сам... Я замыслы свои подарю вам, потому что я люблю вас, вас люблю, Кира!

Телефонный звонок. Не без заметной внутренней борьбы
Алексей берет трубку.

Вас слушают. Ладыгин. Нет, никто совещания не отменял. (*Посмотрев под рукав на часы.*) Давайте хотя бы в малой угловой. (*Его голос становится совсем трезвым.*) Не прощаюсь. Думаю, что скоро.

К и р а (*подойдя к нему*). Опять... туда?

А л е к с е й. Да.

К и р а. И на всю ночь?

А л е к с е й. Не знаю, очень сложный опыт. (*Мягко.*) Видите, я напрасно берег до вечера свои слова.

К и р а. Вы обещали мне подарить два года, которые покажутся вечностью. Начнем ее сегодня вместе, хорошо?

Он не понимает.

К и р а. Можно мне туда... с вами? Ступайте, выводите машину.

Он притягивает ее к себе. Он целует ее, стоящую с опущенными руками. Платок падает из ее разжавшейся руки. Потом она, задыхаясь, отталкивает его от себя.

К и р а. Пустите... оставьте же хоть что-нибудь на эту вечность!

1940—1943

СОДЕРЖАНИЕ

СКУТАРЕВСКИЙ (роман)	5
--------------------------------	---

П Ь Е С Ы

ПОЛОВЧАНСКИЕ САДЫ (Пьеса в четырех действиях)	327
ВОЛК (Бегство Сандукова) (Пьеса в четырех действиях)	417
ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК (Комедия в четырех действиях)	499

Редактор Н. Крюков

Переплет и титул
художника *А. Радищева*

Художественный редактор *Н. Мухин*

Технический редактор *Ж. Примак.*

Корректор *А. Сабадаш*

*

Сдано в набор 3/VII 1953 г.
Подписано в печать 18/IX 1953 г.
Л05464. Бумага 84 × 108¹/₃₂ = 9,12
бум. л. = 29,82 печ. л. 28,7 уч.-изд. л.
Тираж 75.000. Цена 9 р. 50 к.
Заказ № 2273.

3-я типография «Красный пролетарий»
Союзполиграфпрома Главиздата
Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.

